ПОЗДНЯЯ ГРЕЧЕСКАЯ ПРОЗА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

Переводы с древнегреческого под редакцией

М. ГРАБАРЬ-ПАССЕК

Составление, вступительная статья и примечания

С. ПОЛЯКОВОЙ

Оформление и гравюры художника

М. ПОЛЯКОВА

ГРЕЧЕСКАЯ ПРОЗА I—IV ВЕКОВ Н. Э.

Памятники греческой литературы архаического, классического и эллинистического периодов) от Гомера до I века н. э.) заслонили от специалистов и читателей литературное наследие последующего времени: оно почти неразличимо в их гигантской тени. Считается «несолидным», почти «неприличным» заглядывать в поздних авторов, в то время как существует гомеровский эпос, трагедия и лирика; исключение делается лишь для тех, кто, подобно Плутарху, Лукиану или Иосифу Флавию, по каким-нибудь причинам оказался тесно связанным с европейской культурной традицией.

Если исследования, посвященные этим популярным периодам, насчитывают сотни тысяч томов, если на новые языки переведено почти все, что от них сохранилось, то греческим авторам римского периода уделялось ничтожно мало внимания, и писатели, в древности вызывавшие восхищение и пользовавшиеся большой известностью, теперь почти полностью забыты. А между тем их было немало, писали они в разных жанрах и на разные вкусы еще целых пять с лишним столетий, но судьба этой литературы в веках сложилась весьма своеобразно. Обычно суд истории бывает нелицеприятным, так что, может быть, справедливо усомниться в правах позднегреческой литературы на существование и интерес потомства? Чем вызвано пренебрежение к ней? Разве она ничего не дала, ничего не открыла и не увидела на протяжении почти пяти с половиной долгих веков? Всякий скажет, что такой исторический парадокс невозможен. Дело просто-напросто в том, что ученые, впервые познакомившись с греческим миром по памятникам архаической и, главным образом, классической поры, оказались в такой мере под их обаянием, что все последующее развитие литературы рассматривали с точки зрения классической нормы и во всем, что в эту норму не укладывалось, видели знаки упадка и одичания. Там, где следовало усматривать развитие, говорилось об ухудшении сравнительно с классическим эталоном.

Все новое, а его в литературе римского периода было много, заведомо и безоговорочно расценивалось как зло, как грубое нарушение

канонов высокого и истинно прекрасного. Этот принцип оказался тем губительнее, что, освященный авторитетом больших имен, он сохранился в неприкосновенности и тогда, когда исторический подход к литературным явлениям стал само собой разумеющейся вещью.

За последние тридцать лет и у нас и за рубежом положение постепенно начинает изменяться и закладывается основание для нового взгляда на позднегреческую культуру.

Литература первых четырех веков нашей эры представляет собою переходный этап от собственно античной к средневековой. Неантичные черты в ней возникают сравнительно рано, развиваются медленно и сложно, одновременно с элементами феодализма в хозяйственно-экономической жизни Римской империи, подготовляют появление многих особенностей средневековой литературы. Как раз эти черты, раздражавшие исследователей нового времени своей непохожестью на классический литературный канон, наиболее интересны и с исторической точки зрения плодотворны; они-то преимущественно и должны привлекать наше внимание, ибо свидетельствуют не о вырождении старой классической традиции, но о постепенном становлении новой.

Литература — одна из форм познания. Несмотря на отдельные отступления, она движется по пути все более совершенного постижения действительности, расширяя и круг объектов видения и свои изобразительные средства. Хотя позднегреческой литературе не хватало, может быть, монументальности, однако у нее есть, сравнительно с классической, достижения в области познания человека и природы, в области создания новых жанровых форм и способов художественного выражения.

В самом деле, время, которое считалось периодом полнейшего упадка, было настолько полно жизненных сил, что породило целый ряд жанров, заимствованных и развитых в средневековой литературе и навечно утвердивших себя в последующей культурной традиции. Достаточно упомянуть греческий роман, повесть в письмах, насмешливую (в отличие от прежде существовавших типов) эпиграмму, а из области христианской литературы — евангелия и жития святых. Кроме того, уже существовавшие жанры претерпели существенные изменения, и многие из них лишь весьма отдаленно похожи на своих классических предков. Кругозор авторов значительно расширился за счет включения ранее не попадавших в поле зрения литературы объектов. Архаическая и классическая литература воспринимала человека и его окружение обобщенно, нормативно, не входя в детали и частности. Позднейшая постепенно отказывается от этого; в ней человек в ряде случаев уже рассматривается как неповторимая психологическая индивидуальность и носитель определенного социального облика. Этот переворот в восприятии личности, открытие внутренней жизни, единичного сознания и социальной характерности осуществляются очень трудно и медленно, полностью завершаясь лишь за пределами античной литературы. Новая концепция человека в этот период воплощается только в произведениях отдельных писателей; более того, они вводят свое открытие с большой осторожностью, применяя его преимущественно к второстепенным персонажам. Но в связи

с интересом к реальному человеку внимание перемещается с обобщенного и мифологизированного фона на вполне конкретный и реальный.

Так в сферу внимания литературы попадают наконец быт и природа, которые в архаический и классический периоды оставались незамеченными. Появление новых объектов влечет за собой рождение новых, более тонких способов изображения, поскольку теперь на все смотрят «с близкого расстояния» и важны не столько общие контуры, сколько отдельные детали и частности. Такое восприятие граничит иногда с близорукостью; иногда детали накапливаются без отбора; но оно все-таки связано с будущим — с художественным методом позднейшей литературы.

Неисторически, а следовательно и неверно оценивалось и мировосприятие позднегреческой литературы. Ей вменялось в вину сужение умственных интересов, отсутствие большой общественной темы. Это не вполне справедливо, ибо в литературе рассматриваемого периода нашли отражение важнейшие, животрепещущие вопросы политики, морали, религии; однако они ставились без героического размаха, свойственного архаике и классике, в камерной, нередко даже нарочито осторожной манере.

Одной из проблем, постоянно возникающей во II—III веках, была проблема отношения к римскому завоеванию. Нет ни одного сколько-нибудь примечательного произведения, которое бы так или иначе не выразило своего отношения к «занесенному, — как говорил Плутарх, — над головой сапогу римского хозяина провинции». А поскольку римское давление было очень ощутимым, карнавальная откровенность и прямолинейность критики времен афинской демократии были заменены скрытым протестом. Насильственно отторгнутый от участия в государственной жизни, грек не утратил интереса к вопросам широкого общественного значения, но разрешал их теперь лишь в приложении к жизни частной, и антиримский протест выражается косвенно, окрашивая другие животрепещущие социальные вопросы, среди которых первое место занимали проблемы традиционной морали, рабства, семейно-брачных отношений. Немалую роль играли также религиозно-философские интересы.

Несмотря на увлечение многих римских императоров греческой культурой и покровительство ей, греческие страны были низведены на положение римских провинций, то есть стали объектом экономического насилия и политического принуждения. Однако, в условиях столь стеснительных и тяжелых, они живут напряженной духовной жизнью. Продолжает развиваться философское и риторическое образование, кроме языческой литературы, появляется христианская литература многочисленных сект и направлений, переписчики не успевают снабжать желающих книгами, улицы кишат спорщиками; обсуждается все — тайны алхимии, достоинства только что услышанной речи или эпиграммы; язычник высмеивает немытого христианского аскета, а христианин грозит неверующим концом мира, тыча пальцем в «божественные слова» какого-то свитка; собравшись в знакомом доме, люди читают о подвиге тирано-

убийцы и многозначительно переглядываются, смакуя запретные политические ассоциации.

Для позднегреческой литературы характерно решительное преобладание прозы, которая почти вытесняет поэзию и даже становится на ее место. Ведущая роль принадлежит литературе господствующего класса, рассчитанной на узкий круг ценителей; рядом с нею существует другое направление, обращающееся, с тогдашней точки зрения, к читателю второго сорта; это направление можно условно назвать «низовой литературой». Между обоими направлениями, очевидно, идет борьба. Проследить эту борьбу для нас пока, впредь до новых папирусных находок, едва ли возможно, так как одним из ее следствий было уничтожение и замалчивание господствующим направлением литературных памятников демократического. В результате этого большая часть произведений второго литературного лагеря утрачена, а сохранившиеся уцелели чисто случайно и, возможно, не были ни лучшими, ни наиболее типичными. Подлинные имена авторов и их биографии, как правило, тоже не дошли до нас. К этому можно добавить, что литературная теория, создававшаяся представителями господствующего направления, совсем не рассматривала жанров низовой литературы, так что не сохранились даже описания жанровых нормативов, по которым можно было бы составить представление об утраченных впоследствии произведениях. Но как бы то ни было, литература, враждебная господствующему направлению, существовала, и дошедшие до нас ее остатки характеризуют в какой-то мере ее мировосприятие и поэтическую систему. Небезынтересно упомянуть, что из ничтожного числа уцелевших произведений очень многие — а это самое убедительное свидетельство жизнестойкости — были усвоены национальными литературами Европы. Так, например, «История Александра Великого» послужила прототипом средневековых «Александрий», «Повесть об Аполлонии Тирском» привлекала к себе бесчисленное количество переводчиков и подражателей.

В предисловии мы остановимся только на самых значительных явлениях поздней греческой прозы. Краткие биографические сведения о писателях читатель найдет в примечаниях.

* * *

Первый крупный этап на нашем пути — I век н. э. Литература господствующего направления в этот период еще в значительной степени связана с предшествующей ей эллинистической литературой, но вместе с тем являет черты, получившие полное развитие лишь в следующем, II веке н. э. Это касается прежде всего ориентации на греческую старину, обращение к которой становится в условиях римского владычества средством утверждения своего национального достоинства, своеобразной идейной самообороной. Следов низового литературного направления не сохранилось.

Творчество Плутарха — наглядный пример сосуществования эллинистической и архаистической линий: продолжатель эллинистических тра-

диций в области жанров, языка и художественной техники, Плутарх в то же время был поборником греческой старины и предтечей того направления, которое получило название греческого возрождения.

Не будучи ни оригинальным мыслителем, ни выдающимся стилистом, он тем не менее заслужил любовь современников и читателей последующих поколений своим жизнеутверждающим отношением к миру, верой в достоинства личности, духом благожелательности и человечности, который исходит от всего написанного им. Наибольшая популярность выпала на долю его «Сравнительных жизнеописаний», то есть сопоставленных по принципу сходства душевных качеств и жизненной судьбы биографий выдающихся греков и римлян. Появление их — следствие философско-дидактических интересов Плутарха, цель — проиллюстрировать моральные достоинства личности на примерах жизни великих людей. Поэтому первоначально созданные биографии воплощают образцы заслуживающих подражания душевных качеств; в дальнейшем поучение осуществлялось также и на примерах отрицательных. Задача морального свойства обусловила и отношение писателя к материалу; Плутарха не заботила достоверность сообщаемых им фактов и не интересовали исторические закономерности: в центре внимания стоял характер отдельного человека. По собственному признанию Плутарха, меткое слово, несущественная с исторической точки зрения подробность были для него важнее значительных по своим последствиям событий.

На примере Плутарха очевидно, с каким трудом перед античным писателем раздвигались рамки познания человека. Ошибочно было бы думать, что ему удалось нарисовать характер так, как это понимаем сейчас мы, то есть дать его развитие и постепенное становление. Как раз наоборот, личность рисуется статически, в период, когда все ее качества уже сложились и отстоялись, поэтому в биографии почти не уделяется внимание детству и юности человека — времени формирования душевного склада — и интерес сосредоточен на годах расцвета. Характер понимается как раз навсегда данная, не знающая развития и изменений сумма качеств, причем качества эти независимы от условий общественной среды. Позднее в рамках интересующего нас периода можно наблюдать более совершенное и глубокое понимание человека; об этом свидетельствуют такие документы высокого самопостижения, как, например, «К самому себе» Марка Аврелия (II в.) или письма Либания и Юлиана (IV в.). Дух гуманности, интерес к личности, блестящая эрудиция автора и литературные достоинства «Жизнеописаний» обеспечили им долгую жизнь в веках.

Горячий поклонник всего, что свидетельствовало о древней славе Греции, Плутарх, однако, придерживался весьма умеренных политических взглядов и никогда не стоял в оппозиции к Риму. Правда, как это видно из целого ряда мест в его сочинениях, он не имел иллюзий относительно характера римской власти над Грецией, но не противопоставлял ей ничего более решительного, чем свое преклонение перед блеском греческого гения. Более того, он находил для себя возможным занимать разного рода административные должности и, в отличие от

писателей II века, признал римскую культуру и восхищался римской славой. Короче, отношение Плутарха к Риму было таким же компромиссным, как у его современника Иосифа Флавия: своим соплеменникам он благожелательно представлял Рим, Риму — своих соплеменников.

Большая группа разнородных произведений Плутарха, объединенных под названием «Моральные сочинения», дополняет и обогащает его облик как писателя и мыслителя. Плод поистине огромной начитанности, «Моральные сочинения» много шире своего случайно полученного наименования и касаются, кроме морали, самых разнообразных вопросов — религии, философии, археологии, педагогики, политики, литературы, биологии, физики, музыки. Несмотря на компилятивный характер этих произведений, в них чувствуется жизненный опыт, знание людей, наблюдательность автора. Здесь явственнее, чем в «Жизнеописаниях», ощущается гуманизм и филантропизм Плутарха, его вера в добрые начала человеческой души. Наиболее интересны сочинения на философско-моральные темы. Нравственную философию Плутарх рассматривал как душевное лекарство, которое исцеляет человека от неправильных суждений и от вредных страстей. Целый ряд своих произведений на эту тему он даже построил таким образом, что диагнозу болезни сопутствует описание метода лечения, то есть предлагается путь, следуя которому можно освободиться от того или иного порока («Как подавить гнев», «Как избавиться от болтливости» и т. д.) и достичь добродетели. Ничто не ускользает от внимания Плутарха: он пишет о ложном стыде, о вреде суеверий, о том, как использовать врагов себе на благо, и т. д. Короче, вся деятельность Плутарха проникнута идеей любви к ближнему; она диктует ему моральные трактаты, призванные исцелить заблудших, к миру и согласию он неустанно призывает в области дружеских и семейных отношений («О братской любви», «Брачные предписания»).

На почве филантропического жизнеощущения Плутарха вырастает и серия его этико-биологических сочинений (диалоги «Грилл, или О разуме животных», «Сравнение животных, обитающих на суше, с водными» и два трактата против употребления в пищу мяса). В отличие от представителей ряда философских школ и, главным образом, от стоиков, с которыми в этих сочинениях Плутарх полемизирует, он предполагает у животных наличие разума, хотя они и в меньшей мере, чем люди, сопричастны божественной мудрости. Это обязывает человека относиться к ним как к своим меньшим братьям, не причинять им вреда и избегать употребления в пищу их мяса. Несмотря на то что Плутарх подчас сообщает неточные сведения, он понимал и любил животных, и ему удалось с успехом выступить в их защиту, создав оригинальные по своему гуманистическому складу произведения. Моральные интересы и здесь оказались главенствующими: вопрос об отношении к животному является для Плутарха нравственной проблемой.

В своих религиозно-философских воззрениях Плутарх также стремится к сглаживанию и устранению противоречий. На базе платонизма он объединяет близкие ему по духу элементы религиозно-моральной фи-

лософии пифагореизма, стоицизма и других школ (эта область его преимущественно интересует), создавая для себя некий философский синтез. Взгляды Плутарха на божество характерны для переходной к средневековью античной религиозности; в концепции единого благого божества заметны элементы монотеизма, наличествует представление о провидении и бессмертии души, появляются многочисленные посредники между богом и человеком.

«Моральные сочинения» должны были занимать читателя, и потому они богаты историческими анекдотами, цитатами из поэтов, изобилуют разнообразными примерами и сравнениями.

В творчестве оратора Диона из Прусы, или Хрисостома, то есть Златоуста, как его называли, черты нового периода заметны отчетливее, чем у Плутарха. Предвосхищая риторов II века, он отдает предпочтение эпидиктическому красноречию, то есть речам-декламациям, и, подобно этим риторам, путешествует из города в город, выступая со своими речами. С ними его роднит и преклонение перед греческой стариной.

Как и Плутарха, Диона преимущественно занимают вопросы морали и нравственности. Его идеал — состояние естественности и разумности — сформировался под влиянием кинической философии, призывавшей к опрощению и возврату к природе. Давно ушедшее прошлое представлялось воплощением этого идеала, и потому лозунгом Диона становится призыв к самосовершенствованию, к достижению добродетелей древних. Очень показательна в этом смысле «Эвбейская речь», в которой прославляется непритязательная, трудовая, близкая к природе жизнь. Охотники, населяющие глухой уголок острова Эвбеи, изображены подлинно добродетельными и морально совершенными людьми. Здесь нет почвы для появления пороков и страстей, противоречий и вражды. Идея естественного человека подводит Диона к признанию естественного права, согласно которому все люди от природы равны, рабство же является состоянием, противоречащим нормальному порядку вещей и возникшим путем насилия. Так как близость к природе, с точки зрения Диона, — необходимое условие для формирования нравственно совершенной личности, ее изображению отведено видное место.

Несмотря на то что действительность, сравнительно с древними временами, рисуется в мрачном свете, несмотря на греческий патриотизм Диона, он не только призывает своих соплеменников сотрудничать с римлянами, но является сторонником императорской власти и теоретиком единодержавия. Диону принадлежит серия речей, в которых он дает образ совершенного правителя.

В изложении любых тем — политических, литературных, нравственных — Дион стремится быть занимательным и понятным, и его искусство — искусство рассчитанной на широкую аудиторию беседы наподобие тех, которые были приняты у киников. Долгие годы странической жизни и знакомство даже с такими отдаленными районами Римской империи, как Ольвия на Борисфене (Днепре), дали Диону огромный запас впечатлений, так что его речи богаты фактами самого разнообразного содержания.

* * *

Во II веке возникает подготовлявшееся исподволь движение, получившее название греческого возрождения. Под этим термином понимается культурное оживление, главным образом на востоке, греческого мира, совпавшее с временным экономическим подъемом малоазийских провинций. С точки зрения собственно литературы это была пора расцвета господствующего архаистического направления, с одной стороны, и значительного развития противоположного ему низового направления — с другой. Господствующая литература в противовес антиэллинским силам, восточному культурному влиянию и ущемлению греческой независимости Римом выражала стремление утвердить свой национальный престиж. Хотя она была в ряде случаев окрашена ненавистью к Риму, римские власти не только не преследовали ее, но даже оказывали ей известное покровительство, считая, вероятно, целесообразным поддерживать столь невинные формы национального самоутверждения, чтобы преградить путь к более решительным. Архаистические тенденции сказываются в стремлении ориентироваться на культуру и язык классического периода. В связи с этим пробуждается интерес к писателям V и IV веков до н. э., к распространенным тогда жанрам литературы, способам изложения, темам. Образцами для подражания становятся прославленные авторы классической эпохи. На смену эллинистическому, пышному, в восточном вкусе стилю (азианизму) приходит архаизирующий аттикизм — стилистическое направление, возрождающее язык древней аттической прозы, к этому времени давно успевшей устареть. Аттикистический пуризм, порывая с живым языком, оказывается выражением педантической учености немногих избранных. Это, между прочим, служит причиной все большего и большего обособления литературы архаистической ориентации от народа и дает толчок к появлению противоположного ей литературного направления.

Первоначально архаизм подчиняет своему влиянию ораторское искусство. Его апостолы странствуют по городам, в атмосфере всеобщего поклонения и восторга, показывая образцы своего искусства. Они — властители дум; ими бредят, их окружают почти божескими почестями, они собирают огромные толпы слушателей, их расположения домогаются даже сильные мира сего. В применении к себе слово «оратор» кажется им уж слишком узким, и они обращаются к термину «софист», которым назывались в древности представители красноречия «широкого профиля», имея в виду общеобразовательную задачу софистики и ее тенденцию вытеснить и заменить собой философию и поэзию. (Отсюда архаистическое направление II века получило название второй софистики.)

Литературными центрами становятся ораторские школы, через которые обязательно проходят теперь в общеобразовательных целях молодые люди всех профессий; там идет обучение тайнам софистического искусства и упражнения ради произносятся речи самого необыкновенного свойства, чтобы дать простор импровизаторским способностям и развить умение защищать заведомо парадоксальные тезисы. Прошедший риторическую выучку оратор владеет всевозможными типами речей: он

может говорить на темы, посвященные героическому прошлому, от лица самих героев, произносить фиктивные или реальные судебные речи, речи на разного рода примечательные случаи, похвальные речи, речи литературно-мифологического содержания, свадебные, речи-парадоксы и т. п. Однако в связи с подавлением политической свободы греческих городов главное место занимает эпидиктическое красноречие. Обычно софист начинал с вступления, дававшего возможность сразу же оценить его мастерство. Такое вступление представляло собой описание природы или предметов искусства, занимательный рассказ или доказательство логического парадокса; только затем следовала сама речь. Универсальность, на которую претендовала вторая софистика, определяется ее стремлением заменить поэзию и философию. Действительно, представители второй софистики приблизили прозаический стиль и ритм к поэтическому, повысили эмоциональную выразительность прозы и, создав свои параллели к большинству стихотворных жанров, почти совершенно вытеснили их. Что же касается философии, то она заменялась мистико-религиозными и нравственными поучениями, призванными воспитывать возвышенный образ мыслей и героические чувства; особенно популярной поэтому среди представителей нового литературного течения была историческая тематика. Хотя установка на греческую древность была задумана как средство спасти духовную самобытность народа и воскресить исчезнувшие в нем героические силы и высокие чувства, на практике это здоровое начинание привело к известной ограниченности. Вследствие архаистических тенденций культура отдалялась от народа, а ее морально-дидактический пафос растрачивался в ученых декламациях. Несмотря на это, второй софистике суждено было сыграть очень важную роль в судьбах всей последующей греческой литературы.

Первые шаги красноречия периода возрождения связаны с именами Ирода Аттика, Полемона (их произведения почти не сохранились, а то, что до нас дошло, вызывает сомнения в своей подлинности), Элия Аристида и Максима Тирского. На примере Элия Аристида отчетливо сказываются характерные черты этого направления: изысканность ориентированного на классику стиля, дидактическая приподнятость чувств, мистико-философские интересы и претензии на универсальность своего искусства. Элий Аристид поставил своей задачей создать произведения, равные классическим образцам, которым он следовал, и был уверен, что не только достиг этого, но даже воплотил в своем творчестве гений Платона и Демосфена одновременно. Как бы там ни было, в величии Элия Аристида были уверены даже такие выдающиеся его современники, как Марк Аврелий, а византийцы и ученые-гуманисты причисляли его к классикам древней литературы. Помимо типов речей обычных для второй софистики, Элий Аристид создал своеобразный тип речи, посвященной перипетиям своей длительной болезни, нечто среднее между автобиографией и такими памятниками народной медицины, как рассказы о чудесных исцелениях.

Кроме ораторской речи, вторая софистика культивировала и иные литературные жанры — диалог, письмо, экфразу, то есть описание природы или предметов искусства, биографию и некоторые другие. Под

известным идейным и художественным влиянием софистики была также историография и археология. Национально-патриотические настроения вызвали к жизни книгу Павсания «Описание Эллады», эту энциклопедию древнегреческой культуры. Описывая отдельные области Греции, Павсаний сосредоточивает в каждом разделе богатый и разнообразный материал. Тут и сведения по географии и истории, описания знаменитых культурных центров и отдельных произведений искусства, тут находят отражение мифы, религиозные обычаи, забытые литературные факты. Во времена Павсания ценилось поучение, облеченное в беллетристическую форму. Навстречу такого рода вкусам идет его книга со своим изысканным языком, местами новеллистической манерой изложения и занимательным материалом. Задача Павсания — воскресить перед читателем следы греческого прошлого, рассказать о достопримечательностях некогда славных, а теперь пришедших в упадок и обезлюдевших городов. Он делает это с большим знанием и обнаруживает непосредственное знакомство с описываемыми местностями; однако, кроме собственных наблюдений и расспросов на месте, были использованы многочисленные письменные источники. «Описание Эллады» до сих пор остается единственной в своем роде сокровищницей сведений о материальной культуре и искусстве древней Греции. На основании данных Павсания было, между прочим, сделано важнейшее открытие — находка Шлиманом в конце прошлого века царских гробниц в Микенах.

Самым интересным образцом эпистолографического жанра является сборник фиктивных писем Алкифрона, распадающихся, в соответствии с занятиями корреспондентов, на четыре группы — письма рыбаков, земледельцев, параситов и гетер. Действие перенесено в Аттику IV века до н. э., то есть приурочено к греческой старине, столь любезной представителям второй софистики. Эпистолография не ставит перед собой задачи изображения человеческого характера. Ее цель — бытовая зарисовка, безошибочно впечатляющая деталь, поднятая до высот поэзии будничность. Какое-нибудь выступление рыночного фокусника или завтрак на траве превращается в значительное, достойное внимания явление, с почти эпической важностью и любованием показываются нехитрые бытовые вещи. Историзм Алкифрона носит поверхностный характер и сводится к заимствованию чисто внешних деталей и имен, почерпнутых преимущественно из новой комедии. Встречаются и совсем свободные от стилизации бытовые картинки, списанные, очевидно, с натуры и дающие представление о жизни его времени. Эти письма наиболее интересны и свидетельствуют о филантропических настроениях автора. Как это характерно для греческой литературы вообще, герои Алкифрона лишены речевой характеристики: они пишут друг другу в изысканно-риторической манере, очень далекой от слога едва владеющих грамотой земледельцев, рыбаков и поденщиков.

Своеобразным литературным жанром является софистическая экфраза. Отличаясь высокими литературными достоинствами, эти описания (как свидетельствуют «Картины» Филострата с Лемноса, вставные экфрастические куски греческого романа и вступления к речам) характеризуются умением раскрыть внутреннее содержание памятника искус-

ства с тонкостью, которой могли бы позавидовать специалисты нового времени. Подобного рода комментарий, сводящийся к заключениям из внешнего о внутреннем, свидетельствует о значительном прогрессе в наблюдении над психической жизнью человека. Так появляется новый для античной литературы прием изображения чужого сознания; в полной мере этот прием будет использован только в литературе нового времени, ибо древние сумели применять свое открытие весьма ограниченно (только в сфере собственно экфразы), и оно не стало, несмотря на заложенные в нем возможности, методом изображения характера, разделив судьбу многих подобных ему достижений, долгое время воплощавшихся лишь в отдельных жанрах или на заднем плане повествования.

Для мистико-философских настроений второй софистики характерен ареталогический (ареталогия — рассказы о чудесной жизни пророков и чудотворцев) роман Флавия Филострата «Жизнь Аполлония Тианского». Произведение это представляет собою биографию языческого чудотворца. Жизнеописание облекается в форму рассказа очевидца, спутника и ученика Аполлония, Дамида, и повествует о чудесном рождении, детстве и юности пророка, о его путешествиях по сказочным странам, деяниях, страстях и необычной кончине. Рассказ пестрит отступлениями познавательного характера (речь в них идет о всякого рода диковинах) и оформлен по канонам софистического стиля. Образом своего героя Филострат утверждает гуманность, аскетизм, моральную чистоту. «Жизнеописания софистов», принадлежащие тому же Флавию Филострату, — краткие биографии наиболее выдающихся древних и современных писателю ораторов. Задача Филострата — сообщить как можно более интересный, анекдотического типа материал; обрисовать характер Филострат даже не пытается. Кроме «Жизни Аполлония Тианского», литература господствующего направления оставила и другие образцы повествовательной прозы: вступления к ораторским упражнениям, любовные романы (о них ниже) и псевдоисторические повествования о троянской войне «Диктис» и «Дарет» (сохранились в латинских переводах), продолжавшие традиции мифологической хроники эллинистического времени.

Особое место среди писателей II века занимает Лукиан. В молодости он был характернейшим и блестящим представителем второй софистики, но впоследствии отошел от ее принципов и в полемике с софистами выработал собственную позицию. Уже в начале своей деятельности, будучи странствующим софистом, Лукиан, кроме эпидиктических речей («Фаларид», «Лишенный наследства», «Похвала мухе») и вступлений к ним («О доме» и др.), мало отличающихся от обычного софистического красноречия, выступает с диалогами «Разговоры богов», «Морские разговоры», «Диалоги гетер», которые, правда, тоже входили в число традиционных для второй софистики жанров, но были отмечены печатью оригинальности, позволяющей угадать будущего Лукиана—просветителя и сатирика. Объектом насмешки в этих ранних произведениях является, главным образом, олимпийская мифология, то есть основа тогдашней религиозности — область тем более запретная, что древняя религия, под воздействием греческих национальных сил и с благословения Рима, сравнительно с предшествующими веками, процветала.

Намеченная с самого начала критико-сатирическая линия все больше и больше крепнет в творчестве Лукиана и побуждает его не только порвать с софистическими традициями, но и вступить с ними в борьбу. Так как вторая софистика была порождена господствующей культурой, не удивительно, что оппозиция против нее превращалась в неприятие многих сторон действительности. Религия, мораль, стремление к обогащению, духовная ограниченность во всех ее формах (преимущественно в области философии и литературы) — главные объекты нападок Лукиана. Вопреки критическому свободомыслию и отрицательному отношению к римскому господству, Лукиан, как и многие современные ему писатели, умудряется поддерживать добрые отношения с римской администрацией, и мысль о ломке существующих общественных отношений даже не приходит ему в голову. Более того, в отличие от представителей низовой литературы, он не выдвигает никакой положительной программы, ограничиваясь единственно пафосом отрицания, и в этом оказывается слабее их.

По мере усиления сатирических тенденций Лукиан отказывается от жанров софистической литературы и находит удовлетворяющую его форму в так называемом Менипповом диалоге, фантастически обрамленном и чередующем прозу со стихом. Свое название он получил от имени «изобретателя», как выражались греки, этого жанра, философа-киника III века до н. э. Мениппа. Выбор Менипповa диалога весьма характерен: это жанр кинической популярно-философской литературы, стоявшей в оппозиции к господствующим институтам и нормам и близкий к фольклору. Диалоги этого стиля, «Менипп», «Икароменипп», «Зевс уличаемый», «Зевс-трагик», остроумные и едкие, — безжалостные разоблачения религиозных предрассудков и безнравственности эпохи, хотя их действие и перенесено в III век до н. э., а истинная хронология угадывается только по отдельным намекам. Так же осторожен Лукиан в своих философских диалогах платоновского типа. Например, в диалоге «Нигрин» сатира на Рим предусмотрительно замаскирована философскими абстракциями, придающими ей известную неопределенность, зато в «Пире», где тематика политически менее прямолинейна и разговор идет о нравственном облике философов и их ограниченности, маскировка целиком устранена. Наибольшую свободу Лукиан позволяет себе в области памфлета, где объектом резкой критики оказываются философское меценатство богачей («О состоящих на жаловании») и деятельность различных религиозных сект («Александр», «О кончине Перегрина»). Два последние памфлета особенно интересны. В первом высмеивался реально действовавший «пророк» им самим придуманного бога Гликона — Александр из Абонотиха, шарлатан и мерзавец, беззастенчиво морочивший легковерных приверженцев выдуманного им культа; во втором — некий, тоже реально существовавший, Перегрин, который был связан с одной из христианских сект. Как подлинный просветитель, суевериям и религии противопоставлявший логику и разум, Лукиан не делает различий между религиозными системами, в равной мере испытывая отвращение к христианству, язычеству и персидскому митраизму.

В большой группе произведений литературно-полемического харак-

тера Лукиан выступает против второй софистики или пародирует такие литературные явления, о которых мы узнаем только на основании этой критики, так как значительная часть литературы II века не сохранилась. Расправе со второй софистикой посвящены «Учитель красноречия», «Лексифан» и «Лжеученый», насмешкам над раболепием историков той эпохи — «Как писать историю», пародии на ареталогию и фантастико-утопическую беллетристику — «Любитель лжи» и «Правдивая история». Вполне вероятно, что объектом этих пародий была не столько литература господствующего, сколько низового направления, ибо ареталогия и роман в меньшей степени были характерны для господствующей литературы. Это тем более возможно, что, несмотря на известную близость к народной литературе, Лукиана как просветителя и рационалиста не могла не отталкивать пропаганда чудес. Впрочем, здесь уместно напомнить, что вера в сверхъестественное и чудесное была в высшей степени присуща всем слоям общества; отразилась она и в господствующем литературном направлении II века («Жизнь Аполлония Тианского» Флавия Филострата, «Удивительные истории» Флегонта, группа речей Элия Аристида).

Переходя к низовой литературе, мы оказываемся в гораздо более трудном положении: у нас нет ни возможностей точной датировки отдельных произведений, ни другого важного с историко-литературной точки зрения вспомогательного материала (биографий ее представителей и сведений о ее жанрах). От II—III веков сохранилось значительно большее количество памятников низовой литературы, чем от предшествующего и позднейшего времени. Отражает ли это обстоятельство ее подъем в связи с реакцией на антинародность аттикизма или является следствием случайности, судить трудно. Нельзя также сказать, были ли дошедшие до нас жанры ведущими и существовало ли вообще что-нибудь, кроме романа, произведений типа «Деяний Александра» и ареталогии. Низовая литература в стремлении обособиться от господствующей и быть понятной более широкой аудитории ориентируется на фольклор; она сюжетно занимательнее своей соперницы и примитивнее с формальной стороны, но отнюдь не беднее идейно. Литература эта во многом еще незрела и не полностью самостоятельна; однако ее влияние на последующее время — бесспорное доказательство наличия в ней прогрессивных с точки зрения общего развития литературного процесса тенденций.

Жанром, наиболее полно представленным, является так называемый греческий роман. Как можно заключить по пренебрежительному отношению к нему со стороны представителей господствующего литературного направления, он возник, очевидно, на почве низовой литературы, но был впоследствии использован и литературой господствующей. Образцы греческого семейно-любовного романа, отличаясь друг от друга трактовкой основной проблемы, художественным обликом и рядом других особенностей, обладают, однако, общими чертами, составляющими непременную принадлежность этого жанра. К ним в первую очередь относится трафаретный фольклорно-мифологический сюжет и строго определенные частные ситуации. В основе этого сюжета лежит одна из са-

мых распространенных мифологических схем — биография умирающих и воскресающих божеств плодородия. В греческом романе характерные для нее мотивы исчезновения, поисков, умирания и воскресения богов плодородия облекаются в форму бытового повествования о разлуке, поисках и встречах двух влюбленных; повествование осложнено мнимыми смертями (летаргический сон, не состоявшаяся в последний момент казнь, угроза убийства), необычайными, но тоже строго регламентированными приключениями (например, нападение разбойников, кораблекрушение и проч.). Как и в сюжете мифа, все в романе кончается благополучно, и разъединенные по воле гневного божества герои счастливо воссоединяются в конце. Обычно это молодые супруги, реже — влюбленные, браку которых помешали неожиданные препятствия; молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда и навеки; никакие удары судьбы, разлучающие их обычно в самом начале повествования и щедро рассыпаемые на их пути романистами, не в состоянии сломить волю героев или поколебать взаимную верность. Вопреки всем враждебным обстоятельствам, они после долгих странствий в поисках друг друга наконец встречаются. Тогда наступает счастливая развязка — брак, если речь шла о влюбленных, и спокойная счастливая жизнь, если это были супруги. Кроме очерченного выше общего сюжета, все романы сходны по своей проблематике и, с большей или меньшей последовательностью, выдвигают социально-утопические идеалы. В противовес не удовлетворяющей их социальной действительности романисты рисуют идеальную картину устройства жизни, то есть предлагают, пусть ограниченную, но все же положительную программу. Она, в силу римского политического диктата, принуждена ограничиваться единственно доступной теперь областью — сферой частной жизни и сводится к реформе брачного союза и взаимоотношений людей в обществе (рабов и свободных, свободных равного и различного общественного положения), причем прекраснодушная идеализация связей между людьми противоположных имущественных слоев доводится до степени социальной идиллии. Главное внимание уделяется проблеме брака. В отличие от реально существовавшего патриархального типа брачного союза, в основе которого лежали экономические интересы сторон, а главной целью было рождение потомства для передачи имущества по наследству, женщина же занимала подчиненное, если не бесправное положение, греческий роман пропагандирует новый тип брака, основанного единственно на чувстве взаимной любви, непохожей на плотский эрос древних и представляющей собою высшую сравнительно с ним эмоциональную ступень. Для своего времени подобная концепция брачных отношений была совершенно необычна. В таком же гуманном духе роман пересматривал и другие традиционные институты, рисуя противоречащую реальности желательную картину всеобщего довольства и умиротворения. Вывод, к которому роман стремится подвести читателя, таков: счастья можно достигнуть, если все будут добры, терпимы и гуманны. Недальновидность и утопичность такой социальной конструкции не нуждается в объяснении, но не следует упускать из виду, что роман все-таки предлагал лекарство против общественных зол — оптимистическую веру в морально совершенную человеческую

личность. На фоне общих мрачных настроений, характерных для эпохи в целом, это уже было известным завоеванием.

Устремленность в будущее и социально-утопический характер романа сказываются не только на его проблематике, но и на способах художественного оформления материала, сходных у всех романистов. Правдоподобие поэтому роману чуждо; быт в широком смысле слова, как мир вещей и отражение исторически подлинного места и времени, оказывается за пределами интересов писателя. Вместо этого появляются условно-идеальная обстановка, не связанная с определенной эпохой и географической средой, односторонние абстрактные образы, воплощающие обычно идеальные качества. Таков принцип изображения всех сфер духовной жизни, кроме любовной. Это имеет свои объяснения: рисуя новый тип брака, романист должен был найти способы изображения нового строя чувств, лежащих в его основе. Так появляются описания любовных переживаний и комментарий к ним (действующих лиц и автора): греческий роман впервые открывает сложный и противоречивый эмоциональный мир любящего.

Общим для всех романов является также наличие в определенных местах повествования стандартного риторического стиля. В то время как части романа, описывающие действие, стилистически индивидуальны у различных авторов не в меньшей степени, чем в романах нашего времени, лирические монологи, письма, экфразы безлики и написаны словно одной и той же рукой. Стиль этих пассажей максимально приближен к стилю поэзии: они выдержаны в определенном ритме, нередко украшены рифмой и другими атрибутами риторического искусства. Таким образом, даже «низовой» роман не избег влияния второй софистики, включив в себя характерные для нее малые жанры (письмо, экфраза) и усвоив ее стиль; риторика проникала не только в первоначально независимые от нее жанры господствующей литературы, но и в литературу низовую, еще только вырабатывавшую свои способы художественного выражения и потому обладавшую сравнительно слабой «сопротивляемостью» воздействиям извне.

Современная наука до самого последнего времени рассматривала роман как жанр развлекательной, легкой литературы, чуждой размышлений, а тем более интереса к важным вопросам общественного значения. В связи с этим не делалось попыток дифференцировать мировоззрение отдельных романистов. Между тем различные романы имеют различный читательский адресат, а это влияет, в свою очередь, на весь их идейный и формальный облик. Исходя из этого критерия, романы можно разделить на две группы: 1) произведения, рассчитанные на широкого, или низового, читателя и 2) произведения, обращенные к читателю из господствующего культурного слоя. Романы первой группы — «Повесть о любви Херея и Каллирои» Харитона, анонимная «Повесть об Аполлонии Тирском», «Повесть о Габрокоме и Антии» Ксенофонта Эфесского и «Вавилонская повесть» Ямвлиха — отличаются известной робостью в постановке социальных проблем. Это связано, с одной стороны, с незрелостью мировоззрения их авторов, свойственной представителям общественных кругов, только начавших в культурном и социальном от-

ношении утверждать себя, и с известной половинчатостью идеологии мелких собственников, из среды которых, вероятно, вышло большинство романистов. Романы этой группы характеризуются связью с фольклором и малой зависимостью от риторики. Нескольких примеров достаточно, чтобы составить себе представление об особенностях романов этого типа. Самый ранний из них — «Повесть о любви Херея и Каллирои» Харитона. Автор несомненно ставил перед собой задачу критики современного ему института брака и традиционных взаимоотношений между людьми и стремился показать, какими они должны быть. Но неумение самостоятельно отнестись к традиционному сюжету сказалось в том, что в роман включены эпизоды, которые не только не органичны для авторского замысла, но даже компрометируют его. Этим объясняется, например, второй брак героини, то обстоятельство, что она рождает ребенка (брак нового типа принципиально отвергал деторождение как одну из главных целей традиционного брака, специально стимулировавшуюся законодательством), грубое поведение первого супруга героини, играющее важную сюжетную роль, и некоторое другое. Проблема взаимоотношений рабов и свободных разрешается с большой непоследовательностью, и положительные герои оказываются нередко, несмотря на свой филантропизм, жестокими рабовладельцами; рабы, напротив того, неизменно верны и преданы своим господам.

Зато в изображении психологии любви примитивному искусству Харитона принадлежит одно из первых мест. Анализ чувства ревности, любовной тоски, раскаяния и сомнений у него поистине поразительно глубок.

«Повесть о Габрокоме и Антии» Ксенофонта Эфесского, сравнительно с другими романами первой группы, более сложна и независима от сюжетного трафарета, глубже и шире ставит привычный для романа круг социальных вопросов. В центре внимания — проблема идеальных брачных отношений, показанных на примере трех пар, главных героев, их рабов и обедневшей спартанской четы. Супружеская любовь во всех трех случаях — основа брака; она сильнее всех препятствий, даже старости и смерти. Личность рассматривается как самодовлеющая ценность, вне зависимости от ее социального веса, и потому рабы оказываются столь же нравственно совершенными, как и свободнорожденные, а их союз, юридически не признававшийся браком, несмотря на это, ничем не отличается от соответствующих идеальных союзов свободных. На основе морального совершенства индивидов Ксенофонт строит социальную идиллию, где нет места противоречиям, и между всеми классами и общественными слоями царит мир. Эта вера в нравственную силу личности заставляет автора полемизировать с распространенной в его время стоической концепцией мученичества и непротивления внешним обстоятельствам. Герои Ксенофонта активно относятся к жизни и борются с ударами судьбы всеми доступными им средствами.

Группа романов, предназначенных для читателей из господствующего культурного слоя («Дафнис и Хлоя» Лонга, «Эфиопика» Гелиодора,

«Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия), не однородна по своему характеру. Такие романисты, как Лонг и Гелиодор, настроены к существующим порядкам оппозиционно, Ахилл Татий, напротив того, пытается дать пародию на роман, компрометируя его идейное содержание и форму. Произведения второй группы находятся под сильным влиянием второй софистики, арсенал их художественных средств изысканнее и тоньше, а фольклор опосредствован риторикой. Сельская утопия Лонга «Дафнис и Хлоя» содержит резкую критику всех установлений рабовладельческого общества. Автор противопоставляет идеальному миру естественной простоты (рабы и поселяне) мир цивилизации, зла и порока (рабовладельцы-горожане). Сцена действия как бы разделена на две части, и читателя приглашают взглянуть и сделать выводы. Перед ним предстает деревня, населенная нравственно совершенными людьми,— поистине земной рай, где нарушены физические и социальные закономерности реальной действительности. Там детей вскармливают козы и овцы, и смертным запросто являются боги; там опрокинута привычная «логика» социального бытия и может иметь место такое разбирательство конфликта, когда и истец и судья — рабы, в действительности рассматривавшиеся только как объекты права. Жители этого рая обладают всеми добродетелями — они сострадательны, трудолюбивы, скромны в своих потребностях, не затронуты никакими дурными влияниями или предрассудками. Благополучие и счастье этого утопического мира основано на трудовой деятельности человека. При этом труд изображен как нечто, до такой степени составляющее душевную потребность, что Дафнис и Хлоя, уже обретя родительский дом, не могут жить праздной жизнью. Подобное отношение к труду — очень важный корректив, вносимый Лонгом в фольклорное представление об утопической блаженной стране, где все дается человеку готовым. Нечего и говорить, что в этом идеальном мире браки заключаются только по любви, без примеси экономической заинтересованности. Почвой для появления нравственно совершенного человека является природа, то есть среда, чуждая уродливых и стеснительных норм социальной жизни. Эта мысль подчеркнута наглядным противопоставлением двух родных братьев — воспитанного в городе Астила и выросшего на лоне природы Дафниса.

На противоположном полюсе в романе Лонга — богачи и рабовладельцы, город с его пороками и враждебными человеческой природе нормами существования. Там подкидывают собственных детей, позорят брачные отношения, предаются противоестественному разврату, убивают, там личность человека не имеет никакой цены. Критика господствующих социальных институтов находит отражение в одной чрезвычайно показательной особенности, которую Лонг вносит в традиционный, связанный с новой комедией сюжет о подкинутых и вновь найденных детях. Согласно сюжетному трафарету новой комедии дети богатых родителей, подкинутые в младенческом возрасте, воспитываются в бедности, вне своей социальной среды, но когда родители их находят, радостно расстаются со случайным миром своего детства, чтобы занять подобающее им по рождению место в обществе. Иначе обстоит дело

у Лонга: его герои не могут свыкнуться с городской обстановкой и снова возвращаются к сельской трудовой жизни. Эта нетрадиционная развязка традиционного сюжета настолько чужда принципам античной литературы, что ее появление, несомненно связанное с чрезвычайно важными задачами, которые ставил себе автор, не могло не обратить на себя внимание читателей-современников. Иначе говоря, необычный финал убеждал опроститься, вернуться к естественному существованию, как это сделали Дафнис и Хлоя, указывал дорогу к счастью. Знакомая, но уже обращенная только к представителям господствующего класса программа! Конечно, сила Лонга не в ней, а в обличительной, критической стороне романа.

Буколическая социальная утопия Лонга сильно окрашена риторикой. Автор — образованный человек, обращающийся к образованному читателю, поэтому роман написан по всем правилам второй софистики и пестрит реминисценциями, предполагающими знакомство с литературой. Однако в соответствии с общей идеей прославления добродетели естественного человека он стилизован под наивность и простоту. Сравнительно с другими романами в «Дафнисе и Хлое» мало приключений; действие из сферы внешней перенесено во внутреннюю, психологии уделено больше места, чем обычно, и, что касается образов главных героев, можно говорить даже о зачатках подлинного развития характера. Еще от одной традиционной концепции отказывается Лонг (правда, лишь на периферии повествования) — от представления о гармонии духовных и физических качеств: положительные герои, приемные родители Дафниса, наделены очень непривлекательной наружностью.

«Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия пародирует проблематику и формальные особенности софистического романа. Книга эта создана писателем господствующего направления, не разделявшим критического настроения авторов «Дафниса и Хлои» или «Эфиопики», и адресована образованному читателю. Поэтому брачная идиллия и филантропическая гуманность здесь дискредитированы, а формальные особенности романа доведены почти до гротеска. Сниженным и окарикатуренным отношениям главных героев противопоставлена запретная, не способная воплотиться в брачных отношениях, трагическая и беспокойная любовь (Мелита, Клиний, Менелай). Посвященные ей эпизоды напоминают в известной степени позднейший психологический роман, которому на греческой почве так и не суждено было появиться.

Кроме романов рассмотренного типа, существовал еще роман с сатирико-бытовым сюжетом. Единственный сохранившийся его образец — анонимная (раньше ее приписывали Лукиану) книжечка «Лукий, или Осел», рассказывающая о приключениях превращенного в осла человека. Сама ситуация позволяла широко развернуть картину нравов и показать грубость, жестокость и развращенность, с которой герой сталкивается и в привилегированной и в трудовой среде.

Низовая литература оставила еще один интересный памятник — «Историю Александра Великого». В древности автором ее ошибочно считался историк Каллисфен, историограф Александра Македонского. В своем первоначальном виде памятник возник еще в эпоху эллинизма, но во II—

III веках н. э. подвергся переработке. В «Истории» отчетливо проявляются две тенденции, характерные для позднегреческой литературы — антиримские настроения и тяга к расширению границ познания мира, находившая свое выражение в обостренном интересе ко всему чудесному и сверхъестественному. Восходящая еще к эллинистическому времени политическая концепция, призванная оправдать македонское владычество над Египтом и представить Александра законным преемником фараонов, оказалась в новых условиях актуальной, ибо, утверждая преимущественные права греков на Востоке, льстила национальным чувствам и потому была заимствована без существенных изменений; подбор и освещение отдельных исторических эпизодов, в связи с враждебным отношением автора к римским завоевателям, ярко тенденциозны. Особенно показательны в этом смысле сравнение Александрии и Рима, описание «мирного» захвата Палестины, естественно вызывавшее воспоминания о жестокостях иудейской войны, и исторически абсурдный и потому тем более характерный рассказ о завоевании Александром Италии. В соответствии с этой патриотической задачей строится и образ Александра. Он представлен не столько завоевателем, сколько гуманным борцом за свободу Египта и испытателем природы. Этим создается резкий контраст между греческими и римскими покорителями мира. Задача автора — показать образ идеального владыки; забота о соблюдении исторической правды отходит на второй план.

Конечно, целый ряд исторических и географических ошибок порожден недостаточной осведомленностью автора. Но установка исторической беллетристики греков на воспроизведение лишь самых общих контуров изображаемой эпохи была все-таки и здесь определяющей.

Мир неизведанного, диковинного и сверхъестественного широко представлен в «Истории Александра». Невиданные звери, птицы, растения, мифические народы, чудеса и сказочные дальние страны — вот о чем рассказывается много и охотно. За пестрой беспорядочностью подобных сообщений скрывается стремление раздвинуть границы известного и проникнуть в тайны природы. Однако место положительного знания заступает интерес к невиданному и фантастическому, а нередко и враждебные знанию лженауки типа колдовства, магии и проч. Обращают на себя внимание некоторые сказочные мотивы, предугадавшие научные достижения позднейшего времени: Александр летает по воздуху и в хрустальной камере спускается на морское дно. Античный миф и сказка редко заключали в себе подобные «жюльверновские» эпизоды, а если они и встречались, то дело обходилось без описания технических деталей (исключение составляет миф о полете Икара); герой использовал либо свои сверхъестественные способности, либо чудесную помощь, то есть научная мечта находилась еще на самой примитивной стадии. Эпизод же со спуском Александра на дно — набросок научного открытия, обеспечивающего успех уже не одному только избраннику. «История Александра Великого» не может быть отнесена ни к одному из известных нам жанров, хотя и заключает в себе характерные для многих элементы. Не исключена возможность, что это результат смешения вое-

дино различных жанров, преимущественно господствующей литературы, посредством которого низовое направление создавало свои литературные формы, более свободные от строгих видовых канонов. «История» — произведение во многих отношениях очень примитивное. В первую очередь это сказывается в несовершенстве раскрытия внутреннего мира человека. Характер, в лучшем случае, статичен и односторонен, а в худшем (и это чаще всего) — не обрисован вовсе; стиль по-фольклорному наивен; в отличие от «высокой» беллетристики отсутствуют описания природы и экфразы, действие изобилует противоречиями и непоследовательностями, являющимися следствием не только переделки эллинистического источника, но и характерного для фольклора равнодушия к реальным условиям места и времени. Особенным успехом «История Александра» пользовалась в средние века.

* * *

Литература III века тесно примыкает к литературе предшествующего периода и составляет с ней прочное и органичное единство как с точки зрения идейной, так и формальной. Выдвинутая второй софистикой программа оказалась в высшей степени жизнестойкой и не утратила своей актуальности. От низовой литературы III века ничего не осталось, за исключением памятников повествовательной прозы, уже упомянутых выше и условно датируемых этим временем. В литературе господствующего направления наблюдается расцвет историографии (красноречие отступает на задний план).

Кроме истории в собственном смысле слова (Кассий Дион, Геродиан), писателей интересовала история человека и природы как богатое собрание поучительных примеров; так создавались и занимательные и изящно написанные выборки примеров на различные темы. К произведениям этого рода принадлежат «Пестрые рассказы» и «О природе животных» Элиана. Исторические факты и сведения из области зоологии подобраны здесь по принципу занимательности и с учетом заключенного в них материала для назидания в кинико-стоическом вкусе. При этом природу Элиан ставит выше человека, и все истории из жизни животных доказывают их превосходство над людьми. С киническим свободомыслием Элиан отвергает миф, но верит в богов и провидение; он прославляет обуздание страстей и удовлетворенность жизнью. Эти идеи популярной философии облекаются в интересный новеллистического типа сюжет. Эту же линию продолжает и Афиней в своей огромной энциклопедии «Пир софистов». По форме сочинение Афинея представляет собой диалог, застольную беседу, посвященную различным бытовым, историко-культурным и прочим вопросам, которую ведут между собой представители разных отраслей знания, в том числе такие знаменитости, как юрист Ульпиан и врач Гален. Характеры и манера изложения собеседников индивидуализированы. В связи с архаистическими вкусами эпохи предпочтение отдано материалу далекого прошлого.

* * *

Развитие и торжество христианства в IV веке, эдиктом императора Константина объявленного государственной религией, явилось причиной культурных сдвигов исключительного значения. Христианское миросозерцание стремится подчинить своему влиянию все сферы духовной жизни, в частности создает богатую художественную литературу. Под влиянием такого опасного соперничества языческая литература (она представлена только господствующим направлением) мобилизует все свои силы и переживает кратковременный и последний подъем. В новых условиях она должна была отстаивать не только греческий национальный престиж: борьба шла в более широких пределах — за сохранение и дальнейшее утверждение языческой культуры. Сходство задач во II и IV веках обусловило усвоение литературой IV века принципов и форм, выработанных в период возникновения второй софистики. Поэтому она тоже обращается к греческой старине, к ее религии, философии, мифологии, искусству и языку, ища опору против враждебного языческой культуре миросозерцания в лучшем, что, по мнению позднейших греков, было этой культурой порождено, то есть в достижениях V—IV веков до н. э. Языческая литература противопоставляет себя христианству и прямо, полемизируя с ним по религиозно-философским и нравственным вопросам, и косвенно — стремясь продемонстрировать образцы литературного творчества, отражающие высокую ступень познания мира, и формальное совершенство, достигнутое язычеством, свою ценность, жизнеспособность, силу. Как и в ранней второй софистике, в софистической литературе IV века ориентация на древних не сводилась к одному копированию образцов и провозглашению прежде выработанных принципов, религиозных, собственно литературных или философских. Призыв возвратиться к древним был по существу символом великой культурной традиции и потому в пору бурного развития христианства оказался особенно актуальным; в подчас стеснительных рамках старого можно наблюдать тенденции, далеко выходящие за них. К значительнейшим достижениям языческой литературы IV века относится углубленный показ внутреннего мира человека, осуществляющийся в различных формах самораскрытия личности. Это стремление пропускать факты действительности через индивидуальное сознание становится чрезвычайно характерным. В литературу широко вводятся эпизоды индивидуальной биографии, малые и значительные, рассматриваются не только наиболее существенные моменты в истории личности, но и ее реакция на ничтожные и будничные жизненные явления. Крупные события политической и умственной жизни времени, бытовые взаимоотношения, природа — все это служит материалом для раскрытия образа изнутри.

На передний план снова выдвигается ораторская речь, наряду с ней пользуется популярностью письмо, сатирический диалог и другие жанры софистической литературы. Блестящие с формальной стороны, они насыщены культурно-историческим материалом и являются красноречивым свидетельством переходной эпохи с ее политическими и умственными бурями.

Главой антихристианского протеста в греческой литературе был император Юлиан (известный в истории своей попыткой реставрировать язычество), хотя его нельзя назвать ведущим писателем (сам он считал себя только учеником Либания, крупнейшего представителя плеяды софистов IV века). Своеобразие его судьбы, быть может, предопределило те новшества, которыми обогатил литературу этот Отступник, или Соратник сатаны, как его называли христиане, в какой-то судорожной спешке, в перерывах между сражениями, при свете лагерных костров создававший свои книги. Круг интересов Юлиана очень широк и охватывает религию, философию, историю, политику. Так как он погиб в возрасте тридцати двух лет, его литературное наследие невелико и во многом несовершенно; но очевидно, что это был крупный писатель, не успевший раскрыть своих возможностей. Борьба с христианством составляет задачу Юлиана как государственного деятеля и писателя. Все его творчество (письма, послания, памфлеты, сатира) ярко полемично и подчинено стремлению опровергнуть христианство и утвердить язычество. Материал, которым оперирует Юлиан, опосредствован авторской личностью, пропущен через нее. Ново не только подобное введение фактов, нова и сама проблематика чувств реагирующей на них личности, сложной, противоречивой, раздваивающейся, ищущей путей, терзаемой сомнениями, переживающей мучительную эволюцию. Больше всего поводов для самораскрытия дает письмо, и потому письма являются самым оригинальным в его творчестве. В результате применения нового метода к таким традиционным жанрам, как речь, прославляющая божество, в обеих речах к Гелиосу нарушены жанровые каноны и достигнуты значительное своеобразие и оригинальность. А во «Враге бороды» (послании жителям Антиохии, в котором Юлиан изливает свою обиду на то, что его не понимают как религиозного реформатора и не ценят как гуманного правителя), несмотря на сугубо личную окраску, все же преобладают элементы традиции.

С культурно-исторической точки зрения интересны трактат «Против христиан» и сатира в киническом вкусе «Пир, или Сатурналии». «Против христиан» — полемическое произведение, в котором Юлиан обосновывает свое враждебное отношение к христианскому вероучению. По его мнению, оно, сознательно стремясь к обману, обращается к неразумной стороне человеческой души и чудесам хочет придать достоверность истины.

В творчестве Либания отразились важнейшие общественные и культурные интересы эпохи. Воинствующий язычник, он резко полемизирует с христианством: в сочинениях Либания содержится много нападок на враждебную ему религию и образ жизни ее последователей. Новой религии Либаний не только противопоставляет старую, языческую, но, дабы это противопоставление углубить, путем рационализации древней системы верований подчеркивает нелепость характерной для христианства веры в чудеса и сверхъестественные явления. Эта критика с позиций здравого смысла, то есть в известной мере рационалистических, была, как мы видели, характерна и для Юлиана.

В противовес нравственному идеалу христиан, следуя софистиче-

ской традиции, Либаний выдвигает древнюю добродетель, в противовес подвижническому житию — гражданский и военный подвиг. На этой почве вырастает целая серия декламаций и школьных упражнений, героями которых являются знаменитые деятели прошлого — Фемистокл, Кимон, Демосфен, Сократ и т. д., а сюжетом — эпизоды борьбы за независимость Греции (греко-персидские войны, борьба с Македонией). Пропаганда языческой культуры в ее прошлом и настоящем составляет цель и существо творчества Либания. Таков смысл его речей, прославляющих политику Юлиана, ходатайств по делам различных городов и лиц, восхвалений отдельных городов и наконец речей, отстаивающих языческие святыни. Даже в своих этологических сочинениях (фиктивно-судебных речах, задача которых — используя сюжеты древней литературы, особенно новой комедии, показать всевозможные людские пороки и отрицательные свойства) Либаний, хотя и ограниченный традиционным материалом, не отказывается от полемики. В одной речи говорится о маге, который берется избавить город от чумы, и в образе мага с несомненностью проступают нелестные черты христианского чудодея.

Другая группа сочинений Либания (обращения к ученикам, защита интересов его школы, борьба с «завистниками» и конкурентами, а также письма и автобиография в форме речи) воплощает столь характерное для него стремление к самораскрытию. Показ своих чувств и мыслей, по той или иной причине оставивших след, не нуждается непременно в «высоком» материале, поэтому значительные и незначительные жизненные явления как источники этих мыслей и чувств попадают на равных правах в поле зрения писателя. Сами по себе не представляющие интереса дела и дни школы лишь потому привлекают внимание Либания, что дают выход его потребности самопознания. Мы читаем о ревности к ученикам, о недовольстве ими, о радостях встречи, читаем гневные отповеди хулителям и благодарности друзьям. Образчиком такого рода сочинений может служить речь, в которой Либаний жалуется на равнодушие, с каким его ученики отнеслись к попытке некоего недоброжелателя околдовать его и с этой целью подбросившего в аудиторию труп хамелеона. Другие, более сложные стороны личности автора раскрываются в философских, исторических, политических и религиозных размышлениях, в рассказах о тяжелой внутренней борьбе. Он обращается к различным по своим интересам и уровню адресатам (среди них были Юлиан, ритор Фемистий и историк Аммиан Марцеллин) и касается самых различных тем. Письма Либания были рассчитаны на публикацию и являются не столько человеческим документом, сколько фактом литературы. От него сохранилась огромная коллекция (более полутора тысяч) блестяще написанных писем — единственное в своем роде достижение античного эпистолографического искусства. В речи-автобиографии, произведении большого литературного значения, сделана попытка представить духовную эволюцию автора, начиная с детских лет. Творчество Либания сыграло важную роль в литературной жизни его эпохи и в позднейшее византийское время.

Фемистию в борьбе языческих писателей IV века с христианством принадлежит особое место. Относясь терпимо, в отличие от Юлиана и

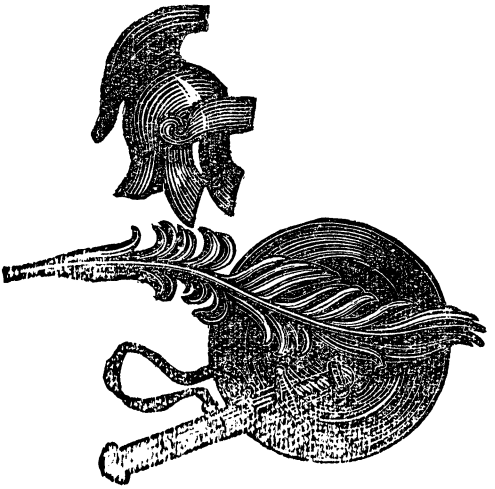
Либания, к представителям враждебного ему миросозерцания, он воздерживался (за исключением времени правления Юлиана) от полемики с ними, но противопоставлял религиозной философии христианства древнюю греческую философию и ставил своей задачей, как мы бы сейчас сказали, популяризировать ее. На почве таких стремлений вырастают парафразы (изложения) отдельных произведений Аристотеля и речи на различные отвлеченные темы (государство и философия, филантропия, обязанности правителя и т. п.). Поставленные вопросы разрешались, однако, в такой мере абстрактно, что Фемистий умудрился быть в чести и у христианских императоров и у Юлиана. Ему принадлежат также разного рода политические речи и похвальные речи в честь императоров. Фемистий был отличным стилистом, и это немало способствовало его славе.

Литературное наследие Гимерия сохранилось плохо, но, по-видимому, большие события времени почти не получили отражения в его творчестве, хотя оно и не лишено следов полемики с христианством. В своей борьбе с христианами Гимерий предпочитает эпидиктические речи, посвященные героическому прошлому (от имени оратора Гиперида он произносит речь в защиту политики Демосфена, от имени Фемистокла призывает к войне с персами), или прославлению традиционной греческой религии и праздничной обрядности. Большое место в творчестве Гимерия занимают речи, обращенные к ученикам и связанные с интересами его школы. Гимерий больше, чем его соратники, скован традицией: не только в тематике, но и в понимании человеческой личности, в восприятии природы (области, в которых софистика IV века преимущественно проявила свою самостоятельность) он не выходит за рамки ранее достигнутого. Отличается Гимерий от современников также высокой степенью поэтизации прозаического слога, что, между прочим, послужило Либанию основанием упрекать его в измене принципам аттикизма. Вероятно, известная односторонность послужила причиной кратковременности прижизненного успеха Гимерия.

IV веком завершается многовековое развитие греческой художественной прозы. В V веке языческая литература продолжает существовать лишь в поэтической форме и хотя дает даже такие значительные сочинения, как поэма Нонна о Дионисе, судьба ее уже решена, как можно судить по отмиранию ряда важнейших жанров и резкому (абсолютно и сравнительно с литературой христианской) количественному сокращению памятников. В VI веке она исчезает совершенно, поскольку исчезает и породившая ее историческая формация: феодализм сменяет греко-римский рабовладельческий строй и приносит свое детище — среднегреческую, или византийскую, литературу.

С. Полякова

ИОСИФ ФЛАВИЙ



ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА

I, 22

[Ирод и Мариамна]

Словно мстя Ироду [1] за удачи в государственных делах, судьба послала ему несчастья в собственной его семье, и причиной тягостных испытаний стала женщина, которую он любил больше всех. До вступления своего на престол он был женат на Дориде, родом из Иерусалима, но когда начал царствовать, отослал ее и женился на Мариамне, дочери Александра, сына Аристовула. И очень скоро в доме начались раздоры из-за нее, в особенности после возвращения Ирода из Рима. Сначала, думая о детях, которых родила ему Мариамна, он изгнал из столицы сына своего от Дориды — Антипатра, разрешив ему являться в город лишь по праздникам. Затем, по подозрению в заговоре, он казнил деда своей жены Гиркана, прибывшего к нему из Парфии.

Гиркан был взят в плен Барзафарном [2], совершившим набег на Сирию; но заботившиеся о нем соплеменники, жившие по ту сторону Евфрата, добились его освобождения. Если бы он послушался их советов и не поехал к Ироду, то остался бы жив. Но брак внучки стал для него губительной приманкой. Думая, что брак этот защитит его, он вернулся на родину, по которой безмерно тосковал. Настроил же он Ирода против себя не тем, что стремился к власти, а тем, что имел на нее право.

Мариамна родила Ироду пятерых детей — двух дочерей и трех сыновей. Младший из них умер в Риме, где он воспитывался, а двое старших росли как царевичи, ибо мать их была благородного происхождения и они родились, когда отец уже царствовал. Но еще больше способствовала заботе о детях любовь царя к Мариамне. С каждым днем все сильнее разгоралась она в Ироде, так что он не чувствовал даже огорчений, которые доставляла ему любимая женщина. А ненависть к нему Мариамны была столь же велика, сколь велика была его любовь к ней. Испытывая естественную вражду к Ироду за его дела и чувствуя, что любовь мужа позволяет ей говорить безнаказанно, Мариамна открыто обвиняла его в убийстве деда ее Гиркана и брата Ионафана. Ибо и его не пощадил Ирод, хотя тот был еще ребенком; но, возведя его в возрасте семнадцати лет в сан первосвященника, убил вскоре после того, как оказал ему эту почесть. Когда облаченный в священнические одежды тот приблизился к алтарю во время праздника, то вид его вызвал слезы у собравшегося там народа. И вот после этого царь ночью отослал Ионафана в Иерихон [3], где, по его приказу, галаты утопили юношу в бассейне для купанья.

Во всех этих злодеяних и обвиняла Мариамна Ирода и осыпала мать его и сестру грубыми оскорблениями. Сам он, полный любви, молча сносил ее нападки, но женщин охватило сильное негодование, и, желая сильнее поразить Ирода, они обвинили ее в прелюбодеянии. Много чего придумали они в подтверждение этого, а под конец сказали, что Мариамна послала Антонию [4] в Египет свой портрет и с великим бесстыдством издали показала свое лицо человеку, который до безумия любил женщин и не останавливался перед насилием. Обвинение это, как удар грома, поразило царя, тем более что любовь сделала его ревнивым. К тому же пришла ему на ум и жестокость Клеопатры, погубившей царя Лисания и араба Малха [5], и он решил, что ему грозит опасность не только потерять супругу, но и лишиться жизни.

И собираясь отправиться за пределы своего царства, он вверил жену Иосифу — мужу Саломеи, сестры Ирода, — человеку, который отличался верностью и по-родственному был привязан к нему. При этом он дал ему тайный приказ убить Мариамну, если его, Ирода, убьет Антоний. А Иосиф открыл ей эту тайну, но не по злому умыслу, а желая показать женщине, сколь ве-

лика любовь царя, который и в смерти не в силах вынести разлуки с нею. И когда после возвращения Ирод стал клясться в своей привязанности к жене, говоря ей, что никогда не любил он так другую женщину, Мариамна сказала: — Еще бы! Ты хорошо доказал любовь ко мне своим поручением Иосифу, приказав убить меня.

Услышав это, Ирод пришел в неистовство и воскликнул, что никогда бы Иосиф не открыл ей этого поручения, если бы не совратил ее. Вне себя от гнева, он вскочил с ложа и стал метаться взад и вперед по царским покоям. Тут сестра его Саломея воспользовалась удобным случаем и своей клеветой еще больше укрепила в нем подозрение против Иосифа. И, обезумев от неистовой ревности, он приказал немедленно убить обоих. Но за гневом быстро последовало раскаяние, и когда улеглась его ярость, то вновь загорелась любовь. Так пылала в нем страсть, что он не хотел верить в смерть Мариамны и в своем горе обращался к ней, словно к живой, пока время не приучило его к утрате. И с такой же силой скорбел он по супруге, с какой любил ее при жизни.

III, 8

[Переход Иосифа к римлянам]

Римляне усиленно разыскивали Иосифа, потому что были ожесточены против него, и полководец их очень хотел взять его в плен, считая это крайне важным для успеха в войне. И они искали его среди мертвых и прятавшихся в тайниках. Но Иосиф во время взятия города [6], словно охраняемый божественным провидением, прокрался сквозь гущу врагов и спрыгнул в глубокую яму, из которой открывался доступ в просторную пещеру, незаметную сверху. В этом укрытии он нашел сорок знатных людей с запасами продовольствия на долгое время. И днем он скрывался там, ибо все окрестности были захвачены врагами, а ночью выходил, чтобы отыскать путь для бегства и узнать, где стража. Но скрыться было некуда, ибо повсюду были расставлены караулы, и он снова спускался в пещеру. Так провел он в убежище два дня, а на третий день попала в плен одна бывшая с ними женщина и выдала его. И Веспасиан [7] тут же поспешил послать двух трибунов — Павлина и Галликана, приказав им обещать Иосифу безопасность и убедить его выйти.

Придя к пещере, они стали уговаривать его сдаться, ручаясь, что ему ничего не грозит, но не могли его убедить. Не мирное поведение посланцев внушало Иосифу подозрение, а страх перед тем, что́ ему придется претерпеть за все свои дела. И он до тех пор боялся, что его выманивают, дабы покарать, пока Веспасиан не послал за ним третьего — старого знакомого Иосифа и близкого ему человека, военного трибуна Никанора. Тот пришел и сказал,

что римлянам свойственно милосердие к побежденным, что сам Иосиф своей доблестью вызвал в военачальниках скорее восхищение, чем ненависть, и что не для наказания стараются привести его — ведь полководец в силах наказать Иосифа, если тот и не выйдет, но предпочитает спасти отважного человека. Он прибавил, что никогда Веспасиан не послал бы к нему друга, чтобы взять его хитростью, не стал бы прикрывать самое достойное самым низким, вероломство — дружбой, да и сам он не согласился бы пойти и обмануть друга.

Иосиф все еще колебался, несмотря на речи Никанора, и разъяренные воины уже готовы были бросить в пещеру горящие факелы. Но начальник удержал их, стремясь во что бы то ни стало захватить Иосифа живым. И вот, слыша неотступные просьбы Никанора и угрозы столпившихся у входа врагов, Иосиф вспомнил свои ночные сновидения, в которых бог открыл ему грядущие бедствия иудеев и судьбы римских императоров. А он умел толковать сны и угадывать то, что бог возвещает в загадочных образах, ибо он был священник и священнического рода и был знаком с пророчествами священных книг. И вот вдохновленный ими в этот час, он вспомнил страшные образы недавних своих снов и вознес богу тайную молитву: — Коль скоро решил ты, — сказал он, — низвергнуть сотворенный тобой род иудеев и счастье всецело перешло на сторону римлян, коль скоро ты избрал душу мою возвещать грядущее, я добровольно сдамся римлянам и останусь жить. А ты будь свидетелем, что не изменником иду я к ним, но твоим посланцем.

И, произнеся это, он готов был сдаться Никанору. Но когда скрывавшиеся вместе с ним иудеи увидели, что он уступил уговорам, все они окружили его, восклицая: — Грозно возропщут отеческие законы, установленные богом, который вложил в души иудеям презрение к смерти! Ты хочешь жить, Иосиф, и готов стать рабом, лишь бы глаза твои не лишились света дня. Как скоро забыл ты самого себя! Сколько людей ты убедил пожертвовать жизнью ради свободы! И вот слава о храбрости твоей оказывается ложью, и лжива слава о твоей мудрости — ведь ты надеешься, что тебя пощадят люди, с которыми ты так упорно боролся, и готов принять спасение из их рук, если исполнится эта надежда. Но коль скоро счастье римлян заставило тебя забыть о своем долге, то позаботиться о славе отечества следует нам. Вот тебе наша рука и вот наш меч: хочешь добровольно встретить смерть — умрешь полководцем иудеев, не хочешь — умрешь изменником. — И с этими словами они обнажили мечи, грозя убить его, если он сдастся римлянам.

Боясь их нападения и считая, что он изменит божественным повелениям, если умрет прежде, чем возвестит открывшееся ему, Иосиф в столь затруднительном положении попытался воздействовать на них доводами разума: — Друзья! — сказал он, — зачем мы стремимся лишить себя жизни? Зачем хотим разлучить душу и

тело, которые столь крепко привязаны друг к другу? Вы скажете — я переменился? Что ж — римляне знают, правда ли это. Прекрасно пасть на войне, но — по закону войны, от руки победителя. И если бы я бежал от оружия римлян, то поистине достоин был бы умереть от собственного меча и собственной руки. Когда же римляне исполнены желания пощадить врага, то насколько естественней, чтобы и мы пощадили себя. Ведь безрассудно было бы самим лишить себя того, за что мы сражаемся с римлянами. И я говорю, что прекрасно умереть за свободу, но умереть сражаясь и от рук тех, кто хочет лишить нас этой свободы. А они не хотят теперь вступать с нами в сражение и не лишают нас жизни. Ведь одинаково трусливы и тот, кто не хочет умирать, когда надо, и тот, кто хочет умереть, когда нет в этом надобности. Чего боимся мы, почему не выходим к римлянам? Не смерти ли мы боимся? Но разве не готовы мы сами пойти на верную смерть, в то время как врагов лишь подозреваем в намерении нас убить? «Нет, — скажет кто-нибудь, — мы боимся рабства». Нечего сказать, великой свободой пользуемся мы теперь! Другой скажет: «Достойный поступок — лишить себя жизни». Нет, самый недостойный! Ведь трусливей всех тот кормчий, который из страха перед непогодой добровольно потопит свое судно, прежде чем разразится буря. К тому же самоубийство противно природе всего живого, это нечестие перед сотворившим нас богом. Нет такого животного, которое умирало бы добровольно или само себя убивало. Таков могучий закон природы, что всеми владеет воля к жизни. Потому и считаем мы врагами тех, кто открыто стремится лишить нас ее, и наказываем тех, кто делает это тайно. Неужели думаете вы, что человек не прогневает бога, презревши его дар? От него получили мы свое бытие, и лишь он волен его пресечь. Тело у каждого из нас смертно и создано из бренной плоти, но душа — вечна и бессмертна и присутствует в теле как частица божества. Ведь даже тот, кто растрачивает доверенное ему другим человеком имущество или дурно пользуется им, обычно считается негодным обманщиком. Если же человек вырывает из своего тела то, что вверил сам бог, как укроется он от всевышнего, которого оскорбил? Считается справедливым наказывать беглых рабов, если они покидают даже дурных господ, а мы думаем, что не согрешим, бежав от наилучшего господина — бога? Или неизвестно вам, что те люди стяжают вечную славу, которые расстаются с жизнью по закону природы и возвращают богу взятое у него, когда даятель пожелает получить долг? Они утверждают род свой и дом, а души их, оставшись чистыми и покорными божьей воле, получают в удел святейшую обитель на небесах и с круговоротом времен снова вселяются в безгрешные тела. У тех же, что в безумии своем наложили на себя руки, души нисходят во мрак преисподней, и бог, их отец, карает их потомков за преступления предков. Потому и ненавистен богу этот грех, и муд рейший законодатель [8] установил за него наказание: вы знаете,

у нас принято, чтобы тела самоубийц валялись непогребенными до захода солнца. А между тем мы считаем долгом своим хоронить даже врагов. У других же народов таким мертвецам приказано отрезать правую руку, которая лишила их жизни [9]. Многие считают, что подобно тому как тело самоубийцы враждебно его душе, так и рука эта враждебна его телу. И мы хорошо сделаем, друзья, если будем благоразумны и не станем прибавлять к земным бедствиям нечестия перед тем, кто сотворил нас. Хотите спастись — давайте спасемся: ничуть не позорно спастись благодаря тем, кому мы явили уже свою доблесть столькими подвигами. Хотите умереть — славна смерть от руки победителей. Я не стану в ряды врагов, изменив самому себе, — я был бы тогда на много глупее тех, кто перебегает к врагу. Ведь такие люди делают это, чтобы спастись, а я сделал бы лишь на собственную свою погибель. И больше всего я желаю коварства римлян: убитый ими, вопреки их клятве, я охотно расстанусь с жизнью, ибо вероломство лжецов будет мне лучшим утешением, чем была бы сама победа.

Много подобных речей произносил Иосиф, желая отвратить своих от самоубийства. Но отчаяние сделало этих людей глухими, и они давно уже обрекли себя на смерть. В ожесточении они набросились на него со всех сторон с мечами в руках, ругая трусом, и каждый готов был заколоть его. Но он окликнул одного по имени, другого окинул повелительным взором полководца, третьего схватил за руку, на четвертого подействовал просьбами. Обуреваемый разноречивыми чувствами, он в этом безвыходном положении отвращал от себя их убийственное оружие, словно загнанный зверь то и дело поворачиваясь к тому, кто нападал на него. И даже теперь, в столь великом бедствии, всё еще чтили они в нем полководца; руки нападавших ослабели, мечи опустились, и многие сами бросили свое оружие.

В подобном затруднении находчивость не покинула его. Веря в милосердие господа, он задумал рискнуть своей жизнью и сказал: — Если мы хотим умереть, давайте решим с помощью жребия, кто кого убьет. Пусть первый, кто вытянет жребий, падет от руки второго, и таким образом рок настигнет всех нас, и не придется каждому погибать от собственной руки — несправедливо ведь, чтобы после гибели остальных кто-нибудь мог передумать и остаться в живых. — Слова эти пробудили в них доверие, и, убедив их, он и сам стал тянуть жребий вместе с другими. Каждый вытянувший добровольно давал убить себя следующему, уверенный, что после него погибнет и полководец, а смерть вместе с Иосифом казалась им слаще жизни. И вот то ли по счастливой случайности, то ли по божественному провидению, под конец в живых остался Иосиф еще с одним иудеем. Тогда, не желая погибнуть, вытянув жребий, или остаться последним, осквернив свои руки убийством сородича, он убедил товарища довериться римлянам и остаться в живых.

Уцелев таким образом в войне как с римлянами, так и со своими, Иосиф был отведен Никанором к Веспасиану. Все римляне сбежались посмотреть на него. Вокруг полководца теснилась толпа и раздавался смешанный гул: одни радовались его пленению, другие угрожали, третьи проталкивались вперед, чтобы увидеть его поближе. Стоявшие поодаль требовали казнить врага, а находившиеся вблизи вспоминали о делах Иосифа и дивились перемене с ним. И не было ни одного из военачальников, который, несмотря на прежнее свое ожесточение, не смягчился бы при виде его. В особенности же — Тит; [10] он больше всех был тронут стойкостью Иосифа в испытаниях и сочувствовал его юному возрасту. Вспоминая, как тот накануне еще сражался, и видя его теперь в руках врагов, он подумал о том, сколь всесильна судьба, как переменчиво военное счастье и непрочно все человеческое. Многие прониклись его настроением и жалостью к Иосифу, и Тит больше других постарался тогда, чтобы его отец сохранил пленнику жизнь. А Веспасиан приказал охранять Иосифа со всей тщательностью, намереваясь вскоре отправить его к Нерону.

Когда же Иосиф услышал об этом, он сказал, что хочет поговорить с Веспасианом наедине. И когда тот удалил всех, кроме сына своего Тита и двух друзей, Иосиф сказал: — Ты считаешь, Веспасиан, что просто захватил Иосифа в плен, а между тем я прихожу к тебе вестником великих судеб. И не будь я послан богом, то сумел бы последовать закону иудеев и умереть, как подобает полководцу. Ты хочешь послать меня к Нерону? Для чего? Словно долго удержатся на престоле преемники Нерона! Ты, Веспасиан, будешь цезарем и императором, ты и этот твой сын. Еще крепче закуй меня теперь и охраняй как свою собственность — ведь ты, цезарь, не только надо мной владыка, но и над землей, и морем, и над всем родом человеческим. А я прошу: тщательнее стереги меня, чтобы наказать, если я попусту ссылаюсь на волю бога. — Вначале Веспасиан, казалось, не поверил его словам, думая, что Иосиф пустился на хитрость ради спасения своей жизни. Но понемногу он проникся доверием, ибо сам бог пробудил в нем мысль о владычестве и еще до этого указал другими предзнаменованиями, что к нему перейдет скипетр. При этом он узнал, что Иосиф и в других случаях давал верные предсказания. Дело в том, что один из друзей Веспасиана, присутствовавший при тайной беседе, с удивлением спросил Иосифа, почему он не смог раньше предсказать падения Иотапаты и собственного пленения, если только теперешние его слова — не болтовня, придуманная, чтобы избежать гнева римлян. И тогда Иосиф поведал, как предсказал он жителям Иотапаты, что город будет взят через сорок семь дней, а сам он живым попадет в руки римлян. Веспасиан сам расспросил об этом пленников и, узнав, что это правда, стал верить и пророчеству, касавшемуся

его самого. Он оставил Иосифа под стражей и не снял с него оков, но пожаловал ему одежды и другие ценные дары, относясь к нему с милостью и заботой. И такому почетному обращению Иосиф больше всех обязан был Титу.

V, 12

[*Осада Иерусалима*]

Тит совещался с военачальниками. Более горячие из них считали, что следует собрать все силы и обрушиться на стены: до сих пор иудеи сталкивались лишь с отдельными отрядами, натиска же всего войска и града стрел они не выдержат. Из более осторожных одни советовали снова сооружать насыпи, другие — продолжать осаду без насыпей и следить лишь, чтобы осажденные не могли выходить и получать продовольствие; тогда город будет обречен на голод и удастся избежать рукопашного сражения с врагами. Незачем биться с отчаявшимися людьми, высшее желание которых — пасть от меча; и без того их постигнет еще худшее несчастье. А самому Титу хоть и казалось, что не подобает столь сильному войску пребывать в полном бездействии, но и он считал, что излишне сражаться с людьми, готовыми истребить друг друга. Он сказал, что сооружать насыпи трудно из-за нехватки леса, охранять же выходы еще труднее, ибо на столь неудобной местности окружить войском большой город — дело нелегкое. К тому же им могут помешать вражеские вылазки. Кроме того, хоть дороги и будут охраняться, иудеи, хорошо зная местность, найдут в случае необходимости потайные ходы. Если же они смогут тайком вносить в город припасы, то это еще больше затянет осаду. А Тит боялся, что продолжительность осады умалит славу его подвига. Ведь всего, конечно, можно достигнуть со временем, но для славы нужна быстрота. И вот, чтобы сочетать быстроту с безопасностью, он решил, что следует обнести весь город стеной — лишь таким образом будут отрезаны все выходы. И тогда, полностью отчаявшись в спасении, иудеи сдадут город или, изнуренные голодом, легко станут добычей римлян. Да и сам он не будет бездействовать, но снова примется за сооружение насыпей, когда у врагов останется еще меньше сил противодействовать ему. Если же кто-нибудь сочтет это предприятие чересчур сложным и трудным для исполнения, пусть вспомнит, что не к лицу римлянам незначительные дела и что никому не дано легко и без труда свершить что-либо великое.

Убедив таким образом военачальников, он приказал войскам взяться за дело. Небывалое рвение охватило воинов, и когда части стены были разделены между ними, не только легионы, но и отряды, составлявшие каждый из легионов, вступили в состязание друг с другом. Солдат стремился отличиться перед декурио-

ном, декурион — перед центурионом, центурион — перед трибуном, трибуны усердствовали перед военачальниками, а в соревновании военачальников судьей был цезарь. Каждый день он сам обходил все позиции, постоянно следя за работами. Начав от стоянки ассирийцев, где находился и его лагерь, он вел стену к нижней части Нового города; оттуда она шла через Кедрон [11] на Елеонскую гору, затем, повернув на юг, огибала эту гору, доходя до скалы Перистереон и расположенного поблизости холма, лежащего над Силоамской долиной. Далее она направлялась на запад, спускаясь в долину к источнику; поднималась оттуда к гробнице первосвященника Анана и охватывала гору, на которой когда-то разбил лагерь Помпей. Затем стена поворачивала на юг и, достигнув деревни, носившей название Эребинтон Ойкос, огибала гробницу Ирода и с востока подходила к лагерю Тита, откуда и начиналась. Длина стены равнялась двадцати девяти стадиям, и снаружи к ней было пристроено тринадцать укреплений, протяженность которых составляла в целом десять стадий. И все это они соорудили в три дня — такова была невероятная быстрота работы, которой при иных обстоятельствах хватило бы на месяцы. Окружив город стеной и разместив воинов в укреплениях, Тит в первую стражу ночи [12] сам совершал осмотр и следил за всем, во вторую — поручал осмотр Александру, а в третью — метали жребий начальники легионов. Часовые также распределяли между собой по жребию часы сна и всю ночь обходили промежутки между укреплениями.

Вместе с возможностью выйти из города иудеи лишились и всякой надежды на спасение, а усилившийся голод производил опустошение среди жителей, унося целые дома и семьи. Крыши были усеяны измученными женщинами и детьми, улицы — полны мертвыми стариками. Распухшие от голода мальчики и юноши блуждали по площадям, словно призраки, и каждый падал там, где его поражала судьба. У изнуренных людей не было сил хоронить своих близких, а те, кто сохранял еще силы, страшились обилия мертвецов и собственной участи, неведомой им. Многие падали мертвыми на тела, которые они хоронили, и много было таких, что сами шли к могиле, прежде чем настанет их час. И горе это не находило себе выхода ни в плаче, ни в стенаниях — голод подавил все чувства. Оскалив зубы, сухими глазами смотрели медленно умирающие на тех, кто обрел уже покой. Глубокая тишина окутала город, и ночь дышала смертью, но ужаснее всего были разбойники. Обирая дома, словно могилы, они грабили мертвецов, и, срывая с тел покрывала, со смехом уходили. Они пробовали на трупах острия своих мечей и, испытывая оружие, пронзали некоторые из поверженных тел, в которых еще теплилась жизнь. Тех же, что молили поразить их мечом, они с презрением оставляли во власти голода. И каждый испускал дух, обратив свой взор в сторону храма, где оставались еще в живых восставшие. А те, не в силах вынести смрад, пер-

вое время хоронили мертвых на общественный счет, но когда не смогли уже поспевать за трупами, то начали сбрасывать их со стен в ущелья.

И когда Тит во время обхода увидел, что ущелья эти полны мертвецами и обильный гной сочится из разложившихся тел, он тяжело вздохнул и, воздев руки, призвал бога в свидетели, что не он виновен в этом. Вот в каком положении находился город. Никто из восставших, пораженных отчаянием и голодом, уже не тревожил римлян набегами, и те сохраняли бодрость, получая в избытке хлеб и другие припасы из Сирии и окрестных областей. А многие приближались к стене и, выставляя напоказ великое изобилие пищи, еще сильнее разжигали своей сытостью голод врагов.

VI, 4—5

[Гибель храма]

4. На следующий день Тит приказал части войска потушить пожар и провести дорогу к воротам, чтобы облегчить доступ к ним легионам, а сам созвал военачальников. Собрались шесть самых главных: Тиберий Александр — начальник всех войск, Секст Цереалис — начальник пятого легиона, Ларций Лепид — начальник десятого, Тит Фригий — начальник пятнадцатого, а также Фронтон Этерний, префект двух легионов из Александрии, и прокуратор Иудеи Марк Антоний Юлиан. Вместе с ними собрались прокураторы и военные трибуны и все сообща стали держать совет, как быть с храмом. Одни считали, что следует поступить с ним по закону войны — ведь никогда не перестанут бунтовать иудеи, пока стоит храм, к которому они стекаются отовсюду. Другие советовали пощадить храм, если иудеи покинут его и ни один не поднимет оружия в его защиту. Если же они займут его, чтобы сверху оказывать сопротивление, то — сжечь, ибо уже не храмом станет он тогда, а крепостью, и не на римлян падет нечестие, а на тех, кто принудил их к этому. Но Тит сказал, что если даже иудеи засядут в храме, не следует вымещать на неодушевленных предметах злобу против людей. Ни в коем случае не следует сжигать столь славное сооружение — для римлян это будет лишь потерей, тогда как сохраненный храм послужит украшению империи. К мнению Тита охотно присоединились Фронтон, Александр и Цереалис. Вслед за тем Тит распустил собравшихся и отдал приказ военачальникам дать войскам отдых, чтобы солдаты могли вступить в бой со свежими силами. А отобранным из когорт воинам он приказал проложить дорогу через развалины и потушить пожар.

Изнеможение и подавленность сдержали в тот день порыв иудеев. Но на следующий день во втором часу, собравшись с силами, они с новым мужеством напали через восточные ворота

на воинов, карауливших храм снаружи. А те храбро встретили их вылазку, сомкнув ряды и словно стеной оградив себя спереди щитами. Но видно было, что они недолго смогут держаться и уступят численности и отваге нападавших. Тогда цезарь, следивший за боем с башни Антонии [13], решил предупредить такой исход и с отборными всадниками выступил на помощь своим. Иудеи не выдержали натиска и, когда первые ряды их пали, обратились в бегство. Но когда римляне отошли, они повернулись и снова напали на них; те опять двинулись навстречу врагу, и они снова побежали. И к пятому часу дня, уступив силе, иудеи были заперты внутри храма.

А Тит возвратился к Антонии, решив на заре стянуть к храму все войско. Но давно уже обрек его господь на сожжение, и настал в круговороте времен роковой день — десятый день месяца лооса,— в который он сожжен был некогда царем вавилонян [14]. На этот раз огонь загорелся по вине самих иудеев, они были причиной пожара. Дело в том, что, когда Тит отошел, восставшие после короткой передышки снова напали на римлян. Завязалось сражение между защитниками храма и воинами, пытавшимися погасить огонь в наружной части святилища. Те обратили иудеев в бегство и следовали за ними до самого храма. И тут один из воинов, не дожидаясь приказа и не страшась такого деяния, словно по внушению свыше, схватил горящую головню. Товарищ приподнял его, и он бросил головню в золотое окно, через которое с севера открывался доступ в помещения, окружавшие храм. И когда пламя вспыхнуло, столь же горестный крик испустили иудеи, сколь велико было их бедствие, и бросились на защиту храма, не щадя жизни и не жалея сил, ибо гибло то, что они так всегда берегли.

Тит отдыхал после боя в своей палатке, когда кто-то вбежал к нему и сообщил о происшедшем. Тут же вскочив, он поспешил к храму, чтобы остановить огонь. Все военачальники, а за ними разъярепные легионы бросились вослед. Шум и смятение поднялись при беспорядочном движении такого войска. И голосом и знаками цезарь приказывал сражающимся гасить огонь, но возгласов его они не слыхали, ибо слух их наполнен был более громкими криками, а на движения руки не обращали внимания: одни были увлечены сражением, другие — охвачены гневом. Ни увещания, ни угрозы не могли сдержать стремительный натиск легионов — начальником над всеми была ярость. Сталкиваясь у входов, многие были затоптаны своими же товарищами, а многие падали на раскаленные, все еще дымящиеся развалины галерей и делили горькую участь побежденных. Сбежавшиеся к храму воины притворялись, будто не слышат приказаний цезаря, и побуждали находившихся впереди бросать огонь внутрь. И не в силах уже были восставшие справиться с пожаром — повсюду их убивали или обращали в бегство. Толпы иудеев, ослабевших и безоружных, были перебиты, и каждый падал там, где

его настигали враги. Груда мертвых тел громоздилась вокруг алтаря, кровь потоками лилась по ступеням храма и трупы убитых наверху скатывались вниз.

Видя, что он не в силах сдержать неистовый натиск воинов, а огонь разгорается все сильнее, цезарь вместе с военачальниками вступил внутрь храма. И он осмотрел святая святых и то, что там было, и увиденное им в храме намного превосходило молву, которая шла среди чужестранцев, и по достоинству считалось славой и гордостью иудеев. Пламя не успело проникнуть внутрь и уничтожало окружавшие храм помещения, и Тит справедливо решил, что здание можно еще спасти. Он выбежал наружу и сам начал призывать воинов гасить огонь, а центуриону своих копьеносцев Либералию велел бить ослушников палками. Но ни почтение к цезарю, ни страх перед начальником не могли переселить ярости, ненависти к иудеям и боевого рвения, ставшего еще более безудержным. Многих при этом влекла надежда на добычу — видя, что храм отделан снаружи золотом, они думали, что и внутри он весь наполнен сокровищами. И вот, после того как цезарь выбежал, чтобы сдержать воинов, один из забравшихся внутрь вложил огонь в отверстия для дверных крюков. Когда же изнутри внезапно появилось пламя, цезарь удалился вместе с военачальниками, и никто уже не препятствовал находившимся снаружи раздувать пожар. Так против воли цезаря был предан сожжению храм.

Велика скорбь по творению, которое из всего, что мы видели и о чем слышали, было самым дивным по своему устройству, по величине, по великолепию каждой из частей своих и столь славилось своими святынями. Утешение здесь лишь в том, что все живые существа, все творения рук наших, все места на земле находятся во власти судьбы. И подивиться можно точности, с которой совпало роковое время. Как сказал я уже, до того месяца берегла судьба храм и до того самого дня, в который он некогда был сожжен вавилонянами. От первого его основания, когда он был заложен царем Соломоном, и до нынешнего разрушения во второй год владычества Веспасиана минуло тысяча сто тридцать лет, семь месяцев и пятнадцать дней. А от второго основания его Аггеем во второй год царствования Кира, до взятия при Веспасиане — шестьсот тридцать девять лет и сорок пять дней.

5. Между тем храм горел, а воины грабили все, что попадалось им на глаза, и без счета убивали настигнутых. Не было сострадания к возрасту, не было почтения перед святостью — одинаково умерщвляли они детей и стариков, мирян и священников. Всех окружало побоище, и всех оно настигало — молящих о пощаде и оказывающих сопротивление. Треск пылавшего повсюду пламени смешивался с воплями падающих жертв, а из-за высоты холма, на котором горело огромное здание, казалось, будто весь город охвачен огнем. И нельзя было представить себе шума, бо-

лее оглушительного и страшного, чем тот, который стоял тогда. В нем слились и победный клич устремившихся в бой римских легионов, и крики восставших, окруженных кольцом пламени и мечей, и горестные стенания людей, покинутых наверху и теперь бросившихся в смятении навстречу врагам. Вместе с теми, что были на холме, стенали и оставшиеся в городе. Много народа умирало там от голода, и когда они увидели, что храм горит, то из последних сил снова разразились рыданиями и воплями. И гул этот подхватило и усилило эхо Переи [15] и окрестных гор. Но страдания людей были еще ужаснее шума. Холм, на котором стоял храм, словно клокотал, весь от самой подошвы залитый огнем, но казалось, что обильнее огня — кровь, а убитых — больше, чем убийц. Земля скрылась под трупами, и в погоне за беглецами воины ступали по грудам мертвых тел. Толпа разбойников с трудом пробилась сквозь ряды римлян в наружную часть храма, а оттуда в город, между тем как остальные иудеи нашли убежище в наружной галерее. Некоторые из священников стали вырывать прутья ограды вместе с оправлявшим их свинцом и метать их в римлян. Но затем, видя, что не достигают своей цели и огонь рвется на них, они отступили и заняли стену шириной в восемь локтей. А двое знатных иудеев, которые могли бы перейти к римлянам и спастись или остаться на месте, чтобы разделить участь остальных, бросились в огонь и сгорели вместе с храмом. Их имена — Меир, сын Белги, и Иосиф, сын Далая.

Между тем римляне решили, что нелепо щадить окружающие постройки, когда горит сам храм. И они сожгли все вокруг — остатки галерей и ворота, за исключением двух — восточных и южных, которые уже впоследствии были сравнены с землей. Сожгли они и сокровищницы, в которых лежали несчетные суммы денег, несчетное множество одеяний и другие ценности — одним словом, все добро иудеев, потому что богатые хранили здесь свое имущество. Затем они достигли уцелевшей еще наружной галереи, где укрывалась часть населения — женщины, дети и разнородная толпа, числом в шесть тысяч человек. И прежде чем цезарь успел что-либо решить о них и дать приказ военачальникам, воины, охваченные яростью, подожгли галерею. Одни встретили смерть, бросаясь из пламени вниз, другие — в самом пламени. И никого из этих людей не осталось в живых.

VII, 9

(Взятие Масады)

...Словно одержимые, они [16] старались опередить друг друга и считали, что докажут свою отвагу и мудрость, если не окажутся среди последних, — так торопились осажденные убить своих жен, детей и самих себя. И когда они приступили к делу, не ослаб их

дух, как можно было бы подумать, — незыблемо держались они своего решения... Никто из них не лишился чувства родственной привязанности и любви, но одна мысль владела ими: так будет лучше всего для их любимых. Они обнимали и ласкали жен своих, брали на руки детей, со слезами осыпали их последними поцелуями и в то же время, словно действуя чужими руками, исполняли свое решение. Принужденные убивать, они утешались, думая о том, какие бедствия пришлось бы всем им претерпеть от врагов. Не нашлось ни одного, кто отступил бы в столь страшном деле, — все лишали жизни самых своих близких одного за другим. Поистине несчастна была их судьба, если убить собственной рукой жен и детей им казалось наименьшим злом! А затем, не в силах глядеть на страшное дело рук своих и считая преступлением перед убитыми хоть на миг пережить их, они тут же свалили в одну кучу все имущество, подожгли его и избрали по жребию десятерых из своей среды, чтобы те закололи всех остальных. Затем каждый ложился рядом с женой и детьми и, обняв их, подставлял горло под верные удары товарищей, исполнявших свою горестную обязанность. И те, без содрогания убив всех их, на том же условии метали жребий между собой, чтобы кто-нибудь один лишил жизни остальных девятерых, а вслед за ними поразил и самого себя. Такова была их вера друг в друга, и они знали, что ни один не уступит другому в стойкости, придется ли самому исполнить решение или подчиниться ему. И вот девять человек подставили горло под удары, а последний осмотрел многочисленные тела павших — он хотел удостовериться, не уцелел ли среди этого всеобщего избиения кто-нибудь, кому нужна его рука. Видя, что все мертвы, он поджег дворец, собрал все силы, по рукоять вонзил в себя меч и пал возле своих родных. И умерли они, веря, что не осталось среди них ни одной живой души, которую могли бы поработить римляне. Между тем, когда всеми овладела жажда убийства, некая старая женщина, а с ней одна родственница Елеазара, отличавшаяся среди большинства соотечественниц своим умом и образованием, укрылись вместе с пятью детьми в подземных каналах, несущих питьевую воду.

Всего же погибло тогда вместе с женщинами и детьми девятьсот шестьдесят человек. И совершилось это бедствие в пятнадцатый день месяца Ксантика.

Римляне, ждавшие еще сражения, приготовились на заре к бою и, перекинув с насыпей мостки, вторглись в крепость. И не видя там никого из врагов, они не могли понять, что произошло — повсюду царило жуткое одиночество, пламя бушевало внутри и стояло молчание. Наконец, чтобы вызвать кого-нибудь из крепости, они издали клич, как делали это при стрельбе. Крик их услышали женщины и, выбравшись из-под земли, рассказали римлянам о случившемся. А одна из них при этом в точности поведала обо всем, что говорили осажденные и каким образом

все произошло. С сомнением слушали ее римляне, не веря в возможность столь великого подвига. Постаравшись погасить пожар, они быстро проложили себе дорогу через огонь и проникли во дворец. И когда они натолкнулись здесь на груду убитых, то не стали радоваться гибели врагов. В изумление повергла их столь благородная решимость и то презрение к смерти, с которым множество людей бестрепетно исполнило свой замысел.

ИУДЕЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ

II, 2—6

[Иосиф и его братья]

2. Мало кто достиг такого благополучия, какое выпало на долю Иакова [1], ибо богатством он превосходил жителей своей страны, а достоинства его детей принесли ему славу и сделали предметом зависти. Всем наделены были дети его — они и умелыми руками обладали, и стойко переносили тяжкие труды, и отличались остротой разума. И так покровительствовал господь Иакову, так заботился о его счастье, что даже кажущиеся невзгоды его обратились в великие блага и благодаря ему и родившимся от него предки наши вышли из Египта [2]. Вот как это совершилось.

Больше всех среди своих сыновей любил Иаков Иосифа, которого родила ему Рахиль; он любил его за то, что, отличаясь рассудительностью, тот был наделен красотой тела и благородством души. Эта отцовская привязанность, а также предвещавшие благополучие сны Иосифа, о которых он рассказывал отцу и братьям, возбудили в них зависть и ненависть — ведь даже счастью самых близких склонны завидовать люди. Сны же, которые видел Иосиф, были таковы.

Однажды, когда в середине лета отец послал его с братьями собирать урожай, он увидел сон, совсем непохожий на то, что обычно снится людям, и, проснувшись, поведал о нем братьям, чтобы они объяснили ему значение сна. Он сказал, что видел прошедшей ночью, как его сноп пшеницы остался неподвижен на том месте, где был поставлен, а их снопы подбежали к его снопу и склонились перед ним, словно рабы перед господином. Братья же поняли, что сон предвещает ему могущество, великие деяния

и будущую власть над ними, но ничего не сказали Иосифу об этом, словно сон остался им непонятен. И молясь о том, чтобы ни одно из их предположений не сбылось, они еще больше возненавидели его.

И вот в воздаяние за их зависть господь послал Иосифу второе сновидение, намного удивительнее предыдущего. Ему привиделось, что солнце вместе с луной и другими звездами спустилось на землю и склонилось перед ним. Не ожидая никакого зла от братьев, он в их присутствии рассказал отцу о своем сновидении, прося объяснить ему его значение. А тот, довольный этим сном, подумал о том, что он предвещает, мудро и безошибочно разгадал сновидение и возрадовался великим предзнаменованиям — сын его будет счастлив; придет время, когда бог достанет Иосифу почет, а родители и братья будут преклоняться перед ним. При этом луну и солнце он уподобил матери и отцу — ведь первая растит и питает все сущее, второе же придает ему форму и наделяет силой, а звезды — братьям, ибо их было одиннадцать, столько же, сколько звезд, что получают силу от солнца и луны.

Так разумно истолковал Иаков сновидение. Братья же Иосифа сильно опечалились и повели себя так, словно какому-то чужому человеку, а не их брату суждены были возвещанные в этих снах блага, часть которых, естественно, досталась бы и им. Ведь все они были дети одного отца и всем предстояло одинаковое благополучие. И вот ими овладело желание убить юношу. Сговорившись, они после окончания жатвы отправились в Сихем [3] — там хорошие пастбища и много корма — и стали пасти там стада, не сказав отцу, что идут туда. А тот ни о чем не знал и, видя, что не приходит к нему никто из пастухов, которые сообщили бы достоверные сведения о сыновьях, все с большей печалью думал о них. И, охваченный тревогой, он послал к стадам Иосифа узнать о братьях и известить о них отца.

3. А те, увидя пришедшего к ним брата, обрадовались ему, но не как родственнику и посланцу от отца, а как врагу, которого божья воля отдала в их руки. И не желая упустить удобный случай, они решили тут же убить его. Тогда старший среди них, Рувим, видя их замысел и единодушие в этом деле, попытался удержать их, рисуя всю тяжесть преступления и его мерзость: если преступно перед богом и нечестиво перед людьми убить даже чужого человека, то насколько отвратительней убийство брата, смерть которого принесет незаслуженное страдание отцу и повергнет в скорбь мать, бесчеловечным образом лишенную сына. Пусть устыдятся они этого, пусть представят, что испытали бы, если бы у них самих умер добрый сын и притом младший, пусть откажутся от своего намерения — убеждал их Рувим. Пусть побоятся бога, который стал уже свидетелем их злоумышления, но умилостивится, если они отступятся от этого дела, раскаются и образумятся. Если же они исполнят свой замысел, то

не сыщется такой кары, которой не подвергнет их господь за братоубийство, — ведь они оскорбят его вездесущее провидение, от которого не укрывается ни одно деяние, совершается ли оно в пустыне или в городах. Ибо где находится человек, там присутствует и бог. К тому же собственная совесть, говорил он, будет их терзать, а от совести они не уйдут, — все равно, чиста ли она или запятнана убийством брата. К этому он прибавил, что нечестиво лишать жизни брата, даже если он в чем-нибудь провинился, и похвально не питать злобы к столь близким людям, даже уличенным в дурном поступке. А они собираются погубить Иосифа, который не причинил им никакого зла, который по слабости, свойственной его возрасту, нуждается скорее в сострадании и заботе братьев. Да и сама причина убийства делает их поступок еще страшнее, ибо они решили лишить его жизни из зависти к его будущему благополучию, в котором имели бы с ним равную долю, — они ведь ему не чужие, а родные. Как на свое пусть смотрят они на то, что бог дарует Иосифу, и пусть знают: тем грознее будет божий гнев, что они убьют человека, свыше сочтенного достойным этих желанных благ, и отнимут у господа того, кому он сулил свою милость.

Все это и еще многое другое говорил Рувим, увещевая их и пытаясь удержать от братоубийства. Когда же он увидел, что те ничуть не смягчаются от его слов, а, напротив, спешат выполнить задуманное, то стал советовать им совершить убийство не столь злодейским способом. Лучше было бы, конечно, сказал он, послушаться его первого совета, но раз они настаивают на гибели брата, то пусть последуют тому, что он советует теперь, и тогда вина их не будет столь велика. Они осуществят свое желание, но иначе, большей легкостью, насколько возможно в подобных обстоятельствах. Он стал просить их, чтобы они не налагали сами рук на брата, а бросили его в близлежащий колодец и предоставили ему там умереть — та хоть польза будет им от этого, что они не осквернят рук своих. И когда они согласились, Рувим взял юношу, обвязал его канатом и осторожно спустил в колодец, в котором почти не было воды. Вслед за тем он отправился на поиски новых пастбищ.

Между тем Иуда, другой из сыновей Иакова, увидел арабских купцов из племени измаильтян [4], везущих в Египет пряности и сирийские товары из Галаада [5]. И после ухода Рувима он стал советовать братьям вытащить Иосифа и продать арабам — ведь тогда тот окажется в самых отдаленных местах и умрет на чужбине, а они таким образом будут чисты от скверны. И по его совету они извлекли Иосифа из колодца и продали купцам за двадцать мин. А было ему тогда семнадцать лет от роду. Когда же настала ночь, Рувим отправился к колодцу, чтобы втайне от братьев спасти Иосифа. И не слыша ответа на свой зов, он испугался, что после его ухода братья погубили Иосифа, и стал упре-

кать их. Когда же они рассказали ему, что произошло, скорбь Рувима стихла.

Поступив так с Иосифом, братья стали думать, как избежать подозрений отца. И они решили взять платье, в котором Иосиф пришел к ним и которое они сняли с брата, опуская его в колодец, разорвать это платье, замарать кровью козла, принести к отцу и показать ему, чтобы он счел Иосифа растерзанным дикими зверьми. И сделав так, они пришли к старцу, уже узнавшему, что с сыном стряслась какая-то беда, и сказали, что не видали Иосифа и не знают, что с ним случилось. Они нашли только это окровавленное и изорванное платье и подозревают, что тот повстречался с дикими зверьми и погиб, если только в этом платье он вышел из дома. А Иаков, еще питавший слабую надежду, что юноша уведен в плен, оставил и эту мысль. Он признал одежды, в которых послал Иосифа к братьям, и, видя в этом явное свидетельство его смерти, стал оплакивать сына, считая его отныне мертвым. Он думал, что дикие звери растерзали Иосифа на пути к братьям, и ему было так тяжко, словно он лишился единственного сына, и не мог он радоваться, глядя на остальных детей. И сидел он, облекшись во вретище, и столь сильно горевал, что утешения детей не приносили ему облегчения, а изнеможение не могло утишить скорби.

4. Иосифа купцы продали, и купил его египтянин Потифар, поставленный над поварами царя Фараона. Он относился к Иосифу с всяческим вниманием; юноша воспитывался как свободный человек, жил лучше других рабов и надзирал за домом хозяина. Но, вкушая эти блага, Иосиф не оставил с переменой участи присущей ему добродетели. И он показал, как благоразумие может одержать верх над житейскими превратностями, если сохраняет свою силу и не ослабевает перед временной удачей.

Дело в том, что жена его господина влюбилась в него за его красоту и за уменье, с каким он исполнял свои дела. И решила она, что, открывшись Иосифу, легко убедит его вступить с ней в связь, ибо он сочтет за счастье, что госпожа пожелала его. При этом она думала лишь о его рабском положении, а не о нраве, который он сохранил неизменным, несмотря на перемену участи. Когда же она открылась ему, убеждая его сблизиться с ней, он отверг ее желание, считая нечестивым удовлетворить его и тем самым оскорбить хозяина, оказавшего ему столь высокие милости. Он призывал ее сдержать свою страсть, думая, что, лишившись надежды, она избавится от желания. Пусть не надеется она утолить это желание — он скорее претерпит все, что угодно, чем повинуется ей. Хоть и не следует рабу противиться в чем-либо своей госпоже, он все же полностью будет оправдан, ослушавшись подобного приказания. А она, не ожидая сопротивления Иосифа, еще сильнее воспылала любовью и, непрестанно мучимая пагубной страстью, решила еще раз повторить свою попытку.

И вот, когда справлялось всенародное празднество, во время которого женщинам разрешалось присутствовать на торжествах, она сказала мужу, что больна, стремясь остаться в одиночестве и уговорить Иосифа. Получив такую возможность, она еще настойчивее стала упрашивать его, — он-де хорошо бы сделал, если бы с самого начала уступил ее просьбам, не стал противоречить из уважения к просительнице и покорился силе страсти, заставившей ее, госпожу, забыть свое достоинство. Пусть же теперь он действует с большей рассудительностью и исправит то, что совершил по неразумию. Если он ждет новых просьб, то вот они — еще более усердные. Притворившись больной, она предпочла его близость празднику и всеобщим торжествам. Если прежним ее уговорам он противился из недоверия, то настойчивость ее должна его убедить, что здесь нет никакого коварства. Пусть он подумает, какие блага уже выпали бы на его долю, ответь он на ее любовь. Пусть подумает и о том, что, оказав послушание, он насладится еще бо́льшими благами. Если же отвергнет он ее просьбу и предпочтет прослыть воздержным, чем угодить своей госпоже, то заслужит ее ненависть и месть. Плохо придется ему, когда она обратится в обвинителя и оклевещет его перед мужем. Ведь Потифар не поверит ему, а прислушается скорее к ее словам, как бы далеки ни были они от истины.

Так говорила женщина, проливая слезы, но ни сострадание, ни страх не толкнули его на безрассудство. Он отверг мольбы и не внял угрозам — пусть ему придется несправедливо пострадать и вынести самые тяжелые наказания, но он не воспользуется минутным удовольствием, за которым придет заслуженная кара. Он напомнил ей, что она замужем и живет с супругом — пусть же довольствуется этим и не стремится к преходящему наслаждению. Ведь за ним последует раскаяние, которое принесет с собой скорбь, но не поможет исправить совершенного проступка. Ее охватит страх быть изобличенной, и она будет рада уже тому, что сумеет держать в тайне свой грех. Между тем в близости с мужем она вкушает безопасное наслаждение и сверх того, сохраняя чистую совесть, правдива перед богом и людьми. Да и над ним самим она скорее удержит власть, оставаясь чистой и пользуясь правами госпожи, нежели охваченная стыдом за совместный грех. Намного лучше вести на виду у всех безупречный образ жизни, чем втайне совершать нечестивые дела.

Все это и еще многое в том же роде говорил он, пытаясь сдержать порыв женщины и направить ее желание на путь разума; она же воспылала еще большей страстью и, отчаявшись убедить его, обхватила руками, стремясь принудить силой. Когда же Иосиф в гневе вырвался и, оставив свой плащ, бросился вон из комнаты, — а плащ он кинул потому, что она ухватилась за него, — то испуг охватил ее, как бы он не рассказал обо всем мужу. И, оскорбленная встреченным отпором, она задумала предупредить Иосифа, оклеветав его перед Потифаром, и отомстить

таким образом за великое унижение, которому подверглась. Возвести первой обвинение — казалось ей и разумным и свойственным женской природе. И вот, опустив глаза и приняв смущенный вид, она села и, полная гнева, притворилась, будто печаль от неудовлетворенной страсти вызвана попыткой насилия. Когда же вернулся муж и, обеспокоенный ее видом, стал спрашивать в чем дело, она возвела обвинение на Иосифа и сказала: — Пусть умрешь ты, супруг мой, если не накажешь негодного раба, вознамерившегося осквернить твое ложе. Не удержала его память о том, каким вошел он в наше жилище и какою милостью пользовался у тебя. И в то время, как любой его проступок перед нами уже был бы неблагодарностью, он задумал посягнуть на твои супружеские права и воспользовался для этого твоим отсутствием во время праздника. Что же до его прежней показной скромности, то это страх перед тобой сдерживал его, а не добрый нрав. А сделал его таким незаслуженный и неожиданный почет: удивительно ли, что человек, которому доверено твое имущество, который управляет домом и поставлен выше других, более старых слуг, захотел наложить руки и на твою жену? — И, замолчав, показала ему плащ, который тот будто бы оставил, когда пытался совершить над ней насилие. А Потифар, видя слезы жены и слыша ее слова, не стал в них сомневаться; полный любви к жене, он воздал должное ее целомудрию и не позаботился установить истину. И вот он счел виновным Иосифа и бросил его в темницу для преступников, а женой стал еще больше гордиться, будучи свидетелем ее скромности и целомудрия.

5. Что же касается Иосифа, то, всецело полагаясь на бога, он не стал оправдываться и объяснять, как все происходило в действительности. Молча терпел он оковы и насилие, веря, что господь, знающий причину его бедствия и всю правду, окажется сильнее тюремщиков. И вскоре он смог убедиться в божьем провидении. Видя усердие и добросовестность, с которыми Иосиф выполнял порученные ему работы, и его достойную внешность, тюремный сторож освободил его от оков, облегчил ему тяготы заключения и стал кормить лучше, чем других узников. Между тем люди эти, отдыхая от своих тяжелых трудов, вели беседы, как это свойственно товарищам по несчастью, и расспрашивали друг друга, за что их наказали. И находился среди них виночерпий, которого царь держал некогда в великом почете, а затем в порыве гнева заключил в темницу. Скованный сначала одной цепью с Иосифом, он близко его узнал и, считая его человеком редкой рассудительности, рассказал ему сон, который видел, и попросил объяснить его значение. При этом он сетовал, что вдобавок к несчастьям, на которые обрек его царь, божество тревожит его сновидениями.

Он сказал, что видел во сне виноградную лозу с тремя ветвями и с каждой из них свисали грозди, большие и созревшие для сбора. Он выдавил их в чашу, которую держал царь, процедил и

дал выпить царю, а тот с удовольствием принял напиток. Таково, сказал он, было его сновидение, и он попросил Иосифа, если тот сколько-нибудь рассудителен, растолковать ему значение сна. А Иосиф посоветовал спокойно ждать: через три дня он будет освобожден от оков, ибо царю понадобятся его услуги и он восстановит его в прежней должности. Иосиф объяснил, что на радость человеку создал бог виноградные ягоды, ибо, служа для возлияния в честь бога, они являются залогом доверия и дружбы между людьми и кладут конец распрям. А тем, кто их вкушает, они приносят наслаждение, прогоняя страдание и печали. — Ты говоришь, что своими руками выдавил сок из трех гроздей и подал царю. Знай же, что это добрый сон — он предвещает тебе избавление от оков через столько дней, сколько было ветвей, с которых ты во сне собрал ягоды. Когда ты убедишься в моей правоте, вспомни, кто обещал тебе счастье, и, уйдя навстречу судьбе, которую я предсказал, не забывай на свободе, в каком положении ты меня оставил. Ведь не за какую-то вину оказался я в оковах, но был осужден, как преступник, за добродетель и целомудрие, не пожелав ради собственного наслаждения опозорить того, кто так поступил со мной. — А виночерпий, разумеется, обрадовался, услышав такое истолкование своего сна, и стал ждать того, что ему обещал Иосиф.

И вот, после того как Иосиф объяснил таким образом это сновидение, один раб, поставленный над царскими хлебопеками и заключенный в темницу вместе с виночерпием, исполнился надеждой, ибо тоже увидел сон. И он попросил Иосифа объяснить, что означает приснившееся ему прошлой ночью. А приснилось ему вот что: — Я видел, — сказал он, — будто несу на голове три корзины, и две из них наполнены хлебом, а третья — закусками и всевозможными кушаньями, которые готовятся для царей. И вот налетели птицы и все пожрали, как я ни старался их отогнать. — Он ожидал получить такое же предсказание, как и виночерпий; Иосиф же, поразмыслив над сновидением, сказал, что хотел бы дать ему доброе истолкование, но сон предвещает иное: всего два дня остается жить начальнику хлебопеков — на это указывает число корзин, а на третий день он будет распят и послужит добычей для пернатых, и ничто не может спасти его. И действительно, в обоих случаях произошло так, как сказал Иосиф: в указанный им день царь, праздновавший свое рождение, велел распять начальника над хлебопеками, а виночерпия освободил от оков и восстановил в прежней должности.

Иосиф же не получил никакой помощи от виночерпия в благодарность за предсказание и еще два года протомился в оковах, пока бог не избавил его и не освободил следующим образом. Царю Фараону приснились в одну и ту же ночь два сна вместе с истолкованием каждого из них, но толкования он забыл, а сами сны удержал в памяти. И вот, озабоченный этими сновидениями, которые показались ему зловещими, он созвал наутро мудрейших

из египтян, желая узнать значение сновидений. Когда же те не смогли ничего сказать, царь еще сильнее обеспокоился. И, видя Фараона в смятении, виночерпий вспомнил Иосифа и его умение объяснять сны. Подойдя к царю, он рассказал ему об Иосифе, о сне, который сам он увидел в темнице, о том, как сбылись слова Иосифа и как в один и тот же день начальник над хлебопеками был распят, а с ним случилось все, что предсказал Иосиф, толкуя сон. Он сообщил, что Иосиф — раб Потифара, начальника над поварами, и заключен хозяином в оковы, но говорит, будто происходит от славнейших евреев и рожден от знатного отца. — Пошли за ним и не презирай его в несчастье — тогда ты узнаешь, что означают твои сны. — Вслед за тем царь велел, чтобы Иосиф предстал перед ним. И по царскому приказу посланцы оказали Иосифу знаки внимания и привели его во дворец.

А царь взял Иосифа за руку и обратился к нему: — Юноша, мой слуга рассказал мне сейчас о твоих достоинствах и твоей величайшей рассудительности. Будь со мной столь же добр, как и с ним, и скажи, что предвещают видения, явившиеся мне во сне. Но я хочу, чтобы ты не вел, из страха передо мной, лживых речей, стремясь польстить мне и доставить удовольствие, и чтобы ты ничего не утаил, какой бы зловещей ни оказалась истина. Мне привиделось, что я иду вдоль реки и вижу, как тучные огромной величины коровы, числом семь, выходят из воды и направляются к болоту. А навстречу им вышло столько же других коров, необычайно тощих и страшных на вид. Они пожрали больших и тучных, но не помогло им это, так жестоко терзал их голод. После этого сна я пробудился и, с тревогой размышляя над его значением, опять уснул и увидел второй сон, намного удивительнее первого, и сон этот еще больше испугал и встревожил меня. Я увидел, как из одного стебля выросло семь колосьев; они клонились под тяжестью зерен и созрели для жатвы, а рядом с ними было семь других колосьев, тонких и немощных от недостатка влаги. Они наклонились к созревшим, чтобы уничтожить и пожрать их, и я был поражен этим зрелищем.

Тогда Иосиф ответил: — Сновидения эти, о царь, хоть и представились тебе в двух разных видах, но указывают на одно и то же событие в будущем. Ты видел, как коров, иначе — животных, рожденных трудиться у плуга, пожрали другие, тощие, коровы, а колосья были уничтожены меньшими колосьями. Все это предвещает Египту голод и бесплодие на столько лет, сколько он перед этим будет благоденствовать, и урожай тех лет будет впоследствии истреблен недородом, который продлится такое же время. И настанет тяжелая нужда в самом необходимом, и очень трудно будет ее облегчить. А видно это из того, что хоть и пожрали тощие коровы тучных, — все же не смогли насытиться. Но не для того открывает бог людям будущее, чтобы повергать их в скорбь, а чтобы, будучи предупреждены, они с помощью разума

облегчили предсказанные испытания. И если ты сохранишь добро, полученное в годы урожая, то отвратишь от египтян грядущее бедствие.

Подивившись рассудительности и мудрости Иосифа, царь спросил его, каким образом сделать во время изобилия запасы на последующие годы, чтобы легче перенести недород. И тот наставил его, посоветовав бережливо расходовать добро и запретить египтянам невоздержно пользоваться им — пусть они сохранят на время нужды тот излишек, который расточили бы, предаваясь роскоши. Надо ему забирать у земледельцев зерно, прятать его и выдавать им лишь необходимое для пропитания. А Фараон, дивясь и тому, как истолковал Иосиф сон, и его совету, решил, что человек, который нашел выход в таком положении, лучше всех справится с делом. И он поручил Иосифу эту заботу, чтобы тот мог поступать, как сочтет полезным для египтян и для царя. А Иосиф, облеченный такой властью и получив право пользоваться царским перстнем и носить пурпур, стал объезжать на колеснице всю страну. И он собирал у земледельцев зерно, отмеряя каждому лишь необходимое для посева и пропитания, и не объяснял никому, почему он так делает.

6. Ему миновал уже тридцатый год, и он пользовался великим почетом у царя, который за необычайную рассудительность прозвал его Цафнафпанеах, что означает «открывающий скрытое». Царь женил его на девушке Асенефе, дочери Потифера, одного из жрецов в Гелиополе [6]. От нее родились у Иосифа еще до наступления голода два сына: старший — Манассия, что означает «приносящий забвение», ибо в благоденствии Иосиф забыл о несчастьях, и младший — Ефрем, что значит «возвративший», ибо Иосиф возвратил себе свободу своих предков. Между тем в Египте, как и предсказал Иосиф, толкуя сон, в течение семи лет царило изобилие, а затем на восьмой год пришел голод, и так как бедствие нагрянуло неожиданно, все, тяжко страдая, стеклись к царскому дворцу. Тогда царь призвал Иосифа, а тот стал наделять людей хлебом, и все увидели в нем спасителя народа. И не только для туземных жителей открыл Иосиф продажу, но разрешал покупать и чужестранцам, ибо считал, что все люди связаны общим происхождением и что, пользуясь благополучием, следует помогать ближним.

Между тем и Ханаан [7] сильно пострадал от этого бедствия, обрушившегося на весь материк. И, узнав, что в Египте чужестранцы могут купить хлеб, Иаков отправил туда всех сыновей. Оставил он при себе лишь Вениамина, которого родила ему Рахиль, единоутробного брата Иосифа. И, прибыв в Египет, они пошли к Иосифу и попросили разрешить им купить хлеба, ибо ничего не делалось без его ведома — даже служба царю приносила людям пользу лишь тогда, когда они не забывали почтить и Иосифа. А он узнал своих братьев, которые нисколько не подозревали, что это Иосиф, — ведь он расстался с ними еще маль-

чиком и с возрастом черты его лица стали неузнаваемыми для них. Притом им и в голову не могло прийти, что он достиг такого высокого положения. И тут он решил узнать, что думают они обо всем некогда случившемся. Он сказал, что не даст им хлеба, ибо они пришли шпионить за царскими делами, собрались из разных мест и лишь притворяются родичами: невозможно, чтобы обыкновенный человек мог вырастить так много детей, столь славных на вид, между тем как даже у царей редко встречается подобное потомство. Сделал он так, чтобы получить известия об отце, о том, что произошло с ним после того, как они расстались, а также желая узнать о брате своем Вениамине, потому что опасался, что они и его разлучили с семьей, решив поступить с Вениамином так же, как с ним самим.

А те, охваченные смятением и страхом, решили, что им грозит величайшая опасность, и не подозревали, что перед ними брат. Когда же они несколько успокоились, то стали защищаться от обвинения, и от имени их выступил Рувим как самый старший. — Мы пришли сюда, — сказал он, — не желая никому зла, и не замышляем ничего против царской власти. Мы ищем спасения и хотим благодаря вашему человеколюбию избежать бедствий, постигших нашу страну, ибо слыхали, что вы решили поддержать всех нуждающихся и не только своим гражданам продаете хлеб, но и чужестранцам. А то, что мы — братья и одна в нас кровь, видно по нашей внешности — ведь мы так похожи друг на друга. Отец же наш — еврей Иаков, и нас у него двенадцать детей от четырех жен. Пока все мы были целы, то пребывали в благополучии, а после смерти одного из нас, Иосифа, счастье нам изменило. Тяжко скорбит о нем отец, да и самих нас печалит его горестная смерть и отчаяние старика. Теперь мы пришли купить хлеба, а заботиться об отце и управлять домом поручили младшему из нас, Вениамину. Пошли кого-нибудь к нам домой, и ты узнаешь тогда, есть ли ложь в наших словах.

Такими речами пытался Рувим снискать благоволение Иосифа. А тот, узнав, что Иаков жив и брат его не погиб, приказал пока заключить их в темницу, словно намереваясь допросить при случае. И на третий день он велел привести их и сказал: — Раз вы утверждаете, что пришли сюда, ничего не замышляя против царской власти, что вы братья и при этом называете вашего отца, то сможете доказать мне это, если оставите у меня одного из вас, который не потерпит здесь ни малейшего зла. Сами же вы отвезете хлеб отцу и снова вернетесь ко мне, приведя с собой брата, который, по вашим словам, находится дома. Это и будет свидетельством вашей правдивости. — А они в отчаянии стали рыдать, виня друг друга в несчастье, постигшем Иосифа, и говоря, что это бог наказывает их за умысел против брата. Рувим же сурово бранил их за сожаления, которые не могли уже принести никакой пользы Иосифу, и призывал терпеливо сносить все

испытания, видя в них божье возмездие. Так говорили они друг с другом, не думая, что Иосиф понимает их язык. Слова Рувима наполнили всех их стыдом и раскаянием, и они пожалели, что решились на такое дело, за которое бог теперь справедливо наказывает их. Видя их растерянность, Иосиф сам прослезился от жалости и, не желая открыться братьям, удалился, а через некоторое время снова вышел к ним. Задержав Симеона в залог возвращения братьев, он разрешил им купить хлеба и отправиться домой, а слуге своему приказал, чтобы тот тайно положил им в мешки деньги, которые они взяли с собой для покупки хлеба, и дал им уехать с этими деньгами. И поручение это было исполнено.

А сыновья Иакова прибыли в Ханаан и рассказали отцу, что случилось с ними в Египте: как приняли их за соглядатаев, пришедших шпионить за царем, как не поверили им, когда они сказали, что они братья, а их одиннадцатый брат остался дома с отцом, и как они оставили Симеона у тамошнего правителя, пока Вениамин сам не явится к нему, чтобы подтвердить истину их слов. И они стали просить отца, чтобы тот без страха отпустил с ними юношу. А Иаков не одобрил действий своих сыновей и, горюя о том, что задержан Симеон, счел безумием подвергать такой же опасности и Вениамина. И он не соглашался, как ни упрашивал его Рувим, предоставляя ему взамен своих собственных детей, чтобы дед мог убить их, если бы с Вениамином случилось в пути что-нибудь дурное. А братья, обеспокоенные этими невзгодами, еще больше встревожились, найдя деньги, спрятанные в мешках с хлебом. Когда же хлеб, привезенный ими, истощился и настал еще больший голод, Иаков, покорившись необходимости, решил отпустить с братьями Вениамина — ведь не могли они вернуться в Египет, если бы не исполнили своего обещания. Другого выхода у него не осталось, ибо бедствие с каждым днем становилось все сильнее и сыновья просили его отпустить их. Иуда же, человек отважный по природе, прямо сказал, что не следует бояться за их брата и искать опасность там, где ее нет. Ничего не случится с Вениамином без воли господа, а на что будет его воля, то все равно совершится, если даже тот останется с отцом. Пусть не осуждает он их на верную гибель и неразумным страхом за сына не лишает их благополучия, которого они достигнут, получив от Фараона пропитание; пусть подумает и о спасении Симеона: ведь тот может погибнуть, если Вениамин замешкается. Он убеждал отца положиться в этом деле на господа и говорил, что доставит ему сына невредимым или сам погибнет вместе с ним. И, вняв уговорам, Иаков отпустил с ними Вениамина и дал им деньги на хлеб в двойном размере, а также и то, чем богат Ханаан — бальзам, мирру, фисташки и мед, чтобы они отнесли это в подарок Иосифу. И много слез было пролито отцом и самими сыновьями при отъезде, ибо он беспокоился, вернутся ли дети невредимыми из путешествия, а они тревожились, застанут ли отца здоровым и не сломит ли его

скорбь по детям. Весь день прошел у них в печали — обессилевший старик остался дома, а они направились в Египет, стремясь излечиться от своей печали надеждой на лучшее будущее.

Когда же они пришли в Египет, их повели к Иосифу. Тут ими овладел немалый страх, как бы не обвинили их в том, что они со злым умыслом присвоили деньги, уплаченные за хлеб. И они стали усиленно оправдываться перед управляющим Иосифа, говоря, что уже дома нашли у себя в мешках деньги, а теперь принесли их назад. Но тот рассеял их опасения, сказав, что не знает, о чем они говорят, освободил Симеона и вернул его братьям. Между тем возвратился Иосиф, занятый службой у царя. Тогда они поднесли ему подарки и в ответ на расспросы об отце сказали, что застали его в добром здравии. Узнав, что тот жив, он спросил про Вениамина (которого уже заметил), не это ли их младший брат. А они ответили, что это так и есть, и перед Иосифом — его слуга. И сказал Иосиф, что бог заботится обо всем, и, едва не плача от волнения, удалился, не желая открыться братьям. А затем он пригласил их к столу и рассадил так же, как сидели они у отца. И со всеми ими Иосиф был милостив, а Вениамина почтил двойными подношениями из стоящих перед ним блюд.

Когда же они легли спать после еды, Иосиф приказал управляющему отмерить им хлеба и снова спрятать деньги в их мешки, а в суму Вениамина приказал засунуть серебряный кубок, из которого сам любил пить. Сделал он так, желая испытать братьев, придут ли они на помощь уличенному в краже Вениамину, когда тому будет грозить опасность, или покинут его и, как ни в чем не бывало, вернутся к отцу. Слуга исполнил поручение, и на рассвете сыновья Иакова, ничего не подозревая, отправились в путь вместе с Симеоном, вдвойне радуясь, что и его и Вениамина они возвращают отцу, согласно своему обещанию. Вдруг их окружили всадники, с которыми был слуга, положивший кубок в суму Вениамина. Испуганные неожиданным набегом всадников, они спросили, почему те нападают на людей, которых господин их незадолго перед тем удостоил почетного приема. А те назвали их негоднейшими людьми, забывшими гостеприимство и милости Иосифа: они не постыдились нанести ему обиду, похитив кубок, из которого он пил за их здоровье, и поставили свою бесчестную наживу выше любви к Иосифу, не побоявшись разоблачения. И всадники грозили, что их постигнет возмездие, ибо если и удалось им бежать с награбленным, обманув служителя, то они не укрылись от бога. — И вы еще спрашиваете теперь, зачем мы здесь, словно сами не знаете? Что же, подвергнувшись наказанию, вы быстро все поймете. — Такими и еще худшими поношениями осыпал их слуга. А братья, не подозревая об опасности, стали смеяться над этими словами и дивились легкомыслию слуги, осмелившегося возвести обвинение на людей, которые некогда не взяли даже найденных в своих

мешках денег за хлеб. Более того — они принесли их назад, хотя никто об этих деньгах не знал, — настолько чужда им сама мысль о преступлении. Но, полагая, что обыск послужит лучшим доказательством, нежели возражения, они попросили обыскать их и наказать всех, если найдется хоть один, совершивший кражу. Так смело говорили они, не чувствуя за собой вины и считая себя в безопасности. А слуга потребовал произвести обыск и сказал, что наказание понесет лишь уличенный в воровстве. Всадники стали искать и, обойдя всех, дошли наконец до Вениамина, хорошо зная, что в его мешке и спрятан кубок, но желая сделать вид, что производят обыск со всем усердием. А остальные братья, избавившись от страха за себя, хоть и беспокоились за Вениамина, но были уверены, что он окажется невиновным в преступлении, и стали бранить преследователей, которые так их задержали. Когда же те обнаружили при обыске кубок в суме Вениамина, братья подняли плач и стенания и, разорвав на себе одежды, стали горевать о брате, которого ожидало наказание за воровство, и о самих себе — ведь они поручились за то, что Вениамин вернется невредим, а теперь им предстояло обмануть отца. И тем сильнее было их горе, что завистливая судьба обрушилась на них, когда они думали уже, что избегли всех несчастий. Они говорили, что сами виноваты в беде, постигшей брата, и в скорби отца, которого они с трудом убедили отпустить Вениамина вместе с ними.

Между тем всадники взяли Вениамина и, в сопровождении братьев, повели к Иосифу. И, видя, что Вениамин под стражей, а братья погружены в печаль, Иосиф сказал: — Что думаете вы, нечестивцы, о моем человеколюбии и о божьем промысле, если осмелились поступить так с благодетелем, приютившим вас у себя? — А они, чтобы спасти Вениамина, предложили взамен наказать их самих и снова вспомнили о насилии своем над Иосифом, говоря, что он счастливей их, ибо если уже умер, то освободился от житейских невзгод, а если еще жив, то пусть видит, как бог мстит им за него. Они говорили, что грешны перед отцом, ибо к скорби по Иосифу, которая по сей день гложет его, они прибавили еще скорбь по Вениамину. И опять Рувим горько упрекал братьев. А Иосиф сказал, что отпускает их, ибо они ни в чем перед ним не провинились и удовольствуется наказанием отрока: неразумно ведь отпускать его по той лишь причине, что они ни в чем не виноваты, равно как и наказывать их вместе с совершившим воровство. Им же он обеспечит безопасность в пути. Тут ужас охватил их, и от волнения они лишились дара речи. Но Иуда, который убедил отца отпустить с ними юношу и отличался предприимчивостью, решил сам подвергнуться опасности ради спасения брата и сказал: — Тяжело провинились мы перед тобой, повелитель, и по справедливости все достойны понести наказание, хотя и совершил поступок один только младший. Но пусть отчаемся мы из-за него в своем спасении — у нас остается на-

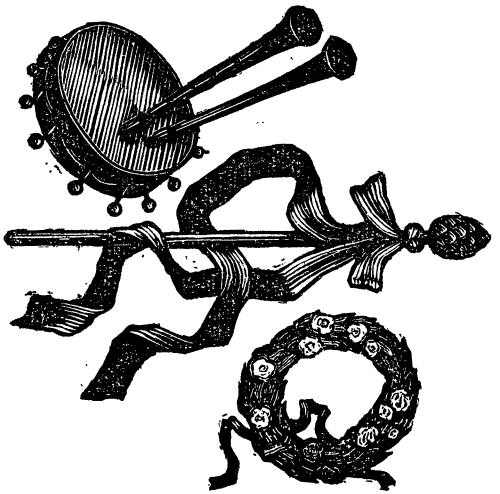
дежда на твое милосердие: оно одно сулит нам избавление от опасности. Не смотри теперь на наше положение и прими во внимание не проступок, но собственную свою природу. Пусть добродетель будет советником твоим, а не гнев, который овладевает лишь ничтожными людьми и притом не только в важных, но и повседневных делах. Стань выше гнева, не поддавайся ему, не губи людей, которые уже не борются за свое спасение, но надеются получить его от тебя. И не в первый раз ты окажешь нам милость: ведь когда недавно мы пришли купить хлеба, ты в изобилии наделил нас пропитанием и разрешил увезти столько, сколько надо было, чтобы спасти наших родных, которым грозила голодная смерть. Ты не оставил своей заботой тех, которые погибали, нуждаясь в самом необходимом, и поступишь столь же достойно, если не накажешь людей, ставших предметом зависти благодаря твоему славному благодеянию и по всей видимости совершивших преступление. Это та же самая милость, хоть и оказанная другим способом. Ты спасешь тех, которым доставил пропитание, и сохранишь своим милосердием жизни, которые не допустил сокрушить голоду — одинаково удивительно и великодушно даровать нам жизнь и дать возможность сохранить ее среди невзгод. И думаю я, что господь пожелал устроить так, чтобы явить избыток твоей добродетели, и вверг нас в бедствие, дабы ты показал, что человеколюбив не только с теми, кто нуждается в помощи при каких-либо других обстоятельствах, но прощаешь и тем, кто виновен перед тобой. Славное дело — облагодетельствовать нуждающихся, но еще достойнее правителя — спасти тех, кто провинился перед ним и заслуживает кары. Если же освобождение виновных от малого наказания приносит похвалу прощающим, то воздержание от гнева на преступников, достойных поплатиться жизнью, приближает нас к божественной природе. И не будь у нас отца, которого потрясет потеря детей — он так скорбел уже по Иосифу! — мы претерпели бы все, что тебе угодно, а сам я и слова бы не сказал ради нашего спасения — разве только чтобы воздать должное благородству, с которым ты спасаешь ближних. Если бы некому было оплакивать нашу смерть, мы не стали бы жалеть о себе, хоть и пришлось бы нам умереть молодыми, не вкусив радостей жизни. Об отце думаем мы и, сострадая его старости, возносим к тебе мольбы и просим о наших жизнях, которые злодеяние наше предало твоему возмездию. Ведь отец наш не преступник и не для того родил нас, чтобы мы стали преступниками, — он достойный человек и не заслуживает подобных испытаний. Теперь, после нашего отъезда, его мучает беспокойство о нас, а если он узнает, что мы погибли и по какой причине, то не вынесет этого и намного ускорится его смерть. Наше позорное несчастье обрушится на него и даже расстаться с жизнью не даст без мук: он захочет покинуть этот мир, прежде чем вести о случившемся с нами дойдут до других людей. Поразмысли об этом и, хоть вина наша вызывает твой гнев, не

подвергай нас, ради отца, справедливому наказанию за нее. Пусть сострадание к нему одержит верх над нашим злодеянием, отнесись с почтением к старцу, которому после нашей гибели придется жить и умереть в одиночестве, будь милостив во имя всех отцов. Таким образом ты почтишь и того, кто родил тебя, и самого себя, ибо сам уже радуешься своему отцовству — да хранит тебя в нем от печалей общий отец наш, господь. Своим состраданием ты прославишь и его имя, если исполнишься жалости к нашему отцу и подумаешь об испытаниях, которым подвергнется он, лишившись детей. Будучи в силах отнять теперь то, что даровал нам бог, ты можешь сравниться с ним в милосердии, если вернешь нам этот дар. Ведь похвально, когда обладающий властью творить добро и зло употребляет ее на добрые дела; когда, имея возможность отнимать жизнь, он не помнит об этом праве, словно лишен его, а считает, что облечен лишь властью спасать и что, чем чаще будет он употреблять эту власть, тем больше прославится. Простив нашему брату его горестный проступок, ты спасешь всех нас. Ибо невыносимой станет наша жизнь, если он будет наказан: мы не сможем вернуться без него к отцу и должны будем разделить его несчастье. И мы просим тебя, повелитель: если ты решишь казнить смертью нашего брата, то покарай вместе с ним и нас как сообщников в преступлении. Не хотим мы лишиться жизни в скорби по умершему и лучше умрем такою же смертью, ответив вместе с ним за его вину. А о том, что проступок совершил юноша, что он еще нетверд разумом и что в таких случаях людям свойственно прощать — я уже не буду говорить. Поразмысли об этом сам, и, если ты осудишь нас, пусть решат, что мы подверглись столь тяжелой участи по той причине, что я сказал слишком мало. Если же простишь — пусть решат, что ты оправдал нас сам, по своему милосердию, и не только сохранил нам жизнь, но и еще больше прежнего почтил нас, лучше, чем мы сами, позаботившись о нашем спасении. И если уж ты желаешь убить его, то казни лучше меня, а его отошли к отцу. Если же хочешь оставить его у себя рабом, то я более пригоден для рабской службы и, как видишь, больше подхожу и для той и для другой участи. — Вслед за тем Иуда, с радостью готовый подвергнуться чему угодно, лишь бы спасти брата, бросился к ногам Иосифа, стремясь как-нибудь смягчить его гнев и умилостивить его. И все братья также пали перед ним, плача и предлагая лишить их жизни вместо Вениамина.

А Иосиф не в силах был дольше притворяться разгневанным — волнение выдало его, и он приказал удалиться присутствующим, чтобы наедине открыться своим братьям. И когда все вышли, он открылся братьям и сказал: — Я хвалю вас за добродетель и за расположение к своему брату и вижу, что вы лучше, чем можно было бы подумать, судя по тому, как поступили вы со мной. А устроил я все это, чтобы испытать, любите ли вы брата, и понимаю теперь, что не дурные ваши наклонности причинили

мне зло, но свершилось это по воле бога, который дает нам теперь наслаждаться благами и даст в будущем, если сохранит к нам милость. Узнав, что отец здоров — а на это я уже не надеялся, — и видя, как относитесь вы к брату, я не буду больше помнить того, в чем вы, видимо, виновны передо мной, и перестану ненавидеть вас за это. Я благодарен вам, ибо вы явились соучастниками божьих замыслов, осуществившихся теперь, и хочу, чтобы и сами вы забыли о прошлом, — радоваться следует вам тогдашнему своему неразумию, имевшему такой исход, а не тяготиться своим проступком и стыдиться его. Не печальтесь о злом умысле против меня, не мучайтесь раскаянием, — ведь то, что вы задумали, не осуществилось. Будьте довольны тем, как устроил все господь, идите к отцу, расскажите ему обо всем, чтобы его не мучила тревога о вас. Ведь я лишусь величайшего своего счастья, если он умрет прежде чем предстанет перед моим взором и получит долю в этих благах. Возьмите с собой его, и жен своих, и детей, и всех родных и переселяйтесь сюда, ибо не следует, чтобы самые дорогие мне люди находились вдали, в то время как я пользуюсь благополучием. Ведь целых пять лет продлится еще голод. — Сказав это, Иосиф обнял своих братьев. А те проливали слезы и печалились о своем умысле против него, и казалось им, что милосердие брата является для них тем же возмездием. И затем началось пиршество. Царь же, услышав, что к Иосифу прибыли братья, сильно обрадовался, словно счастье выпало ему самому, дал им повозки, наполненные хлебом, золото и серебро, чтобы они доставили все это отцу. Еще больше даров — как для отца, так и для каждого из них самих — получили они от брата, и щедрее всех был при этом одарен Вениамин.

ДИОН ХРИСОСТОМ



VII
ЭВБЕЙСКАЯ РЕЧЬ, ИЛИ ОХОТНИК

1. Я расскажу о том, что я сам видел, а не о том, что слышал от других. Может быть, к этому побуждает меня не только старческая болтливость — ведь никому не хочется расставаться с тем предметом, о котором зашел разговор; кроме того, к старческой привычке присоединяется еще и привычка человека, много странствовавшего; причина же та, что и старик и путник немало испытали такого, о чем можно вспомнить не без удовольствия. Вот и я расскажу о том, с какими людьми мне довелось встретиться в Элладе — примерно, в ее средней части — и о том, какую жизнь они ведут.

2. Однажды в конце лета мне пришлось плыть с Хиоса с несколькими рыбаками на маленьком челночке; но так как разразилась буря, то нам с величайшим трудом едва-едва удалось спастись на берегу Эвбеи, изрезанной заливами; наш челнок, который рыбаки направили к суровому подножию береговых скал,

разбился, а сами рыбаки пошли к искателям пурпурных ракушек; их корабль стоял на якоре в заливе, огражденном выступавшей вперед скалой; рыбаки намеревались остаться там и помочь искателям ракушек в их работе.

3. Оставшись один и не зная, в каком городе мне искать пристанища, я побрел наудачу вдоль морского берега, надеясь увидеть какое-нибудь судно, либо проходящее мимо, либо стоящее на якоре. Я шел довольно долго и никого не встретил, но наткнулся на оленя, который, по-видимому, только что упал с прибрежной скалы прямо в полосу прибоя; волны хлестали его, но он еще дышал. Вскоре сквозь шум прибоя мне послышался где-то вверху лай собак; (4.) с большим трудом я взобрался наверх и тут-то увидал собак, бегавших в недоумении то туда, то сюда — очевидно, гонимый ими олень спрыгнул со скалы; а вскоре я увидел и мужчину, судя по внешнему виду и по одежде, — охотника; лицо его, с длинной бородой, дышало здоровьем, а волосы он носил не так безобразно по-деревенски, как, по словам Гомера, носили их эвбейцы, пришедшие под Трою; Гомер, как мне кажется, высмеивает их за это — ведь другие ахейцы, как он говорит, выглядели пристойно, а эти отпускали волосы только на затылке [1].

5. Человек этот спросил меня: — Не видел ли ты, чужеземец, оленя, спасавшегося бегством? — Я ответил: — Да, я только что видел его, он лежит вон там, около берега. — Я повел охотника туда и показал ему оленя. Вытащив оленя из воды, охотник содрал с него шкуру, а я, сколько мог, помогал ему; потом он отрезал оба окорока и вместе с шкурой взвалил на себя. Сказав, что он живет неподалеку, он пригласил меня сопровождать его и поесть свежего мяса. (6.) — Поутру, отдохнувши у нас, — сказал он, — ты можешь опять пуститься в путь, а сейчас выехать морем все равно нельзя. Об отъезде ты и не думай; что до меня, то я был бы рад, если бы ветер улегся хотя бы дней через пять; но едва ли это возможно, когда Эвбейский хребет так закутан тучами, как ты видишь сейчас. — Потом он спросил меня, откуда я, где мы причалили и не разбилось ли наше судно. Я ответил: — Это был совсем маленький челночок, принадлежавший нескольким рыбакам; я поехал с ними один, так как сильно торопился; (7.) наш челнок выбросило на берег, и он разбился. — Иначе и быть не могло, — сказал охотник, — взгляни, как суров и обрывист морской берег в этой части острова. Это место называется Эвбейскими рифами; корабль, налетевший на них, уже никак нельзя спасти, да редко удается спастись и кому-нибудь из людей, разве только на таком легком суденышке, как было ваше. Ну, а теперь не бойся ничего; ты отдохнешь от своих злоключений, а завтра, если будет возможно, мы позаботимся о том, чтобы ты благополучно отправился дальше, раз уж нам довелось познакомиться. (8.) Ты, как мне кажется, горожанин и, по-видимому, не моряк и не рабочий; может быть, ты и не совсем здоров, что-то уж очень ты худ.

Я охотно последовал за ним, не опасаясь никакого злого умысла с его стороны, так как у меня ничего не было, кроме плохонькой одежки. (9.) Между прочим, в моих постоянных скитаниях уже не раз в подобных случаях я мог убедиться в том, что бедность поистине священна и неприкосновенна и что никому нет охоты грабить бедняка, не то что иных людей, носящих пышные знаки отличия. (10.) И на этот раз я смело пошел за этим человеком. До его жилища было примерно сорок стадиев.

По дороге он стал рассказывать мне о себе и о той жизни, которую он ведет со своей женой и детьми. — Нас здесь, чужеземец, — сказал он, — только двое. Живем мы рядом, и каждый из нас женат на сестре другого, у каждого есть дети — и сыновья и дочери. (11.) Мы живем преимущественно охотой, а земли обрабатываем немного; ведь земля эта — не наша собственная, она не унаследована нами от отцов и не куплена. Наши отцы были, правда, людьми свободными, но такими же беднягами, как и мы, они служили пастухами у одного богача, жившего здесь на острове; ему принадлежало много конских табунов и стад рогатого скота, много пастбищ и прекрасных полей, немало всякого другого добра и даже эти горы. (12.) Когда он умер, а все его имущество отошло в собственность государства (говорят даже, что именно за свое богатство он и был убит по приказу императора [2]), то стада тотчас же были угнаны на бойню, а с ними заодно угнали и несколько наших собственных коровенок, и никто ничего нам не заплатил. (13.) Мы поневоле остались тут же, где мы прежде стерегли скот и где мы построили две хижинки для себя и дощатый загон для телят, совсем небольшой, сколоченный кое-как и пригодный, пожалуй, только на летнее время; зимой ведь мы пасли скот на равнинах, где была и трава хорошая, и запасы сена, а летом гоняли скот далеко в горы. (14.) Но именно здесь наши родители устроили свой хуторок; крутые обрывы образуют здесь глубокое тенистое ущелье; по нему течет речка, не очень бурная, так что не только быки и коровы, но даже телята могут входить в нее; но она многоводная и чистая — ведь родник недалеко; летом из ущелья веет прохладой. Вокруг растут дубовые рощи, приветливые, с проточной водой; в них нет оводов и вообще нет ничего, что могло бы повредить скоту. (15.) Между деревьями, высокими и стройными, много чудесных лужаек, покрытых летом густой травой, так что гонять скот далеко нет нужды; потому-то наши отцы пасли стада именно здесь, и здесь же они остались в своих хижинках, думая найти со временем какую-нибудь другую работу и заработок; а покамест им давал пропитание маленький участок, возделанный ими около их хуторка; (16.) на прокорм хватало, так как участок был отлично унавожен. Переставши пасти и караулить скот, они стали охотиться — иногда сами, а иногда прихватывали с собой собак. Дело в том, что две собаки из тех, что убежали вслед за угнанными стадами, через некоторое время вернулись, не видя

при стадах своих знакомых пастухов. Эти псы сперва просто бегали за пастухами, думая, наверное, что они и теперь должны охранять стада; поэтому, завидев волков, они бросались на них и их преследовали, но на кабанов и оленей обращали мало внимания; (17.) а заметив медведей, будь то утром или под вечер, они начинали лаять и отгонять их, словно отражая нападение чужого человека. Однако, когда они испробовали вкус крови кабанов и оленей и несколько раз поели мяса, они изменили свои привычки, поняли, что мясо вкуснее ячменного хлеба, и заметили, что если у нас есть какая-нибудь убитая на охоте дичь, то их кормят досыта, а если дичи нет, то им приходится голодать; и вот они стали гоняться уже за всеми зверями, попадавшимися им, научились по чутью различать запахи, разыскивать следы и наконец из сторожевых собак стали охотничьими; правда, поздно выучившись этому делу, они не слишком-то резвы.

18. Но вот пришла зима, а работы все не было, да к тому же ни в одну из деревень нельзя было пройти. Тогда наши отцы тщательно огородили свои хижины, укрепили загон для скота и так, отстроив свой хуторок, остались жить здесь; а охотиться зимой стало легче; (19.) ведь следы лучше видны на влажной земле; а уж когда выпадет снег, их даже издалека легко заметить, так что дичь и искать не нужно — к ней словно тропочка проложена, да и бегает она зимой не так быстро. Зайцев и ланей можно даже захватить врасплох прямо в их логове.

20. Так-то и стали с тех пор жить наши отцы, не думая уже ни о каком другом образе жизни; нас обоих, своих сыновей, они женили — каждый женил своего сына на дочери другого. Оба они умерли примерно год назад, прожив немало лет, но еще здоровые, бодрые и крепкие. Из наших матерей моя еще жива.

21. Один из нас никогда не спускался в город, хотя ему сейчас уже пятьдесят лет, а я был там два раза: один раз еще мальчиком, с моим отцом, когда мы сторожили стада; а в другой раз, когда к нам пришел какой-то человек и потребовал с нас денег — как будто у нас были деньги! Он-то и приказал мне идти с ним в город. Денег у нас, конечно, не было, и мы клялись, что у нас их нет, а будь они у нас, мы бы их дали; (22.) но мы угостили его, как могли, подарили ему две оленьи шкуры, и я пошел вместе с ним в город; он сказал, что один из нас непременно должен пойти туда и рассказать о себе все.

И вот я увидел в городе, как и в первый раз, много больших зданий, обнесенных крепкой стеной; а на стене возвышались какие-то четырехугольные надстройки;[3] в гавани стояло на якоре множество судов, совсем спокойно, словно на озере в затишье. (23.) Здесь, где ты вышел на берег, стать на якорь невозможно; потому и гибнут здесь корабли. Вот что я увидел, а кроме того, множество людей, собравшихся вместе; они так ужасно шумели и кричали, что мне показалось, будто они друг с другом сра-

жаются. Мой спутник повел меня к каким-то важным управителям и сказал смеясь: — Вот вам тот, за кем вы меня посылали, но, по-моему, все его имущество — эта его грива да хижинка из неотесанных бревен.

24. Управители эти пошли на собрание в театр[4], и я пошел за ними. Театр — это нечто вроде ущелья, но он не вытянут в длину, а закруглен, и не природой устроен, а выстроен из камней; впрочем, тебе, наверное, смешно, что я это все тебе описываю, ты же это сам отлично знаешь.

Сперва весь народ довольно долго обсуждал разные дела, иногда все одновременно выкрикивали что-то бодро и весело, когда кого-нибудь одобряли; иногда, напротив, кричали громко и сердито. (25.) Как видно, их гнев был опасен, так как те, на кого они кричали, очень пугались, начинали бегать то туда, то сюда, умолять о пощаде, а некоторые в страхе даже рвали на себе одежду. Я сам чуть не упал от этих воплей — словно от обрушившейся на меня волны или от удара грома. (26.) Из собравшихся одни выступали вперед, другие вставали со своих мест и обращались к толпе, одни говорили только несколько слов, другие — длинные речи; одних слушали долго, а на других сердились, и чуть они откроют рот, им уже не дают и слова сказать. Наконец все, поворчав, уселись по местам, наступила тишина, меня вывели вперед, и один человек заговорил: (27.) — Вот он, граждане, один из тех, кто пользуется много лет землей, принадлежащей государству; и это делает не он один, то же делал и его отец; они пасут скот в наших горах, пашут и охотятся, выстроили там много домов, насадили виноградники и получают немалую прибыль — а между тем они никому ничего за землю не платят и не получили ее в дар от народа. (28.) И за что они могли бы ее получить? Они владеют нашим имуществом, наживаются, но никогда ничего для города не сделали, не платят ему ничего из своих доходов, а живут, не платя налогов и не неся никаких повинностей, словно они какие-то благодетели нашего города. Мне даже кажется, что они никогда сюда и не показывались. — (29.) Я покачал головой, а народ рассмеялся, увидав это, оратор же, обиженный его смехом, выбранил меня, а потом, снова обращаясь к собранию, сказал: — Если вам это так нравится, то давайте все тотчас же начнем расхищать общественное имущество: одни заберут городскую казну, — что, правда, многие делают и теперь, — другие без вашего разрешения поделят между собой землю, если только вы позволите этим чудовищам владеть бесплатно более чем тысячей плетров отличной земли, с которой вы могли бы получать по три аттических меры зерна на человека.

30. Услыхав это, я громко расхохотался, но толпа уже не рассмеялась, как прежде, а зашумела; говоривший же рассердился и, гневно взглянув на меня, сказал: — Вы видите, как нагло притворяется это чудище, как нахально издевается над вами?

Придется мне, пожалуй, отвести его в тюрьму, да с ним заодно и его спутника. Я разузнал, что там у этих людей, захвативших почти всю землю в горах, есть двое главарей; (31.) я думаю, они не раз прибирали к рукам имущество потерпевших от кораблекрушения, — ведь они живут над самыми Кафарейскими рифами. Иначе откуда же у них такие богатые поля, вернее даже целые деревни, и такое множество стад, упряжек и рабов? (32.) А теперь посмотрите, как он одет, — в какую-то дерюгу, — посмотрите на шкуру, которую он, идя сюда, накинул на себя, чтобы обмануть вас и показать, будто он нищий и неимущий. Что касается меня, — продолжал он, — то я прямо-таки испугался, взглянув на него, — мне показалось, что я вижу перед собой Навплия с Кафарея [5]. Я уверен, что он зажигает огни на горах, чтобы моряки разбивались о скалы.

33. Когда он произнес такие слова, да и еще наговорил немало в том же роде, толпа пришла в бешенство, а я совсем растерялся и стал бояться, как бы мне не пришлось худо.

Но тогда выступил другой оратор, судя по его речам и всей его повадке, человек хороший; он велел толпе утихнуть — и она утихла. После этого он сказал спокойным тоном, что никакого проступка не совершают те, кто обрабатывает пустопорожние земли и приводит их в порядок, напротив — их по справедливости следовало бы хвалить; (34.) не на тех надо гневаться, кто заселяет и засевает общественную землю, а на тех, кто ее губит. — Ведь и теперь, граждане, — сказал он, — две трети наших земельных угодий лежат в запустении по нашей небрежности, а также из-за безлюдья. У меня самого немало плетров, как и у многих других, и не только в горах, но и на равнине; если бы кто-нибудь захотел их обрабатывать, я не только дал бы ему землю бесплатно, но с радостью приплатил бы за это. (35.) Ясно же, что для меня земля заселенная и обработанная имеет больше ценности, да и смотреть на нее приятнее. А пустыри не только не приносят никакой пользы владельцу, но представляют собой жалкое зрелище и свидетельствуют о печальной участи их хозяев. (36.) Мне думается, следовало бы побудить как можно большее число граждан брать в обработку общественную землю; пусть те, у кого есть кое-какие средства, берут побольше, а бедняки — сколько смогут обработать сами; тогда земля будет обработана, а те из граждан, кто возьмется за работу, избавится от двух наихудших зол — безделья и нужды. (37.) В течение десяти лет пусть они владеют землей безвозмездно; по истечении этого срока предложите им вносить в казну незначительную долю урожая, но скота не трогайте. Если за обработку земли возьмется какой-нибудь чужеземец, то в первые пять лет пусть и он не платит ничего, но потом вдвое больше, чем граждане; если же кто-нибудь из чужеземцев обработает двести плетров, пусть станет гражданином — чтобы число желающих все увеличивалось.

38. Ведь в настоящее время вся местность за городскими воротами совершенно запущена и выглядит ужасно, словно это какие-то дикие дебри, а не пригород; напротив, бóльшая часть земли внутри городских стен превращена в посевы и пастбища. Можно только удивляться ораторам, которые клевещут на людей, охотно трудящихся на Кафарейских отрогах, на самой окраине Эвбеи, а тех, кто устраивает пахотное поле в гимнасии и пасет скот на рыночной площади, ничуть не порицают. (39.) Вы же сами видите, что гимнасий превращен в ниву, так что статуя Геракла и многие другие статуи героев и богов скрываются за колосьями; а овцы, принадлежащие как раз тому оратору, который выступал передо мной, чуть свет вторгаются на рыночную площадь и пасутся около дома городского совета и других государственных зданий, так что чужестранцы, впервые попавшие в наш город, одни издеваются над ним, другие его жалеют. — Услышав это, народ разгневался на первого оратора и поднял шум.

40. — Несмотря на то, что он сам поступает так, — продолжал говоривший, — он считает нужным отправлять в тюрьму простодушных бедняков, по-видимому, чтобы никто не имел охоты работать, и одни занимались грабежом за стенами города, а другие мошенничали в самом городе. А мне кажется, что тем, о ком сейчас идет речь, надо оставить землю, обработанную ими; пусть впредь они платят умеренный налог, а за прошлое время не надо взимать с них ничего, потому что они обработали бесполезные пустыри и таким образом вступили во владение ими; если же они захотят приобрести эту землю в собственность, то следует продать ее им за более низкую цену, чем кому бы то ни было другому.

41. Когда этот оратор кончил свою речь, то первый снова стал ему возражать, и они долго бранились друг с другом. В конце концов велели выступить мне и сказать все, что мне захочется.

— А что я должен сказать? — спросил я. — Ответь на то, о чем здесь говорилось, — крикнул мне кто-то с места. — Ну, ладно, — сказал я, — во всем, что говорил первый, нет ни слова правды. (42.) Мне казалось, что я вижу сон, когда он болтал здесь насчет полей, деревень и о чем-то еще в том же роде. Ни деревень, ни лошадей, ни ослов, ни стад у нас нет; эх, если бы у нас были все те блага, о которых он распространялся, то мы бы и с вами поделились, да и сами были бы богачами; а впрочем, и того, что у нас есть теперь, нам хватает; возьмите себе то, что вам угодно, а если захотите забрать все, мы своим трудом приобретем столько же. — За эту речь меня похвалили.

43. Потом архонт спросил меня, что же мы можем дать общине. — Четыре оленьих шкуры, — ответил я, — и притом превосходных. — Толпа засмеялась, а архонт на меня рассердился. — Но ведь медвежьи шкуры, — продолжал я, — очень грубые, а козьи еще того хуже; есть еще у нас и разные другие шкуры, но одни из них старые, другие — малы; если хотите, забирайте и их. — Архонт опять рассердился и сказал, что я — ужасная деревенщина.

(44.) — Опять ты говоришь о деревнях, — возразил я, — разве ты не слышал, что никаких деревень у нас нет?

Он спросил меня, согласны ли мы дать по аттическому таланту [6] каждый, а я ответил: — Мы мяса не взвешиваем, но то, что у нас есть, можем дать: кое-что у нас засолено, кое-что коптится, одно лучше другого — окорока кабаньи и оленьи, да и всякое иное славное мясцо. — (45.) Все опять зашумели и стали кричать, что я лгу, а архонт спросил меня, есть ли у нас зерно и сколько; я ответил ему по правде: — Два медимна пшеницы, четыре — ячменя, столько же — проса, а бобов — только гемиэкт, они в этом году не уродились. Пшеницу и ячмень берите вы, а просо оставьте нам; но если вы в нем нуждаетесь, берите и его.

46. — А вино вы изготовляете? — спросил кто-то. — Да, изготовляем, — ответил я, — если кто-нибудь из вас придет к нам, мы дадим ему вина; но пусть прихватит с собой бурдюк, у нас его нет. — Сколько же у вас виноградных лоз? — Две, — сказал я, — около дома; во дворе — двадцать и столько же за рекой; эти мы посадили недавно; но они очень хорошие и приносят крупный виноград, если только прохожие их не трогают; (47.) но чтобы вы не трудились расспрашивать меня обо всем по отдельности, то я сразу перечислю вам то, что у нас есть: восемь коз, безрогая корова с прехорошеньким теленочком, четыре косы, четыре кирки, три копья и у каждого из нас есть охотничий нож для защиты от диких зверей; о глиняной посуде стоит ли говорить? Есть у нас и жены и от них дети. Живем мы в двух прекрасных хижинах, а в третьей хранится зерно и шкуры.

48. — Зевсом клянусь, — сказал первый оратор, — тут-то вы, наверное, закапываете и деньги. — Так приди к нам и выкопай их, дурак ты этакий, — возразил я, — ну, кто станет закапывать деньги? Ведь они же не растут! — Тут все расхохотались, и мне показалось, что они смеются над ним.

— Вот что у нас есть; если вы хотите взять все, мы отдадим вам добровольно; вам не придется ничего отнимать у нас, словно мы какие-то чужаки или злодеи; (49.) ведь мы — тоже граждане этого города, как я слыхал от моего отца. Однажды он приходил сюда, попал на раздачу денег и получил свою долю, как и все остальные. Поэтому мы и своих сыновей воспитываем, чтобы они стали гражданами вашего города, и если они будут вам когда-нибудь нужны, то они помогут вам сражаться с разбойниками или с врагами. Сейчас, правда, время мирное; но если случится беда, то вам придется пожелать, чтобы многие из вас оказались такими же, как мы. Не воображайте, что этот оратор станет сражаться, защищая вас, разве что ругаться будет, как баба. (50.) Мясом и шкурами мы, когда убьем какого-нибудь зверя, будем с вами делиться; но присылайте за ними кого-нибудь. Если вы прикажете нам разрушить наши хижины, — раз они кому-то мешают, — мы это сделаем; но тогда дайте нам какое-нибудь жилье здесь, иначе как же нам перенести зимнюю стужу? Ведь в городе

у вас много домов, в которых никто не живет; нам хватит и одного. Но если мы живем не здесь и не увеличиваем собой число людей, которые и без того живут в тесноте, то, право же, мы не заслуживаем того, чтобы нас куда-то выселяли.

51. Но этот вот человек посмел говорить о наших нечестивых и позорных поступках по отношению к потерпевшим кораблекрушение (об этом я чуть не забыл сказать, а надо было ответить на это обвинение прежде всего). Ну кто из вас может этому поверить? Уж не говоря о том, какое это злодеяние, там и взять-то нечего, даже доски истерты в порошок; море выбрасывает сущую мелочь — ведь наш берег самый неприступный. (52.) Несколько корзин, которые я однажды нашел выброшенными прибоем, я прибил к священному дубу поблизости от моря. Пусть никогда не случится мне, Зевс, взять что-нибудь и нажиться на чужой беде! Нет, никогда не имел я никакой прибыли, но часто жалел потерпевших крушение, принимал их к себе в хижину, кормил и поил их, помогал им, чем мог, и провожал их до населенных мест. (53.) Но кто из них мог бы сейчас засвидетельствовать это? Впрочем, я поступал так, не думая ни о свидетельстве, ни о благодарности, да и не знал я, откуда эти люди. Пусть никто из вас никогда не попадет в такую беду!

Я еще говорил, как вдруг кто-то в толпе встает с места; ну, подумал я, вот еще нашелся человек, который наговорит обо мне всяких небылиц; (54.) но он сказал: — Граждане, я долго колебался и не мог решить, знаком ли мне этот человек; но сейчас я его узнал, и было бы очень дурно — скорее даже безбожно — с моей стороны не сказать того, что я о нем знаю, и не воздать благодарности хотя бы словами тому, от кого я получил величайшую помощь делом. (55.) Я, — продолжал он, — как вам известно — здешний гражданин, и он тоже (при этом он показал на своего соседа, который также встал с места); довелось нам два года тому назад плыть на корабле Сокла; корабль разбился около Кафарея, и спастись удалось лишь немногим; у нескольких сохранились деньги в кошелях, и их приняли к себе рыбаки, промышляющие ловлей пурпурных ракушек; а мы, выброшенные на берег нагими, долго шли по горной тропинке, надеясь найти хотя бы какое-нибудь убежище у пастухов и рискуя погибнуть от голода и жажды. (56.) Наконец мы с трудом добрались до нескольких хижин, остановились и стали кричать; вот тогда и вышел из хижины этот человек, повел нас к себе и начал разжигать огонь, но постепенно. Потом одного из нас натер салом он сам, другого — его жена; оливкового масла у них не было; после этого они стали обливать нас теплой водой, пока мы не пришли в себя и не согрелись; (57.) затем они уложили нас, закутав во все, что у них было, и подали нам пшеничный хлеб, — а сами они ели просяные лепешки. Нам они дали и вина, между тем как сами пили воду; оленьего мяса немало они и поджарили и сварили. Когда мы на следующий день собрались

уходить, они оставили нас у себя еще на три дня, (58.) а потом проводили до равнины, дали мяса на дорогу, да еще подарили нам по очень красивой шкуре. Увидев, что я все еще плохо чувствую себя после крушения, этот человек взял хитон у своей дочери и надел на меня, а она прикрылась куском ткани. Добравшись до деревни, я отослал хитон обратно. Вот как мы, с помощью богов, были спасены этим человеком.

59. Пока он говорил, народ слушал его с удовольствием и хвалил меня, а я, узнав его, воскликнул: — Привет тебе, Сотад! — и, подойдя к нему, поцеловал и его и его соседа; а толпа расхохоталась, видя, что я их целую; тогда я понял, что в городах целовать друг друга не принято.

60. И вот заговорил тот добрый человек, который первым выступил в мою защиту, и сказал: — Мне думается, граждане, что его следует пригласить в пританей[7] и угостить. Ведь, не правда ли, если бы он на войне прикрыл своим щитом кого-нибудь из наших граждан и спас ему жизнь, он получил бы немало дорогих даров? А спасши двух граждан и, может быть, многих других, которые здесь не присутствуют, разве не заслуживает он почестей? (61.) Взамен хитона, который он, сняв со своей дочери, отдал больному гражданину, город должен подарить ему хитон и плащ, чтобы побудить и других людей быть справедливыми и помогать друг другу; мы должны также голосованием постановить, что и сами эти поселенцы и их дети имеют право пользоваться своим участком и что никто не смеет притеснять их; а кроме того, надо дать ему сто драхм на всякое обзаведение; эти деньги я дам от имени города, но из моих собственных средств.

62. Говоривший заслужил всеобщую похвалу, и все, что он предложил, было выполнено. Тотчас же в театр принесли плащ и деньги. Я ничего не хотел брать, но мне сказали, что обедать одетым в шкуру нельзя. — Значит, — сказал я, — придется мне остаться нынче без обеда. — Однако на меня все же надели хитон и накинули плащ. Я хотел сверх него набросить еще и шкуру, но этого мне не позволили; (63.) от денег же я отказался наотрез и даже поклялся, что ни за что не возьму их. — Если ищете кого-нибудь, кто бы принял их, — сказал я, — дайте их вон тому оратору; пусть он закопает их в землю, он, видно, знает, как это делается. — И с этого времени к нам уже никто не приставал.

64. Только мой спутник окончил свой рассказ, как мы уже оказались перед хижинами, и я сказал ему смеясь: — Но ты утаил от граждан самую лучшую часть своего имущества. — Какую же? — спросил он. — Этот чудесный сад, в котором растет множество овощей и деревьев. — Этого сада, — ответил он, — в ту пору еще не было; мы разбили его позже.

65. Потом мы вошли в дом и всю остальную часть дня отдыхали; мы лежали на высоком ложе из сухих листьев и звериных шкур, а жена хозяина сидела рядом с мужем. Их молоденькая дочь, уже невеста, прислуживала за столом и разливала темное

вино, очень сладкое; дети готовили мясо, ели сами и обносили всех; я же думал о том, что эти люди очень счастливы и что их жизнь, пожалуй, счастливее жизни всех, кого мне довелось знать; (66.) а ведь я бывал за трапезой в домах богачей, и не только у частных людей, но и у сатрапов и царей, которые и прежде казались мне людьми несчастными, а теперь я убедился в этом, видя скромную и свободную жизнь моих хозяев, которые отнюдь не были лишены удовольствия, даруемого едою и питьем, но, пожалуй, ощущали его даже сильнее тех.

67. Когда мы уже насытились, пришел их сосед; его сопровождал сын, довольно красивый юноша, несший убитого зайца; войдя, он покраснел, и пока его отец приветствовал нас, он поцеловал девушку и подарил ей зайца; тогда она перестала прислуживать за столом и села рядом с матерью, а юноша взялся прислуживать вместо нее. (68.) — Это та самая девушка, — спросил я моего хозяина, — с которой ты снял хитон, чтобы отдать его потерпевшему крушение? — Он засмеялся: — Нет, это не она; та давно выдана замуж в деревню, за богатого, и у нее уже двое взрослых детей. — Значит, — сказал я, — они с мужем, наверное, помогают вам, если вы в чем-нибудь нуждаетесь? — Но мы ни в чем не нуждаемся, — ответила хозяйка, (69.) — напротив, они иногда получают от нас кое-что — дичь, а также фрукты и овощи: у них сада нет. Впрочем, в прошлом году мы заняли у них пшеницы для посева, но отдали долг сейчас же после жатвы. — Ну, а эту девушку, — спросил я, — вы тоже думаете отдать за богатого, чтобы и она могла давать вам пшеницу для посева? — При этих словах и девушка и юноша вспыхнули, а ее отец сказал: (70.) — Нет, ей достанется в мужья бедняк, такой же охотник, как и мы сами, — и, улыбнувшись, взглянул на юношу. — Почему же вы не выдадите ее теперь же? — спросил я. — Или он должен прийти сюда откуда-нибудь из деревни? — Да нет, — ответил хозяин, — мне сдается, что он здесь неподалеку и, пожалуй, даже в этом доме; и мы справим свадьбу, когда выпадет подходящий день. — А по каким приметам вы узнаете, подходящий ли это день? — спросил я. Он ответил: — Когда луна не на ущербе; воздух должен быть чистым и погода ясной. (71.) — Ну, а охотник он и вправду хороший? — Да, правда, — ответил сам юноша, — я могу загнать оленя и одолеть кабана. Можешь завтра убедиться в этом, гость, если захочешь. — А этого зайца ты сам поймал? — спросил я. — Сам, — ответил он, засмеявшись, — нынче ночью, в сеть; погода была чудесная, а луна такая огромная, как никогда прежде не бывала. — (72.) Тут засмеялся уже не только отец девушки, но и отец юноши; а он смутился и замолчал.

Тогда отец девушки сказал: — Не я, сынок, оттягиваю срок свадьбы, а твой отец все ждет, когда ему удастся пойти и купить жертвенное животное — надо же принести жертву богам. — Тут младший брат девушки закричал: «Но ведь жертвенное животное

уже давно готово, его откармливают в закуте позади хижины, и какое же оно здоровое! — (73.) Все стали спрашивать юношу: — Это правда? — И он ответил: — Да, правда. — А откуда же оно у тебя? — спросили его. — Когда мы поймали кабаниху с детенышами, — рассказал он, — детеныши разбежались; уж и мчались они — быстрей зайцев, но одного я подбил камнем и набросил на него шкуру; потом я выменял его в деревне на поросенка, которого откормил, сделав для него закуту за хижиной. (74.) — Так вот почему, — сказал отец, — твоя мать всегда смеялась, когда я удивлялся, где же это хрюкает свинья; да и ячменем ты недурно попользовался. — Но от каштанов она бы не разжирела, — сказал юноша, — разве что она захотела бы питаться одними только желудями. Если вы хотите взглянуть на нее, я пойду и приведу ее сюда. — Ему велели сделать это; тогда и он и дети весело выбежали из дома; (75.) а девушка встала и принесла из другой хижины рябину, кизил, зимние яблоки, сочные виноградные гроздь с хорошей лозы и положила все это на стол, очистив его листьями от остатков мяса и застелив свежим папоротником. В это время вбежали дети, смеясь и шутя, и пригнали свинью. (76.) За ними шла мать юноши и его двое братишек: они принесли пшеничные хлебы, вареные яйца на деревянных блюдах и поджаренный горох.

Мать юноши поздоровалась с братом и с племянницей, села рядом со своим мужем и сказала: — Посмотри-ка на это жертвенное животное, которое наш сын уже давно откормил к дню свадьбы; все прочее у нас тоже готово: пшеничной и ячменной муки хватит; может быть, нам понадобится еще немного вина, но его нетрудно достать в деревне. — (77.) Рядом с матерью стоял сын и поглядывал на своего будущего тестя, который, улыбаясь, сказал: — Дело затягивает он сам; он, видно, хочет еще больше раскормить свинью. — Да она скоро лопнет от жира, — возразил юноша. (78.) Мне захотелось помочь ему, и я сказал: — Смотрите, как бы у вас, пока свинья жиреет, сын не исхудал. — Правду говорит наш гость, — поддержала меня его мать, — он уже и сейчас похудел и на себя не похож; а недавно ночью я заметила, что он не спал и выходил из хижины. — Собаки лаяли, — возразил юноша, — и я вышел поглядеть, в чем дело. (79.) — Вовсе нет, — сказала мать, — ты долго печально бродил без всякой цели; давайте же не мучить его дольше. — С этими словами она обняла и расцеловала мать девушки, а та, обратившись к своему мужу, сказала: — Давай сделаем так, как им хочется. — Все согласились с этим и назначили свадьбу на послезавтра. Попросили остаться и меня, (80.) и я остался очень охотно, вспоминая при этом, сколько лишних дел бывает в богатых домах как при разных других событиях, так и при свадьбах: сватовство, расспросы об имуществе и происхождении, приданое, подарки жениха, посулы и обманы, соглашения и договоры, а нередко и во время самой свадьбы раздоры и склоки.

81. Всю эту повесть я рассказал не зря и не из желания поболтать попусту, как, пожалуй, покажется кое-кому, а чтобы показать наглядный пример той жизни, которую и сам я некогда избрал и которую ведут бедняки; я взял этот пример из моего собственного опыта, чтобы каждый, кому придет охота, поглядел, ниже ли бедняки, чем богачи, в своих словах и делах и в своих взаимных отношениях только потому, что они бедны, а также во всем своем образе жизни, благопристойном и соответствующем природе, или они во всем этом превосходят богатых людей.

82. Когда я думаю о словах Эврипида [8] и спрашиваю себя, действительно ли настолько тягостен для бедняков приход чужестранца, что они не могут ни принять его к себе, ни помочь ему, если он попал в беду, я никак не могу признать справедливым такой отзыв об их гостеприимстве: нет, они гораздо охотнее раздувают огонь на своем очаге, чем богачи, они никогда не откажутся вывести путника на верную дорогу — совесть не позволила бы им поступить иначе; часто они охотно делятся тем, что у них есть. Между тем ни один богач не даст пострадавшему от кораблекрушения не только пурпурного покрывала своей жены или дочери, но даже какой-нибудь плохонькой одежки; будь у него хоть тысячи плащей и хитонов, он не даст и накидки одного из своих рабов.

83. Это ясно показывает и сам Гомер: он изобразил Эвмея рабом и бедняком; однако Эвмей радушно принимает Одиссея, дает ему и пищу и ночлег; а вот женихи, богатые и заносчивые, не слишком охотно делятся с ним даже чужим добром, — как говорит сам Одиссей, порицая Антиноя за низкий образ мыслей:

> В доме своем ты и соли щепотку мне дать пожалел бы,
> Если уж здесь, за обедом чужим прохлаждаяся, хлеба
> Корку жалеешь мне бросить, а стол ваш, я вижу, обилен [9].

84. Но положим, женихи показали себя с дурной стороны потому, что они вообще люди дурные; но ведь и Пенелопа, хотя она превосходная женщина, хотя она очень рада поговорить с Одиссеем и разузнать что-нибудь о своем муже, — даже она, как говорит Гомер, не дала Одиссею плаща — а ведь он сидел перед ней чуть ли не голым — и только обещала ему дать плащ, если окажется, что он не солгал, утверждая, будто Одиссей вернется еще в течение этого месяца; [10] (85.) а потом, когда он попросил дать ему тот лук, который ни один из женихов не мог натянуть, и когда все они рассердились на него за то, что он осмелился сравняться с ними в доблести [11], она настояла, чтобы ему дали лук. Конечно, сказала она, о браке с ним не может быть и речи, но если ему удастся натянуть лук и стрела пролетит через отверстия во всех секирах, то она даст ему хитон, плащ и сандалии. (86.) Значит, он должен был натянуть лук Эврита,

навлечь на себя вражду стольких юнцов и, может быть, погибнуть тут же от их рук, и все для того, чтобы получить одежду и обувь! Или же он должен был представить воочию, — да еще в назначенный срок! — Одиссея, пропадавшего уже целых двадцать лет. А если бы он не сделал этого, ему пришлось бы в тех же своих лохмотьях уйти из дома разумной и благородной царицы, дочери Икария!

87. Почти то же самое говорит свинопасу относительно Одиссея и Телемах, приказывая ему как можно скорее отправить Одиссея в город, чтобы он там нищенствовал, а не кормить его несколько дней у себя на пастбище;[12] пусть даже это и было заранее договорено между Одиссеем и Телемахом, — но ведь свинопас ничуть не удивлен бесчеловечностью такого поведения, (88.) как будто именно так, сурово и скаредно, следует обращаться с путниками, если они бедные, а встречать ласково, с подношениями и подарками надо только богатых, от которых, наверное, получишь то же самое. Так и теперь человеколюбие проявляют с большим разбором: (89.) если хорошенько приглядеться, то всякие добрые услуги и любезности ничем не отличаются от лести и подкупа и по большей части оказываются с расчетом на немалую прибыль; да, пожалуй, теперь все это — клянусь Зевсом! — еще хуже прежнего, как и все остальное. (90.) Я мог бы кое-что сказать и о феаках, и об их милосердии[13], — если кто думает, что их отношение к Одиссею было благородным и соответствующим их богатству; я мог бы объяснить, по каким соображениям и по каким причинам они решили проявить такую щедрость и великодушие, но я уже сказал более чем достаточно об этом предмете.

91. Ясно, что богатство не делает тех, кто им владеет, ни гостеприимнее, ни вообще добрее; напротив, в большинстве случаев они жаднее и скареднее бедняков. И даже если найдется какой-нибудь богач, один из многих тысяч щедрый и великодушный, это вовсе не доказывает, что большинство их обладает этими качествами в большей степени, чем малоимущие. (92.) Человеку бедному, если он добропорядочен, хватает того, что он имеет, и для восстановления собственного здоровья при болезнях, не слишком тяжелых (например, при той болезни, которая случается с непривыкшими к безделью людьми, когда они объедятся), и для подарков гостям — подарков, которые даются охотно и не вызывают недоверия у получающих; (93.) конечно, это не серебряные кубки, не многоцветные одеяния, и не колесницы, запряженные четверкой, одним словом, не такие дары, какими Елена и Менелай одарили Телемаха. Да едва ли бедняку и придется принимать у себя когда-либо подобных посетителей, сатрапов и царей, разве что эти последние будут столь разумны и благородны, что ни один дар не покажется им презренным, если он дан с дружеским чувством; посетителей необузданных и властолюбивых бедняки, конечно, не могли бы принять подобающим образом, да, пожалуй, и не очень желали бы оказывать им

гостеприимство. (94.) Ведь не слишком много пользы принесло Менелаю то обстоятельство, что он мог принять в своем доме богатейшего гостя из Азии, а никто другой во всей Спарте не был в силах пригласить к себе сына царя Приама;[14] (95.) этот гость разорил дом Менелая, похитив, кроме многих сокровищ, и его жену, его дочь сделал сиротой и уехал за море; и после этого Менелай немало времени потерял, странствуя по всей Элладе, оплакивая свое несчастье и прося каждого царя о помощи; ему пришлось также умолять и брата, чтобы тот отдал в Авлиде свою дочь[15] на заклание. (96.) Десять лет провел он, воюя, под Троей, где и он, и его брат были вынуждены льстить другим военачальникам, которые сердились и грозились разъехаться по домам, если им не угождали; да и потом, перенеся много трудов, подвергнувшись невероятным опасностям, Менелай долго странствовал и лишь после бесчисленных бедствий добрался до своего дома.

97. Поэтому разве не бессмысленно, следуя мнению одного из поэтов, восторгаться богатством и стремиться обладать им?[16] Он говорит, что величайшим благом, получаемым от богатства, является возможность делать подарки гостям, и если к тебе в дом пожалуют люди, привыкшие к роскоши, принять их и поднести им такие дары, какие им более всего будут по сердцу. (98.) Мы приводим здесь мнение поэтов не для того, чтобы их оспаривать, и не потому, чтобы мы завидовали славе, которую они стяжали своими творениями и своей мудростью; не из честолюбия стараемся мы опровергнуть их, а потому, что именно от них, как мы полагаем, можно узнать, что думает толпа о богатстве и о прочих предметах, которыми она восхищается, а также узнать, какие столь великие блага, по ее мнению, проистекают для людей из обладания каждым из этих предметов; (99.) всякому ясно, — если бы поэзия не выражала чувств, свойственных людям, и не высказывала их мнений, то люди не любили бы поэтов так горячо и не восхваляли бы их как мудрых и доблестных провозвестников истины. (100.) Каждому человеку в отдельности, в личной беседе, разумеется, нельзя доказать ошибочность его мнения, нельзя и задавать каждому по одиночке вопросы: «Почему ты, друг, так боишься бедности и так высоко ценишь богатство, и что ты надеешься выиграть от того, что, например, вдруг разбогатеешь или станешь купцом, а может быть, даже царем?» Это было бы бесцельно, да и невыполнимо. (101.) Поэтому, давайте, обратимся к тем, кого люди считают своими наставниками и прорицателями, — к поэтам; у них мы найдем ясно выраженные и изложенные в стихотворной форме мнения толпы. Мы полагаем, что таким образом мы не уклонимся от нашей цели: (102.) так обычно поступали и многие более мудрые, чем мы.

Те слова Эврипида, о которых была речь, оспаривал один из наилучших философов[17] — его уж, конечно, никто не обвинит в пустом честолюбии; не соглашался он и с тем, что говорил о богатстве Софокл;[18] первому он возражал кратко, Софоклу —

более подробно, но все же не так, как мы; ведь он не выступал с речью без подготовки и не пользовался свободой, предоставленной оратору, а писал книги.

103. О жизни земледельца, охотника и пастуха мной сказано довольно, пожалуй даже больше, чем следовало; но нам хотелось каким-либо способом показать, что бедность не является непреодолимым препятствием к тому, чтобы вести жизнь, достойную свободного человека, желающего работать своими руками; напротив, она побуждает его к труду и к деятельности, гораздо более честной и полезной, более соответствующей природе, чем те дела, на которые обычно богатство толкает большинство людей. (104.) Давайте же теперь посмотрим, как живут и что делают бедняки в больших и малых городах, и подумаем, при каком образе жизни и при каких занятиях они могли бы жить неплохо, ничуть не хуже тех, кто дает деньги в рост, сильно наживаясь на этом и ловко разбираясь в подсчете дней и месяцев, не хуже и тех, у кого есть огромные дома, корабли и бесчисленные рабы.

105. Бедным людям, правда, иногда трудно найти в городах работу, и им приходится искать добавочных заработков вне города, потому что они должны платить за наем жилья и покупать себе все — не только одежду, хозяйственную утварь и хлеб, но даже дрова для ежедневной топки, хворост, сухие листья и всякую прочую мелочь; они вынуждены всё приобретать за деньги, все, кроме воды: (106.) ведь все вещи находятся под замком, и нет ничего, что было бы открыто для общего обозрения, кроме множества дорогих вещей, выставленных на продажу. Людям, не имеющим никакого иного имущества, кроме собственного тела, действительно трудно выдержать такого рода жизнь, тем более что мы не предлагаем им никакого подходящего занятия и не указываем им, откуда они могли бы извлечь средства к жизни. (107.) Итак, мы, пожалуй, вынуждены прийти к выводу, что следует изгонять из города этих добропорядочных неимущих, чтобы города, как говорит Гомер, стали «благоустроенными» и были населены только состоятельными людьми; внутрь городских стен мы, как видно, ни одного свободного работника впускать не будем. Но что же нам, однако, с ними делать? Расселить их по стране, как, говорят, были рассеяны по всей Аттике афиняне в древнейшие времена, да и позже, во время тирании Писистрата? (108.) Такой образ жизни оказался небесполезным для афинян, и благодаря ему выросло поколение достойных граждан, гораздо более доблестное и разумное, чем то, которое впоследствии находило себе пропитание в городе, — завсегдатаи народного собрания и судов, писцы, одним словом, толпа бездельников и разного подлого люда. Хотя не было бы никакой беды, если все они в конце концов стали бы деревенскими жителями, однако я все же думаю, что и в городе им удастся найти себе пропитание.

109. Поглядим теперь, работами какого рода и характера они могут заниматься пристойно, не будучи вынуждены из-за безра-

ботицы прибегать к низким видам заработка. В городе имеется огромное множество занятий, имеются бесчисленные и разнообразные ремесла; некоторые из них чрезвычайно выгодны, если под «выгодой» понимать приобретение денег. (110.) Перечислить названия всех их по отдельности нелегко, — их слишком много, — да это было бы и неуместно. Поэтому выскажем им в общей форме и порицание и похвалу: все занятия, которые вредят телесному здоровью или наносят ущерб силам, приучая к безделью и сидячему образу жизни, все, которые воспитывают в душе подлость и низость, или по какой-либо иной причине оказываются бесполезными и ненужными, ибо берут свое начало в распущенности и расточительности городской жизни, все они не заслуживают, собственно говоря, даже названия «занятий» или «работ». Гесиод, человек мудрый, не стал бы восхвалять «труды» вообще, если бы он под этим названием подразумевал что-то дурное или позорное; (111.) поэтому если с каким-либо занятием связано любое из упомянутых зол, то свободный порядочный человек не должен ни браться за него, ни изучать его, ни обучать ему своих детей; ни по мнению Гесиода, ни по нашему мнению он не сможет называться «трудящимся», если будет причастен к занятиям такого рода; напротив, он заслужит упрек в подлости и низости, недостойной свободного человека, и его назовут ничтожным, ни к чему не пригодным и дурным.

112. Напротив, если тот или иной труд сам по себе не является недостойным и не грязнит душу, если он не вредит здоровью, расслабляя тело и ведя за собой, помимо разных прочих болезней, вялость и изнеженность вследствие слишком спокойного образа жизни, и, наконец, если он дает достаточный заработок для прожития, (113.) то люди, тщательно и усердно занимающиеся таким трудом, не дадут богачам повода прилагать к ним ходячее название «неимущих»; скорее именно они-то и будут теми, кто создает «имущество» богачей, а сами они тоже будут иметь для себя все, что им необходимо и полезно.

114. Мы не станем описывать подробно каждую профессию в отдельности, а дадим только общую характеристику занятий того и другого рода — одних, которых мы не одобряем, и других, за которые мы советуем браться смело: не следует обращать внимания на возражения тех людей, которые нередко с презрением отзываются о некоторых профессиях, не имеющих в себе ничего недостойного, причем порицают не только того, кто сам занят таким трудом, но ставят ему в вину и занятие его родителей; например, если его мать была наемной служанкой, или сборщицей винограда, или кормилицей осиротевшего ребенка, или нянькой в богатой семье, а также если отец его был учителем или воспитателем. Всего этого не надо стыдиться и спокойно делать свое дело; (115.) ведь порицатели этих занятий считают их признаком бедности и порицают, собственно, не профессию, а бедность как таковую, которая представляется им большим злом и бедствием.

Но поскольку мы не признаем бедность столь страшным злом и несчастьем и, более того, полагаем, что для многих людей она является более благоприятным условием жизни, чем богатство, то и насмешки над перечисленными занятиями следует пропускать мимо ушей так же, как и насмешки над самой бедностью. (116.) Если бы насмешникам пришлось, — не указав сперва, что именно они порицают, — обличать проявления порицаемого ими свойства, они убедились бы в том, что большинство подлинно дурных качеств порождается богатством, — и прежде всего то, которое, по мнению Гесиода, заслуживает наиболее жестокого осуждения, а именно — безделье. Им пришлось бы сказать:

Боги тебя не создали ни пахарем, ни землекопом [19],—

и прибавить: «Ни к чему твои руки не пригодны, они, словно руки юного жениха, мягки и нежны».

117. Далее я должен сказать то, что, как я полагаю, ясно каждому и о чем уже не раз говорилось: краски и благовония, изысканные прически женщин и мужчин, — в наше время почти одни и те же, — разукрашивание не только одежд, но даже волос и кожи с помощью румян, белил и других различных средств, дабы показаться моложе своих лет и создать о себе ложное представление, — далее, украшение крыш, стен и полов в домах то красками, то дорогими камнями, то золотом, то слоновой костью (118.) и, наконец, скульптурные изваяния на самих стенах — все это хорошо было бы совсем изгнать из городов; а в нашей речи мы потребуем, чтобы никто из бедных людей не брался за соответствующие ремесла. Ведь мы сейчас выступаем,— словно бы с хором, — против богачей [20] и рассуждаем не о том, как достигнуть счастья; оно не является наградой, путь к которой идет через бедность или через богатство; его можно достигнуть только добродетелью, вернее — разумным, воздержным образом жизни.

119. Далее, беднякам не следует становиться ни актерами, трагическими или комическими, ни теми, кто, выступая в мимах, вызывает безудержный хохот зрителей, ни плясунами или певцами; впрочем, они могут участвовать в хорах при священнодействиях, но не изображая в пении и пляске страданий Ниобы или Фиеста; они не должны быть кифаредами или флейтистами, участвующими в театральных состязаниях; правда, на нас разгневаются за это многие прославленные города, Смирна и Хиос, а вслед за ними и Аргос [21], — за то, что мы не хотим увеличивать славу Гомера и Агамемнона, поскольку это от нас зависит; (120.) пожалуй, рассердятся и афиняне за то, что мы не уважаем их поэтов, трагических и комических, раз мы отнимаем у них актеров и утверждаем, что в этой профессии ничего хорошего нет. Наверное, будут обижены и фивяне тем, что мы недооцениваем победу, одержанную ими в игре на флейте; (121.) за эту победу они были награждены всей Элладой, а сами настолько восхища-

лись ей, что даже когда их город лежал в развалинах (он и теперь находится почти в том же состоянии, и только малая его часть, Кадмея, заселена), они ничуть не сокрушались о том, что погибло множество храмов, колонн и надписей, но разыскали и восстановили статую Гермеса, на которой была высечена эпиграмма о состязании в игре на флейте:

Фивы награду в игре на флейте стяжали в Элладе.

И вот теперь на их старинной площади стоит среди развалин эта статуя.

122. Однако не будем бояться никого из них, а также и тех, кто нас упрекнет, что мы не одобряем всех профессий, к которым эллины столь привержены; мы доказываем, что все эти занятия недостойны уважающих себя свободных людей, ибо от них проистекает множество зол, в том числе величайшее зло — бесстыдство, а также высокомерие черни, которое вернее было бы назвать наглостью.

123. Не следует бедняку становиться также глашатаем на торгах или выкликать с безобразной грубостью на улицах и площадях о наградах за поимку воров и беглецов; не следует быть и писарями, составляющими договоры, заявления и всякие документы, касающиеся судебных разбирательств и исков и требующих знания законов; не надо превращаться и в хитроумных и ловких сутяг и говорунов, которые за плату обещают свою помощь всем, даже величайшим преступникам, защищают, не краснея, чужие злодеяния, стараются своими воплями и мольбами вызвать жалость к людям, которые им ни друзья, ни родные; а между тем кое-кто из этих сутяг пользуется почетом и славой в городе; но мы не должны допускать, чтобы кто-нибудь из бедняков стал таким человеком; пусть предоставят это другим. (124.) Занимаясь ремеслом, необходимо ловко владеть руками, но не следует слишком ловко владеть языком и законами.

Правда, некоторые из профессий, о которых мы только что говорили и еще будем говорить, очевидно, приносят известную пользу в городах, ныне существующих, как, например, запись судебных постановлений и договоров, а иногда и объявления через глашатая; однако здесь не место решать, каким образом и кем эти дела должны выполняться так, чтобы приносить как можно меньше вреда. (125.) Ведь мы сейчас говорим не о формах государственного строя, не о том, какая из них самая лучшая и какая лучше многих других; мы поставили перед собой задачу поговорить о бедности и показать, что она — положение отнюдь не безвыходное, между тем как большинство считает ее страшным злом, которого надо избегать во что бы то ни стало; для людей, желающих работать своими руками, имеется множество способов достаточно заработать себе на жизнь, притом способов не унизительных и никому не приносящих вреда. (126.)

Ведь именно исходя из этой основной мысли, мы рассказали с самого начала нашу повесть о жизни земледельцев и охотников, а теперь говорим о различных занятиях в городе, определяя, какие из них пристойны и не причиняют вреда тем, кто не хочет жить в полной нищете, а какие унижают людей, занимающихся этим трудом.

127. Если многое из сказанного полезно вообще для решения вопросов государственного устройства и выбора подходящей профессии, то меня, по справедливости, следует простить за то, что моя речь столь длинна: я не затягивал ее напрасно, блуждая без цели, и ни о чем бесполезном не говорил. Обзор занятий и ремесел и вообще всего образа жизни, подобающего или неподобающего людям умеренного достатка, оказался и сам по себе заслуживающим глубокого и весьма тщательного изучения. (128.) Поэтому по поводу отклонений в речи, хотя бы и длинных, но касающихся предметов прекрасных, достойных и соответствующих теме, слушатель не должен выражать недовольства, потому что оратор не отходит от намеченного им плана, пока он говорит о важнейших вопросах, соприкасающихся с философией. (129.) Пожалуй, нам следовало бы в этом отношении подражать охотникам, и это избавило бы нас от ошибок; ведь когда они нападают на след зверя, они идут по нему, но если видят другой след, более ясный и свежий, они не задумываясь поворачивают по этому следу и, уже поймав свою добычу, возвращаются к первому. (130). Вследствие этого и мы не должны порицать того, кто, начав говорить о справедливом человеке и о справедливости вообще и приведя в качестве наглядного примера какой-нибудь город, переходит потом к длительным рассуждениям о государственном строе и не останавливается до тех пор, пока не перечислит все его разновидности и не покажет с восхитительной ясностью характерные черты каждой из них [22]. (131.) Правда, кое-кто упрекает такого оратора за излишне растянутую речь и за потерю времени на многочисленные примеры; конечно, если то, о чем он говорит, не имеет никакого отношения к предмету беседы и не вносит ясности в тот вопрос, ради которого было предпринято исследование, то, пожалуй, можно признать эти упреки не лишенными основания. (132.) Поэтому, если покажется, что и мы рассуждаем слишком долго о вопросах ненужных и не относящихся к нашей теме, то и нас можно будет упрекнуть в многословии; в противном же случае ни длина, ни краткость речи не заслуживают сами по себе ни похвалы, ни порицания.

Теперь мы должны смело пойти вперед и закончить нашу речь о различных занятиях в городе, упоминая об одних и оставляя другие незатронутыми.

133. Относительно сводников и сводничества не следует выражаться сдержанно и двусмысленно, а надо как можно резче и суровее осудить их и настаивать на том, чтобы ни бедняк, ни богач не прибегали к этому осуждаемому всеми занятию, извлекая

выгоду из чужой наглости и распущенности; ради наживы они устраивают любовные связи, в которых нет любви, и служат похоти, не вызванной страстью. Они выставляют пленных и купленных женщин и детей на позор перед грязными домами, рассеянными по всему городу — возле домов правителей, на площадях, рядом с государственными учреждениями и храмами, (134.) среди всего того, что должно быть для нас священно; нельзя насильно подвергать такому издевательству ни варварских, ни эллинских женщин; последние в прежние времена пользовались даже относительной свободой, но теперь впали в полное, ничем не ограниченное рабство. То, что делают сводники, гораздо постыднее и грязней занятия тех, кто случает лошадей или ослов; ведь они сводят друг с другом не животных, соединяющихся охотно и не испытывающих при этом стыда, нет, они людей, чувствующих стыд и отвращение, отдают в руки других людей, похотливых и необузданных, для бесцельного и бесплодного телесного общения, ведущего к гибели, а не к зарождению жизни; (135.) они не стыдятся ни людей, ни богов, ни Зевса-родителя, ни Геры, устроительницы браков, ни Мойр, вершительниц судеб, ни Артемиды, защитницы родильниц, ни матери Реи, ни Илифии, покровительницы человеческого рождения, ни Афродиты, чье имя является символом естественного соединения и общения между женским и мужским полом. (136.) Ни один законодатель, ни один правитель, если это в какой-то мере зависит от него, не должен разрешать или узаконивать этот способ обогащения ни в городах, широко прославленных доблестью жителей, ни в поселениях, стоящих на втором, третьем, четвертом и даже на любом месте. (137.) Если же правитель увидит, что старые обычаи и пороки въелись издавна, то и в этом случае пусть он не оставляет их без внимания и наказания, но примет все возможные меры, чтобы карать их; ведь всякое зло никогда не пребывает неподвижным — оно всегда распространяется и становится все более наглым, если не встречает препятствий. (138.) Следует прилагать к этому делу упорную заботу и не относиться слишком мягко и легкомысленно к такому оскорбительному обращению с бесправными женщинами и рабынями; надо делать это не только по той причине, что всему человеческому роду был оказан божеством, его породившим, почет (и притом такой же почет, какой подобает и самому божеству) за то, что человек обладает свойствами и признаками божества, — разумом, знанием прекрасного и дурного; надо всегда иметь в виду еще и то, что дерзости, поощряемой попустительством, трудно поставить такой предел, которого она из страха не решилась бы нарушить, но, начинаясь с чего-то незначительного и дозволенного, она приобретает такую силу и мощь, что уже не останавливается ни перед чем.

139. Пора нам прежде всего подумать и о следующем: позорный, открытый разврат, распространяющийся на наших глазах бесстыдно и беспрепятственно, открывает путь к скрытым и тай-

ным покушениям на честь женщин и мальчиков из хороших семей; эти покушения совершаются все более дерзко и безнаказанно — ведь стыдливость пользуется всеобщим презрением, а это отнюдь не ведет, как думают некоторые, к воздержанию от подобных преступлений и искоренению их.

140. Возможно, что кто-нибудь скажет такие грубые слова: «Эх, вы, многоумные законодатели и правители! Вы терпели такие обычаи, когда они возникли впервые, и воображали, что изобрели изумительное средство для поддержания скромной умеренности в городах: вы думали, что эти открытые для всех и незапертые дома сводников послужат оградой для ваших накрепко запертых жилищ и надежно укрытых спальных покоев, что вы не допустите мужчин, распутничающих на глазах у всех и притом за недорогую цену, к вашим свободнорожденным уважаемым женам, для овладения которыми потребовались бы дорогие подарки и деньги на подкуп». Но ведь мужчин уже не влечет то, что можно купить задешево, и они гоняются как раз за тем, что запрещено, что связано с опасностью и с большими расходами. (141.) Вы увидите это, я полагаю, совершенно ясно, если приглядитесь поближе: там, где супружеская неверность окружена роскошью и блеском, где она вызывает сочувствие и оценивается благосклонно, где сами мужья либо по простодушию ничего не замечают, либо делают вид, что не замечают, и при этом спокойно терпят любовников, именуемых благообразия ради гостями, друзьями и родственниками, а подчас даже сами расположены к ним и приглашают их к себе на празднества и жертвоприношения, словно они их закадычные друзья, (142.) где такие мужья выражают лишь легкое недовольство по поводу бьющего в глаза, ничем не прикрытого распутства своих жен, а любовные похождения замужних женщин считаются вполне благопристойными, — там едва ли можно полагаться и на целомудрие девушек и верить в истинность слов брачных песнопений. (143.) Разве не являются там неизбежными некоторые случаи, напоминающие древние мифы? Разница только в том, что теперь отцы уже не так огорчаются и сердятся, как тогда; а многие мужчины подражают любовным приключениям богов, и золотой дождь льется потоком сквозь крыши домов и проникает внутрь чрезвычайно легко, — ведь дома построены не из сплошной меди или камня[23]. (144.) И, клянусь Зевсом, деньги щедро текут не только в руки самих девушек, но попадают и к матерям, и к кормилицам, и к воспитателям, не говоря о многих других прекрасных дарах, подчас передаваемых тайком через кровлю дома, а нередко и открыто, у самого ложа. (145.) А разве в реках и около ручьев не случается многое, очень сходное с тем, что рассказывают поэты о минувших временах? Отличие лишь в том, что это происходит не на глазах у всех и не открыто, а в богатых домах, или в роскошных беседках, построенных в садах и пригородах, в разукрашенных гротах и очаровательных рощах; да и случается это

уже не с бедными дочками неимущих царей, с девушками, которые сами ходят за водой, играют возле реки, купаются в холодных струях или на широком берегу моря;[24] нет, это — богатые дочери богатых родителей, воспитанные по-царски и имеющие в своем доме столько дорогих и великолепных вещей, сколько не найти в общественных зданиях.

146. И все же нельзя ожидать, чтобы в городе, обладающем такими нравами, рождались дети, подобные тому, кого Гомер называет Эвдором, сыну Гермеса и Полидоры, о рождении которого он говорит в такой смягченной форме:

> Девой рожденный; его Полидора, прелестная в плясках,
> Филаса дочь, родила[25].

147. Очевидно, и у лакедемонян были мальчики, появлявшиеся на свет подобным образом и получавшие то же прозвище, потому что многие у них именовались «Парфениями»[26]. И потому, если бы в нынешних городах, купающихся в роскоши, большинство таких детей не погибало, — по-видимому, из-за недостаточного божественного попечения о них, — то весь мир, несомненно, наполнился бы «героями». (148.) Теперь же они обычно умирают сейчас же после рождения, а те, которым удается выжить, доживают до старости в неизвестности и в рабстве, ибо от тех, кто их родил, они не получают никакой помощи.

Если в таких условиях находятся девушки, то чего можно ожидать от мальчиков? (149.) Какое руководство и воспитание выпадает им на долю? Разве распутники удержатся от совращения и развращения юношей и станут соблюдать ту границу, которую ясно поставила сама природа? Разве, испытав все возможные способы удовлетворения своей похоти с женщинами, они, пресыщенные наслаждениями, не станут искать иных форм разврата, более острых и беззаконных? (150.) Соблазнять женщин — даже свободнорожденных — и девушек оказалось делом легким и не требующим большого труда от охотника, который выходит на эту охоту, владея богатством; тот, кто поведет осаду даже против самых уважаемых женщин и против дочерей уважаемых отцов, используя уловки Зевса и неся в руках золото[27], никогда не потерпит неудачи. (151.) А что произойдет дальше, ясно всякому, — ведь мы видим так много подобных случаев. Человек, ненасытный в своих страстях, не встречая отпора и сопротивления на этом поприще, начинает презирать легкий успех и любовь женщин, слишком просто достающуюся ему и по-женски нежную, и переходит к погоне за юношами; (152.) ему хочется опозорить тех, из кого впоследствии выйдут судьи и военачальники, и он надеется испытать с ними какой-то новый вид наслаждения, более трудно достижимый; он уподобляется любителям вина и пьяницам, которые долго и непрерывно пили несмешанное вино, уже не хотят пить его и искусственно возбуждают жажду потогонными средствами, солеными и острыми кушаньями.

VIII

ДИОГЕН, ИЛИ О ДОБЛЕСТИ

1. Когда Диоген, уроженец Синопа, был изгнан из своей родины, он пришел в Афины, ничем не отличаясь по своему обличью от беднейших нищих, и застал там еще немало спутников Сократа — Платона, Аристиппа, Эсхина, Антисфена и Эвклида Мегарянина; Ксенофонт в это время был в изгнании за свое участие в походе Кира. Диоген вскоре проникся презрением ко всем им, кроме Антисфена; с ним он общался охотно, но хвалил, впрочем, не столько его самого, сколько его учение, полагая, что только оно раскрывает истину и может принести пользу людям; (2.) сравнивая же самого Антисфена с его учением, он нередко упрекал его в недостаточной твердости и, порицая, называл его боевой трубой — шума от нее много, но сама она себя не слушает; Антисфен терпеливо выслушивал его упреки, так как он восхищался характером Диогена, (3.) а в отместку за то, что Диоген называл его трубой, он говорил, что Диоген похож на овода: овод машет своими крылышками почти неслышно, но жалит жестоко. Острый язык Диогена Антисфену очень нравился: так же, если всадникам достанется конь норовистый, но смелый и выносливый, его тяжелый нрав они переносят охотно, а ленивых и медлительных коней терпеть не могут и от них отказываются. (4.) Подчас Антисфен подзадоривал Диогена, а иногда, напротив, пытался обращаться с ним мягче; так же и те, кто, изготовляя струны для музыкальных инструментов, сильно натягивают их, но тщательно следят за тем, как бы они не порвались.

После смерти Антисфена Диоген переселился в Коринф, полагая, что больше ни с кем общаться не стоит; в Коринфе он не нанял себе жилья и не поселился ни у кого из гостеприимцев, а стал жить под открытым небом возле Кранея. (5.) Он видел,

что именно в Коринфе собирается больше всего народу из-за того, что там и гавань есть, и гетер много и что этот город лежит как бы на перекрестке всех дорог Греции. Диоген думал, что, подобно хорошему врачу, который идет помогать туда, где больных больше всего, и разумный муж должен находиться именно там, где больше всего встречается людей неразумных, чтобы доказывать им их неразумие и порицать его.

6. Поэтому, когда пришел срок Истмийских игр и весь народ повалил на Истм, он тоже направился туда; таков уж был у него обычай — на больших сборищах изучать, к чему люди стремятся, чего желают, ради чего странствуют и чем гордятся. (7.) Он уделял время любому человеку, который хотел с ним встретиться, и говорил, что одно его удивляет: если бы он объявил себя зубным врачом, к нему пришли бы все, кому надо вырвать зуб; если бы он — Зевс свидетель — обещал излечивать от глазных болезней, к нему тотчас же явились бы все, страдающие глазами; то же самое случилось бы, если бы он заявил, что знает средства от болезней селезенки, от подагры или от насморка; (8.) но когда он говорит, что излечит всех, кто последует его указаниям, от невежества, от подлости, от необузданности, — никто не приходит к нему, не просит об излечении и вовсе не думает о том, как много он приобрел бы от такого лечения, — как будто человек меньше страдает от этих болезней души, чем от болезней тела, и как будто для него хуже иметь разбухшую селезенку или гнилой зуб, чем душу безрассудную, невежественную, трусливую, необузданную, жаждущую наслаждений, несвободную, гневливую, недобрую, коварную, то есть во всех отношениях дурную.

9. В ту пору всякий мог слышать возле храма Посейдона, как орут и переругиваются толпы жалких софистов, как сражаются между собой их так называемые ученики, как множество писак читает вслух свои нелепые сочинения, множество поэтов распевает свои стихи и как слушатели восхваляют их, как множество фокусников показывает разные чудеса, множество гадателей истолковывает знамения, как бесчисленные риторы извращают законы, как немалое число мелких торговцев распродает всякую всячину. (10.) Конечно, и к Диогену бросилось несколько человек; из коринфян, правда, не подошел ни один: они полагали, что им от него никакой пользы не будет, так как они привыкли видеть его в Коринфе ежедневно; те, кто подходили к нему, были пришельцами из чужих городов, да и они, немного поговорив с ним или послушав его речи, скоро удалялись, боясь его упреков. (11.) Именно поэтому Диоген сравнивал себя с лаконскими псами: когда их показывают на зрелищах, всякому хочется погладить их и с ними поиграть, но покупать их охотников нет, так как обращаться с ними не умеет никто.

Когда кто-то спросил его, зачем он пришел сюда, не для того ли, чтобы поглядеть на состязания, он ответил: — Нет, чтобы участвовать в них. — Его собеседник засмеялся и спросил, с ка-

кими же противниками он собирается померяться силами; (12.) Диоген, бросив, как обычно, взгляд исподлобья, ответил: — С самыми страшными и непобедимыми, с теми, кому ни один эллин не смеет взглянуть в глаза; они, правда, не бегуны, не борцы, не прыгуны, не кулачные бойцы и не стрелки из лука, но они делают человека разумным. (13.) — Кто же они? — Труды, — сказал Диоген, — тяжкие труды, непреодолимые для обжор и безрассудных людей, которые весь день пируют, а ночью храпят; эти труды под силу одолеть только людям сухощавым, худым, с животами, подтянутыми, как у ос. (14.) Неужели ты думаешь, что от толстопузых много толку? Людям разумным следовало бы провести их по городу, подвергнуть очистительным обрядам и изгнать, а еще лучше — убить, разрубить на мясо и употребить в пищу, как делают с крупными рыбами, мясо которых вываривают и вытапливают из него жир; у нас в Понте так добывают свиное сало для умащения. Право, я думаю, у таких людей не больше души, чем у свиней. (15.) А человек благородный считает труды самыми мощными своими противниками, и с ними он добровольно сражается и ночью и днем; и делает он это не для того, чтоб ухватить — уподобясь козлам — немножко зеленого сельдерея, ветку маслины или сосны [1], а чтобы завоевать себе благоденствие и доблесть, и притом на всю жизнь, а не только на то время, пока находишься в гостях у элейцев, коринфян или у целого сборища фессалийцев [2]. (16.) Такой человек не боится никого из своих противников, не просит, чтобы ему позволили состязаться не с тем, а с другим противником, нет — он вызывает на бой всех подряд, сражается с голодом, терпит холод и жажду, сохраняет силу духа, даже если приходится переносить побои, не малодушествует, если его тело терзают или жгут. Бедность, изгнание, бесславие и другие подобные бедствия ему не страшны, их он считает пустяками; такой совершенный человек нередко даже забавляется всем этим, как забавляются дети игрой в кости или в пестрые шары.

17. — Эти противники, — продолжал Диоген, — кажутся страшными и неодолимыми только людям ничтожным; но кто презирает их и смело выйдет на бой, увидит, что они трусливы и не способны одолеть человека сильного; они — как собаки, которые преследуют бегущих и кусают их, а тех, кого схватят, рвут на куски; но если кто прямо идет на них и вступает с ними в бой, они пугаются и отступают, а потом, познакомившись поближе, начинают вилять хвостом.

18. Большинство людей смертельно боится таких противников, уклоняется от встречи с ними, обращается в бегство и даже не имеет мужества взглянуть им прямо в глаза; напротив, искусные кулачные бойцы, если опередят своего противника, не дожидаясь его удара, часто выходят из боя победителями; если же они, испугавшись, отступят, то на них обрушатся сильнейшие удары; так же и того, кто презирает трудности и храбро прини-

мает бой, выходя им навстречу, они не могут одолеть; если же он отшатнется и отступит, они будут казаться ему все более непреодолимыми и грозными. (19.) Ты видишь это и на примере борьбы с огнем; схватись с ним смело — и ты погасишь его, а будешь присматриваться и подходить к нему с опаской — сильно обожжешься; так подчас обжигаются дети, когда, играя, они пытаются погасить пламя языком. Все те противники, о которых я говорил, похожи на умелых борцов, — они душат, терзают, а иногда и бьют насмерть.

20. Но есть и более страшная битва, состязание вовсе не легкое, но еще более трудное и опасное, это — борьба с наслаждением. Битва эта не похожа на ту, о которой говорит Гомер:

> Снова у быстрых судов запылала свирепая битва...
> Бились секирами тяжкими, взад и вперед с лезвиями,
> Бились мечами и копьями, острыми сверху и снизу [3].

21. Нет, это не такая битва: ведь не открыто использует наслаждение свою мощь, оно обманывает и чарует страшными зельями, как, по словам Гомера, опаивала Кирка спутников Одиссея и превращала кого — в свиней, кого — в волков, кого — в разных других животных. Вот таков нрав и у наслаждения — оно прибегает не к одной какой-нибудь коварной уловке, а к самым различным, оно пытается соблазнять нас и через зрение, и через слух, через обоняние, вкус, осязание, через пищу, питье и любовные приманки, во время бодрствования и во время сна. (22.) Против наслаждения нельзя выставить стражу, как против вражеского войска, и потом спокойно уснуть, нет — именно тогда оно сильней всего нападает на человека, то расслабляя и порабощая его посредством самого сна, то посылая ему преступные и дурные сновидения, напоминающие ему о наслаждении.

23. Кроме того, трудности можно преодолеть по большей части силой мускулов, а наслаждение действует через любое чувство, которое присуще человеку; трудностям надо глядеть прямо в лицо и вступать с ними врукопашную, а от наслаждения следует бежать как можно дальше и не общаться с ним, разве что в случаях крайней необходимости. (24.) И поэтому самым сильным человеком поистине является тот, кто сумеет убежать от наслаждения дальше всего, ибо невозможно пребывать в общении с наслаждением или даже хотя бы мимолетно встречаться с ним и не попасть полностью в его власть. Когда же оно завладевает душой и опутывает ее своими чарами, тогда-то и происходит то, что случилось в жилище Кирки: оно легонько ударяет человека своим жезлом, (25.) загоняет его в свиной хлев, и с этой поры он уже не человек, а свинья или волк; от наслаждения рождаются также и всевозможные ядовитые змеи, и всякие прочие пресмыкающиеся; они поклоняются наслаждению, ползают у его дверей, жаждут его, служат ему, терпят при этом бесчисленные муки —

и все напрасно: (26.) ибо наслаждение, победив их и завладев ими, насылает на них бедствия, отвратительные и тяжкие.

Вот в каком состязании я испытываю свои силы, борясь против наслаждения и преодолевая трудности, но эти вот ничтожные люди на меня внимания не обращают, а глазеют на прыгунов, бегунов и плясунов. (27.) Наверное, и прежде люди не видели, как борется и трудится Геракл, и его труды не трогали их; верно, и тогда они восхищались какими-нибудь атлетами вроде Зета, Калаида, Пелея и прочими скороходами и борцами; одними они восторгались за их красоту, другими — за их богатство (например, Язоном и Киниром); (28.) о Пелопсе даже рассказывали, будто одно плечо у него было из слоновой кости, словно человеку есть какой-то прок от того, что у него рука из золота или слоновой кости или глаза из алмазов и изумрудов; а какая у Пелопса была душа, этого не знал никто. Геракла же, трудившегося и боровшегося, все жалели и называли злосчастным среди людей. Поэтому-то его труды и дела прозвали «подвигами», полагая, что жизнь, полная трудов, и есть жизнь злосчастная; а после его смерти его почитают больше всех, его считают богом, дают ему в жены Гебу и ему, поборовшему столько бедствий, молятся об избавлении от них.

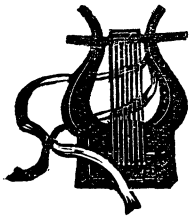
29. Люди думают также, будто Эврисфей имел власть над Гераклом и давал ему свои повеления, и в то же время Эврисфея все считают ничтожным человеком и никому никогда не приходило в голову молиться ему или приносить ему жертвы; а Геракл прошел пешком всю Европу и всю Азию, причем вовсе не был похож на нынешних борцов: (30.) куда он мог бы дойти, если бы таскал на себе столько мяса, нуждался бы сам в таком количестве мясной пищи и спал бы таким крепким сном? Нет, он был неутомимым, поджарым, как лев, с острым зрением, острым слухом; он не боялся ни стужи, ни зноя, не нуждался в подстилках, плащах и коврах, носил косматую шкуру, терпел голод, добрым помогал, дурных карал. (31.) Диомеда Фракийца, который носил богатую одежду, восседал на престоле, пьянствовал целые дни, утопал в роскоши, обижал чужестранцев и своих собственных подданных и держал множество коней, — этого Диомеда Геракл хватил своей палицей и разнес вдребезги, как старую миску. Гериона, владельца огромнейших стад, самого богатого из всех западных владык и самого надменного, он убил вместе с его братьями и угнал его быков. (32.) А когда Геракл увидел, как усердно занимается гимнастическими упражнениями Бусирид, как он целыми днями ест и как чванится своими успехами в борьбе, он бросил его оземь и распорол его тело, как слишком туго набитый мешок; он распустил пояс Амазонки, соблазнявшей его и воображавшей, будто она одолеет его своей красотой; он овладел ею и показал ей, что он никогда не будет побежден красотой и никогда не отступит ради женщины от своих подвигов[4] (33.) Прометея же, который, я полагаю, был

чем-то вроде софиста, он нашел погибающим от людской молвы; ведь у него раздувалась и увеличивалась печень, когда его хвалили, и сморщивалась, когда его порицали; Геракл пожалел его... * освободил его от его безрассудства и честолюбия, а вылечив его, сейчас же пошел дальше. Все это он совершил вовсе не в угоду Эврисфею; (34.) золотые же яблоки, которые он добыл и принес с собой — яблоки Гесперид, — он действительно отдал Эврисфею, — самому Гераклу они были ни на что не нужны; от золотых яблок ведь никакого проку нет, да и самим Гесперидам они нужны не были. Но вот, когда он стал уже не таким быстроногим, стал терять силы, он испугался, что больше не сможет жить, как прежде, — я думаю, у него была и какая-нибудь болезнь, — и позаботился о себе лучше, чем кто-либо из людей: он сложил у себя на дворе костер из сухих дров и показал, что даже самое жаркое пламя он не ставит ни во что. (35.) Однако незадолго до этого, — чтобы люди не думали, будто он совершал только громкие и великие дела, — он выгреб навоз из хлевов у Авгия, накопившийся там за много лет, и своими руками вычистил хлевы. Он полагал, что он должен не менее упорно бороться и сражаться с предрассудками, чем с дикими зверями и злодеями.

36. Пока Диоген говорил все это, много народа стояло вокруг него и слушало его слова с большим удовольствием. И тогда, как я думаю, вспомнив о Геракле, он оборвал свою речь, сел на землю и повел себя непристойно; сейчас же все отшатнулись от него, назвали его полоумным, а софисты снова заорали, как орут лягушки в болоте, пока не завидят водяную змею.

---

* Текст в оригинале испорчен.



XXXVI

БОРИСФЕНИТСКАЯ РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ДИОНОМ НА ЕГО РОДИНЕ

(1—18, 24—29)

1. Мне довелось посетить город Борисфен [1] летом; я приехал туда морем после моего бегства с родины [2], намереваясь, если будет возможно, пробраться через Скифию к гетам [3], чтобы увидеть своими глазами, как там живут люди. И вот однажды около полудня я бродил по берегу Гипанида [4]: ведь сам город получил свое название от реки Борисфена [5], потому что она красива и широка, но лежит он на Гипаниде (там же, где находится нынешний город, было основано и первоначальное поселение) — несколько выше мыса, называемого мысом Гипполая, только на противоположном берегу; (2.) этот мыс, остроконечный и каменистый, вклинивается, словно корабельный нос, между устьями обеих рек; реки, начиная от этого места, образуют лиман, который тянется до самого моря примерно на двести стадиев; ширина обеих рек вместе взятых здесь тоже не меньше этого. Большая часть лимана заболочена, и при безветрии в ней господствует полное затишье, как в стоячих водах; лишь возле правого берега речное течение становится заметным, и, наблюдая это течение, моряки, входящие в лиман, определяют глубину воды. Здесь же благодаря силе течения река находит себе выход в море; иначе при сильном южном ветре, дующем против течения, в устье мог бы образоваться затор воды. (3.) Весь окрестный берег болотист и порос густым камышом и деревьями; даже и в самом лимане растет много деревьев; они похожи на мачты судов, и неопытные корабельщики подчас сбивались с пути, принимая их за корабли и держа на них курс. Здесь же находится множество солеварен, где закупает соль большинство варваров, а также греки и скифы, живущие в Херсонесе Таврическом. Обе реки впадают в море около крепости

Алектор, принадлежащей, как говорят, супруге сарматского царя.

4. Город борисфенитов по своей величине уже не соответствует своей былой славе, чему виной постоянные войны и разрушения. Ведь этот город, построенный очень давно, в самой гуще варварских племен и притом, пожалуй, наиболее воинственных, постоянно подвергается нападениям и не раз бывал захвачен врагами. Последнее и наиболее страшное разрушение он претерпел около ста пятидесяти лет тому назад. В ту пору геты захватили и этот город, и многие другие по левому берегу Понта до самой Аполлонии. (5.) Поэтому положение греков, живших в этом краю, стало очень тяжким: некоторые города вовсе не были заселены заново, другие — едва-едва, причем по большей части в них поселились варвары. Немало городов в разных областях подвергалось захвату и разрушению, так как греческие поселения рассеяны повсюду.

Однако борисфениты после разрушения своего города снова, собравшись вместе, заселили его, по-видимому, согласно желанию скифов, которые хотели вести торговлю с греками, приезжавшими в эту гавань; когда город стал необитаем, греки перестали заезжать в него, так как у них не находилось земляков, у которых они могли бы остановиться; а сами скифы не сочли нужным, да и не сумели построить торговую пристань по греческому образцу.

6. О том, что город пришлось восстанавливать после разрушения, свидетельствует плохая постройка зданий, а также и то, что весь город теснится на небольшом пространстве. Он пристроен к части старой городской стены, на которой уцелело еще несколько башен, но ни величия, ни мощи они городу не придают. Весь участок между башнями заполнен домами, так плотно притиснутыми друг к другу, что между ними даже проходов не остается. Их окружает невысокая степа, ненадежная и непрочная.

Еще несколько башен стоят очень далеко от нынешнего поселения, так что даже трудно представить себе, что они принадлежали к этому же городу. Таковы явные следы разрушений, а также и то, что в храмах нет ни одной статуи богов, сохранившейся в целости, — все они повреждены, как и изображения на надгробиях.

7. Так вот, как я уже сказал, в тот день я совершал загородную прогулку, и меня догнали, выйдя из города, несколько жителей Борисфена, — они делали это нередко. Потом мимо нас промчался верхом Каллистрат, прискакавший откуда-то из-за города; но, отъехав недалеко, он сошел с коня, поручил его своему спутнику и подошел ко мне, весьма благопристойно держа руки под плащом; на поясе у него висел длинный меч — обычное оружие всадников, он носил шаровары, вообще был одет по-скифски, а на плечи у него был накинут короткий легкий черный плащ, как

принято у борисфенитов; они предпочитают одеваться во все черное, по-видимому следуя примеру одного скифского племени — «меланхленов» («черных плащей»), которые, по моему мнению, получили это название от греков.

8. Каллистрату было около восемнадцати лет, он был очень красив, высокого роста и имел в себе много черт ионийского типа. О нем говорили, что он храбр в бою и что он победил уже многих сарматов, одних убил, других взял в плен. Он живо интересовался и ораторским искусством, и философией, так что даже хотел пуститься в плавание вместе со мной. За все это он пользовался большим уважением среди своих сограждан, — впрочем, отчасти и за свою красоту: поклонников у него было много. Этот обычай — любовь к юношам — борисфениты унаследовали от коренных уроженцев своей греческой метрополии;[6] по-видимому, они и некоторых варваров приучили к тому же, — конечно, не к их благу, — тем более что варвары переняли это на свой варварский лад, в грубоватой форме.

9. Зная, что Каллистрат очень любит Гомера, я завел с ним беседу об этом поэте. Правда, все борисфениты питают к нему особое пристрастие, вероятно потому, что они сами и в наше время воинственны, а может быть, и вследствие их преклонения перед Ахиллом;[7] они почитают его чрезвычайно и воздвигли ему храмы — один на острове, названном его именем, другой в городе. Поэтому они ни о ком другом, кроме Гомера, ничего и слышать не хотят. И хотя сами они говорят по-гречески не совсем правильно, поскольку они живут среди варваров, но «Илиаду» почти все знают наизусть.

10. И вот я в шутку спросил Каллистрата: — Какой поэт по-твоему лучше, Гомер или Фокилид? — Он ответил со смехом: — Этого второго поэта я не знаю даже и по имени, да и никто из здешних жителей, я думаю, о нем ничего не знает. Никого другого, кроме Гомера, мы и за поэта не считаем; но уж зато нет здесь человека, который бы его не знал. О нем одном упоминают наши поэты в своих произведениях, они произносят его стихи по любому случаю и всегда, когда мы готовимся к бою, вдохновляют ими войска; говорят, в этих случаях в Лакедемоне пелись песни Тиртея. Все эти певцы слепы и, по их мнению, невозможно стать поэтом, не будучи слепым.

11. — Это свое мнение, — сказал я, — они основывают на примере Гомера, как будто болезнь глаз имеет какое-нибудь значение для поэзии. Фокилида же вы, судя по твоим словам, не знаете; а между тем он принадлежит к числу очень знаменитых поэтов. Ведь если к вам приедет из-за моря купец, который раньше никогда у вас не бывал, вы не сразу отнесетесь к нему с пренебрежением, а сперва испробуете его вино или возьмете образцы других товаров, привезенных им; если его товары понравятся вам, вы их купите, если же нет — отправите купца восвояси. Вот так же вам следует испробовать небольшой образчик стихотворений

Фокилида: (12.) ведь он не из тех, кто сочиняет огромные растянутые поэмы, как ваш любимец, который на описание одной битвы затрачивает больше пяти тысяч стихов; у Фокилида, напротив, и начало и конец стихотворения укладываются в два-три стиха; при этом он в каждое свое изречение включает свое имя, считая это важным и заслуживающим внимания, не так, как Гомер, который ни в одном из своих произведений не назвал себя. (13.) Не кажется ли тебе, что Фокилид имел основание поставить свое имя перед таким мудрым изречением.

Вот что сказал Фокилид: ничтожный, горный поселок,
Крепкий порядок блюдя, сильней Ниневии безумной.

Разве эти слова, если их сравнить с целой «Илиадой» и «Одиссеей», не более ценны для тех, кто внимательно вдумается в них? Или для вас полезнее слушать о прыжках и неистовстве Ахилла и о его громких воплях, которыми он обращал троянцев в бегство? Неужели заучивание всего этого наизусть принесет вам больше пользы, чем мысль, что даже маленький поселок, лежащий на скалистых кручах, если он управляется, как должно, лучше и счастливее, чем большой город на широкой равнине, населенный людьми неразумными и управляемый беспорядочно и беззаконно?

14. Каллистрат остался недоволен моими словами и возразил: — Чужестранец, мы любим тебя и очень уважаем; иначе ни один борисфенит не стерпел бы того, что ты так отозвался о Гомере и Ахилле: Ахилл — для нас бог, как ты сам видишь, а Гомера «мы чтим почти наравне с богами».

Тогда я, желая успокоить его и в то же время перевести нашу беседу на какой-нибудь иной предмет, для него полезный, сказал: — Прошу тебя простить мне,

А когда что суровое сказано ныне,
После исправим... [8]

Когда-нибудь в другой раз мы восхвалим и Ахилла и Гомера, — насколько, по моему мнению, он этого заслуживает за те свои мысли, которые правильны. (15.) Но сейчас давай рассмотрим то, что сказал Фокилид: мне кажется, что он прекрасно высказался касательно устройства города. — Пожалуйста, сделай это, — сказал Каллистрат, — ведь все, кого ты здесь видишь, очень хотели бы послушать тебя; оттого они и собрались здесь у реки, хотя на душе у них не очень-то спокойно; ты ведь, наверное, знаешь, что вчера в полдень скифы сделали набег, нескольких зазевавшихся стражей убили, а других, как видно, захватили в плен. Мы еще ничего точно не разузнали, так как скифы уже успели ускакать довольно далеко от города и притом в противоположном направлении.

16. Дело действительно обстояло именно так: городские ворота были уже заперты накрепко и на стене был поднят боевой знак. Однако все присутствующие были такими любителями послушать речи, настолько греками до мозга костей, что почти все горожане, уже вооруженные, сбежались сюда и хотели послушать, что я буду говорить.

И я, восхищенный их рвением, сказал: — Если хотите, может быть, мы пойдем в город и присядем где-нибудь? Ведь на ходу не всем удастся слышать то, о чем мы будем беседовать: тем, кто находится сзади, слушать неудобно, но они, проталкиваясь поближе, мешают и стоящим впереди. — (17.) Едва я сказал это, как все ринулись к храму Зевса, где они обычно собирались на совет. Старейшие и наиболее уважаемые граждане уселись в круг на ступенях, а вся толпа стояла возле храма — перед ним была большая открытая площадь. Будь здесь философ, это зрелище доставило бы ему огромное удовольствие: все они выглядели точь-в-точь как те древние греки, которых описывает Гомер, длинноволосые и бородатые; среди них был только один бритый, и за это все его порицали и ненавидели; говорили, что он придерживается этого обычая неспроста, а чтобы подольститься к римлянам и показать, что он им друг; таким образом, всякий мог видеть, насколько такое обличие позорно и ни в коем случае не подобает мужчинам.

18. Когда все утихли, я сказал, что они, жители древнего греческого города, правильно поступают, желая послушать об устройстве и управлении городов.

. . . . . .

24. Я хотел развивать дальше мою основную мысль, когда один из присутствующих прервал меня громким возгласом. Он был самым старшим из них всех и пользовался величайшим уважением, но слова его были очень скромны: — Не сочти, чужестранец, — сказал он, — грубым и варварским поступком то, что я прервал тебя и помешал тебе продолжать твою речь. В вашем краю это, конечно, не принято, так как у вас нет недостатка в философских беседах и всякий может слушать речи многих ораторов о любом предмете; но для нас прямо-таки можно считать чудом, что к нам приехал ты; (25.) ведь обычно к нам приезжают люди, которые только по названию греки, а на деле еще большие варвары, чем мы сами; это — купцы и мелкие торгаши; привозят они нам всякие тряпки и скверное вино, да и от нас не вывозят ничего путного. Но тебя, наверное, сам Ахилл прислал к нам со своего острова; мы очень рады слушать все, о чем бы ты ни говорил. Однако мы думаем, что недолго ты пробудешь с нами, да и не желаем этого, — мы хотим, чтобы ты как можно скорее в добром здоровье вернулся к себе домой! (26.) Но так как ты в своей речи коснулся божественного миропорядка, то я чувствую, словно меня возносит ввысь какая-то божественная сила, и вижу,

что и все присутствующие здесь рвутся послушать речь именно об этом предмете; ибо все, что ты сказал, показалось нам восхитительным и вполне достойным этой темы; это как раз то, о чем мы всего более хотели бы послушать. Что касается глубокого знания философии, то мы, конечно, им не обладаем, но, как ты знаешь, мы — любители Гомера, а кое-кто из нас — правда, немногие — и Платона; к ним можешь причислить и меня: я часто читаю его сочинения, насколько это мне доступно. Правда, тебе может показаться нелепым, что именно тот, кто больше всех граждан своей речью напоминает варвара, восхищается этим писателем, подлинно греческим, самым мудрым из всех, и старается его изучать, — как если бы полуслепой человек, отворачиваясь от любого другого источника света, смотрел прямо на солнце.

27. Вот как обстоит дело. Если хочешь доставить всем нам радость, отложи свою речь об обществе смертных людей, может быть, наши соседи завтра оставят нас в покое и мы не будем вынуждены меряться силами с ними, что нам постоянно приходится делать; поговори теперь с нами о божественном государстве, или о его строе — назови это как тебе угодно. Расскажи нам, где оно, каково оно, и при этом, насколько можешь, постарайся приблизиться к благородной свободе платоновской речи, что тебе, как нам показалось, только что удалось сделать.

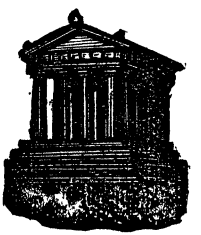
Если даже мы многого и не поймем, то мы, во всяком случае, воспримем самый язык: он для нас привычен — ведь он звучит сходно с языком Гомера.

28. Я был в восторге от простодушной искренности старика и ответил с улыбкой: — Дорогой Гиеросан! Если бы ты вчера, когда на вас напали враги, велел мне взяться за оружие и сражаться, как Ахилл, то я, конечно, исполнил бы твое первое желание и попытался сразиться за моих друзей, но, как бы я ни старался, второе твое желание — уподобиться Ахиллу — едва ли бы мог выполнить. Так и теперь я отвечу только на одну из твоих просьб и произнесу речь в меру моих сил, но

> Я не дерзнул бы, однако, бороться с героями древних
> Лет... [9]

Ведь, как говорит поэт [10], и Эврит напрасно вступил в бой с теми, кто был сильнее его. Однако я не премину проявить в этом деле величайшее усердие.

29. Ответив ему так, я все же был сильно взволнован и собрался с духом, вызвав в памяти образы Платона и Гомера.



ПЛУТАРХ

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДЕМЕТРИЯ

2. От Стратоники, дочери Коррея, у Антигона [1] родилось двое сыновей; одного он в честь своего брата назвал Деметрием [2], второго — Филиппом в честь отца. Таково мнение большинства людей. Некоторые, однако, полагают, что Деметрий в действительности был племянником Антигона, но считался его сыном потому, что еще в младенчестве лишился отца, после смерти которого мать сразу же вступила во второй брак с Антигоном. Филипп был не намного моложе Деметрия и рано умер. Ростом Деметрий уступал отцу, однако был тоже высок, лицо же его отличалось такой необычайной и поразительной красотой, что ни один ваятель или живописец не сумел ее передать. В этом лице сочетались мягкость и сила, грозность и юношеская прелесть; со смелостью и очарованием молодости в нем соединялся героизм и истинно царственное величие. Изумление и восторг вызывал в людях и его характер: он был удивительно приятен в обхождении; пиршественное веселье и досуги его обставлялись с небывалой для других царей пышностью; деятельный и неутомимый, он был

решителен и настойчив в делах. Из богов Деметрий более всех почитал Диониса как божество грозное в ведении войны и искусно завершающее войну радостным и веселым миром.

3. Деметрий очень любил отца и своим безупречным отношением к матери доказывал, что любовь к отцу порождена скорее искренним к нему расположением, нежели почтением к его могуществу. Однажды во время беседы царя с каким-то посольством Деметрий стоял у двери. Подойдя к Антигону с копьем в руках, он обнял отца и опустился с ним рядом. Тогда Антигон громко обратился к послам, которые уже получили от него ответ и готовились удалиться: — Расскажите обо мне, о мужи, что, вдобавок ко всему я обладаю и этим благом. — Он считал, что доказательством могущества и прочности его власти служат также единомыслие с сыном и доверие к нему. Ведь власть редко способствует общению и так исполнена недоверия и разногласий; величайший и старейший из преемников Александра гордился тем, что не боится собственного сына и допускает его приблизиться к себе с оружием. Впрочем, среди всех царств диадохов [3] единственно дом Антигона чужд был великого зла: из всех его потомков только Филипп [4] умертвил своего сына. Все же остальные империи насчитывают множество убитых детей, матерей и супруг. А убийство братьев, подобно началам геометрии, считалось обычным и само собой разумеющимся поступком, совершаемым царями ради собственной безопасности.

4. Как пример того, насколько человеколюбив был Деметрий смолоду и как хорошо относился к друзьям, расскажем следующую историю. Митридат, сын Ариобарзана, был ровесником и товарищем Деметрия; он нес службу при дворе Антигона, не обладал ни дурным нравом, ни дурной славой, но из-за одного сна внушил царю подозрение. Антигону привиделось, что он пришел на обширную прекрасную равнину и засеял ее золотым песком. Поначалу вся равнина заколосилась золотом, а немного спустя на ней ничего не стало видно, кроме голых стеблей соломы. Антигон опечалился и встревожился; вдобавок он еще услышал во сне, что Митридат отправляется в Понт Эвксинский собирать золотую жатву. Взволнованный царь, взяв с сына клятву хранить молчание, рассказал ему сон и поведал о своем намерении умертвить юношу. Выслушав это, Деметрий очень огорчился. Когда Митридат пришел к нему, чтобы, по обыкновению, провести вместе часы досуга, он не посмел выдать замысел отца, потому что был связан клятвой. Но, отведя Митридата в сторону и оставшись с ним наедине, вдалеке от остальных друзей, Деметрий древком копья написал на земле, так чтобы видел он один: «Спасайся бегством, Митридат». Юноша понял его и той же ночью бежал в Каппадокию. Все, что Антигону привиделось во сне, по воле судьбы вскоре осуществилось. Митридат овладел обширной и богатой страной и положил начало династии понтийских царей, которую позднее, в восьмом поколении, уничтожили римляне. Этот

случай — доказательство высоких душевных качеств Деметрия, его благожелательности и справедливости.

5. Подобно тому, как между стихиями у Эмпедокла, в особенности теми, которые соприкасаются и сталкиваются друг с другом, происходят раздоры и распри, так и постоянную вражду между преемниками Александра делали все более заметной и все больше разжигали политические сношения и близкое соседство их друг с другом. В описываемое время Антигон вел войну с Птолемеем [5] и находился во Фригии. Услыхав, что Птолемей ушел с Кипра и стал грабить Сирию, покоряя города и заставляя отложиться от македонян, он послал против него сына. Деметрию было тогда двадцать два года, и он впервые в столь трудных обстоятельствах самостоятельно командовал войском. Молодой и неопытный, он столкнулся с военачальником из числа учеников Александра, проведшим множество крупных сражений, и при городе Газе [6] потерпел большое поражение; восемь тысяч воинов попали в плен, пять тысяч были убиты. Деметрий в этой битве потерял свою палатку, деньги и вообще все имущество, какое имел при себе. Все это Птолемей ему вернул, присовокупив исполненные благожелательства и человеколюбия слова о том, что сражаться следует ради славы и власти, но отнюдь не ради имущества. Деметрий принял посланное и вознес богам молитвы о том, чтобы не остаться на большой срок в долгу у Птолемея, но как можно скорее воздать ему тем же. После такой неудачи в самом начале своей деятельности Деметрий испытывал не чувства юноши, но чувства зрелого военачальника, свыкшегося с превратностями судьбы; он набирал воинов и готовил оружие, удерживал в своей власти города и обучал набранное войско.

6. Антигон, узнав о случившемся, сказал, что Птолемей выиграл сражение у безбородого юнца, а впредь ему придется биться со взрослыми мужами. Не желая, однако, лишить сына мужества или умалить его достоинство, Антигон не отверг просьбу Деметрия позволить ему вновь встретиться с Птолемеем. Немного времени спустя военачальник Птолемея Килл явился во главе блестящего войска с намерением изгнать из Сирии Деметрия, которого презирал за прежнее поражение. Деметрий же напал на него внезапно, когда Килл совсем не ожидал нападения, привел в смятение и захватил весь лагерь вместе с военачальником. Он пленил семь тысяч воинов и овладел всеми деньгами. Одержав победу, Деметрий радовался деньгам, хотя и не собирался оставить их себе: победа радовала его не столько доставляемыми ею богатством или славой, сколько возможностью воздать Птолемею за его благородство и человеколюбие. Однако он не сделал этого самовластно, но написал отцу. Когда Антигон дал свое согласие и дозволил сыну распорядиться всем по своему усмотрению, Деметрий щедро одарил Килла и его друзей и отправил их к Птолемею. Результатом этой битвы было изгнание Птолемея из Сирии;

Антигон, гордый победой, покинул Келены [7] и поспешил в путь с намерением повидать сына.

7. После этого Антигон поручил ему покорить аравийское племя набатеев; Деметрий попал в безводную пустыню и испытал большие трудности; он поразил варваров своей невозмутимостью и бесстрашием и покинул эти места, захватив богатую добычу и семьсот верблюдов. Когда Селевк [8], изгнанный Антигоном из Вавилонии, своими силами вновь вернул себе власть и после победы повел войско против племен, соседних с индийскими, и в области, граничащие с Кавказом, Деметрий, рассчитывая на беззащитность Месопотамии, внезапно переправился через Евфрат и проник в пределы Вавилонии; он выбил воинов Селевка из одной крепости (всего их было две) и разместил в ней отряд численностью в семь тысяч человек. Позволив своим воинам захватить все, что только они могли унести или увезти из этой страны, Деметрий вернулся к морю. Своими действиями он укрепил власть Селевка над Вавилонией, ибо, предав страну разграблению, он, казалось, вовсе от нее отступился как от области, к которой не причастен ни отец, ни он сам. После этого Деметрий быстро двинулся на помощь осажденному Птолемеем Галикарнасу [9] и спас его.

8. Снискав себе этим подвигом громкую славу, Деметрий и Антигон вознамерились освободить и всю Элладу, порабощенную Касандром [10] и Птолемеем. Никто из царей не вел войны более прекрасной и справедливой, чем эта. Все богатства, которые они завоевывали при усмирении варваров, тратились, к чести и славе Антигона и Деметрия, на эллинов. Когда отец с сыном решили плыть в Афины, один из друзей сказал, обращаясь к Антигону, что этот город, если они его захватят, следует удержать в своих руках как подступ к Элладе. Антигон с ним не согласился и ответил, что прекрасным и незыблемым подступом является расположение народа и что Афины, словно маяк, осветят для всех подвиги македонян. Итак, Деметрий отплыл с пятью тысячами талантов серебра и флотом в двести пятьдесят кораблей; городом по доверенности Касандра управлял тогда Деметрий Фалерский; в Мунихии [11] стоял гарнизон. Благодаря удаче и собственному благоразумию Деметрий за пять дней до конца месяца таргелиона [12] достиг Пирея [13]. Никто не ожидал его появления, когда же флот был замечен, все решили, что это суда Птолемея, и приготовились их встретить. Стратеги, поздно понявшие в чем дело, приказали защищаться; поднялось смятение, обычное в случаях, когда приходится отражать внезапно напавшего неприятеля. Найдя вход в гавань открытым, Деметрий ввел туда свои корабли; теперь, когда все его видели, он подал знак, требуя тишины и спокойствия. Когда тишина установилась, Деметрий через глашатая, стоявшего рядом с ним, возвестил, что отец в добрый час послал его освободить афинян, изгнать чужеземное войско и вернуть городу законы и государственное устройство предков.

9. После этого большинство воинов тотчас же сложили к ногам щиты, принялись рукоплескать и, называя Деметрия своим благодетелем и спасителем, громкими криками призывали его сойти с корабля. Приближенные Деметрия Фалерского считали, что победителя непременно следует впустить в город, даже если он не собирается выполнить всего, что обещал. К Деметрию послали послов с просьбой о пощаде; он принял их милостиво и отправил вместе с ними милетца Аристодема, друга Антигона. Озаботился он и судьбой Деметрия Фалерского, который после происшедшей перемены пуще врагов боялся самих афинян; в уважение к его славе и нравственным достоинствам он, согласно собственному желанию, в сопровождении надежных телохранителей был отправлен в Фивы. Сам же Деметрий возвестил, что не станет, хотя и очень того желает, осматривать Афины, прежде чем окончательно освободит город, изгнав вражеские войска. Окружив Мунихий валом и рвом, он отплыл в Мегары [14], занятые Касандром. Узнав, что в Патрах [15] живет прославленная красавица Кратесиполида, жена Александра, сына Полисперхонта, и что она бы с удовольствием с ним встретилась, Деметрий оставил войско в Мегариде и отправился к ней в сопровождении нескольких легковооруженных воинов. Удалившись от них, он разбил палатку в стороне, чтобы скрыть, что с ним будет женщина. Это заметили, и несколько врагов внезапно напали на Деметрия. В страхе он укрылся простым плащом и спасся бегством; так из-за своей невоздержности Деметрий едва не попал в позорный плен. Враги после этого удалились, захватив палатку Деметрия с деньгами. Мегары между тем были уже взяты, и воины Касандра начали грабить город; лишь афиняне своими просьбами добились для него пощады. Деметрий прогнал вражеское войско и освободил город. Во время этих событий Деметрий вспомнил о философе Стильпоне, который пользовался славой человека, решившего умереть в покое. Призвав его к себе, Деметрий спросил, не унес ли кто чего-нибудь из его имущества. Стильпон ответил: — Нет, ибо я не видал человека, который похитил бы знание. — Между тем почти все рабы были тайно уведены из города. Деметрий любезно беседовал со Стильпоном и наконец, отпуская его, сказал: — Я оставляю ваш город свободным. — Ты говоришь правду, — ответил Стильпон, — ведь ты не оставил нам ни одного раба.

10. После освобождения Мегар Деметрий вернулся в Мунихий, где расположился лагерем; он перебил находившийся там отряд и срыл крепостные стены; лишь после этого он по просьбе и настоянию афинян вошел в город, созвал народное собрание и вернул афинянам государственный строй предков. Кроме того, он от имени своего отца пообещал доставить в Афины сто пятьдесят тысяч медимнов хлеба и лес на постройку ста триер. Афиняне лишились демократии за пятнадцать лет до этих событий; время после ламийской войны и битвы при Кранноне [16] они

прожили под властью, которая лишь называлась олигархической, но благодаря могуществу Деметрия Фалерского была по существу монархической. Деметрия, который показал себя славным и великим в благодеяниях, афиняне сами испортили неумеренными почестями, из-за которых он сделался совершенно нестерпимым. Это они первыми из всех провозгласили Деметрия и Антигона царями, несмотря на то, что оба отказывались от этого титула; он сохранялся только в роду Филиппа и Александра и никому не передавался. Никто, кроме афинян, не называл Деметрия и Антигона богами-спасителями; в Афинах упразднили древнюю должность архонта-эпонима [17] и стали ежегодно избирать жреца спасителей, имя которого ставилось в начале всех постановлений. Решено было также, чтобы изображения Деметрия и Антигона ткались теперь на пеплосе [18], наравне с изображениями богов. Место, где Деметрий впервые сошел с колесницы, было объявлено священным; там поставили алтарь Деметрия-Катебата [19]; к афинским филам [20] были прибавлены еще две — Деметриада и Антигонида, а Совет, в который издревле входило пятьсот человек, был увеличен до шестисот, так как каждая фила должна была посылать в него по пятьдесят представителей.

11. Однако самой неслыханной была мысль Стратокла (это он положил начало столь изощренному и чрезмерному угодничеству): он предложил, чтобы все, кого по решению народного собрания посылали к Антигону или Деметрию, вместо обычного имени послов назывались теорами, подобно тем, кто во время эллинских праздников приносят в Пифийском и Олимпийском храме положенные жертвы от имени своих государств. Стратокл вообще был человек чрезвычайно наглый; жизнь он вел распутную, а в своем пренебрежительном отношении к народу, казалось, подражал гнусному шутовству древнего Клеона [21]. Он взял к себе в дом гетеру Филакион. Однажды на рынке она купила Стратоклу к обеду головы. — Ба! — воскликнул он. — Ты купила то, чем мы, государственные деятели, играем в мяч! — После поражения афинян в морском сражении при Аморгосе [22] Стратокл, опередив вестников, прошел увенчанный через Керамик [23] и возвестил победу; он предложил принести благодарственные жертвы богам, а кроме того, устроил раздачу филам мяса. Когда немного времени спустя пришли люди, сопровождавшие корабли, уцелевшие в битве, и разгневанный народ призвал Стратокла к ответу, он дерзко выслушал все нападки и сказал: — А чем же вы пострадали, проведя два дня в веселье? — Такова была его наглость.

12. Были и другие вещи, о которых Аристофан говорит, что они «жарче огня». Некто, превосходивший самого Стратокла низостью, предложил воздавать Деметрию, всякий раз как он явится в Афины, почести, положенные Деметре и Дионису, а людям, которые превзойдут других блеском и пышностью приема, уделять из казны деньги на приношения богам. Помимо всего этого, афиняне стали называть месяц мунихион — деметрионом,

29-й день каждого месяца — Деметриевым, а праздник Дионисии переименовали в Деметрии. Боги многими знамениями порицали поведение афинян. Пеплос, на котором постановлено было вместе с изображениями Зевса и Афины выткать Деметрия и Антигона, когда его несли через Керамик, был разорван пополам неожиданно налетевшим ураганом. Вокруг алтарей Деметрия и Антигона земля сплошь поросла цикутой, которой в этих местах вообще немного. В день, на который пришлись Дионисии, из-за небывалой в эту пору стужи была отменена торжественная процессия. Снег выпал такой глубокий, что погибли не только виноград и фиги, но почти весь хлеб, едва успевший взойти. Поэтому-то Филиппид [24], который был противником Стратокла, посвятил ему в своей комедии такие стихи:

Он — тот, по чьей вине на лозы иней пал
И кто нечестием порвал богини плащ;
Воздал он людям смертным почести богов.
Вот кто народ сгубил, — а не комедия *.

Филиппид был другом Лисимаха [25] и народ благодаря ему получал от царя много милостей. Если царь, собираясь в поход или вообще начиная какое-нибудь дело, встречал Филиппида, он считал это счастливым предзнаменованием. Доброй славой Филиппид был обязан, между прочим, и своему нраву: он не был ни болтлив, ни исполнен любопытства, обычного при царском дворе. Когда Лисимах однажды подошел к Филиппиду с приветствием и спросил: — Чем бы мне поделиться с тобой, Филиппид? — тот ответил: — Только не тайной, царь. — Я преднамеренно сравниваю и противопоставляю их друг другу — оратора Стратокла и комического поэта.

13. Но самая высокая и странная почесть была определена Деметрию по предложению Дромоклида из дема [26] Сфетт и состояла в том, чтобы испросить у него прорицания о приношении щитов в Дельфийский храм. Я привожу подлинные слова постановления: «Народное собрание в добрый час решило, чтобы народ избрал из числа афинян одного мужа, который отправится к Деметрию Спасителю, совершит жертвоприношение и испросит у Деметрия оракула о том, как наиболее благочестиво, достойно и быстро посвятить щиты. Народу следует поступить в соответствии с полученным ответом». Воздавая человеку подобные смехотворные почести, афиняне совершенно испортили Деметрия, который и без того душевно был не вполне здоров.

14. Находясь в ту пору в Афинах, Деметрий женился на некой вдове Эвридике. Она вела свой род от древнего Мильтиада [27], была замужем за Офельтом, правителем Кирены [28] и после его смерти вернулась в Афины. Афиняне встретили этот брак радостно и сочли его за честь для города. Деметрий был человек весьма распущенный и имел одновременно несколько жен; Фила,

* Перевод М. Грабарь-Пассек.

дочь Антипатра, пользовалась наибольшим почетом и уважением не только благодаря своему отцу, но и потому, что была вдовой Кратера [29], которого македоняне даже после смерти любили больше, чем всех остальных преемников Александра. Жениться на ней Деметрия, тогда еще совсем юношу, кажется, уговорил Антигон. Фила, значительно старше годами, была совсем ему не пара, и Деметрий не соглашался на этот брак; тогда, говорят, отец сказал ему на ухо стих Эврипида: «Стань женихом, когда велит корысть» [30], откровенно заменив в нем слова «стань рабом» сходными по звучанию «стань женихом». Уважение Деметрия к Филе и прочим своим супругам было столь ничтожно, что не препятствовало ему открыто жить со многими гетерами и свободными женщинами, а распущенность его была такова, что он превзошел решительно всех правителей своего времени дурной славой.

15. Антигон велел сыну отправиться воевать с Птолемеем за Кипр; приходилось повиноваться, однако Деметрий, опечаленный тем, что от него ускользает более славная и блистательная война за Элладу, отправил послов к Клеониду, стратегу Птолемея, занимавшему Сикион и Коринф, предлагая ему за деньги вернуть этим городам свободу. Клеонид отказался, тогда Деметрий погрузил войско на корабли и отплыл на Кипр. Здесь он дал сражение Менелаю, брату Птолемея, и одержал над ним победу, а когда появился сам Птолемей с сухопутными силами и значительным флотом, пошли взаимные угрозы и похвальба: Птолемей советовал Деметрию отплыть, пока собранная Птолемеем армия не втоптала его в землю; Деметрий, со своей стороны, обещал отпустить Птолемея с миром, если он отведет отряды из Сикиона и Коринфа. Исхода этого поединка ожидали с тревогой не одни они, но и все тогдашние властители; грядущее было неясно, ибо победителю в предстоящей борьбе доставались не только Кипр и Сирия, но и первенство среди всех правителей.

16. Под командой самого Птолемея было сто пятьдесят кораблей; Менелаю с шестьюдесятью кораблями он велел плыть от Саламина [31] и в час, когда сражение будет наиболее ожесточенным, напасть на флот Деметрия с тыла и нарушить его строй. Деметрий выставил против этих шестидесяти кораблей десять (их при узости гавани вполне хватило для того, чтобы воспрепятствовать выходу из нее), построил сухопутное войско, заняв все мысы, и отплыл на ста восьмидесяти кораблях. Он напал на врага и сокрушительным ударом разбил его; Птолемей, потерпев поражение, поспешно бежал со всеми восемью кораблями, какие сохранил (остальные погибли, а семьдесят кораблей вместе с людьми были захвачены Деметрием). Из всего множества людей, которое находилось на грузовых судах, плена не избежал никто — ни рабы, ни друзья царя, ни женщины. Деметрий захватил и доставил в лагерь решительно всех. Среди пленных женщин находилась знаменитая Ламия, прославившаяся сначала своим искусством (она, кажется, действительно неплохо играла на флейте), а впо-

следствии и любовными похождениями. В ту пору она была уже не первой молодости, однако покорила своей красотой человека много моложе себя и совершенно завладела им, так что окруженный влюбленными женщинами Деметрий был верен ей одной. После этой битвы отказался от сопротивления и Менелай: он сдал Деметрию Саламин, а также флот и сухопутное войско — тысячу двести конников и двенадцать тысяч гоплитов.

17. Столь славную и блистательную победу еще более возвеличили доброта и человеколюбие Деметрия: он с почестями похоронил трупы врагов, отпустил на волю пленных и подарил афинянам из добычи вооружение для тысячи двухсот гоплитов. С вестью о победе он послал к отцу милетца Аристодема, величайшего льстеца из всех окружавших Деметрия мужей. На этот раз Аристодем, видно, решил особенно отличиться. Отплыв с Кипра, он решил не причаливать, но стать на якоре, и велел никому не покидать корабля; сам он на лодке переправился на берег и в совершенном одиночестве отправился ко дворцу. Антигон, страшно возбужденный и взволнованный ожиданием, был в том состоянии, в каком бывают люди, когда решается исход великой борьбы. При вести о приближении Аристодема его охватило еще большее нетерпение, и он с трудом заставлял себя оставаться дома; зато рабов и друзей он одного за другим посылал навстречу Аристодему, чтобы узнать новости. Вестник не отвечал ни на чьи вопросы: неторопливо и со спокойным выражением лица он продолжал свой путь. Антигон, утратив всякое терпение и не сдерживаясь дольше, встретил его в дверях. Аристодема уже сопровождала стекавшаяся ко дворцу огромная толпа. Приблизившись, он вытянул правую руку и громким голосом воскликнул: — Возрадуйся, царь Антигон, мы победили Птолемея в морском сражении, завладели Кипром и взяли в плен шестнадцать тысяч восемьсот воинов. — Радуйся и ты, — ответил Антигон, — но ты не уйдешь от возмездия за пытку, которой меня подверг; не скоро будет тебе награда за добрую весть.

18. Вот тут народ впервые и провозгласил Антигона и Деметрия царями; Антигона друзья увенчали тотчас же, Деметрию же отец послал диадему и письмо, в котором назвал его царем. Египтяне, как только узнали об этом, тоже провозгласили царем Птолемея, чтобы не казалось, будто после победы Деметрия они пали духом. Так благодаря соревнованию этот титул сделался достоянием всех диадохов — диадему стали носить и Лисимах, и Селевк, который прежде держал себя по-царски только среди варваров; один Касандр, хотя все и на словах и в письмах называли его царем, продолжал подписываться, как прежде. Изменился не только титул и внешний вид правителей, но и образ их мыслей; мужи эти стали чванны, малодоступны и надменны в обращении с людьми; словно трагические актеры, они вместе с одеянием изменили поступь и голос, даже манеру возлежать за столом и разговаривать. С этих пор они стали более жесткими

в своих требованиях и совершенно отказались от свойственного им прежде лицемерия, которое делало их более доступными и мягкими по отношению к подданным. Одно лишь слово льстеца оказалось столь могущественно, что породило такие значительные перемены!

19. Антигон, довольный кипрской победой сына, сразу же двинулся в поход против Птолемея. Сухопутные силы вел он сам, Деметрий плыл следом с большим флотом. Между тем друг Антигона, Мидий, видел сон о том, как кончится поход; ему привиделось, что Антигон со всем своим войском бежит на пристанище; вначале он достаточно силен и бежит быстро, но постепенно силы его стали убывать, и наконец, утомленный, он совсем ослабел, стал задыхаться и едва переводил дух. В то время как Антигон оказался в тяжелом положении на суше, Деметрий сильной бурей был выброшен на берег в лишенном гаваней труднопроходимом месте; он потерял много кораблей и вернулся ни с чем.

Антигону в это время было без малого восемьдесят лет; не столько из-за старости, сколько из-за большого роста и грузности ему стало тяжело передвигаться во время походов, и он теперь поручал все сыну, который благодаря своей опытности и везению счастливо справлялся с самыми важными делами. Невоздержность, чрезмерную роскошь и пьянство Антигон не вменял ему в большую вину, главным образом из-за того, что Деметрий попадал во власть этих пороков только в мирные времена; тогда он предавался своим страстям самозабвенно и безудержно, в походах же вел скромную жизнь человека, воздержного от природы. Рассказывают, что в ту пору, когда Ламия открыто властвовала над Деметрием, Антигон однажды, в ответ на то, что сын, приехав издалека, его поцеловал, сказал со смехом: — Ты, видно, думаешь, что целуешь Ламию. — В другой раз, когда Деметрий много дней подряд пировал, ссылаясь на то, что его мучит болезнь, Антигон спросил: — Какая болезнь — фасосская или хиосская? [32] — Как-то еще Антигон узнал, что сын нездоров, и отправился его проведать. В дверях он столкнулся с одной из Деметриевых красавиц. Старый царь вошел, присел около сына и коснулся его руки. Деметрий сказал, что лихорадка теперь уже оставила его. — Разумеется, сынок, я сам встретился с ней, когда она уходила. — Так Антигон из уважения к заслугам Деметрия снисходительно относился к его порокам. Скифы, когда пьют и впадают в опьянение, легкими движениями перебирают тетивы своих луков, чтобы вновь воспламенить расслабленный наслаждением дух. Деметрий целиком отдавался то наслаждениям, то делам, и никогда не смешивал их между собою; не менее энергичен, чем во всем остальном, был он и в подготовке войны.

20. Во время приготовлений к войне, кстати сказать, он был более талантливым стратегом, чем при ведении ее, и стремился при любых обстоятельствах иметь в изобилии снаряжение. Деметрий страстно увлекался постройкой кораблей и военных ма-

шин и с упоением ими любовался. Щедро одаренный природой, он не растрачивал своего ума на забавы и не любил пустого времяпрепровождения, подобно другим царям, которые играли на флейте, занимались живописью или вырезывали различные безделки. Так, Аэрон, царь Македонии, проводил часы досуга за изготовлением маленьких столиков и светильничков; Аттал Филометор разводил лекарственные растения — не только белену или черемицу, но даже болиголов, аконит и дорикний. Он сеял и сажал их в царских садах, ревностно исследовал их соки и плоды и старался своевременно собирать урожай. Парфянские цари, в свою очередь, гордились наконечниками своих стрел, которые были сделаны и отточены ими собственноручно. В отличие от всех, ремесло Деметрия было поистине царственным, а держал он себя с подлинным величием; в его созданиях великолепие и искусство сочетались с возвышенностью замысла, так что они делали честь не только уму и богатству, но и рукам царя. Грандиозность его созданий поражала друзей, а красота их доставляла радость даже врагам. Я говорю все это ради справедливости, а не из желания приукрасить. Стоя на берегу, враги дивились проплывавшим мимо кораблям Деметрия с пятнадцатью и шестнадцатью рядами весел, а гелеполы [33] являли поразительное зрелище даже для осажденных; об этом свидетельствуют следующие примеры. Лисимах, самый непримиримый враг Деметрия среди царей, выступивший против него при осаде Сол Килликийских, послал к Деметрию послов с просьбой показать ему машины и корабли во время плавания; просьба эта была выполнена, и Лисимах удалился, совершенно пораженный. Родосцы, которых Деметрий долгое время держал в осаде, по окончании войны попросили у него на память о его могуществе и о собственном мужестве несколько машин.

21. Когда Деметрий воевал с родосцами, союзниками Птолемея, он подвел к стенам их города огромную гелеполу; основанием ее служил четырехугольник, каждая сторона которого была равна сорока восьми локтям; высота гелеполы составляла шестьдесят один локоть, причем вверху она была уже, и стороны там сходились. Внутри гелепола была разделена на множество ярусов и отделений; в обращенной к врагам лицевой стороне ее в каждом ярусе открывались бойницы, из которых летели всевозможные метательные снаряды — гелепола была полна воинов, способных к любому виду сражения. И то, что она не сотрясалась и не наклонялась при движении, но держалась на своем основании совершенно прямо, сохраняя равновесие, передвигалась с большой скоростью и страшным шумом, вселяло ужас в души зрителей, вместе с тем доставляя отраду их взорам. Во время осады Родоса Деметрию привезли с Кипра два железных панциря по сорок мин весом. Чтобы показать, какова их твердость и прочность, изготовивший панцири мастер Зоил велел выпустить в каждый с расстояния в двадцать шагов стрелу из катапульты; железо от

этого нисколько не пострадало, не считая небольших царапин, подобных царапинам, нанесенных стилем. Один из этих панцирей носил сам Деметрий, второй — Алким, родом из Эпира, самый воинственный и сильный из всех приближенных Деметрия. Он единственный имел доспехи весом в два таланта, тогда как у остальных они весили всего талант. Алким сражался в Родосе и пал вблизи театра.

22. Родосцы доблестно защищались. Деметрий не совершил здесь ничего достойного упоминания, но не прекращал войны, так как был сильно разгневан: супруга Фила послала ему письмо, ковры и одежды, а родосцы, захватив корабль, со всем грузом отправили его к Птолемею. Они не последовали примеру любезных афинян, которые во время войны с Филиппом взяли в плен гонцов и, прочитав посланные с ними письма, одно — письмо Олимпиады [34] — не тронули и доставили Филиппу запечатанным, как оно было. Деметрий, как ни сильно был раздосадован, не стал мстить родосцам, хотя сразу же имел к тому случай. Кавниец Протоген [35] писал картину, изображавшую город Иалис. Труд его близился к концу, когда картину в одном из предместий города захватил Деметрий. Родосцы прислали к нему посла с просьбой пощадить это произведение, и Деметрий ответил, что скорее сжег бы портреты отца, чем такой труд художника. Говорят, что Протоген целых семь лет работал над этой картиной, Апеллес же, который ее видел, был так потрясен, что лишился дара речи, а какое-то время спустя сказал: — Велик труд, и удивительно творение художника, однако нет в ней божественного очарования, которое приблизило бы ее к небесам. — Впоследствии эта картина вместе с другими была перевезена в Рим и погибла там от пожара. Родосцы упорно продолжали обороняться; на помощь пришли афиняне, которые и примирили их с Деметрием, искавшим к тому повода; по условиям перемирия родосцы стали союзниками Деметрия и Антигона во всех войнах, кроме войны с Птолемеем.

23. Афиняне призвали Деметрия на помощь, когда их город осаждал Касандр. Деметрий привел флот в триста тридцать кораблей и значительное войско, изгнал Касандра из Аттики и, обратив его в бегство, преследовал до Фермопил; далее ему сдалась Гераклея, и шесть тысяч македонян добровольно перешли на его сторону. Возвращаясь назад, он вернул свободу всем эллинам, обитавшим к югу от Фермопил, заключил союз с беотийцами и завладел Кенхреей. Он отвоевал и вернул афинянам Филу и Панакт — небольшие крепости в Аттике, занятые Касандром. Афиняне, еще до того осыпавшие Деметрия всеми возможными почестями, сумели и теперь оказать ему новые, дотоле невиданные. Они назначили ему для жилья внутреннюю часть Парфенона, где он и поселился, причем считалось, что гостеприимство ему оказывает сама Афина; Деметрий, однако, не был скромным гостем и отнюдь не вел себя, как подобало в храме девственницы.

Узнав однажды, что Филиппа, брата Деметрия, поместили в доме, где жили три молодых женщины, Антигон, не говоря сыну ни слова, тут же послал за квартирмейстером и сказал ему: — Не уведешь ли ты моего сына из тесного дома?

24. Деметрий, которому подобало стесняться Афины если не по другим причинам, то хотя бы как старшей сестры — ибо он желал, чтоб его так величали, — учинял в акрополе страшные бесчинства над свободными девушками и замужними горожанками. По сравнению с этими непотребствами казалось даже, что во время его сожительства с Хрисидой, Ламией, Демо и Антикирой — известными развратницами — чистота храма еще как-то блюлась. Обо многих из тогдашних событий не следует говорить, щадя славу города, но непременно нужно рассказать о мужестве и целомудрии Демокла. Этот мальчик, не достигший еще юношеского возраста, не укрылся от взора Деметрия, ибо даже его прозвище говорило о небывалой красоте: его называли красавцем Демоклом. Деметрий предпринимал всевозможные попытки, одаривал и запугивал Демокла, но ничем не мог его покорить; наконец Демокл перестал посещать палестру и гимнасий; для омовения он ходил в частную баню; и тут Деметрий, улучив момент, оказался с ним наедине. Поняв свою беззащитность и безвыходное положение, Демокл снял крышку с медного котла и бросился в кипящую воду; погибнув столь недостойной смертью, он совершил подвиг, достойный его родины и его красоты. Совсем иначе поступил Клеэнет, сын Клеомедонта; добившись отмены штрафа в пятьдесят талантов, к которому был присужден его отец, он принес в народное собрание соответствующее письмо от Деметрия; это опозорило его и повергло в волнение весь город. Клеомедонта от штрафа освободили, но собрание постановило, чтобы впредь никто из граждан не приносил писем от Деметрия. Деметрий, узнав об этом, не примирился с таким постановлением и сильно вознегодовал. Перепуганные его гневом, афиняне не только отменили постановление, но и покарали тех, кто внес это предложение или голосовал за него: часть их была казнена, часть осуждена на изгнание. Далее было принято решение о том, что «афинский народ наперед утверждает все, что бы ни повелел царь Деметрий, и считает это священным перед богами и справедливым для людей». Когда же кто-то из честных и благомыслящих мужей сказал, что Стратокл, внося подобное предложение, впал в безумие, левконец Демохарет ответил: — Он впал бы в безумие, если бы не впал в него. — Стратоклу его лесть принесла большую выгоду, а Демохарета осыпали проклятьями и осудили на изгнание. Вот как вели себя афиняне, когда у них в городе не было чужого войска, и они по видимости были свободны.

25. Придя в Пелопоннес, где никто из противников не оказал ему сопротивления, но все бежали, бросая города на произвол судьбы, Деметрий покорил так называемую Акту и Аркадию, за

исключением Мантинеи; Аргос, Сикион и Коринф он освободил, дав занимавшим их отрядам по сто талантов. В Аргосе, во время Герей [36], Деметрий вместе с эллинами принял участие в праздничных торжествах и играх и женился на Деидамии, дочери молосского царя Эакида, сестре Пирра. Внушив сикионцам, что город их находится не там, где следует, он уговорил их не только переселиться туда, где они живут сейчас, но и сменить вместе с местоположением название города — Сикион на Деметриада. На истмийском совете, где собралось множество мужей, Деметрий был провозглашен вождем Эллады, как некогда Филипп и Александр. Он считал себя намного выше обоих и кичился своей счастливой судьбой и величием своих деяний. Александр никого из других царей не лишил этого титула и никогда не называл себя царем царей, хотя многие из них свои титулы и царства получили от него. Деметрий же насмехался и издевался над всяким, называвшим царем кого-нибудь, кроме него самого и Антигона; он с удовольствием слушал на пирах здравицы в честь царя Деметрия, начальника слонов Селевка, наварха Птолемея, хранителя царской казны Лисимаха или сицилийца Агафокла [37], правителя островов. Когда это передавали другим царям, все они смеялись; сердился один Лисимах при мысли, что Деметрий ославил его скопцом: ведь хранителями казны, по обычаю, полагалось назначать евнухов. Лисимах вообще непримиримее всех прочих относился к Деметрию и очень осуждал его связь с Ламией; по его словам, он впервые видел, чтобы публичная женщина была участницей трагедии. Деметрий на это отвечал, что эта публичная женщина целомудреннее Лисимаховой Пенелопы.

26. Намереваясь возвратиться в Афины, Деметрий написал, что по прибытии желает быть посвященным в мистерии [38]; при этом он настаивал на выполнении сразу и обряда Малых Дионисий и последних таинств посвящения. Это запрещалось правилами, и подобных случаев никогда прежде не бывало, ибо Малые Дионисии справлялись в месяце антестерионе, а Великие приходились на боэдромион [39]. Принятие последних таинств могло происходить не раньше, чем через год, считая от Великих Дионисий. Когда афиняне прочитали письмо Деметрия, один только факелоносец [40] Пифодор осмелился возражать, но ничего этим не достиг. По предложению Стратокла было постановлено месяц антестерион переименовать и считать мунихионом [41]. Деметрий принял в Агре [42] посвящение. Затем, когда антестерион из мунихиона сделался боэдромианом, Деметрий, совершив последние таинства посвящения, стал эпоптом [43]. Именно за это Филиппид и поносил Стратокла, говоря:

То он в единый месяц год посмел стянуть.

А жизнь Деметрия в Парфеноне он осуждал в таких стихах:

Он наш Акрополь превратил в просящий двор,
Гетер в священный храм богини-девы ввел.

27. Из многих несправедливостей и беззаконий, происходивших тогда в городе, афинян, как рассказывают, больше всего обидело то, что Деметрий наказал им в короткий срок собрать и доставить ему двести пятьдесят талантов; когда это тяжелое, но непреложное требование было выполнено и Деметрий увидел, что деньги собраны, он велел отдать их на благовония Ламии и ее подругам-гетерам; для афинян позор был горше убытков, а молва тягостнее самого этого случая; некоторые, правда, утверждают, что он произошел не с афинянами, а с фессалийцами. Помимо этого, Ламия и сама, собираясь однажды дать царю обед, потребовала на это денег у многих граждан. Обед отличался такой необыкновенной пышностью, что был даже описан самосцем Линкеем [44]. Поэтому-то один из комических поэтов совершенно справедливо назвал Ламию «Гелеполой», а солиец Демохар самого Деметрия — «Мифом» за то, что у него была Ламия [45]. Благоденствующая и любимая Деметрием, она внушала ненависть и зависть не только женам, но и друзьям его. Однажды Деметрий отправил послов к Лисимаху; на досуге Лисимах показал им у себя на руках и ногах глубокие следы львиных когтей и рассказал о своей схватке со зверем, с которым был заперт по приказанию Александра. Послы улыбнулись и сказали, что у их царя тоже есть на шее укусы страшного зверя — Ламии. Удивительнее всего, что Деметрий, с самого начала плохо относившийся к Филе из-за ее возраста, был покорен Ламией и долго любил эту уже совсем увядшую женщину. Как-то Ламия во время пира играла на флейте; Деметрий спросил Демо́, прозванную Манией: — Какова по-твоему Ламия? — Стара, царь, — ответила Демо. В другой раз, когда подавали сласти, Деметрий обратился к ней же: — Видишь, сколько мне посылает Ламия? — От моей матери ты получишь много больше, стоит тебе только пожелать и ее. — В памяти людской сохранилось еще суждение Ламии о так называемом «суде Бокхорея» [46]. В Египте некто воспылал к гетере Тониде страстью, для удовлетворения которой не имел денег. Потом ему приснилось, что он спал с нею, и желание его утихло. Однако Тонида через суд потребовала с него вознаграждения. Узнав об этом, Бокхорей велел этому человеку отсчитать столько денег, сколько она просила, поместить их в сосуд и двигать сосуд взад-вперед, а гетере — ловить тень сосуда с деньгами, ибо воображение — это тоже лишь тень действительности. Ламия считала этот суд несправедливым: ведь тень не утолила алчности гетеры, тогда как сон удовлетворил желание влюбленного. Вот что известно о Ламии.

28. А теперь судьба и деяния мужа, о котором мы рассказываем, опять изменяют наше повествование и словно переносят его с комической сцены обратно на трагическую. Остальные цари заключили союз против Антигона и объединили свои войска. Деметрий тогда покинул Элладу и соединился с отцом. При виде того, как Антигон, невзирая на свой возраст, жаждет войны,

возросло стремление к ней и у Деметрия. Между тем, думается, что Антигон, если бы он проявил некоторую уступчивость и немного умерил свое властолюбие, мог до конца дней своих сохранить главенство и передать его сыну. Но, будучи по натуре человеком тяжелым, высокомерным и резким в речах не меньше, чем в поступках, он настраивал и ожесточал против себя людей молодых и могущественных. И в этот раз он грозился, как стаю птиц, слетевшихся клевать зерно, простым шумом разогнать союзное войско. Его силы составляли 70 с лишним тысяч пеших воинов, 10 000 конницы, 75 боевых слонов; у противников было 64 тысячи пеших воинов, на 500 человек больше конницы, 400 слонов и 120 колесниц. Когда Антигон сблизился с врагами, планы его не поколебались, но состояние духа резко изменилось; прежде, горделивый и надменный, громкоголосый и дерзкий, он любил во время битвы шутить и смеяться, а по отношению к врагам проявлял всегда суровость и пренебрежение; в этот раз он казался озабоченным и все время был молчалив; он представил Деметрия войску и объявил своим преемником. Но самым необычайным для всех было то, что он разговаривал с Деметрием наедине в своей палатке, — ведь прежде Антигон никогда не вел с сыном никаких тайных бесед, но, отдавая распоряжения, выполнял то, что решил самолично. Рассказывают, как Деметрий, будучи еще мальчиком, спросил отца, когда он снимется с лагеря; разгневанный Антигон ответил: — Неужели ты боишься, что, единственный, не услышишь звука трубы?

29. Души обоих на этот раз были во власти недобрых предзнаменований; Деметрий видел сон: Александр в блестящем вооружении вопрошал, какой пароль они собираются дать для предстоящей битвы. Деметрий ответил: — Зевс и Ника. — На это Александр сказал: — Я тогда уйду к вашим врагам. Они меня примут. — Войско уже было построено, когда Антигон, выходя из палатки, споткнулся, упал и сильно расшиб лицо. Поднявшись, он простер руки к небу и просил богов даровать ему победу или легкую смерть до того, как он потерпит поражение. В начале сражения Деметрий во главе значительной и притом отборной части конницы напал на сына Селевка, Антигона. Он блистательно вел бой, пока не обратил врагов в бегство, однако потом, побуждаемый своим высокомерием и чрезмерным честолюбием, несвоевременно стал их преследовать и сам лишил себя победы. Повернув, он не смог уже соединиться с пешим войском, ибо их разделили слоны. Воины Селевка между тем, увидев, что конница Деметрия лишена прикрытия, не напали на нее, но окружили, грозя нападением и давая в то же время возможность перейти на свою сторону. Так и случилось: большая часть воинов оторвалась от своих и добровольно перешла к неприятелю, а остальные обратились в бегство. Когда множество врагов ринулось на Антигона и кто-то из его окружения сказал: — Сейчас они нападут на тебя, царь, — Антигон ответил: — Конечно, разве у них может быть иная цель?

Но Деметрий непременно придет мне на помощь! — Он надеялся на это до последней минуты, и взор его искал сына, пока Антигон не пал, пораженный множеством стрел. Все соратники и друзья его покинули, только лариссец Форак оставался с покойным царем.

30. Таков был исход сражения. Цари-победители, словно огромное тело, расчленяли владения Антигона и Деметрия, расхватывали их и присоединяли к тем землям, какими владели сами. Деметрий бежал с войском в пять тысяч пеших и четыре тысячи всадников и быстро добрался до Эфеса. Все полагали, что нужда в деньгах заставит его посягнуть на сокровища храма, однако из опасения, как бы этого не сделали воины, Деметрий поспешно отплыл в Элладу, возлагая последние и самые большие надежды на Афины: ведь там у него оставались корабли, деньги и супруга Деидамия; в настоящем положении он не видел для себя более надежного прибежища, чем симпатии афинян. Но едва Деметрий приблизился к Кикладам, он столкнулся с афинскими послами, которые предложили ему не вступать в город, поскольку народное собрание постановило не принимать никого из царей. Деидамию афиняне с подобающими почестями и свитой выслали в Мегару. Эти известия привели Деметрия в ярость, хотя вообще он переносил свое падение легко, и столь разительная перемена его не унизила и не лишила достоинства. Горше всего ему было обмануться в афинянах и увидеть, что их расположение на деле было пустым притворством. Нужно сказать, что самое ненадежное доказательство расположения к царям и правителям — это преувеличенные почести; вся ценность их в доброй воле тех, кем они воздаются, но, сопряженные со страхом, они не заслуживают ни малейшего доверия: ведь народы в равной мере осыпают почестями того, кого любят, и того, кого боятся. Поэтому правители, чей ум трезв, полагаются не столько на статуи, надписи и божеские почести, сколько на собственные дела и подвиги, и в соответствии с ними либо верят в искренность почитания, либо понимают, что оно фальшиво. Народы же часто, оказывая величайшие почести, ненавидят того, кто в своем безмерном высокомерии принимает эти вынужденные выражения любви.

31. Деметрию пришлось снести обиду, ибо тогда он не в силах был отомстить; он послал в Афины послов с поручением передать афинянам его упреки и потребовать возвращения кораблей, среди которых был один с тринадцатью рядами весел. Получив свой флот, он привел его к Истму [47], а затем, видя, что дела складываются очень неудачно (отряды Деметрия отовсюду изгонялись, войско переходило на сторону врага), оставил в Элладе Пирра, а сам поплыл в Херсонес. Грабя владения Лисимаха, он увеличивал свои богатства и в то же время сплачивал силы, которые опять становились значительными. Союзники не оказывали Лисимаху никакой поддержки, ибо считали, что он нисколько не лучше Деметрия, но сильнее, а потому опаснее. Некоторое время

спустя Селевк послал послов сватать Стратонику, дочь Деметрия и Филы. У Селевка от персиянки Апамы был сын Антиох, но он считал, что царства его достанет и большему числу наследников, а ему необходимо породниться с Деметрием, тем более что Лисимах, как он знал, женится на одной из дочерей Птолемея, а сына, Агафокла, женит на другой. Для Деметрия возможность породниться с Селевком была невероятной удачей; взяв дочь, он со всем флотом отправился в Сирию. К берегу он приставал только по необходимости, по этой же причине причалил и в Киликии, которую после битвы с Антигоном союзные цари дали в награду Плистарху, брату Касандра. Высадку Деметрия на своей земле Плистарх счел для себя оскорбительной; кроме того, он стремился излить свой гнев против Селевка, который без ведома других царей примиряется с общим врагом, и отправился с этой целью к брату.

32. Узнав об этом, Деметрий двинулся от побережья к Киндам [48], где получил оставшиеся у него деньги — тысячу двести талантов, и поспешно снялся с якоря. Фила была к этому времени уже с ним. Вблизи Россоса к ним присоединился Селевк. Отношения между ними сразу же установились искренние, без всякой подозрительности, и встреча была поистине царской. Селевк устроил в честь Деметрия пир в лагере, в своей палатке. Деметрий, в свою очередь, принимал его на корабле. Они встречались невооруженные и без стражи, беседовали друг с другом и проводили вместе много времени, пока Селевк вместе со Стратоникою не отправился торжественно в Антиохию. Деметрий после этого завладел Киликией, а Филу отправил к ее брату Касандру — чтобы она опровергла обвинения, которые возводил на ее мужа Плистарх. Деидамия между тем приплыла к мужу из Эллады и, пробыв у него очень недолго, умерла от какой-то болезни. При посредстве Селевка Деметрий заключил с Птолемеем мир, в условия которого входило, чтобы он женился на дочери Птолемея, Птолемаиде. Во всем этом Селевк держал себя безупречно. Однако далее он предложил Деметрию выкупить у него Киликию, а не добившись этого, потребовал в гневе Сидон и Тир; здесь стала очевидна его склонность к насильственным и жестоким поступкам, ибо, владея территорией от Индии до Сирийского моря, он прикидывался бедняком, чуть ли не нищим, и из-за двух городов преследовал человека, с которым был в родстве и который к тому же пережил тягчайшие превратности судьбы. Селевк дал великолепное доказательство утверждению Платона, что муж, стремящийся быть истинно богатым, должен думать не об увеличении богатства, а об уменьшении своего корыстолюбия, ибо тот, кто не в силах от него избавиться, никогда не избавится и от бедности.

33. Деметрий не позволил себя устрашить и сказал, что даже тысячекратно потерпев такое поражение, как при Ипсе [49], он не станет за деньги покупать родство с Селевком. В Тире и Сидоне

он оставил свои отряды, а сам, узнав, что Лахар, пользуясь волнениями в Афинах, пытался захватить тиранию, решил, что, едва появившись там, сумеет без труда овладеть городом. С большим флотом он благополучно переплыл море, но у берегов Аттики был застигнут бурей и потерял большую часть кораблей и множество воинов. Самому ему посчастливилось спастись, и он завязал войну с афинянами, которая, однако, ничего ему не дала. Тогда он опять послал людей собирать флот, а сам отправился в Пелопоннес и осадил Мессену. Сражаясь у стен города, он был ранен: стрела из катапульты попала ему в лицо и насквозь пробила щеку. Поправившись, он овладел несколькими из отложившихся от него ранее городов, повторил свое нападение на Аттику, захватил Элевсин и Рамнунт и стал опустошать страну; он захватил корабль, который вез в Афины хлеб, и повесил купца и кормчего. Страх отвратил от Афин всех купцов, и в городе начался голод, а вслед за ним и другие бедствия. Медимн соли стоил сорок драхм, медимн пшеницы можно было купить только за четыреста. Некоторое облегчение афиняне почувствовали, когда у Эгины появились полтораста кораблей, посланных им на помощь Птолемеем. Однако, как только Деметрий собрал от берегов Пелопоннеса и Кипра свои корабли, которых было до трехсот, флот Птолемея снялся с якоря и обратился в бегство. Бежал и тиран Лахар, бросив город на произвол судьбы.

34. Афиняне, хотя они в свое время постановили казнить всякого, кто только заговорит о заключении мира или о переговорах с Деметрием, теперь открыли ближайшие к его лагерю ворота и мгновенно направили к нему послов; они не ждали от Деметрия ничего хорошего, и только нужда заставила их так поступить. В это время на город обрушилось сразу множество бед. Между прочим, об этом времени рассказывают следующую историю: отец с сыном, доведенные до отчаяния голодом, сидели у себя в доме; с потолка вдруг упала дохлая мышь; увидев это, оба вскочили с места и вступили из-за нее в драку. Тогда же философ Эпикур кормил своих учеников бобами, которые делил между ними по счету. В таком положении был город, когда вошел Деметрий. Он велел всем собраться в театре, скену [50] заполнил вооруженными воинами, логий [51] окружил своими телохранителями, а сам, подобно трагическим актерам, прошел верхним ходом; все это чрезвычайно напугало афинян, однако уже начало его речи положило предел их страхам: ни в тоне, ни в словах Деметрий не позволил себе никакой суровости; мягко и по-дружески упрекнув афинян, он совершенно с ними примирился, роздал сто тысяч медимнов хлеба и назначил наиболее угодных им должностных лиц. Народ с ликованием приветствовал Деметрия, демагоги на трибуне соревновались в восторженных похвалах. Видя все это, оратор Дромоклид внес предложение передать царю Деметрию Пирей и Мунихий, которое и было принято. Несмотря на это, Деметрий по собственному почину поставил на Мусее [52] охрану, чтобы

народ, настроение которого может измениться, не помешал его планам.

35. Овладев Афинами, Деметрий тотчас же начал враждебные действия против Лакедемона. При Мантинее он вступил в бой с царем Архидамом, одержал над ним победу и, обратив его войско в бегство, вторгся в пределы Лаконии. Во второй битве, уже при самой Спарте, он захватил в плен пятьсот человек, убил двести и едва не взял город, который дотоле славился своей неприступностью. Но судьба ни одного из царей, кроме Деметрия, не была чревата столь резкими и быстрыми переменами, никого она столько раз не делала ничтожным и опять великим, униженным из осиянного славой и вновь могущественным из бессильного. Поэтому, рассказывают, когда судьба была к нему неблагосклонна, Деметрий повторял стих Эсхила:

Меня возносишь ты и низвергаешь вновь.

В момент, когда обстоятельства складывались для Деметрия так благоприятно, а власть и силы его возрастали, пришло известие о том, что Лисимах отторгнул у него все города Азии, а Птолемей захватил весь Кипр, за исключением города Саламина; Саламин, где оставались мать и дети Деметрия, был также осажден Птолемеем. Не иначе как сама судьба, подобно женщине у Архилоха, которая коварно держит в одной руке воду, а в другой огонь, отвратила его этими страшными известиями от Лакедемона, одновременно внушив ему новые величественные планы; произошло это вот как.

36. После смерти Касандра царем македонян стал старший его сын Филипп, который вскоре тоже умер. Между оставшимися двумя наследниками существовала распря. Один из них, Антипатр, убил свою мать Фессалонику; тогда другой брат, Александр, призвал на помощь Пирра из Эпира и Деметрия с Пелопоннеса. Пирр пришел очень быстро и в качестве вознаграждения захватил значительную часть Македонии; тем самым он стал для юноши опасным соседом. Деметрий, получив послание Александра, пришел во главе своего войска. Напуганный больше прежнего славой Деметрия, Александр сам встретил его у Дия [53], осыпал любезностями и изъявлениями любви, но сказал, что сложившееся положение не требует больше его присутствия. Из-за этого между ними возникло взаимное недоверие. Когда Деметрий по приглашению молодого царя отправился к нему на обед, кто-то донес, что против него злоумышляют и собираются во время пира его убить. Деметрий не проявил никакого волнения, лишь несколько замешкался: военачальникам он приказал держать войско наготове, а слугам и рабам, которые его сопровождали (их было много больше, чем у Александра), велел вместе с собой войти в пиршественный зал и находиться там, пока он не поднимется с места. Александр испугался и не посмел осуществить свой замысел. Деметрий под предлогом того, что он не склонен много пить,

вскоре удалился. На следующий день, ссылаясь на изменившиеся обстоятельства, Деметрий стал собираться в поход, просил Александра извинить краткость его пребывания и обещал в другой раз погостить подольше. Юноша обрадовался, что Деметрий оставляет Македонию по собственной воле, не затаивши зла, и проводил его до самой Фессалии. Придя в Лариссу [54], оба, питая злые умыслы, стали приглашать друг друга на пир. Это-то и сделало Александра жертвой Деметрия. Не решаясь принять меры предосторожности, дабы и враг их не принял, юноша претерпел то, что сам готовил другому. Теперь он по приглашению Деметрия пришел к нему на обед. Когда в разгаре пира гость поднялся с места, Деметрий из страха поднялся вслед за ним и поспешно направился к дверям. Достигнув их, он приказал своим телохранителям: — Рубите идущего за мной. — С этими словами Деметрий вышел, а Александр был зарублен вместе с друзьями, которые кинулись ему на помощь. Один из них, как рассказывают, уже израненный, воскликнул, что Деметрий опередил их всего на один день.

37. Ночь, как и следовало ожидать, македоняне провели в волнении и с наступлением дня были все еще полны беспокойства и страха перед войском Деметрия. Поскольку они не отважились напасть, Деметрий отправил к ним посольство, выражая желание вступить в переговоры и оправдаться в содеянном. Македоняне несколько приободрились и решили оказать ему любезный прием. И действительно, когда Деметрий пришел, ему не пришлось произносить длинных речей: испытывая ненависть к матереубийце Антипатру и не имея более достойного претендента, македоняне провозгласили Деметрия своим царем и немедленно препроводили в Македонию. Среди их соотечественников, находившихся дома, происшедшая перемена также не вызвала протеста, ибо македоняне все еще ненавидели Касандра и не забыли его беззаконий по отношению к покойному Александру. Если же они сохранили воспоминание об умеренном правлении первого Антипатра, это тоже было на пользу Деметрию, женатому на его дочери и имевшему от нее сына — наследника власти, к тому времени уже подростка, который сопровождал отца в походах.

38. В эту пору, когда судьба его была столь блистательна, Деметрий узнает о своих детях и матери, что Птолемей отпустил их с большими почестями и богатыми дарами, а о дочери, выданной замуж за Селевка, — что она теперь жена Антиоха, сына Селевка, и царица северных областей Азии. Случилось это, кажется, так: Антиох влюбился в совсем еще юную Стратонику, которая, однако, уже имела сына от Селевка. Он жестоко страдал, изо всех сил старался побороть свою страсть и наконец понял, что она ужасна и неизлечима. Подавленный этой мыслью, юноша стал искать способа расстаться с жизнью; постепенно, пренебрегая всяким лечением и не принимая пищи, он довел себя до полного телесного изнеможения, утверждая, что болен какой-то

болезнью. Врач Эрасистрат без труда понял, что юноша влюблен; гораздо труднее было догадаться, кто же предмет его любви; желая узнать и это, Эрасистрат проводил все дни в комнате больного и всякий раз, когда входил молоденький мальчик или женщина, внимательно следил за выражением его лица и наблюдал каждое движение, в особенности тех частей тела, которые откликаются на всякое волнение души. Когда к нему входили другие, Антиох оставался спокоен, но стоило появиться Стратонике, одной или в сопровождении Селевка, с юношей творилось все то, что описано Сапфо: голос прерывался, появлялся огненный румянец, взор мутился, внезапно выступал пот, пульс учащался и становился неровным и в конце концов, когда страсть совершенно овладевала им, его охватывало смущение, ужас и смертельная бледность. Из всего этого Эрасистрат заключил, что царский сын, вероятно, решился молчать до самой смерти, потому что любит не кого иного, как Стратонику. Врач понимал, как опасно об этом говорить, однако, веря в любовь Селевка к сыну, отважился и сказал ему, что болезнь Антиоха зовется любовью, но любовь это безнадежная и неутолимая. Пораженный Селевк спросил: — Почему же она неутолима? — И Эрасистрат ответил: — Потому, клянусь Зевсом, что он пылает страстью к моей жене! — Неужели же, — воскликнул Селевк, — ты, друг Антиоха, не уступишь ему жену, зная, что его болезнь причиняет мне такое горе? — Но ведь и ты, его отец, не сделал бы этого, если бы Антиох пожелал Стратонику! — На это Селевк воскликнул: — Пусть бы только кто-нибудь из богов или людей устроил так, чтобы желание его обратилось на Стратонику! Из любви к сыну я охотно отказался бы и от царства! — Пока Селевк в сильном волнении и со слезами произносил эти слова, врач взял его за руку и сказал, что он не нуждается в Эрасистрате, он сам — отец, муж и царь — лучший целитель своего сына. Селевк тотчас же созвал народное собрание и всенародно объявил, что желает царем всех северных областей сделать Антиоха, а царицей — Стратонику, которая станет его женой. Он полагает, что сын, который привык во всем его слушаться и никогда не выходил из повиновения, не будет противиться этому желанию. Что же касается его жены, то если она возмутится против нового брака как незаконного, он просит друзей наставить ее и убедить считать решения царя законными, справедливыми и направленными на пользу государства. Вот при каких обстоятельствах совершился, как говорят, брак Антиоха и Стратоники.

39. Между тем Деметрий вместе с Македонией захватил также Фессалию. В его власти была к этому времени большая часть Пелопоннеса, а за Истмийским перешейком — Мегары и Афины. Теперь он пошел походом на беотийцев и на очень умеренных условиях заключил с ними мир, однако после того как в Фивы вступил со своим войском спартанский царь Клеоним, беотийцы, подстрекаемые феспийцем Писидом, который благодаря своей

славе и могуществу пользовался тогда большим влиянием, отложились. Деметрий подвел к Фивам свои машины и осадил город. Клеоним в страхе тайно покинул Фивы, и напуганные беотийцы сдались. Тогда Деметрий оставил в городах Беотии охрану, получил от беотийцев большие деньги и назначил своим наместником историка Иеронима. Он держался весьма милостиво, главным образом по отношению к Писиду, которого взял в плен. Деметрий не причинил ему никакого зла, напротив того, обошелся с ним ласково и в доказательство своего расположения сделал полемархом в Феспии. Некоторое время спустя Лисимах попал в плен к Дромихету. Деметрий сразу же выступил во Фракию с целью овладеть страной, пока в ней нет войск. В этот момент беотийцы вновь от него отложились, и тут же стало известно, что Лисимах освободился из плена. Деметрий в страшном гневе поспешно двинулся обратно в Беотию, а узнав, что беотийцам уже нанес поражение его сын Антигон, вторично осадил Фивы.

40. Тем временем Пирр совершил набег на Фессалию и дошел до самых Фермопил; Деметрий поручил осаду Фив Антигону, а сам выступил против Пирра, обратил его в беспорядочное бегство и, оставив в Фессалии десять тысяч гоплитов и тысячу всадников, вернулся к Фивам. Он приказал привезти сюда гелеполу, которая из-за своей тяжести и громоздкости передвигалась с большим трудом и до крайности медленно, так что за два месяца едва прошла несколько стадиев. Беотийцы защищались с большим мужеством, между тем как Деметрий часто заставлял своих воинов вступать в бой и рисковать жизнью больше из упрямства, нежели в силу необходимости. Видя, что немалое число их погибает, Антигон, движимый жалостью, спросил: — Отец, зачем ты напрасно жертвуешь ими? — На это Деметрий с сердцем ответил: — А о чем ты горюешь? Разве тебе придется платить жалованье убитым? — Желая после этого показать, что он не только беспощаден к воинам, но и сам в равной с ними мере подвергается опасности, Деметрий, раненный стрелой в шею, превозмогая жестокую боль, не прекратил осады. Ему удалось вновь овладеть Фивами. Когда он вступил в город, жителей обуял страх; они ожидали неописуемых ужасов; в действительности же казнено было всего тринадцать человек, несколько осуждено на изгнание, а все остальные прощены. Таким образом, Фивы, возрожденные всего десятью годами ранее, за столь короткий срок были дважды взяты неприятелем. Приближалось время Пифийских игр, и Деметрий ввиду того, что горные проходы, ведущие в Дельфы, были заняты этолийцами, решился на дело дотоле немыслимое: он устроил игры и торжество в Афинах под предлогом, что именно там должно справлять этот праздник, коим почитают, главным образом, афинского бога, родоначальника аттического племени [55].

41. Из Афин Деметрий отправился в Македонию. Он и по характеру был человек деятельный и к тому же замечал, что во время походов подданные были вполне преданны ему, между

тем как дома находились в постоянном беспокойстве и охотно склонялись к мятежам. На этот раз он двинулся против этолийцев, опустошил их владения и, оставив там Пантавха с частью войска, пошел против Пирра; Пирр тем временем также выступил против Деметрия, благодаря чему враги разминулись. Деметрий с целью грабежа двинулся в Эпир; Пирр между тем напал на Пантавха и вступил с ним в сражение, во время которого полководцы сошлись лицом к лицу и оба были ранены. Победа осталась за Пирром; Пантавх обратился в бегство, многие из его воинов были убиты, а пять тысяч человек попали в плен. Это поражение оказалось для Деметрия неимоверно тяжелым: Пирр, одержав победу, не столько внушил македонянам ненависть к себе, сколько вызвал их восхищение своей храбростью и покрыл свое имя неувядаемой славой. Многие из македонян высказывали мысль о том, что он единственный из всех царей может доблестью сравниться с Александром; все же остальные, и в особенности Деметрий, словно на сцене, лишь изображают величие и достоинство. Деметрия и действительно окружала совершенно театральная обстановка; он не только украшал голову златотканой порфирой и македонской шапкой с двойной диадемой, — даже ноги его были обуты в пурпурного цвета кожаные башмаки. Для него долгое время ткали хламиду — искусное произведение, с изображением вселенной и небесных светил. Работа эта из-за превратностей судьбы была закончена лишь наполовину, и эту хламиду никто никогда не осмелился надеть, хотя цари Македонии и после Деметрия нередко отличались высокомерием и кичливостью.

42. Но не только наряд царя раздражал не привыкших к роскоши македонян; они вообще не одобряли пышность его образа жизни, а более всего — его замкнутость и неприступность. Он либо вовсе не допускал до себя просителей, либо был с ними неприветлив и груб. Даже посольство афинян, к которым он относился любезнее, чем ко всем эллинам, он продержал однажды у себя целых два года. Когда из Лакедемона к Деметрию прибыл один посол, он страшно разгневался, сочтя себя оскорбленным, и спросил: — Так ты говоришь, что спартанцы прислали ко мне всего одного посла? — На это посланный ответил с истинно лаконским остроумием: — Да, к одному царю послали одного посла. — Однажды Деметрий, более приветливый, чем обычно, казалось, склонен был принять всех, кто этого домогался. Люди обрадовались случаю и сошлись, чтобы подать письменные прошения. Когда Деметрий их собрал и спрятал в складках одежды, довольные просители пошли его проводить. Однако, достигнув моста через Аксий, Деметрий выбросил все прошения в реку. Македоняне, которые считали, что над ними не царствуют, а издеваются, расценили это как тягчайшую обиду, тем более что они либо помнили сами, либо слышали от тех, кто помнил, о том, как скромен и доступен был Филипп. Как-то на дороге к нему пристала старуха, настойчиво просившая ее выслушать. Филипп ответил

ей, что не имеет времени. — Тогда не будь царем, — воскликнула она, и Филипп, уязвленный ее словами, обратил на них должное внимание, вернулся во дворец и, отложив все другие дела, уделил несколько дней приему всех, кто этого желал, начиная с той самой старухи. Ведь первейшая обязанность царя — вершить суд. И если Арес, по словам Тимофея, тиран, то закон, как утверждает Пиндар, царь всего сущего. И Гомер говорит, что цари для охраны и защиты своих подданных получают от Зевса не гелеполы и не кованные медью корабли, но законы [56]. Поэтому другом и учеником Зевса является не тот царь, кто превосходит других воинственностью, несправедливостью и жестокостью, но самый справедливый из царей.

Деметрий же гордился тем, что его прозвище не похоже на имена царя богов. И правда, Зевса называют «градодержавным», «защищающим города», Деметрию же дали прозвище «осаждающего города». Так зло с помощью грубой силы вторглось в область добра и со славой соединило несправедливость.

43. В Пелле [57] Деметрий тяжело заболел и чуть не потерял в это время Македонию: Пирр совершил на нее стремительное нападение и дошел до Эдессы. Едва поправившись, Деметрий без труда его победил и заключил с ним соглашение, не желая вредить собственным планам столкновениями и войнами с тем, кто постоянно становился ему на пути. А задумал он не малое — вернуть все земли, которые некогда были подвластны отцу. Приготовления Деметрия были столь же серьезны, как его надежды и планы: у него было уже без двух сто тысяч пеших воинов, около двенадцати тысяч всадников и флот в пятьсот кораблей; часть этих кораблей строилась в Пирее, другая в Коринфе, часть в Халкиде и некоторые в Пелле, причем Деметрий бывал во всех этих местах, указывал, что и как нужно делать, и помогал сам. Всех поражали не только количество, но и величина этих судов. До тех пор ни один человек не видал кораблей ни с шестнадцатью, ни с пятнадцатью рядами весел; лишь позднее Птолемей Филопатор [58] построил корабль с сорока рядами весел длиной в двести восемьдесят локтей; высота его в носовой части составляла сорок восемь локтей. Команда этого корабля состояла из четырехсот человек, помимо гребцов, а число гребцов достигало четырех тысяч; кроме того, в проходах и на палубе помещалось почти три тысячи гоплитов. Однако этот корабль был примечателен только своим видом и больше походил на неподвижное сооружение, предназначенное для показа, а не для дела, так как на воде он держался плохо и плыл очень медленно. Корабли Деметрия красота не портила, а размеры служили им на пользу, так что быстрота их хода и пригодность в сражении вызывали не меньшее удивление, чем размеры.

44. Когда в Азию двинулось войско, какого после Александра не собирал ни один из полководцев, Птолемей, Селевк и Лисимах заключили союз против Деметрия. Сообща они отправили

посольство к Пирру, призывая его пренебречь договором, заключенным с Деметрием, и захватить Македонию; договор-де обеспечивал не столько безопасность Пирру, сколько свободу нападать, на кого задумает, Деметрию. Пирр согласился, и Деметрий, еще только готовившийся к походу, оказался под угрозой большой войны. Птолемей, появившийся во главе сильного флота, склонял Элладу отложиться от Деметрия; на Македонию одновременно напали и стали грабить ее Лисимах из Фракии и Пирр. Деметрий оставил в Элладе сына, а сам двинулся в Македонию и напал сначала на Лисимаха. Тут до него доходит известие о том, что Пирр взял город Берою [59].

44. Слух об этом распространился среди македонян очень быстро, и сразу же в войске Деметрия не стало никакого порядка, в лагере стоял плач и сетования, и все, охваченные негодованием против Деметрия, открыто его бранили, не желали долее оставаться с ним и, угрожая отправиться по домам, в действительности стремились перейти на сторону Лисимаха. Деметрий решил как можно больше удалиться от Лисимаха и двинуться против Пирра. Лисимаха — своего соплеменника — благодаря его близости к Александру многие македоняне знали; Пирр же был пришельцем, и, по соображениям Деметрия, Пирра македоняне не могли ему предпочесть. Однако он совершенно обманулся в своих расчетах. Когда оба войска сблизились, Деметрий неподалеку от Пиррова лагеря разбил свой. Воины его, издавна привыкнув считать первым среди царей того, кто был первым в бою, восхищались доблестью Пирра; помимо этого, они узнали, как мягко Пирр поступает с пленными. Они и раньше стремились покинуть Деметрия и перейти к любому другому царю, — теперь же стали сначала украдкой, по нескольку человек, уходить из лагеря, а затем открыто подняли мятеж; в конце концов несколько человек осмелились подойти к Деметрию с советом оставить лагерь и спасаться, ибо македоняне больше не хотят сражаться ради его страсти к роскоши. Эта речь показалась Деметрию в высшей степени скромной по сравнению с грубостями остальных. Он вошел в свою палатку не как царь, а как трагический актер, сменил обычное роскошное одеяние на черное и тайно удалился. Большинство войска тотчас же кинулось грабить; они затевали ссоры друг с другом и яростно рвали царский шатер; наконец появился Пирр, грозным окриком остановил их и овладел лагерем. После этого Македония, которую Деметрий в течение семи лет твердо держал в своих руках, была поделена между Пирром и Лисимахом.

45. Деметрий, пережив крушение всех своих планов, бежал в Касандрею. Для его жены Филы горе это оказалось непосильным; она не в состоянии была увидеть злосчастнейшего из царей, своего супруга, частным человеком и изгнанником. Утратив всякую надежду, полная ненависти к судьбе Деметрия, более постоянной в несчастиях, чем в счастье, она выпила яд и скон-

чалась. Деметрий же задумал спасти то, что уцелело после крушения, и отплыл в Элладу; там он собрал своих стратегов и приверженцев.

Слова, которыми Софокл в «Менелае» говорит о судьбе героя:

> Моя судьба как бы в упряжке солнечной
> Вращается и перемен исполнена.
> Так лик луны изменчив, и не может он
> Один и тот же быть в теченье двух ночей:
> Когда из мрака молодой грядет луна,
> Он все становится прекрасней и полней,
> Едва же превзойдет сама себя красой —
> Ее покроет мрак и обратит в ничто, —

можно отнести и к жизни Деметрия, к его взлетам и падениям, расцвету славы и новому уничижению; казалось, он безвозвратно лишился своего могущества, между тем власть его возродилась, а притекавшие к нему остатки войска вновь оживили его надежды. В ту пору Деметрий впервые появился в городах без царских уборов, как частный человек. Кто-то встретил его в таком виде в Фивах и метко сказал словами Эврипида:

> И, вместо бога, смертным мужем став,
> Пришел он к водам Дирки и к реке Исмен[60].

46. Как только надежды Деметрия вновь устремились по царской стезе, он, обретя вновь осанку и все знаки величия, присущие царям, даровал фиванцам независимость. Афиняне отложились от Деметрия, исключили Дифила, который был жрецом «Богов-Спасителей», из числа должностных лиц и приняли постановление о том, чтобы избирать архонтов в соответствии с законами отцов; далее афиняне, видя, что могущество Деметрия возрастает в большей степени, чем они предполагали, призвали из Македонии Пирра. Рассерженный этим, Деметрий подошел к городу вплотную и стал упорно его осаждать. Народ отправил к нему в качестве посла философа Кратета, человека, пользовавшегося доброй славой и влиянием среди сограждан. Частью уступая просьбе афинян, частью же ради собственной выгоды, на которую указал ему Кратет, Деметрий снял осаду, собрал свои корабли, погрузил на них имевшееся в наличии войско — одиннадцать тысяч человек вместе со всадниками — и отплыл в Азию с намерением отвоевать у Лисимаха Карию и Лидию. В окрестностях Милета он встретился с Эвридикой, сестрой Филы. С нею была одна из ее дочерей от Птолемея, Птолемаида, которую Селевк некогда сватал за Деметрия. С согласия Эвридики теперь состоялась свадьба, а сразу же после нее Деметрий двинулся на малоазийские города; из них многие сдались ему добровольно, другие он взял силой, в том числе даже Сарды. В это время на его сторону перешли некоторые из военачальников Лисимаха

с воинами и деньгами. Когда против Деметрия выступило войско Агафокла, сына Лисимаха, Деметрий направился во Фригию, решив захватить Армению, а затем поднять восстание в Мидии и овладеть, таким образом, северной частью Азии, где он знал много укрытий и путей отхода на случай, если бы неприятель стал его теснить. Агафокла, который двигался следом, Деметрию удалось разбить, однако его собственное положение было очень затруднительным: пути подвоза продовольствия и корма были отрезаны, войско догадывалось, что целью похода является Армения и Мидия; между тем голод все усиливался. В довершение всего во время переправы через Лик множество воинов по собственной неосторожности стали жертвой течения. Насмешки над Деметрием не прекратились и теперь: кто-то написал на его палатке начальные стихи «Эдипа», несколько изменив их:

Дитя слепого старца, Антигона,
Куда пришли мы? [61]

47. Постепенно к мукам голода присоединились и болезни, обычные в случаях, когда едят то, что непригодно в пищу. От них погибло не меньше восьми тысяч человек. После этого Деметрий с остатками войска отступил в Тарс. Не желая вызывать неудовольствие Селевка, которому был подвластен Тарс, он всячески стремился удержать своих воинов от грабежей, но это оказалось свыше его сил, поскольку войско терпело ужасающие лишения, а горные перевалы Тавра были заняты Агафоклом. Тогда Деметрий отправил Селевку послание, содержащее горькие сетования на судьбу и величайшую просьбу, даже мольбу о сострадании, которую Деметрий обращал к родственнику; ему, писал он, пришлось перенести такие тяготы, что даже врагам впору его пожалеть. Селевк поначалу был тронут этой просьбой и велел стратегам, находившимся в Тарсе, предоставить царское содержание самому Деметрию и неограниченное количество продовольствия его войску. Но вскоре Селевка навестил очень умный человек и верный его друг Патрокл, который сказал, что его пугают не расходы на войско Деметрия, но самое пребывание его во владениях Селевка, ибо Деметрий и прежде выделялся среди всех царей своей предприимчивостью и склонностью к беззакониям, теперь же он оказался в таком положении, которое и скромного человека может толкнуть на дерзкие и несправедливые поступки. Убежденный его словами, Селевк с большим войском двинулся в Киликию. Деметрий, пораженный и испуганный столь быстрой переменой в его настроении, укрылся за неприступными вершинами Тавра. Оттуда он отправил к Селевку послов с просьбой позволить ему воцариться над одним из независимых варварских племен, где бы он мог доживать свою жизнь, покончив со скитаниями и странствованиями; а если Селевку это неугодно, пусть прокормит его войско в течение зимы и самого Деметрия не прогоняет нищим и сирым и не предает в руки врагов.

48. Селевк, который ко всему относился подозрительно, предложил Деметрию, если он пожелает, провести два зимних месяца в Катаонии [62], выдав в качестве заложников самых близких своих друзей. Сам он между тем укреплял горные проходы, ведущие к Сирии. Запертый со всех сторон, словно обложенный лесной зверь, Деметрий был вынужден взяться за оружие; он стал совершать набеги на Киликию и с неизменным успехом отражал нападения Селевка. Во время одного из таких нападений против Деметрия были двинуты серпоносные колесницы; он зашел врагам в тыл, обратил их в бегство, потом заставил бежать тех, кто охранял подступы к Сирии, и овладел горными проходами. Это возродило его веру в свои силы, и, видя, что и к воинам вернулась бодрость духа, он стал готовиться к решающему сражению с Селевком, положение которого тоже стало трудным: под влиянием страха и недоверия он отверг помощь Лисимаха, а в одиночку не решался напасть на Деметрия, опасаясь и его безрассудной дерзости, и удивительно превратной судьбы, которая после тягчайших испытаний вновь возносила Деметрия на вершины счастья. Но в это время Деметрием овладел тяжелый недуг, который измучил его и нанес непоправимый ущерб его планам. Часть его воинов перешла на сторону врага, другие просто разбежались. С трудом оправившись через сорок дней, Деметрий собрал остатки своего войска и на глазах врагов двинулся в путь, желая создать впечатление, что направляется в Киликию. В действительности же он ночью, не подавая знака трубою, изменил направление, перевалил через Аман [63] и принялся грабить окрестные земли вплоть до Киррестики [64].

49. Селевк устроил привал совсем рядом со станом Деметрия. Деметрий двинулся в атаку ночью, когда противник, ничего не подозревая, отдыхал. Пораженный приходом перебежчиков, предупредивших его об опасности, Селевк поспешно вскочил и, обуваясь, приказал подать сигнал к бою, а друзьям крикнул, что предстоит схватка с лютым зверем. По шуму в стане врагов Деметрий догадался, что их предупредили, и поспешно отошел. С наступлением дня Селевк начал наступать; Деметрий велел одному из своих военачальников зайти с фланга и едва не обратил противников в бегство. В этот момент Селевк, спешившись, с непокрытой головой, защищенный только щитом, выступил вперед, так чтобы наемники могли его видеть, и стал увещевать их перейти на его сторону и понять, что он так долго не начинал сражения, щадя не Деметрия, а их, воинов. На это все ответили приветственными кликами и, называя Селевка царем, стали переходить к нему. Деметрий понял, что для него, пережившего полную превратностей жизнь, наступила новая, последняя перемена; желая спастись, он бежал к проходам Амана и с несколькими друзьями и с рабами, которых у него оставалось очень немного, углубился в густой лес; здесь он провел ночь, намереваясь, если удастся, выйти на дорогу, ведущую в Кавн [65], и добраться до моря,

где он надеялся найти свой флот. Но когда стало ясно, что продовольствия не хватит даже на день, Деметрий отказался от этой мысли. В это время к нему пришел его друг Сосиген, в поясе которого было четыреста золотых. Рассчитывая с этими деньгами выйти к побережью, Деметрий ночью двинулся к горным перевалам. Там повсюду пылали вражеские костры; пришлось отказаться и от этого плана и вернуться на прежнее место. Возвратились, правда, не все (некоторые бежали), а из оставшихся не все сохранили бодрость духа. Кто-то осмелился сказать, что Деметрий должен сдаться на милость Селевка; в ответ Деметрий выхватил меч и собирался покончить с собой. Друзья тесно его обступили, стали утешать и в конце концов убедили сдаться. Деметрий отправил к Селевку гонца с известием о том, что он сдается.

50. Узнав об этом, Селевк приписал спасение Деметрия не Деметриевой, а своей счастливой судьбе, которая, наряду с прочими благами, дала ему случай проявить свою доброту и человеколюбие. Призвав к себе людей, он приказал поставить царскую палатку и приготовить все, чтобы оказать Деметрию торжественный и пышный прием. При Селевке находился некий Аполлонид, дружный прежде с Деметрием. Селевк отправил его к Деметрию с целью доставить ему удовольствие и ободрить мыслью, что он будет у своего человека и родственника. Когда намерения Селевка стали известны, друзья Деметрия, сперва немногие, а потом все поголовно, спеша и отталкивая друг друга, устремились к нему в надежде на быстрое его возвышение при дворе Селевка. Это обстоятельство заставило Селевка сменить сострадание на зависть, а недоброжелателям и клеветникам позволило отвратить царя от милосердия и совершенно убить в нем это чувство, ибо они неустанно твердили Селевку, что едва Деметрий появится в лагере, среди воинов тотчас поднимутся большие волнения. Между тем к Деметрию прибыл счастливый своим посольством Аполлонид; приходили и другие люди, передававшие приятные известия от Селевка. Деметрий, изведав тягчайшие бедствия и неудачи, воспрянул духом и, одушевленный новыми надеждами, стал раскаиваться в сдаче, которую и раньше считал для себя позорной. Однако в этот самый момент появился Павсаний во главе почти тысячи пеших и конных воинов; внезапно оттеснив от Деметрия всех друзей, он окружил его кольцом своих воинов и, не заходя в лагерь Селевка, отвел прямо в Херсонес Сирийский; здесь Деметрий содержался под сильной охраной, однако Селевк дал ему достаточное количество слуг и немалую сумму денег на содержание; в его распоряжение были предоставлены места царских прогулок и зверинец; кроме того, из бежавших вместе с ним друзей каждый, кто пожелал, мог разделить его судьбу. По временам его кто-нибудь посещал и старался утешить и ободрить тем, что после приезда Антиоха со Стратоникой ему будет возвращена свобода.

51. Между тем Деметрий в этих обстоятельствах приказал приближенным сына и своим военачальникам и друзьям в Афинах и Коринфе не верить ни письмам его, ни печати, считать его погибшим, а города и прочие владения беречь для Антигона. Узнав о пленении отца и тяжело переживая это известие, Антигон одел траурные одежды и написал всем царям, в том числе и Селевку, предлагая все, чем он еще владел, и, в первую очередь, самого себя в залог за отца. К его просьбе присоединились многие города и цари, кроме Лисимаха, который сулил Селевку большие деньги за жизнь Деметрия. Селевк, и без того недолюбливавший Лисимаха, теперь и вовсе стал смотреть на него, как на кровожадного варвара. С освобождением Деметрия он медлил до приезда своего сына Антиоха и Стратоники, желая, чтобы они доставили пленнику столь великую радость.

52. Деметрий покорился своему несчастию и привык не тяготиться своим новым положением. Вначале он не чуждался телесных упражнений, гулял и охотился, коль скоро это было ему разрешено, но постепенно, обленившись, отказался от этих занятий; он совершенно опустился и, предавшись пьянству и игре в кости, проводил в этом большую часть времени. Возможно, он таким образом уходил от раздумий о своем положении, которые, когда он был трезв, не давали ему покоя, и затуманивал вином свой разум, а может быть, теперь только понял, что именно такой жизни всегда жаждал и домогался и что сам, по неразумию и ради погони за суетной славой, причинил и себе и другим много неприятностей, стремясь в битвах и походах найти то счастье, которое теперь нежданно обрел в бездеятельности и лени. И в самом деле, зачем дурные цари воюют и подвергают себя опасностям? В своем неразумии и злонравии они пренебрегают доблестью и всем истинно высоким в борьбе и гонятся лишь за роскошью и наслаждениями, не умея, однако, и им предаться безраздельно! В конце третьего года своей жизни в Херсонесе Деметрий захворал от праздности, обжорства и пьянства и умер, достигнув пятидесяти четырех лет. Селевка все осуждали, и он раскаивался, что из-за чрезмерной подозрительности не сумел проявить по отношению к Деметрию того истинно царственного человеколюбия, с каким дикарь-фракиец Дромихет обошелся с пленным Лисимахом.

53. Похороны Деметрия были торжественны и исполнены трагического великолепия. Антигон, узнав, что золотая урна с прахом отца находится в пути, со всем флотом встретил ее у островов и водрузил на самый большой корабль. Города, где корабли приставали, возлагали на урну венки и посылали мужей в траурных одеждах сопровождать ее и участвовать в погребении. Когда процессия приплыла в Коринф, великолепную урну, украшенную царской порфирой и диадемой, выставили на корме для общего обозрения. Вокруг нее стояли в почетном карауле вооруженные юноши. Самый знаменитый флейтист того времени, Ксенофант,

сидел рядом и играл священные мелодии. Ему аккомпанировали ритмичными взмахами весел, так что получался звук как при биении кулаком в грудь. Величайшую печаль и сострадание среди собравшейся на берегу толпы вызывал удрученный горем рыдающий Антигон. Когда все обряды были завершены и венки возложены, урну из Коринфа перевезли в Деметриаду, город, образовавшийся из слияния мелких городков вокруг Иолка [66] и названный в честь покойного царя, где и состоялось погребение. Деметрий оставил после себя потомков: Антигона и Стратонику — от Филы, двух Деметриев (один, Деметрий Лепт, был от иллириянки, а второй, царь Кирены, от Птолемаиды), Александра — умершего в Египте — от Деидамии. Говорят, у него был еще сын от Эвридики — Корраг. Царская власть в его роду переходила из поколения в поколение вплоть до Персея, при котором Македонию покорили римляне.

ГРИЛЛ, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ЖИВОТНЫЕ ОБЛАДАЮТ РАЗУМОМ

1. Одиссей. Мне, кажется, Кирка, что я все уразумел и запомню... Хотелось бы только узнать, есть ли эллины среди тех, кого ты превратила в волков и львов.

Кирка. Великое множество, милый Одиссей. А зачем ты спрашиваешь?

Одиссей. Потому что, клянусь Зевсом, я бы прославился в Элладе, если б, по твоей милости, смог взять с собой своих товарищей, и они вновь стали бы людьми, и мне не пришлось бы видеть, что они, вопреки своей природе, состарились в зверином облике, влача жалкое и постыдное существование.

Кирка. О, этот человек столь неразумен, что свое честолюбие хочет обратить во зло не только самому себе и своим спутникам, но и людям, не имеющим к нему никакого отношения!

Одиссей. Словно своим колдовским зельем, ты дурманишь меня этими словами для того, чтобы превратить в животное, если я поверю, что вновь стать человеком — несчастье.

Кирка. Разве сам себе ты не причинил еще горшую беду, когда отказался, не зная смерти и старости, жить со мною, но, презирая все невзгоды, спешишь к смертной и, добавлю, уже немолодой женщине [1] из желания еще больше прославиться и вознестись, предпочитая истинному благу пустой его призрак?

Одиссей. Пусть так, Кирка! зачем нам вечно спорить об одном и том же. Лучше окажи мне услугу и освободи этих мужей.

Кирка. Это не так-то просто, клянусь Гекатой; ведь речь идет не о каких-нибудь первых попавшихся людях. Тебе лучше сначала спросить у них, хотят ли они этого. Если они откажутся, вступи с ними в беседу, почтенный Одиссей, и постарайся убе-

дить. А если не удастся и они победят тебя своими доводами, признай, что ты дурно распорядился своей жизнью и судьбой товарищей.

Одиссей. Зачем ты смеешься надо мной, богиня? Как же они, колдовством превращенные в ослов, свиней и львов, могут говорить и понимать человеческую речь?

Кирка. Будь спокоен, честолюбивейший из людей, они смогут и то и другое. Однако достаточно, если один от имени их всех вступит с тобой в беседу. Поговори вот с этим.

Одиссей. Как же мне его называть и кем он был прежде?

Кирка. Какая разница? Если угодно, зови его Гриллом. Ну, а теперь я уйду, чтобы ты не подумал, будто в угоду мне он говорит против совести.

2. Грилл. Здравствуй, Одиссей!

Одиссей. Здравствуй и ты.

Грилл. О чем ты хочешь меня спросить?

Одиссей. Я знаю, что вы были людьми, и чувствую ко всем вам жалость, особенно, конечно, к грекам, оказавшимся в такой беде; поэтому я упросил Кирку освободить тех, кто этого пожелает, вернуть им прежний облик и отпустить со мной.

Грилл. Довольно, Одиссей, не говори больше ни слова. Мы все глубоко презираем тебя и отлично видим, что не по заслугам тебя считали мудрым и ты слыл человеком выдающегося ума, раз без должного размышления мог устрашиться перемены худшей жизни на лучшую. Как дети боятся лекарств врача и увиливают от уроков, хотя то и другое превращает их из больных и несмышленых в здоровых и разумных, так и ты сопротивляешься превращению, и теперь, видя Кирку, дрожишь и пугаешься, как бы она ненароком не сделала из тебя свинью или волка; вдобавок ты уговариваешь нас, хотя мы и пользуемся неисчислимыми благами, отказаться от них и одновременно от той, которая их дарует, и уплыть на твоем корабле, снова став самыми злосчастнейшими и жалкими животными — людьми.

Одиссей. Мне кажется, Грилл, что напиток Кирки отнял у тебя не только прежний облик, но и рассудок: голова твоя полна несуразных и диких мыслей. Но, быть может, сила привычки приколдовала тебя к этой жизни.

Грилл. Дело, владыка Кефалении, ни в том, ни в другом. Если ты действительно хочешь вести со мной беседу, а не браниться, я без труда сумею убедить тебя (ибо по опыту знаю и ту и другую жизнь), что мы с полным основанием предпочитаем свое новое состояние прежнему.

Одиссей. Что же, я охотно послушаю.

3. Грилл. А я столь же охотно изложу свои соображения. Начнем с душевных качеств, которыми вы, как я знаю, кичитесь, считая, что превосходите животных справедливостью, умом, отвагой и прочими доблестями. Ответь-ка мне, мудрейший из мужей, вот на какой вопрос. Я слышал, как ты однажды рассказывал

Кирке про землю киклопов, что она, не требуя труда пахаря и сеятеля, до того тучна и хороша, что сама собою родит все плоды. Так скажи, какой край заслуживает похвалы — эта страна или пестующая коз каменистая Итака, которая лишь скудным и жалким урожаем вознаграждает великие труды и старания пахаря? Не смущайся, если тебе придется отвечать вопреки своим чувствам к родине.

Одиссей. Говорить надо по совести. Я больше люблю мою родную Итаку и больше привязан к ней, но земля киклопов мне по сердцу и восхищает меня.

Грилл. Значит, дело обстоит, очевидно, так, как говорил мудрейший из людей, а именно: одно следует хвалить и славить, а другое предпочитать и любить. То же, я полагаю, ты скажешь и применительно к душе. Подобно почве, совершеннее та душа, которая без затраты труда родит благие качества, как сами собой вырастающие плоды.

Одиссей. И против этого я не возражаю.

Грилл. Значит, ты признаёшь, что душа животных более приспособлена и лучше создана для рождения благих качеств, ибо, как непаханая и незасеянная земля, она сама, без чьих бы то ни было побуждений и наставлений, порождает и взращивает их, в каждом случае — сообразно воле природы.

Одиссей. Какие же, Грилл, душевные блага присущи животным?

4. Грилл. Скажи лучше, какими они не обладают в большей мере, чем самые мудрые люди? Если угодно, рассмотрим сначала храбрость, которой ты похваляешься, и не краснеешь, когда тебя зовут «отважным» и «городов разрушителем», хотя ты, несчастнейший, коварством и хитростью обманываешь людей, привыкших благородно и честно сражаться, неискусных в кознях, простодушных, и называешь доблестными низкие поступки, которые не имеют с доблестью ничего общего. Но, как ты знаешь, борьбе животных друг с другом и с человеком чужды хитрости и коварные уловки — животные сражаются, полагаясь единственно на свое бесстрашие и силу. Не по велению закона, не в страхе перед наказанием за бегство с поля боя делают они это, но по своей природе они не могут мириться с поражением, держатся до последней крайности и добиваются победы. Даже когда телесная сила их сломлена, животные не сдаются и не теряют силу духа, но умирают, продолжая бороться. У многих смертельно раненных вместе с яростью в одну какую-нибудь часть тела приливает сила, обращается против врага, бушует и неистовствует, пока не угаснет, как пламя. Животные не знают ни просьб, ни призывов к пощаде, ни признания своего поражения. Никогда лев по недостатку мужества не становится рабом льва или конь рабом другого коня, а человек рабствует перед человеком, охотно принимая рабство, получившее свое наименование от робости. Взрослые животные, хитростью пойманные в сети,

отказываются от пищи и отвергают питье, предпочитая неволе смерть, а детенышей, еще податливых и незлобных, люди умышленно портят лаской и приманками, пока, из-за несвойственного их природе образа жизни и удовольствий, они в конце концов не становятся вялыми и не примиряются с так называемым приручением, обозначающим утрату врожденной смелости. Из сказанного явствует, что животным отвага соприродна. Людям же она несвойственна, и это, Одиссей, ты лучше уяснишь себе из следующих примеров. Среди животных сила между обеими полами распределена равномерно, и самка не уступает самцу в способности выполнять необходимые труды и защищать детенышей. Конечно, ты слышал о кромионской свинье, которая, хотя и была самкой, доставила много хлопот Тесею [2], и знаешь, что женщине-сфинксу с горы Фикион не помогла бы мудрость в загадывании загадок и придумывании хитрых вопросов, если бы она намного не превосходила кадмейцев силой и отвагой [3]. В тех же местах обитала, говорят, страшная тевмесская лисица [4], а поблизости змея, которая сражалась с Аполлоном за владение дельфийским оракулом [5]. Ваш царь взял от сикионца в награду за то, что разрешил ему не принимать участие в походе, кобылицу Эту [6] и поступил очень разумно, предпочтя трусливому мужу отличную боевую лошадь. Ты не раз мог наблюдать, что храбростью и силой пантеры и львицы нисколько не уступают самцам, а твоя супруга, пока ты воюешь, сидит дома у очага и беспомощнее ласточки обороняется от тех, кто угрожает ей и ее дому, хотя по крови она и лаконянка. Что же тогда говорить о жительницах Карии и Меонии?! [7] Из всего этого видно, что мужам отвага свойственна не от природы, ибо, в противном случае, она была бы присуща и женщинам. Вы, люди, проявляете храбрость лишь по требованию законов, против воли, нехотя, покорствуя обычаям, опасаясь упреков, чужих мнений и пересудов. Труды и опасности вы преодолеваете не из смелости, но потому, что другие вещи страшат вас еще сильней. Точно так же, как тот из твоих спутников, который первым схватил весло полегче не по равнодушию к гребле, но в страхе перед более тяжелым, человек, согласный терпеть побои, чтобы не получить рану, или противостоящий врагу, дабы избежать мучений и смерти, идет на это не из храбрости, а из трусости. А если так, то ваша отвага — не что иное, как умная трусость, а воля к сопротивлению — страх, приспособившийся спасаться от одного зла посредством другого. Если вы считаете себя смелее животных, зачем тогда ваши поэты называют отличившихся в битве воинов храбрыми, как волки, со львиной душою, отвагой подобными вепрю [8], но почему-то никто из них не говорит о льве с человеческим сердцем и не сравнивает храбрость вепря с храбростью человека? Я полагаю, что как быстроногих людей зовут, преувеличивая, «ветроногими», а красивых — «подобными богам», так и храбрых воинов сравнивают с теми, кто отважнее их. Причина всего этого в том, что смелость закаляется горячностью. Именно

такую безрассудную отвагу в ее чистом виде животные проявляют в схватках, у вас же она смешивается с рассудительностью, как вино с водой, так что отступает перед опасностью и часто упускает удобный случай, а некоторые люди считают даже, что горячность в битве только вредна и от нее следует отказаться, полагаясь лишь на трезвый рассудок. Это мнение, правда, справедливо, если дело идет о безопасности и сохранении жизни, но с точки зрения отваги и мести — постыдно. Разве не нелепо сетовать на природу за то, что она не снабдила ваше тело иглами, бивнями или острыми когтями, и в то же время лишать душу дарованного ей оружия или, во всяком случае, притуплять его?!

5. Одиссей. Ну и ну, Грилл, ты, видно, был хорошим софистом, если и теперь в образе свиньи столь мастерски отстаиваешь свою мысль. Однако почему ты не переходишь к рассуждению о целомудрии?

Грилл. Я думал, что ты будешь со мною спорить, а ты между тем торопишься послушать о целомудрии. Впрочем, ведь ты супруг самой воздержной из женщин и вдобавок считаешь себя образцом воздержности, так как презрел домогательства Кирки [9]. Однако, при всем этом, и тут ты нисколько не превосходишь животных: они тоже не желают соединяться с теми, кто выше их, но ограничиваются себе подобными. Вовсе не удивительно, если ты, словно козел Менд [10] в Египте, запертый, как рассказывают, с многими красавицами и не испытывающий охоты сочетаться с ними, но предпочитающий для этого коз, чувствуешь склонность к привычным любовным связям и, будучи человеком, не желаешь делить ложе с богиней. А воздержность Пенелопы обкаркают с презрением и смехом сотни ворон, из которых каждая, если умирает ее ворон, вдовствует не малое время, а в течение целых девяти человеческих поколений. Так что твоя прекрасная Пенелопа в девять раз уступает целомудрием любой вороне.

6. Но поскольку ты заметил, что я софист, я буду соблюдать известный порядок в изложении и определю самое понятие воздержности, а затем рассмотрю различные страсти по родам. Итак, целомудрие — это ограничение и обуздание страстей: оно подавляет случайные и ненужные и устанавливает пределы необходимых. Вожделения, как ты можешь видеть, весьма различны: желание есть и пить, например, естественно и необходимо, а без любовной страсти, которая тоже заложена природой, можно, однако, обойтись, поэтому она называется естественной, но не необходимой. Есть также страсти, не принадлежащие ни к естественным, ни к необходимым; они приходят извне, порожденные праздными (вследствие неведения истинного блага) мыслями, но вторгаются такой толпой, что почти вытесняют естественные желания, как это бывает в государстве, если пришлый сброд чужеземцев берет верх над природными гражданами. Животные, чьи

души полностью недоступны и чужды привносимым извне страстям, ибо они далеки от праздномыслия, как от моря, уступают людям в утонченности, но воздержность и обуздание немногих естественных страстей, которые им присущи, свойственны им в высшей мере. Меня самого, например, некогда не менее, чем тебя теперь, привлекало золото и казалось ни с чем не сравнимым благом, манили серебро и слоновая кость, а тот, кто владел ими в изобилии, представлялся избранным богами счастливцем, будь он фригийцем или жителем Карии, будь он даже презреннее Долона и злосчастнее Приама. Поэтому, постоянно скованный своими страстями, я не испытывал ни удовольствия, ни радости от многих других хороших вещей, которых у меня было немало, и сетовал на свою жизнь, словно был обездолен и лишен величайших на свете благ. Я вспоминаю, как однажды, увидев тебя на Крите в торжественном и праздничном одеянии, был ослеплен не твоею мудростью и отвагой, а восторженно любовался тонкой тканью хитона и красивыми складками пурпурной хламиды; безделица, золотая пряжка, тоже притягивала мои глаза искусной работой, так что я, очарованный, как женщина, шел за тобой по пятам. Но теперь я свободен от всех этих предрассудков, с презрением, как по камням, ступаю по золоту и серебру и, клянусь Зевсом, когда сыт, для меня не слаще валяться на всяких покрывалах и коврах, чем в глубокой и мягкой грязи. Подобные привнесенные извне вожделения чужды нам; нашей жизнью обычно управляют необходимые страсти и наслаждения, а тем, которые не столь необходимы, но естественны, мы предаемся умеренно и должным образом. (7.) В первую очередь рассмотрим их. Пристрастие к благовонным запахам, возбуждающим обоняние, помимо известной пользы, важно для распознавания вкуса пищи. Правда, язык, как известно, тоже способен определять остроту, сладость и кислоту, когда в смешанном виде различные соки вступают с ним в соприкосновение, но обоняние, еще до вкушения этих соков, определяет особенности каждого блюда безошибочнее слуг, которые приставлены первыми отведывать царскую еду; обоняние разрешает есть надлежащее, вредное отвергает, не допуская, чтобы чувству вкуса был нанесен ущерб и урон; оно предупреждает о непригодности пищи и судит о ней прежде, чем она успеет повредить. Обоняние не приносит нам забот и не принуждает с помощью хитрого искусства, называемого изготовлением благовоний, соединять и смешивать фимиам, корицу, нард, душистые листья и арабский тростник и за большие деньги покупать бесполезные, под стать женщинам, утехи. И все же страсть к такого рода вещам заразила не только женщин, но и большинство мужчин, так что они не желают приближаться к своим женам, если те не пахнут благовониями и душистыми притираниями. Напротив того, свойственным ей от природы духом чистой росы, луговых цветов и травы свинья привлекает борова, коза — козла, самки других животных — своих самцов; самка вступает в брак

при взаимном влечении, без ломаний, не пытаясь прикрыть свое желание обманом и притворным отказом; самцы же в охоте не покупают свои права за плату, труды или услуги, но, когда придет пора, без хитростей и денег наслаждаются любовью, которая весной, как побеги у растений, рождает у животных охоту и сразу же тушит: самка после оплодотворения не подпускает к себе самца, а тот не делает попыток к соединению. Вот как мало значит у нас наслаждение, ибо всем управляет природа. Поэтому до сих пор животные остались чужды однополой любви самцов к самцам и самок к самкам, в то время как у вас подобные примеры нередки среди самых замечательных людей, не говоря уже о безвестных. Так, например, Агамемнон обошел всю Беотию, охотясь за бежавшим от него Аргинном, и свалил эту задержку на море и ветры [11], а затем, вспомнив о благоразумии, благоразумно искупался в Копаидском озере, чтобы потушить любовь и избавиться от страсти. Так же точно Геракл искал своего юного друга и потому был оставлен спутниками и не мог принять участие в походе [12]. В храме Аполлона Птойского [13] кто-то из вас потихоньку нацарапал «Ахилл красавец», хотя к этому времени у Ахилла был уже сын. Насколько мне известно, эта надпись существует и сейчас. Петуха, который за неимением курицы топчет другого петуха, сжигают живьем, так как это, по словам какого-то прорицателя или толкователя знамений, предвещает ужасную беду. Таким образом, сами люди признают, что животные более целомудренны и им несвойственно ради своих наслаждений попирать естество. А у вас, даже в союзе с законом, природа не в состоянии положить предела похоти: подхваченная страстями, точно потоком, похоть эта несет с собою отталкивающие отступления от естества, пренебрежение им и надругательство. Ведь мужчины стремятся к соединению с козами, свиньями и кобылицами, а женщины сходят с ума по животным мужского пола. От подобных связей у вас рождаются минотавры, эгипаны, и, я полагаю, сфинксы и кентавры. Иногда собаки и птицы, понуждаемые голодом, едят человеческое мясо; но ни одно животное не делало попыток сожительствовать с человеком. Люди же, наоборот, насилуют животных и используют для своих любовных и разных других наслаждений. (8.) Столь развращенные и неумеренные в желаниях упомянутого рода, люди и в отношении необходимых страстей оказываются много ниже животных. Необходимыми страстями называется стремление к еде и питью; они приносят нам и удовольствие и пользу. Вы же и здесь, гоняясь за наслаждениями, а не ища соответствующей вам по природе пищи, часто страдаете тяжелыми недугами, которые все проистекают из одного источника — переполнения желудка, и коим сопутствуют мучительные, с трудом изгоняемые ветры. Начать с того, что всякий род животных питается одной свойственной ему пищей — одни травой, другие кореньями или плодами, плотоядные же не прикасаются ни к чему, кроме мяса, и не отнимают корма

у слабейших: лев разрешает щипать траву оленю, а волк овце, как это заложено в них природой. Только человек, единственное всеядное существо, стремясь к наслаждению, из-за своего чревоугодия хочет все попробовать и от всего вкусить, словно еще не знает, что ему надлежит и полезно есть. Главным образом он употребляет в пищу мясо, но не по необходимости или недостатку другой еды, ибо круглый год собирает, получает и пожинает такой обильный урожай различных растений и семян, что может не горевать. Нет, из стремления роскошествовать и из пресыщения необходимым он ищет необыкновенных блюд, осквернённых убийством, проявляя бо́льшую кровожадность, чем дикие звери. Ведь кровь и мясо — пища гиен, волков и змей, человеку же она служит только приправой. Вдобавок, в отличие от животных, которые, нуждаясь в корме, охотятся только на определенные, притом немногие, виды существ, оставляя другие в покое, он употребляет в пищу мясо всех без разбора. Короче, любую птицу, любую рыбу, любое обитающее на земле животное можно встретить на ваших, как вы их зовете, приятных и гостеприимных трапезах. (9.) Добро бы так. Но всем этим вы пользуетесь только как приправой, чтобы подсластить свою обычную еду... * Что касается рассудка животных, то он не признает ненужных и бесполезных искусств, зато сродные и присущие ему искусства, которые ни от кого не перенимаются, которым нельзя обучиться за плату, которым чуждо старательное и кропотливое прилаживание и приклеивание одного умозрительного положения к другому, он порождает сам. Я слышал, что каждый египтянин — врач; однако любое животное не только способно само себя вылечить, но умеет найти пропитание, использовать свою силу, охотиться, оберегаться от опасности и даже склонно к музыке в меру, данную ему природой. В самом деле, от кого мы научились, когда заболеем, заходить в реку, потому что там есть раки? Кто наставил черепах, пожравши змею, искать душицу? Откуда критские козы знают, что если в теле застрянут стрелы, надо поесть дикого бадьяна, после чего наконечники стрел выходят сами собой? Если ты скажешь, — и это будет правильно, — что наставницей во всех этих случаях является природа, то признаешь, что свойственный животным разум исходит от высшего и мудрейшего начала. Если же вы, люди, думаете, что тут не годятся слова «сознание» и «рассудок», ищите более подходящие и почетные, поскольку поступки животных действительно изобличают более высокие и поразительные способности. Не в том дело, что их разум не может развиваться и двигаться вперед; он просто крепнет сам по себе, не нуждаясь ни в чьей помощи, и в этом отнюдь не его недостаток, напротив — как раз потому, что он начало природное и совершенное, он пренебрегает заимствованными, приобретенными в результате обучения знаниями. То, чему люди ради своих забав и

* Текст в оригинале испорчен.

причуд стараются обучить животных, хотя эта наука чужда их природе, они с легкостью усваивают. Не говоря уже о том, что щенки идут по следу, жеребята научаются ступать в известном ритме, вороны разговаривают, собаки скачут сквозь катящиеся обручи, в театрах показывают, как лошади и быки ложатся, танцуют, принимают необычайные для себя положения и, усвоив нелегкие даже для человека телодвижения, твердо запоминают их единственно в доказательство своей понятливости, ибо во всем этом для них нет никакого проку. Если тебе не верится, что мы, животные, можем обучиться искусствам, знай, что мы даже способны наставлять в этом других. Куропатки приучают детенышей во время преследования падать навзничь, прикрываясь зажатым в лапках комом земли, аисты на крышах — ты можешь это видеть — обучают птенцов летать, соловьи передают музыкальное искусство своим детям, а те из них, кого люди ловят еще птенцами и сами вскармливают, поют много хуже, так как до срока лишились учителя. С тех пор как я принял свой нынешний облик, я не перестаю дивиться словам софистов, убедивших меня считать все живые существа, кроме человека, лишенными разума и рассудка.

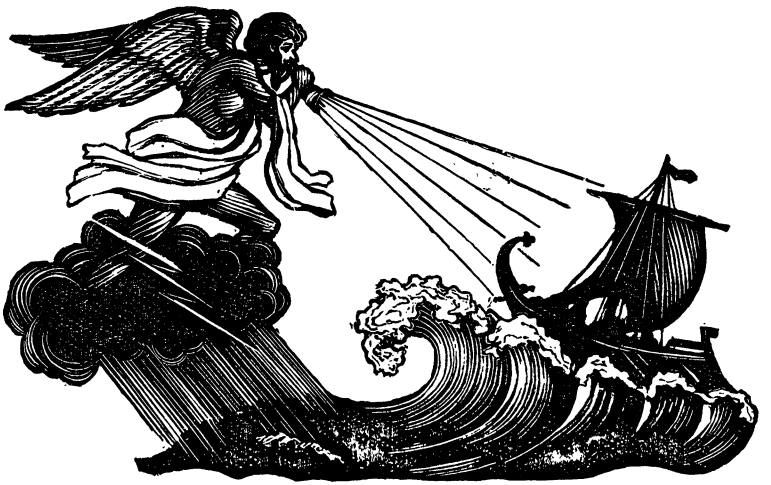
10. Одиссей. Значит, ты, Грилл, изменил свое мнение и теперь полагаешь, что овца и осел наделены рассудком?!

Грилл. Все убеждает меня, милейший Одиссей, в том, что животные не лишены разума и понятливости. Ведь как одно дерево не в большей и не в меньшей мере неодушевленно, чем другое, а все одинаково бесчувственны, ибо не имеют души, так же обстояло бы дело и в животном мире, где одно животное не должно было бы разумом и понятливостью уступать другому, если бы они не были в разной степени, одно больше, другое меньше, наделены рассудком. Прими во внимание, что глупость и тупоумие одних выясняются вследствие коварства и хитрости других; если сравнить лисицу, волка и пчелу с ослом и овцой, это будет равносильно сравнению тебя с Полифемом или твоего деда Автолика [14] с коринфянином Гомером. Я не думаю, правда, что разница в способности рассуждать, мыслить и запоминать у одного животного, сравнительно с другим, столь же велика, как у людей, сравнительно друг с другом.

Одиссей. Смотри, Грилл, не слишком ли смело приписывать разум тем, у кого отсутствует понятие о божестве.

Грилл. Значит, нельзя сказать, Одиссей, что ты, столь мудрый и рассудительный муж — потомок Сизифа? [15]

«ПИСЬМА ХИОНА ИЗ ГЕРАКЛЕИ»



ПИСЬМО 1

Хион шлет привет Матриду.

Я уже третий день находился близ Византия, когда Лисид передал мне письмо, в котором ты рассказываешь, как сокрушаешься ты сам и все наши домочадцы. Человек иного, чем я, склада упомянул бы, вероятно, обо всем, что может послужить тебе утешением, перечислил бы все выгоды и надежды, какие я возлагаю на это путешествие, и привел бы твой дух в противоположное скорби спокойное состояние. Я же полагаю, что к этому вы придете сами; пусть доблесть, которую я чаю обрести, будет вознаграждена тем, что я сделал своих родителей подлинно счастливыми и они не просто черпали усладу в заботах обо мне или наслаждались безмятежным счастьем. Лучше покажите мне, как участнику состязания, большую награду, чтобы я, стремясь к ней, стал сильным борцом. Так именно настрой свой дух, отец, и утешай мать, раз уж суждено ей нуждаться в утешении, а тебе его доставлять.

ПИСЬМО 2

Ему же.

Фрасон отправляется по торговым делам в Понт. Он честнее, чем можно предположить по его образу жизни. Живя здесь, в Византии, я чувствую к нему благодарность: когда я пожелал осмотреть достопримечательности, он не только стал моим проводником, но и позаботился обо всем, чтобы наше путешествие не оказалось обременительным или похожим на погоню за зверем, но было приятным; он раздобыл для этого повозки и прочее снаряжение. Теперь, когда он плывет в наши края, я счел нужным дать ему с собой это письмо, чтобы и он встретил у вас хороший прием. Осматривать он, вероятно, ничего не захочет, так как участвовал в свое время в понтийском походе, а у себя в доме ты, конечно, примешь его с обычным своим гостеприимством.

Я собираюсь в путь, но ветер мне пока не благоприятствует.

ПИСЬМО 3

Ему же.

Я испытываю теперь огромную благодарность к ветрам, задержавшим меня и не позволившим покинуть Византий, хотя прежде и досадовал на это промедление. Причиной достойной и более длительной задержки оказался Ксенофонт [1], ученик Сократа. Этот Ксенофонт — один из эллинов, участвовавших в походе против Артаксеркса, соратник Кира. Вначале он находился при ком-то из стратегов и делал только то, что полагалось простому воину, хотя и был у Кира в чести. Когда Кир погиб в первой же битве, а эллинские стратеги были вероломно обезглавлены, Ксенофонта за храбрость и мудрость избрали стратегом, веря, что он скорее всех добьется для эллинов спасения. И Ксенофонт не обманул этих надежд, он провел небольшое войско по охваченной войной земле и сохранил его в целости, всякий день разбивая свой лагерь вблизи царских войск. История эта сама по себе достойна удивления, но гораздо более удивительно и величественно то, что мне теперь довелось увидеть своими глазами. Эллины были измучены длительным и тяжелым походом, за который не получили иной награды, кроме собственного спасения; когда византийцы из страха оказали им гостеприимство, они задумали захватить Византий; жителей внезапно охватило смятение. После того как пришельцы вооружились и трубач подал знак к бою, я тоже взял щит и копье и поднялся на городскую стену; там я нашел часть эфебов уже в боевом строю. Защищать стены было совершенно бесполезно, так как враги успели овладеть городом, но мы предпочли сражаться, пользуясь преимуществами своего положения, нежели медленно погибать. В разгаре сражения поднялась тревога среди эллинов, и тут мы увидели, как длинноволосый человек, очень красивый и сдержанный, прошел по их рядам, успо-

каивая каждого. Это был Ксенофонт. Когда некоторые несогласные с Ксенофонтом воины потребовали, чтобы он подчинился большинству и избавил их от тяжелых и бедственных скитаний, он сказал: — Отступите и посоветуйтесь; не нужно опасаться, что ваша задача превратится в неисполнимую, пока вы будете размышлять. — Эллины не решились ослушаться его, и Ксенофонт произнес удивительную речь, которая вполне разъяснила войску его цель; мне не удалось ее хорошенько расслышать. Но вот я увидел, что люди, только что намеревавшиеся силой взять город, мирно, подобно любому византийцу, отправились на рынок закупать продовольствие, утратив весь беззаконный и хищнический воинственный пыл. Это было доказательством силы духа Ксенофонта, его разума и красноречия. Облагодетельствованный этим мужем наравне с византийцами (ведь и я из-за своей задержки попал бы в плен к эллинам), я не мог допустить, чтобы он прошел мимо меня, но сам ему представился. Он же вспомнил о твоей дружбе с Сократом и предложил мне заниматься философией; при этом он говорил обо всем, клянусь Зевсом, не как воитель, а как человеколюбец. Теперь он идет со своим войском во Фракию. Царь Фракии, Севт, ведет войну с кем-то из своих соседей; он предложил эллинам принять в ней участие и посулил большое жалованье. Они согласились, не желая расходиться по домам с пустыми руками и стремясь, пока войско не распущено, получить какое-нибудь вознаграждение за свои труды.

Знай, что я теперь с несравненно большей охотой собираюсь в Афины, чтобы заниматься философией; вспомни, что ты постоянно склонял меня к этим занятиям и рассказывал удивительные вещи о людях, которые хоть сколько-нибудь были к ним привержены; отчасти ты меня убедил, хотя я, с другой стороны, и продолжал испытывать большой страх. Мне казалось, что философия действительно делает людей, которые с ней соприкасаются, во всех отношениях лучше (я понимал, что человек не может почерпнуть мудрости или справедливости из иного источника, кроме философии), но ослабляет деятельные силы души и склоняет к тишине и созерцанию. Ведь именно бездеятельность и уединение создавали, ты говорил мне, удивительную славу философам. Меня пугало, что если даже благодаря философии я и стану во всех иных отношениях совершеннее, то отважнее не стану и не смогу в случае нужды быть ни воином, ни государственным деятелем, но пренебрегу всем этим, зачарованный философией, словно волшебной песней, заставляющей забыть дела славы. Мне ведь не было известно, что люди, занимающиеся философией, выше других и в доблести; узнал я это от Ксенофонта, и не тогда, когда он со мной об этом беседовал, а когда я сам увидал его таким, каков он есть. Совершенно разделяя взгляды Сократа, он умеет спасать рати и города, и философия не сделала его непригодным ни к одному делу, нужному ему самому или его друзьям.

Созерцательная жизнь, может быть, больше, чем счастливая, развивает способность к действию; ибо храбрее воителя тот, кто умеет подчинять себе корыстолюбие, вожделение и другие страсти, которым подвластны и победители в сражениях. Вот и я, занимаясь философией, надеюсь сделаться совершеннее во всем и стать не менее доблестным, но лишь менее дерзостным. Но достаточно об этом, отец, больше чем достаточно — знай, что я готов в путь; ветры сейчас благоприятствуют моему плаванию.

ПИСЬМО 4

Ему же.

Отец, я встретил людей Сима, по торговым делам направляющихся в ваши края, и решил поэтому рассказать тебе обо всем, что со мной случилось в Перинте. Созвездие Козлят скрывается теперь уже с вечера [2], и я посоветовал своим спутникам не спешить с отплытием, тем более что мы могли задержаться еще немного в Византии; они, однако, не послушались и осмеяли мое предчувствие, говоря, что я заразился от астролога Архедама страстью к астрологии. Я до поры до времени настаивал на своем, а затем, побежденный, уступил, отчасти потому, что и сам не был уверен в том, что я прав, отчасти из-за попутного ветра, который сулил благополучное плавание и позволял не верить моим предсказаниям. В начале пути, пока мы не достигли Селимбрии, я терпел непрерывные насмешки и искренне хотел, чтобы они были суждены мне до самого конца плавания, но когда мы удалились от Селимбрии на тридцать стадиев, нас настигла страшная буря. Мы долгое время нигде не могли причалить и были в очень бедственном положении; лишь завидев Перинт, мы устремились к нему изо всех сил, поскольку все мы были хорошими гребцами; однако паруса не могли противостоять такому ветру. С величайшими мучениями — я не стану тебе рассказывать все подробности — мы в полночь пристали к берегу и уснули. Однако здесь нас ожидала буря ничуть не легче морской. На перинтян в это время пошли войной фракийцы [3], о чем мы, хотя и пробыли целых двенадцать дней в Византии, ничего не знали; нападение варваров оказалось для нас, как всегда бывает, полной неожиданностью. Проснувшись, мы, как задумали, отправились осматривать город — я, Гераклид и благородный Агафон; из слуг нас сопровождали Бэтил, Подарк и смельчак Филон. Мы были безоружны. Каждый из слуг имел при себе короткий меч, а Филон сверх того еще копье. Отойдя немного от гавани, мы увидели неподалеку от города чей-то лагерь и, что было еще опаснее, трех всадников совсем рядом с собой. Филон, чтобы легче было бежать, отдал мне копье и кинулся к кораблю, а я, не надеясь оказаться быстрее коня, прикрыл руку плащом и, держа копье наготове, остался на месте. Так же поступили и слуги, а Гераклид и Агафон набрали камней и спрятались за нашими

спинами. Фракийцы на скаку, не подъезжая к нам вплотную, метнули каждый по три копья; все они упали неподалеку от нас, и всадники, считая свое дело сделанным, повернули коней и поскакали к лагерю. Собрав их копья, мы вернулись на корабль, и, отвязав причалы, вышли в море. Теперь мы на Хиосе, и погода благоприятствует нам, вопреки всему продолжающим свой путь. Непременно скажи Архедаму, что ранний заход созвездия Козлят предвещает не только бури на море, но и гораздо более тяжелые беды на суше. Мои приключения дают тебе возможность пошутить с ним.

ПИСЬМО 5

Ему же.

Я прибыл в Афины и веду беседы с Платоном, учеником Сократа. Это муж во всех отношениях мудрый, и философию он для своих учеников не делает чуждой жизни, но равно пригодной и в практической деятельности и в созерцательном уединении. Ты писал мне о своем уважении к нему и о том, что твоя близость с Сократом будет мне на пользу. Знай же, что он уделяет внимание всем, даже тем, кто хоть один день общался с Сократом, и ни к кому не чувствует такого расположения, как к человеку, который способен наслаждаться его беседой. Поэтому я приложил все усилия, чтобы любовь Платона ко мне не уменьшалась, но стараюсь быть в числе тех, от которых, по его словам, он получает благодеяния и кому, если может, сам оказывает их. Ведь Платон утверждает, что делать других людей хорошими — не меньшее счастье, чем быть хорошим самому. Он охотно приносит пользу людям, способным ее ценить, и считает, что сам получает не меньше пользы от тех, кто может ее принести.

ПИСЬМО 6

Ему же.

Федим привез мне горшок вяленой рыбы, пять амфор меда, двадцать кувшинов миртового вина и сверх того три таланта серебра. Я ценю его верность и узнаю в этом твою, отец, заботу. Мне хочется, чтобы при случае ты прислал первинок с моей родины; я смог бы порадовать ими всех своих друзей, а также завлечь в ловушку не принимающего никаких даров Платона. А к деньгам у меня нет никакого тяготения, в особенности здесь, в Афинах, пока я наслаждаюсь беседами с Платоном; пожалуй, не стоило плыть в Элладу с целью стать менее корыстолюбивым, если корыстолюбие будет приплывать ко мне из Понта. Ты доставишь мне больше радости, если пришлешь напоминание о родине, а не о богатстве.

ПИСЬМО 7

Ему же.

Архепол, по его словам, родом с Лемноса; человек он ничтожный и ничем не примечательный, всегда в разладе со всеми, а в особенности с самим собой. Вдобавок к этому он несдержан и говорит все, что ни придет ему на ум; а на уме у него одни только глупости. У себя на Лемносе, став сперва казначеем, а затем занимая другие подобные должности, он поступал, как мне известно, неблаговидно; потом ему вздумалось выразить свое презрение к философии, он отправился в Афины и тут непримиримо враждовал с Платоном. Меня он много злословил и считал человеком никчемным, поскольку мы беседовали о доблести, а не о выгоде. Теперь он утверждает, что отправляется в Понт и станет купцом; неглупо: это единственное занятие, какое ему подходит. Однако его непостоянство и ветер в голове не допускают и мысли о том, что он знает, каков он и к чему пригоден — ведь он всегда стремится к вещам призрачным. Забыв свои наветы на меня, он пришел и попросил написать о нем тебе. Я же, хотя и считаю его недостойным, не захотел поступить с ним, как поступили некогда с Беллерофонтом, и дал ему другое письмо, в котором, правда, тоже не написал никакой лжи, а это посылаю тебе с Лисидом, который отплывает первым. Надеюсь, что ты примешь этого Архепола со всей возможной любезностью, а под конец скажешь ему: «Вот как Хион воздает тем, кто его злословит: одно из поучений, которые ты осмеивал, и состоит в том, что не след отвергать дурного человека настолько, чтобы самому сделаться дурным». Так и выйдет, если я отомщу ему благодеянием. Я уверен, что его и это не убедит, так как он непроходимо глуп, но ты ради меня прими его любезно. Тебе я написал о нем все свободно и откровенно, никому другому на свете я его никак не очернил, но считаю справедливым сказать тебе все, что я думаю, совершенно ясно и не скрываясь за вежливыми словами.

ПИСЬМО 8

Ему же.

Человек, который передал тебе это письмо, лемносец Архепол, направляющийся в Понт по торговым делам, просил, чтобы я рекомендовал его тебе, и я с радостью согласился. Он мне, собственно, не друг, но я считаю для себя полезным сделаться другом тому, с кем не был дружен прежде. Ты мне в этом поможешь, приняв его с надлежащим гостеприимством. Я думаю, что он порядочный купец, ибо, прежде чем заняться торговлей, он долгое время занимался философией.

ПИСЬМО 9

Хион шлет привет Биону.

Никогда я не ждал с твоей стороны такого пренебрежения, не допускал даже подобной мысли и удивляюсь стечению обстоятельств, по вине которых до меня не доходит ни одно твое письмо, между тем как от остальных друзей я постоянно получаю вести. В том, что прошло, я сам найду тебе оправдание, а впредь, если окажутся виновными те, кто не передает писем, постарайся уберечься от этого — пиши часто: тогда ты найдешь и таких людей, которые будут твои послания доставлять. Если же ты сам не пишешь — тем более берегись; в таком случае уберечься и вовсе легко, ведь в нашей дружбе было нечто такое, что может победить и бóльшие трудности. Разве ты забыл Герея, Каллихора и всех, кого объединял Каллисфен и с кем мы жили в самом тесном духовном общении; или ты сам не забыл их, но думаешь, что я, отведав плодов философии, утратил память обо всем этом? Не подобает тебе ни самому пренебрегать дружбой, ни обо мне думать столь дурно; помня друзей, следует им, помнящим тебя, часто писать.

ПИСЬМО 10

Хион шлет привет Матриду.

У Платона четыре племянницы. Старшую из них он отдал в жены Спевсиппу со скромным приданым в тридцать мин, которые прислал ему Дионисий [4]. Я обрадовался подходящему случаю и добавил к приданому талант. Платон долгое время отказывался, но справедливыми и истинными речами мне удалось его уговорить. Я убеждал его так: — Я даю тебе деньги не для того, чтобы росли твои богатства, но во имя дружбы, а такие дары не следует отвергать, ибо они почетны, тогда как все прочие унижают человека. Ты оказываешь честь дружбе, а вовсе не богатству. Остальных племянниц ты выдал замуж за достойных людей, и все они богаты, между тем как Спевсипп — самый достойный из всех — бедствует. — Я счел нужным рассказать тебе, отец, об этом выгодном приобретении, лучше которого, не знаю, выпадет ли на мою долю когда-нибудь в жизни.

ПИСЬМО 11

Ему же.

Через Бианора я получил письмо, в котором ты уговариваешь меня вернуться, ибо считаешь, что пять лет — срок достаточный для любого путешествия, а моему житью на чужбине уже пошел шестой год. Ты сам знаешь, как я жажду вновь увидеть тебя и мою родину, но получается так, что именно эта жажда заставляет

меня дольше оставаться в Афинах: я хочу вернуться человеком, способным принести пользу тем, кого люблю, а силы для этого может мне дать только философия. Пятилетний срок, отец, кажется мне, недостаточен не только для того, кто предался науке, но даже и для тех, кто занимается торговлей. Ведь купцы отправляются в чужие края за самым нехитрым товаром, а мы за доблестью, приобретаемой не иначе как с помощью природных склонностей, прилежания и времени. Первого и второго я не совсем лишен, но времени мне не хватает. По прошествии еще одного пятилетия я, с божия соизволения, вернусь. Тебе же надлежит не огорчаться моей задержкой, памятуя соображения, с которыми ты отправлял меня, а именно — что совершенными людей делает не просто поездка за наукой, а длительные занятия ею.

ПИСЬМО 12

Ему же.

Прежде я писал тебе, что собираюсь возвратиться на родину, когда исполнится десять лет моего отсутствия; теперь же, узнав о том, что власть захватил тиран [5], я не могу оставаться в стороне от бедствий моих сограждан и, как только начнется весна, с соизволения божия, пущусь в путь (сейчас, среди зимы, это невозможно): было бы бессмысленно уподобиться тем, кто в случае волнений покидает отчизну и бежит куда попало, вместо того чтобы быть дома именно тогда, когда нужны люди, способные принести пользу. Если даже нельзя быть полезным, добровольно разделяя общую беду, человек, мне кажется, в этом случае наиболее соответствует требованиям добродетели, хотя, может быть, радости это и не доставляет. Я пишу тебе так смело потому, что письмо это доставит тебе Лисид.

ПИСЬМО 13

Ему же.

Клеарх, как ты мне писал, действительно не столько страшился Силена, захватившего у него крепость, сколько меня, занимающегося философией. Во всяком случае, как мне известно, он еще не посылал людей против Силена, тогда как ко мне уже явился фракиец Котий (как я позднее узнал, его телохранитель) и напал на меня. Это случилось вскоре после того, как я написал тебе о своей болезни. Так вот, я уже достаточно оправился и в шестом часу [6] прогуливался в одиночестве по Одеону [7], занятый своими размышлениями; тут он внезапно на меня набросился. Я сейчас же понял в чем дело: видя, что он с недобрым умыслом взялся за нож, я напугал его громким криком, подбежал и схватил за руку, уже занесенную для удара. Затем я сам вывернул ему руку, вышиб у него нож и, когда Котий упал, ранил его в ногу, правда, легко. После того как Котий шатаясь поднялся, я связал ему за спиной руки и отвел к стратегам. Он понес долж-

ное наказание, я же нисколько не утратил мужества для предстоящего плавания и, как только прекратятся ветры, двинусь в путь. Стыдно мне жить в свободном государстве, когда родина моя томится под игом тирании. Намерения мои неколебимы: я сохраню достоинство и в жизни и в смерти. А чтобы мне можно было принять участие в государственных делах, убеди Клеарха, что я, предавшись всецело философии, стремлюсь только к покою и душа моя совершенно чужда политике. Внушай это ему не только сам, но и через Нимфида, который мне друг, а Клеарху даже сродни. Таким образом, он будет далек от всякого подозрения. Я пишу тебе так откровенно потому, что передаю письма с верными людьми, а Клеарх (как хорошо ты сделал, что сообщил мне об этом!) нисколько не интересуется нашей перепиской.

ПИСЬМО 14

Ему же.

Рискованным способом, но зато быстро достигнув Византия, я решил задержаться здесь сколько мне покажется нужным, а домой послать раба Кробила с тем, чтобы мое возвращение могло послужить родине на пользу. Клеарх не в силах причинить мне вред, и раз уж об этом зашла речь, я хочу объяснить тебе все, что я по этому поводу думаю. Мне кажется, что нынешнее бедствие чревато для родины величайшими опасностями, ибо ей, лишенной лучших своих людей и отданной во власть самых нечестивых, предстоит пережить убийства и изгнания, а впоследствии и еще одно немалое бедствие: захват власти Клеархом породит в одних жажду тирании, а в других — привычку к рабству, и в будущем может наступить постоянное единовластие. Ведь незначительные обстоятельства кладут начало продолжительным, можно даже сказать неизбывным, несчастьям и обессиливают государство так же, как недуги — человеческое тело. Подобно тому, как болезни в начале своем легче отстают от людей, а укоренившись, становятся трудно исцелимыми и в конце концов совсем безнадежными, так и недуги государства: пока память о свободе сильна и имеет власть над обращенными в рабство, может произойти решительный переворот по воле стремящегося к нему народа. А если зло уже укоренилось и среди людей нет даже разговоров о том, как от него избавиться, и говорят лишь о том, как легче с ним свыкнуться, вот тогда государство окончательно гибнет. Сейчас, когда над отечеством нависли такие бедствия, такая угроза, я, если вдуматься в мое положение, нахожусь в полной безопасности. Рабством я называю то, что вместе с телом овладевает также и душой; то же, что не затрагивает душу, а овладевает только телом, как бы тяжело оно ни было, не кажется мне рабством. А доказательство этому таково: если что-либо в рабстве действительно является бедствием, оно должно охватить и

душу, ибо иначе оно бы и не называлось бедствием. Страх перед предстоящими страданиями и печаль по поводу испытанных ужасны для человека несвободного. Но что же — если человек не боится предстоящего бедствия и не скорбит об уже случившемся, разве он раб? Как же он может быть рабом, если не обладает пороками рабства? Знай, отец, что под влиянием философии я стал таков, что Клеарх, даже если он заключит меня в темницу и причинит мне любое зло, никоим образом не сделает меня рабом; никогда он не подчинит себе мою душу, а она-то и является вместилищем рабского или свободного начала, поскольку тело всегда более податливо, даже если оно и не подчинено никакому владыке. Если же Клеарх меня казнит, он подарит мне совершенную свободу. Ибо если даже тело, будучи вместилищем души, не может приучить ее к тому рабству, в котором находится оно само, то неужели ты думаешь, что душа, отделившись от тела, не сохранит своей свободы? Не только я, что бы мне ни пришлось перенести, останусь свободным, но и Клеарх, какое бы зло мне ни причинил, станет рабом, ибо он будет действовать под влиянием страха, а свобода души со страхом не совместима. Как ты сам видишь, я подвергаюсь меньшей опасности, терпя зло, чем Клеарх, причиняя его; мне незачем заботиться о себе, так как тревожиться о себе свойственно лишь человеку не вполне свободному. Однако бедствия родины не позволяют мне довольствоваться собственной свободой, но вынуждают действовать достойно гражданина и подвергаться опасности, причем опасность состоит не в том, что можно пострадать самому, а в риске не принести пользы страдающему отечеству. Поэтому мне надлежит, хотя я и не боюсь смерти, остерегаться ее, чтобы не погибнуть прежде, чем я смогу погибнуть за родину. Веди же себя с тираном, как я тебе прежде писал, — убеждай его, что я любитель покоя, и напиши мне, если в Гераклее случатся какие-нибудь новые события, о которых мне следовало бы узнать, ибо ради свободы моей родины мне следует частично отказаться от собственной свободы и предаться размышлениям и раздумьям о ваших делах.

ПИСЬМО 15

Ему же.

Для того чтобы убедить тирана в справедливости твоих слов обо мне (что я вместе со всеми радуюсь за свое отечество), я и сам напишу ему, по твоему совету, уводя его, насколько возможно, далеко от истины. Поступи я иначе, я обманул бы надежды, возлагаемые на меня моими согражданами и друзьями, никак этого не заслуживающими. То обстоятельство, что тиран суров и жесток, я считаю для государства более выгодным, чем если бы он заискивал перед народом и создавал видимость умеренности. Причина та, что жестокие тираны быстро погибают, и, даже если

их не удается свергнуть, ненависть к тирании остается в народе и совершенно отвергает самую мысль о единовластии. Вследствие этого все делаются в дальнейшем более осторожными и предусмотрительно стараются сохранять демократию. Когда же поработитель заискивает перед порабощенными, то даже в случае его скорой гибели, хотя он и оставляет после себя множество тяжелых последствий тирании, люди, которые жаждали каких-нибудь выгод или поддались на хитрые уловки политиков, бывают слепы к общественным бедствиям, жалеют погибшего как человека умеренного образа действий и защищают тиранию, словно она не является непоправимым злом; они не понимают, что даже если бы тиран был человеком в высокой степени умеренным, его следовало предать смерти уже за одно то, что он может быть и жестоким. Клеарх же, будучи жестоким, конечно, вызовет к себе ненависть и не даст возможности никому другому упрочить тиранию; если же он будет прикидываться умеренным, то и сам насладится этой славой и будущим претендентам облегчит доступ к акрополю. Однако все это и для тебя, конечно, вполне очевидно. Что же касается способа писания и передачи писем, я рад, что ты счел их надежными; результат также подтверждает, что все это я придумал правильно. Я послал тебе и копию своего письма к Клеарху — оно достаточно похоже на дифирамб, чтобы он мог презирать меня как совершенного пустозвона.

ПИСЬМО 16

Хион — Клеарху.

Пока я, занимаясь философией, находился в Афинах, некоторые из наших общих друзей и мой отец написали мне, что я у тебя на подозрении, и советовали выяснить причину — правильный и полезный для меня самого совет. Я хорошо это понимал, но не знал, как именно я оклеветан, а это затрудняло для меня оправдание. Ведь меня не было на родине, когда ты пришел к власти; отсутствуя, я, разумеется, не мог этому противодействовать, тем более что ни речи мои, ни поступки никак не касались того, что происходило у нас в Гераклее. Какое же противодействие мог из-за моря оказать твоему единовластию человек, который отправился в путь всего с несколькими слугами, я даже понять не могу; мне затруднительно оправдываться именно потому, что я не вижу, в чем меня можно обвинить. С другой стороны, оправдаться мне легко, ибо я и не помышлял ни о чем таком, в чем ты меня, вероятно, подозреваешь; я заверяю тебя, что душа моя совершенно недоступна для подобных замыслов. Не говоря уже о моей полной преданности занятиям философией, достаточным доказательством того, что я не настроен к тебе враждебно, служит и другое: ты не причинил мне никакой несправедливости. Ведь даже люди, совершенно чуждые философии, если они не вовсе лишены здравого смысла, не враждуют ради

удовольствия и не предаются ненависти словно какой-нибудь детской забаве. Ничуть не бывало! даже они отлично понимают, что на свете нет ничего ужаснее вражды. Лишь тогда, когда что-нибудь совершенно непоправимое отвращает друг от друга их души, люди вступают во вражду, да и то поневоле. У нас с тобой не было до сих пор не только значительного, но даже и малого повода для взаимной вражды! Ведь ты чувствуешь ко мне вражду только из-за подозрений, а в моей душе нет и их. Скажи, с какой стати я мог бы вдруг восстать против тебя, да к тому же еще не видев отечества под твоей властью? Клянусь Зевсом, разве я обладаю многочисленными триерами и всадниками, так что ты вправе подозревать меня если не в других каких проступках, то хотя бы в том, что мне по силам быть твоим врагом? Ведь я уехал в сопровождении двух своих друзей — Гераклида и Агафона и восьми рабов, из которых я двух отослал обратно. Не знаю, как тебя убедили, что этих сил достанет, чтобы идти против тебя. Ты совсем не принимаешь во внимание, что я, сознавая справедливость тяготеющих на мне подозрений, по собственной воле не отдался бы в руки подозревающего. Неужели же я такой страстный любитель распрей, чтобы не сохранить любви даже к самому себе и добровольно отдаться в руки того, кто по справедливости меня покарает? Это — достаточное и более чем достаточное оправдание для всякого, даже для того, кто не изощрен в философии. Я же, отнюдь не лишенный склонности к ее благам, как только мог содействовал развитию своих природных способностей и, достигнув юношеского возраста, не домогался ни должностей, ни почестей, но возлюбил удел наблюдателя природы вещей. Эта любовь привела меня в Афины и сделала другом Платона; я и до сих пор ею не насытился. По натуре я расположен к покою и уже в самой ранней молодости презирал все, что облечено властью в суетной жизни; попав в Афины, я не наслаждался охотой, не вступил во флот афинян, чтобы вместе с ними плыть в Геллеспонт и сражаться с лакедемонянами; я не учился и тому, как стать врагом тиранов и царей; я общался там с мужем, превыше всего ставившим покой, и постигал мысли, близкие божеству. Первый завет этого мужа мне состоял в том, чтобы я стремился к покою, который есть свет философской мысли; политика же и всякая практическая деятельность, словно мрак, скрывают этот свет и не дают ищущим его увидеть. Поскольку я и от природы не был лишен способностей к философии, и меня нелегко было от нее отвратить, я узрел божество, управляющее всем, постиг строение вселенной, познал начала природы, научился почитанию справедливости и всему прочему, чему учит философия. И я скажу, что на свете нет ничего более ценного, чем познание и даже чем искание истины. В самом деле, разве не самое прекрасное для человека, существа смертной природы, сопричастного волею судьбы и природе божественной, посвятить свой досуг только божественной своей сущности и стараться при-

близить ее к соприродному ей началу; соприродное же божественному я называю божественным. Это я почитал и старался постичь, а о государстве (прости, что я говорю без всякого стеснения) не считал нужным даже вспоминать; однако я научился и многим другим вещам, которыми теперь и воспользуюсь в отношениях своих с тобой: того, кто не совершил несправедливости — почитать, а совершившему — стараться воздавать благодеянием, а если уж это невозможно — то не гневаться, считать друга самым дорогим человеком, не заводить никаких врагов, а тех, которых имеешь, превращать в друзей, и никакую беду не полагать столь значительной, чтобы она могла смутить душу, и, отвратив ее от обычных занятий, направить на другие дела. Неужели же ты меня, знающего все это, подозреваешь в злых умыслах? Не может этого быть! Да будет суждено тебе предаваться бранным и государственным делам, а мне — пусть достанется такая малая частица твоей власти, какая нужна безмятежному человеку, чтобы жить в покое. Я хочу убедить тебя в том, что если бы ты разрешил мне общаться с друзьями, я бы и их сделал чуждыми политики, как ты того желаешь, ибо я изложил бы им все те похвалы покою, которые постоянно воздаю ему сам; ведь я оказался бы поистине неблагодарным, если бы судил иначе. Подумай сам: если бы я замышлял, как ты подозреваешь, мятеж, мне предстала бы кроткая Богиня Покоя и сказала: «Ты неблагодарный и ничтожный человек, Хион, ты забыл не только прекрасное учение, но и самого себя! Наслаждаясь мною, ты упражнялся в справедливости, приобрел благомыслие, познал божество, вновь осознал свою близость к нему, презрел низменные, но дивные для других вещи, такие, как честолюбие, богатство и прочие им подобные. Теперь, когда тебе надлежит воздать мне благодарность и, подчиняясь лучшему закону и обладая возвышенным духом, пребывать со мной, ты покидаешь меня, даже не вспомнив о том, что философия научила тебя, помимо всего остального, умению правильно искать то, чего ты дотоле не знал. Да и как ты станешь искать и находить это, лишившись меня?» Если бы она так сказала, что бы я по справедливости мог ей ответить? Мне было бы нечего сказать. Знай, Клеарх, что именно это я говорю самому себе (ведь всякий говорит себе в точности то, что он думает) и никогда от этого не отступлюсь, так что у тебя нет оснований меня опасаться; мой покой не имеет ничего общего с твоими делами.

ПИСЬМО 17

Хион шлет привет Платону.

За два дня до Дионисий я послал к тебе самых верных моих людей, Пилада и Филокала. Во время Дионисий я собираюсь напасть на тирана: полагаю, я уже достаточно долго держал себя

так, чтобы быть вне подозрений. В этот день у нас устраивают шествие в честь Диониса, и поэтому число телохранителей, кажется, будет меньше обычного; но если это и не так и придется идти на страшный риск, меня это не устрашит, и я не посрамлю ни себя самого, ни твоего учения. Соратники мои стойки и сильны не столько числом, сколько верностью. Я знаю, что погибну, и хочу только одного — погибнуть после того, как убью тирана. Я уйду из жизни с хвалебным и победным гимном, если покину живых, свергнув тиранию. И внутренности жертвенных животных, и полет птиц, и все прорицания предрекают мне гибель по свершении этого. Мне и самому было видение более ясное, чем бывает во сне: женщина высокого роста и божественной красоты убрала меня масличными ветвями и лентами, а немного спустя показала мне красивую могилу и сказала: — Раз ты устал, Хион, спустись в эту могилу и отдохни. — После этого видения я твердо надеюсь, что умру достойной смертью. Я уверен, что предчувствия, зарождающиеся в душе, нас не обманывают — ведь и ты говорил об этом. Если же они истинны, я считаю, что в этом случае я буду более счастлив, чем если бы мне после убийства тирана дано было дожить до старости; ибо лучше, совершив столь великое дело, сразу уйти от людей, нежели вместе с ними наслаждаться жизнью еще некоторое время: то, что я свершу, будет казаться гораздо значительнее того, что я претерплю, и те, кого я облагодетельствую, будут больше чтить меня, если за их свободу я заплачу своей жизнью. Тем, кто получает благодеяние, оно кажется более значительным, если сам благодетель им не пользуется. Как видишь, я мужественно ожидаю предсказанной мне смерти. Привет тебе, Платон, будь счастлив до глубокой старости. Думается мне, что я беседую с тобой в последний раз.

ХАРИТОН

ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ ХЕРЕЯ И КАЛЛИРОИ

II, 1—6

[Встреча Каллирои и Дионисия]

1. Наказав эконому Фоке относиться внимательно к Каллирое, Леона тою же ночью выехал в Милет, спеша к хозяину с радостной вестью о покупке новой невольницы и не сомневаясь, что он несет Дионисию великое утешение в его скорби. Дионисия застал он еще в постели. Хотя отечество и тосковало по нем, Дионисий, томимый горем, почти никуда не выходил из дому, все время оставаясь в спальне, будто все еще была с ним его жена. Завидев Леону, Дионисий сказал ему: — Эту ночь я в первый раз после смерти несчастной спал хорошо. С полной ясностью видел я во

сне покойную, только еще более красивой и стройной, чем прежде, и вела она себя со мной совсем так, как наяву. Снилось мне, будто это первый день нашей свадьбы и будто я провожаю ее как свою невесту к себе домой из моих приморских земель, а ты будто бы мне поешь гименей. — Дионисий еще не кончил, как Леона громко воскликнул: — И во сне счастлив ты, владыка, и наяву! Сейчас ты услышишь то самое, что тебе приснилось. — И Леона приступил к своему рассказу: — Из страха перед телонами бросивший якорь за пределами города, недалеко от твоего именья, подошел ко мне недавно один купец с предложением купить замечательной красоты женщину. Условившись с ним, я уехал в деревню, где дело мы с ним и закончили: я отдал ему талант. Законное же подписание купчей должно будет состояться здесь, в городе.

Дионисию было приятно слушать о красоте женщины — он действительно был женолюбив, — но неприятно — об ее рабстве: ему, важному человеку, занимавшему и по сану и по своему воспитанию первое место в Ионии, ложе служанки претило. — Леона, — сказал он, — красивый человек не может не быть свободным по происхождению. Разве не слышал ты от поэтов, что красавцы — дети богов, тем более все они дети свободных. Приглянулась она тебе в твоем уединении по сравнению с деревенскими женщинами. Но уж раз ты ее купил, ступай на площадь: [1] знаток законов Адраст составит купчую.

Рад был Леона, что ему не верят: тем сильнее должна была поразить хозяина неожиданность. Но обошел Леона весь город, все столы менял, все милетские гавани, а найти Ферона не мог он нигде. Он расспрашивал и купцов и перевозчиков: Ферона никто не знал. В полном недоумении Леона нанял гребную лодку и проехал в ней до мыса, а оттуда к именью. Но не мог же найти он того, кто из Милета уже уплыл! Медленно возвращался он к своему хозяину. Обратив внимание на грустное выражение его лица, Дионисий спросил, какая случилась с ним неприятность, и Леона ответил: — Загубил я твой талант, владыка! — Случившееся, — заметил Дионисий, — заставит тебя действовать вперед осмотрительнее. Но все-таки, что же произошло? Или новая невольница убежала? — Убежал ее продавец, а не она, — ответил Леона. — Ну, это был, значит, хищник, продавший тебе краденую рабыню и потому-то и сбывший ее втихомолку. Откуда происходит, говорил он тебе, эта женщина? — Она из Италии, сибаритянка, из ревности проданная своей госпожой. — Поищи, не проживают ли здесь какие-нибудь сибаритяне, а женщину пока оставь в деревне у нас.

Печальный вернулся назад Леона, жалея о несостоявшейся сделке, и решил выжидать удобного случая, когда можно будет уговорить хозяина выехать в именье. Одна оставалась у Леоны надежда: наружность женщины.

2. В комнату к Каллирое вошли деревенские женщины и тотчас же принялись за нею ухаживать, как за своей хозяйкой.

А Плангона, жена эконома, смышленое существо, сказала ей: — Все-то тоскуешь ты, доченька, о своих. А ты и чужих здесь считай своими. Дионисий, хозяин наш, человек хороший и добрый. Счастливо привел тебя бог в честный дом: житься здесь будет тебе, как в родном краю. Смой с себя тину-то после долгого морского пути: служанки у тебя есть.

С трудом, насильно отвела она Каллирою в баню, где ее натерли маслом и старательно вымыли. И если, пока она стояла одетой, женщины дивились ее божественному лицу, то еще в большее пришли они изумление, когда Каллироя разделась и они увидели всю ее такой же божественной, как и ее лицо. Словно каким-то сиянием заблистало ее белое тело, а кожа на нем была так нежна, что к ней страшно было притронуться: казалось, прикосновение пальца может ее поранить. Кругом тихо перешептывались: — Красавицей, и красавицей знаменитой, была наша госпожа, но этой годилась бы она в служанки.

Огорчали эти похвалы Каллирою, так как неложно пророчествовали ей о том, что ожидало ее впереди. Когда ее вымыли и начали ей завязывать волосы, то принесли ей чистые платья, но она стала говорить, что такие платья невольнице не подходят: — Дайте мне рабский хитон, — сказала она, — ведь и вы важнее меня [2]. — Одела она на себя, что первым попалось ей под руку, но и эта одежда пришлась ей к лицу, и, осиянная ее красотой, одежда выглядела богатой.

Женщины сели завтракать, после же завтрака Плангона сказала Каллирое: — Обратись к Афродите и помолись за себя: богиня прославлена тут, и не только здешние жители, но и горожане приходят сюда приносить ей жертвы. Особенно внемлет она Дионисию, потому что никогда не пройдет он мимо нее, не помолившись ей.

Тут начались рассказы о явлениях богини, а одна из крестьянок сказала Каллирое: — Когда взглянешь ты на Афродиту, тебе покажется, что ты смотришь на свое собственное изображение. — При этих словах у Каллирои навернулись слезы, и она подумала про себя: «Что за несчастье! И здесь опять Афродита, та богиня, которая стала причиной всех моих бедствий! Но я пойду к ней: хочется мне за многое упрекнуть ее».

Храм богини стоял на большой дороге, недалеко от виллы. Преклонившись перед Афродитой, припала Каллироя к ее стопам и сказала: — Ты первая указала мне на Херея [3], но, сочетав меня с ним прекрасными узами, ты их не сберегла. А между тем мы тебя украшали. Но уж раз такова была твоя воля, то об одной молю тебя милости: после Херея не влюбляй в меня никого другого. — Афродита эту ее просьбу отвергла: ведь она мать Эрота, и ведь новый она затевала для Каллирои брак, хотя и этот брак сберечь она также не собиралась. А к Каллирое, после того как она избавилась от разбойников и плаванья по морю, начала возвращаться та красота, которая была ей присуща, так что дивились крестьяне, видя, как с каждым днем Каллироя все хорошела.

3. Дождавшись подходящего случая, Леона такие повел с Дионисием речи: — Давно уже не бывал ты, владыка, в твоем приморском именье, а между тем тамошние дела настоятельно требуют твоего присутствия: и стада и насаждения обозреть тебе необходимо, заставляет тебя торопиться с твоим приездом туда также и сбор плодов. Воспользуйся и роскошью помещений, которые мы построили там по твоему приказу. Да и горе свое ты будешь сносить там легче, отвлекаемый от него и утехами и делами по управлению именьем. Если же ты пожелаешь поощрить кого-нибудь из пастухов или овцеводов, то подаришь ему новоприобретенную тобою невольницу.

Дионисий дал Леоне согласие и назначил отъезд на определенный день. А как только отдано было им это распоряжение, так сейчас же принялись кучера снаряжать колесницы, а конюхи лошадей, суда же готовить — матросы. Друзья и множество вольноотпущенников получили приглашение участвовать в путешествии: склонность к великолепию была в характере Дионисия. Когда все было приготовлено, Дионисий отдал приказ везти морем багаж и большую часть народа, колесницам же велел следовать за собой, после того как раньше выедет он сам вперед: пышный поезд, говорил он, не приличествует человеку в горе. На заре, пока народ не успел заметить его, он сел на лошадь. Его сопровождало четверо лиц, и Леона был в их числе.

Дионисий выехал в деревню, а Каллироя, увидев в ту ночь во сне Афродиту, пожелала вновь поклониться ей. Стоя перед ее статуей, она ей молилась, когда Дионисий, соскочив с коня, вошел первым в храм. Заслышав шаги, Каллироя на них обернулась, и, увидев ее, Дионисий воскликнул: — Милостива будь, Афродита, и да послужит твое явление мне во благо! — Он уже собирался стать перед ней на колени, но Леона его от этого удержал, говоря: — Это же новая невольница, владыка! Успокойся! А ты, женщина, подойди к своему хозяину. — При слове «хозяин» Каллироя опустила глаза, и потоком полились у нее слезы: тяжело было ей отвыкать от былой свободы. Но Дионисий ударил Леону, сказав ему: — Нечестивец! С богами разговариваешь ты точно с людьми! Это ее-то ты называешь невольницей? Вполне естественно, не нашел ты и ее продавца. Да неужели же ты и того не слышал, чему нас учит Гомер? Ведь

> Боги нередко, облекшися в образ людей чужестранных,
> Входят в земные жилища, чтоб видеть своими очами,
> Кто из людей беззаконствует, кто наблюдает их правду[4].

— Перестань, — обратилась к Дионисию Каллироя, — надо мной смеяться, называя богиней ту, что не обладает и людским счастьем. — Божественным показался Дионисию и голос ее, когда она говорила: он напоминал музыку и походил на звучание кифары. В смущении не решившись дольше с ней разговаривать, Дионисий удалился к себе в виллу, уже пылая огнем любви.

Вскоре же прибыл из города и багаж, и о случившемся быстро пробежала молва. Все спешили взглянуть на женщину, делая вид, будто они зашли в храм, чтобы поклониться там Афродите. Каллирою смущала эта толпа народа, и она не знала, что делать: кругом нее все было чуждо ей. Не видела она и знакомой своей Плангоны, которая занята была встречей хозяина. Время подвигалось вперед, а на виллу никто не являлся, так как все, словно зачарованные, оставались в храме. Догадался, впрочем, о том, что произошло, Леона, который, отправившись в храм, Каллирою оттуда и вывел. И вот тут можно было убедиться, что царицами на свет рождаются, подобно царицам пчелиных ульев. Ибо непроизвольно двинулись вслед за ней решительно все присутствовавшие, как за своей, будто избранной ими за ее красоту, владычицей.

4. Каллироя вернулась в свою, ставшую ей привычной, комнату.

Дионисий был ранен, но человек воспитанный и решительно притязавший на доблесть, он пытался скрыть свою рану. Боясь уронить себя в глазах прислуги, а в глазах друзей оказаться смешным, он боролся с собой в течение всего вечера, думая, что никто этого не замечает, но выдавал себя тем сильнее своей молчаливостью. — Пусть это отнесут чужеземке, — посылал он ей порции со стола, — говори только не «от хозяина», а «от Дионисия». — Пир затянул он до позднего часа: он знал, что ему не заснуть и бодрствовать желал в обществе друзей. Гостей отпустил он лишь с приближением глубокой ночи. Но на долю ему не выпало сна. Мысленно находился он в храме Афродиты, и припоминались ему все подробности: и лицо ее, и ее волосы, и то, как обернулась она, как на него взглянула, и голос ее, и осанка, и ее слова. Жгли его и слезы ее.

Тут можно было увидеть борьбу рассудка со страстью. Благородный человек, заливаемый страстью, пытался он ей противиться, и, выплывая на мгновение из ее пучины, он так говорил самому себе: — Дионисий! Не стыдно тебе, пользующемуся доброй славой самого честного человека во всей Ионии, тебе, к которому относятся с уважением и сатрапы, и цари, и города, отдаваться мальчишеским переживаниям? Только раз увидев ее, ты в нее влюбился! И влюбился во время своего траура, еще не очистив себя перед духами бедной покойницы! Для того ли ты приехал в деревню, чтобы праздновать в трауре свою свадьбу? Свадьбу с рабыней, быть может принадлежащей даже другому? Ведь нет у тебя на нее и купчей. — Но спорил с этими здравыми рассуждениями Эрот, благоразумие Дионисия принимавший в личное себе оскорбление и потому с удвоенной силой раздувавший пожар в душе, мудрствовавшей во время любовной страсти. Наконец, будучи дольше не в состоянии выносить этот спор с самим собой в одиночестве, Дионисий послал за Леоной. Тот понял причину, но прикинулся непонимающим. Будто бы встревоженный, он спросил: — Ты не спишь, владыка? Уж не охватила ли тебя опять

тоска по умершей? — Да, — ответил ему Дионисий, — охватила меня тоска, только не по умершей. Я знаю твое доброе ко мне расположение и твою мне преданность, и нет у меня никаких от тебя тайн. Ты погиб, Леона! Ты виновник моих несчастий. Ты внес в мой дом, или, правильнее, в душу мою, огонь. Смущает меня и та неизвестность, какая эту женщину окружает: сказку рассказываешь ты мне о летучем купце, о котором не знаешь ты даже, ни откуда приехал он, ни куда отбыл. И кто же, будучи собственником такой красы, стал бы за один талант втихомолку ее продавать, ее, чья цена равняется царскому состоянию? Это обманул тебя какой-нибудь бог. Припомни же хорошенько, как было дело: кого ты видел? С кем говорил? Скажи откровенно мне: судна ты не видал? — Не видал, владыка, но я о нем слышал. —То-то и оно! Это вышла из моря нимфа или одна из нереид. Бывают веления рока, подчиняющие себе и богов и заставляющие их общаться с людьми: поэты и художники нам об этом рассказывают.

Дионисию было приятно убеждать Леону, превознося эту женщину как такую, которая слишком была высока для связи со смертным. Но Леона, желавший угодить своему хозяину, сказал: — Не будем доискиваться, владыка, кто она такая, а если хочешь, я лучше к тебе ее приведу: не огорчай себя мыслью о неудаче, располагая властью в любви. — Этого я никогда не сделаю, не узнав сперва, кто она и откуда, — сказал Дионисий. — Завтра же с утра давай выведаем от нее всю правду. Но чтобы не навлечь на себя нам невольного подозрения, я приглашу ее не сюда, а туда, где увидел я ее в первый раз: пусть мой с ней разговор произойдет перед статуей Афродиты.

5. Так они и порешили, и на следующий же день Дионисий, в сопровождении своих друзей, отпущенников и самых верных из своих рабов, дабы иметь также и свидетелей, пришел в храм. Внимание обратил он и на свою одежду, слегка приукрасив себя, как человек, отправляющийся на свиданье с возлюбленной. Впрочем, был он и от природы красив, высокого роста и выделялся своей величественностью. А Леона пришел к Каллирое, прихватив с собой и Плангону и знакомых Каллирое служанок. — Дионисий — сказал он ей, — человек в высшей степени честный и правомерный. Сейчас он находится в храме, и ты должна ему, женщина, сказать о себе правду, кто ты такая. Ни в какой справедливой помощи не будет тебе от него отказа. Только говори с ним искренне и ничего от него не утаивай: это всего скорее расположит его к тебе. — Нехотя, но все же пошла Каллироя, ободряемая тем, что происходить разговор у них будет в храме. Когда же пришла она, то привела всех еще в больший восторг, чем в первый раз. Не раскрывая рта, в изумлении стоял перед ней Дионисий. Наконец с трудом, после продолжительного молчания, он проговорил: — Все, касающееся меня, тебе ясно, женщина: я — Дионисий, главный человек в Милете, а пожалуй, и во всей Ионии, благочестие и отзывчивость которого широко всем известны.

Справедливо, чтобы и ты сказала нам о себе истину. Продавшие тебя утверждали, что ты сибаритянка и что они купили тебя там у твоей хозяйки, сбывшей тебя им из ревности. — Каллироя зарделась и, опустив глаза, тихо проговорила: — Продана я сейчас впервые, Сибариса же я не видела. — Говорил я тебе, — сказал Дионисий, покосившись в сторону Леоны, — что она не рабыня! Предсказываю, что и происхождения она благородного. Скажи, женщина, все, и прежде всего, как тебя зовут. — Каллироя, — сказала она в ответ. — Дионисию понравилось и ее имя. Об остальном хранила Каллироя молчание. Но так как Дионисий продолжал неотступно ее расспрашивать, она сказала: — Владыка! Прошу тебя разрешить мне умолчать о моей судьбе. То, что было со мной сперва, было сном, было сказкой. А сейчас я то, чем я стала теперь: чужеземка рабыня. — Так говоря, старалась скрыть она свои слезы, но они текли у нее по щекам. Кончилось тем, что расплакались и Дионисий и все окружавшие, а могло бы даже показаться иному, что опечалилась и сама статуя Афродиты. Движимый любопытством, Дионисий становился все более настойчивым. — Умоляю тебя, — обратился он к Каллирое, — оказать мне первую милость: поведай мне о самой себе, Каллироя. Не чужому рассказывать будешь ты, ибо в наших характерах есть у нас с тобой нечто родственное. Не страшись ничего, даже если тобой совершено нечто тяжкое. — На последние слова Каллироя обиделась. — Не оскорбляй меня, — сказала она, — ничего дурного я за собой не знаю. Но так как былая высота моего положения не соответствует теперешней моей судьбе, то я боюсь показаться обманщицей, рассказывая о себе вещи, которые со стороны тех, кто не знает их, вызовут недоверие, потому что прошлое не свидетельствует о настоящем. — Образ мыслей женщины привел Дионисия в восхищение. — Можешь ничего не рассказывать, — обратился он к ней, — я и так все уже понял. А впрочем, все-таки говори, хотя сказать о себе не сможешь ты ничего такого, что по своему величию равнялось бы тому, что мы перед собой сейчас видим. Любая блестящая повесть о тебе окажется ниже тебя самой.

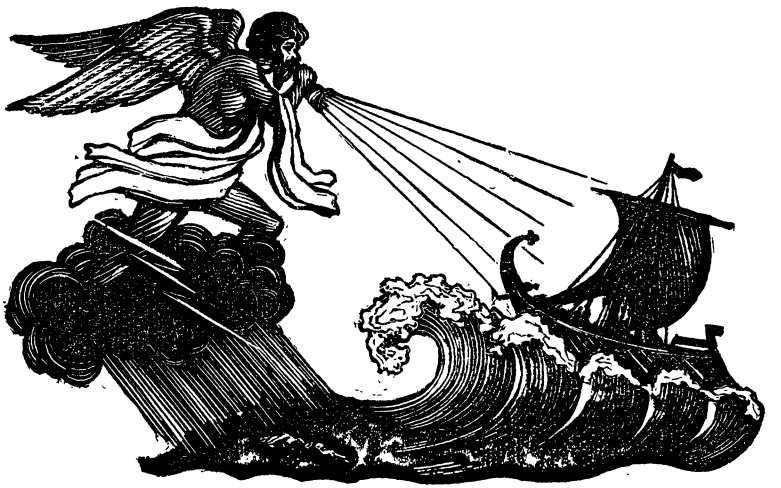
С трудом начала она наконец о себе рассказ: — Я дочь Гермократа, сиракузского стратега. Потерявшую сознание после внезапно случившегося со мной несчастия, меня богато мои родители похоронили. Мою могилу вскрыли грабители. В ней они и нашли меня, уже после того как ко мне вернулось дыхание, привезли сюда, и здесь Ферон потихоньку продал меня вот ему, Леоне. — Обо всем сообщив, умолчала Каллироя только о Херее. — Но, — так продолжала она, — умоляю тебя, Дионисий! Ты ведь эллин, ты — гражданин человеколюбивого города, и ты образован: не уподобляйся разбойникам и не лишай меня моего отечества и моих родных. Что тебе, при твоем богатстве, еще одна лишняя невольница? Но ты не потеряешь и выплаченной за меня цены, если вернешь меня моему отцу: Гермократ умеет отвечать благодарностью.

Мы любуемся Алкиноем[5], и нравится он нам именно тем, что он доставил просителя на его родину. Являюсь и я твоей просительницей. Спаси пленную сироту. Если же свободы своей не смогу сохранить я в жизни, то избираю я тогда для себя свободную смерть.

Слушая это, Дионисий рыдал, будто бы над Каллироей, в действительности же над самим собой. Ибо он понимал, что надежда на удовлетворение его страсти от него ускользает. — Ободрись, Каллироя, — сказал он, — не падай духом! Ты получишь то, о чем просишь: в свидетельницы я призываю эту вот Афродиту.

6. Возвращалась Каллироя к себе в уверенности, что против ее воли с ней ничего не сделают, а Дионисий вернулся домой печальным. Вызвав Леону, он, оставшись с ним с глазу на глаз, сказал ему: — Эрот ненавидит меня, и я во всем несчастен. Жену свою я схоронил, а новая невольница бежит от меня, а я-то считал ее подарком мне Афродиты. Я создавал себе в мечтах жизнь блаженнее, чем жизнь Менелая, мужа знаменитой лакедемонянки, потому что я не допускаю, чтобы так красива была даже и Елена. И сколько убедительности в ее речах! Да, отжита для меня жизнь! В тот самый день, как Каллироя удалится отсюда, и я удалюсь из жизни. — Нет, не связывай себя заклятием! — закричал Леона на эти слова Дионисия. — Ты же ведь ее хозяин, ты же имеешь над нею власть, и она, хочет или не хочет, а выполнит твое решение. Уплатив талант, я же ее купил! — Купил! Свободную ты, трижды несчастный, купил? А разве не слышал, что имя Гермократа, стратега всей Сицилии, торжественно чеканится на монетах этого острова, имя Гермократа, которого уважает и любит персидский царь, посылающий ему ежегодно дары за то, что в морском сражении он разбил врагов Персии, афинян? Мне стать тираном свободной девушки? Мне, Дионисию, чья прославлена строгая нравственность, мне оскорбить насилием ту, которую оскорбить не решился и Ферон-разбойник? — Так объявил он Леоне и, однако же, продолжал надеяться, что сумеет склонить Каллирою: благие надежды свойственны природе Эрота. Дионисий верил, что заботами о Каллирое он цели своих желаний добьется. Он вызвал к себе Плангону и сказал ей: — Усердие свое доказала ты мне уже достаточно. Поэтому я вручаю тебе самое важное и самое для меня дорогое из всего, что мне принадлежит, — нашу гостью. Хочу, чтобы она не терпела ни в чем недостатка, вплоть даже до роскоши. Считай ее своей госпожой, ухаживай за ней, служи ей и старайся ее к нам привязать. Почаще хвали меня ей, описывая меня ей таким, каким ты меня знаешь. Владыкой, смотри, ей меня не называй! — Плангона поняла поручение. Она была расторопна, и делом этим она поспешила заняться, скрытно связав с ним и свой собственный замысел. Придя к Каллирое, она о полученном ею приказе за ней ухаживать не сообщила ей, а принялась выказывать ей расположение, стремясь войти в доверие к ней и сделаться ее советницей.

АНТОНИЙ ДИОГЕН



НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПО ТУ СТОРОНУ ФУЛЫ

1. Прочтены двадцать четыре книги Антония Диогена о невероятных приключениях по ту сторону Фулы. Книги полны действия, слог их так ясен и столь чист, что почти не нуждается в истолковании, только отступления от основного повествования недостаточно ясны. Способ изложения у автора чрезвычайно приятен, он умеет так расположить свой материал и придать ему такую форму, что сказочные и невероятные события кажутся правдоподобными.

2. Итак, он повествует о Динии, который покинул родину вместе со своим сыном Демохаром и, пройдя через Понт, дошел от Каспийского и Гирканского морей до гор, называемых Рипейскими, и до устья реки Танаис. Затем, из-за сильных холодов, повернули они к Скифскому океану и, наконец, направились на восток и пришли к месту восхода солнца. Потом, скитаясь в течение долгого времени и пережив множество разнообразных приключений, они прошли по берегу наружного моря, окружаю-

щего землю. Спутниками им в странствиях были Карман, Мениск и Асулид. Они прибыли на остров Фулу и там остановились на некоторое время.

3. На этом острове Диний, по закону Эрота, близко сходится с некоей Деркиллидой, тириянкой родом, самой знатной в своем городе. Находилась же она в обществе брата по имени Мантиний. От нее Диний узнает и о скитаниях брата и сестры, и о том, сколько зла причинил им Паапид, египетский жрец. После того как его родной город был разграблен, Паапид поселился в Тире, где родители Деркиллиды и Мантиния оказали ему гостеприимство. Сначала Паапид, казалось, относился дружески к своим благодетелям и всему дому. Но потом, сколько зла причинил он и дому, и детям, и их родителям! Затем Деркиллида рассказала, что, после того как в ее доме случилась беда, она вместе с братом была увезена на остров Родос, оттуда, скитаясь, попала на Крит, потом — к этрускам, далее — к так называемым киммерийцам, у которых будто бы видела жителей царства Аида и многое узнала. Наставницей была ей Мирто, ее собственная служанка, давно скончавшаяся и теперь, уже будучи мертвой, поучавшая свою госпожу.

4. Диний рассказывает все это некоему человеку по имени Кимб, аркадянину родом, которого аркадские граждане послали в Тир просить Диния вновь вернуться к ним, на свою родину. Однако, так как бремя старости воспрепятствовало Динию сделать это, он начинает повествовать о том, что либо сам видел во время странствия, либо слышал от других очевидцев, а также передает то, что он узнал из рассказов Деркиллиды на острове Фуле: а именно, о ее скитаниях, о которых уже было сказано, и о том, как она во время возвращения из царства Аида (уже разлучившись с братом) попала на могилу Сирены с Кериллом и Астреем. Сообщает Диний и о том, как много узнала Деркиллида от Астрея, рассказавшего ей о Пифагоре и Мнесархе, и о том, что сам Астрей слышал от Филотида; говорит он и о невероятных свойствах глаз Астрея.

Многое еще поведала Динию Деркиллида о своих скитаниях, например о том, что в Иберии она попала в город, где жили люди, которые ночью видели, днем же были слепы, и что Астрей, играя на флейте, причинил их врагам немалый вред; о том, как они, милостиво отпущенные оттуда, попали к кельтам, народу дикому и глупому, и бежали от них верхом на конях и что случилось с ними оттого, что кони в пути изменили свою масть.

Затем Деркиллида рассказала, как они добрались до Аквитании и какая честь была оказана ей, Кериллу и, особенно, Астрею за то, что он изменением величины своих глаз мог вызывать увеличение или уменьшение лунного диска и этим разрешил спор о власти двух местных царей, которые отныне царствовали попеременно, сменяя друг друга, в зависимости от размеров луны. Поэтому-то и был так рад народ Астрею и его спутникам.

5. Потом Диний рассказывает и об остальном, что видела и что претерпела Деркиллида, как была увезена в артабрам, где женщины воюют, мужчины же стерегут дом и исполняют женскую работу.

Далее повествует Диний о том, что случилось с ней, с Кериллом и, главное, с Астреем у астурийцев, и как, сверх всякого ожидания, они избежали многочисленных опасностей во время пребывания у этого народа. Однако Керилла и Деркиллиду не миновала кара, заслуженная Кериллом за совершенное некогда преступление: спасшись от прежних опасностей, он теперь был растерзан на куски. После этого рассказывает Диний, что́ видела Деркиллида, блуждая по Италии и Сицилии, и как она, схваченная в городе Эрик, находящемся в Сицилии, была увезена к Энесидему, который был тогда тираном в Леонтинах. У него Деркиллида опять попадает в руки к Паапиду, трижды злодею, пребывающему у тирана, и вдруг в своем бедственном положении неожиданно находит утешение, встретившись с своим братом Мантинием, который долго скитался по свету и мог теперь прекрасно истолковать ей многие невероятные явления как у людей, так и у других живых существ, а также рассказать ей многое касательно солнца, луны, растений и островов, предоставив ей тем самым богатый материал для чудесного повествования, которое впоследствии она могла сообщить Динию; а он потом выводится как действующее лицо, рассказывающее все это аркадянину Кимбу.

6. Потом Мантиний и Деркиллида, похитив в Леонтинах у Паапида сумку с книгами и ларец с травами, отправляются в Регий, а оттуда в Метапонт, где догнавший их Астрей объявляет, что Паапид гонится за ними по следам. Тогда вместе с Астреем, направляющимся к своему товарищу Замолксу, они бегут во Фракию и к массагетам.

Рассказывает Диний и о том, как много удалось им повидать во время этого путешествия, как Астрей встретился с Замолксом, которого уже тогда геты почитали за бога, и как Деркиллида и Мантиний пожелали, чтобы Астрей поговорил с ним и попросил для них предсказания; как оракул изрек, что им назначено судьбой прибыть на остров Фулу; и потом наконец они снова увидят родину, но прежде они должны претерпеть наказание за нечестие по отношению к родителям, — даже если согрешили против своей воли, — и понести возмездие: жизнь их отныне будет чередоваться со смертью, жить они будут ночью и превращаться в мертвецов с наступлением дня. Получив такое предсказание, Деркиллида и Мантиний уходят оттуда, оставив с Замолксом прославляемого гетами Астрея.

Далее Диний говорит о том, сколько разных чудес случилось им увидеть и услышать на севере.

7. Диний, узнав все это от Деркиллиды во время пребывания на острове Фуле, сообщает теперь об этом аркадянину Кимбу. Затем он рассказывает, как Паапид, преследуя по пятам Деркил-

лиду и ее спутников, напал на них на острове и с помощью магического искусства наслал беду на Деркиллиду и Мантиния: они должны были умирать днем и вновь возрождаться к жизни только с наступлением ночи. Он достиг этого, плюнув им в лицо.

Какой-то житель Фулы по имени Фрускан, страстно влюбленный в Деркиллиду, видя, что возлюбленная его сражена ужасным деянием Паапида, был так опечален, что, быстро собрав войско и став во главе его, неожиданно пронзает Паапида мечом и убивает его. Так был положен конец бесчисленным злодеяниям Паапида! Но так как Деркиллида лежала, подобная трупу, Фрускан закалывает себя.

Обо всем этом и многом другом, что он узнал от Деркиллиды на острове Фуле, Диний рассказывает теперь аркадянину Кимбу, искусно сплетая повествование в одно целое. Он говорит о похоронах Деркиллиды и Мантиния, об их тайном возвращении из могил, о любовных делах Мантиния и о том, что из-за них случилось.

На этом кончается двадцать третья книга Антония Диогена о невероятных приключениях по ту сторону Фулы, — однако среди всего, что в этих книгах написано, не найти даже кратких сведений об этом острове.

8. Двадцать четвертая книга вводит рассказ Асулида, а вместе с тем продолжается и повествование Диния, искусно соединяющего то, что он узнал от Асулида, с тем, что он прежде сообщил Кимбу. Асулид рассказывает, как он узнал способ колдовства, пользуясь которым Паапид заколдовал Деркиллиду и Мантиния, сделав так, чтобы ночью они жили, а днем превращались в мертвецов, и как Асулид избавил их от этого страдания, обнаружив в книгах из сумки Паапида, которую Мантиний и Деркиллида взяли с собой, описание такой кары, а также и избавления от нее. Но Асулид сделал не только это; он нашел также средство, с помощью которого Деркиллида и Мантиний могли бы спасти своих родителей, лежащих без движения, от великого бедствия, ибо Деркиллида и Мантиний, следуя наставлениям Паапида, заставили их долгое время лежать, подобно трупам, будто бы для их же пользы. Поэтому теперь они поспешили на родину, чтобы воскресить из мертвых и спасти своих родителей.

9. Диний же вместе с Карманом и Мениском, после того как Асулид покинул их, отправился путешествовать по ту сторону Фулы. И вот теперь он рассказывает Кимбу о необычайных вещах, которые наблюдал во время этого странствия. Он видел то, что доказывают и ученые, занимающиеся наблюдением над светилами. Например, что есть люди, которые могут жить в самых далеких арктических пределах, где ночь иногда продолжается целый месяц; бывает она и короче и длиннее месяца, и шесть месяцев, но не больше года. Не только ночь растягивается, но соразмерно и день согласуется с ночью. Многое подобное этому видел Диний.

Видел он и таких людей и такие чудеса, каких никто не

только не видел и не слышал, но даже и вообразить не мог. Самым невероятным было то, что, двинувшись к северу в сторону луны, видя в ней некую более чистую землю, они достигли ее, а достигши, узрели там такие чудеса, которые во многом превзошли все прежние фантастические истории.

Затем Диний рассказывает, как Сибилла дала дар пророчества Карману, и что после этого каждый помолился и каждому выпало то, что он просил, а сам Диний оказался спящим в храме Геракла в Тире, где его и нашли, и как, встав от сна, он встретил там счастливых Деркиллиду и Мантиния, а также их родителей, избавившихся от долгого сна, вернее — от смерти, и всех остальных, тоже благоденствующих.

10. Это все Диний изложил Кимбу и, принеся кипарисовые таблички, попросил ритора Эрасинида Афинского, спутника Кимба, — искусного в науках — записать на них его рассказ. Он показал им и Деркиллиду. Она тотчас принесла кипарисовые таблички и положила их рядом с Кимбом, чтобы он написал это чудесное повествование дважды: одни таблички должны были остаться у него, другие — у Деркиллиды, и когда она скончается, в положенный ей срок, их должны были оставить в ларце рядом с ее могилой.

11. Диоген, который также зовется и Антонием, выводя на сцену Диния, рассказывающего про все эти чудеса Кимбу, пишет еще и Фаустину о том, что он сочиняет книгу о невероятных приключениях по ту сторону Фулы и что сочинение это он посвящает любознательной сестре своей Исидоре.

Диоген называет себя сочинителем древних комедий, а также говорит, что если он и изображает невероятное или вымышленное, то располагает относительно очень многих рассказанных им чудес свидетельством древних писателей, у которых он собрал этот материал, по его словам, с большим трудом. В начале каждой своей книги он указывает имена тех людей, которые еще раньше описывали подобные чудеса, чтобы не показалось, будто его невероятные повествования не подкреплены чужими свидетельствами.

12. В начале своего повествования Диоген пишет письмо сестре своей Исидоре, где говорит, что посвятил его ей, а также выводит на сцену Балагра, пишущего своей жене, по имени Фила, дочери Антипатра. Сообщает же ей Балагр следующее. После того как Александр, царь Македонии, захватил Тир и бóльшая часть города была истреблена огнем, к Александру пришел какой-то воин, говоря, что может показать ему за пределами города зрелище необыкновенное и невероятное. Царь, взяв с собой Гефестиона и Пармениона, последовал за воином и увидел в земле каменные гробы. На одном из них было написано: «Лисилла жила тридцать пять лет». На другом: «Мнасон, сын Мантиния, из семидесяти одного года прожил шестьдесят шесть лет». Третья надпись гласила: «Аристион, дочь Филокла, прожила из пятидесяти двух лет сорок семь». На четвертом же гробу было написано так: «Мантиний, сын Мнасона, прожил сорок два года

и семьсот шестьдесят ночей». На пятом: «Деркиллида, дочь Мнасона, прожила тридцать девять лет и семьсот шестьдесят ночей». Надпись на шестом гробу была такова: «Диний, аркадянин, прожил сто двадцать пять лет».

В то самое время, когда царь и его спутники недоумевали, глядя на надписи (исключение составлял лишь первый гроб, надпись на котором была ясна), они заметили возле надгробной насыпи маленький ларец, сделанный из кипариса, на котором было написано: «О чужестранец, кто бы ты ни был, открой, чтобы узнать то, чему ты удивишься». И вот, открыв ящичек, приближенные Александра находят в нем кипарисовые таблички, те самые, по-видимому, которые положила туда Деркиллида по совету Диния.

Все это рассказывает Балагр в письме к своей жене, для которой он переписал эти таблички и отослал ей. С этого и начинается этот рассказ, написанный на кипарисовых табличках; его читают и переписывают; и вот появляется Диний, рассказывающий Кимбу то, о чем сообщалось ранее. Именно таким образом изображает Антоний Диоген, как создавалось его сочинение.

13. По-видимому, Антоний Диоген является более ранним по времени писателем, чем все те, которые занимались сочинением подобных вещей, как, например: Лукиан, Ямвлих, Ахилл Татий, Гелиодор и Дамаский [1]. Источником и основой «Правдивой истории» Лукиана и «Метаморфоз» Лукия [2] является, по-видимому, именно эта книга. И еще: кажется, также и для повестей о Синониде и Родане [3], о Левкиппе и Клитофонте [4], о Хариклее и Феагене [5], для образов самих героев, для истории их скитаний, любви, похищений и опасностей образцом стали именно Деркиллида, Керилл, Фрускан и Диний.

14. Что же касается времени, когда жил Антоний Диоген, творец столь замечательных историй, то мы не можем сказать ничего определенного. Впрочем, можно предполагать, что жил он в годы, не столь отдаленные от времени царствования Александра. Ведь Диоген упоминает о некоем Антифане, более древнем, чем он, писателе, который рассказывал о подобных же чудесах. В этих историях, как и в других многочисленных повестях и сказаниях такого рода, имеются две чрезвычайно поучительные особенности, на которых стоит остановить внимание. Первая заключается в том, что всякий, совершивший какое-нибудь преступление, неминуемо подвергается заслуженному наказанию, даже если тысячу раз кажется, что ему удалось избежать его, а вторая — в том, что многие невинные, подвергавшиеся большой опасности, не раз, вопреки ожиданиям, оказываются спасенными.

ФЛЕГОНТ ИЗ ТРАЛЛ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

I

[Мертвая возлюбленная]

[Начало не сохранилось. Юноша Махат останавливается в гостях у Демострата и его жены Харито. Их недавно умершая дочь Филиннион приходит к нему по ночам. Старая кормилица выслеживает любовников.]

1. ...к комнате гостя; подойдя к дверям, она при свете ночника увидела, что рядом с Махатом сидит женщина. Изумленная этим видением, не в силах долее сдерживаться, бежит она к матери и зовет громким голосом: — Харито и Демострат! — чтобы родители встали и вместе с нею пошли к дочери: показалось ей, что та жива и неким божественным изволением находится с гостем в его комнате.

2. Когда Харито услышала эту невероятную весть, сперва у нее дух захватило от потрясения — так поразительно было известие и в таком смятении была кормилица. Но тут же, вспомнив о дочери, она заплакала и наконец, заподозрив, что кормилица сошла с ума, велела ей немедленно уходить прочь. (3.) Только когда кормилица, уверяя, что она здорова и в своем уме, стала дерзко укорять хозяйку за то, что та из трусости не хочет взглянуть на собственную дочь, Харито нехотя, уступая кормилице, да и сама любопытствуя посмотреть, что случилось, подходит к дверям гостя. Но пока они собрались на этот раз, прошло много времени, и Харито опоздала. Оказалось, что те уже легли. Однако мать присмотрелась, и ей показалось, что она узнает одежду и черты лица; но не имея возможности проверить, так ли это, она решила не поднимать шума, в надежде, что, проснувшись рано поутру, она еще застанет эту женщину, а если опоздает, то расспросит обо всем Махата: он, конечно, не станет лгать, когда его будут спрашивать о столь важном деле. Поэтому она молча ушла.

4. На рассвете оказалось, что женщина неприметно скрылась, то ли божественным произволением, то ли по своему желанию; и мать, войдя, была огорчена ее исчезновением. Рассказав молодому гостю все с самого начала, она обняла колени Махата и просила его открыть ей всю правду, ничего не тая. Юноша смутился, по-началу запутался и кое-как наконец объяснил, что женщину звали Филиннион; рассказал, как пришла она в первый раз, открыл, как велика была ее страсть, и сообщил, что приходит она к нему, по ее словам, тайно от родителей; а чтобы поверили, что так дело и было, он открывает ларец и вынимает предметы, оставшиеся от этой девушки: золотой перстень, который она дала ему, и нагрудную повязку, которую оставила прошлой ночью.

5. Когда Харито увидала такие предметы, она завопила, а потом, разодрав на себе накидку и платье, сорвав с головы покрывало, бросилась наземь и, схватив кольцо и повязку, снова подняла плач. Увидав, что происходит с ней и как рыдают в отчаянии все вокруг, словно собираясь хоронить Харито, гость и сам встревожился: стал утешать ее, уговаривал прекратить плач и обещал показать девушку, если та появится снова. Харито поддалась уговорам и, попросив его не забывать своих обещаний, удалилась к себе.

6. Наступила ночь, и был тот час, когда обычно Филиннион приходила к юноше; все ждали ее появления; и она пришла. Когда она, как всегда вошла и села на ложе, Махат не подал вида, желая сам во всем разобраться: он не поверил, что имеет дело с мертвой, которая с такой точностью приходит в одно и то же время, да еще и ест и пьет с ним, отнесся с недоверием к тому, что рассказали родители, и подумал, что какие-нибудь грабители разрыли могилу и продали одежды и драгоценности

отцу этой девушки. Чтобы узнать все в точности, он потихоньку посылает рабов за ее родителями.

7. Демострат и Харито поспешили прийти; но когда они, увидев девушку, сперва онемели, потрясенные невероятным зрелищем, а потом с криком бросились к дочери, тогда Филиннион сказала им так: — О мать и отец, сколь несправедливо поступаете вы — даже трех дней не позволили вы мне беспрепятственно провести в родном доме вместе с гостем. И вот теперь из-за вашего любопытства будете вы снова страдать, я же вновь отойду туда, где мне назначено быть; ибо не без божественной воли явилась я сюда.

8. С этими словами она упала мертвой, и все видели, как распростерлось ее тело на ложе. Мать и отец обняли ее труп, великое смятение поднялось в доме из-за этого события, потому что случилось нечто непоправимое и происшествие это было невероятно. Вскоре о нем заговорили по всему городу и сообщили мне.

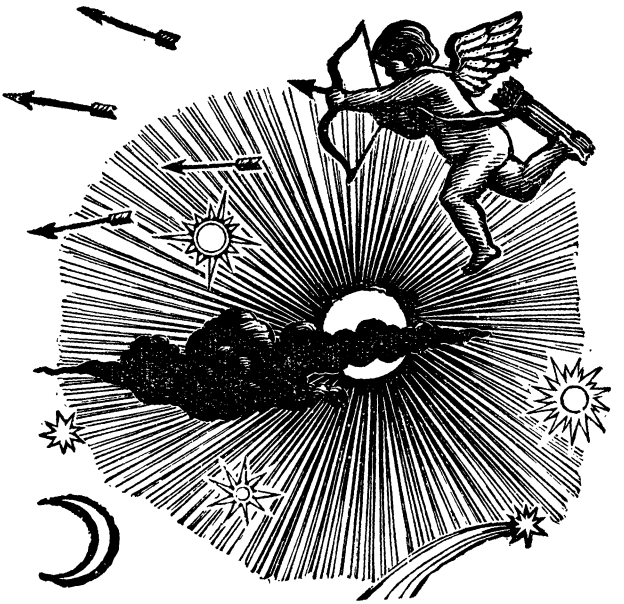
9. Всю ночь я сдерживал толпу, собравшуюся возле дома, опасаясь, чтобы распространение такого слуха не произвело мятежа. К рассвету народ наполнил театр. После того как обо всем было рассказано в подробностях, мы постановили прежде всего пойти к гробнице, вскрыть ее и посмотреть, лежит ли тело на своем ложе, или же там окажется пустое место: шести месяцев не прошло еще после смерти девушки. Когда мы открыли склеп, где хоронили членов этого семейства, то увидели, что на прочих ложах действительно лежат мертвые тела, а от тех, кто скончался давно, остались кости; и только там, где положили и похоронили Филиннион, мы обнаружили железный перстень гостя и позолоченную чашу, которую она взяла у Махата в первый день.

10. Изумленные, потрясенные, мы поспешно направились к Демострату, в комнату гостя, чтобы посмотреть, правда ли, что покойница была там, и увидели ее тело на полу. Тогда мы отправились в народное собрание, так как события были важными и невероятными. (11.) Собрание шумело в таком смятении, что почти никому не удавалось высказать своего мнения. Наконец Гилл, который считается у нас не только лучшим прорицателем, но и умелым птицегадателем и в остальном искусстве ведовства отменным знатоком, встал и заявил, что тело девушки следует предать погребению за пределами города — ибо не следует вновь хоронить ее в городе, — а Гермесу Подземному и Эвменидам надо принести умилостивительные жертвы; затем велел он всем нам произвести обряд очищения над нами самими и над святилищами и подобающим образом почтить подземных богов. Мне же он тайно посоветовал совершить заклания Гермесу, Зевсу Гостеприимцу и Аресу за императора [1] и государство и выполнить это со всею тщательностью.

12. Согласно с его словами мы совершили указанное, а Махат, приезжий, к которому являлся призрак, в горе лишил себя жизни.

Итак, если ты сочтешь нужным уведомить об этом императора, напиши мне, чтобы я прислал к тебе кого-нибудь из людей, знающих это во всех подробностях. Будь здоров.

ЯМВЛИХ



ВАВИЛОНСКАЯ ПОВЕСТЬ

1. Была прочитана драматическая повесть Ямвлиха, любовного содержания. Она отличается большей скромностью, чем повесть Ахилла Татия, но все же не так скромна, как изложение финикийца Гелиодора. Они все трое, поставив себе почти что одинаковую цель, взяли предметом любовные приключения, но Гелиодор делает это более возвышенно и благопристойно, Ямвлих уступает ему в этом, Ахилл же непристоен и бесстыден.

Слог у Ямвлиха плавный и мягкий, а если местами и звучит резко, то все же без какой-либо напряженности; он, так сказать, щекочет и нежит. Достоинствами своего слога и композиции, стройностью повествования Ямвлих обнаруживает мастерство и силу речи не только в игривых вымыслах, но даже и в самых серьезных вещах.

2. Действующие лица его повести: Синонида и Родан, она красавица и он красавец на вид, они любят друг друга и соединены законным браком; Гарм, царь вавилонский; после смерти жены он влюбляется в Синониду и понуждает ее к браку.

Отказ Синониды, тюрьма, путы, литые из золота; а Родана из-за этого — дело было поручено царским евнухам Даму и Саку — распинают на кресте, но он спасается стараниями Синониды; обоим удается избегнуть: ему — креста, ей — брака. За это отрезают Саку и Даму уши, вырывают ноздри и посылают их на поиски; они, выбрав различные направления, отправляются в путь.

3. Дам, в своем преследовании, настигает Родана и его спутницу на каком-то лугу; был рыбак, который донес на пастухов; они под пыткой наконец указали ту лужайку, где Родан нашел золото, на которое намекала надпись на столбе со львом.

Какой-то призрак козла влюбляется в Синониду, по этой причине Родан со спутницей удаляются прочь оттуда.

Дам находит Синонидин венок с того луга и посылает его Гарму в утешение. Родан и его спутница встречают у хижины какую-то старуху и укрываются в пещере, прорытой насквозь на тридцать стадиев, а вход в нее зарос деревьями. Дам и его спутники останавливаются, допрашивают старуху, та, увидав обнаженный меч, испускает дух. Захватывают коней Родана и Синониды, на которых они ехали; отряд окружает местность, где скрываются Синонида и Родан; один из стражников роняет медный щит как раз над подземным входом, и по отзвуку в пустоте обнаруживает спрятавшихся; раскапывают ход. Дам кричит и зовет; этот крик достигает слуха тех, кто внутри, и они бегут по тайникам пещеры к другому ее выходу.

Рой диких пчел вылетает оттуда и нападает на тех, кто рыл; да и на беглецов капает мед; и пчелы и мед были отравлены пищей змей; ужаленные пчелами, те, кто рыл, частью заболели, частью же поумирали. Родан и его спутница, обессиленные от голода, стали лизать мед, что вызвало понос; они падают на дороге замертво.

4. Войско, не в силах воевать с пчелами, бежит, но все еще преследует Родана и его спутницу; видя простертыми тех, кого они преследовали, они пробегают мимо, приняв их за действительно мертвых.

В этой пещере Синонида обрезала свои длинные волосы, чтобы при их помощи доставать воду; найдя волосы там, Дам посылает их Гарму в знак того, что скоро поймает самих беглецов.

Когда Родан и Синонида лежали простертыми на дороге, войско, проходившее мимо мнимых мертвых, согласно отеческому обычаю, бросало на них либо одежды, чтобы прикрыть их, либо что попадется — куски мяса или хлеба; таким образом войско прошло мимо них.

Они же с трудом приходят в себя после обморока, вызванного медом; вороны, дерущиеся из-за мяса, заставили встать Родана, а он — Синониду. И вот, вставши, они отправляются в сторону противоположную движению войска, чтобы лучше скрыть то обстоятельство, что за ними гонятся; найдя двух ослов, они сели на них и погрузили все, что осталось из тех вещей, которые бросало им войско, считая их мертвыми.

5. Затем они приезжают в гостиницу и бегут оттуда, а ко времени, когда рынок наполняется народом, делают привал у другой стоянки. И происходит несчастный случай у братьев; Родана и Синониду обвиняют в убийстве, но отпускают, так как старший из братьев, обвиненный в отравлении младшего, налагает на себя руки и тем обеляет их. Родан, сам того не зная, уносит с собой яд.

Они прибывают в жилище разбойника, грабившего путников и употреблявшего их в пищу. Дам послал воинов, разбойника схватывают, дом его поджигают; Родана и Синониду охватывает огонь, они едва избегают гибели, зарезав ослов и бросив их в огонь, чтобы пройти сквозь пламя. Их ночью замечают воины, сжегшие дом, и задают им вопрос, кто они такие; они отвечают, что они — призраки людей, убитых разбойником; их бледный, изможденный вид и слабый голос убедили и устрашили воинов.

6. Они снова бегут и попадают на погребение девушки; вместе с другими он идут взглянуть на шествие; халдейский старец, вмешавшись, останавливает погребение, утверждая, что девушка еще не бездыханна; так и оказалось. Он предсказывает Родану, что тот станет царем. Гробница девушки остается пустой, там находится множество одежд, предназначенных к сожжению при погребении, кроме того — и еда и напитки; Родан и его спутница угощаются этим, берут кое-что из одежд и устраиваются на ночлег в гробнице девушки. А воины, которые подожгли дом разбойника, с наступлением дня, убедившись, что их обманули, идут по следам Родана и Синониды, считая их соучастниками разбойника. Придя к гробнице и увидев их там, недвижимых, так как их одолели и сон и вино, они подумали, что видят мертвых, и не тронули их, недоумевая, почему следы вели туда.

7. Родан и его спутница уходят, переправляются через реку, приятную, прозрачную — из нее брали воду для питья царю вавилонян. Синонида стала продавать платья, ее задерживают как грабительницу могилы и приводят к Сореху, сыну Сореха, сборщика пошлин, его прозвище «Справедливый». Он решает отослать ее к царю Гарму, из-за ее красоты; поэтому Родан и Синонида приготовляют яд, унесенный от тех братьев, ведь они предпочитают смерть встрече с Гармом. Служанка доносит Сореху, что собираются совершить Родан и Синонида. Сорех тайком выливает смертельный яд и наполняет бокал снотворным зельем;

захватив выпивших и заснувших, он на колеснице спешит к царю. Уже они были близко, как вдруг Родан вскрикнул от страшного сновидения и разбудил Синониду; она мечом пронзает себя в грудь. Сорех расспрашивает их обо всем, они, взяв с него клятву, рассказывают; он отпускает их на свободу и указывает святилище Афродиты на островке, где рана Синониды исцелится.

8. В виде отступления рассказывается об этом святилище и об островке. Евфрат и Тигр образуют островок, омывая его кругом; там у жрицы Афродиты было трое детей — Евфрат, Тигр и Месопотамия, безобразная видом от рождения, но превращенная Афродитой в красавицу; из-за нее возник спор у трех ее поклонников и тяжба между ними. Дело разбирал Бохор, наилучший из тогдашних судей. Судебная тяжба шла из-за того, что одному Месопотамия дала бокал, из которого пила сама, другому — цветочный венок, сняв его со своей головы, а третьего она поцеловала. На суде выиграл дело тот, кто получил поцелуй, но от этого спор еще пуще разгорелся, пока они не поубивали друг друга в пылу распри.

9. Автор рассказывает, в виде дополнения, о святилище Афродиты и о том, что женщинам, посещавшим его, надо было во всеуслышание сообщать о снах, виденных ими в храме; здесь же подробно рассказывается о Фарнухе, Фарсириде и Танаиде — откуда и река Танаис — и о том, что у живущих около этого места в области Танаида есть мистерии Афродиты, учрежденные Танаидом и Фарсиридом. На вышеупомянутом острове Тигр, поедая розы, скончался, потому что в еще нераспустившихся лепестках роз скрывалась ядовитая мушка; мать мальчика, поворожив, убедилась, что ее сын стал полубогом.

10. Далее Ямвлих рассказывает о видах магии, о заклинаниях саранчи, львов и мышей; отсюда название мистерий — от мышей, ведь магия мышей наиболее древняя [1]. Он говорил о заклинателе градобития, заклинателе змей, о вызывании умерших, о чревовещателе, которого, по его словам, эллины называют Эвриклеем, а вавилоняне именуют Сакхуром.

Писатель сообщает, что он и сам вавилонянин и знаток магии, но сведущ и в эллинской образованности, что его цветущий возраст приходится на время Соэма, сына Ахеменида, потомка Арсаки, который царствовал, происходя от царственных предков, и все же стал членом сената в Риме, даже консулом, а затем снова был царем великой Армении; на его время и пришелся расцвет Ямвлиха, как он сам об этом говорит. Он упоминает, что над римлянами царствовал Антонин [2], когда Антонин, по его словам, послал Вера, главного полководца, брата и свояка, на войну с парфянином Вологесом, Ямвлих предсказал и начало и исход войны; Вологес убежал за Евфрат и Тигр, а парфянская земля стала подвластной римлянам.

11. Тигр и Евфрат были юношами, похожими друг на друга, а Родан был похож на них обоих. Когда Тигр, как мы уже сказали, скончался, вкусив розы, Родан вместе с Синонидой переправился на островок; мать, глядя на Родана, восклицает, что ожил ее покойный сын и что Кора[3] сопровождает его. Родан разыгрывает эту роль, подсмеиваясь над простотой островитян.

Даму доносят о случившемся с Роданом и о том, что сделал с ним Сорех; доносчиком был тот самый врач, которого Сорех тайком послал, чтобы вылечить рану Синониды. Поэтому схватывают Сореха и ведут к Гарму; посылают к жрецу Афродиты и самого доносчика с письмом Дама, в котором был приказ схватить Синониду и ее спутника. Врач переправляется через реку, повиснув, по обычаю, на священном верблюде, а письмо он спрятал в его правом ухе. В конце концов доносчик захлебнулся в реке, но верблюд добрался до острова; Родан и его спутница узнают все, обнаружив письмо Дама в ухе верблюда.

12. Поэтому они бегут оттуда, встречают Сореха, — его ведут к Гарму, — и вместе с ним останавливаются в гостинице. Родан ночью подкупает стражей, пользуясь их страстью к золоту; стражей Сореха убивает; Сорех бежит с Роданом и Синонидой, вознагражденный таким образом за оказанное ранее благодеяние. Дам схватывает жреца Афродиты, расспрашивает о Синониде, в конце концов старика приговаривают к тому, чтобы он из жреца стал палачом. Обычаи и узаконения, касающиеся палача. Схватывают Евфрата, потому что отец и жрец, приняв его за Родана, называет его этим именем; Месопотамия, сестра, бежит. Евфрата приводят к Саку и допрашивают о Синониде, поскольку его считают Роданом. Сак посылает Гарму известие, что Родан уже схвачен, а Синонида будет схвачена. Евфрат, судимый вместо Родана, заявляет, что Синонида бежала, когда его забирали — он был вынужден назвать Синонидой свою сестру Месопотамию.

13. Родан и Синонида, бежавшие вместе с Сорехом, находят пристанище у земледельца; у него был дочь, красивая на вид; недавно овдовев, она остригла волосы в знак привязанности к мужу. Ее посылают продать золотую цепь, которую Родан и его спутница унесли из заключения; дочь земледельца отправляется к золотых дел мастеру. Тот, заметив красоту женщины и увидев часть цепи, которую как раз он-то и делал, и стриженые волосы, заподозрил, что это Синонида, и послал к Даму; вместе со стражниками, которых прислал Дам, он стал тайком следить, куда она пойдет.

Та, догадавшись о его намерениях, бежит в уединенный заезжий двор; здесь рассказывается о девушке по имени Трофима, о рабе — ее любовнике и убийце, о золотых украшениях, о беззаконных деяниях раба, о его самоубийстве, причем самоубийца запятнал своей кровью платье дочери земледельца — отсюда страх девушки, ее бегство, изумление и бегство стражи; девушка приходит к отцу и рассказывает о случившемся; Родан и его

спутница бегут оттуда, но еще до этого золотых дел мастер успел написать к Гарму о том, что Синонида найдена — в доказательство чего была послана купленная цепь; дальше речь идет об остальных подозрениях насчет дочери земледельца.

14. Родан, уходя с намерением бежать, целует дочь земледельца, Синониду обуял гнев из-за этого: сперва она только подозревала об этом поцелуе, но затем, стирая с губ Родана кровь, которая осталась от поцелуя, она в этом убедилась. Поэтому Синонида стремится погубить девушку и, словно безумная, опрометью устремляется к ней; Сорех следует за нею не в силах совладать с ее безумным порывом.

15. Прибывают к одному богачу, необузданного нрава, имя ему Сетап; он влюбляется в Синониду и ухаживает за ней. Она притворяется тоже влюбленной, однако ночью, едва только начались их любовные ласки, мечом убивает опьяненного Сетапа. Приказав отпереть дверь и оставив Сореха в неведении о содеянном, она бросается к дочери земледельца. Сорех, заметив ее уход, гонится за ней по пятам и схватывает ее с помощью рабов Сетапа, которых он подкупил, чтобы воспрепятствовать убийству дочери земледельца. Схватив Синониду, он сажает ее на повозку — это тоже было подготовлено — и отправляется в обратный путь. Когда они вернулись, слуги Сетапа, уже обнаружившие убийство своего господина, с гневом встречают их, схватывают Синониду, заковывают ее и ведут к Гарму, чтобы она понесла наказание за убийство. Сорех посыпал пеплом голову, разодрал свой халат и таким образом стал для Родана вестником этого несчастья. Родан попытался наложить на себя руки, но этому воспрепятствовал Сорех.

16. Гарм, получив от Сака письмо о том, что Родан схвачен, а от золотых дел мастера известие, что Синонида задержана, обрадовался, совершил жертвоприношение и стал готовить свадьбу; был провозглашен приказ освободить и отпустить повсюду всех узников. И Синониду, которую вели слуги Сетапа, освобождают от оков и отпускают. Гарм велит предать Дама смерти, и его передают палачу — тому самому, которого он из жрецов поставил в палачи. Гарм разгневался на Дама, потому что подумал, что Родан и Синонида задержаны кем-то другим. Преемником Дама становится его брат Монас.

17. Раздел, в котором повествуется о Беренике, дочери египетского царя, о диких и беззаконных любовных ее связях, и о том, как она сблизилась с Месопотамией и как впоследствии Месопотамия была схвачена Саком и отправлена к Гарму вместе со своим братом Евфратом. Гарм, получив от золотых дел мастера письмо о бегстве Синониды, приказывает его казнить, а тех, кто послан был стеречь девушку и сопровождать — живьем закопать в землю вместе с женами и детьми.

18. Гиркан, собака Родана, найдя в той проклятой гостинице тела злосчастной девушки и раба, покончившего с собой из-за

несчастной любви, пожирает сперва труп раба, а затем принимается за труп девушки. К этому месту приходит отец Синониды, узнает собаку Родана, видит полуобглоданный труп девушки, убивает собаку, чтобы отомстить за Синониду, а сам вешается. Остаток тела девушки он засыпал землей и сделал надпись кровью собаки: «Здесь лежит Синонида-красавица».

Приходят к этому месту Сорех и Родан, видят собаку, зарезанную у могилы, отца Синониды, повесившегося, и надпись на могиле. Родан, нанеся себе первый удар, приписал собственной кровью к надгробной надписи Синониды: «и Родан-красавец».

Сорех надевает себе петлю на шею. В то мгновение, когда Родан занес руку, чтобы нанести себе последний удар, прибегает дочь земледельца и восклицает: — Это не Синонида, Родан, здесь погребена!

Подбежав, она перерубает петлю Сореха и отнимает меч у Родана; с трудом удается ей заставить их поверить истинности рассказа о злосчастной девушке и о законно добытом золоте, ради которого она и пришла.

19. Синонида же, освобожденная от оков, прибежала в дом земледельца, все еще с безумными замыслами против его дочери. Не найдя ее, расспрашивает отца, тот показывает дорогу, она, обнажив меч, следует за ним. Когда она застает Родана распростертым, а ту девушку одиноко сидящей подле него и перевязывающей рану на его груди,— Сорех отправился на поиски врача,— она еще пуще преисполняется гневом и ревностью и обрушивается на девушку. Родан усилием воли преодолел боль и предупредил удар, вырвав меч у Синониды. Она, в бешенстве выбежав из гостиницы и задыхаясь, только и могла промолвить Родану: — Приглашаю тебя сегодня на свадьбу к Гарму.

Сорех, вернувшись и узнав все, утешает Родана. Уврачевав рану, они отпускают девушку к отцу. Деньги она уносит с собой. К Гарму приводят Евфрата под видом Родана и Месопотамию под видом Синониды. Приводят и Сореха и настоящего Родана. Гарм, узнав, что Месопотамия — не Синонида, поручает Зобару обезглавить ее у реки Евфрат, чтобы, как он сказал, никакая другая девушка не присваивала себе имя Синониды. Но Зобар, напившись из любовного источника, влюбляется в Месопотамию, спасает ее и ведет к Беренике, уже воцарившейся над египтянами после смерти отца. От Береники Зобар ее и взял. Береника справляет свадьбу Месопотамии. Из-за этого угрожает разразиться война Гарма с Береникой.

Евфрата же передают на казнь его родному отцу, ставшему палачом; они узнают друг друга, он спасается и вместо отца сам исполняет обязанности палача. Затем дочь палача, выйдя из дому, освобождает Евфрата. Там же и о наложнице палача, об обычаях и узаконениях, касающихся ее, о дочери земледельца, о том, как ее разыскали после того, как Синонида, выйдя замуж за сирийского царя, возымела силу сорвать на ней свой гнев, и о том, как

она приговорила ее стать наложницей палача; и как дочь земледельца, войдя в ограду, где жили палачи, вступила в связь с Евфратом, который вместо нее вышел из ограды, подделавшись под нее с виду, а она, вместо Евфрата, исполняла обязанности палача.

21. Такой оборот приняло все это. Сореха же предают на распятие, для чего определяют как раз то место, где поначалу останавливались Родан и Синонида — на лугу у источника — и где был найден Роданом золотой клад, о котором он сообщает Сореху, когда того ведут на распятие. В той же местности, где должны были распять Сореха, расположилось войско аланов, которым Гарм не выплатил жалованья, чем вызвал их недовольство; они, прогнав стражу, освободили Сореха. Он, найдя указанный клад и ухитрившись достать его из ямы, убедил аланов, что этому и еще многому другому его научили боги. Спустя немного, они так привыкли к нему, что он убедил их сделать его их царем; с этим войском он идет войной на Гарма и побеждает его. Но это случилось впоследствии.

Когда Сорех был послан на распятие, в то же время Гарм, увенчанный венком и пляшущий, снова повел Родана к кресту, и там Родан был распят, а Гарм, пьяный, ликовал и плясал вокруг креста вместе с флейтистами.

22. Пока все это происходило, Сак послал Гарму письмо, извещая, что Синонида вступает в брак с сирийским царем, еще совсем юным. Родан, вися на кресте, радовался, а Гарм хотел покончить с собой. Удержавшись от самоубийства, он снимает Родана против его воли с креста, — ведь Родан предпочитал умереть, — дает ему снаряжение и посылает полководцем на войну, против сирийского царя, то есть посылает влюбленного — против его соперника. Затаив вражду, Гарм относится к Родану с притворной благосклонностью, но пишет тайное письмо его подчиненным, приказывая убить Родана, если будет одержана победа и захвачена Синонида. Родан побеждает, получает Синониду и становится царем над вавилонянами — это предсказала ему ласточка: в присутствии Гарма, когда тот отправлял Родана на войну, ласточку преследовали орел и коршун; от орла она спаслась, но коршун ее схватил. Об этом говорится в двенадцатой книге.

КСЕНОФОНТ ЭФЕССКИЙ

ПОВЕСТЬ О ГАБРОКОМЕ И АНТИИ

II, 3—6

[Любовь Манто к Габрокому]

3. Через несколько дней Апсирт [1] по каким-то торговым делам уехал в Сирию; тем временем его дочь Мантó влюбилась в Габрокома. Она уже годилась в невесты и была хороша собой, но, разумеется, не могла сравниться с Антией. Постоянно встречаясь с юношей, Манто пленяется им все сильнее, не может побороть свою страсть и сама не знает, что делать. Она не осмеливалась открыться Габрокому, ибо знала, что у него есть жена, и не надеялась поэтому добиться его любви; не смела она также признаться домашним — из страха перед отцом. Поэтому она еще сильнее пылала, страдая любовной болезнью. Не в силах дольше молчать, она решила поверить свою любовь рабыне Антии — Роде, своей сверстнице, молодой девушке; только Рода, думала она, сумеет ей помочь. Выбрав подходящее время, Манто под-

водит девушку к домашнему жертвеннику: она молит не выдавать ее, заставляет поклясться в этом, открывает свою страсть к Габрокому, просит о помощи и сулит щедрые подарки. — Помни, — говорит она, — что ты моя рабыня, и знай, что тебе придется испытать гнев варварки и оскорбленной женщины.

С этими словами она отпустила Роду. А та была в смятении: любя Антию, она не хотела рассказать Габрокому о страсти Манто, но в то же время страшилась необузданности своей новой госпожи. Лучшим выходом она сочла посоветоваться обо всем с Левконом; с ним она была связана любовью — они были неразлучны еще в Эфесе. Застав его одного: — О Левкон, — воскликнула Рода, — теперь мы совсем погибли. Больше мы не увидим Габрокома и Антию: знаешь, дочь Апсирта любит его страстной любовью и грозит, если не добьется своего, жестоко расправиться с нами. Подумай, как нам быть. Отговаривать эту варварку бесполезно, а разлучить Габрокома с Антией немыслимо. — Левкон, предчувствуя беду, залился слезами, но потом овладел собой и сказал: — Молчи, Рода, я все беру на себя.

4. Успокоив Роду, он идет к Габрокому. А тот только и делал, что целовал Антию или радовался ее поцелуям, говорил ей нежные слова или слушал ее речи. Левкон подошел к ним и сказал: — Как нам быть? Что нам делать, жалким рабам? Ты понравился молодой госпоже, Габроком; дочь Апсирта одержима страстью к тебе, а спорить с влюбленной женщиной и к тому же варваркой — опасно. Подумай обо всем этом и постарайся спасти нас от ярости Манто. — Габроком разгневался на эти слова и, с презрением глядя на Левкона, ответил: — Бессовестный ты человек, Левкон! Ты еще больший варвар, чем эти финикийцы. Как ты посмел рассказать мне о таких вещах, как дерзнул при Антии говорить о другой женщине. Пусть я раб, но я верен клятвам. Эти варвары имеют власть над моим телом, но душа моя осталась свободной. Манто может грозиться, чем хочет — мечом, плетьми, кострами, всеми рабскими пытками, — все равно я добровольно не соглашусь нанести оскорбление моей Антии.

Пока он говорил, Антия лежала, онемев от горя, и не могла вымолвить слова. С трудом пришла она наконец в себя и сказала: — Я чувствую твое великодушие, Габроком, и верю, что ты меня любишь, но молю, господин моей души, не обрекай себя на муки, уступи страсти Манто, а я уйду с вашей дороги и убью себя. Только об одном прошу — схорони меня сам, поцелуй на прощание и помни о своей Антии.

Ввергнутый ее словами в неутешное отчаяние, Габроком не понимал, что с ним происходит.

5. Вот что сталось с Габрокомом и Антией.

А Манто, видя, что Рода медлит, теряет над собой власть и пишет Габрокому письмо.

«Прекрасному Габрокому шлет привет его госпожа. Манто любит тебя и не в силах дольше молчать. Быть может, это не

подобает девушке, но простительно влюбленной. Молю, не отвергай меня, не презирай ту, которая только о тебе и думает. Если ты согласишься, я упрошу отца моего Апсирта соединить нас браком, а от твоей теперешней жены мы сумеем избавиться: тогда ты станешь богатым и счастливым. А если будешь противиться, подумай, что тебе придется перенести от оскорбленной и мстительной женщины, что испытают твои друзья, мирволящие твоей надменности».

Запечатав это письмо, Манто отдает его одной из свох верных служанок и велит отнести Габрокому. А тот читает послание и негодует, в особенности печалит его то, что касается Антии. Таблички Манто он оставляет у себя, а на других пишет ответ и отдает служанке. Написал он так: «Госпожа, делай что хочешь, — я твой раб: хочешь меня убить — я повинуюсь, хочешь пытать — пытай как угодно, но взойти на твое ложе не желаю и никогда не подчинюсь такому приказу».

Получив это письмо, Манто приходит в ярость; снедаемая сразу и завистью, и ревностью, и печалью, и страхом, она задумывает отомстить надменному юноше. В это время из Сирии возвращается Апсирт в сопровождении человека по имени Мирид, которого он прочил дочери в женихи. Не успел отец войти в дом, как Манто стала строить против Габрокома козни: она растрепала волосы, разорвала на себе одежду и в таком виде выбежала навстречу Апсирту. Припав к его ногам, она воскликнула: — Сжалься, отец, над своей дочерью, оскорбленной низким рабом. Ведь твой целомудренный Габроком пытался похитить мою девственность; злоумышлял он и против тебя, — ведь он говорил, что любит меня [2]. Накажи его по заслугам за столь великую дерзость, а если ты вздумаешь выдать свою дочь за раба, то знай, что я покончу с собой раньше, чем это случится.

6. Апсирт решил, что она говорит правду, и не стал разбираться в этом деле. Он сразу призвал к себе Габрокома. — Дерзкий и подлый раб, — воскликнул он гневно, — ты посмел оскорбить своих господ и пытался обесчестить девушку. Но теперь тебе не поздоровится — я тебя так проучу, что это всем послужит хорошим уроком.

Сказав так, Апсирт не пожелал больше ничего слушать; он приказал слугам разорвать на Габрокоме одежду, развести огонь, принести плети и стегать юношу. Жалостное это было зрелище: побои изуродовали тело Габрокома, непривычное к рабским пыткам, из ран струилась кровь, и красота его увяла. Мало того, Апсирт велел его накрепко связать и мучил огнем и другими жестокими пытками: он хотел показать жениху своей дочери, что его невеста целомудренная девушка.

Антия видит муки Габрокома, в отчаянии припадает к коленям Апсирта и просит его сжалиться. Он же в ответ: — Ради тебя

я покараю его еще сильнее, потому что и ты им оскорблена — женатый, он смеет любить другую! — С этими словами Апсирт велел сковать Габрокома и запереть в темницу.

III, 3—7

[*Мнимая смерть Антии*]

Между тем тридцать дней, которые испросила себе Антия[3], пришли к концу, и Перилай стал готовиться к брачному торжеству. Уже приводили из поместий быков и коз для жертвоприношения, уже полон был дом всевозможной роскоши и яств. Собрались все родные Перилая, и многие граждане Тарса были званы на брачный пир.

4. Незадолго до того как Перилай отбил Антию у разбойников, в Тарсе появился некий старик — эфесский врач по имени Эвдокс, потерпевший кораблекрушение на пути в Египет. Этот Эвдокс обходил всех знатных людей Тарса и, рассказывая каждому о своих бедствиях, просил у кого платья, у кого денег. Попал он и к Перилаю и тоже рассказал, что он врач и родом из Эфеса. Перилай ведет его к Антии, желая обрадовать ее свиданием с согражданином. Девушка принимает Эвдокса приветливо и расспрашивает, не слышал ли он о ее родных. Старик ответил, что ничего не может рассказать, так как он уже давно из Эфеса. Это, однако, не помешало их дружбе — он все-таки напоминал Антии о родине.

Вскоре Эвдокс стал своим человеком, постоянно приходил к Антии и ел в доме Перилая. Он всякий раз просил отправить его в Эфес — там у него были дети и жена.

5. Все приготовления у Перилая закончились; когда наступил день брака, гостей ждали столы, уставленные дорогими кушаньями. Антия уже была украшена брачным убором. Ни ночью, ни днем не переставала она лить слезы, и перед глазами у нее постоянно был Габроком. Она вспоминала о прошлом — о своей любви к мужу и клятвах, которые они дали друг другу, о родине и родителях, думала о своей судьбе и о неминуемом браке. Оставшись наедине и предаваясь тоске, Антия, терзая свои волосы, воскликнула: — О я неблагодарная и низкая! Чем я отвечаю Габрокому? Он, чтобы остаться мне верным, дал надеть на себя оковы, принял пытки и, может быть, даже смерть. Неужели я все забуду и стану женой другого? Неужели скоро раздастся пение гименеев, и я взойду на ложе Перилая? Не печалься, мой возлюбленный супруг, — по своей воле я никогда этого не сделаю. Я соединюсь с тобой, сохранив верность до самой смерти. — Когда Антия так горевала и плакала, пришел Эвдокс, тот самый врач из Эфеса. Она провожает старика в укромный покойчик, падает к его ногам, умоляя, чтобы он ее не выдал, и заклинает

его эфесской богиней, Артемидой, сделать все, о чем она будет просить. Эвдокс поднимает ее, всю в слезах, велит смело говорить, чего она хочет, клянется молчать и обещает исполнить любую просьбу.

Тут Антия рассказывает ему о своей любви к Габрокому, о клятвах, которые ему дала, об обещании хранить верность. — Если бы, — прибавила она, — было возможно мне, живой, обрести живого Габрокома или тайно бежать отсюда, я просила бы тебя помочь мне в этом. Но теперь, раз мой Габроком мертв, бегство немыслимо и брак неотвратим, — обещаний же я не нарушу и клятвами не пренебрегу, — будь мне другом, достань средство, которое бы избавило меня, злосчастную, от всех бед. За это, Эвдокс, тебе щедро воздадут боги; я буду их об этом просить перед смертью, а кроме того, дам тебе денег и позабочусь о твоем возвращении на родину. Ты сможешь, еще прежде чем кто-нибудь узнает о моей смерти, сесть на корабль и уехать в Эфес. Разыщи там моих родителей, Мегамеда и Эвгиппу, сообщи им о моей смерти и обо всем, что со мной случилось на чужбине, и скажи, что Габроком погиб. — С этими словами она бросилась к ногам Эвдокса и умоляла, чтобы он, не споря, дал ей яд. Потом достала двадцать мин серебра и драгоценное ожерелье и отдала Эвдоксу. Антия легко могла это сделать, так как в доме Перилая всем распоряжалась она.

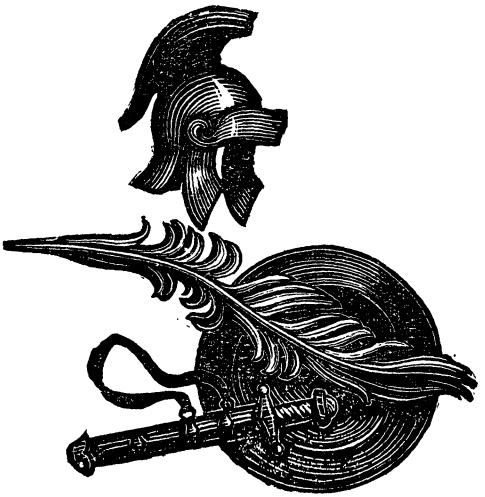
Эвдокс долго колебался, чувствуя сострадание к несчастной девушке и в то же время страстно желая возвратиться домой; наконец, побежденный деньгами и подарками, он соглашается дать Антии яд и уходит с тем, чтобы его принести. Девушка, оставшись одна, горюет, оплакивает свою молодость, печалится, что ей суждено умереть столь рано, громко зовет Габрокома, словно он мог ее слышать. Вскоре возвращается Эвдокс; он приносит не смертельный яд, а снотворное средство, чтобы, не причинив девушке вреда, получить деньги на дорогу и уехать. Антия берет порошок и с благодарностью отпускает старика. Эвдокс немедля садится на корабль, а девушка выбирает час, когда можно будет выпить яд.

6. Приближается ночь, брачный покой ждет; уже приходят за Антией. Она, с тяжелым сердцем и вся в слезах, идет, зажав в руке ядовитый порошок. У дверей спальни провожающие стали петь гименей. Антия еще больше опечалилась и заплакала сильнее: — Так меня некогда вели к жениху моему Габрокому, но тогда факелы указывали путь к любви [4] и гименеи звучали в честь счастливого брака. Как же ты поступишь теперь, Антия? Неужели ты предашь Габрокома, твоего супруга, твоего возлюбленного, того, кто ради тебя принял смерть? Нет, не настолько я слаба и не настолько труслива: я твердо решила выпить яд. Пусть Габроком остается моим единственным супругом, я продолжаю желать его даже мертвого.

С этими словами Антия переступила порог спальни. Она была одна, так как Перилай с друзьями еще возлежал на пиру [5]. Девушка сделала вид, что от волнения ее томит жажда, и велела одному из рабов принести воды. Взяв кубок и пользуясь тем, что никого не было близко, Антия всыпает в воду яд и со слезами обращается к Габрокому: — Гляди, мой возлюбленный, я исполняю свои клятвы, я иду к тебе дорогой смерти, страшной, но уже неизбежной. Прими меня благосклонно, и пусть мы хоть теперь узнаем счастье. — Затем она выпила содержимое кубка. Тотчас же ею овладел глубокий сон, и она упала на землю: снадобье возымело свое действие.

7. А Перилай, как только вошел в спальню и увидел распростертую на полу Антию, в ужасе стал кричать. В доме поднялось общее смятение; удивление, плач, испуг — все смешалось. Одни жалели умершую, другие разделяли скорбь Перилая, и все были равно опечалены несчастьем. Сам Перилай разрывает на себе брачные одежды и, обнимая мертвую невесту, восклицает: — О милая, ты покинула любящего до брака! Недолго ты была моей невестой, и вот не в брачный чертог провожаю я тебя, а в могилу. Кто бы ни был твой Габроком, я завидую ему: воистину блажен тот, кто получил от возлюбленной столь драгоценный дар. — Так сильно Перилай предавался отчаянию. Он обнимал Антию и покрывал поцелуями ее руки и ноги, говоря: — Невеста несчастная, жена злополучнейшая! — Он велел убрать Антию в пышные одежды и драгоценные золотые украшения. А так как ему было слишком тягостно глядеть на все это, то, едва забрезжил день, девушку на погребальном ложе (она продолжала лежать без чувств) отнесли в гробницу неподалеку от города. Принеся богатые жертвы и бросив в костер множество одежд и украшений, Перилай закрыл Антию в гробнице.

АППИАН



ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ

XV, 5—30

[*Проскрипции триумвиров*]

5. Триумвиры [1] наметили тех, кого собирались убить: сначала — слишком могущественных и потому подозрительных, затем каждый своих врагов, потом один другому стал предавать на смерть собственных друзей и родственников. Так было не только в те дни, но и позже; ведь они вносили в свой список имя за именем: кого по ненависти, кого — просто по неприязни, кого за дружбу с врагами или за вражду с друзьями, или за большое богатство. Для войны им нужно было много денег: дань с Азии продолжала поступать Бруту и Кассию [2], кроме того, им платили подати цари и сатрапы, триумвиры же испытывали нужду, так как Европа, особенно Италия, была разорена войнами и поборами. Поэтому они постепенно обложили тягчайшей данью и простой

народ и даже женщин и, наконец, ввели налоги с продажи и отдачи в аренду. Кое-кто был внесен в список за красоту своей виллы или городского дома. Сенаторов, приговоренных к смерти с конфискацией имущества, оказалось около трехсот, а так называемых всадников [3] — до двух тысяч. Среди них были братья и дяди триумвиров, а также некоторые из их легатов, которые чем-либо оскорбили начальников или других легатов.

6. Большинство из этих лиц триумвиры намеревались проскрибировать [4] по возвращении с совещания в Рим. Двенадцать же (или, как передают другие, семнадцать) самых влиятельных, среди которых был и Цицерон, триумвиры считали нужным умертвить раньше других, сразу же подослав к ним убийц. Четверо были тотчас зарезаны на пиру или на улице. Пока разыскивали остальных и обшаривали храмы и дома, всю ночь не прекращалось смятение, крики, вопли и топот, словно город захватили враги. И так как узнали, что происходят аресты, а до тех пор еще никто ничего не слышал о проскрипционных списках, то каждый считал, что именно его ищут рыскающие кругом люди. Поэтому одни, впав в отчаяние, намеревались поджечь свои собственные дома, другие — даже общественные здания, безрассудно стремясь совершить что-нибудь ужасное, прежде чем погибнуть. И возможно, так бы оно и случилось, если бы консул Педий, разъезжая вместе с глашатаями, не обнадежил их, что они точнее узнают, в чем дело, если дождутся утра. И вот, на рассвете, вопреки намерению триумвиров, Педий объявил проскрипцию семнадцати лиц, якобы единственных виновных во внутренних бедах и единственных осужденных. Остальным же он от лица государства обещал безопасность, так как не знал еще о решении триумвиров. Сам же Педий умер следующей ночью от чрезмерного утомления.

7. В продолжение трех дней триумвиры, один за другим — Цезарь, Антоний и Лепид — вступили в город, каждый со своей преторианской когортой [5] и одним легионом. С их приходом в самых важных местах города появилось множество вооруженных людей и военных знамен. И немедленно было созвано собрание, которое кольцом окружили солдаты, и трибун Публий Титий внес законопроект об избрании новых должностных лиц; было предложено для устроения государственных дел вручить власть на пять лет триумвирам с консульской властью: Лепиду, Антонию и Цезарю (по-гречески их можно было бы назвать гармостами; это имя лакедемоняне давали тем, кто был поставлен управлять покоренными народами). Не было назначено ни времени для обсуждения закона, ни дня голосования — закон был проведен немедленно. Ночью во многих местах были выставлены списки других ста тридцати проскрибированных — в дополнение к прежним семнадцати, — а немного позже — ста пятидесяти новых. И все время дополнительно вносились имена тех, кто уже был осужден или убит по ошибке, чтобы создать видимость, будто они понесли

справедливую кару. Было постановлено, чтобы головы всех убитых за определенное вознаграждение приносили к триумвирам: свободным обещали в награду деньги, а рабам — свободу и деньги. Далее всех обязали открывать свои жилища для обыска. Равную вину с проскрибированными должен был нести тот, кто примет и спрячет их или не откроет свой дом для обыска. Каждому желающему донести на подобных людей было назначено такое же вознаграждение.

8. Указ о проскрипциях звучал так: «Марк Лепид, Марк Антоний, Октавий Цезарь, избранные для устроения и приведения в порядок государственных дел, заявляют следующее:

Если бы бесчестные люди не дошли до пределов вероломства, и после того, как им было оказано сострадание, не стали врагами своих благодетелей, а затем и злоумышленниками; если бы они не убили Гая Цезаря, который, одолев их силой оружия, милостиво пощадил, сделал своими друзьями, отличил должностями, почестями и подарками, то и мы не были бы вынуждены так сурово обойтись с теми, кто оскорбил нас и объявил врагами отечества. Теперь же по тем козням, которые они против нас строили и по тому, что случилось с Гаем Цезарем, мы видим, что их порочность нельзя укротить человеколюбием; поэтому мы предпочитаем опередить врагов, нежели самим пострадать. Итак, пусть никто не сочтет наши действия несправедливыми, жестокими или неоправданными и пусть вспомнит, что пришлось претерпеть Гаю и нам самим. Цезаря, императора [6], великого понтифика [7], победителя и покорителя наиболее опасных для римлян народов, того, кто первым из смертных проник за Геркулесовы столпы в море, по которому никто еще не плавал, кто открыл неизвестные римлянам земли, они убили. Убили в священном месте, в самом сенате, на глазах у богов, нанеся ему двадцать три раны; убили те люди, которых он победил на войне, но пощадил, а иных вписал в завещание и сделал своими наследниками. Остальные вместо наказания запятнанных преступлением людей назначили их на высшие государственные должности и поручили управление провинциями; пользуясь этим, они разграбили государственную казну и на эти деньги собирают против нас войско и просят поддержки у варваров, вечных врагов нашего государства. Находящиеся под властью римского народа города, отказавшие им в повиновении, они сожгли, сровняли с землей и разрушили, или же, в иных случаях, устрашили и повели против родины и против нас.

9. Некоторых из них мы уже наказали; скоро вы увидите, что при содействии богов и остальные понесут кару. После важнейших дел, которые мы совершили или должны осуществить в Иберии, Кельтике и у себя на родине, остается еще одно, а именно — поход против находящихся за морем убийц Гая Цезаря. Начиная войну за пределами Италии ради вас, мы решили, что ни вы, ни мы не будем чувствовать себя в безопасности, если за спиной останутся другие враги; они произведут нападение, воспользовав-

шись нашим отсутствием, и вообще будут выжидать счастливого для себя оборота дел. В то же время, раз нависла опасность, не следует больше медлить, а нужно разом всех уничтожить: ведь они сами начали против нас войну, объявив врагами отечества и нас и наших солдат.

10. Они намеревались погубить вместе с нами бесчисленное множество граждан, пренебрегая и гневом богов, и ненавистью смертных. Большинству людей мы не причиним страданий, мы не объявим врагами тех, кто был с нами в разногласии или злоумышлял против нас; не будем обращать внимания на богатства, зажиточность или почет; и мы не покараем так много людей, как в недавнее время — другой диктатор, который спас государство во время гражданской войны и которого вы за его удачные действия назвали Счастливым [8]. В то же время неизбежно, чтобы у трех человек было больше врагов, чем у одного. Мы накажем только самых злых преступников, и сделаем мы это скорее ради вас, чем ради себя. Вы оказались в самой гуще борьбы, и вам неизбежно придется претерпеть немалые страдания. Но необходимо также дать какое-то удовлетворение войску, оскорбленному и разгневанному, да к тому же объявленному неприятельским нашими общими врагами. Хотя мы могли сразу арестовать тех, кого нужно, мы предпочитаем проскрибировать их, а не схватить неожиданно. Это делается ради вас, чтобы разъяренные солдаты не чинили насилия над невинными; зная поименно виновных, они, повинуясь приказу, не тронут остальных.

11. Итак, в добрый час! Никого из внесенных в этот список пусть никто у себя не принимает, не скрывает, не отсылает в другое место и не позволяет никому из них соблазнить себя деньгами. Всякого уличенного в том, что он спас проскрибированного, оказал ему содействие или был посвящен в его дела, мы, не принимая во внимание никаких оправданий, беспощадно внесем в список осужденных. И пусть головы убитых приносят к нам: за каждую голову свободный получит двадцать пять тысяч аттических драхм, раб — свободу и десять тысяч аттических драхм, а также права гражданства, принадлежавшие его господину. Такая же награда будет и доносчикам, а имя получившего награду мы не будем записывать, чтобы оно осталось в неизвестности».

Таков изданный триумвирами указ о проскрипциях, переведенный с латинского языка на греческий.

12. Первым, чьи приговоры были приведены в исполнение, был Лепид, а первым из приговоренных — брат Лепида Павел; вторым за Лепидом был Антоний, а вторым из осужденных — дядя Антония Луций; они первыми объявили триумвиров врагами отечества. Третьим и четвертым были родственники тех, кто был избран в консулы на следующий год — брат Планка Плотий и тесть Азиния Квинт (их имена были внесены в другой список). Эти лица были осуждены на смерть раньше других не столько по причине их влиятельности, сколько для того, чтобы внушить всем ужас и

отчаяние, чтобы никто не надеялся на возможность кого-либо спасти. Среди проскрибированных был Тораний, как передают некоторые, опекун Цезаря. Одновременно с обнародованием проскрипционных списков были расставлены караулы у городских ворот и подле всех прочих выходов из города, а также подле гаваней, прудов, болот и других подозрительных мест, где можно было тайно ускользнуть или укрыться. Центурионы получили приказ обшарить окрестные поля. Все это было осуществлено в один и тот же час.

13. И вот сразу в Риме и по всей Италии, в зависимости от того, где кого застигли, начались внезапные аресты и разного рода убийства; причем убитым отрубали головы, чтобы, представив их, получить вознаграждение; началось постыдное бегство людей, раньше известных, а теперь впавших в ничтожество. Одни спускались в колодцы, другие — в клоаку с нечистотами, третьи забивались в дымовые трубы или сидели, скорчившись, под грудами черепицы. Ведь некоторые не менее, чем убийц, боялись своих жен и детей, недоброжелательно к ним относившихся, другие — вольноотпущенников и рабов, кредиторы — должников, соседи — соседей, зарившихся на их поместья. Всяческая неприязнь, которая раньше была скрытой, теперь внезапно вырвалась наружу. Жалким образом изменилось положение людей высшего сословия — консулов, преторов, трибунов, кандидатов на эти должности и тех, кто занимал их прежде. Они с плачем бросались к ногам своих собственных рабов, называя слугу спасителем и господином. Особенно ужасно было то, что, принимая такое унижение, они все же не находили милосердия.

14. Злодеяния были чудовищные — таких не увидишь даже во время восстания или после вражеской победы, когда страшатся восставшего или врага, но твердо полагаются на своих домочадцев; теперь же сами домашние внушали больше страха, чем убийцы. У тех, кто не боялся, помня о солидарности во время восстания или войны, домашние в силу скрытой дотоле неприязни внезапно превращались во врагов, кто из-за официально обещанной награды, кто из-за видов на находящееся в доме серебро и золото. По этим причинам каждый сразу становился неверным своим близким и собственную выгоду ставил выше сострадания. Если кто и сохранял верность и доброжелательство к проскрибированному, то все же боялся оказать ему помощь, укрыть его, даже быть осведомленным о его делах, так как это влекло за собой ту же кару, которая ожидала осужденных. Теперь все происходило совсем иначе, чем при убийстве первых семнадцати человек. Тогда не были объявлены имена проскрибированных, и были внезапно схвачены лишь немногие, а остальные боялись той же участи и помогали друг другу. Теперь же стали известны проскрипционные списки, и с теми, кто был внесен в них, все могли поступать по своему произволу; другие же, успокоившись относительно своей участи и стремясь к наживе,

преследовали осужденных, служа за плату убийцам. Что касается толпы, то одни грабили дома убитых и в погоне за выгодой не видели творившихся вокруг бедствий, другие, более разумные и сдержанные, оцепенели от страха. Теперь им казалось просто невероятными приходившие на память слова о том, что сколько бы раз гражданские распри ни разрушали другие города, столько же единомыслие спасало их; между тем наше государство раньше губили раздоры правителей, а сейчас единомыслие причиняет такое же зло.

15. Кто сопротивлялся, а кто был убит без всякого сопротивления, так как понимал, что беззаконие исходит не от убийц. Были и такие, что сами морили себя голодом, кончали жизнь в петле, топились, бросались с крыш, кидались в огонь, подставляли шею убийцам и даже торопили их, если те медлили. Другие, напротив, скрывались, унизительно молили о пощаде, пытались подкупом отдалить от себя смерть. Некоторые погибли не по воле триумвиров, а по недоразумению или из-за козней недругов. Случайно убитого узнавали по тому, что у него не была отрублена голова: ведь головы проскрибированных клали перед ростра́ми [9] на форуме и там же получали награду.

С другой стороны, не меньше было усердие и мужество жен, детей, братьев и рабов, делавших многое для спасения тех, кому угрожала гибель, и умиравших вместе со своими, если все их попытки кончались неудачей. А иные кончали с собой над трупами убитых. Из тех, кто убежал, одних судьба преследовала до конца, и они погибли при кораблекрушении, а другие пережили трудное время и впоследствии, вопреки всем ожиданиям, получали городские магистратуры, делались военачальниками и даже добились триумфов. Так много удивительного принесли те времена.

16. И это происходило не в каком-нибудь заурядном государстве, не у какого-нибудь захудалого царька. Бог потряс могущественнейшую владычицу стольких народов на суше и на море и после многих невзгод водворил в ней должный порядок, который поддерживается и ныне. Нечто подобное произошло в Риме при Сулле, а еще до него — при Гае Марии; о самых жестоких бедствиях тех времен я написал в соответствующем месте; дело доходило до того, что убитых лишали погребе́ния. Но события, о которых идет речь теперь, более примечательны из-за высокого положения триумвиров, а в особенности — из-за доблести одного из них [10], сочетавшейся со счастьем: этот человек укрепил свою власть на надежном основании, и те, кто теперь правит, принадлежат к его роду и носят его имя. Я упомяну лишь о тех событиях, которые или сами по себе знаменательны, или отличаются особой жестокостью; они хорошо сохранились в памяти, потому что произошли совсем недавно. А все подряд я излагать не стану, так как недостойны упоминания обыкновенные убийства, бегства, возвращение некоторых после дарованной им триумвирами амни-

стии, а также безвестная жизнь этих лиц после возвращения. Нужно упомянуть лишь то, что особенно поразит воображение и придаст достоверность сказанному раньше. А таких событий немало, и многие римляне — каждый по-своему — описали их в многочисленных книгах. Я вкратце расскажу о бедствиях тех дней сообразно с характером каждого из них, чтобы повествование мое приобрело большую убедительность и чтобы яснее стало благоденствие нашего времени; из-за обилия событий опишу их только в главных чертах.

17. Сначала беда обрушилась на тех, кто тогда еще занимал высшие государственные должности. Первым был убит народный трибун Сальвий. Лицо, занимающее эту должность, по закону священно и неприкосновенно и обладает такой властью, что может заключать в тюрьму даже консулов. Это был тот трибун, который сначала помешал объявить Антония врагом отечества, а впоследствии во всем оказывал содействие Цицерону. Узнав о сговоре триумвиров и об их поспешном приближении к Риму, Сальвий устроил пир для своих домочадцев, так как ему уже не долго оставалось быть с ними. Когда ворвались вооруженные люди, все в ужасе вскочили со своих мест, но центурион, командовавший солдатами, велел всем снова возлечь за стол и сохранять спокойствие, а Сальвия, ухватив за волосы, подтянул по столу поближе к себе и отрубил ему голову, приказав его домашним не двигаться со своих мест и не поднимать шума, чтобы не подвергнуться той же участи. И после ухода центуриона они, в оцепенении и безмолвии, до глубокой ночи возлежали с останками трибуна.

Следующим был убит претор Минуций, проводивший на форуме народное собрание. Услышав, что за ним пришли солдаты, он кинулся бежать и метался в поисках убежища, а потом, переменив одежду, забился в какую-то мастерскую, бросив знаки отличия и отпустив служителей. Но последние из чувства стыда и жалости остались при нем и этим невольно помогли убийцам обнаружить претора.

18. Другой претор, Анналис, обходил граждан, представляя им сына, кандидата в квесторы; бывшие с ним друзья и ликторы его покинули, как только узнали, что имя Анналиса внесено в проскрипционный список. Анналис укрылся у одного из своих клиентов, у которого был в предместье небольшой, скромный дом, ничем не привлекавший внимание, и там оставался в безопасности до тех пор, пока его сын, подозревая, что отец скрывается у клиента, не показал убийцам дорогу к этому дому; он получил от триумвиров отцовское достояние, а также эдильство. Но, возвращаясь с какой-то попойки, он повздорил с воинами, и они убили его — те же самые воины, что прежде убили его отца. Тураний, бывший претор, отец юноши, весьма необузданного, но пользовавшегося расположением у Антония, умолял центурионов немного повременить с казнью и твердил, что сын вымолит для

него пощаду у Антония. Они же, смеясь, ответили: — Да он уже вымолил, только как раз обратное. — Когда старик все понял, то снова попросил самой краткой отсрочки, чтобы повидаться с дочерью. Увидясь с ней, он убеждал ее не брать своей доли наследства, чтобы и за нее брат не «просил» Антония. Причем того также постигла заслуженная кара: он позорно промотал отцовское состояние, был уличен в воровстве и по приговору суда отправился в изгнание.

19. Цицерон, который после смерти Цезаря приобрел такое влияние, что был своего рода царем в народном собрании, был внесен в список вместе с сыном, братом, племянником, всеми своими домашними, приверженцами и друзьями. На небольшом судне он пустился в бегство, но, не вынеся морской качки, велел отнести себя в свою виллу возле италийского города Капуи. Эту виллу я сам осмотрел, когда описывал гибель Цицерона. Он уснул, когда погоня была уже близка (ведь Цицерона с особой тщательностью разыскивали как сам Антоний, так и все прочие, стремясь угодить Антонию), вороны влетели в его спальню, карканьем разбудили его и стали стаскивать с него плащ. Тут рабы, понимая, что это знамение свыше, положили Цицерона на носилки и тайно понесли его назад к морю через лесную чащу. Кругом рыскало множество отрядов, выведывавших, не показывался ли где-нибудь Цицерон. Некоторые из чувства доброжелательства и сострадания к нему говорили, что он уже отплыл и находится в пути. Один сапожник, клиент Клодия, злейшего врага Цицерона, указал тропинку центуриону Ленату, которого сопровождало несколько солдат. Тот опрометью бросился вперед и, увидев, что у Цицерона значительно больше людей, чем у него, и что они намерены защищаться, пустился на военную хитрость и крикнул: — Эй, центурионы, скорее сюда! — Тогда рабы, решив, что приближаются противники, превосходящие их численностью, оцепенели от страха.

20. Ленат, некогда выигравший благодаря Цицерону тяжбу, схватил его за волосы, наполовину выволок из носилок и, трижды ударив по шее, по неопытности скорее отпилил, чем отрубил голову; отсек он также и руку, которой Цицерон написал свои речи против тиранического правления Антония, назвав их, в подражание Демосфеновым, «Филиппиками». Тотчас помчались к Антонию с радостной вестью — одни на лошадях, другие морем. Ленат издали показал председательствовавшему на форуме Антонию голову и руку Цицерона, потрясая ими в воздухе. Тот очень обрадовался, наградил центуриона венком и к установленной мзде прибавил двести пятьдесят тысяч аттических драхм за убийство самого главного и жестокого изо всех его врагов. Голова Цицерона вместе с рукой долго висела на форуме перед ростpами, где раньше Цицерон обыкновенно произносил речи. Теперь, чтобы посмотреть, сбегалось народу больше, чем раньше, чтобы послушать. Говорят, что во время пиров Антоний клал голову Цицерона пе-

ред столом, пока не пресытился столь ужасным зрелищем. Вот как был убит Цицерон, муж, которого еще и теперь прославляют за красноречие и который во время своего консульства оказал величайшие услуги отечеству, и даже смерть не избавила его от надругательства. Его сын был заблаговременно отправлен в Грецию к Бруту, а брата Квинта схватили вместе с сыном; он умолял убийц умертвить его раньше, чем сына, а сын, в свою очередь, просил убить первым его, а не отца. Убийцы заявили, что уладят спор, и, разделившись на две партии, по условленному знаку, разом покончили с обоими.

21. Отец и сын Эгнации, обнявшись, умерли от одного удара. Их обезглавленные тела так и продолжали сжимать друг друга в объятиях. Бальб заранее велел своему сыну бежать к морю, чтобы не быть обнаруженным при совместном бегстве, а сам двинулся вслед за ним через некоторое время. Когда кто-то, или по злому умыслу, или по ошибке, сообщил отцу, что сын якобы уже схвачен, он возвратился и сам отдался в руки убийц. Однако погиб и сын, утонув при кораблекрушении. Таким образом, бедствия тех времен еще усугублялись произволом божества. Арунтию едва удалось убедить сына, не соглашавшегося бежать без отца, спасти свою молодую жизнь. Мать, проводив его до ворот, вернулась домой, чтобы похоронить убитого мужа. Узнав, что и сын погиб в море, она уморила себя голодом. Вот образцы хороших и дурных сыновей, которые я хотел показать.

22. Двое братьев Лигариев были проскрибированы одновременно и скрывались в коптильне. Когда некоторое время спустя их обнаружили там рабы, один тотчас был убит, а другой бежал, но, узнав о гибели брата, бросился с Тибрского моста в реку. Рыбаки вытащили его, думая, что он упал случайно, а не покушался на самоубийство. Лигарий долго боролся с ними, порываясь снова кинуться в поток, а вынужденный уступить, воскликнул: — Вы не меня спасаете, а себя губите вместе с проскрибированным. — Те все-таки из чувства жалости не оставляли попыток спасти его, пока какие-то воины, охранявшие мост, заметив это, не подбежали и не отрубили Лигарию голову. В другом случае один из братьев бросился в реку, и какой-то раб после пятидневных поисков нашел его тело; поскольку черты лица еще можно было узнать, он отрубил голову, чтобы получить награду. Второй брат, скрывавшийся в выгребной яме, был выдан другим рабом. Убийцы сочли ниже своего достоинства спуститься за ним, и, коля его со всех сторон копьями, выгнали из ямы и сразу же отрубили голову, даже не обмыв ее. Один человек, увидев, как схватили его брата, подбежал и, не зная, что и сам он проскрибирован вместе с братом, воскликнул: — Убейте сначала меня! — Тогда центурион, у которого был точный список, сказал: — Ты прав: ведь твое имя стоит в списке раньше его. — С этими словами он по порядку убил обоих. Вот какие бывают примерные братья.

23. Лигария укрыла его жена и ходила в тайное убежище в сопровождении одной только рабыни. Когда рабыня выдала ее, она бросилась за теми, кто нес голову ее мужа, с криком: — Я его укрыла, а ведь укрывателям назначено такое же наказание. — Так как никто не желал ни убивать ее, ни доносить, она пришла к властям с доносом на самое себя. И они оставили без внимания ее любовь к мужу, тогда она уморила себя голодом. Я упоминаю о ней здесь потому, что она потерпела неудачу, спасая мужа, и не захотела остаться в живых. Тех, кому сопутствовала удача, я вспомню, когда буду рассказывать о спасшихся мужьях. Но были и такие жены, которые бесчестно злоумышляли против своих мужей. Среди них выделяется супруга Септимия; ее соблазнил один приятель Антония, и ей очень захотелось превратить любовную связь в брак. Поэтому она через своего любовника обратилась с просьбой к Антонию, и Септимий тотчас был внесен в проскрипционный список. Услышав об этом от самой жены и ничего не зная о бедствии в собственном доме, он попытался бежать. Но его жена, с притворной заботливостью заперла двери и караулила мужа, пока не появились убийцы, и в тот же самый день, после убийства мужа, она справила свадьбу.

24. Салассу удалось бежать, но он совсем ослабел и как-то ночью возвратился в Рим, когда казалось, что опасность уже уменьшилась. Так как его дом был продан, то Саласса узнал лишь привратник, проданный вместе с домом; он принял бывшего хозяина в свое жилище, обещав укрыть его и по мере своих возможностей давать пропитание. Салас поручил ему вызвать жену из ее дома. Жена Саласса притворилась, будто полна желания видеть мужа, но сказала, что боится прийти ночью, — как бы служанки чего не заподозрили! — и поэтому придет днем. Когда наступил день, она отправилась за убийцами, но замешкалась, и привратник пошел за ней в ее дом. После ухода привратника Салас, боясь засады, поднялся на крышу и стал оттуда наблюдать. Увидев, что не привратник, а жена ведет убийц, он бросился с крыши. Фульвий спрятался в доме своей служанки, которая раньше была его наложницей, а затем получила свободу и приданое; несмотря на такие благодеяния, она пошла на предательство из-за ревности к той женщине, с которой Фульвий сочетался законным браком. Этих образцов порочных жен, вероятно, достаточно.

25. Самнит Стаций, оказавший самнитам много услуг во время союзнической войны, за свои подвиги, богатство и родовитость был зачислен в сенаторское сословие уже на восьмидесятом году жизни. Приговоренный к смерти из-за богатства, которым он обладал, Стаций открыл свой дом и предоставил народу и рабам выносить из него что угодно, а некоторые вещи и сам выбрасывал на улицу. Когда дом опустел, Стаций запер и поджег его и погиб сам, а пожар истребил многие кварталы города. Капитон через полуоткрытые двери убивал вторгавшихся одного за другим. На-

конец много людей разом бросились вперед и убили того, кто сам умертвил многих. Ветулин в окрестностях Регия [11] собрал большой отряд из проскрибированных лиц, которые бежали вместе с ним, а также из жителей восемнадцати городов, возмущенных тем, что их предназначили в награду воинам за победу. Итак, объединив их всех, Ветулин уничтожал шнырявших повсюду центурионов. Даже, когда против него были посланы превосходящие силы, он не отступился от начатого дела, а уплыл в Сицилию к управлявшему ею Помпею [12], который предоставил убежище беглецам. После этого он храбро продолжал борьбу, пока не был разбит в нескольких сражениях. Он отослал своего сына с остальными проскрибированными на корабле в Мессену [13], а сам, увидев, что корабль уже отчалил, бросился в гущу врагов и был убит.

26. Назон, которого предал вольноотпущенник, бывший его любовником, выхватил у одного из воинов меч, но убил одного лишь предателя и сдался убийцам. Один преданный раб оставил своего господина сидеть на холме, а сам отправился к морю, чтобы нанять корабль. Возвращаясь, он увидел, что его господина убивают. Когда тот уже испускал дух, раб громко закричал: — Подожди немного, господин! — и тут же, напав на центуриона, убил его. Затем, сказав господину: — Ты отомщен! — он покончил с собой. Левкий, поручив двум самым верным вольноотпущенникам нести золото к морю, отправился следом, но они убежали, а Левкий вернулся и, совсем пав духом, предал себя в руки убийц. Лабиен, который во времена проскрипций Суллы многих задержал и погубил, решил, что он будет покрыт позором, если теперь не перенесет мужественно такую же участь, которую когда-то уготовал другим. Он сел перед своим домом в кресло и стал ожидать убийц. Цестий скрылся в деревне у любивших его рабов, но когда увидел рыскающих центурионов с оружием и головами убитых, не смог дольше вынести страха и велел рабам разжечь костер, чтобы можно было сказать, будто хоронят умершего Цестия. Когда они, не подозревая хитрости, сделали это, Цестий бросился в огонь. Апоний скрывался в безопасном месте, но, не вытерпев голода, сам обрек себя на смерть. Еще кто-то нарочно сел на видном месте, но убийцы медлили, и он повесился у всех на глазах.

27. Луций, зять тогдашнего консула Азиния, бежал морем, но не выдержал зимней непогоды и бросился в пучину. Сисипий, убегая от погони, кричал, что он не проскрибирован и что против него строят козни, зарясь на его деньги. Тогда его подвели к спискам и велели прочесть свое имя, и пока он читал, его убили. Эмилий, не зная, что он внесен в список, и видя, как другого преследуют, спросил центуриона, кто этот проскрибированный. Центурион, узнав Эмилия, ответил: — Ты, а также этот человек, — и убил обоих. Циллон и Деций, выходя из курии, услышали, что их имена внесены в проскрипционные списки, и, прежде

чем кто-либо напал на них, потеряв голову побежали за ворота; само бегство выдало их шедшим навстречу центурионам.

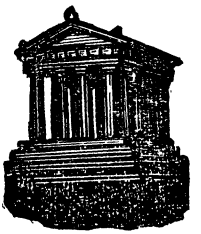
Когда судили Брута и Кассия в присутствии Цезаря с войском, один Ицилий открыто голосовал за оправдание, меж тем как остальные судьи тайно проголосовали за осуждение. Теперь же, забыв о мужестве и благородстве, он подставил плечи под носилки с чьим-то трупом. Когда караульные у ворот заметили, что носильщиков на одного больше, чем обычно, они, не беря под подозрение несущих, обшарили носилки, опасаясь, как бы вместо мертвеца не вынесли живого. Тут носильщики обнаружили, что Ицилий не их сотоварищ по ремеслу, и убийцы, опознав его, убили.

28. Вар, на которого донес вольноотпущенник, блуждал в горах и забрел в Минтурнское [14] болото, там он остановился, чтобы отдохнуть и набраться сил. Когда минтурнцы в поисках какого-то разбойника стали рыскать по болоту, тростник закачался и выдал Вара. Его схватили, и он назвался разбойником. Осужденный на смерть, он остался спокоен, но когда его собрались подвергнуть пытке, чтобы он выдал сообщников, не в силах перенести этот страшный позор, он сказал: — Да будет вам известно, минтурнцы, что я консуляр [15] и что я проскрибирован (а это для тех, кто теперь правит, особенно важно), поэтому не пытайте меня и не казните. Если мне все равно не избежать смерти, лучше принять ее от равных мне по достоинству. — В то время как минтурнцы с недоверием слушали слова Вара, подъехал делавший объезд центурион и отрубил ему голову, тело же оставил минтурнцам. Ларг, скитавшийся в полях, был схвачен людьми, которые искали не его, а кого-то другого. Увидев, что поймали не того, кого ищут, они сжалились над Ларгом и позволили ему бежать в лес. Когда же в погоню за ним пустился другой отряд, он бегом вернулся к первым и воскликнул: — Лучше уж убейте меня вы, раз вы сжалились надо мной, а вам за это будет награда. — Так, умирая, он отплатил им за сострадание.

29. У Руфа был прекрасный дом по соседству с женой Антония Фульвией. В свое время он не согласился выполнить желание Фульвии и продать ей свой дом, теперь же, хотя сам подарил его, все же был проскрибирован. Когда голову Руфа принесли Антонию, он сказал, что она ему не нужна, и отослал ее к жене; та приказала выставить голову — только не на форуме, а подле дома. Другой человек владел отличным поместьем, в котором были тенистые деревья и красивая, глубокая пещера; вероятно, именно по этой причине он и был проскрибирован. Раб, издалека заметив приближавшихся убийц, укрыл хозяина (он в это время отдыхал) в углу пещеры, а сам, надев хозяйскую короткую тунику, выдал себя за господина и ловко разыграл страх. Возможно, вышло бы так, что его убили, если бы один из рабов не обнаружил обмана. Когда господин был убит, народ не переставал выражать магистратам негодование до тех пор, пока не добился того,

что доносчика повесили, а верному рабу даровали свободу. На скрывавшегося Атерия донес его раб. Тотчас получив свободу, он откупил достояние проскрибированного у его детей и стал злоиздеваться над ними. Те же молча, в слезах, повсюду ходили за ним, пока народ не возмутился и триумвиры не сделали этого человека за неслыханное беззаконие снова рабом детей проскрибированного. Такова была участь мужчин.

30. В те времена судьба преследовала и богатых сирот. Один из таких сирот был убит по пути в школу вместе со своим педагогом, который обнял мальчика и до последнего вздоха не выпускал из своих объятий. Атилий, впервые облачившийся в мужскую тогу, направлялся в сопровождении друзей в храм, чтобы совершить полагающееся по обычаю жертвоприношение. Неожиданно стало известно, что имя его внесено в проскрипционный список, его друзья и рабы разбежались, и Атилий, оставшись один и лишившись пышного торжества, направился к матери. Так как та, испугавшись, не приняла его, сын не захотел обратиться к кому-нибудь другому и бежал в горы. Голод вынудил его спуститься на равнину, и тут его схватил один человек, который обычно нападал на прохожих и заставлял их работать на себя. Изнеженный мальчик не вынес тяжелого труда, убежал на проезжую дорогу и, как был в оковах, сам отдал себя в руки центурионов и был убит.



ФЛАВИЙ АРРИАН

ПОХОД АЛЕКСАНДРА

IV, 8—12

[Александр и Клит. Александр и Каллисфен]

8. Теперь я считаю своевременным рассказать о несчастье, случившемся с Клитом, сыном Дропида, а также о преступлении Александра...

Говорят, у македонян один день посвящен Дионису, и Александр ежегодно в этот день приносил жертву богу. Но в тот год он пренебрег Дионисом и принес жертву Диоскурам. Именно с этого времени он установил жертвоприношения этим богам. Пирушка затянулась (ведь и на пирах Александр ввел повшества, сходные с варварскими обычаями), и среди подвыпивших завязалась беседа о Диоскурах, о том, каким образом их род, идущий от Тиндара, возводят к Зевсу. Некоторые из присутствующих, льстя Александру (такие люди всегда наносили и никогда не

перестанут наносить вред царям), заявляли, что невозможно сравнивать подвиги Полидевка и Кастора с деяниями Александра. Другие решились приравнять царя даже к Гераклу. Лишь зависть, говорили они, препятствует тому, чтобы смертным еще при их жизни современники воздавали должные почести. Клит, по-видимому, уже давно возмущался приверженностью Александра варварским обычаям и словам льстецов, а тут, возбужденный вином, заявил, что не может вынести ни поношения богов, ни того, чтобы умаляли дела древних героев и несправедливо приписывали их заслуги Александру. — В самом деле, — сказал он, — подвиги Александра совсем не так велики и удивительны, как говорят эти люди, восхваляя их, да и не он один совершил все это, а большая часть его подвигов была делом рук македонян. — Эти слова Клита привели Александра в раздражение. Да и я не одобряю этих слов и полагаю, что на такой попойке следовало бы каждому сохранять свое мнение при себе и не впадать вместе с другими в порок лести. Когда же некоторые, упомянув о делах Филиппа, без всякого основания начали уверять, что Филипп не совершил ничего великого или удивительного, — они тоже хотели угодить Александру, — Клит, выйдя из себя, стал превозносить подвиги Филиппа и унижать Александра и его деяния. Разгорячившись, он упрекал Александра во многом и особенно задел его напоминанием о том, что спас его во время конного сражения с персами при реке Гранике. Хвастливо подняв правую руку, он сказал: — Эта рука, Александр, тогда спасла тебя. — Александр не мог дольше выносить оскорблений и дерзости Клита, в гневе бросился на него, но был удержан сотрапезниками. Клит же не переставал похваляться. Александр стал кричать, звать телохранителей, но никто не явился на его зов, и он воскликнул, что попал в такое же положение, как Дарий, когда, захваченный Бессом [1] и его сообщниками, он только по имени оставался царем. Тогда товарищи не решились дольше удерживать Александра, а он, вырвавшись, выхватил, как говорят некоторые, копье у какого-то телохранителя, метнул его и убил Клита. Другие утверждают, что он вырвал сариссу у одного из стражей. Аристобул не сообщает, из-за чего возникла ссора, но, по его словам, вся вина лежит на Клите, ибо когда Александр разгневался и бросился на него, то телохранитель Птолемей, сын Лага, вывел его через ворота за стену и ров, окружавший крепость, в которой все это происходило. Но Клит не удержался и, вернувшись, наткнулся на Александра, который выкрикивал его имя. — Вот он, твой Клит, Александр, — сказал он; тогда-то он и получил смертельный удар сариссой.

9. Что касается меня, то я сильно порицаю Клита за его заносчивость и оплакиваю судьбу Александра, так как он явно подпал власти двух пороков, из которых ни одному не должен поддаваться благоразумный человек, — гневу и пьянству. Но одновременно я хвалю Александра за то, что он сразу понял, какой

ужасный поступок совершил. Некоторые, писавшие об Александре, говорят, что он приставил к стене сариссу и сам хотел броситься на нее, считая позором жить после того, как в опьянении убил друга. Однако большинство писателей об этом умалчивают. Рассказывают лишь, что он, рыдая, удалился в опочивальню, лег и стал звать по имени Клита и сестру Клита Ланику, дочь Дропида, свою кормилицу, получившую поистине ужасное вознаграждение от него теперь, когда он стал взрослым. Ведь она видела убитыми своих сыновей, сражавшихся за Александра, и брата ее он убил своей рукой. Твердя, что он убийца друзей, Александр три дня воздерживался от пищи и питья и вообще никак о себе не заботился. Некоторые прорицатели усматривали в случившемся гнев Диониса, так как Александр пренебрег жертвоприношением этому богу. С трудом удалось друзьям уговорить царя принять пищу и хоть как-нибудь подкрепить свои силы. Жертвоприношение Дионису он все же совершил, и ему пришлось по душе, что причиной несчастья считали гнев бога, а не порочность царя. Особенно же хвалю я Александра за то, что он не стал ни кичиться своим преступлением, ни — что было бы еще хуже — оправдывать и выгораживать себя, но признал, что совершил чисто человеческую ошибку. Некоторые пишут, что явился софист Анаксарх, приглашенный к Александру, чтобы утешить его. Видя, что Александр лежит и стонет, Анаксарх засмеялся и сказал, что тот, вероятно, не знает, почему именно древние помещали справедливость на престоле рядом с Зевсом. Что бы ни решил Зевс, все следует считать справедливым. Значит и все, что совершит великий царь, должен считать справедливым прежде всего он сам, а затем и остальные люди. Такими словами он тогда несколько ободрил Александра. Я же считаю, что Анаксарх причинил Александру большое зло и даже большее, чем то, которое тогда мучило царя, ибо он почел за мудрое мнение тот взгляд, что не к справедливости следует царю с особым тщанием стремиться, но что все деяния, какие бы он ни совершил, должны считаться справедливыми. Тогда же, говорят, Александру явилась мысль ввести земные поклоны, так как он вообразил, будто он скорее сын Аммона, чем Филиппа [2], и, восхищаясь персидскими и мидийскими обычаями, стал подражать им, переменив способ обхождения и остальные обычаи. При этом у него не было недостатка в одобрявших его действия льстецах среди разных лиц, в том числе среди окружавших его софистов, таких, как Анаксарх и аргосский поэт Агис.

10. А вот Каллисфен Олинфский, учившийся у Аристотеля, человек довольно грубого нрава, не одобрял этих нововведений. Согласен с Каллисфеном и я, но все же считаю, что Каллисфен нескромен (даже если говорит правду), когда заявляет, будто Александр и его деяния стали известны миру только благодаря ему, Каллисфену, и его сочинениям. Ведь он не затем пришел к Александру, чтобы самому прославиться, а для того, чтобы его

прославить среди смертных. О божественном участии в судьбе Александра нужно судить не по тем вымыслам, которые распространяет о его рождении Олимпиада, а по тому, что сообщает Каллисфен, писавший об Александре. Некоторые авторы пишут, что однажды, когда Филот спросил Каллисфена, кого, по его мнению, особенно чтут в афинском государстве, тот ответил: — Гармодия и Аристогитона, за то, что они убили тирана и свергли тиранию. — У кого из эллинов может спастись убийца тирана? — продолжал Филот. Каллисфен ответил, что если беглец не найдет спасения ни у кого другого, то, во всяком случае, найдет его у афинян, так как они вели войну за сыновей Геракла против Эврисфея, который в ту пору тиранически правил Грецией. О том, как Каллисфен отказался земно кланяться Александру, рассказывают следующее. Александр условился с софистами и с наиболее знатными из окружавших его персов и мидян завязать во время пира беседу о поклонах. Начало беседе положил Анаксарх. Он заявил, что Александра с бóльшим правом можно считать богом, чем Диониса и Геракла, не только по многочисленности и величию его деяний, но и потому еще, что Дионис был фиванским богом, ничего общего не имеющим с македонянами, Геракл же — аргосцем, так что и он с македонянами не связан, если не считать того, что от него ведет свой род Александр. Для македонян правильнее воздавать божеские почести своему царю. Бесспорно, они будут чтить его как бога, когда его уже не будет в живых. Но, конечно, больше оснований почитать живого, чем мертвого, которому уже нет никакой пользы от почета.

11. Когда Анаксарх высказал такое мнение, соучастники его замысла похвалили его слова и сказали, что готовы делать земные поклоны Александру. Большинство македонян, не одобрявших речи Анаксарха, сохраняли молчание. Каллисфен, вступив в разговор, сказал: — Я отнюдь не думаю, Анаксарх, что Александр недостоин какой бы то ни было почести, которые подобает воздавать людям. Но у людей различаются почести божеские и человеческие как во многом другом, так и в возведении храмов и сооружении статуй. Богам отводят священные земли, приносят жертвы, совершают возлияния. В честь богов слагаются гимны, между тем как людям воздаются похвалы. Не меньше различия и в приветствиях: людей при встрече целуют, а так как к божеству, находящемуся на возвышенном месте, не дозволяется даже прикасаться, его чтут земным поклоном. В честь богов устраивают хороводы и поют пеаны. И нет ничего удивительного в том, что разным богам воздают различные почести, а героям, клянусь Зевсом, — тоже различные, причем эти последние отличаются от божеских. Нельзя смешивать одно с другим и превозносить людей превыше того, что им подобает. В то же время не следует и богов ставить в недостойное им низкое положение, оказывая им те же почести, что и людям. Ведь Александр не потерпел бы, если бы кому-нибудь из обыкновенных людей были незаконно,

поднятием руки или голосованием, присвоены царские почести. У богов же будет гораздо больше оснований гневаться, если кто из смертных присвоит себе божеские почести или согласится с тем, чтобы их воздавали ему другие. Александр и по существу и во мнении людей — самый доблестный из смертных и самый царственный среди всех царей, первый среди всех полководцев. Кому как не тебе, Анаксарх, следовало бы наставлять Александра подобным образом и удерживать других от противоположных суждений, раз ты по причине мудрости твоей и знаний близко общаешься с ним? Ни в коем случае не следовало тебе начинать такую речь; тебе должно было помнить, что ты подаешь советы не Камбизу и не Ксерксу, а сыну Филиппа, который ведет свой род от Геракла и Эака и чьи предки прибыли из Аргоса в Македонию и правили не насилием, а по македонским законам. Даже Гераклу предки не воздавали божеских почестей ни при его жизни, ни даже после смерти, до тех пор, пока не было повеления от дельфийского оракула почитать Геракла как бога. Если же должно иметь варварский образ мыслей, раз мы беседуем в варварской стране, то я, Александр, молю тебя вспомнить об Элладе, ради которой ты предпринял весь этот поход, дабы присоединить Азию к Элладе. Поразмысли вот над чем: когда ты возвратишься в Элладу, неужели ты принудишь греков, самых свободных среди народов, земно кланяться тебе или для греков сделаешь исключение и все бремя возложишь на македонян? Или же у тебя знаки почета будут разграничены: от греков и македонян ты будешь получать почести по греческому обычаю, подобающие человеку, и только варвары станут чтить тебя по-варварски? Кир, сын Камбиза, говорят, первый изо всех смертных потребовал, чтобы кланялись ему земно, от него ведь пошел у персов и мидян этот унизительный обычай. Но следует принять во внимание, что того же самого Кира образумили скифы [3], люди бедные, но повиновавшиеся своим собственным законам. Дария же, в свою очередь, образумили другие скифы [4], Ксеркса — афиняне и македоняне [5], Артаксеркса — Клеарх и Ксенофонт, со своими десятью тысячами [6], а второго Дария — Александр, не поклонившийся ему земным поклоном.

12. Этими и подобными речами Каллисфен сильно раздражил Александра, зато угодил македонянам. Заметив это, Александр запретил македонянам даже поминать про земной поклон. Но когда водворилось молчание, самые старшие из персов встали и по порядку отдали поклон. Леоннату, одному из сотоварищей Александра, показалось, что какой-то перс сделал поклон некрасиво, и он рассмеялся над его униженным видом. Александр тогда рассердился на Леонната, но впоследствии примирился с ним. Рассказывают, однако, и следующую историю. Александр велел обносить вкруговую золотой чашей прежде всего тех, кто согласился кланяться ему земным поклоном. Тот, кто выпил первым, встал, отдал поклон Александру и получил от него поцелуй. Это стали

делать все по порядку. Когда очередь дошла до Каллисфена, он встал, выпил чашу и, подойдя, захотел получить поцелуй, не отдав поклона. Александр в тот момент вел беседу с Гефестионом и поэтому не обратил внимания на то, отдал ли Каллисфен поклон. Но сын Пифонака Деметрий, один из друзей Александра, сказал, что Каллисфен подошел, не совершив поклона. Поэтому Александр не позволил поцеловать себя. Тогда Каллисфен сказал, что уходит, став беднее на один поцелуй. Что касается заносчивости Александра в данном случае, а также резкости Каллисфена, то я никоим образом не стану одобрять ни то, ни другое. Я скажу, что нужно проявлять умеренность самому и по возможности поддерживать царя в его начинаниях, раз не считаешь для себе недостойным находиться при нем. Я полагаю, что не без причины ведь возникла у Александра ненависть к Каллисфену, проявившему неуместную развязность в речах и необузданность в поступках. Поэтому, как мне кажется, он легко поверил тем, кто обвинял Каллисфена в причастности к заговору молодых прислужников; говорили даже, что он сам их подстрекал.

VII, 24—30

[*Смерть Александра*]

24. Но уже и к самому Александру приближалась смерть. О знамениях, предрекавших это, Аристобул пишет следующее. Александр распределял по соединениям македонян воинов, прибывших с Певкестом из Персии и с Филоксеном и Менандром от моря. Почувствовав жажду, он встал с места и оставил царский трон пустым. По обе стороны трона находились кресла на серебряных ножках, где сидели приближенные царя. Один из низших прислужников (некоторые говорят даже, что он был из числа тех, кто находился под стражей, хотя и без оков), увидев, что царский трон и кресла пусты и что вокруг трона стоят одни евнухи (приближенные царя вышли вслед за ним), проскользнул мимо евнухов, поднялся на трон и сел. Евнухи, согласно какому-то персидскому закону, не осмелились стащить его с трона. Они стали рвать свои одежды и бить себя по груди и по лицу, словно стряслась великая беда. Когда о случившемся донесли Александру, он приказал подвергнуть севшего на трон пытке, желая узнать, не действовал ли он по злому умыслу. Но тот признался только в том, что сделал это по легкомыслию, и больше ничего нельзя было от него добиться. — Тем более это не предвещает ничего хорошего, — заключили предсказатели. После этого прошло немного дней, царь принес богам обычные жертвы, чтобы начало похода было благополучным, прибавил к ним еще некоторые другие по совету предсказателей, а затем стал пировать с друзьями, и попойка затянулась до поздней ночи. Говорят, что он приказал

раздать войску туши жертвенных животных и разнести вино по отрядам и сотням. Некоторые сообщают, что после пира он пожелал удалиться к себе в опочивальню, но его встретил Мидий, в ту пору один из самых близких его друзей, и попросил Александра пожаловать к нему, обещая, что пир будет прекрасным.

25. Вот что записано в придворных дневниках. Царь пил на пиру у Мидия, затем вышел из-за стола, выкупался и заснул; потом снова пировал у Мидия до поздней ночи и опять пил; прекратив попойку, он еще раз выкупался, а выкупавшись, немного поел и тут же прилег, так как его уже лихорадило. Его принесли на носилках к жертвеннику, и он совершил жертвоприношение, как совершал ежедневно; после жертвоприношения он лежал в мужской половине до наступления темноты. В это время он сообщил военачальникам о будущем походе по суше и по морю: он приказал пешим приготовиться к выступлению на четвертый день, а морякам — на пятый день. После этого носилки понесли к реке; взойдя на судно, Александр переправился через реку в сад, там он опять искупался и лег отдыхать. На следующий день он еще раз выкупался и совершил положенное жертвоприношение. Он вошел в покои и возлег с Мидием, беседовал с ним, военачальникам же приказал явиться к нему утром. После этого он немного поел. Когда его снова принесли в покои, лихорадка неотступно мучила его всю ночь. На следующий день он выкупался и совершил жертвоприношение. Неарху и остальным военачальникам он приказал быть готовыми к отплытию на третий день. Назавтра он снова выкупался и принес установленные жертвы. После жертвоприношения лихорадка не прекратилась, но он все-таки созвал военачальников и велел им, чтобы все было готово к отплытию. Под вечер он искупался и после купанья почувствовал себя еще хуже. Когда рассвело, его перенесли в помещение рядом с купальней, он совершил положенное жертвоприношение, и хотя недомогание усиливалось, все же позвал главных военачальников и еще раз отдал распоряжение об отплытии.

На другой день, когда Александра вынесли для жертвоприношения, он с трудом совершил его, но тем не менее повторил приказ об отплытии. И на следующий день он совершил положенное жертвоприношение, хотя и чувствовал себя очень плохо. Он приказал главным военачальникам находиться у ворот дворца, а хилиархам и пентакосиархам [7] — перед дверями. Когда он почувствовал себя совсем плохо, его перенесли из сада во дворец. Военачальники вошли к нему, и он еще узнал их, но уже ничего не сказал и оставался безмолвным. Всю ночь он горел в страшном жару, так же как и весь следующий день, а затем еще ночь и еще день.

26. Вот что записано в придворных дневниках. Кроме того, там говорится, что воины очень хотели видеть Александра. Одни из них желали в последний раз увидеть его живым, другие, мне кажется, подозревали, что телохранители Александра скрывают смерть царя, так как пронесся слух, что он уже умер. Большинство

же домогалось увидеть Александра, печалясь и скорбя по нем. Но царь, как говорят, не проронил ни слова, когда войско проходило мимо него. Все же он каждому протягивал правую руку, с трудом подымая голову и выражая благодарность взглядом. Придворные дневники сообщают, что Пифон, Аттал, Демофонт и Певкест, а также Клеомен, Менид и Селевк провели ночь в храме Сараписа; они вопрошали бога, не полезнее ли и не лучше ли будет для Александра, если его принесут в храм, чтобы бог исцелил царя по его молитве; но божество изрекло, что Александра не нужно вносить в храм, а лучше оставить его на месте. Друзья сообщили это царю, и немного времени спустя Александр скончался; значит, и на самом деле так было для него лучше. Ни Аристолуб, ни Птолемей не сообщают больше ничего. Некоторые же говорят еще вот что: когда друзья спросили Александра, кому он завещает царскую власть, тот ответил: — Лучшему. — К этим словам, сообщают иные, царь прибавил, что он предвидит, какая острая борьба начнется после его смерти.

27. Я знаю, что о кончине Александра написано много другого, например, будто бы от Антипатра ему был прислан яд и что от этого яда он умер. Яд якобы приготовил для Антипатра Аристотель, который боялся Александра после смерти Каллисфена. Доставил яд сын Антипатра Касандр — некоторые пишут даже, что Касандр доставил его в копыте мула. А подал его царю младший брат Касандра Иолай. Он был царским виночерпием, и Александр чем-то оскорбил его незадолго до своей смерти. Другие считают, что соучастником преступления был Мидий, влюбленный в Иолая: ведь это он устроил ту попойку. Выпив чашу вина, царь почувствовал острую боль и был вынужден удалиться с пира. Кто-то не постыдился написать, будто Александр, понимая, что ему больше не жить, пошел к Евфрату и бросился в реку, дабы исчезнуть с людских глаз и оставить у потомков более правдоподобную молву о том, что он был и рожден от бога и отошел к богам. От жены Александра Роксаны его намерение не укрылось. Она пыталась удерживать царя, а тот зарыдал и сказал, что она завидует его славе: ведь ему вечно будут воздавать божеские почести. Все это я пересказываю скорее для того, чтобы не показаться неосведомленным, нежели потому, что считаю подобные сообщения заслуживающими доверия.

28. Умер Александр в 114 олимпиаду, когда в Афинах архонтом был Гегесий. Он прожил полных тридцать два года, а из тридцать третьего — восемь месяцев, как говорит Аристобул. Царствовал он двенадцать лет и восемь месяцев. Он был очень красивой наружности, весьма трудолюбив, отличался острым умом, невиданной храбростью, честолюбием, любовью к опасностям, тщательностью в отправлении религиозных обрядов. Он был до крайности воздержным в том, что касалось тела, зато совершенно ненасытным к славе. Он быстро соображал, как нужно поступить в сомнительных обстоятельствах; из того, что казалось возможным, он

необыкновенно удачно выбирал наиболее подходящее. Александр был очень опытен в построении войска, его вооружении и командовании им. Поднять дух воинов, преисполнить их добрыми надеждами, во время опасности подавить общий страх своим личным бесстрашием — все это было ему доступно в силу врожденных способностей. С величайшим мужеством он принимался за опасные дела. Он удивительно искусно умел неожиданно обойти врага, прежде чем кто-либо успевал испугаться того, что угрожало. Он был чрезвычайно тверд в выполнении своих обещаний и договоров и в то же время настолько осторожен, что его нельзя было поймать врасплох. В тратах на свои личные нужды он проявлял чрезвычайную умеренность, а в издержках на друзей — величайшую щедрость.

29. Если Александр делал что-нибудь неправильно, или не подумав, или в гневе, или в силу неумеренного подражания варварским обычаям, я не считаю это столь уж важным. Надо принимать во внимание молодость Александра, непрерывно сопутствовавшую ему удачу и учитывать, что вокруг царей — к великому несчастью их, а не ко благу — толпятся и будут толпиться льстецы. В то же время я знаю, что изо всех царей прежних времен одному только Александру в силу его благородства было присуще раскаиваться в своих ошибках. Ведь большинство, даже сознавая за собой какие-либо ошибки, защищают свои действия как якобы правильные и надеются прикрыть этим свою вину. Напрасная надежда: единственное средство исправить ошибку — это осознать ее и открыто в ней раскаяться.

Поэтому тем, кто вытерпел какую-либо несправедливость, она не кажется столь тяжелой, если совершивший ее признается, что поступил нехорошо. А у самого виновника появляется добрая надежда, что он уже не повторит подобного другого поступка, если раскаялся в своих прежних заблуждениях. То, что Александр возводил свое происхождение к божеству, мне не кажется тяжким проступком: ведь это не что иное, как выдумка с целью вызвать большее уважение к себе со стороны подчиненных. Кроме того, как мне представляется, Александр нисколько не менее выдающийся царь, чем Минос, или Эак, или Радамант. В древности были уверены, что они происходят от Зевса, и теперь это не считается высокомерием. Равным образом Александр был славен не менее Тесея, сына Посейдона, и Иона, сына Аполлона. По-моему, персидская роскошь была введена царем для того, чтобы не быть в глазах варваров во всех отношениях чужим, а также для того, чтобы располагать своего рода защитой от македонской заносчивости и дерзости. По этой причине, думается мне, Александр включил в македонские отряды персидских мелофоров [8] и знатных персов зачислил в гвардию телохранителей. Пиры, как говорит Аристобул, были у него долгими не из-за любви к вину (ведь сам Александр пил вина немного), а лишь потому, что он желал выказать свою благосклонность к друзьям.

30. Ввиду всего этого всякий, кто порицает Александра, пусть порицает его, приняв во внимание не только то, что действительно достойно порицания, но сведя воедино все его деяния. Пусть он прежде поразмыслит, каков он сам, какая у него судьба и к обвинению какого человека он приступает: ведь этот человек достиг такой ступени удачи, что стал бесспорным владыкой обоих материков, а имя его прославилось по всему свету. Тот же, кто порицает его, сам ничтожен, занимается ничтожными делами и даже эти дела не делает как следует. Мне кажется, ни одного племени, ни одного города не было в то время, не было даже ни одного человека, до которого бы не дошло имя Александра. Я думаю, что не без божеской воли родился этот человек, которому не равен никто из смертных. Об этом свидетельствуют и всякого рода знамения, которыми сопровождалась кончина Александра, видения, являвшиеся различным людям, вещие сны, которые видели многие, кроме того, живущая и поныне среди смертных слава его, память о нем, более долговечная, чем выпадает на долю человека, наконец те оракулы, которые и теперь, по прошествии стольких лет, предписывают македонскому народу чтить Александра. Хотя я сам в своем описании деяний Александра кое-что в них порицал, все же самим Александром я восхищаюсь без всяких колебаний. Некоторые поступки его я осудил, стремясь к истине и желая принести пользу людям. С теми же намерениями я в свое время, не без воли божества, приступил к написанию этой истории.

ПЛАВАНИЕ ВОКРУГ ПОНТА ЭВКСИНСКОГО

21—23

[*Остров Ахилла*]

Если плыть от устья Истра под северным ветром в открытое море, на пути встречается остров, который одни называют Ахилловым островом, другие — Ахилловым ристалищем, третьи — Белым островом [1] по его цвету. Говорят, что Фетида подняла этот остров из моря для своего сына и что на нем живет Ахилл. На этом острове есть храм Ахилла и его статуя старинной работы. Остров безлюден, на нем пасется лишь несколько коз, которых, как говорят, посвящают Ахиллу те, кто сюда пристает. Много приношений находится в храме: чаши, перстни, драгоценные камни. Все это благодарственные дары Ахиллу. Здесь есть и надписи на латинском и на греческом языках, написанные разными размерами и воздающие хвалу Ахиллу, а некоторые и Патроклу. Дело в том, что все, кто хочет обрести благоволение Ахилла, почитают вместе с Ахиллом и Патрокла. Много птиц обитает на острове: чайки, гагары и бесчисленные стаи морских ворон. Эти птицы служат в храме, ранним утром они улетают в море, затем намочив в воде крылья, поспешно возвращаются к храму и окропляют его. Когда это сделано, тогда они своими крыльями как бы подметают пол.

22. Передают еще вот что. Те посетители острова, которые приплывают сюда намеренно, везут с собой на кораблях жертвенных животных. Одних они закалывают, других оставляют Ахиллу. Некоторых же путешественников заставляет причалить здесь буря, и они просят самого бога дать им жертвенное приношение. Обращаясь к оракулу, они вопрошают, принесет ли им пользу и благо, если они заколют именно то животное, которое они выбрали по

своему усмотрению; вместе с тем они предлагают уплатить за него цену, которая им кажется подходящей. Если оракул (а в храме есть оракулы) отвечает отрицательно, то к цене делают надбавку; если же и в этом случае он не соглашается, то добавляют еще. Когда со стороны оракула последует согласие, то они понимают, что цена признана подходящей. Тогда жертвенное животное само по своей воле остается в храме и никуда не убегает. Таким образом, герою принесено в дар много серебра в виде платы за жертвенных животных.

23. Ахилл, говорят, является многим во сне: одним, когда они пристанут к острову, другим — когда они еще в море и находятся недалеко от острова. Он указывает, где лучше пристать к берегу и где стать на якорь. Некоторые говорят, что видели Ахилла и воочию на реях или на верхушке мачты, подобно Диоскурам. Однако он уступает Диоскурам в том, что они воочию показываются в открытом море, выступают явными спасителями мореплавателей, Ахилл же появляется тем, кто уже приближается к острову. Некоторые утверждают, что им во сне предстает и Патрокл. Эти сведения об острове Ахилла я получил от тех, которые или сами там побывали, или слышали рассказы очевидцев; причем все это мне не кажется невероятным. Уж кто-кто, а Ахилл, по моему убеждению, — герой, отличающийся и благородством, и красотою, и силой души; он умер молодым и был прославлен Гомером, а в любви и дружбе оказал такое постоянство, что сам предпочел умереть после смерти того, кого любил [2].

НАСТАВЛЕНИЕ ОХОТНИКУ

5

[Похвала Гормэ]

Я воспитал собаку с очень светлыми глазами, однако она была резва, неутомима, полна огня и крепка на ногах [1], так что в лучшую свою пору однажды взяла зараз четырех зайцев. Собака моя имеет отличный нрав (она и сейчас, когда я пишу это, у меня), приветлива и, как ни одна до нее, привязана и ко мне, и к моему другу и сотоварищу по охоте, Мегиллу. Когда она отдыхает от бега, то не отходит от нас, когда я дома — все время проводит со мной, а если иду куда-нибудь, она меня провожает, даже когда я отправляюсь в гимнасий, и дожидается там, пока я не освобожусь. На пути домой она бежит впереди, постоянно оборачивается, чтобы убедиться, что я не свернул в сторону, а видя меня вблизи, улыбается и снова бежит дальше. Если же я иду по какому-нибудь общественному делу, она остается с Мегиллом и ведет себя с ним так же, как со мной. Стоит кому-нибудь из нас заболеть, она не покидает больного. После даже краткой разлуки начинает ласково прыгать, словно в знак привета, и вдобавок лает, показывая свою радость. Во время наших трапез она толкает нас то одной, то другой лапой, напоминая, что и ей полагается доля угощения. Она очень склонна к беседе — другой такой разговорчивой собаки мне не приходилось видеть. Все, что ей нужно, она умеет выражать голосом. Так как щенком она была наказана плетью, то и теперь еще, стоит произнести слово «плетка», она подойдет, пригнется и будет смотреть просительно,

потом потянется мордой, словно для поцелуя, подпрыгнет, бросится на шею и не отойдет, пока тот, кто ей грозил, не смягчится. Я хочу назвать имя моей собаки, чтобы память о ней сохранилась на будущее и люди знали, что у Ксенофонта Афинского [2] была собака Гормэ, самая резвая, самая умная, самая чудная на свете.

ПАВСАНИЙ

ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ

I, 32, 3—4

[Марафон]

Есть дем [1] Марафон, отстоящий на равное расстояние как от города афинян, так и от города Кариста на Эвбее. В этом месте Аттики высадились варвары, здесь они были побеждены в битве, и здесь они, когда старались уйти в открытое море, потеряли несколько кораблей. На равнине есть могила афинян, а на ней стелы [2], на которых написаны имена погибших с обозначением филы [3] каждого из них; есть и другая могила — для беотийцев из Платей и для рабов: ведь именно тогда впервые в сражении принимали участие рабы. И отдельно стоит могильный памятник Мильтиада, сына Кимона; его кончина последовала позднее, когда он потерпел неудачу под Паросом и поэтому был привлечен

афинянами к суду. Тут каждую ночь можно слышать ржание коней и шум сражения. Если кто нарочно явится посмотреть на это зрелище, то это не проходит даром ему, но если это произойдет по незнанию или как-либо случайно, то гнев богов его не коснется. Марафоняне почитают тех, кто пал в этой битве, называя их героями; чтут они и Марафона, от которого имя этому дему, и Геракла, говоря, что они первые из эллинов признали Геракла богом. По их рассказам, во время этой битвы явился некто, по виду человек, по одежде — земледелец; избивши многих варваров оралом, он после этого подвига исчез. Когда афиняне обратились к богу с вопросом, он им ничего не изрек, только повелел почитать героя Эхтелия. Тут же поставлен и трофей из белого мрамора. Афиняне говорят, что они похоронили здесь и мидян [4], так как это священная обязанность всякого предать земле труп умершего; но никакой могилы я здесь найти не мог; тут не видно было ни насыпи, ни какого-либо другого знака; они их, видимо, сносили в ямы и бросали как попало.

II, 20, 7—8

[Битва аргивянок со спартанцами]

Выше театра лежит святилище Афродиты и перед храмом — стела с рельефным изображением Телесиллы [1], той, которая писала стихи: ее книги брошены у ее ног, сама же она смотрит на шлем, который держит в руке, собираясь надеть его себе на голову. Эта Телесилла была прославлена среди женщин за многие свои достоинства, но особенно ее почитали за ее поэтический дар. Когда аргивян постигло поражение, не поддающееся никакому описанию, в битве против Клеомена, сына Анаксандрида, и лакедемонян [2] и когда одни из аргосцев пали в этой битве, другие же, которые бежали в рощу Аргоса, тоже погибли там, — они сначала было вышли из рощи, полагаясь на договор, но увидели, что их обманывают, оставшиеся же были сожжены вместе с рощей, — тогда Клеомен повел лакедемонян на Аргос, лишенный защитников. Но Телесилла поставила на стенах рабов и всех тех, кто вследствие молодости и старости был не способен носить оружие, сама же, собравши оружие, которое оставалось в домах и которое можно было найти в храмах, вооружила им женщин цветущего возраста и, вооруживши их, расставила их там, где, как она узнала, враги будут наступать. Когда же лакедемоняне уже подошли, и женщины не испугались их воинственного клича и, приняв их удар, смело сражались, то лакедемоняне подумали, что, если они погубят этих женщин, их победа будет бесславна, если же они будут разбиты, то поражение соединится для них с позором; поэтому они отступили перед женщинами. Это столкновение еще

раньше предсказала Пифия, и ее изречение, видоизмененное или подлинное, сообщил нам Геродот: [3]

Если над силою мужей одержат жены победу,
Выгонят их из страны и Аргос славой венчают,
Много в этот день аргивянок терзать будут щеки, рыдая.

Так гласило это предсказание о подвиге женщин.

II, 37, 4—5

[*Источник Амимоны и Алкионийское озеро*]

У источника Амимоны растет платан; под этим платаном, как говорят, выросла знаменитая гидра. Я верю, что это животное превосходило других гидр величиной и что оно обладало таким сильным ядом, что Геракл его желчью обмазал концы своих стрел, но голову эта гидра все же, как мне кажется, имела одну, а не много. Поэт Писандр [1] из Камира, для того чтобы это животное показалось более страшным, а его поэма оказалась более интересной, вместо одной головы приписал этой гидре много голов. Видел я и так называемый источник Амфиарая и Алкионийское озеро, через которое, как говорят аргосцы, Дионис спустился в Аид, чтобы вывести на землю Семелу, а спуск туда ему показал Полимн. Глубина этого озера беспредельна, и я не знаю ни одного человека, которому каким бы то ни было способом удалось достигнуть его дна; даже Нерон, приказав связать между собой канаты длиной в несколько стадиев, привязать к их концу свинцовое грузило и сделать все возможное для успеха этого опыта, — даже он не мог найти, каков предел его глубины. Я слыхал об этом озере вот что: вода в нем кажется гладкой и спокойной, но кто, обманутый этим видом, осмелится броситься вплавь, того вода влечет вниз и, захватив, уносит в бездну. В окружности это озеро не больше трех стадиев; на берегах его растут трава и тростник. Но что ежегодно ночью совершается там в честь Диониса — описывать это для всеобщего сведения, по моему мнению, было бы нечестием.

VII, 19

[*Человеческие жертвоприношения Артемиде*]

У ионийцев, живших в Арое, Антее и Месатисе [1], был общий храм и священный участок Артемиды, именуемой Трикларией, и каждый год ионийцы устраивали в честь ее праздник и ночное бдение. Должность жрицы при богине несла девушка до тех пор, пока она не знала мужа. Говорят, как-то пришлось выполнять

обязанность жрицы богини Кометб, девушке замечательной красоты. Случилось так, что в нее влюбился Меланипп, превосходивший своих сверстников красотою лица и другими качествами. Когда Меланипп добился взаимной любви девушки, стал он сватать ее у ее отца. Но обычно старости свойственно противиться многим желаниям юности, а особенно оставаться глухим к страданиям любви; так и Меланипп, желавший жениться на Комето, желавшей того же, не нашел сочувствия ни у своих родителей, ни у родителей Комето. То, что подтверждалось много раз в других случаях, подтвердилось и теперь на примере любовных страданий Меланиппа, а именно, что любви свойственно нарушать законы людские и попирать почтение к богам. Так и тогда Комето и Меланипп насладились в самом храме Артемиды своей страстной любовью. Они собирались и в дальнейшем пользоваться храмом как своим брачным чертогом, но внезапно гнев Артемиды обрушился на людей: земля перестала приносить плоды, их поразили необычайные болезни со смертельным исходом, более частым, чем прежде. Когда при этих бедствиях они прибегали к помощи оракула в Дельфах, то Пифия сказала, что виновниками являются Меланипп и Комето; и оракул велел принести их самих в жертву Артемиде и затем каждый год приносить богине в жертву девушку и юношу, которые были самыми красивыми. Из-за этого жертвоприношения река у храма Артемиды Трикларии получила название Амейлиха [2], а раньше у нее никакого названия не было. Достойна сожаления судьба юношей и девушек, которые гибли как жертвы богине из-за Меланиппа и Комето, сами ни в чем не повинные, достойны сожаления и их родичи; Меланиппа же и Комето я не считаю несчастными: ведь для человека одно только * равноценно жизни — испытать счастье в объятиях любимого существа. Говорят, что человеческие жертвоприношения Артемиде прекратились следующим образом. Еще раньше народу было предсказано из Дельф, что в их землю прибудет иноземный царь, везя с собой иноземное божество, и прекратит жертвы Артемиде Трикларии. Когда Илион был взят и эллины делили добычу, Эврипил [3], сын Эвемона, получил на свою долю ларец; в этом ларце было изображение Диониса, творение, как говорят, Гефеста, данное в качестве дара Зевсом Дардану [4]. Об этом ларце есть еще два других предания — будто бы Эней оставил этот ларец во время бегства; или, как рассказывают другие, он был брошен Кассандрой на несчастье тому из эллинов, который его найдет. Эврипил открыл ларец, увидал изображение и тотчас, как только увидел, сошел с ума. И с тех пор он большую часть времени оставался безумным, редко приходя в себя. В таком состоянии он направил свой корабль не в Фессалию, но к Кирре [5], в залив, находившийся у этого города. Поднявшись оттуда в Дельфы, он спросил божественного указания относительно своей болезни.

---

* По другому чтению — «...только для человека...»

И, говорят, ему было дано предсказание: там, где он встретит людей, приносящих чуждые жертвы по чуждому обряду, там водрузить и ларец, и самому поселиться. Ветер пригнал корабли Эврипила к морскому берегу возле Арои; как раз когда он вышел на берег, юношу и девушку вели к алтарю Артемиды Трикларии в жертву. И тут он без труда понял слова бога о жертвоприношении; и местным жителям пришло на память предсказание, когда они увидели царя, которого прежде не видели; в ларце же, они поняли, заключается некий бог. Так Эврипил исцелился от болезни, жившие там люди покончили с этими жертвами, а реке было дано ее теперешнее название — Мейлиха [6].

VII, 23, 1—2

[*История Селемна и Аргиры*]

За рекою Харадром находятся развалины города Аргиры — но найти их нелегко — и ручей Аргира направо от большой дороги; там же река Селемн, впадающая в море. Местное предание относительно этой реки следующее: цветущий красотою мальчик Селемн пас здесь стада, а Аргира была морскою нимфой; влюбившись в Селемна, она, говорят, часто ходила к нему, поднимаясь из моря, и с ним ночевала. Немного времени спустя Селемн потерял красоту молодости, и нимфа перестала посещать его. Одинокий и брошенный Аргирой Селемн умер от любви, и Афродита обратила его в реку. Я передаю то, что рассказывают жители Патр. Но, даже ставши рекою, он продолжал любить Аргиру, подобно тому, как это рассказывают и про Алфея, что он продолжает любить Аретусу; тогда Афродита оказала милость Селемну, дав ему забвение об Аргире. Я слышал о нем еще и другой рассказ, что воды Селемна полезны для мужчин и женщин тем, что излечивают их от любви: те, кто омоется в этой реке, о любви забывают. Если в этом рассказе есть правда, то вода Селемна для людей дороже многих богатств.

IX, 3, 1—4

[*Празднин «Дедалы»*]

Говорят, что Гера, рассердившись за что-то на Зевса, удалилась на Эвбею. Так как Зевс никак не мог убедить ее вернуться, он, говорят, обратился за помощью к Киферону, бывшему тогда царем в Платеях; Киферон, по слухам, никому не уступал в мудрости. И вот он велел Зевсу сделать деревянную статую и, закрыв ее покрывалом, везти на паре быков и говорить, будто он везет себе в жены Платею, дочь Асопа. Зевс поступил по совету Киферона. Как только Гера услыхала об этом, она немедленно

явилась сюда. Когда же она подошла к повозке и сорвала со статуи одежду, она обрадовалась этому обману, найдя деревянного кумира вместо живой невесты, и помирилась с Зевсом. В память этого примирения справляется праздник «Дедалы», потому что древние называли деревянные изображения дедалами. По моему мнению, они так назывались еще раньше, чем Дедал, сын Паламаона, жил в Афинах. Я думаю, что он сам получил такое прозвище лишь впоследствии, от названия этих дедалов, а не с рождения. Этот праздник — «Дедалы» — платейцы справляют каждый седьмой год, как рассказывал мне один местный проводник, но в действительности празднования совершаются через более короткие сроки. Несмотря на мое желание точно рассчитать время, протекающее между одними и другими «Дедалами», я никак этого сделать не мог. Этот праздник справляется так. Недалеко от Алалкомен есть густой дубовый лес. Там растут самые толстые во всей Беотии дубы. Приходя в этот лес, платейцы раскладывают куски вареного мяса. На стаи различных птиц они не обращают никакого внимания, но за воронами, которые обычно сюда прилетают, они следят очень внимательно; и когда одна из этих птиц схватит кусок мяса, они смотрят, на какое дерево она сядет. И то дерево, на которое она сядет, они срубают и делают из него «дедал»; «дедалом» и «ксоаном» они одинаково называют деревянное изображение. Этот праздник, который они называют «Малыми дедалами», платейцы справляют одни. Праздник же «Великих дедалов» вместе с ними справляют и все беотийцы. Они бывают один раз в шестьдесят лет. Говорят, что именно столько лет этот праздник не справлялся в течение всего времени, пока платейцы были в изгнании [1]. К этому времени у них бывает готово четырнадцать ксоанов — деревянных изображений, изготовляемых из года в год во время «Малых дедалов». Эти изображения по жребию распределяются между платейцами, коронейцами, феспийцами, жителями Танагры, Хероней, Орхомена, Лебадии и Фив; ибо и эти последние сочли нужным примириться с платейцами, принимать участие в общих собраниях и отправлять посольства для принесения жертв во время «Дедалов». Все это они делают с того времени, как Кассандр, сын Антипатра, восстановил Фивы. А городки менее важные прибегают к складчине. Украсив изображение, они несут его к реке Асопу и, поставив на повозку, сажают туда же и дружку невесты. Затем бросают жребий — в каком порядке совершать торжественную процессию. Затем они двигаются с повозками от реки на самую вершину Киферона. На вершиие этой горы у них сооружен жертвенник. Этот жертвенник они строят следующим образом: они берут деревянные четырехугольные брусья равной величины и накладывают их друг на друга так, как если бы они возводили сооружение из камней, и, сложив их до определенной высоты, они кладут на них хворост. Города и их уполномоченные, каждый за свой город, приносят в жертву Гере корову, а Зевсу быка; внутренности жертвенных

животных наполняют вином и благовониями и вместе с ними сжигают и дедалы; частные лица, если они богаты, приносят в жертву то же, что и города, а тем, кто этого делать не может, разрешено приносить в жертву мелких животных, например овец. Но все жертвы без различия должны быть сожжены. Вместе с этими жертвами огонь охватывает и самый жертвенник, и его уничтожает. Я сам видел, как поднимается очень сильное пламя, заметное с очень далекого расстояния.

IX, 39, 3—40, 1

[Храм и пещера Трофония]

Самое значительное в этой роще [1] — это храм Трофония и его статуя, похожая на статую Асклепия; изваял эту статую Праксителъ. Есть там и святилище Деметры с наименованием «Европа» и статуя Зевса Гиетия [2] под открытым небом. Если подниматься к прорицалищу и отсюда идти дальше в гору, то на этом пути будет так называемая... охота... * Коры и храм Зевса Царя; этот храм ввиду огромности его размеров или вследствие междоусобных войн оставлен недостроенным. В другом храме находятся статуи Крона, Геры и Зевса. Есть тут и храм Аполлона.

Что касается прорицалища, то там установлен такой порядок посещения. Если какой-либо человек решит спуститься в пещеру Трофония, то прежде всего он должен прожить определенное число дней в особом здании; это здание — храм Благого демона и Благой судьбы. Живя здесь, он совершает различные очистительные обряды и, между прочим, воздерживается от теплых омовений; для омовения ему служит река Геркина. Мяса он получает много от жертв: всякий, решающий спуститься в пещеру, приносит жертвы самому Трофонию и детям Трофония, а кроме того, Аполлону, Крону, Зевсу, именуемому Царем, Гере Гениохе [3] и Деметре, которую называют Европой и говорят, что она была кормилицей Трофония. При каждом жертвоприношении присутствует предсказатель; он вглядывается во внутренности жертвенных животных и, рассмотрев их, дает предварительное предсказание собирающемуся спуститься в пещеру, благосклонен ли к нему Трофоний и примет ли он его милостиво. Но внутренности не всех жертвенных животных в равной степени знаменуют волю Трофония: в ту самую ночь, в которую каждый должен спуститься в пещеру, приносят в жертву барана над ямой, призывая имя Агамеда [4], и благоприятные знамения, объявленные при первых жертвоприношениях, не имеют никакого значения, если и внутренности этого барана не говорят того же самого. Но если и они подтверждают прежние знамения, то каждый спускается в пе-

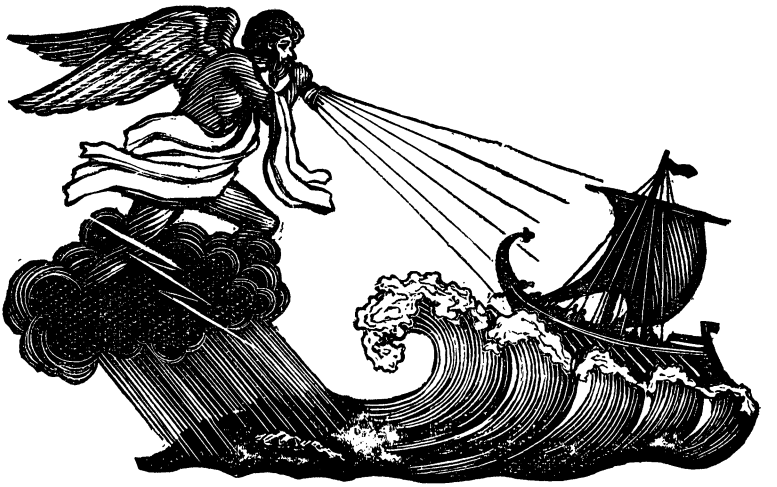
* Текст в оригинале испорчен.

щеру, уже преисполненный доброй надежды. А спуск этот совершается следующим образом. Прежде всего в эту ночь человека ведут к реке Геркине, моют его и умащают маслом. Ведут его два мальчика лет по тринадцать из числа горожан — их называют Гермесами; они-то и моют этого нисходящего в пещеру и служат ему во всем другом, как мальчики-рабы. Затем он переходит в руки жрецов, которые ведут его не прямо в пещеру прорицаний, а к источникам воды; они находятся близко один от другого. Здесь он должен напиться из одного воды Забвения, чтобы он забыл о всех бывших у него до тех пор заботах и волнениях, а из другого он таким же образом опять пьет воду Памяти, в силу чего он помнит все, что он видел, спускаясь в пещеру. Он видит статую, которую, как они говорят, сделал Дедал и которую жрецы не позволяют видеть никому, кроме тех, кто намерен идти в пещеру Трофония, и после того, как он поклонится и помолится этой статуе, его ведут в прорицалище. На него надевают льняной хитон, подпоясывают хитон лентами и надевают особую местную обувь. Сам оракул находится за рощей на горе. Здесь сделана ограда из белого мрамора, которая в окружности примерно равна небольшому молотильному току, высота же ее меньше двух локтей. В эту ограду вделаны столбы, кованные из меди, так же как и поперечные полосы, связывающие их. В этой ограде проделаны двери. Внутри ограды есть углубление не природное, но выложенное камнем чрезвычайно искусно и красиво. Внешний вид этого сооружения похож на печь для печения хлеба; диаметр его, на глаз, локтя четыре, а в глубину никто, кто бы ни прикинул на глаз, не даст больше восьми локтей. В самые недра пещеры схода не сделано никакого, но когда кто-нибудь идет к Трофонию, ему дают узкую и легкую лестницу. Между этим сооружением и внутренностью пещеры спускающийся встречает щель шириной в две спифамы, а высотой в одну. Спускающийся ложится на пол, держа в руках ячменные лепешки, замешанные на меду, и опускает вперед в щель ноги и сам подвигает, стараясь, чтобы его колени прошли внутрь щели. Тогда остальное тело тотчас же увлекается вперед и следует за коленями, как будто какая-то очень большая и быстрая река захватывает своим водоворотом и увлекает человека. Те, которые таким путем оказываются внутри тайного святилища, узнают будущее не одним каким-либо способом, но один его видит глазами, другой о нем слышит. Спустившимся приходится возвращаться назад тем же самым путем, через ту же скважину ногами вперед. Говорят, что никто из спускавшихся туда не умер, исключая одного из телохранителей Деметрия [5]. Говорят, что он не совершил ничего из установленных при святилище обрядов и спустился туда не для того, чтобы вопросить бога, но надеясь в этом тайном храме набрать золота и серебра. Говорят, что и труп его был найден в другом месте и не был выкинут через священное отверстие. Из многого другого, что рассказывают об этом человеке, я привожу самое важное. Того, кто вернулся наверх из пе-

щеры Трофония, жрецы опять берут в свои руки, сажают на так называемый «Трон Памяти», который стоит недалеко от святилища, и, посадив его там, спрашивают, что он видел и что слышал. Узнав все, они только тогда поручают его родственникам, а эти, взяв его на руки, несут в то помещение, где он прежде жил, в храм Благой судьбы и Благого демона и приносят его сюда, охваченного ужасом и в таком состоянии, что он не сознает самого себя и не узнает близких. Но впоследствии к нему вполне возвращается разум и способность смеяться. Это я пишу не на основании слухов, но иных я видел своими глазами и сам вопрошал Трофония. Те, которые спускались к Трофонию, обязаны все, что каждый из них слыхал или видал, записать на табличке и оставить здесь. Тут хранится еще и сейчас щит Аристомена [6]. Всю его историю, как она произошла, я уже рассказал прежде.

40. Это место прорицаний прежде не было известно беотийцам, и открыто оно было по следующему случаю. Беотийцы от каждого из своих городов послали к богу в Дельфы священное посольство, так как уже второй год бог не давал им дождя. Когда они просили дать им указание, как избавиться от засухи, Пифия велела им идти в Лебадию к Трофонию: у него они найдут целебное средство от этой беды. Придя в Лебадию, они никак не могли найти прорицалища. Но тут некто Саон из города Акрефии, — он был и по возрасту самый старший из священных послов, — увидал рой пчел и велел следовать за ними, куда они полетят. Он тотчас увидал, что пчелы влетели в эту скважину в земле; с ними вместе он спустился в прорицалище. И говорят, что этот Саон был обучен установленному тут священнодействию и всему тому, что совершается и теперь при этом храме, самим Трофонием.

ЛУКИАН



РАЗГОВОРЫ БОГОВ

4

ЗЕВС И ГАНИМЕД

1. Зевс. Ну вот, Ганимед, мы пришли на место. Поцелуй меня, чтоб убедиться, что у меня нет больше ни кривого клюва, ни острых когтей, ни крыльев, как раньше, когда я казался тебе птицей.

Ганимед. Разве ты, человек, не был только что орлом? Разве ты не слетел с высоты и не похитил меня из средины моего стада? Как же это так вдруг исчезли твои крылья и вид у тебя стал совсем другой?

Зевс. Милый мальчик, я не человек и не орел, а царь всех богов, и превратился в орла только потому, что для моей цели это было удобно.

Ганимед. Как же? Ты и есть тот самый Пан? Отчего же у тебя нет свирели, нет рогов и ноги у тебя не косматые?

Зевс. Так, значит, ты думаешь, что, кроме Пана, нет больше богов?

Ганимед. Конечно! Мы всегда приносим ему в жертву нехолощеного козла у пещеры, где он стоит. А ты, наверно, похитил меня затем, чтобы продать в рабство?

2. Зевс. Неужели ты никогда не слыхал имени Зевса и никогда не видал на Гаргаре алтаря бога, посылающего дождь, гром и молнию?

Ганимед. Так это ты, милейший, послал нам недавно такой ужасный град? Это про тебя говорят, что ты живешь на небе и поднимаешь там шум? Значит, это тебе отец принес в жертву барана? Но что же я-то сделал дурного? За что ты меня похитил, царь богов? Мои овцы остались одни; на них, наверно, нападут волки.

Зевс. Ты еще беспокоишься об овцах? Пойми, что ты сделался бессмертным и останешься здесь вместе с нами.

Ганимед. Как же? Ты меня сегодня не отведешь обратно на Иду?

Зевс. Нет! Мне тогда незачем было бы из бога делаться орлом.

Ганимед. Но отец станет меня искать и, не найдя, рассердится, а завтра побьет меня за то, что я бросил стадо.

Зевс. Да он тебя больше не увидит.

3. Ганимед. Нет, нет! Я хочу к отцу! Если ты отведешь меня обратно, я обещаю, что он принесет тебе в жертву барана как выкуп за меня; у нас есть один трехлетний, большой, — он ходит вожаком стада.

Зевс. Как этот мальчик прост и невинен! Настоящий ребенок! Послушай, Ганимед, все это ты брось и позабудь о стаде и об Иде. Ты теперь небожитель — и отсюда можешь много добра ниспослать отцу и родине. Вместо сыра и молока ты будешь есть амброзию и пить нектар; его ты будешь всем нам разливать и подавать. А что всего важнее: ты не будешь больше человеком, а сделаешься бессмертным, звезда, названная твоим именем, засияет на небе, — одним словом, тебя ждет полное блаженство.

Ганимед. А если мне захочется поиграть, кто будет играть со мной? На Иде у меня было много товарищей.

Зевс. Здесь с тобой будет играть Эрот, а я дам тебе много-много бабок для игры. Будь только бодр и весел и не думай о том, что осталось внизу.

4. Ганимед. Но на что я вам здесь пригожусь? Разве и здесь надо будет пасти стадо?

Зевс. Нет, ты будешь нашим виночерпием, будешь разливать нектар и прислуживать нам за столом.

Ганимед. Это нетрудно: я знаю, как надо наливать и подавать чашку с молоком.

Зевс. Ну вот, опять он вспоминает молоко и думает, что ему придется прислуживать людям! Пойми, что мы сейчас на самом небе, и пьем мы, я говорил тебе уже, нектар.

Ганимед. Это вкуснее молока?

Зевс. Скоро узнаешь и, попробовав, не захочешь больше молока.

Ганимед. А где я буду спать ночью? Вместе с моим товарищем Эротом?

Зевс. Нет, для того-то я тебя и похитил, чтобы мы спали вместе.

Ганимед. Ты не можешь один спать и думаешь, что тебе будет приятнее со мной?

Зевс. Конечно, с таким красавцем, как ты.

Ганимед. Какая же может быть от красоты польза для сна?

Зевс. Красота обладает каким-то сладким очарованием и делает сон приятнее.

Ганимед. А мой отец, как раз наоборот, сердился, когда спал со мной, и утром рассказывал, что я не даю ему спать, ворочаюсь и толкаю его и что-то говорю сквозь сон; из-за этого он обыкновенно посылал меня спать к матери. Смотри, если ты меня похитил для этой цели, то лучше верни обратно на Иду, а то тебе не будет сна от моего постоянного ворочанья.

Зевс. Это именно и будет мне приятнее всего; я хочу проводить с тобой ночи без сна, целуя тебя и обнимая.

Ганимед. Как знаешь! Я буду спать, а ты можешь целовать меня.

Зевс. Когда придет время, мы сами увидим, как нам быть. Гермес, возьми его теперь с собой, дай ему испить бессмертия, научи, как надо подавать кубок, и приведи к нам на пир.

18

ГЕРА И ЗЕВС

1. Гера. Мне было бы стыдно, Зевс, если бы у меня был сын такой женоподобный, преданный пьянству, щеголяющий в женской головной повязке, постоянно находящийся в обществе сумасшедших женщин, превосходящий их своей изнеженностью и пляшущий с ними под звуки тимпанов, флейт и кимвалов; вообще он похож скорее на всякого другого, чем на тебя, своего отца.

Зевс. И тем не менее этот бог с женской прической, более изнеженный, чем сами женщины, не только завладел Лидией, покорил жителей Тмола и подчинил себе фракийцев, но пошел со своей женской ратью на Индию, захватил слонов, завоевал всю страну, взял в плен царя, осмелившегося ему сопротивляться, — и все это он совершил среди хороводов и пляски, с тирсами,

украшенными плющом, пьяный, как ты говоришь, и объятый божественным безумием. А тех, кто осмелились оскорбить его, не уважая таинств, он сумел наказать, связав виноградной лозой или заставив мать преступника [1] разорвать своего сына на части, как молодого оленя. Разве это не мужественные деяния и не достойные меня? А если он и окружающие его при этом преданы веселью и немного распущены, то невелика в том беда, в особенности когда подумаешь, каков он был бы трезвым, если пьяный совершает такие подвиги.

2. Гера. Ты, кажется, не прочь похвалить Диониса и за его изобретение — виноградную лозу и вино, хотя сам видишь, что вытворяют опьяненные, теряя самообладание, совершая преступления и прямо впадая в безумие под действием этого напитка. Вспомни, что Икария, который первый из людей получил в дар виноградную лозу, убили мотыгами собственные сотрапезники.

Зевс. Это все пустяки! Во всем виновато не вино и не Дионис, а то, что люди пьют, не зная меры, и, переходя всякие границы, без конца льют в себя вино, не смешанное с водой. А кто пьет умеренно, тот только становится веселее и любезнее и ни с одним из своих сотрапезников не сделает ничего похожего на то, что было сделано с Икарием. Но, Гера, ты, кажется, ревнуешь, не можешь забыть Семелы и оттого бранишь прекраснейший из даров Диониса.

24

ГЕРМЕС И МАЯ

1. Гермес. Есть ли во всем небе бог несчастнее меня?

Мая. Не говори так, Гермес.

Гермес. Как же не говорить, когда меня совсем замучили, завалив работой, — я разрываюсь на части от множества дел. Лишь только встану поутру, сейчас надо идти выметать столовую. Едва успею привести в порядок ложа и устроить все как следует, нужно являться к Зевсу и разносить по земле его приказания, бегая без устали туда и обратно; только это кончится, я, весь еще в пыли, уже должен подавать на стол амброзию — а раньше, пока не прибыл новый виночерпий [2], я и нектар разливал. И ужаснее всего то, что я, единственный из богов, по ночам не сплю, а должен водить к Плутону души умерших, должен быть проводником покойников и присутствовать на подземном суде. Оказывается, всех моих дневных трудов еще мало, мало того, что я бываю в палестрах, служу глашатаем на народных собраниях, учу ораторов произносить речи, — устраивать дела мертвецов — это тоже моя обязанность.

2. Сыновья Леды [3] сменяют друг друга: когда один находится на небе, другой проводит день в преисподней. Только я один принужден каждый день делать и то и другое. Сыновья Алкмены и

Семелы [4], рожденные от жалких женщин, живут в свое удовольствие, не зная никаких забот, а я, сын Маи, дочери Атланта, должен им прислуживать! Вот сейчас я только что вернулся из Сидона, от сестры Кадма, куда Зевс послал меня посмотреть, как поживает его возлюбленная; [5] не успел еще я перевести дух, а он уже посылает меня в Аргос навестить Данаю, на обратном пути оттуда «зайди, — говорит, — в Беотию повидать Антиопу». Я не могу больше! Если бы было возможно, я с удовольствием заставил бы его продать меня другому хозяину, как это делают на земле рабы, когда им служить невмоготу.

Мая. Оставь эти жалобы, сынок. Ты еще молод и должен прислуживать отцу, сколько он ни пожелает. А теперь, раз он посылает тебя, беги поскорее в Аргос и затем в Беотию, а то он, пожалуй, поколотит тебя за нерасторопность: влюбленные всегда очень раздражительны.

МОРСКИЕ РАЗГОВОРЫ

4
МЕНЕЛАЙ И ПРОТЕЙ

1. Менелай. Я охотно верю, Протей, что ты превращаешься в воду — ведь ты морское существо — и даже в дерево, — это тоже можно допустить... Наконец, что ты принимаешь вид льва: хоть это и удивительно, все же не выходит за пределы вероятного; но если ты действительно способен, живя в море, превращаться в огонь, то этому я весьма удивляюсь и просто отказываюсь верить.

Протей. Не стоит удивляться, Менелай: ведь это несомненно так.

Менелай. Не спорю, я и сам это видел, но, говоря между нами, мне кажется, что в этом деле замешано какое-то колдовство, то есть, что ты, оставаясь все тем же, лишь обманом зрения действуешь на зрителя.

2. Протей. Но о каком же обмане можно говорить при столь очевидных явлениях? Разве не с открытыми глазами ты наблюдал за всеми моими превращениями? А если ты все-таки не веришь и думаешь, что все это обман, какое-то видение, встающее перед глазами, то приблизься ко мне, когда я превращусь в огонь, и коснись меня рукой. Вот ты и узнаешь, имею ли я только вид огня, или обладаю также его свойством обжигать.

Менелай. Этот опыт, Протей, не совсем безопасен!

Протей. Ты, Менелай, говоришь так, словно никогда не видел полипа и не знаком со свойствами этой рыбы.

Менелай. Полипа, положим, я видел, но охотно послушаю, что ты скажешь о его свойствах.

3. Протей. Так вот. К какой бы скале полип ни приблизился и ни приладил к ней, присосавшись, чашечек своих щупальцев, он становится подобен ей и меняет свою кожу, цветом делая ее похожей на цвет камня; таким образом полип укрывается от рыбаков, совсем не выделяясь на скале и обманывая ловцов своим полным сходством с ней.

Менелай. Это я слышал; но ведь твое превращение в огонь куда менее вероятно, Протей!

Протей. Уж не знаю, Менелай, кому ты можешь поверить, если не доверяешь своим глазам.

Менелай. Да, я сам видел твое превращение, но уж слишком оно изумительно: ты — и вода и огонь в одно время!

15

ЗЕФИР И НОТ

1. Зефир. Нет, никогда еще, с тех пор как я живу и дышу, я не видел более прекрасного шествия на море! А ты, Нот, видел его?

Нот. Нет, Зефир! О каком это шествии ты говоришь и кто принимал в нем участие?

Зефир. Ну, значит, ты пропустил приятнейшее зрелище, какое вряд ли удастся тебе еще когда-нибудь увидеть!

Нот. Я был занят на Черном море и захватил своим дуновением также часть Индии, ту, что ближе к морю, поэтому совершенно не знаю, о чем ты говоришь.

Зефир. Но ты ведь знаешь Агенора из Сидона?

Нот. Как же, отца Европы. Так что же?

Зефир. Вот о ней-то я и хочу рассказать тебе!

Нот. Уж не то ли, что Зевс уже с давних пор любит эту девушку? Это я и сам давно знаю.

Зефир. Раз ты знаешь о любви к ней Зевса, то послушай, что было дальше.

2. Европа прогуливалась по берегу моря, играя со своими сверстницами; Зевс, приняв вид быка, подошел, будто для того, чтобы поиграть с ними. Бык был прекрасен, безукоризненно бел, рога красиво изгибались, и взор был кроток! Он прыгал по берегу и так сладко мычал, что Европа решилась сесть к нему на спину. Как только она это сделала, Зевс бегом устремился с ней к морю, бросился в воду и поплыл. Европа, испуганная таким оборотом дела, хватается левой рукой за рог быка, чтобы не упасть, а правой придерживает раздуваемую ветром одежду.

3. Нот. О Зефир, что за сладостное и очаровательное зрелище. Зевс, который плывет, неся свою возлюбленную!

Зефир. Но то, что последовало за этим, было во много раз прелестнее, Нот! Внезапно улеглись волны, и кроткая тишина

спустилась на море; все мы, сдерживая дыхание, как простые зрители, сопровождали шествие, Эроты же, едва касаясь воды ногами, летели над самым морем с зажженными факелами в руках и пели свадебные гимны. Нереиды вынырнули из воды, сидя на дельфинах, все наполовину обнаженные, и рукоплескали шествию. А тритоны и все остальные морские существа, на которых можно смотреть без страха, составили хоровод вокруг девушки. Впереди всех мчался на колеснице Посейдон с Амфитритой, прокладывая дорогу плывшему за ним брату. Наконец на двух тритонах, запряженных в раковину, ехала Афродита и осыпала невесту всевозможными цветами.

4. В таком порядке шествие двигалось от Финикии до самого Крита. Когда вступили на остров, бык внезапно исчез, и Зевс, взяв Европу за руку, ввел ее, краснеющую и опускающую глаза, в диктейскую пещеру; она уже знала, что ее ожидает. А мы все разбежались в разные стороны и подняли бурю на море.

Нот. Какое счастье было видеть все это, Зефир! А я-то тем временем смотрел на грифов, слонов и чернокожих!

АЛЕКСАНДР, ИЛИ ЛЖЕПРОРОК

1. Может быть, мой дорогой Цельс [1], ты думаешь, что описать жизнь Александра, обманщика из Абонотиха [2], его выдумки, проделки и предсказания и прислать тебе в виде отдельной книги — задача маленькая и легкая?

Если бы кто-нибудь захотел изложить все в подробностях, это было бы не легче, чем описать деяния Александра, сына Филиппа. Насколько сын Филиппа велик своей доблестью, настолько же наш Александр известен своей низостью. Если ты все-таки готов прочесть со снисхождением и от себя добавить то, чего не окажется в моем рассказе, я берусь выполнить для тебя эту трудную задачу и попытаюсь вычистить стойла Авгия, — если и не все, то насколько хватит у меня сил. Я вынесу оттуда немало корзин навоза, чтобы по ним ты смог судить, как обширны стойла и какое неизмеримое количество навоза накопили в течение многих лет три тысячи быков.

2. Мне стыдно за нас обоих: за тебя — что ты просишь написать о нем, сохранить память о трижды проклятом человеке, за себя — что я прилагаю старание описать дела человека, который достоин не того, чтобы о нем читали образованные люди, но чтобы его разорвали на части обезьяны или лисицы в каком-нибудь громадном театре на глазах у всего народа.

Если кто-нибудь станет меня за это обвинять, я буду в состоянии привести подходящий пример. Арриан, ученик Эпиктета, выдающийся человек среди римлян, всю жизнь имевший дело с наукой, оказался в подобном же положении: он явится нашим защитником. Ведь он не счел недостойным себя описать жизнь Тиллибора-разбойника. Я же опишу разбойника гораздо более жестокого, так как он разбойничал не в горах и лесах, бродил

не только по Мисии и по склонам Иды, опустошал не какие-то закоулки в Азии, но, если можно так выразиться, наполнил своим разбоем всю римскую державу.

3. Сперва в нескольких словах опишу тебе его самого по возможности точно, насколько это в моих силах, хотя я и не искусный живописец. Итак, Александр был высок, красив, в его обличии было действительно что-то божественное, кожа отличалась белизной, подбородок был покрыт редкой бородой; волосы Александр носил накладные, чрезвычайно искусно подобрав их к своим, и большинство не подозревало, что они чужие. Его глаза светились сильным и вдохновенным блеском. Голос он имел очень приятный и вместе с тем звучный. Словом, Александр был безупречен, с какой стороны на него ни посмотреть.

4. Такова была его внешность. Душа же его и направление мыслей... О Геракл, избавитель от зла! О Зевс, отвратитель несчастий! О Диоскуры-спасители! Лучше встретиться с врагом и недругом, чем иметь дело с человеком, похожим на Александра. Он отличался природными дарованиями, гибкостью и остротою ума; был в значительной степени наделен любознательностью, понятливостью, памятью, способностью ко всем наукам, но пользовался всем этим самым дурным образом. Дав благородным качествам своей души низменное употребление, он превзошел своим злодейством керкопов [3], Эврибата, Фринонда [4], Аристодема, Сострата. Сам он однажды в письме к Рутиллиану, своему зятю, говоря о себе с большой скромностью, счел возможным приравнять себя Пифагору. Но да будет ко мне милостив Пифагор, этот мудрец с божественным разумом! Я хорошо знаю, что если бы он жил в одно время с Александром, то по сравнению с ним показался бы младенцем. Все же, ради Харит, не считай, что я это говорю, чтобы оскорбить Пифагора, или пытаюсь их сопоставить на основании сходных поступков. Но если бы кто-нибудь собрал всю гнусную и злостную клевету, рассказываемую про Пифагора, в истинность которой я никогда не поверю, это составило бы самую незначительную часть злодейств Александра. Одним словом, представь себе, воспроизведи своим воображением пестрый состав его души — это смешение лжи, хитрости, клятвопреступлений, козней. Представь себе человека без предрассудков, смелого, готового на опасный шаг, терпеливого в исполнении задуманного, обладающего даром убеждения и умеющего внушить доверие, притворно изобразить добрые чувства и искусно скрывать свои истинные намерения. Всякий при первой встрече с ним выносил об Александре самое лучшее впечатление как о человеке благороднейшем, мягкосердечном и к тому же в высшей степени простодушном и правдивом. При всем том ему было присуще стремление к великому: никогда он не думал о малом, но всегда направлял свой ум на великие дела.

5. Мальчиком Александр был очень красив, если судить, как говорится, «по соломе» [5] и как приходилось слышать в разговорах

о нем. Он без зазрения совести предавался разврату и за деньги принадлежал всем желающим. Среди прочих любовников был у него какой-то обманщик, опытный в магии и заклинаниях, вызывавшийся приворожить любимого человека, помогавший устранить врага, учивший находить клады и получать наследства. Видя, что мальчик обладает способностями, с охотой готов помогать ему и не менее влюблен в его гнусный промысел, чем он — в его красоту, обманщик дал Александру образование и все время пользовался им как помощником и прислужником, выдавая себя обыкновенно за врача; подобно жене египтянина Фоона, он умел

Много составить полезных лекарств, но также и ядов[6].

Александр стал его преемником и наследником. Учитель же и любовник был родом из Тианы и принадлежал к числу людей, близких к Аполлонию Тианскому и знакомых с его учением. Ты видишь, из какой школы вышел человек, о котором я тебе рассказываю.

6. Когда у Александра стала уже расти борода, его тианец умер, и Александр стал бедствовать, так как цветущий возраст, благодаря которому он мог кормиться, прошел. Мечты у него, однако, были отнюдь не скромные. Он вошел в сообщество с каким-то историком из Византия — одним из тех, что постоянно посещают общественные состязания, человеком необыкновенно гнусным по имени, кажется, Коккон.

Они стали странствовать вместе, обманывая и занимаясь предсказаниями, причем стригли «толстокожих» (так исстари на языке магов называется толпа). Как раз в этих обстоятельствах они встретили Макетиду, богатую женщину, уже пожилую, но желавшую еще быть любимой. Они стали жить на ее счет и ездили вместе с ней из Вифинии в Македонию. Она была родом из Пеллы, бывшей при македонских царях богатым городом, а теперь насчитывающей лишь немного бедных обитателей.

7. В Пелле они увидели огромных змей, совершенно ручных и настолько безобидных, что их могли кормить женщины; они спали с детьми, позволяли себя топтать и не сердились, если их мяли руками; они питались молоком, беря грудь совсем как младенцы. Подобные змеи водились в этой местности в изобилии, поэтому в древности распространилось предание об Олимпиаде; я думаю, что она спала с такой змеей, когда была беременна Александром[7].

Там обманщики покупают за несколько оболов одну из самых красивых змей.

8. С этого и началась война, как говорит Фукидид[8]. И вот наши два дерзких негодяя, способные на всякое злодеяние, сойдясь вместе, без труда поняли, что человеческая жизнь находится во власти двух величайших государей — надежды и страха — и

что тот, кто сумеет по мере надобности действовать через того и другого, очень скоро разбогатеет. Они видели, что и страшащийся и надеющийся — каждый испытывает жгучее желание и необходимость узнать будущее. В былое время благодаря этому разбогатели Дельфы и стали знамениты также Делос, Клар и Бранхиды [9]. Во власти надежды и страха, этих двух тиранов, о которых я упомянул, люди постоянно идут в святилища и, стремясь узнать будущее, приносят гекатомбы и жертвуют целые кирпичи из золота [10]. Обдумав все это, наши мошенники решили учредить прорицалище и устроить оракул. Они надеялись, что, если это дело удастся, они тотчас же станут богатыми и обеспеченными. Успех превзошел их ожидания и расчеты.

9. И вот они стали решать, во-первых, где им избрать подходящую местность, затем — с чего начать свою деятельность и как вести все предприятие, Коккон считал удобным местом Халкедон: этот город всегда наполнен торговым людом и расположен по соседству с Фракией и Вифинией, невдалеке от Азии, Галатии и всех соседних народов. Александр, наоборот, предпочитал свою родину, говоря, что для начала такого предприятия нужны люди неповоротливые и глупые, готовые всему поверить. Таковы, по его словам, пафлагонцы, живущие около Абонотиха, люди по большей части суеверные и богатые. Как только появляется кто-нибудь в сопровождении музыканта, играющего на флейте, или с тимпаном и кимвалами, и начинает предсказывать, как говорится, «с помощью решета» [11], тотчас же все разевают рты, словно увидели кого-нибудь из небожителей.

10. У негодяев произошел небольшой спор, но под конец одержал верх Александр. Потом они прошли в Халкедон (они решили, что и этот город может быть им полезен) и закопали в храме Аполлона, самом древнем у халкедонян, медные дощечки, гласившие, что вскоре прибудет в Понт Асклепий вместе со своим отцом Аполлоном и будет иметь своим местопребыванием Абонотих. Эти дощечки, кстати найденные, заставили предсказание очень легко распространиться по всей Вифинии и Понту, в особенности же — в Абонотихе. Жители тотчас постановили построить храм и стали рыть землю для закладки оснований. Коккон остается в Халкедоне, сочиняя двусмысленные, неопределенные и непонятные предсказания; в непродолжительном времени он умирает, кажется, от укуса гадюки.

11. Александр же появляется в торжественном виде — с длинными распущенными волосами, одетый в пурпурный с белыми полосами хитон, с накинутым поверх него белым плащом, держа в руках кривой нож, как Персей [12], от которого он выводил свой род с материнской стороны. А эти несчастные пафлагонцы, хоть и знали родителей Александра, незнатных и бедных людей, тем не менее верили изречению, гласившему:

Род свой ведет от Персея и дружбою с Фебом известен
Он, Александр наш божественный, сын Подалирия [13] кровный.

Этот Подалирий был, видно, так развратен и женолюбив по природе, что пришел из Трикки в Пафлагонию, чтобы класть под себя мать Александра. Было отыскано и предсказание, как будто изреченное Сивиллой:

> Возле Синопа, у брега Эвксинского Понта, в твердыне,
> Что авзонийцам подвластна, должно появиться пророку,
> Первая буква — один, а затем — три десятка и после
> Пять единиц, за которыми следует двадцать тройное;
> Части четыре являют омоним защитника-мужа [14].

12. Возвратившись спустя долгое время на свою родину при такой театральной обстановке, Александр приобрел известность, прославился и стал предметом удивления. Иногда он изображал из себя одержимого, и изо рта у него била пена, чего он легко достигал, пожевав корень красильного растения струтия. А присутствующим эта пена казалась чем-то божественным и страшным. Кроме того, у Александра уже давно была припасена голова змеи из тонкого полотна, имевшая некоторое сходство с человеческой. Она была пестро раскрашена, сделана очень правдоподобно и с помощью сплетенных конских волос раскрывала свою пасть и снова закрывала ее; из пасти высовывалось черное, также приводимое в движение посредством волос, раздвоенное жало, в точности напоминавшее змеиное. Змея, приобретенная в Пелле, находилась у Александра и кормилась в его жилище; ей надлежало своевременно появиться и вместе с ним разыграть театральное представление, в котором ей была отведена роль первого актера.

13. Когда наступило время действовать, вот что было придумано. Ночью Александр пошел к ямам, недавно вырытым для закладки основания будущего храма. В них стояла вода, набравшаяся из почвы или не успевшая впитаться после дождя. Он положил туда скорлупу гусиного яйца, в которую спрятал только что родившуюся змею, и, зарыв яйцо глубоко в грязь, удалился. На рассвете Александр выбежал на площадь обнаженным, прикрыв свою наготу лишь золотым поясом, держа в руках кривой нож и потрясая развевающимися волосами, как нищие одержимые — жрецы Великой Матери [15]. Он взобрался на какой-то высокий алтарь и стал произносить речь, поздравляя город со скорым приходом нового бога.

Присутствующие — а сбежался почти весь город, не исключая женщин, стариков и детей, — были поражены, молились и падали ниц. Александр произносил какие-то непонятные слова, вроде еврейских или финикийских, причем привел всех в изумление, так как в его речи никто ничего не понимал, кроме имен Аполлона и Асклепия, которых он все время поминал.

14. Затем обманщик бросился бежать к строящемуся храму; приблизившись к вырытым углублениям и к приготовленному им заранее оракулу, он вошел в воду и громким голосом стал петь

гимны Аполлону и Асклепию, приглашая бога явиться, принося счастье, в город. Затем Александр попросил чашу и, когда кто-то из присутствующих подал ему сосуд, он погрузил его в воду и без затруднения вытащил вместе с водой и илом яйцо, в котором он заранее спрятал бога, залепив отверстие в скорлупе воском и белилами.

Взяв яйцо в руки, он сказал, что держит самого Асклепия. А собравшиеся внимательно смотрели, ожидая, что произойдет дальше, очень удивленные уже тем, что в воде нашлось яйцо. Разбив его, Александр взял в руки змейку. Присутствовавшие, увидев, как она движется и извивается вокруг его пальцев, тотчас же закричали и стали приветствовать бога [16], поздравляя город с новым счастьем. Каждый жарко молился, прося у бога богатств, изобилия, здоровья и прочих благ.

Александр снова отправился домой, неся с собой новорожденного Асклепия, появившегося на свет дважды, а не один раз, как все прочие, и рожденного не Коронидой и не вороной [17], а гусыней. Весь народ следовал за ним, и все были одержимы и сходили с ума от больших надежд.

15. Несколько дней Александр оставался дома, рассчитывая, что под влиянием распространившейся молвы в город сбежится множество пафлагонцев. Так и случилось. Город переполнился людьми, лишенными мозгов и рассудка, совершенно не похожими на людей, питающихся хлебом, и только по виду отличающимися от баранов.

Тогда Александр, усевшись на ложе в небольшом помещении, одетый как подобает божеству, положил за пазуху Асклепия из Пеллы, отличавшегося, как я говорил, большими размерами и красотой. Он обвил змею вокруг своей шеи, выпустив хвост наружу. Змея была так велика, что, находясь за пазухой, волочила часть своего тела по земле. Александр скрывал только голову змеи, держа ее под мышкой, что змея спокойно переносила; а из-под своей бороды он выставил змеиную головку из полотна, как будто она действительно принадлежала змее, которую все видели.

16. Представь себе теперь небольшое помещение, не очень светлое, так как света попадало в него недостаточно, и густую толпу напуганных, заранее объятых трепетом и возбужденных надеждой людей. Входящим, несомненно, казалось чудесным, что из животного, только что родившегося, в течение нескольких дней выросла такая большая змея, к тому же с человеческим лицом и ручная. Посетители толкали друг друга к выходу и, не успев ничего хорошо разглядеть, уходили, теснимые валившею непрерывно толпой. В стене против двери был пробит другой выход, как, судя по рассказам, македоняне сделали в Вавилоне во время болезни Александра, когда он был уже в тяжелом состоянии и стоявшие кругом дворца желали на него взглянуть и сказать ему последнее прости.

Говорят, что негодяй устраивал подобные представления не один раз, а весьма часто, особенно, когда приезжали новички из богатых людей.

17. Сказать по правде, я думаю, дорогой Цельс, нужно простить этим пафлагонцам и жителям Понта, людям необразованным, что они были обмануты, трогая змею (ведь и это Александр предоставил делать желающим). При тусклом свете посещавшие видели, как змея действительно разевает и закрывает пасть. Все было так хитро устроено, что требовался какой-нибудь Демокрит, или сам Эпикур, или Метродор [18], или какой-нибудь другой философ, имевший достаточно твердый разум, чтобы не поверить всему этому и сообразить, в чем дело. Ведь требовалось заранее, даже не разбирая сущности проделки, обладать уверенностью в том, что скрыт только способ обмана, но что все происходящее — обман и не может существовать в действительности.

18. Понемногу вся Вифиния, Галатия и Фракия стали стекаться к Александру. Впоследствии каждый рассказывал, — это было вполне естественно, — что он видел рождение бога, прикасался к нему немного спустя, когда бог в течение короткого времени достиг очень большой величины и стал лицом похож на человека. Кроме того, появились рисунки и изображения змей, а также статуи, изготовленные из дерева, меди и серебра; змея получила имя: ее звали Гликоном, согласно какому-то исходившему от бога прорицанию. Действительно, Александр изрек:

Третьей от Зевса я крови [19], Гликон, озарение смертным.

19. И вот, когда пришло время исполнить то, ради чего все эти ухищрения были выдуманы, то есть изрекать желающим оракулы и предсказывать будущее, Александр взял пример с Амфилоха, почитаемого в Киликии. Амфилох после кончины своего отца Амфиарая и исчезновения его в Фивах покинул родной дом. Придя в Киликию, он недурно вышел из затруднительного положения, предсказывая киликийцам будущее и беря за каждое предсказание два обола. С него-то Александр и взял пример, предупреждая всех приходящих, что бог будет предсказывать в такой-то день.

Александр советовал каждому написать на табличках, что он желает или что он особенно хотел бы знать, затем связать таблички и запечатать их воском, глиной или чем-нибудь вроде этого. Обманщик сам брал таблички и, войдя в святилище (храм был уже воздвигнут и были приготовлены подмостки), объявлял, что будет через глашатая и священнослужителя по очереди вызывать подавших таблички. Он обещал, выслушав ответ бога, возвратить таблички запечатанными, как они были раньше, с приписанным ответом на вопрос: бог-де отвечает на все, о чем бы его ни спросили.

20. Подобная проделка совершенно ясна и сразу понятна для

такого человека, как ты или, если не будет нескромностью сказать, как я; людям же недалеким и глупым это казалось чудом и похожим на что-то необъяснимое. Придумав разнообразные способы снимать печати, Александр прочитывал каждый вопрос и отвечал на него, как находил подходящим; затем завязав, запечатывал таблички и отдавал их, к большому удивлению получавших. Часто среди них раздавалось: «И откуда он мог узнать, что я ему передал? Ведь я тщательно запечатал, и печать трудно подделать; конечно, это сделал бог, который все знает в точности».

21. Может быть, ты спросишь, какой способ он придумал для вскрытия табличек; выслушай же меня, чтобы ты в подобных случаях мог уличать виновных в обмане. Первый способ, дорогой Цельс, состоит вот в чем: раскалив иглу и расплавив при ее помощи часть воска, находившуюся под оттиском, он снимал печать и прочитывал таблички. Затем без труда вновь склеивал, расплавив иголкой воск — и тот, что находился внизу, под бечевкой, и тот, на котором был самый оттиск. Второй способ заключался в применении так называемого коллирия. Этот состав приготовляется из бруттийской смолы, асфальта, толченого прозрачного камня, воска и мастики. Составив коллирий, разогрев его на огне и смазав печать слюной, он накладывал сверху эту смесь и, сняв, получал отпечаток. Когда же тот затвердевал, Александр спокойно распечатывал таблички и читал их. Затем накладывал воск и, приложив коллирий, словно каменную печатку, делал оттиск вполне сходный с прежним. Кроме этих двух способов, познакомься и с третьим. Всыпав в камедь, которою склеивают книги, извести и сделав из этого тесто, Александр прикладывал состав еще влажным к печати; затем, сняв, пользовался им как печаткой: состав тотчас же засыхал и становился тверже рога и даже железа. Для той же цели он придумал и многое другое, но нет необходимости припоминать все, чтобы не оказаться не знающим меры, особенно — перед тобой: ведь ты сам дал много подходящих примеров в своем сочинении против магов — прекраснейшем труде, полезнейшем и могущем сделать более умными тех, кто с ним познакомится.

22. Александр предсказывал и пророчествовал с большим умением, обладая, кроме воображения, еще и догадливостью; одним он давал двусмысленные и неопределенные ответы, другим — совершенно невразумительные: ему казалось это вполне подходящим для деятельности пророка. Одних он отговаривал, других побуждал действовать, как он находил лучше, соответственно своей догадке. Иным он давал врачебный совет и предписывал вести определенный образ жизни, зная, как я говорил, много полезных лекарств. Особенно он любил прописывать «китмиду»: обманщик придумал это название для укрепляющего снадобья, изготовленного из козьего жира.

Но божество всегда откладывало до другого раза предсказания об исполнении желаний, об успехах, получении наследства, при-

бавляя, что «все исполнится, когда я того пожелаю и когда Александр, мой пророк, будет просить и молиться за вас».

23. За каждое прорицание была назначена плата — драхма и два обола. Не подумай, мой друг, что этот доход был мал и приносил немного: Александр собирал от семидесяти до восьмидесяти тысяч ежегодно, так как люди в своей ненасытности обращались к нему до десяти и пятнадцати раз.

Однако, получая эти доходы, он пользовался ими не один и не откладывал сокровищ, но держал около себя много сотрудников и помощников: соглядатаев, составителей и хранителей изречений, секретарей, лиц, накладывающих печати, и различных толкователей; каждому из них он уделял по заслугам.

24. Иных он отправлял в чужие страны с тем, чтобы они распространяли среди различных народов слух о его оракуле и рассказывали, что бог дает предсказания, находит беглых рабов и воров, указывает грабителей, учит обнаруживать клады, исцелять больных и даже будто бы воскресил нескольких умерших.

Началось отовсюду стечение народа, толкотня, жертвоприношения, пошли дары и подарки в двойном размере — пророку и ученику бога. Ведь оракул изрек:

> Я почитать моего толкователя повелеваю,
> Я о богатстве не слишком забочусь, пекусь о пророке.

25. Многие из тех, кто имел разум, придя в себя, как будто после глубокого опьянения, восстали против Александра, в особенности друзья Эпикура. Их оказалось много, и они в разных городах постепенно раскрыли весь обман его пустых представлений. Тогда Александр, чтобы их припугнуть, стал говорить, что Понт наполнился безбожниками и христианами, которые дерзают о нем гнусно богохульствовать, и приказывал гнать их камнями, если кто хочет заслужить милость бога.

В ответ на чей-то вопрос, что делает в Аиде Эпикур, последовало такое изречение:

> В свинцовых узах враг богов сидит в грязи и смраде.

Слыша эти умные вопросы столь образованных людей, неужели ты станешь удивляться, что слава оракула чрезвычайно возросла? У Александра с Эпикуром велась война непримиримая и ожесточенная, и это вполне естественно. С кем же другим с большим основанием мог вести войну обманщик, друг всяких басен о чудесах, ненавистник правды, как не с Эпикуром, исследовавшим природу вещей, — единственным человеком, знавшим о ней истину.

Последователи же Платона, Хрисиппа и Пифагора были друзьями Александра, и с ними он находился в полном согласии. Но неприступный Эпикур — так Александр его называл — по

справедливости, был его злейшим врагом, так как Эпикур над всеми подобными вещами смеялся и шутил. По этой же причине Александр из всех понтийских городов особенно ненавидел Амастриду, так как знал, что в этом городе много сторонников Лепида [20] и им подобных. И он ни разу не изрек оракула для жителя Амастриды. А когда он решился дать предсказание брату одного сенатора, то потерпел смехотворную неудачу: он не был в состоянии сам сочинить подходящее изречение и не мог найти никого, кто бы своевременно это сделал; больной жаловался на боль в желудке, и Александр, желая предписать ему поесть свиной ноги, приготовленной с просвирняком, выразился так:

Тмином в священиой квашне пересыпь просвирняк поросенка.

26. Часто, как я говорил раньше, Александр показывал желающим змею, но не целиком, а выставив напоказ туловище и хвост, голову же скрывал от взоров у себя за пазухой. Желая еще более поразить толпу, Александр обещал, что она услышит самого бога говорящим и изрекающим оракулы без помощи толкователя. Для этого он связал высушенные глотки журавлей и очень ловко пропустил их сквозь искусственную змеиную голову; на вопросы он отвечал при помощи человека, который из другого помещения кричал через эти трубки, и голос, таким образом, исходил из полотняного Асклепия. Подобные ответы назывались «самоизреченными» и давались не всем без разбора, но лишь людям знатным, богатым и щедрым.

27. Ответ Севериану [21] относительно его похода в Армению был из числа самоизреченных. Побуждая Севериана к нападению, оракул возгласил следующее:

Быстрым копьем покорив и парфян и армян, ты вернешься
В Рим и к Тибра водам в своей лучезарной повязке.

А когда этот глупый кельт, повинуясь оракулу, предпринял нападение и погиб вместе со своим войском, разбитый Отриадом, Александр изъял предсказание из записей и поместил вместо него следующее:

Севериан, воевать не пытайся с армянами. Как бы
Враг твой, одетый, как женщина, в длинное платье, из лука
Гибельный рок не метнул, лишив тебя жизни и света.

28. Александр очень умно придумал давать предсказания задним числом для исправления плохих и ошибочных оракулов. Часто он предрекал смертельно больным здоровье, а когда они умирали, была уже наготове совсем другая песня:

Помощи более ты не ищи в своей тяжкой болезни,
Ныне погибель твоя очевидна, ее не избегнешь.

29. Зная, что прорицатели в Кларе, Дидимах и Малле были славны в искусстве предсказания, он старался сделать их своими

друзьями, многих из приходивших к нему отсылая к ним с такими словами:

В Клар ты теперь поспеши и отца моего там послушай.

Или так:

К храму святому Бранхидов приблизься, внемли изреченью.

Или иногда:

В Малл Амфилохов оракул иди вопросить поскорее.

30. Все это происходило в пределах Ионии, Киликии, Пафлагонии и Галатии. Когда же слова оракула проникли в Италию и достигли города римлян, все пришло в движение. Одни отправились сами, другие посылали доверенных людей, в особенности — наиболее могущественные и игравшие важную роль в государстве.

Из этих людей самым значительным оказался Рутиллиан, человек во всех отношениях благородный и честный, занимавший многие государственные должности, но невероятно суеверный: о богах он имел самые чудовищные представления. Увидев камень, помазанный маслом и покрытый венками, он готов был тотчас же пасть ниц и надолго остановиться, молясь о благополучии.

И вот, едва он услышал об оракуле, как чуть не бросил вверенную ему должность, чтобы полететь в Абонотих. Он посылал одних доверенных за другими. Посланные же, глупые слуги, легко поддались обману и, возвращаясь, рассказывали действительно виденное и то, что им казалось, будто они видели и слышали, прибавляя еще и от себя, чтобы угодить своему господину. Они воспламенили воображение несчастного старца и ввергли его в сильнейшее безумие.

31. Будучи другом большинства самых знатных лиц, Рутиллиан стал их обходить, передавая донесения своих посланцев и прибавляя кое-что от себя. Таким-то образом он привел в смятение весь город Рим, наполнил его разговорами об оракуле и смутил большинство придворных, которые тотчас, в свою очередь, заторопились узнать что-нибудь и про свою судьбу.

Александр дружелюбно принимал приходивших к нему, располагал к себе гостинцами и всякими богатыми подарками. Возвращаясь от него, они были готовы не только возвещать ответ оракула, но и восхвалять бога и рассказывать про оракул и про самого Александра невероятные басни.

32. Трижды проклятый обманщик выдумал нечто очень умное, достойное незаурядного разбойника. Распечатывая и прочитывая присылаемые таблички и находя что-нибудь опасное и рискованное в вопросах, он воздерживался отсылать их обратно. Цель его была при помощи страха держать отправителей в своей власти, делая их чуть ли не своими рабами, так как они помнили, о чем спрашивали. Ты понимаешь, какие вопросы могли задавать ему эти богачи и вельможи. Таким образом, он получал от них много подарков, так как они знали, что находятся в его сетях.

33. Я хочу привести тебе некоторые из изречений оракула, данных Рутиллиану. На его вопрос, какого наставника в науках дать его сыну от первой жены, достигшему школьного возраста, Александр ответил:

Браней глашатая, дивного песнями, и Пифагора.

Когда через несколько дней мальчик умер, Александр оказался в безвыходном положении и ничего не мог возразить на обвинения, так как его оракул явно опозорился. Но благородный Рутиллиан предупредил его и сам стал на защиту прорицателя, говоря, что бог предсказал именно это, повелев взять в учителя мальчику не кого-либо из живых, но давно умерших — Пифагора и Гомера; с ними, несомненно, мальчик пребывает теперь в Аиде. За что же, в самом деле, упрекать Александра, если он считал позволительным глумиться над такими людишками?

34. Затем на вопрос Рутиллиана, чьей душой он обладает, Александр ответил:

Знай, ты родился Пелидом[22] впервые, а после Менандром.
В образе ныне своем, а затем ты лучом будешь солнца.
Целых сто лет проживешь ты на свете и восемь десятков.

А Рутиллиан умер семидесяти лет от роду от разлития желчи, не дождавшись исполнения божественного обещания.

Этот оракул был из числа «самоизреченных».

Однажды Рутиллиан спросил относительно брака, Александр ответил вполне определенно:

Дочь Александра и ясной Луны тебе будет супругой.

Дело в том, что Александр уже давно распространил молву, будто дочь была рождена ему Луной. Увидев Александра спящим, Луна будто бы была объята страстью к нему, так как имела обыкновение влюбляться в спящих красавцев[23]. И вот этот умник Рутиллиан, нимало не колеблясь, посылает прямо за дочерью обманщика, и жених в шестьдесят лет заключает брак и живет с женой, умилостив тещу Луну целыми гекатомбами; он думал, что и сам сделался одним из небожителей.

36. Упрочив свое положение в Италии, Александр задумал еще большие предприятия: он стал отправлять во все концы римской державы слуг с предсказаниями, возвещая городам моровую язву, предписывая остерегаться пожаров и землетрясений и обещая явиться надежной помощью от предсказанных им бед. Одно из таких прорицаний, тоже «самоизреченное», он разослал во время моровой язвы повсюду. Обещание состояло из одного стиха:

Тучу заразы от нас отражает сам Феб длиннокудрый.

Этот стих можно было видеть написанным на всех дверях как средство против заразы. Вышло же для большинства как раз об-

ратное обещанному: по какой-то случайности наибольшее опустошение произошло в тех домах, на которых был написан этот стих. Не думай, будто я хочу сказать, что их погубили эти слова. Виновником оказался случай; возможно и то, что большинство, надеясь на изречение, беззаботно вело слишком легкомысленный образ жизни. Они ни в чем не помогали оракулу избавить их от болезни, имея своими защитниками только слова и длинноволосого Феба, стрелами отгоняющего заразу.

37. В самом Риме Александр содержал, конечно, много соглядатаев, которые доносили ему о настроениях каждого, предупреждали о возможных вопросах и наиболее сильных желаниях. Таким образом, Александр был всегда подготовлен к ответу, прежде чем приходили посланные.

38. Кроме всего предпринятого в Италии, Александр придумал следующее: он установил какие-то мистерии, продолжавшиеся три дня подряд, с шествием, в котором участвовали факелоносцы и иерофанты [24]. Как в Афинах, первый день мистерий начинался возгласом: «Если какой-нибудь безбожник, христианин или эпикуреец придет подсматривать наши тайные богослужения, он будет изгнан; верные пусть приступают к таинствам в честь бога в добрый час». Тотчас после этого возгласа происходило изгнание; Александр первым произносил: — Христиан — вон! — а толпа отвечала: — Вон эпикурейцев! — Затем происходило священное представление: разрешение от бремени Латоны, рождение Аполлона, брак с Коронидой и появление на свет Асклепия. На второй день справлялось явление Гликона и рождение этого божества.

39. На третий день праздновали брак Подалирия и матери Александра; этот день носил имя «Факельного», так как зажигались факелы. Напоследок же представлена была любовь Александра и Селены и рождение жены Рутиллиана. Факелоносцем и главным жрецом был Эндимион-Александр. Он возлежал посреди храма и, конечно, спал; вместо Луны к нему с потолка, как с неба, спускалась некая Рутиллия, молодая и красивая жена одного из императорских прокураторов; она действительно была влюблена в Александра и пользовалась взаимностью; на глазах несчастного мужа, посреди храма, они целовались и обнимались; и если бы не слишком яркое освещение, то, конечно, было бы совершено и то, что происходит втайне. Немного спустя Александр вновь выходил в наряде жреца и среди полного молчания громким голосом произносил: — О Гликон! — Следовавшие за ним подлинные эвмолпиды и керики [25] (это были пафлагонцы, обутые в грубые сапожища и распространявшие запах чесночной похлебки) отвечали в свою очередь: — О Александр!

40. Часто во время праздника с факелами и священных танцев Александр преднамеренно обнажал и показывал свое золотое бедро, по-видимому, прикрытое золоченой кожей и сверкавшее при свете факелов. Как-то двое мудрых глупцов решили спросить.

не обладает ли он вместе с золотым бедром также и душой Пифагора[26] или похожей на нее, и передали этот вопрос Александру. Владыка Гликон разрешил их недоумение в таком изречении:

Гибнет душа Пифагора, но снова затем оживает,
Разум божественный сам от себя порождает пророка;
Людям хорошим в защиту отец его ниспосылает;
Зевса перуном сраженный, к нему возвратится он снова.

41. Он приказывал всем воздерживаться от сожительства с мальчиками, как от греха, а сам в своем «благородстве» придумал следующее. Он предписал городам Пафлагонии и Понта посылать каждые три года прислужников в храм, чтобы они пели у него гимны в честь бога. Надлежало посылать самых знатных, во цвете молодости и красивых, выбранных после тщательного осмотра. Запираясь с ними, он пользовался мальчиками, как купленными за деньги рабами, спал с ними и вытворял всякие гнусности. Он издал закон, чтобы никто старше восемнадцати лет не прикасался к его устам и не целовал его, когда приветствует; но, протягивая всем прочим для поцелуя свою руку, он сам целовал только молодых людей, которые назывались: «Те, что в поцелуе».

42. Пользуясь, таким образом, человеческой глупостью в свое удовольствие, Александр невозбранно соблазнял женщин и находился в связи с молодыми людьми. Каждому казалось приятным и желанным, если Александр удостоит взглядом его жену, а если он награждал ее поцелуем, всякий считал, что его дом посетит счастье во всей своей полноте. Многие женщины хвалились, что от Александра имеют детей, и мужья удостоверяли, что они говорят правду.

43. Я хочу передать тебе также разговор Гликона с неким Сацердотом из Тианы, чтобы ты узнал, какого приблизительно качества был ум Александра. Я прочел этот разговор, записанный золотыми буквами в Тиане, в жилище Сацердота.

«Скажи мне, владыка Гликон, кто ты такой?» — «Я новый Асклепий». — «Другой, не тот, что был раньше? Что ты скажешь?» — «Тебе не дозволено этого знать». — «Сколько лет ты пробудешь у нас, давая оракулы?» — «Тысячу и три». — «А затем куда ты отправишься?» — «В Бактру и тамошнюю страну. Пусть и варвары воспользуются моим присутствием». — «Остальные прорицалища — в Дидимах, Кларе, Дельфах — действительно ли твоего деда Аполлона, или даваемые ими прорицания лживы?» — «Не желай это узнать, это не дозволено». — «Кем я буду после моей теперешней жизни?» — «Верблюдом, затем лошадью, потом мудрецом и пророком, не меньшим, чем Александр». Вот что сказал Гликон Сацердоту. Под конец он изрек стихотворный оракул, так как знал про его дружбу с Лепидом:

Лепиду не доверяй ты; погибельный рок — его спутник.

Как я уже сказал, Александр очень боялся Эпикура — искусного и мудрого врага его обманов.

44. Александр подверг немалой опасности одного эпикурейца, осмелившегося его порицать в присутствии большой толпы. Выйдя вперед, эпикуреец громким голосом сказал: — Ты, Александр, убедил такого-то пафлагонца передать правителю Галатии для смертной казни своих слуг за то, что они будто бы убили его сына, получившего образование в Александрии. А юноша жив и возвратился невредимым после гибели рабов, отданных тобой на растерзание диким зверям. Дело было так. Прибыв в Египет, юноша доплыл на корабле до гавани Клисмы. Здесь его убедили отправиться в Индию. Так как он задержался с возвращением, то несчастные его рабы, думая, что юноша погиб или во время плавания по Нилу, или от руки разбойников, — последних тогда было много, — возвратились и рассказали о его исчезновении. Затем последовали твой оракул и казни, а после появился юноша и объяснил свое отсутствие.

45. Так он сказал; Александр же, раздраженный этим упреком и не перенося справедливого обвинения, приказал присутствовавшим побить эпикурейца камнями, угрожая, что в противном случае они сами окажутся проклятыми и прослывут эпикурейцами. Толпа уже начала бросать в эпикурейца камнями, но Демострат, — одно видное лицо в Понте, — находившийся случайно тут же, прикрыл его своим телом и спас таким образом от смерти, а не то он был бы побит камнями, и поделом; на что, в самом деле, ему понадобилось одному быть разумным среди таких безумцев, и что хорошего вздумал он извлечь из глупости пафлагонцев? Вот как было дело с этим эпикурейцем.

46. За день до прорицания происходил вызов всех желающих услышать ответ оракула. Если на вопрос глашатая, изречет ли он такому-то, оракул отвечал: — Ну его к воронам! — то вопрошавшего уже не принимали ни в один дом, не разделяли с ним ни огня, ни воды. Ему приходилось бежать из страны в страну, как нечестивцу, безбожнику и эпикурейцу; последнее наименование было величайшим ругательством.

47. Александр совершил также поступок, достойный самого жестокого осмеяния: получив в свои руки «Основные положения» Эпикура, самую, как ты знаешь, прекрасную из всех книг, заключающую догматы мудрого учения этого мужа, он сжег ее на площади на костре из фигового дерева, как будто сжигал самого философа. Пепел он выбросил в море и провозгласил изречение:

В пламень ты ввергни скорее творения старца слепого.

Не знал этот трижды проклятый, что эта книга является источником великих благ для тех, кто с ней встретится; не знал и того, что мир, свободу и избавление от душевных волнений приносит она читающим, что она удаляет от нас страхи, призраков и пугающие нас знамения, так же как пустые надежды и чрезмер-

ные желания; влагает в наш ум истину и действительно очищает мысли — не факелами, морским луком и другими подобными пустяками [27], но правильным словом, истиной и смелой откровенностью.

48. Среди всего прочего выслушай еще об одной величайшей дерзости этого гнусного человека. Пользуясь высоким положением Рутиллиана, Александр завязал прочные связи с императорским дворцом и двором. Когда возгорелась война в Германии и божественный Марк Аврелий уже готов был схватиться с квадами и маркоманами, Александр послал ему свой оракул. Изречение приказывало бросить в Истр двух живых львов с большим количеством благовоний и принести богатые жертвы. Лучше всего прочти само изречение:

> В мощное Истра теченье, потока с небесной водою,
> Брось поскорее служителей пару богини Кибелы [28],
> С гор приведенных зверей и цветы, благовонные травы,
> Индии воздух живительный кои вдыхали. Победа
> Тотчас приидет со славой великой и миром желанным.

Все было сделано согласно его предписанию. Но, когда львы переплыли на неприятельский берег, варвары прикончили их дубинами, думая, что это собаки или чужеземная порода волков. Непосредственно после этого наши потерпели ужасный урон, потеряв сразу до двадцати тысяч человек. Затем произошло несчастье под Аквилеей, и едва не последовало взятие этого города.

Ввиду случившегося Александр неудачно воспользовался известным оправданием Дельф после предсказания Крезу: [29] он объяснил, что бог предсказал победу, но не указал чью — римлян или врагов.

49. Так как прорицалище постоянно наполняла масса людей и город, тяготясь этой толпой, терпел недостаток в съестных припасах, Александр придумал так называемые «ночные оракулы». Взяв таблички, он утверждал, что спал на них, и давал ответ, как если бы слышал бога во сне. Эти ответы были по большей части неясны, двусмысленны и запутанны, особенно если он видел, что таблички запечатаны с большой тщательностью. Не желая подвергать себя опасности, Александр отвечал наугад, что только приходило ему в голову, считая, что и такой ответ будет годен. Ввиду этого появились толкователи, собиравшие толкованием и разъяснением оракулов не малые деньги с лиц, получивших такие изречения. Но занятие их было обложено пошлиной: каждый толкователь платил Александру по одному аттическому таланту.

50. Иногда, чтобы поразить глупцов, Александр изрекал оракул, даже если никто его и не вопрошал и не был к нему прислан, — словом, без всякого повода. Вот, например, подобный оракул:

> Знать, ты, конечно, желаешь, кто в доме твоем сокровенно
> Брачный союз твой позорит с женою, Каллигенией.

Раб Протоген, доверяешь которому ты безусловно,
Сам ты его опозорил — твою он позорит супругу,
Платою равною так отплатив за свое оскорбленье.
Страшное ими составлено снадобье — гибель твоя в нем,
Чтобы ты слышать и видеть не мог, что они совершают.
Снадобье ты под постелью найдешь, у стены, к изголовью.
В деле сообщницей служит у них и Калипсо — служанка.

Неужели сам Демокрит не был бы изумлен, услышав и имена и столь точное указание места и действия? Но как бы он стал немного спустя презирать обманщика, поняв коварный замысел этого предсказания!

51. Неоднократно Александр давал прорицания также варварам, если кто-нибудь спрашивал его на своем родном языке — по-сирийски или по-кельтски. Однако ему не легко было находить в Абонотихе соплеменников вопрошавшего. Поэтому от подачи табличек до объявления прорицания проходило много времени, пока Александр на досуге мог вскрыть таблички и найти человека, который был в состоянии все растолковать и написать ответ. Вот для примера изречение, данное скифу:

Морфи абаргулись для тени хненхикранг покинет свет.

52. В другой раз Александр посоветовал в прозе лицу, не только отсутствовавшему, но, быть может, вообще не существовавшему, возвратиться домой: «Пославший тебя убит сегодня своим соседом Диоклом в сообществе с разбойниками Магном, Целером и Бубалом, которые уже схвачены и заключены в оковы».

53. Выслушай теперь несколько оракулов, данных Александром мне. Я спросил, не плешив ли Александр, и в присутствии свидетелей тщательно запечатал таблички. Точный ответ гласил:

Был также Аттис другой, не Малах, сын Сабардалаха.

В другой раз от имени двух разных лиц и на двух отдельных табличках я задал один и тот же вопрос — откуда был родом поэт Гомер. Мой слуга на вопрос Александра, зачем он пришел, отвечал: «Чтобы узнать лекарство от боли в боку». Обманутый этими словами Александр дал такой ответ:

Мазью китмидою ты натирайся и пеною конской.

От другого моего посланца он услышал, что тот пришел узнать, отправиться мне в Италию на корабле или сухим путем. Ни словом не упоминая о Гомере, Александр ответил:

По морю ты не плыви, но иди пешеходной дорогой.

54. Я придумал для него много подобных вопросов. Например, я задал ему один вопрос и, по обычаю, надписал на табличке: «Восемь вопросов такого-то». Поставив первое пришедшее в голову имя, я отправил табличку, приложив более восьми драхм, — сколько должно было получиться в общем. Александр был введен

в заблуждение присланной платой и надписью на табличках и на один вопрос, гласивший: «Когда Александр будет уличен в обмане?» — прислал восемь ответов. Они, как говорится, не касались ни земли, ни неба и были все глупы и бессмысленны. Узнав впоследствии о моей проделке, а также о том, что я отговаривал Рутиллиана от вступления в брак и советовал не возлагать надежд на слова оракула, Александр, вполне естественно, возненавидел меня. Он считал меня своим злейшим врагом и на вопрос Рутиллиана обо мне ответил:

Радость находит в ночных похожденьях и ложе бесчестном.

55. Словом, вполне понятно, что я был для него ненавистнейшим человеком. Когда он услышал о моем прибытии в город и узнал, что я — известный ему Лукиан, Александр пригласил меня с большой любезностью и дружелюбием. Со мной были два воина: один — копейщик, другой — вооруженный дротиком, — их дал мне мой приятель Каппадокий, чтобы они сопровождали меня до моря. Придя к Александру, я застал около него толпу; по счастью, меня сопровождали и оба воина. Александр протянул мне для поцелуя свою правую руку, как он обыкновенно делал, я же, наклонившись, как будто для поцелуя, сильным укусом почти лишил его руки. Присутствовавшие, уже заранее разгневанные на меня за то, что я при входе назвал его просто Александром, а не пророком, бросились на меня, желая задушить или хотя бы избить. Но Александр с благородством и твердостью успокоил их и обещал без труда сделать меня кротким и явить благое могущество Гликона, который превращает в друзей даже величайших врагов. Затем, удалив всех, он начал со мной спорить, говоря, что отлично знает мои советы Рутиллиану, и прибавил: — Почему ты так поступаешь? Ведь ты мог бы благодаря мне очень выиграть в его глазах. — Я охотно принял это любезное предложение, видя, какой опасности я подвергся, и немного спустя ушел, став его другом; столь быстрая перемена во мне вызвала немалое удивление толпы.

56. Я оставался в городе один с Ксенофонтом, а отца и всех своих отправил заранее в Амастриду. Когда я собирался отплыть, Александр прислал дружеские дары и многочисленные подарки. Он обещал доставить мне для путешествия корабль и гребцов. Я думал, что все это делается чистосердечно и искренне. Когда же в середине своего пути я заметил, что кормчий плачет и спорит с гребцами, мои надежды на будущее омрачились. Александр, оказалось, поручил им погубить нас, бросив в море. Если бы это случилось, он легко закончил бы войну со мной. Но кормчий слезными мольбами убедил своих спутников не делать нам ничего дурного; обратившись ко мне, он сказал: — Вот уже шестьдесят лет, как ты видишь, живу я безупречной и честной жизнью, и не хотел бы я в таком возрасте, имея жену и детей, осквернить руки

убийством. — Он объяснил, с какой целью принял нас на судно и что ему приказал сделать Александр.

57. Высадив нас в Эгиалах, о которых упоминает и дивный Гомер [30], он отправился обратно. Здесь встретил я боспорских послов, плывших от царя Эвпатора в Вифинию с ежегодной данью. Я рассказал им об угрожающей нам опасности, встретил в них сочувствие, был принят на корабль и добрался до Амастриды, с трудом избежав смерти.

С этого мгновения я объявил Александру войну и, как говорится, привел в движение все снасти, желая ему отомстить. Впрочем, я ненавидел его еще до злого умысла против меня и считал своим злейшим врагом за гнусность его нрава; теперь же я стал усиленно подготовлять обвинение, имея много союзников, особенно среди учеников Тимократа, философа из Гераклеи. Но Авит [31], бывший тогда правителем Вифинии и Понта, чуть не слезной мольбой удержал меня от этого и убедил бросить хлопоты: ввиду расположения Рутиллиана к Александру невозможно-де наказать его, даже схватив на месте преступления. Итак, мне пришлось умерить свой порыв и оставить смелость, неуместную при таком настроении судьи.

58. Не является ли среди всего прочего большой дерзостью и следующий поступок Александра? Он попросил императора переименовать Абонотих в Ионополь. Также попросил он чеканить новую монету, на одной стороне которой было бы выбито изображение Гликона, а на другой — Александра с повязками деда его Асклепия и кривым ножом Персея, прародителя с материнской стороны.

59. Александр предсказал самому себе, что ему назначено судьбой прожить полтораста лет и умереть пораженным молнией. Однако, не дожив и до семидесяти лет, он погиб самой жалкой смертью. У него, как и подобало сыну Подалирия [32], вся нога сгнила целиком, до самого паха, и кишела червями. Тогда же заметили, что он плешив, так как страдания вынудили его разрешить врачам смачивать ему голову, чего нельзя было делать иначе, как снявши накладные волосы.

60. Таков был конец трагедии Александра, таков исход всей драмы. Если он был и случаен, все же можно усмотреть в нем как бы некий промысел. Оставалось только устроить погребальные торжества, достойные такой жизни, и объявить соискание на дальнейшее владение прорицалищем. Самые главные сообщники и обманщики обратились за решением к судье Рутиллиану — кому из них принять прорицалище и быть украшенным повязкой главного жреца и пророка. Среди них был и Пет, по роду занятий врач, человек уже седой, но задумавший дело, не подобающее ни врачу, ни седому человеку. Однако Рутиллиан, бывший судьей в соискании, отправил их обратно, никого не наградив венком. Рутиллиан оставил звание пророка за Александром и после его ухода из здешнего мира.

61. Вот немногие из многих дел Александра, которые я счел достойными описания, желая, мой милый, сделать удовольствие тебе — товарищу и другу; ведь из всех людей более всего я восхищаюсь тобою за твою мудрость и любовь к правде, мягкость характера и снисходительность, спокойствие жизни и общительность с ближними. Главным образом писал я — и для тебя это особенно приятно, — чтобы отомстить за Эпикура, мужа поистине святого и с божественным естеством, который один только без ошибки познал прекрасное, преподал его и стал освободителем всех имевших с ним общение.

Думаю, что и для других людей мое писание окажется полезным, опровергая одно, а другое укрепляя во мнении благоразумных людей.

ИКАРОМЕНИПП, ИЛИ ЗАОБЛАЧНЫЙ ПОЛЕТ

1. Менипп[1]. Итак, три тысячи стадиев было от земли до луны; это — первый переход. Оттуда вверх, к солнцу, около пятисот парасангов; наконец от солнца до самого неба с акрополем Зевса... да, пожалуй, быстрокрылый орел пролетел бы это расстояние не скорее, чем за день.

Друг. Ради Харит! Что это ты, Менипп, звезды изучаешь и производишь про себя какие-то вычисления? Вот уже довольно долго я слежу за тобою и слышу о солнцах и лунах и вдобавок еще о каких-то вздорных переходах и парасангах...

Менипп. Не удивляйся, дорогой! Если тебе и кажется, что я говорю о предметах слишком возвышенных и заоблачных, то дело лишь в том, что я составляю приблизительный подсчет пути, пройденного мною в последнее путешествие.

Друг. Так разве ты, подобно финикийцам, определяешь свой путь по светилам?

Менипп. Нет, клянусь Зевсом! Но я путешествовал среди них.

Друг. Клянусь Гераклом, длинный же сон ты видел, если, сам того не замечая, проспал целые парасанги.

2. Менипп. Ты думаешь, дорогой, что я говорю о каком-то сновидении, а между тем я только что спустился от Зевса.

Друг. Что ты говоришь! Перед нами Менипп, слетевший с неба?

Менипп. Да, и я стою перед тобою, вернувшись только сегодня от великого Зевса, где я видел и слышал много удивительного. А если ты не веришь, я могу только еще больше радоваться: значит, действительно я испытал нечто поразительное.

Друг. Как могу я не верить, о божественный олимпиец Менипп! Я — всего лишь жалкий смертный, живущий на земле, — не

поверю тебе, мужу заоблачному или одному из небожителей, по выражению Гомера?! Но скажи мне, если тебе не трудно, каким образом поднялся ты с земли на небо, где сумел ты найти такую высокую лестницу? Ведь ты далеко не похож лицом на пресловутого фригийца[2], так что довольно трудно предполагать, чтобы орел восхитил тебя, дабы ты стал виночерпием Зевса.

Менипп. Я давно замечаю, что ты смеешься надо мною, и нисколько не удивляюсь, что мой необычный рассказ представляется тебе похожим на сказку. И все же мое восхождение обошлось без всякой лестницы и без того, чтобы быть возлюбленным орла: у меня были свои крылья!

Друг. Это уж слишком! Ты превзошел Дедала, если, сверх всего прочего, сумел скрыться от нас, превратившись из человека в ястреба или в галку.

Менипп. Правильно, дорогой мой! Твое сравнение не так уж далеко от истины: я осуществил Дедалову затею и сам смастерил себе крылья.

3. Друг. Но неужели, о величайший храбрец, ты не побоялся того, что и ты упадешь в море и дашь ему, от своего имени, название Мениппийского, как тот сын Дедала — Икарийскому?

Менипп. Нет, не побоялся! Икар скрепил свои крылья воском, который очень скоро растаял от солнечных лучей; понятно, что Икар растерял перья и, как следовало ожидать, упал. У меня же крылья были без воска.

Друг. Что ты говоришь! Не знаю почему, но понемногу ты заставляешь меня верить в правдивость твоего рассказа.

Менипп. Так вот, во-первых, поймав огромного орла, а также коршуна, из самых сильных, я отрезал им крылья у самой спины... Впрочем, если тебе некуда спешить, я лучше расскажу тебе обо всем с самого начала.

Друг. Нисколько не спешу! От твоих слов я весь превратился в ожидание и с открытым ртом жду, чем кончится твой рассказ. Ради Зевса, покровителя дружбы, не бросай меня привешенным за уши в самом начале своего рассказа.

4. Менипп. Ну, хорошо! И правда, некрасиво оставлять друга с разинутым ртом, да еще подвешенного, как ты говоришь, за уши. Слушай же!

Присматриваясь ко всевозможным житейским явлениям, я очень скоро стал понимать, насколько они смешны, жалки и непостоянны, — я говорю о богатстве, власти и могуществе; презирая все эти блага и считая тщетную погоню за ними препятствием для истинных занятий, я попытался вынырнуть из этой тины и оглянуться на все окружающее. Сперва я был охвачен сомнениями; об этом мире, который философы именуют космосом, мне долго не удавалось узнать ничего — ни как он произошел, ни кто его создатель. Не ведал я также, где его начало и

какова его конечная цель. Тогда я стал рассматривать мир по частям, но это только увеличило мои недоумения; глядя на звезды, рассыпанные в беспорядке по небу, на самое солнце, я сгорал желанием узнать, что они такое. Но наиболее непонятным и загадочным представлялось мне все, что касалось луны: многообразие ее форм, казалось мне, вызывается какою-то тайною причиной. Наконец молния, пронизывающая тучи, низвергающийся гром, дождь, снег, падающий град — все это было для меня неразрешимой загадкой.

5. Вот в этом настроении я и подумал, что лучше всего будет обратиться к философам за решением всех этих вопросов, так как полагал, что они сумеют возвестить мне полную правду.

Я выбрал среди них лучших — если свидетелями достоинства считать угрюмое лицо, бледный цвет кожи и густую бороду, — и действительно, на первый взгляд они показались мне людьми красноречивыми и знакомыми с небесными явлениями. Отдав в их распоряжение себя и изрядное количество денег, — часть я выплатил сразу, а остальное условился внести по окончании занятий, — я попросил их объяснить мне небесные явления и устройство вселенной. И с таким рвением принялись они счищать с меня прежнее невежество, что привели меня в еще большее замешательство, окатив целым дождем первопричин, целей, атомов, пустоты, материй, идей и прочего. Но всего печальнее было то, что мои наставники ни в чем не соглашались друг с другом; напротив, каждый из них оспаривал мнение другого, утверждая противоположное и стремясь к тому, чтобы я признал его правоту и проникся его взглядами.

Друг. Странные ты вещи рассказываешь, будто мудрецы спорят друг с другом о существующем и не имеют одинакового мнения об одном и том же!

6. Менипп. Да, дорогой! А как бы ты смеялся, если б послушал их речи, полные хвастовства, их рассказы о чудесах! Твердо ступая по земле, ничем не возвышаясь над нами, ползающими по ней, философы видят не лучше своих соседей, а иные по старости и немощи и вовсе близоруки. И тем не менее они утверждают, что различают границы неба: указывают размеры солнца, проходят по надлунным пространствам и, точно свалившись со звезд, определяют их величину и вид. Часто, наконец, не будучи в состоянии ответить даже на такой простой вопрос, сколько стадиев от Мегар до Афин, они точно знают, каково расстояние между луною и солнцем, дерзают определять его в локтях, измеряют толщу воздуха, глубину океана, окружность земли, чертят круги, нагромождают треугольники на квадраты, изучают всевозможные сферы, даже само небо.

7. И разве не доказывает тупости философов и полного невежества их то, что, говоря о далеко не ясных предметах, они не довольствуются предположениями, но, упорно настаивая на своей

правоте и отрицая за противоположным взглядом всякое значение, чуть не клянутся, что солнце есть раскаленный шар [3], что луна обитаема, что звезды пьют воду, которую солнце, словно на колодезной веревке, черпает из моря и поровну распределяет между ними?

8. Нетрудно заметить, насколько противоположны их взгляды. Ради Зевса, посмотри сам, близки ли их учения между собой, не противоречат ли они друг другу. Прежде всего, у них замечается полное разномыслие по вопросу о мире: одни утверждают, что он не создан и никогда не погибнет, другие дерзают говорить о творце и о самом способе создания им мира. Но всего больше я удивлялся тем, которые, признавая некоего бога, творца всего, не могут объяснить ни того, откуда он явился, ни того, где бог находился, когда творил мир: ведь невозможно мыслить время и пространство прежде всякого бытия...

Друг. Но ведь ты рассказываешь про дерзких людей, про обманщиков.

Менипп. А чтобы ты сказал, если б послушал их рассуждения об идеях [4], о бестелесных сущностях или их речи о пределе и беспредельном? К тому же между философами разгораются жестокие споры, так как одни видят во всем существующем только конечное, другие, напротив, полагают, что оно бесконечно. Далее, многие утверждают, что существует большое число миров [5], и обрушиваются на тех, которые думают, что этот мир единственный. Наконец один из них, далеко не миролюбивый человек, считает раздор отцом всего миропорядка [6].

9. А боги? Не знаю, стоит ли даже вспоминать взгляды этих людей на них! Одним божество представляется числом [7], другие клянутся собаками [8], гусями и платанами, третьи, наконец, изгнав всех других богов, передают власть над миром единому божеству [9], так что мне оставалось лишь огорчаться такой бедностью в богах. Впрочем, менее жадные признают многих богов, причем делят их на разряды, называя одного бога первым и указывая остальным вторые и третьи места в соответствии со степенью их божественности. Одни считают божество бестелесным и лишенным формы, а другие, напротив, не мыслят его иначе как вещественным. Но главное — далеко не все они признают промысел богов в человеческих делах: некоторые освобождают богов от всяких забот [10], поступая с ними подобно нам, когда мы избавляем стариков от общественных тягот. Словом, боги у них ничем не отличаются от телохранителей, которых комические поэты выводят на сцену [11]. Но все это пустяки в сравнении с теми, которые вовсе отрицают существование богов и, бросая мир на произвол судьбы, лишают его владыки и вождя.

10. Однако, выслушивая все это, я не дерзал оказывать недоверие столь высокогремящим и прекраснобородым людям; но в то же время, соглашаясь со словами одного, я не находил в них ничего, что не опровергалось бы речами другого. И я оказывался

в таком состоянии, о котором говорит Гомер: часто едва я решался поверить одному из них, как уже —

иное на мысли пришло мне [12].

Все это приводило меня в полное недоумение, и я не видел, от кого бы на земле мне узнать истину. Тогда-то я и решил, что единственный способ избавиться от моего невежества — это, вооружившись крыльями, самому подняться на небо. Надежду в этом деле давала мне главным образом сила желания, а также баснописец Эзоп, который утверждает, что небо доступно не только орлам и навозным жукам, но подчас даже верблюдам. Впрочем, я совершенно ясно понимал, что я никаким способом не смогу отпустить себе крылья; если же приспособить крылья коршуна или орла, — ведь только они способны выдержать тяжесть человеческого тела, — я смогу скоро осуществить свое намерение.

Итак, поймав этих двух птиц, я старательно отрезал у орла правое крыло, у коршуна — левое и привязал их крепкими ремнями к плечам. Приладив к концам крыльев две петли для рук, я стал испытывать свою силу: сначала просто подпрыгивал, помогая себе руками, затем, подобно гусям, летал над самой землей, слегка касаясь ее ногами во время полета. Однако, заметив, что дело идет на лад, я решился на более смелый шаг: взойдя на Акрополь, я бросился с утеса и... долетел до самого театра.

11. Так как мой полет прошел благополучно, я задумал подняться выше в небеса: поднявшись не то с Парнета, не то с Гиметта [13], я пролетел на Геранею, оттуда на Акрокоринф; затем, через Фолою и Эриманф, я достиг Тайгета [14]. Вскоре я уже настолько свыкся со своим дерзким занятием, что в совершенстве выполнял смелые полеты и, не довольствуясь высотою, доступною птицам, решил подняться на Олимп; оттуда, запасшись самой легкой едой, я пустился прямо на небо. В первую минуту у меня закружилась голова от огромной высоты, но и это я перенес с легкостью. Прорвавшись сквозь густые облака и очутившись наконец возле луны, я почувствовал некоторую усталость, особенно в левом крыле, отрезанном у коршуна. Ввиду этого я подлетел к луне и, присев на нее, дал себе передышку, посматривая вниз, на землю, и, подобно Зевсу у Гомера, созерцая страну фракийцев — укротителей коней и землю мисян [15], а вслед за тем поглядывая на Элладу, Персию и Индию. От всего этого получил я самое тонкое наслаждение.

Друг. Не расскажешь ли, Менипп, также о том, что ты оттуда видел, чтобы нам ничего не пропустить из твоего путешествия и узнать даже мелкие подробности? Думаю, что я мог бы услышать от тебя много любопытного о том, в каком виде представлялись тебе сверху земля и все, что на ней существует.

Менипп. Ты совершенно прав, дорогой мой! Итак, поста-

райся подняться мысленно на луну, соверши со мной это путешествие и, поставив себя на мое место, охвати взором весь земной строй.

12. Прежде всего, земля показалась мне очень маленькой, значительно меньше луны, так что при первом взгляде я, как ни нагибался, не мог разглядеть ни высоких гор, ни огромных морей. Если бы я не заметил Колосса Родосского [16] и башни на Фаросе [17], я бы и вовсе не узнал земли; только эти огромные сооружения и океан, спокойно сверкавший под лучами солнца, ясно указывали мне, что я вижу перед собою действительно землю. Однако, присмотревшись пристальней, я вскоре стал различать на ней человеческую жизнь, и не только жизнь целых народов и городов, но и деятельность отдельных людей; и я видел, как одни плыли по морю, другие сражались, третьи обрабатывали землю, четвертые судились; видел женщин, животных — вообще все, что питает плодотворная почва.

Друг. Совершенно невероятно, и ты сам себе противоречишь! Ведь раньше ты говорил, что тебе пришлось разыскивать землю, так как из-за большого расстояния она казалась тебе чуть ли не точкою, и если бы Колосс не указал ее, ты бы думал, что видишь перед собою что-то другое. Так каким же образом ты, словно какой-нибудь Линкей, внезапно оказался в состоянии все рассмотреть на земле — людей, животных, чуть ли не гнезда комаров?

13. Менипп. Хорошо, что ты мне напомнил об этом, а то я и не заметил, что забыл упомянуть о самом важном. Когда я понял, что вижу перед собою землю, но не могу ничего рассмотреть на ней из-за большого расстояния, затруднявшего мое зрение, я был крайне удручен и смущен своею беспомощностью. Я приходил в отчаяние и уже готов был заплакать, как вдруг сзади подошел ко мне философ Эмпедокл; весь в пепле и словно поджаренный, он весьма напоминал собою головню [18]. Сознаюсь, при виде его я перепугался, приняв его за духа луны. Впрочем, он поспешил успокоить меня и сказал: — Мужайся, Менипп!

Нет, я не бог; как дерзнул ты бессмертным меня уподобить? [19]

Я — Эмпедокл, философ. Лишь только я бросился в кратер Этны, дым вулкана охватил меня и забросил сюда. С тех пор я живу на луне, питаюсь росою и странствую все больше по воздуху; я вижу, тебя огорчает и мучает то, что ты не можешь ясно разглядеть землю. — Милейший Эмпедокл, — воскликнул я, — ты хорошо поступаешь! Лишь только я вернусь в Элладу, я не премину совершить тебе возлияние на моем очаге и во время новолуний буду обращаться к луне с троекратным молитвенным возгласом. — Клянусь Эндимионом, — ответил Эмпедокл, — не ради вознаграждения я пришел сюда, но потому, что, видя твои страдания, я от всей души сочувствовал тебе... Так вот, знаешь ли, что должен ты сделать, чтобы приобрести остроту зрения?

14. — Нет, клянусь Зевсом, — воскликнул я, — разве что ты каким-нибудь образом снимешь пелену, застилающую мои глаза: сейчас на них точно ячмень сидит! — А между тем, — сказал Эмпедокл, — моя помощь вовсе и не нужна тебе, ты явился с земли, имея прекрасное зрение... — Что ты хочешь этим сказать? Я не понимаю тебя. — А разве ты не знаешь, — продолжал он, — что к твоему правому плечу привязано крыло орла? — Отлично знаю, — сказал я. — Но что общего между этим крылом и моим зрением? — А то, что орел далеко превосходит силою взора все живые твари: лишь он один может прямо смотреть на солнце. Настоящий царь, орел способен, не моргая, выносить яркий свет солнечных лучей.

— Так говорят, — сказал я, — и я уже начинаю жалеть, что, поднимаясь сюда, не вырвал своих глаз и не вставил на их место орлиные. Вообще я явился сюда лишь наполовину готовым и снаряженным далеко не по-царски; я скорее похож на незаконнорожденного орленка, лишенного наследства. — Ни от кого другого, а только от тебя зависит, — сказал мне Эмпедокл, — чтобы один из твоих глаз стал поистине царским: немного привстань и, удерживая в покое крыло ястреба, взмахивай только другим, и твой правый глаз, в соответствии с природой крыла, тотчас же станет дальнозорким. Ну, а глаз другой, слабейшей твоей половины, никоим образом не будет видеть острее. — Довольно мне и одного правого глаза, если он будет зорок по-орлиному. Это, пожалуй, даже лучше: ведь не раз мне приходилось наблюдать, как плотники, выравнивая балки по отвесу, прищуривают один глаз, чтобы лучше видеть.

С этими словами я сделал то, что мне посоветовал Эмпедокл; он же, медленно удаляясь, незаметно рассеялся, обратившись в дым.

15. И лишь ударил я крылом, яркий свет озарил меня, освещая передо мною все скрытое ранее. Наклонившись, я превосходно видел землю, города, людей. Я увидел все, что они делали не только под открытым небом, но и в своих домах, считая себя хорошо скрытыми: Птолемей спал со своей сестрой; сын Лисимаха злоумышлял против своего отца; Антиох, сын Селевка, потихоньку подмигивал Стратонике, своей мачехе; я видел, как жена Александра-фессалийца убивала мужа, Антигон развратничал с женой своего сына, сын же Аттала отравлял своего отца. Далее, Арсак убивал женщину, в то время как евнух Арбак заносил над ним свой меч. Спатина-мидийца, убитого ударом золотой чаши в висок, волочили за ноги с пиршества телохранители [20]. Подобное же происходило во дворцах ливийских, скифских и фракийских царей — тот же разврат, те же убийства, казни, грабежи, клятвопреступления и опасения быть преданными своими же домашними.

16. Вот какое зрелище представляли дела царей! А жизнь частных лиц казалась еще смешнее. Я увидел Гермодора-эпику-

рейца, приносящего ложную клятву из-за тысячи драхм; стоика Агафокла, который обвинял перед судом одного из своих учеников за неуплату денег; оратора Клиния, крадущего чашу из храма Асклепия; киника Герофила, спящего в публичном доме... Впрочем, стоит ли рассказывать обо всех этих грабителях, сутягах, ростовщиках, взыскивающих свои ссуды? Пестрое, разнообразное зрелище!

Друг. Было бы очень хорошо, Менипп, если б ты рассказал мне обо всем; по-видимому, это зрелище доставило тебе редкое удовольствие.

Менипп. Рассказать все подробно, любезный друг, невозможно. Даже и рассмотреть-то это было делом нелегким. Впрочем, все вместе напоминало то, что, по словам Гомера [21], было изображено на щите Ахилла. Здесь были пиршества и браки, там суд, народные собрания; далее, кто-то совершал жертвоприношение; рядом другой предавался горю. Всякий раз, взглядывая на Гетику, я замечал сражающихся гетов, когда же оборачивался на скифов, то видел их кочующими в повозках. Слегка переведя взгляд в сторону, я мог наблюдать египтян, обрабатывающих землю; финикийцы путешествовали, киликийцы совершали разбойничьи набеги, лаконяне сами себя бичевали, афиняне судились [22].

17. Так как все, что я видел, происходило одновременно, — ты можешь себе представить, какая получилась пестрая смесь. Все равно как если бы, набрав много певцов, а еще лучше — несколько хоров, приказать каждому участнику вместо общей стройной мелодии тянуть свою арию; тогда всякий из соперничества и желания выделить свою песнь стремился бы во что бы то ни стало перекричать своего соседа. Клянусь Зевсом, ты и представить себе не можешь, что это было бы за песнопение!

Друг. Совершенно верно, Менипп: смешное и бестолковое.

Менипп. Так вот, дорогой мой, все жители земли подобны таким певцам; из этой нескладицы и составляется жизнь людей, — они не только поют нестройно, они различны даже по своим одеждам, да и идут-то они все вразброд; их мысли противоречивы, и все это до тех пор, пока руководитель хора не сгонит всех по одиночке со сцены, сказав, что они здесь более не нужны. С этого времени люди теряют свои прежние различия и, умолкнув, перестают тянуть свою бестолковую и нестройную песню. И все, что происходит на этой пестрой и разнохарактерной сцене, действительно достойно смеха.

18. Но больше всего я смеялся над теми, которые спорят о границах своих владений и гордятся тем, что обрабатывают равнину Сикиона, владеют землею у Марафона, в соседстве с Эноей, и обладают тысячью плетров в Ахарнах. В самом деле, вся Эллада представлялась мне сверху величиною пальца в четыре, а Аттика, соответственно с этим, выглядела, по-моему, прямо точкой. И я задумался над тем, на каких пустяках зи-

ждется гордость наших богачей: действительно, самый крупный землевладелец, казалось мне, обрабатывает всего лишь один эпикуровский атом. Бросил я взгляд на Пелопоннес и, заметив Кинурию, вспомнил, как много аргивян и лакедемонян пало в один день в битве за обладание этим клочком земли размером не более зерна египетской чечевицы [23]. И если я видел человека, гордого своим золотом, своими восемью кольцами и четырьмя чашами, я не мог удержаться от смеха, так как весь Пангей [24] со всеми своими рудниками был не больше просяного зерна.

19. Друг. Какой ты счастливец, Менипп! Что за поразительное зрелище! Но скажи, бога ради, какими казались тебе сверху города и люди?

Менипп. Я думаю, тебе не раз приходилось видеть муравьев: одни толпятся кучами, другие выходят из муравейника или возвращаются в него; тот тащит в дом кусочек навоза, этот торопливо несет подобранную где-то кожуру боба или половину пшеничного зерна. Есть у них, по-видимому, в соответствии с их муравьиной жизнью и строители и народные вожди; есть пританы, музыканты и философы. Так вот, города, населенные людьми, показались мне более всего похожими на муравейники. Если же тебе это сравнение людских общежитий с муравьиным царством кажется унизительным, то вспомни о старых преданиях фессалийцев, и ты увидишь, что мирмидоняне, этот воинственный народ, превратились в людей из муравьев [25].

Насмотревшись вдосталь и от всего сердца посмеявшись, я ударил крыльями и полетел

В дом Эгиоха отца, к небожителей светлому сонму [26].

20. Однако не успел я еще взлететь на высоту одного стадия, как Луна сказала мне женским голосом:

— Счастливого пути, Менипп! Исполни для меня небольшое поручение, когда будешь у Зевса. — Охотно, — ответил я, — это не составит для меня никакого труда, если только не придется чего-либо нести ему. — Поручение мое не тяжелое, Менипп, — возразила Луна, — это лишь моя просьба Зевсу. Видишь ли, я возмущена нескончаемой и вздорной болтовней философов, у которых нет иной заботы, как вмешиваться в мои дела, рассуждать о том, что я такое, каковы мои размеры, почему иногда я бываю полумесяцем, а иногда имею вид серпа. Одни философы считают, что я обитаема, другие — что я не что иное, как зеркало, подвешенное над морем, словом, каждый говорит обо мне, что взбредет ему в голову. Наконец иные рассказывают, что самый свет мой — краденый и незаконный, так как он приходит ко мне сверху, от Солнца. Этим они беспрестанно ссорят меня с Солнцем, моим братом, и восстанавливают нас друг против друга. Мало им разве тех небылиц, которые они рассказывают о Солнце, что оно-де и камень и раскаленный шар?..

21. А между тем разве я не знаю, какие позорные и низкие дела совершаются по ночам этими философами, которые днем выглядят такими строгими и доблестными, что своей благородной внешностью привлекают внимание толпы? Я отлично вижу все их проделки и все же молчу, так как считаю неподобающим проливать свет на ночное времяпрепровождение философов и выставлять напоказ их жизнь. Напротив, видя, как они развратничают, воруют, совершают под прикрытием ночного мрака всяческие преступления, я тотчас привлекаю к себе облако и скрываюсь за ним, чтобы не выводить на всеобщее поношение стариков, выделяющихся среди других своей добродетелью и длинными бородами. Они же, без всякого стеснения, продолжают терзать меня своими речами и всячески оскорбляют меня, так что, клянусь Ночью, я не раз хотела поселиться как можно дальше отсюда, чтобы избежать их нескромного языка.

Так вот, не забудь передать все это Зевсу и прибавь еще, что мне невозможно будет оставаться дольше в этих местах, если он не сотрет в порошок философов и не заткнет рта этим болтунам; пусть Зевс разрушит Стою, поразит громом Академию и прекратит бесконечные разговоры перипатетиков [27]. Только тогда я обрету покой и освобожусь от их ежедневных измерений.

22. — Все будет исполнено, — ответил я и с этими словами отправился прямо вверх, к небу, по дороге, вдоль которой

Не было видно нигде ни быков, ни работников в поле [28].

Скоро луна, заслонявшая от меня землю, стала казаться мне маленькой. Оставив вправо солнце и продолжая свой полет среди звезд, я на третий день приблизился наконец к небу. Я надеялся, что мне удастся сразу же проникнуть туда: мое превращение в орла, хотя и неполное, думал я, легко позволит мне пройти неузнанным, так как орел издавна близок Зевсу. Все же я опасался, что меня выдаст мое левое крыло, крыло коршуна, а потому я счел за лучшее, не подвергая себя лишней опасности, подойти к дверям и постучаться.

Гермес услышал стук, спросил мое имя и торопливо пошел докладывать обо мне Зевсу. Немного спустя меня пригласили войти. Перепуганный и дрожащий, я вошел и застал всех богов в сборе; они восседали в креслах и следили за мною не без некоторого беспокойства. Их несколько смутило мое неожиданное прибытие, вызвавшее опасение, как бы таким же образом не прилетели к ним все люди.

23. И вот грозный Зевс, бросая на меня гневные, титанические взгляды, спросил:

Кто ты? Какого ты племени? Где ты живешь? Кто отец твой? [29]

Я чуть не умер от страху, когда услышал его слова, и, точно громом пораженный, стоял с открытым ртом. Однако постепенно

я собрался с духом и, начавши издалека, стал подробно рассказывать, как я желал познакомиться с небесными явлениями, как посещал философов и выслушивал их противоречивые объяснения, как страдал, терзаемый их речами, затем по порядку рассказал о своем решении, о крыльях и обо всем остальном, вплоть до полета на небо, а под конец сообщил ему поручение Луны. Морщины у Зевса разгладились, и, улыбнувшись, он произнес: — Что сказать об Оте и об Эфиальте[30] после того, как Менипп осмелился подняться на небо! Впрочем, сегодня мы приглашаем тебя на угощение, а завтра дадим объяснения, за которыми ты пришел, и отпустим тебя на землю. — Затем он встал и направился к той части неба, откуда было лучше всего слышно, так как наступило время принимать молитвы людей.

24. По дороге Зевс стал расспрашивать меня о всевозможных обстоятельствах земной жизни, и прежде всего о том, почем теперь пшеница в Элладе, была ли последняя зима сурова и нуждаются ли овощи в более обильном дожде; затем спросил, остался ли кто-нибудь из рода Фидия, почему афиняне столько лет не справляли диасий[31], думают ли они закончить постройку Олимпийского храма и задержаны ли ограбившие храм в Додоне[32]. Когда я ответил на все эти вопросы, Зевс продолжал: — Скажи, Менипп, а обо мне что думают люди? — О тебе, владыка, их мнение самое благочестивое. Люди считают тебя царем богов. — Ты шутишь, — возразил Зевс, — я отлично знаю их непостоянство, хотя ты о нем и умалчиваешь. Ведь было время, когда я был для них и пророком, и целителем, — словом, когда

Площади, улицы — все полно было именем Зевса,

тогда и Додона и Писа[33] блистали и пользовались всеобщим почетом, а жертвенный чад застилал мне глаза. Но с тех пор как Аполлон основал в Дельфах прорицалище, Асклепий в Пергаме лечебницу[34], во Фракии появился храм Бендиды[35], в Египте — Анубиса, в Эфесе — Артемиды, с этого времени все бегут к новым богам, справляют в их честь празднества, приносят им гекатомбы. Что же касается меня, состарившегося бога, то они думают, что достаточно почитают меня, если раз в пять лет приносят мне жертвы в Олимпии. И мои алтари стали холоднее «Законов» Платона или силлогизмов Хрисиппа[36].

25. Беседуя таким образом, мы подошли к тому месту, где Зевсу следовало сесть, чтобы выслушать молитвы. Здесь находился целый ряд покрытых крышками отверстий, весьма напоминающих колодцы; возле каждого из них стоял золотой трон. Сев на трон возле первого отверстия и сняв с него крышку, Зевс стал прислушиваться к молитвам, которые доносились к нему со всех мест земли и отличались большим разнообразием. Я сам мог слышать их, так как вместе с Зевсом наклонился над отверстием. Вот, например, каковы были эти молитвы: «О Зевс, дай мне достигнуть царской власти!», «О Зевс, пусть произрастут лук и

чеснок!», «О боги, да умрет мой отец как можно скорее!» А другие говорили: «О, если бы я мог получить наследство после жены!», «О, если бы мне удалось скрыть козни против брата!», «Дайте, боги, мне победить на суде!», «Пусть я буду увенчан на олимпийских состязаниях». Возносили свои молитвы мореплаватели: одни молили о северном ветре, другие — о южном; земледелец просил о ниспослании дождя, сукновал — о солнечных днях. Зевс все это выслушивал, тщательно взвешивая каждую молитву; он исполнял далеко не все, но

То благосклонно взирал на мольбу, то качал головою [37].

Справедливым молитвам он позволял подниматься вверх через отверстие и помещал их по правую сторону от себя, а мольбы несправедливые отгонял назад неисполненными, сдувая их вниз, чтобы они не могли приблизиться к небу. Между прочим, относительно одной молитвы я заметил в нем нерешительность; дело в том, что два человека молили Зевса как раз о противоположном, обещая принести одинаковые жертвы. И вот Зевс, не зная, чьей просьбе отдать предпочтение, испытывал поистине академическую нерешительность; [38] не будучи в состоянии принять какое-либо решение, он предпочел, подобно Пиррону [39], «удержать суждение».

26. Достаточно позанявшись молитвами, Зевс пересел на соседний трон, снял крышку с другого колодца и стал слушать произносивших клятвы. Покончив с этим делом и поразив громом эпикурейца Гермодора, Зевс перешел к следующему трону, где занялся предсказаниями, оракулами и знамениями. Затем он направился к колодцу с жертвоприношениями, через который поднимался дым от жертв, возвещая Зевсу имена всех совершавших жертвоприношения. Исполнив все это, Зевс дал указание ветрам и погодам, разъяснив, что надлежало им делать: — Сегодня пусть будет дождь в Скифии; в Ливии пусть гремит гром; в Элладе идет снег. Ты, Борей, дуй в Лидии, а ты, Нот, оставайся спокоен; Зефир же должен поднять бурю на Адриатическом море; и пусть около тысячи мер града выпадет в Каппадокии.

27. Приведя в порядок все свои дела, Зевс направился со мною на пир, так как уже наступило время обеда. Меня встретил Гермес и устроил на ложе возле Пана, корибантов [40], Аттиса и Сабазия [41] — богов, не пользующихся полными правами гражданства на небе, да и вообще довольно сомнительных. Деметра раздала нам хлеб, Дионис — вино, Геракл — мясо, Афродита — миртовые ягоды, а Посейдон — какую-то рыбешку. Потихоньку я отведал также и амброзии и нектара. Милейший Ганимед, замечая, что Зевс не смотрит в мою сторону, всякий раз из человеколюбия наполнял для меня нектаром одну-другую чарочку. Боги, согласно словам Гомера и моим личным наблюдениям, ни хлеба не едят, ни вина темного не пьют, но лишь угощаются амброзией и утоляют жажду нектаром. Все же наибольшую радость им доставляет

чад, поднимающийся от жертв, смешанный с запахом жареного, и жертвенная кровь, которую совершающие жертвоприношение возливают на алтари. Во время обеда Аполлон играл на кифаре, Силен плясал кордак [42], а Музы, стоя поодаль, пропели нам кое-что из «Теогонии» Гесиода и первую оду из гимнов Пиндара. Насытившись, мы встали из-за стола, чтобы отдохнуть, так как все уже изрядно подвыпили.

28.

> Прочие боги, равно как и мужи, бойцы с колесницы,
> Спали всю ночь; лишь меня не обрадовал сон безмятежный [43].

Долго еще меня мучили разные мысли: смущало меня и то, почему у Аполлона за такое долгое время не отросла борода и отчего на небе наступает ночь, хотя солнце пребывает там постоянно — ведь и сейчас Гелиос присутствовал на обеде... Однако в конце концов мне удалось немного вздремнуть. Проснувшись на следующее утро, Зевс повелел созвать собрание.

29. Когда сошлись все боги, Зевс так начал свою речь: — Вчерашнее прибытие чужестранца послужило поводом настоящего собрания. Я уже давно собирался обсудить с вами поведение некоторых философов, а жалобы Луны заставили меня не откладывать далее рассмотрение этого вопроса. Дело заключается в следующем. Появился на земле сравнительно недавно особый вид людей, оказывающих воздействие на жизнь человека, — людей праздных, сварливых, тщеславных, вспыльчивых, лакомок, глуповатых, надутых спесью, полных наглости, — словом, людей, представляющих собою, по выражению Гомера,

> земли бесполезное бремя [44].

Эти люди разделились на школы, воздвигли самые разнообразные лабиринты рассуждений и называют себя стоиками, академиками, эпикурейцами, перипатетиками и другими еще более забавными именами. Прикрываясь славным именем Добродетели, наморщив лоб, длиннобородые, они гуляют по свету, скрывая свой гнусный образ жизни под пристойною внешностью. В этом они как нельзя более напоминают актеров в трагедиях: снимите с них маску и шитые золотом одеяния, — и перед вами останется жалкий человек, который играет на сцене за семь драхм.

30. И эти-то философы, презирают всех людей, о богах толкуют самым неприличным образом и, окружая себя молодежью, легко поддающейся обману, с трагическим пафосом рассказывают общеизвестные истины о добродетели и учат искусству безнадежно запутывать рассуждения. Своим ученикам они расхваливают постоянство, твердость, умеренность, поносят богатство и наслаждение. Но вот они остались наедине с собою... трудно описать, чего только они не съедают, какому разврату не предаются, с каким наслаждением обсасывают грязь с медных оболов!

А всего возмутительнее то, что, совершенно не заботясь о пользе государства или частных лиц, оказываясь безусловно лишними и бесполезными

Как на войне среди воинов, так и в собранье народном[45],

философы осмеливаются осуждать поведение других, направляют против них едкие речи, подбирают разные ругательства; они порицают и бранят всех, кто приходит в соприкосновение с ними... У этих философов наибольшим уважением пользуется тот, кто громче всех кричит, отличается наибольшею дерзостью и ругается самым наглым образом.

31. А между тем спросите одного из этих многоречивых крикунов и хулителей: «А сам-то ты?.. Что ты делаешь, какую пользу ты приносишь в жизни?» И если ответ последует правдивый и искренний, вот что вы услышите: «Мореплавание, земледелие, военная служба, всякое ремесло кажутся мне бесцельным занятием; я кричу, валяюсь в грязи, моюсь холодною водою, зимою хожу босиком, и, как Мом[46], доношу обо всем, что бы ни случилось. Если какой-нибудь богач слишком много тратит на свой стол или содержит любовницу, я вмешиваюсь в его дела и нападаю на него... а если кто из друзей или приятелей лежит больной, нуждаясь в помощи и уходе, я делаю вид, что незнаком с ним». Вот каково, о боги, это отродье!

32. Но всех своею наглостью превосходят так называемые эпикурейцы. Понося нас, богов, без всякого стеснения, они доходят до того, что осмеливаются утверждать, будто боги нисколько не заботятся о человеческих делах и совершенно не вникают в них. Вот почему не следует медлить с рассмотрением их поведения, ибо если только эпикурейцам удастся убедить человечество в своей правоте, все вы будете обречены на голод. Кто же, в самом деле, станет приносить нам жертвы, не ожидая за это вознаграждения?

Что касается жалоб, представленных против философов Луною, то вы все слышали их от нашего гостя. Обо всем этом предлагаю вам, боги, подумать и принять решение, наиболее полезное для людей и наиболее безопасное для нас.

33. Не успел Зевс кончить, как в собрании поднялся страшный шум и отовсюду стали раздаваться возгласы: «Порази их громом, сожги, уничтожь!», «В пропасть их!», «Низвергни их в Тартар, как Гигантов!» Восстановив тишину, Зевс сказал: — Я обойдусь с ними согласно вашему желанию: все философы вместе с их диалектикой будут истреблены. Однако привести в исполнение кару сегодня же невозможно; как вы все знаете, ближайшие четыре месяца священны, и мною уже объявлен божий мир. В будущем же году, в начале весны, они будут истреблены моей безжалостной молнией.

Рек, и во знаменье черными Зевс помавает бровями[47].

34. Что же касается Менипла, — добавил Зевс, — я решил сделать следующее: необходимо отнять у него крылья, чтобы впредь он к нам больше не являлся, и пусть Гермес сегодня же отнесет его на землю. — Сказав это, Зевс распустил собрание. а Киллений [48], ухватив меня за правое ухо, доставил вчера вечером в Керамик [49].

Теперь, дорогой мой, ты услышал решительно все, что я видел и узнал на небе. Прощай! Я тороплюсь в Расписной Портик, чтобы сообщить прогуливающимся там философам эти радостные известия.

МАРК АВРЕЛИЙ

К САМОМУ СЕБЕ

КНИГА I

1. От Вера, моего деда — у меня хороший характер и незлобивость.

2. От славы моего родителя и памяти о нем — моя скромность и мужественность.

3. От матери — благочестие и щедрость. И воздержание не только от дурных дел, но даже и от того, чтобы в мыслях возникало что-нибудь подобное. Вдобавок простота в образе жизни, далекая от роскоши, принятой у богачей.

4. От прадеда — то, что мне не пришлось посещать общественных школ; я пользовался хорошими учителями на дому и понял, что на это стоит тратиться.

5. От воспитателя — то, что я не стал ни зеленым, ни синим [1], ни пармуларием, ни скутарием [2]. Кроме того — выносливость и неприхотливость, и самостоятельность, и несуетливость. И невосприимчивость в клевете.

6. От Диогнета — нерасположение к пустякам и недоверие к рассказам шарлатанов и кудесников о заклятиях и изгнании демонов и ко всем подобным россказням. Ему я обязан и тем, что не разводил перепелов и не увлекался такими занятиями [3]. И что я выносил свободное, откровенное слово. И что я освоил философию и слушал сперва Бакхия, затем Тандасида и Маркиана. И что с малолетства писал диалоги. И что полюбил походную кровать, шкуру и все прочие особенности эллинского способа воспитания.

7. От Рустика [4] я получил представление о необходимости исправлять и вырабатывать свой характер и не уклоняться в сторону софистической изощренности, не писать умозрительных сочинений, не составлять ничтожных увещательных речей и не изображать из себя напоказ человека, работающего над собой и творящего добро. И избегать риторики, поэтических прикрас и изысканных ухищрений в речи. И не расхаживать у себя дома в сто́ле [5], и не делать ничего подобного. И писать письма простым слогом, как, например, письмо, написанное им из Синуэссы [6] к моей матери. И относиться снисходительно и примирительно, если кто рассердится и поступит неправильно, чуть только он пожелает вернуться к нашим прежним с ним отношениям. И читать тщательно, не довольствоваться общим рассмотрением. И не спешить соглашаться с болтунами. И благодаря ему же мне попались в руки «Воспоминания об Эпиктете» [7], которые он уделил мне из своей домашней библиотеки.

8. От Аполлония [8] — свободомыслие и осмотрительность. И чтобы не руководствоваться, даже ненадолго, ничем иным, кроме разума. И чтобы быть всегда ровным: и при острой боли, и при потере ребенка, и при тяжелой болезни. И то, что я на живом примере наглядно убедился, как один и тот же человек может быть и очень настойчивым и снисходительным. И чтобы не быть раздражительным при истолковании — ведь я воочию видел человека, который считал свою опытность и мастерство при передаче отвлеченных знаний самым малым из своих прекрасных свойств. И то, что я научился, как надо принимать от друзей то, что считается угождением, не принижая себя, но и не проявляя бесчувственности.

9. От Секста [9] — приветливость; у него я наблюдал пример такого дома, где отец — всему глава; там можно было составить себе представление о жизни согласно природе и видеть подлинное величие, заботу о друзьях, угадывание их нужд, способность терпеливо выносить невежество, оставлять без внимания самомнение и уживаться со всеми, так что общение с Секстом было приятнее всякой лести; да и у самих льстецов он пользовался величайшим почетом, вопреки собственному желанию. От него я научился, посредством удобопонятного приема, находить правила, необходимые для жизни, и устанавливать между ними

связь, не выказывать признаков гнева или какой другой страсти, умению сочетать невозмутимость с самыми нежными и почтительными привязанностями, соблюдать благопристойность, но без подчеркивания, и не выставлять напоказ свою широкую образованность.

10. От Александра-грамматика [10] я научился не прибегать к резким порицаниям, не упрекать за встретившиеся варваризмы, за коверканье речи, за неблагозвучие, а просто предложить правильное, надлежащее выражение, в виде ли ответа, подтверждения или совместного разбора самого предмета, а не оборота речи, или же посредством какого-либо иного подходящего попутного упоминания.

11. От Фронтона [11] — понимание того, что тирания влечет за собой клевету, изворотливость, лицемерие и что вообще наша так называемая знать — люди бессердечные.

12. От платоника Александра я научился избегать частого и без нужды упоминания о своей занятости в разговоре с кем-нибудь или в письмах — прием, когда под предлогом неотложных дел беспрерывно отказываются от должного отношения к окружающим людям.

13. От Катула [12] — не быть невнимательным, когда друг жалуется на что-нибудь, даже если он жалуется без основания, но стараться все уладить, а об учителях говорить только хорошее, и притом с сердечностью, как это сделано, например, в воспоминаниях о Домиции и Афинодоте; и подлинно любить детей.

14. От брата моего Севера — любовь к родным, любовь к истине, любовь к справедливости. Через него я познакомился с Тразеей, Гельвидием, Катоном, Дионом, Брутом [13] и получил представление о государстве с одинаковыми для всех законами, устроенном на началах равноправия и свободы высказывания, и представление о царской власти, уважающей больше всего свободу своих подданных. И от него же еще — неизменное, неослабное почтение к философии, и благотворительность, и постоянная щедрость, и надежды на лучшее, и доверие к дружеским чувствам друзей. И откровенность по отношению к тем, кого осуждаешь, чтобы друзьям не надо было догадываться, чего ты хочешь или чего не хочешь, — это должно быть и без того ясно.

15. От Максима [14] — самообладание и неподатливость к чужим влияниям, бодрость в трудных обстоятельствах, в том числе и в болезнях, уравновешенный характер, обходительность и чувство собственного достоинства. И выполнение очередных задач не кое-как.

Что бы ни говорил Максим, все верили в его искренность, и что бы он ни делал, — в его добрые намерения.

Я научился не удивляться, не поражаться, нигде не спешить, не медлить, не теряться, не падать духом, не расточать любезности, вслед за которыми сердишься или питаешь подозрения.

И оказывать благодеяния, и быть снисходительным, и чуждаться лжи, и больше иметь в виду непоправимость, чем последующие поправки.

И никто никогда не чувствовал презрительного отношения с его стороны, но никто и не считал себя выше его.

И уметь шутить.

16. От отца [15] — кротость и непоколебимое терпение при тщательно взвешенных решениях. И отсутствие тщеславия при так называемых почестях. И трудолюбие, и выдержка. И внимательность к тем, кто вносит что-нибудь общеполезное. И неизменное воздаяние каждому по достоинству. И опытность в том, где нужно подтянуть, а где отпустить. И прекращение любовных дел с юношами. Вдумчивое отношение к общественным делам, и разрешение друзьям вовсе не являться на его обеды, и не обязательно сопровождать его в путешествиях. В его отношении не замечалось никакой перемены, если кто почему-либо бывал вынужден оставаться дома. И тщательное расследование дел на совещаниях — упорное, так как он не прекращал разбора, довольствуясь первыми попавшимися выводами. И постоянство в отношениях с друзьями, ни в коем случае не пресыщение и не увлечение ими. И самостоятельность во всем, и ясный ум. И предвидение издалека, и предусмотрительная распорядительность в мелочах без всякого выставления напоказ. Приветственных кликов и всяческой лести стало при нем меньше. И неусыпная охрана того, что необходимо для правления, и бережливость в расходах, и выдержка, когда это ему ставилось в вину. И не было у него суеверного страха перед богами, а что касается людей, то не было ни заискивания перед народом, ни стремления понравиться, ни угодливости перед толпой, а напротив — трезвость и основательность; и никогда — безвкусной погони за новизной. Всем тем, что делает жизнь легкой — а это судьба давала ему в изобилии, — он пользовался и скромно и вместе с тем охотно, так что он спокойно брал то, что есть, и не нуждался в том, чего нет. И никто не сказал бы про него, что он софист, вульгарный болтун или педант, а напротив, — что он человек сложившийся, совершенный, чуждый лести и способный руководить и своими и чужими делами. Вдобавок он ценил истинных философов, а остальных не порицал, хотя и не поддавался им. Кроме того, общительность и обходительность, но не через меру. О своем теле он заботился надлежащим образом, не как какой-нибудь жизнелюбец и не напоказ, однако и не пренебрегал им, чтобы благодаря уходу за телом как можно меньше нуждаться в медицине, во внутренних и наружных лекарствах.

В особенности же он без всякой зависти уступал людям, в чем-либо выдающимся, будь то выразительная речь, исследование законов, или нравов, или еще чего-нибудь.

Он содействовал тому, чтобы каждый был в чести соответственно своим дарованиям.

Хотя он во всем соблюдал отеческие обычаи, однако никому не было заметно, чтобы он старался их соблюсти — то есть эти отеческие обычаи. Кроме того, в нем не было непоседливости и метаний, он проводил время в одних и тех же местах и занятиях. И после приступов головной боли он бывал сразу же свеж и полон сил для обычных трудов.

Не много у него бывало тайн, напротив, очень мало, да и редко когда; все они касались исключительно государственных дел. Он был благоразумен и умерен в устройстве зрелищ, в строительстве и в раздаче пособий. Он обращал внимание на самое выполнение долга, а не на славу, которую приносит выполнение его.

Он не был привержен к посещению бань не вовремя, к возведению чертогов; не думал о яствах, о тканях и цвете одеяний, о подборе красивых и молодых рабов. Парадная одежда у него была из Лория [16], из одного близлежащего поместья, а остальное по большей части из Ланувия; плащом он пользовался в Тускуле [17], прося извинения за это — в таком роде был весь его образ жизни.

Ничего жесткого, непристойного, порывистого, ничего такого, что можно было бы назвать «до седьмого пота», напротив, все подвергалось разбору и учитывалось, словно на досуге: невозмутимо, по порядку, крепко и соответственно своей сути. К моему отцу подошло бы то, что рассказывают о Сократе — о его уменье и воздерживаться и наслаждаться, между тем как большинство бывает не в состоянии воздерживаться и увлекается наслаждениями. Быть стойким и в том и в другом, быть сильным и трезвым — это свойство человека с совершенной и непобедимой душой, что обнаружилось, например, во время болезни Максима.

17. От богов — то, что у меня хорошие деды, хорошие родители, хорошая сестра, хорошие учителя, хорошие домочадцы, родичи, друзья, почти все. И то, что я никого из них ничем не обидел, хотя у меня и есть такая склонность, и при случае я мог бы это сделать.

Благодеяние богов, что не было такого стечения обстоятельств, которое посрамило бы меня.

И то, что я недолго воспитывался у любовницы моего деда. И что я спас свою юность; и что я не возмужал преждевременно, но еще и несколько отсрочил это.

Я научился подчиняться начальнику и отцу, который намеренно искоренял во мне всякую спесь и внушал мне, что даже при дворе не нужны ни телохранители, ни роскошные одеяния, ни факелы, ни статуи и тому подобная пышность, но что есть возможность ограничить себя, приближаясь как можно больше к быту частных лиц, и что от этого вовсе не сделаешься более медлительным и робким, когда надо проявить силу в делах правления.

Я имею такого брата, который по своим нравственным свойствам мог побудить меня к развитию и вместе с тем радовал меня и почетом и любовью.

Дети мои уродились неглупыми и без телесных недостатков. Хорошо и то, что я не оказал особых успехов ни в риторике, ни в поэтике, ни в остальных занятиях, которым я, пожалуй, предался бы, если бы чувствовал, что быстро иду в них вперед.

Я не замедлил обеспечить моим воспитателям то почетное положение, которого они, как мне казалось, желали, и не откладывал осуществление их надежд на последующее время под предлогом, что они еще молоды.

И то, что я познакомился с Аполлонием, Рустиком и Максимом. Часто и отчетливо возникало у меня представление о том, какова жизнь, согласная с природой, так что, поскольку это зависит от богов и от исходящих от них даров, воздействий и внушений, ничто уже не мешает мне жить согласно природе, а если меня на это не хватает, то только по моей вине и оттого, что я не соблюдаю исходящих от богов напоминаний и чуть ли не прямых наставлений.

И то, что я настолько еще сохранил свое здоровье при такой жизни. И то, что я не коснулся ни Бенедикты, ни Феодота, да и впоследствии оставался здоровым, когда овладевали мной любовные страсти. Я часто сердился на Рустика, но ничего не сделал такого, о чем бы потом пожалел.

Родительница моя, которой предстояло умереть молодой, все же прожила вместе со мной свои последние годы.

Сколько бы раз я ни захотел помочь какому-нибудь бедняку или в чем-нибудь нуждающемуся, мне никогда не довелось слышать, что у меня нет денег для этого. Да и мне самому не приходилось впадать в такую нужду, чтобы занимать у другого.

И то, что жена у меня такая послушная, так нежно любимая, такая простодушная.

И то, что в изобилии имелись подходящие воспитатели для детей.

И то, что в сновидениях мне была дана помощь, в особенности — против кровохарканья и головокружения, что бывало и в Кайете [18]... *

И то, что когда я стремился к философии, я не наткнулся на какого-нибудь софиста, не сидел над сочинениями историков, не занимался разбором умозаключений и не предавался изучению небесных явлений.

Ведь все это нуждается в помощи богов и судьбы.

Писано в области квадов [19], на берегу Грануи [20].

IV, 3

Люди ищут для себя уединения поближе к простой сельской жизни, где-нибудь на берегу моря или в горах. Ты тоже мечтаешь

* Текст в оригинале испорчен.

о чем-нибудь подобном, между тем это явное недомыслие: ведь есть возможность в любое время уединиться в самом себе. Нигде человек не уединяется так спокойно и безмятежно, как в своей собственной душе. Особенно тот, у кого есть внутри нечто такое, во что стоит только пристально вглядеться, как сейчас же станет легче. Это облегчение, по-моему, не что иное, как душевная благоустроенность. Вот этому уединению ты и предавайся постоянно и таким образом обновляй себя.

Пусть будут кратки и просты те доводы, которые, чуть только к ним прибегнешь, уже оказываются достаточными, чтобы устранить всякое раздражение, так что ты вернешься к своим делам уже без досады.

Ведь что тебе тягостно? Испорченность людей? Но если ты поразмыслишь над тем, что разумные существа рождены друг для друга, что терпение входит в понятие справедливости, что люди заблуждаются лишь невольно, и сколько людей враждовавших, подозревавших, ненавидевших, сражавшихся уже умерло и обратилось в прах, — тогда ты перестанешь огорчаться.

Или тебе тягостен твой удел во вселенной? Возобнови в памяти взаимоисключающие утверждения: «или Провидение, или атомы», вспомни все доказательства, уподобляющие мир государству. Или тебя еще связывает твоя телесная сторона? И это после того, как ты уже заметил, что мышление, отрешенное ото всего и познавшее свои собственные возможности, не зависит от «пневмы» [21], движущейся то мягко, то резко? Вспомни и все прочее, что ты слышал и усвоил относительно страдания и наслаждения.

Или тебя увлекает жалкая слава? Посмотри, с какой быстротой все погружается в забвение, как зияет вечность, бепредельная в обе стороны, как пуст всякий отзвук, какая переменчивость и неразборчивость у тех, кто как будто бы хвалит тебя, и какое узкое очерчено для тебя пространство. Да и вся-то земля — точка. Какой же уголок на ней занимает твое местопребывание? И много ли здесь таких, что станут хвалить тебя, да и каковы они сами?

Вспомни же наконец о возможности удалиться в эту усадебку — часть тебя самого — и, главное, не рассеивайся, не напрягайся, но будь свободен, смотри на вещи как мужчина, как человек, как гражданин, как существо смертное.

Самыми убедительными доводами, которые всегда надо иметь в виду, пусть будут следующие два: первое — это то, что вещи не затрагивают души, они стоят вне ее, недвижно, а наши тягости происходят исключительно от нашего внутреннего представления. А второе — это то, что все видимое тобой так мгновенно меняется, что скоро его уже не будет. И скольких перемен ты и сам уже был свидетелем — постоянно думай об этом. Мир — изменение, жизнь — восприятие.

IV, 43

Некая река возникновений и все увлекающий поток — вот что такое вечность. Чуть только что-нибудь появится, как сейчас же оно и унеслось. На смену ему выплывает другое, но и оно тоже будет унесено.

VI, 3

Смотри во внутрь, пусть от тебя не ускользнет ни качество любого предмета, ни его ценность.

VI, 20

В гимнасии кто-нибудь оцарапал тебя ногтем и внезапно нанес удар по голове. А мы и не придаем этому значения, не обижаемся и впоследствии не усматриваем в этом злого умысла; хотя и остережемся такого человека, но не как врага, и не из подозрительности, а по-хорошему — просто отстранимся от него. Так пусть то же самое будет и в остальных областях жизни. Многое надо спускать нашим как бы соучастникам в гимнастических упражнениях. Ведь есть возможность, как я сказал, отстраниться без подозрительности, без вражды.

VII, 3

Пустое стремление к показному, сценические действия, стада, отары, бой на копьях, щенятам брошенная косточка, крошки для кормления рыб, муравьи, надрывающиеся при переноске тяжестей, беготня испуганных мышей, марионетки на веревочках! И вот нужно среди всего этого выстоять, не теряя ровного настроения и не морщась. Притом надо учитывать, что каждый сто́ит столько, сколько сто́ит то, о чем он хлопочет.

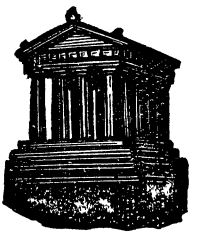
X, 10

Паучок, поймавший муху, уже гордится этим; а иной гордится тем, что словил зайчонка, или рыбешку сетью, или кабаненка, или медведей, или сарматов. Разве все они не разбойники, если разобраться в их побуждениях?

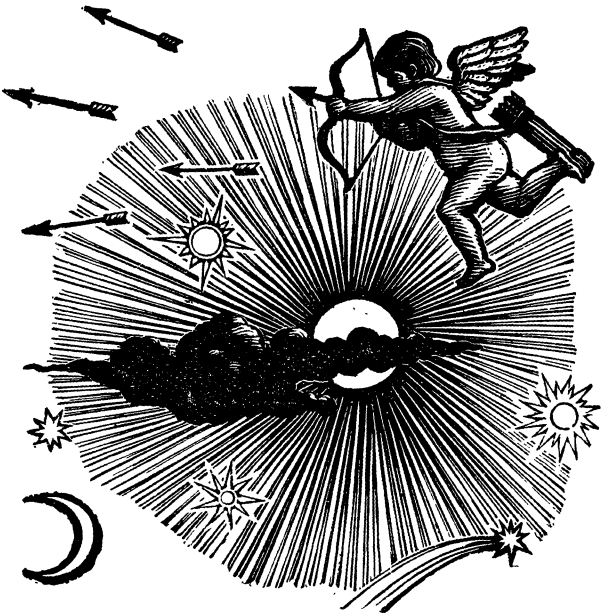
XII, 6

Приучайся даже к тому, чего не умеешь. Ведь и левая рука, по непривычке, слабее, однако она держит поводья крепче, чем правая — к этому она и приучена.

Пойми, наконец, что ты имеешь в себе нечто лучшее и более божественное, чем то, что возбуждает твои страсти, дергает тебя непрерывно. Что, например, сейчас у меня в мыслях? Разве это страх? Разве это подозрение? Разве это желание? Или что-нибудь иное в этом роде?



МАКСИМ ТИРСКИЙ



СЛЕДУЕТ ЛИ ПОЧИТАТЬ КУМИРЫ?

1. Боги помогают людям, причем — все боги всем людям; считается, однако, что иные небожители особенно покровительствуют некоторым смертным. Поэтому взысканные их помощью всячески чтут этих богов и ставят им кумиры. Моряки в честь морских богов водружают на высоких скалах весла, какой-нибудь пастух почитает Пана, посвящая ему высокую сосну или тенистую пещеру, поселяне в честь Диониса вколачивают в саду колоду — деревенский кумир бога. Артемиде посвящены источники вод, укромные лесистые ущелья и богатые дичью равнины. Древнейшие обитатели земли не обошли и Зевса: они посвящали ему вершины Олимпа, Иды или иной какой-нибудь высокой горы. Обожествлялись также реки — либо за даруемые ими блага, как египетский Нил, либо за красоту, как фессалийский Пеней, либо за полноводность, как скифский Истр, либо из почтения к мифу, как этолийский Ахелой [1], либо в угоду обычаю, как спартанский

Эврот, либо из-за священных обрядов, связанных с рекой, как афинский Илисс [2]. Итак, по различным причинам реки были для людей предметом почитания. Искусства также чтили богов, и каждое имело свой кумир [3]. В самом деле, разве люди, если они не заняты мореходством или землепашеством, а живут в городах и связаны общественными узами закона и права, вовсе не должны почитать богов или обязаны чтить их только словесно, считая, что боги не нуждаются в статуях и кумирах? Правда, богам не больше нужды и в том и в другом, чем добрым людям — в своих собственных изображениях.

2. И нашей речи, я думаю, не требуется ни финикийских, ни ионийских, ни аттических, ассирийских или египетских букв — только несовершенство человеческой природы породило эти значки, запечатлело в них свою ограниченность и с их помощью закрепляет воспоминание. Божеству нет надобности ни в статуях, ни в кумирах; их придумал слабый и далекий от божества, как «небо от земли», человеческий род, чтобы в этих знаках запечатлеть имена богов и связанные с ними представления. Следовательно, тот, кто обладает хорошей памятью и в состоянии, возведя глаза к небу, душой общаться с божеством, быть может, не нуждается в статуях. Таких людей, однако, немного; а целого народа или племени, столь памятливого, чтобы обойтись без подобного подспорья, пожалуй, и вовсе не сыскать. Как наставники при обучении письму чем-нибудь острым углубляют для своих питомцев неотчетливые буквы и заставляют наводить их, рассчитывая на память детей [4], так, мне думается, и законодатели, словно для маленьких мальчиков, придумали для своих сограждан статуи — символы почтения к богам, облегчающие воспоминание и руководящие им.

3. Кумиры богов не на один лад и склад, не одинаковы по искусству исполнения, не из одного и того же материала. Греки, например, полагали, что богов надлежит почитать самым прекрасным на земле — делать их статуи из благородного материала, человекоподобными и безупречными по искусству исполнения. Желание ваятелей воплощать богов в образе людей вполне оправдано. Ведь поскольку человеческая душа близка божеству, невозможно допустить, чтобы родственное ему по природе было заключено в неподходящую оболочку; напротив того, как и у душ бессмертных богов, эта оболочка необременительна, легка, не стесняет движений. На земле только человек не смотрит в землю, величествен, исполнен гордости, соразмерен, не отпугивает огромным ростом, не страшит шерстью, не кажется неуклюжим из-за своей тяжести или неустойчивым из-за своей легкости, не нападает по злобности, не пресмыкается из вялости, не передвигается поспешно вследствие порывистости, не тонет не только из-за малого веса, не ест сырого мяса, как дикие звери, не довольствуется травой, как недостаточно мощные животные, но мудро создан

в соответствии с потребностями своей жизни. Он опасен для злых, кроток с добрыми, ступает ногами по земле, разумом парит в воздухе, плавает благодаря искусству, вкушает хлеб, трудится на пашне, питается плодами, обладает приятным цветом кожи и складным сложением, красив лицом и украшен пышной бородой. В обличии таких существ греки сочли подходящим почитать своих богов.

4. Варвары тоже почитают богов, но отдельные племена воплощают их в разных символах. Персы обоготворяют огонь — кумир зыбкий, ненасытимый, вечно прожорливый, которому они приносят жертвы, сопровождая их словами: «Владыка огонь, насыщайся». Они заслуживают того, чтобы услышать: «О безумнейший из народов, ты пренебрегаешь многим великим — хлебодарной землей, сверкающим солнцем, благоприятствующим плаванию морем, поящими посевы реками, животворным воздухом, самим небом и предан только одному — дикому и свирепому огню. В пищу ему ты даешь не только дерево, жертвенных животных и благовония, нет, этому своему кумиру, этому своему божеству ты бросил на съедение Эретрию, Афины, храмы Ионии и статуи эллинских богов» [5].

5. Не могу я одобрить и египтян: они обоготворяют быка, птицу, козла, обитающих в Ниле чудищ, тела коих тленны, жизнь жалка, облик низменен, попечение о них отвратительно, а их почитание постыдно. У египтян бог умирает, бога оплакивают, показывают его храм и могилу. Правда, и эллины приносят жертвы доблестным людям и чтут их, но не думают об их кончине [6]. У египтян же божество и славят и оплакивают в равной мере. Одна египтянка держала в доме детеныша крокодила; все превозносили ее за то, что она пестует бога, и поклонялись этой женщине и ее питомцу. У нее был еще сын, едва вступивший в отроческий возраст, сверстник, сотоварищ игр и сотрапезник бога. Крокодил, пока не вошел в силу, был ручным, а когда вырос, проявил свою природу и пожрал мальчика. Бедная женщина считала участь сына счастьем, ибо он стал жертвой обитающего в их доме бога.

6. Таковы представления египтян. После покорения персов, захвата Вавилона и победы над Дарием знаменитый Александр вступил в Индию, куда дотоле, как говорили жители этой земли, не считая воинства бога Диониса, никогда не вторгалось вражеское войско. Индийские цари Пор и Таксил не ладили между собой; Пора Александр взял в плен, а с Таксилом завязал дружбу. Этот царь стал показывать Александру чудеса индийской земли — многоводные реки, пестро оперенных птиц, благовонные растения и многое другое, удивительное в глазах грека. Среди прочих диковин он показал огромных размеров животное — воплощение Диониса, которому жители приносили жертвы. Это был змей пяти плетров длины; он жил на дне глубокого ущелья, образованного отвесными скалами и обнесенного сверху высокой

стеной. Змей пожирал стада быков и овец, которые индийцы, скорее как тирану, чем как богу, доставляли ему.

7. Обитающие на западе ливийцы населяют узкую и длинную полосу суши, омываемую с двух сторон морем; оно разделяется у оконечности этой косы и большими волнами набегает на берег. Святыня тамошних жителей — Атлас; это лежащая в долине сравнительно высокая гора, с одной стороны нависающая над морем, так что видом она напоминает театр. Долина невелика, плодородна и густо поросла деревьями; с горы видны их плоды, а смотришь оттуда, как на дно колодца: сойти нельзя из-за крутизны спуска, а кроме того, это запрещают религиозные заповеди. В долине можно наблюдать великое чудо. Во время прилива океан обрушивается на берег и заливает землю; только у самого подножья Атласа его воды вздымаются ввысь, и видно, как они без всякой опоры стоят стеной и не обрушиваются на равнину, хотя ничто их не сдерживает, так что между горой и водой остается свободное пространство, на котором раскинулась роща. Для ливийцев она является святыней, божеством, которым они клянутся, и кумиром.

8. Кельты чтят Зевса; его кумир — высокий дуб. Пеоны поклоняются Гелиосу, кумир которого — небольшой диск на высоком шесте. Арабы молятся какому-то неизвестному мне божеству; кумир его я видел — это четырехугольный камень. Жители Пафоса почитают Афродиту; ее изображение похоже на белую пирамиду, а из чего оно сделано — неизвестно. У ликийцев есть огнедышащая гора Олимп; пламя ее меньше и слабее, чем у Этны. Ликийцы поклоняются этому огню, он их кумир. Фригийцы, обитающие по соседству с Киленами, почитают реки Марсий и Меандр. Я видел их обе. Они берут начало из одного источника, воды которого достигают подошвы горы, затем, вблизи городской черты, уходят под землю, а за пределами города снова вытекают на поверхность, образуя две реки с разными именами. Одна, Меандр, течет по направлению к Лидии, вторая теряется на равнине. Фригийцы приносят этим рекам жертвы, кто — обеим, кто — только Меандру, кто — одному Марсию: они бросают в воду источника бедра жертвенных животных, называя реку, которой жертвуют. Эти приношения волны доносят до горы, здесь они вместе с водой уходят под землю, но предназначенные Меандру не попадают в Марсий, а пожертвованные Марсию в Меандр; если же приношение было дано обеим рекам, они его разделяют между собой. Каппадокийцы чтут гору: она их бог, которым клянутся, и кумир. Жители Меотиды почитают свое озеро, массагеты — реку Танаис.

9. О, многочисленные и разнообразные кумиры! Одни созданы человеческим искусством, других обоготворили, потому что они нужны, третьих почитают, потому что они полезны, некоторые внушают благоговение, огромная величина иных производит впечатление, иным поклоняются из-за их красоты. Все люди, будь

то варвары или греки, островитяне или обитатели материка, кочевники или оседлые жители, не могут в своем почитании богов обойтись без особых знаков благоговения перед божеством. Как же в таком случае ответить на вопрос, следует ли создавать кумиры или нет? Если мы будем устанавливать законы для каких-нибудь людей, которые живут вдали от нас, недавно вышли из земли или вылеплены по чьей-нибудь воле [7] и еще чужды культурной жизни, законов и права, пожалуй следует подумать о том, оставить ли этих людей при их богах, поскольку они поклоняются не слоновой кости, золоту, дубам, кедрам, рекам или птицам, а восходящему солнцу, светящей в ночи луне, звездному небу, земле, воздуху, огню вообще, воде вообще, или побудить их к почитанию дерева, камня или рукотворных изображений. Но, поскольку упомянутый обычай почитать богов прочно укоренился, пусть привычное остается в неприкосновенности — мы не отвергаем уже сложившихся представлений о богах и уважаем как их кумиры, так и имена.

10. Ибо бог — родитель и творец всего сущего, он древнее солнца и неба, могущественнее времени и вечности, сильнее преходящей природы, он неименуем для законодателя, неизречен для уст и незрим для глаз. Не в состоянии постичь его сущность, мы прибегаем к помощи названий, имен, животных, изображений из золота, слоновой кости или серебра, растений, рек, горных высей или источников. Стремясь познать божество, мы по своему несовершенству воплощаем его в то обличие, какое признаем самым прекрасным. Этим мы сходствуем с влюбленными: слаще всего на свете глядеть на изображение любимого, но милым напоминанием о нем бывает и лира, и игральная кость, и место, на котором он сидел, и ристалище, где он состязался, иными словами — все, что вызывает о нем воспоминание. Что мне еще сказать о кумирах богов и какие предложить установления? Чти божество в любом обличии. Если воспоминание о нем у грека порождает искусство Фидия, у египтянина — почитание животных, у других народов — реки или огонь, мне не досадно это несходство: лишь бы только знали, лишь бы только чтили, лишь бы только помнили.

ПРЕДПОЧИТАТЬ ЛИ КИНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?

1. Я хочу тебе по примеру мудрого лидийца [1] рассказать сказку; но в этой сказке должен говорить я, а не лев, или орел, или, — еще более бессловесные, чем они, — деревья. Да, здесь надо говорить мне.

Некогда был Зевс, были небо и земля; обитателями неба были боги, а питомцев земли — людей — тогда еще на свете не было. И вот призывает Зевс Прометея и приказывает ему населить землю простыми животными, по своему образу мыслей более всего близкими богам; а тело их должно быть нежным, прямым и соразмерным; у них должен быть приветливый взгляд, ловкие руки и твердая поступь.

И вот повинуется Прометей Зевсу, создает людей и населяет ими землю. Когда они обрели бытие, то не тяжкой оказалась для них жизнь; ведь пищу им щедро доставляла земля; были у них луга пышные, горы кудрявые и плодов достаток, все, что земля охотно доставляет, пока ее еще не тревожат пахари.

Нимфы предоставляли им чистые источники и прозрачные реки, всякую влагу в изобилии и неиссякаемые родники. Жар солнца разливался по их телам умеренно, вливая в них бодрость, а ветерки, веявшие над рекой в летний зной, навевали им прохладу, освежая тело. Спорить им было не о чем, так как они жили в полном довольстве, получая все без всякого труда.

Мне кажется, что и поэты ближе всего стоят к этой нашей сказке, рассказывая в сокровенной форме о жизни, какая была во времена Крона, царя богов, — о жизни без войн, без оружия, без охраны, о жизни мирной, без распрей, здоровой и не знаю-

щей нужды. И Гесиод, как кажется, именно эту жизнь называет золотым веком [2], поступая подобно нашей сказке.

2. Но оставим сказку, и пусть из нее возникнет разумное слово: сравним теперь один образ жизни с другим, век, бывший прежде, с последующим, — назвать ли его «железным», или как-нибудь иначе, — когда люди стали делить землю между собой; они разрезали ее, обнеся оградами и стенами, и каждый захватил себе какую-нибудь часть; свои тела они стали облекать в мягкие одежды, ноги обматывать кожами и обвивать золотом то шею, то голову, то пальцы, надевая на себя красивые блестящие оковы; они строили дома, снабжая их засовами, воротами и преддвериями; они начали мучить эту землю, отыскивая в ней металлы, разрывая и копая ее. Даже море они не оставляли в покое, они построили ему на беду суда — для войны, для перевозок, путешествий и торговли. Не удержали они своих рук и от воздуха, — даже ему они причиняли вред, вылавливая стаи птиц при помощи птичьего клея, силков и других разнообразных хитростей.

Они не жалели прирученных животных за их слабость, не отступали перед дикими зверями из страха, но набивали свой желудок при помощи кровопролития, убийства и всяческого осквернения. Постоянно ища новую пищу для своих страстей, с презрением отвергая все прежнее, они гонялись за наслаждениями и терпели бедствия, стремясь к богатству; они всегда считали то, чем владели, хуже того, чего им недоставало, а то, что приобрели, ценили меньше того, что надеялись захватить. Они боялись нужды, а насытиться никак не могли; они страшились смерти, но о жизни не заботились; боялись болезней, но не воздерживались от всего, что порождает болезни; подозревали одних, но сами строили козни против большинства; страшные для безоружных, трусливые перед вооруженными, они ненавидели тиранию, а сами жаждали стать тиранами; они порицали все позорное, но от позорных дел не воздерживались; перед удачей они преклонялись, но доблестью не восхищались; о несчастьях они сокрушались, но от пороков не воздерживались; при успехе становились дерзки, при неудачах нерешительны; мертвых они считали счастливыми, но цепко держались за жизнь; ненавидели жизнь, но боялись смерти; затевали войны, а соблюдать мир не умели; в рабстве покорные, при свободе наглые, при народном правлении необузданные, при тирании робкие, они страстно желали иметь детей, но об уже рожденных нисколько не заботились; они молились богам, ожидая от них помощи, и презирали их, не веря в их кару; боясь богов наказующих, они в то же время приносили ложные клятвы, как будто богов вовсе не существует.

3. Итак, если такие распри и такой разлад вторглись в этот, второй, образ жизни, то какому же из них мы должны присудить победную награду? Какой из этих двух образов жизни нам следует назвать естественным, простым и вполне свободным и какой

неестественным, стесненным, достойным сожаления и преисполненным несчастий?

Так вот, пусть муж от каждого из двух веков явится на суд нашей речи, и она вопросит обоих, и прежде всего представителя первого образа жизни, того, кто наг, бездолен и неискусен, — гражданина и обитателя всего мира [3] — вопросит, нарисовав ему образ жизни другого, хочет ли он сохранить за собой свою прежнюю пищу и свободу, или, обретя наслаждения при втором образе жизни, получить вместе с ними и всевозможные горести. После него пусть выступит другой, пусть ему представит она образ жизни и свободу его предшественника, пусть спросит, выберет ли он свой прежний образ жизни, или захочет переменить его и как бы переселиться в жизнь другого — в жизнь мирную, свободную, не знающую нужды и беспечальную. Кто из двух станет перебежчиком? Кто добровольно променяет свой образ жизни на образ жизни другого?

4. Какой человек столь неразумен, кто так любит зло, кто столь злополучен, что из любви к ничтожным и эфемерным наслаждениям, сомнительным благам и обманчивым надеждам, из любви к непрочным счастливым случайностям не захочет отправиться в путь и переселиться в жилище истинного блаженства? Особенно, если он знает, что он должен благодаря этому избавиться от многочисленных зол, которые крепко слились со вторым образом жизни; разве не осудит он этого образа жизни, полного скорби, жалкого и несчастного?

Я, со своей стороны, пожалуй, сравню теперь оба эти образа жизни; этот, будто бы столь великолепный и разнообразный, я сравню с жесткой тюрьмой, в мрачной глубине которой томятся несчастные люди; ноги их закованы в крепкое железо, вокруг шеи у них тяжелая цепь, а на обеих руках висят ужасные оковы; они грязны, находятся в постоянной тревоге и стенаниях. Но со временем и от ежедневной привычки они даже там находят себе радости: иногда напиваются допьяна в своей тюрьме, орут песни, набивают желудок, предаются любви. Но не наполняет это спокойствием никого из них: всего они страшатся, ни во что не верят и помнят постоянно о своих несчастьях. Так, в каждой тюрьме можно услышать одновременно и пени и песни, и стенания и пеаны.

Далее, я сравню другой образ жизни с человеком здоровым, живущим светло и чисто: его ноги и руки не связаны, он свободно поворачивает шею, поднимает взоры к солнцу, видит звезды, различает день и ночь, спокойно ожидает прихода времен года, чувствует дыхание ветра и наслаждается чистым и вольным воздухом; его я сравню с человеком, который обходится без наслаждений, а вместе с тем и без оков, кто не пьянствует, не предается любовным страстям, не набивает свой желудок, не стенает, не поет хвалебных гимнов, не распевает песен, не плачет и не

наедается до ожирения, но лишь настолько, чтобы жить с легким и необремененным желудком.

Какой из этих двух образов надо признать счастливым? Какую жизнь счесть достойной сожаления? Какую избрать? Неужели ту жизнь, неразлучную с тюрьмой и ненадежную? Неужели мы дадим обольстить себя горьким и жалким удовольствиям, в которых

Вместе смешались победные крики и смертные стоны? [4]

Нет, ты не хочешь этого, моя несчастная душа.

5. Но оставь все эти образные сравнения вместе со сказками и обратись к человеку, жившему не во времена Крона, но в самой гуще нашего железного века, человеку, освобожденному Зевсом и Аполлоном [5].

Он не был ни уроженцем Аттики, ни дорийцем, он не был вскормлен Солоном, и не был воспитан Ликургом (ведь ни страны, ни законы не порождают доблестей), но происходил он из Синопы на Понте.

Спросив совета у Аполлона [6], он сбросил с себя все узы окружающего мира и освободился от его оков; свободный, он стал обходить землю, уподобясь птице, обладающей разумом, не боясь тиранов, не подчиняясь насилию закона, не обременяя себя общественными делами, не тревожась о воспитании детей, не сковывая себя браком, не занимаясь обработкой земли, не обременяя себя военной службой и не промышляя морской торговлей; напротив, он осмеивал все это — людей и их занятия, подобно тому как мы смеемся над малыми детьми всякий раз, как видим их с увлечением играющими в бабки, когда они бьют и получают удары, отнимают и в свою очередь отдают. Он жил жизнью царя, не знающего страха и свободного, он не проводил времени зимой среди вавилонян и не обременял собою мидян в летний зной [7], но вместе с временами года переселялся из Аттики в Истм, а из Истма снова в Аттику.

Его царскими чертогами были храмы, гимнасии и священные рощи, его богатством, не вызывающим никакой зависти, надежным и неотъемлемым, была вся земля и ее плоды, были рожденные землей источники, которые изливали для него питье щедрее, чем весь Лесбос и Хиос.

Он любил чистый воздух и свыкся с ним так же хорошо, как львы, и не старался избежать того, что временами посылает Зевс, и не прибегал ни к каким ухищрениям, чтобы создавать для себя тепло зимой, а летом освежать себя прохладой. Был он поистине настолько привычен ко всему на свете, что при таком образе жизни оставался здоровым и сильным и дожил до глубокой старости; он никогда не нуждался ни в лекарствах, ни в железе, ни в огне [8], ни в Хироне, ни в Асклепии, ни в асклепиадах [9], ни в пред-

сказаниях прорицателей, ни в очистительных обрядах жрецов, ни в пении магов-заклинателей.

Когда Эллада была охвачена войной и все нападали на всех, —

В поле сходились недавно, стремимые бурным Ареем [10], —

лишь он один призывал к миру, он, невооруженный среди вооруженных, мирный среди сражающихся; его сторонились беззаконные тираны и доносчики, ибо он обличал дурных людей, обличал не словесными ухищрениями, докучливо порицая их, но делами, сопоставляя всякий раз дела их и свои. Обличая, он всегда достигал цели и был миролюбивым. Поэтому против Диогена не выступил ни Мелет какой-нибудь, ни Аристофан, ни Анит, ни Ликон [11].

6. Итак, как же мог Диоген не отдать предпочтения такому образу жизни, который он добровольно избрал себе, который ему указал Аполлон и восхвалил Зевс и которому удивляются все, кто имеет разум?

А чем, кроме непосредственной пользы дела, может руководствоваться тот, кто не по собственному выбору приобрел что бы то ни было?

Например, спроси женатого человека: «Для чего ты женился?» Он скажет: «Для того, чтобы иметь детей». Спроси воспитывающего детей, ради чего он их родил, он скажет: «Страстно желая наследника». Спроси воина, он скажет: «Хочу богатой добычи». Спроси земледельца, он ответит: «Хочу собрать плоды». Спроси у ростовщика, он скажет: «Жажду богатства». Спроси занимающегося общественными делами, он скажет: «Жажду славы».

Однако все предметы этих желаний в большинстве случаев оказываются обманчивыми и превращаются в свою противоположность; удача — дело случая, а не результат мудрости или искусства. Ведь всякий, кто поставит перед собой одну из этих целей, испытает в жизни несчастье и потерпит заслуженные бедствия, так как он не может сослаться на то, что не знал, каковы те блага, которые он избрал по своей воле.

Кого же из всех этих людей можно назвать свободным? Народного вождя? Но ведь он раб многих господ! Судебного оратора? Но он раб суровых судей! Тирана? Но он раб необузданных наслаждений! Полководца? Но он раб неверного случая! Мореплавателя? Но он раб ненадежного ремесла! Философа? Но какого именно? Я конечно восхваляю Сократа, но я же слышу, как он говорит: «Я подчиняюсь законам, добровольно иду в тюрьму и охотно принимаю яд». О Сократ, понимаешь ли ты, что говоришь? Неужели охотно или только желая мужественно противостать своей неизбежной судьбе? «Я повинуюсь закону». — Какому закону? Ведь если это закон Зевса, я прославляю такого законодателя; если же закону Солона, то чем Солон был лучше Сократа?

Но пусть ответит мне Платон, во имя философии, неужели ее не поколебало ничто: ни Дион, вынужденный бежать, ни грозный

Дионисий [12], ни Сицилийское или Ионийское моря, вздымающие свои волны?

Упомяну, пожалуй, и о Ксенофонте [13] и брошу взгляд на его жизнь, заполненную странствиями, неверным счастьем, вынужденной военной службой, командованием войсками против воли и почетным изгнанием.

И вот все эти злоключения, утверждаю я, проходят мимо того образа жизни, которым Диоген прославился более, чем Ликург и Солон, Артаксеркс и Александр, и стал свободнее даже самого Сократа: ведь он не был ни судим, ни заключен в тюрьму и прославился не своими страданиями.

ЭЛИЙ АРИСТИД

XXII

ЭЛЕВСИНСКАЯ РЕЧЬ

1. О Элевсин [1], насколько отраднее было бы мне воспевать тебя встарь! А нынс какой посягнет на это Орфей, какой Фамирид, какой Мусей-элевсинец? [2] Какие кифары и лиры оплачут всеобщее горе, горе всей земли? [3] Какую задачу ты поставил передо мной, Зевс? При первых же словах я цепенею и отступаю; и если должен я говорить, то лишь потому, что молчать я не в силах.

2. Кто из эллинов, кто из варваров настолько темен и невежествен, кто настолько чужд всему земному и божественному, кто, наконец, настолько нечувствителен к красоте, — кроме тех, кто свершил это деяние и кого ожидает позорная гибель, — чтобы не признавать Элевсин святыней для всей земли, самым блистательным из всех святилищ, существующих у людей, и внушающим священный трепет? Где воспевались преданьями чудеса славнее, где творились события поразительнее, где услады для глаз и услады для слуха больше соперничали друг с другом? (3.) То, что доступно внутреннему узрению, являлось многим и многим блаженным поколениям мужей и жен в неизреченных видениях.

А то, что открыто для всех, прославляют и поэты, и ораторы, и историки.

Они говорят, что долгое время не видел никто дочери Деметры; все земли и моря обошла богиня в поисках дочери; обрела же она ее лишь тогда, когда пришла в Элевсин и нарекла это место его нынешним именем [4]. Обретя дочь, установила здесь Деметра свои таинства. (4.) Тогда же и хлеб даровали обе богини Афинам, Афины же — всем эллинам и варварам: ибо и у них рассказывают о Келее и Метанире, о Триптолеме и об окрыленной драконами колеснице, которая носится над всеми морями и землями [5]. Первыми из чужеземцев были посвящены в таинства Геракл и Диоскуры, а гимнические состязания были установлены в Элевсине раньше, чем где-либо в Аттике; награда в них — молодые плоды: люди как бы испытывают, сколько сил прибавляет им пища, которую сами они выращивают. И первые плоды урожая эллины ежегодно привозят в Афины, как к родной матери, породившей и их самих и плоды их; эвмолпиды же и керики, чьи прародители — Посейдон и Гермес, становились иерофантами и факелоносцами при таинствах. Таковы рассказы преданий. (5.) Позднее, недолго спустя после возвращения гераклидов в Пелопоннес [6], доряне пошли войною на Афины [7]; но, достигнув Элевсина, они устыдились, а лучше сказать — и устрашились, повернули и удалились обратно. Благодаря этому их походу заселена была наша Иония.

6. Во время Мидийской войны, когда не только Эллада, но и все земли, неподвластные персам, переносили величайшие испытания и бедствия, погибли в огне многие эллинские храмы и даже краса Эллады—город афинян, но Элевсину суждено было остаться невредимым; [8] более того, во время морской битвы сам Иакх [9] вышел на помощь сражавшимся, а со стороны Элевсина поднялась туча и под звуки священных таинственных песнопений обрушилась с высоты на суда; в ужасе обратился в бегство Ксеркс, и мидийская сила сокрушилась.

7. Когда у эллинов происходила великая междоусобная война [10] и все было в смятении, один лишь Элевсин неким чудом оставался в покое: ни беотийские конники, ни вторжения лакедемонян и пелопоннесцев не коснулись его стен и на святыню храма никто не бросил нечестивого взора. Впоследствии из Феспий сделал набег Сфодрий [11], но одного вида факелов было довольно, чтобы угасить его гнев. Нарушены были все священные перемирия: во время Пифийских игр была захвачена Кадмея; на Истмийские празднества одновременно отправляли священное посольство и аргивяне и коринфяне, оружием сразившие друг друга; о битве на Алфее умолчу, хотя и здесь доблесть и победы оборонявшихся немалым были знамением Зевса. Одни только узы таинств оставались нерушимы, и только во время Элевсиний наслаждалась Эллада здоровьем; поистине очистительным обрядом от безумий и от всех небывалых бедствий были для нее эти собрания.

8. Но к чему перебирать все подробности? И Филиппы, и Александры, и Антипатры, и вся эта вереница последующих владык — много смятения посеяли они в Греции, одного Элевсина не коснулись, словно он был неприступен и могуществом превосходил их самих. Не говорю уже о том, как в довершение всего вторглись в Элладу кельты; [12] одно лишь можно добавить — среди всех этих бедствий храм уцелел. Единственным напоминанием о древнем благоденствии и благочестии оставался он и для нашего города и для всей Эллады. Битвы на суше и на море, законы и государства, слава и молва, — короче, все прошло; но таинства оставались.

9. На остальные празднества эллины собираются каждый пятый или каждый третий год, и только таинства справлялись ежегодно. И притом величайшим чудом богов было то, что всех собравшихся вмещало одно только здание: целому городу равен был Элевсинский храм. (10.) Кто может не восхищаться этими изваяниями, этими картинами, этими выставленными повсюду украшениями, которые видишь даже на улицах, не говоря уже о преддвериях святилищ?

Однако не тем драгоценны эти собрания, что они радуют дух в настоящее время, освобождают его от воспоминаний о былых бедствиях и даруют ему успокоение, но тем, что посвященные питают сладостную надежду после смерти вести прекрасную жизнь, в которой не будут они обречены томиться в грязи и во мраке, подобно непосвященным [13].

11. Все это было так до горестного дня. Но то, что ныне по воле божества довелось нам увидеть, разве можно выразить в аргивских плачевных песнях или в египетских и фригийских напевах? [14] Какой Эсхил-элевсинец обратится ныне с песней к хору? Можно ли сравнить с этим пожаром навплиевы пагубные огни, о которых говорит Софокл? [15] О факелы, какие нечестивцы погасили вас? О грозный и мрачный день, сменивший светоносные ночи! О, какой огонь пришлось узреть Элевсину вместо прежних светочей! О беспросветная ночная тьма, объявшая ныне Элладу! Здесь, Деметра, некогда нашла ты свою дочь, и здесь же теперь тебе остается только одно — искать свой храм!

12. Однако, о земля, о боги! сроки таинств близятся! Этот боэдромион [16], месяц «спешащих на помощь», в иной теперь нуждается помощи, чем та, с которою спешил к афинянам Ион [17]. О стекающиеся толпы, о чреда священных дней и ночей, что за день был вашим последним днем! Кому подобает сетовать горше: непосвященным или посвященным? Эти лишились лучшего, что они видели, те — лучшего, что им предстояло увидеть.

13. О преступные осквернители таинств, сокровенное сделавшие явным, равно ненавистные богам и подземным и вышним. О эллины, поистине детьми были вы, детьми и остались, если дозволили совершиться такому бедствию! Неразумные, разве не предоставлены вы теперь самим себе? Убережете ли вы хотя бы самые Афины?

XLIV

ЭГЕЙСКОМУ МОРЮ

1. Никто еще доселе не воспел моря во всем его величии, ни один поэт, ни один оратор; но Гомер воспевает «море черноводное» и «виноцветное» [1], а Эврипид — «море пурпурное» [2]; и другие называют его по-разному, — то так, то этак. Но и злословят о море немало, называя его «горько-соленым», «тяжкошумящим» и другими подобными именами.

2. Мы же теперь не станем говорить о море вообще, о том, насколько и в чем именно оно полезно людям, и почему его сотворило божество, но воздадим должное морю Эгейскому и восславим его прежде всего за то, что лежит оно в наилучшем месте, точно так же, как, говоря о городе, каждый прежде всего похвалит место, на котором тот расположен.

3. Находится оно в самом средоточии вселенной и всех морей; к северу за ним лежат Геллеспонт, Пропонтида и Понт, к югу же — остальные моря; оно отделяет Азию от Европы, и эти два материка разлучаются друг с другом как раз у Геллеспонта.

4. Самые прославленные и самые человеколюбивые народы живут на обоих его берегах; с одной стороны находится земля Ионийская и Эолийская, с другой — Эллада. Таким образом, по справедливости можно сказать, что из всех морей только оно одно находится посреди всей Эллады в целом, ибо народ эллинов расселился на побережье обоих материков.

5. И если славят луга и деревья на речных берегах, то справедливо, чтобы особенно прославлялись берега Эгейского моря, украшенные столь известными народами и эллинами, живущими с ними по соседству. Вместе с тем и необычайно умеренный климат, который во все времена года переносится одинаково легко,

господствует над всем Эгейским морем, распространяясь и на эти земли.

6. Это станет очевидным и из тех двух различных мнений, какие приходится слышать: одни говорят, что под самым прекрасным небом лежит Аттика, другие стоят за Ионию, но и те и другие, без сомнения, единодушны в том, что местность вокруг Эгейского моря — самая лучшая: ибо одинаково омывает оно оба своих побережья, и какое бы из них ты ни предпочел, то и выбирай. Если же, как бывает во всяких спорах, мы, в свою очередь, должны будем несколько уступить друг другу и прийти к некоему «среднему» решению, то именно такой «срединой», как я сказал, будет Эгейское море. Поэтому и самый лучший климат получило оно в удел.

7. Вот где расположено это море, вот в каком месте вселенной оно находится. И сама сущность его удивительна. Но особенно замечательна необъятность и безбрежность этого моря; если кто-нибудь исследует его основательно, от начала и до конца, и задумает объехать все море кругом, ему понадобится несказанно много дней. Однако оно не пустынно и своей безбрежностью не пугает мореплавателя; напротив, Эгейское море заключает в себе множество других морей, множество заливов, и облик моря повсюду различен. Если ты примешь решение не плыть открытым морем, то увидишь и земли, и города, и деревни, которые, словно какие-то крошечные материки, омываются водою со всех сторон; ты можешь плыть куда захочешь и, далеко еще не объехав всего моря, можешь вернуться обратно, так как увидел уже достаточно.

9. Да и Гомер говорит, что не следует переплывать море напрямик, а лучше держаться населенных земель, — ибо никому не доставляет удовольствия путь через пустынные места; здесь же «хороводы нереид кружатся в пляске» [3], потому что эта часть моря самая обитаемая и процветающая; здесь и плыть можно, куда кто пожелает, и по земле идти, достигнув другого берега, если кому-либо не хочется плыть до него морем. Ведь из всех морей только одно это населено не меньше, чем сама земля. И города его отстоят друг от друга на такое же расстояние, на какое обычно отстоят города на суше.

10. Поэтому хотя и бури на Эгейском море, и продолжительность плавания через него внушают страх, однако путешествие приятно тем, что перемежается частыми остановками. Море быстро вскипает, и оно же спасает плавающих, проявляя этим свою божественную природу; оно устрашает своей мощью и оберегает своим милосердием.

11. Сладостнее всех других морей шумит оно, повествуя о своих дарах и обо всем, что им рождено. И откликаются ему, — говорят поэты, — среди гор и лесов, наслаждаясь прелестью лета, паны и сатиры. Именно поэтому те боги, которые любят искусство более всех других, — Аполлон и Артемида, — его граждане и

обитатели. Зевс, отец всего сущего, породил их именно в этом краю — самом прекрасном на земле, — чтобы они могли достигнуть совершенства в искусстве музыки; и Зевс прошел с Лето мимо трех других островов, но привел ее на остров, расположенный в самой середине Эгейского моря — на Делос; а путь этот ему указала Афина.

12. И каждому ясно, насколько преисполнено музыкальной гармонии это море, которое некогда мгновенно подняло на свою поверхность эти острова, словно некий хоровод, — острова, разделяющие море, но друг с другом соприкасающиеся; и божественное зрелище дифирамбического хоровода предстает взору моряков и путешественников: в опасностях — утешение, в счастливом плавании — услаждение.

13. Все острова образуют как бы два круга, внутренний и внешний; так в летний зной, до того как подует западный ветер, покачиваясь, медленно причаливают перегруженные рыбой суда. И с корабля, проникшего в гущу этих островов, отовсюду — и с кормы, и с носа, и с обоих бортов, одинаково видны острова, так что задаешь себе вопрос, можно ли выбраться отсюда. Словно лодки спасения встречают эти острова тех, кто застигнут зимними бурями; они протягивают им руки и призывают к себе. Вот сколь хитроумно Эгейское море, чередующее сушу с водою, подобно тому, как на снятых шкурах оленей и барсов вперемешку рассыпаны пятна.

14. И озаряется блеском этой красоты все море, а на суше лежат луга, изобилующие цветами; и поистине трудно представить себе что-либо подобное этой прелести и разнообразию красок. Ибо все, что есть на материке, есть и здесь, в гуще этих островов, но красоты их материк лишен; и подобно тому, как небо украшено звездами, так Эгейское море украшено островами.

15. Даже если у человека нет никакой необходимости пускаться в плавание, ему все же стоило бы отправиться в путь только ради того, чтобы посетить Эгейское море. Ни в других морях, ни на суше — нигде не увидишь столь дивного зрелища. Поэтому Эгейское море — воплощение истинной красоты, и именно там, где начинаются его острова, эта красота впервые открывается тому, кто оставил за собой пустынную морскую ширь.

16. Одно только Эгейское море нельзя назвать «бесплодным»: ведь оно не лишено плодов; напротив, оно изобилует и превосходным вином, и хлебом, и всем, что рождают различные времена года; но особенно много там рыбы, и щедро ловится она. Эгейское море именно такое, каким, по словам Гомера, должно быть море блаженных, дающее и все необходимое, и всяческую усладу для взора; оно полно гаваней, полно храмов, полно звуков свирелей и пеанов, полно источников и рек; вскормившее Диониса [4], одинаково приятное и Диоскурам [5] и нимфам, оно до-

ставляет все блага жизни своим обитателям, а тем скупцам, к которым оно благосклонно, приносит прибыль и дарует спасение.

17. Подобно тому как красивое тело прекрасно в каждой своей части, так, пожалуй, из всех морей лишь у этого моря и начало и конец одинаково прелестны: оно начинается первым рядом островов на юге, а кончается у Геллеспонта, который своим изгибом создает полуостров, — это дивное зрелище.

Таким образом, «с головы до пят», как гласит пословица, оно преисполнено красы. Невозможно описать, сколь многочисленны и прекрасны его проливы и заливы.

18. Даже те, кто испытывает страх перед Эгейским морем, все, однако, жаждут вторично пересечь его; ведь переезд через него приносит людям так много удовольствий: состязания и мистерии, красоты Эллады заполняют собой все это путешествие; это море соединяет в себе и приумножает все самое прекрасное и благородное, помогая наиболее прославленным из богов устраивать зрелища, сладостнее которых нет ничего [6].

Вот какой дар, благосклонный спаситель Эгей [7], приношу я тебе как знак моего искусства, а ты, если доволен им, всегда храни меня и моих спутников.

АХИЛЛ ТАТИЙ

ЛЕВКИППА И КЛИТОФОНТ

I, 1—6, 15—19

[*Начало рассказа Клитофонта*]

1. Сидон [1] — приморский город, море же это — ассирийское; матерь финикийцев этот город, а народ — отец фиванцев. В заливе — двойная гавань; и она так широка, что лишь слегка ограничивает морской простор, зато там, где залив делает изгиб в правую сторону, вырыт еще один водоем, тоже заполненный водой, так что получается вторая гавань внутри первой; во время зимних бурь грузовые суда могут спокойно стоять в ней, а летом — в ее преддверии.

Когда я прибыл сюда, то за свое спасение от сильной бури принес благодарственную жертву богине финикиян — сидоняне называют ее Астартой. Прохаживаясь по городу и рассматривая разные приношения, я увидел посвященную богине картину, где нарисованы и земля и море. Картина изображает Европу: море на картине — Финикийское, земля — Сидон, на земле — луг и хоровод девушек, а по морю бык плывет, и на спине у него сидит красавица, и везет ее бык на Крит; множеством цветов пестреет луг, среди них разбросаны ряды деревьев и кустов; густо растут деревья, близко сходятся их верхушки; ветви сцепились листьями, и крышу над цветами образовало сплетение листьев. Художник изобразил под деревьями тень, и солнце едва пробивается вниз в тех местах, где мастер раздвинул сплошной лиственный покров. Ограда окружает весь луг, и внутри этого венка из тростника луг раскинулся; а под листьями кустов, на грядках, рядами цветы растут, нарциссы и розы с миртами. Ручей протекает посередине луга — бьет снизу из глубины земли и орошает цветы и остальные растения.

Изображен был землекоп — он склонился над канавой с мотыгой в руках, открывая путь течению. А в конце луга, там, на выступе суши, художник поместил девушек. Весь облик их — и радость и ужас; головы венками украшены, волосы по плечам распущены, ноги — босые: хитон доходит только до колен, так высоко он подпоясан, обуви никакой. Лица у всех бледные, черты искаженные, широко открытые глаза в море уставлены, рот слегка приоткрыт, от ужаса они как будто собираются испустить крик, а руки к быку протягивают. Они вошли в самое море, и волна уже покрывает им ступни; кажется, они стремятся за быком побежать и боятся дальше в море вступать. У морской воды цвет двойной: у самой земли — красноватый, темно-синий — подальше в море. И пена изображена, и скалы, и волны: скалы над землей громоздятся, пена вокруг скал белеет, волна поднимается и о скалы разбивается в кипении пены. Среди моря нарисован бык по волнам несущийся, и горою волна вздымается, где дугою изгибаются бычьи ноги.

Девушка сидит на самом хребте быка, не верхом, но так, что обе ноги ее свешиваются с правого бока; левой рукой она держится за рога, как возница держит поводья; бык повернулся больше влево, следуя за движением руки, которая им правит. Хитоном одеты груди девушки, ниже талии ее прикрывает плащ; хитон — белый, плащ — пурпурный, тело просвечивает сквозь ткань. Глубоко запавший пупок, втянутый живот, стан тонкий, к бедрам пошире. Сосцы грудей ее слегка выступают — так стянут поясом хитон; одежда девушки — верное зеркало ее тела. Одна рука протянута к рогам, другая к хвосту; и обеими руками, с обеих сторон, придерживает она над головой покрывало, вокруг спины распущенное. Ткань изогнута и растянута — так живописец изобразил ветер. А девушка сидит на быке, как на

плывущем корабле, и ткань служит ей парусом. Вокруг быка пляшут дельфины, играют Эроты, ты сказал бы — изображены самые их движения. Эрот увлекает быка, Эрот, малый ребенок, простирает крыло, висит у него колчан, факел свой он держит. Он оборачивается к Зевсу и улыбается, будто насмехаясь: ведь из-за него тот стал быком.

2. Все нравилось мне в этой картине; но, как человек, знающий толк в делах любовных, с особым вниманием я взирал на Эрота, увлекающего быка, и воскликнул: — И такой-то младенец царит над небом, землею и морем! — При этих словах юноша, тоже стоявший перед картиной, сказал: — Я мог бы подтвердить это — столько обид перенес я от любви. — А что же ты перенес, дорогой мой? — спросил я. — Ведь я уверен, что при такой внешности, как твоя, ты не чужд таинству этого бога. — Ты пробуждаешь, — ответил он, — целый рой воспоминаний; мои приключения похожи на сказки. — Так не медли же, дорогой, — воскликнул я, — заклинаю тебя Зевсом и самим Эротом, рассказывай! В особенности, если твои приключения похожи на сказки.

С этими словами я беру его за руки и веду в соседнюю рощу, где росли платаны, многочисленные и мощные, протекал ручей, студеный и светлый, какие текут, когда только что стает снег. Я посадил юношу на низенькую скамейку, сам уселся с ним рядом и сказал: — Вот теперь настало время мне послушать рассказы твои; прекрасно это место и достойно новествований о любви.

3. Вот как он начал свой рассказ:

— Родом я из Финикии, Тир — мое отечество, имя мое Клитофонт, отец мой Гиппий, брат отца — Сострат, не родной брат, но у них один отец, а мать у Состратa — византиянка, у отца моего — тириянка. Дядя мой все время находился в Византии; там у него было большое имущество, полученное по наследству от матери; мой отец проживал в Тире. Матери моей я не знал; она умерла, когда я был совсем маленьким. Отцу пришлось взять вторую жену, и от нее родилась Каллигона, сестра моя. Отец решил сочетать нас браком, но Мойры, которые могущественнее людей, предназначали мне другую жену.

Божество любит открывать в ночную пору людям грядущее, и не для того чтобы они от страдания уберегlись, — ибо не могут они совладать с тем, что судил рок, — но для того, чтобы с большей легкостью переносили свои страдания. Ведь все, что происходит сразу и неожиданно, внезапно обрушиваясь на душу, поражает ее и погружает в пучину; а то, чего люди, еще не испытав, ожидают, к чему они себя понемногу подготовляют, утрачивает всякую остроту.

Мне шел девятнадцатый год, и отец собирался на следующий год женить меня, когда Судьба начала свою игру. Во сне я увидел, будто сросся с некоей девушкой нижнею частью своего тела, до самого живота, а оттуда вверх шли два тела. Передо мною

предстала женщина, ужасная и огромная, лицом дикая, с глазами, кровью налившимися, с искаженными чертами, со змеями вместо волос; в правой руке у нее был серп, в левой — факел. Яростно бросившись на меня с подъятым серпом, она наносит удар в пах, где соединялись оба тела, и отсекает от меня девушку.

Я в страхе вскочил, никому не рассказал о своем видении, но сам усмотрел в нем дурное предзнаменование.

А в это время происходит следующее. Состpат, как я сказал уже, был братом моего отца. От него приехал какой-то человек и привез письмо из Византия, — вот что там было написано:

«Гиппию, брату своему, привет шлет Состpат.

Прибыли к тебе дочь моя Левкиппа и Панфия, моя жена, потому что на византийцев идут войной фракийцы. Сохрани самое дорогое, что есть у меня, пока не решится исход войны».

4. Прочитав это, мой отец вскакивает и бежит к морю, а затем, немного погодя, возвращается обратно. За ним следовало великое множество рабов и прислужниц, которых Состpат прислал вместе с обеими женщинами; в середине толпы шла высокая женщина в богатой одежде. Слева от нее я увидел девушку, чье лицо, как молния, ослепило мои глаза.

Такою видел я некогда изображенную на быке Селену:[2] очи, сверкающие яркою прелестью; волосы золотые, и золото это вьется; брови черные, чернота непроглядная; щеки белые, и белизна их в середине слегка розовеет и становится подобной пурпуру, — так лидийские жены окрашивают слоновую кость; ее рот — цветок розы, когда роза начинает приоткрывать уста своих лепестков.

Как только я увидел ее, тотчас же погиб; ибо красота ранит острее стрелы и струится в душу через глаза: глаза — открытые врата для любовной раны. Какие только чувства не охватили меня разом! Восхищение, изумление, дрожь, стыд, дерзновение; я величием восхищался, красоте изумлялся, содрогался сердцем, дерзновенно смотрел, стыдился своего плена. Я изо всех сил старался оторвать свои глаза от девушки, а они не хотели и тянулись к ней, канатом красоты притянутые, и наконец победа досталась им.

5. Обе женщины приведены были к нам, и отец мой, выделив для них часть дома, заказывает обед. В назначенный час мы принялись за трапезу, расположившись по двое (так распорядился отец): сам он и я — на среднем ложе, обе матери — на левом, правое занимали обе девушки. Когда я услышал о столь прекрасном распределении мест, я чуть было не подошел к отцу и не поцеловал его за то, что он поместил Левкиппу у меня перед глазами.

Что я ел тогда, клянусь богами, сам не знаю; я был похож на

тех, что вкушают пищу в сонном видении. Опершись локтем на подушку, расположившись на ложе, я во все глаза смотрел на девушку и в то же время старался скрыть, что гляжу на нее, — вот в чем состоял мой обед!

Когда обед окончился, вошел мальчик с кифарой, раб моего отца; сперва он ударил по струнам руками, извлек несколько звонких звуков, перебирая пальцами струны, а затем уже стал ударять по кифаре плектром и, поиграв немного, запел под музыку.

В песне Аполлон жаловался на Дафну, от него убегавшую, преследовал ее и хотел поймать, но лавром стала девушка, и Аполлон себя этим лавром увенчивал.

Все это еще больше воспламенило душу мою; ведь рассказ о любви распаляет страсть; даже если человек увещевает себя быть благоразумным, пример побуждает его к подражанию, особенно когда пример подает кто-нибудь особенно могущественный — благодаря высокому положению он, вместо того чтобы стыдиться, действует без всяких стеснений.

«Ведь вот и Аполлон влюблен, — говорил я сам себе, — и он влюблен в девушку, но не стыдится своей влюбленности и преследует девушку; а ты медлишь и стыдишься и благоразумен некстати; неужели же ты сильнее, чем бог?»

6. Когда наступил вечер, женщины первые отправились спать, а немного позднее пошли и мы; остальные желудком измеряли полученное удовольствие, а я уносил угощение в своих глазах: преисполненный лицезрением Левкиппы и ни с чем не смешанным созерцанием, я удалился, опьяненный любовью.

Когда же я пришел в комнату, где обычно спал, я заснуть не мог. Ведь по самой природе своей и все остальные недуги и раны телесные ночью терзают сильнее; боль пробуждается в нас с особенною силой в часы покоя, и мы жестоко страдаем; когда отдыхает тело, тогда-то язва и находит время болеть; а раны душевные, когда тело не движется, причиняют еще большее мучение. Днем наши глаза и уши бывают заняты многими делами, и это притупляет остроту недуга, отвлекает наш дух, не давая ему томиться. Когда же покой сковывает нашу плоть, на душу, предоставленную самой себе, набегают волны ее бед. Все, что прежде дремало, теперь пробуждается: у скорбящих — горести, у тревогами уязвленных — заботы, у переносящих опасности — страхи, у влюбленных — огонь.

Только перед зарею сон сжалился надо мной и дал мне немного отдохнуть. Но и тут девушка не хотела уйти из моей души; все мои сновидения были полны одним — Левкиппою. Я беседовал, играл, пировал с нею, я прикасался к ней и испытал больше счастья, чем днем. Ведь я даже поцеловал ее, и подлинным был этот поцелуй; так что, когда раб разбудил меня, я стал бранить его за то, что он явился не вовремя: из-за него я потерял столь сладостный сон.

Поднявшись с постели, я стал нарочно ходить по дому на

глазах у девушки; я держал книгу и, склонясь над нею, читал; но, оказываясь против дверей, украдкой взглядывал на Левкиппу, а пройдя несколько раз взад и вперед и почерпнув любовь из этого созерцания, я наконец действительно удалился, и нехорошо было у меня на душе. Таким пламенем я пылал три дня.

. . . . . .

15. Я сейчас же поспешил к девушке; она была в саду подле нашего дома. Сад этот был рощей — великолепная услада очей; вокруг рощи шла ограда достаточной высоты, и со всех четырех сторон хоровод колонн образовывал сень; под колоннами, внутри ограды, толпою теснились деревья. Пышно разрослись ветви, сталкивались одна с другою, листья переплетались, цветы обнимались, плоды сцеплялись — то была беседа растений. Вокруг иных особенно мощных стволов росли плющ и вьюнок; вьюнок сбегал с верхушки платана и окутывал его своими нежными кудрями; а плющ, обвиваясь вокруг сосны, ласково привлекал ее к себе в объятия, и дерево сделалось опорой плюща, и венком дерева был плющ. По обе стороны дерева красовались листьями своими виноградные лозы, поддерживаемые тростинками, и зрелые, пышные гроздья спускались между подпорками, и это были локоны растения; по сверкающей на солнце земле пробегала легкая тень от нависших листьев, колеблемых ветром.

Цветы, блистая пестрыми красками, являли свою красоту, и это была багряница земли — фиалки, нарциссы и розы. Одинакова очертаниями своими чашечка у розы и у нарцисса: это фиал цветка; а цвет лепестков вокруг чашечки у розы — цвет крови, и вместе — цвет молока (в нижней части лепестка); а нарцисс окраской своей подобен нижней части розы. У фиалки же чашечки нет совсем, а цвет ее такой, каким сверкает безветренная гладь моря. Среди цветов бил из земли ключ, и для воды его вырыт был четырехугольный водоем; а вода была для цветов зеркалом, так что виднелись не одна, а две рощи, одна — настоящая, другая — отраженная.

Ручные птицы порхали по роще, и их услаждала пища, приносимая людьми; другие вольным крылом играли в вершинах деревьев; одни распевали птичьи песнопения, другие красовались одеянием своих крыльев. Певцы — цикады и ласточки; одни пели про любовь Зари [3], другие про Тереево пиршество. Ручные птицы — павлин, лебедь, попугай: лебедь, среди водных струй плывущий, попугай, в подвешенной к дереву клетке живущий, павлин, волочащий по цветам свой хвост. И сверкали цветы во всем своем блеске, как птицы в яркой своей окраске, и перья были как цветы.

16. Я хотел подготовить девушку, чтобы легче было ввести ее в дела любви, и начал разговаривать с Сатиром [4], причем удобный случай начать беседу дала мне птица. Случилось так, что Левкиппа прогуливалась вместе с Клио [5] и остановилась перед

павлином. Ибо по воле судьбы павлин в это время оперился всею красою своей и показал великолепное зрелище своих перьев.

— А ведь не без хитрого умысла делает это павлин, — сказал я, — нет, он великий знаток искусства любовного. Поэтому, когда хочет приманить к себе любимую, тут и развертывает он всю свою красоту. Видишь птицу поблизости от платана? — при этом я указал на паву. — Ей-то он и показывает сейчас свою красу, цветущий луг своих перьев. Только на лугу павлина цветы еще красивее, чем на этом: золото рассыпано на его перьях; кругом ровным кольцом обходит пурпур, и на каждом пере красуется глаз.

17. Сатир понял, что скрывалось за моими речами, и, чтобы был у меня повод побольше поговорить об этом, сказал: — Неужели так велика сила Эрота, что он даже на птиц изливает свой огонь? — Не только на птиц, — сказал я, — в этом нет ничего удивительного, раз и сам Эрот имеет крылья, — но и на пресмыкающихся, и на растения, и, мне думается, даже на камни. По крайней мере магнесийская руда любит железо; и только она увидит его, так тянет к себе, будто внутри нее живет любовь. И не есть ли это поцелуй руды и железа, ею любимого? А о растениях рассказывают ученики мудрецов — я сказал бы, что они рассказывают сказки, если бы не утверждали того же и земледельцы. Рассказывают же они вот что: одни растения любят другие, но особенно тягостна любовь для финиковой пальмы. Говорят, среди финиковых пальм одни — мужские, другие — женские. И вот мужская пальма любит женскую, и, если они рассажены так, что женская пальма оказывается далеко, влюбленный сохнет. Но земледелец понимает горе дерева и, выйдя на открытое место, смотрит, в какую сторону оно склонилось, — ибо склоняется оно в сторону любимой; узнав это, он излечивает страдание пальмы: он берет черенок женской пальмы и прививает его к сердцу пальмы мужской. Этим он облегчает душу растения, и умирающее тело вновь оживает и воскресает, радуясь слиянию с любимой. Это и есть брак растений.

18. Есть еще один необычайный брак, когда воды соединяются; и влюбленный — Элидский поток, а любимая — Сицилийский ключ. Поток мчится через море, как через равнину. А оно не заливает сладководного влюбленного волною соленою, но раздается перед его струею, и эта расселина моря для потока руслом становится; так море сопровождает к Аретусе Алфея, ее жениха. И вот во время Олимпийских торжеств многие опускают в волны потока разные дары; он же прямо несет их к своей любимой — это и есть его выкуп.

Иное любовное таинство происходит у пресмыкающихся, не только у тех, что принадлежат к одной породе, но и у разнородных. К мурене вожделеет ехидна, земноводная змея; мурена — тоже змея, но змея морская, по виду своему — это змея, но для тех, кто употребляет ее в пищу, — рыба. Когда наступает брач-

ная пора, ехидна приходит на берег, оборачивается к морю и свистит, и этим мурене знак подает, а та узнает условный знак и выходит из волн морских. Но она не прямо выходит к жениху (знает она, что он носит смерть в зубах своих), но вылезает на камень среди моря и ждет, пока жених не очистит от яда свою пасть. И так стоят они оба и смотрят друг на друга, любовник на материке, а возлюбленная на островке. Когда же любовник изблюет то, чего страшится невеста, и она увидит извергнутую на землю смерть, тогда она сходит с камня, и на берег выбирается, и вокруг любовника обвивается, и уже больше не пугается поцелуев его.

19. Говоря это, я все время смотрел на девушку — как-то она отнесется к любовным рассказам; а она дала мне понять, что слушает не без удовольствия.

И сверкающая красота павлина, казалось мне, уступала прелести лица Левкиппы! Ибо красота ее соперничала с луговыми цветами: белизною нарцисса блистало лицо ее, розы распускались на щеках, фиалками сияли очи, кудрявые волосы вились сильнее, чем плющ. Вот какой луг цвел на лице Левкиппы.

Немного спустя она удалилась — пришел час, когда она обычно играла на кифаре; но мне чудилось, что Левкиппа все еще здесь, ибо, удалившись, она оставила свой образ в моих глазах.

И Сатир и я, мы оба были довольны; я — своим повествованием, а он — тем, что дал мне повод к рассказам.

«ИСТОРИЯ АПОЛЛОНИЯ, ЦАРЯ ТИРСКОГО»

1. Жил был некогда в государстве Антиохийском царь Антиох; от него и государство получило свое имя. У этого царя была единственная дочь, девушка необыкновенной красоты; природа создала ее совершенной во всем, кроме того, что сделала смертной. Когда она достигла брачного возраста, а красота и прелесть ее расцвели, многие стали домогаться брака с ней и съезжались, обещая богатые дары. Пока царь размышлял, кому же из женихов отдать предпочтение, он, под влиянием нечестивого вожделения, воспылал к собственной дочери страстью и полюбил ее иначе, чем надлежало отцу. Царь в неистовстве мается, с печалью сражается, любовью побеждается; благочестие его гибнет. Антиох забывает, что он отец девы и хочет стать ее супругом.

Не в силах долее терпеть сердечную рану, он однажды на рассвете проникает в покои дочери, под предлогом секретного разговора с нею, далеко отсылает слуг и, побуждаемый неистовой страстью, несмотря на ее упорное сопротивление, лишает дочь девственности. Совершив это злодеяние, Антиох покидает спальню. Дева же стоит, пораженная нечестием преступного отца, и пытается унять текущую кровь; однако капли ее упали на пол.

2. Внезапно в спальню входит кормилица девушки. Увидев запятнанный кровью пол, заплаканное и залитое краской стыда лицо своей питомицы, она спрашивает: — Что тебя так взволновало? — Девушка отвечает: — Милая кормилица, только что в этой спальне погибли два благородных имени. — Кормилица, не

понимая, восклицает: — Что ты говоришь, госпожа? — А питомица отвечает ей: — Ты видишь меня, до законного брака обесчещенную ужасным преступлением.

Услышав и увидев это, кормилица пришла в ужас и сказала: — Кто же, дерзостный, осмелился осквернить ложе царской дочери? — Дева ответила: — Нечестивая страсть совершила это злодеяние. — Кормилица: — Почему ты не пожаловалась отцу? — Дева в ответ: — А где отец? — И далее сказала так: — Милая кормилица, понимаешь, что случилось: самое имя отца для меня умерло. И вот, чтобы не раскрылось преступление родителя, я избираю себе средством спасения смерть. Боюсь только, чтобы об этом позоре не стало известно. — Кормилица, поняв, что ее питомица действительно ищет спасения в смерти, ласковыми речами с трудом уговаривает ее отказаться от этого ужасного намерения, убеждает, хотя и против воли, удовлетворять желания отца.

3. Царь между тем перед своими гражданами притворялся благочестивым родителем, а в своем доме похвалялся тем, что он супруг дочери. А чтобы непрестанно наслаждаться нечестивой любовью, он отстранял от дочери женихов, предлагая им загадки: — Тот из вас, — говорил он, — кто разгадает заданные мною загадки, получит в жены мою дочь, а кто не разгадает, будет обезглавлен. — И если кто-нибудь, умудренный в науках, находил решение загадки, ему, словно и не было никакого уговора, отсекали голову и насаживали ее на зубцы ворот. И все же отовсюду, пренебрегая опасностью, приходили многие цари и правители, соблазненные необыкновенной красотой девушки.

4. Пока царь неистовствовал в своей жестокости, некий весьма богатый юноша, тириец родом, по имени Аполлоний, приплыл в Антиохию и, представ перед царем, приветствовал его такими словами: — Здравствуй, владыка, царь Антиох! Ты благочестивый отец, и, вняв твоим обещаниям, я поспешил прийти: я царского рода и прошу в жены твою дочь.

Царь, услышав речи, каких не желал слушать, взглянул на него гневно и сказал ему: — Известны ли тебе, юноша, условия брака? — Тот ответил: — Я знаю все наперед и зубцы на воротах видел. — Царь промолвил с негодованием: — Ну слушай тогда загадку: зло меня увлекает, материнское мясо питает, я ищу моего брата, мужа моей матери, сына моей жены, — и не нахожу...

Дослушав до конца, юноша отступил на несколько шагов; поразмыслив хорошенько, он с божьей помощью нашел решение и вновь приблизился к царю. — Владыка, — сказал он, — ты задал мне загадку, выслушай же мой ответ. Словами «зло меня увлекает» ты не солгал: взгляни на себя. И, сказав «материнское мясо питает», ты не солгал также: посмотри на свою дочь.

5. Царь, поняв, что юноша разгадал загадку, сказал ему: — Ты ошибаешься, это — неправда, а потому ты заслуживаешь казни, но я даю тебе тридцать дней сроку: подумай еще! Если через

тридцать дней ты вернешься с верным решением, ты получишь мою дочь в жены. — Юноша в большом смятении взошел на готовый к отплытию корабль и отправился к себе на родину, в Тир.

6. После его отплытия царь Антиох призвал своего управляющего Талиарха, человека бесконечно преданного, и сказал ему так: — Талиарх, поверенный моих тайн, знай, что Аполлоний разгадал мою загадку. Сейчас же взойди на корабль и плыви за ним вдогонку, а когда достигнешь его родины, города Тира, разыщи там кого-нибудь из недругов Аполлония, который бы с помощью меча или яда лишил его жизни. По возвращении ты получишь свободу. — Талиарх, выслушав приказание, взял с собой деньги и яд и, взойдя на корабль, отплыл на родину Аполлония.

Аполлоний прибыл в Тир первым; ничего не подозревая, он вошел в свой дом, открыл ларец со свитками и стал прилежно изучать сочинения философов и халдейских мудрецов. И когда не нашел в них иного ответа, чем дал царю, сказал самому себе: — Что же, Аполлоний? Загадку цареву ты решил, дочь его в жены не получил, ты зашел так далеко, что будешь убит. — И вот он велит нагрузить корабли продовольствием и сам поздно вечером в сопровождении нескольких верных рабов тайком вступает на корабль; взяв с собой большой запас золота, серебра и множество одежд, он глубокой ночью выходит в открытое море.

7. На другой день граждане Тира собрались, чтобы приветствовать Аполлония, но не нашли его. Всех охватил ужас, отчаянные рыдания раздавались повсюду. Любовь граждан к Аполлонию была столь велика, что народ на долгое время отказался даже от услуг цирюльников; отменены были зрелища, закрыты бани. В это время в Тир прибыл Талиарх, посланный царем Антиохом, чтобы убить юношу.

Увидев, что все закрыто, Талиарх спросил какого-то мальчика: — Скажи мне, будь добр, какова причина тому, что государство пребывает в такой печали? — Мальчик воскликнул: — Ах, негодный! Он еще спрашивает! Кто же не знает причины нашего горя: государство в трауре потому, что владыка его, Аполлоний, по возвращении из Антиохии внезапно исчез. — Выслушав это, Талиарх, управляющий царя Антиоха, с ликованием вернулся на корабль и на третий день плавания достиг Антиохии. Там он предстал перед царем с такими словами: — Владыка царь, веселись и радуйся, ибо тот тирийский юноша Аполлоний, страшась твоего могущества, внезапно исчез. — Царь ответил: — Он может обратиться в бегство, но уйти от меня не в силах. — И тотчас издал такой эдикт: «Тот, кто тирийца Аполлония, презревшего мою власть, приведет ко мне живым, получит сто талантов золота; а тот, кто доставит его голову, получит двести талантов». Едва этот эдикт был обнародован, не только враги, но и друзья Аполлония, обуреваемые алчностью, бросились на поиски юноши. Его разыскивали всюду, по всей земле, в горах и в лесах, устраивали засады, но найти не могли.

8. Тогда царь Антиох велел снарядить на поиски корабли. Но пока те, кто занимался приготовлениями, мешкали, Аполлоний достиг города Тарса. Когда он прогуливался там по морскому берегу, его увидел некто Гелленик, тириец родом, который только что приехал в Тарс. Подойдя к своему царю, он сказал: — Здравствуй, царь Аполлоний! — А царь, как всегда делают люди могущественные, на приветствие простого человека не обратил никакого внимания. Раздосадованный старик вновь обратился к нему со словами привета: — Я говорю тебе, здравствуй, Аполлоний, ответь мне и не презирай бедняка, которого украшает только честный нрав. Если ты уже все знаешь, тебе следует быть осторожным; если не знаешь, тебя следует предупредить. Итак, выслушай то, чего ты, может быть, не знаешь: ты приговорен к смерти.

Аполлоний спросил: — А кто может приговорить к смерти правителя моего государства? — Гелленик сказал: — Царь Антиох. — Аполлоний: — А за что? — Гелленик: — За то, что ты домогался места, занятого отцом. — Аполлоний: — А во сколько он оценил мою жизнь? — Гелленик объяснил: — Если кто приведет тебя живым, получит сто талантов золота, а если отрубит тебе голову — двести. Поэтому мой совет: спасайся бегством! — Сказав это, Гелленик удалился. Тогда Аполлоний велел вернуть старика и обратился к нему с такими словами: — Ты сделал благое дело, предупредив меня. — Он приказал дать Гелленику сто талантов золота и добавил: — Возьми, благороднейший из бедняков, ты это заслужил; считай, что обезглавил меня на радость царю Антиоху. Вот тебе в награду сто талантов, и руки твои не запятнаны кровью невинного. — На это Гелленик ответил: — Не бывать, повелитель, тому, чтобы я за такое дело взял награду. Ведь у честных людей дружба не покупается за деньги. — Сказав так, он простился и ушел.

9. После этого Аполлоний, гуляя там же по берегу, встретил еще одного человека по имени Странгвиллион. Аполлоний ему сказал: — Здравствуй, милый мой, Странгвиллион! — Тот ответил: — Здравствуй, владыка Аполлоний! Что ты в смятении бродишь здесь? — Аполлоний ему: — Ты видишь перед собой приговоренного к смерти. — А кто тебя приговорил? — Царь Антиох. — За что же? — За то, что я просил в жены его дочь, а вернее сказать, супругу. Но если возможно, я хочу найти пристанище в вашем государстве.

На это Странгвиллион сказал: — Владыка Аполлоний, государство наше бедно и не в состоянии достойно принять столь знатного человека; кроме того, мы терпим сейчас жестокий голод и страдаем от ужасного неурожая; у моих сограждан нет надежды на спасение, и тягчайшая смерть уже стоит у порога. — Аполлоний сказал на это: — Тогда возблагодари бога за то, что он привел меня, беглеца, в ваши края. Я дам вашему государству сто тысяч модиев хлеба, если вы меня приютите.

Когда Странгвиллион это услышал, он пал перед Аполлонием ниц и сказал: — Владыка, царь Аполлоний, если ты поможешь нашему государству, гибнущему от голода, граждане не только надежно укроют тебя, но и станут, в случае нужды, сражаться за твое спасение.

10. После этого оба отправились в город; Аполлоний, достигнув форума, поднялся на возвышение и сказал, обращаясь к старейшинам и ко всем гражданам: — Граждане Тарса, вас терзает и мучит голод. Я, Аполлоний Тирский, облегчу вашу долю, ибо верю, что вы, памятуя мое благодеяние, поможете мне укрыться. Знайте, что я бежал от расправы царя Антиоха и, на ваше счастье, попал сюда. Я дам вам сто тысяч модиев хлеба по той цене, по какой сам купил его у себя на родине, то есть по восемь медных монет за модий. — Тарсийцы, которые за каждый модий платили по целому золотому, возликовали и, получая хлеб, громкими криками наперебой выражали благодарность. Аполлоний же, дабы не умалить своего царского достоинства и не показаться более купцом, нежели благодетелем, деньги, которые брал с граждан, тут же пожертвовал на нужды их государства. Жители Тарса, столь щедро облагодетельствованные Аполлонием, пожелали воздвигнуть в его честь медную статую и поставили ее на форуме. Аполлоний был изображен стоящим на колеснице с плодами в правой руке; левая нога опиралась на модий, а на подножии была высечена надпись: «Граждане Тарса приносят эту статую в дар Аполлонию Тирскому за то, что он избавил их от голода и оскудения».

11. Прошло несколько месяцев, а, может быть, даже совсем немного дней, и Аполлоний, следуя уговорам Странгвиллиона и его жены Дионисиады и повинуясь велению судьбы, решает отправиться в Пентаполь Киренский, чтобы там укрыться. Его провожают с большими почестями, и, простившись со всеми, он вступает на корабль. Однажды во время плавания погода днем за какие-нибудь два часа разом испортилась.

Буря, поднявшись, вокруг озаряет все красным сияньем.
Дождь приносящий Эол берегов размывает уж землю,
Ветром смятенную ране, а Нот, собирающий тучи,
Все беспощадно сметает, вздымая высокие волны.
Австр. . . . . *
Мчится свирепый Борей, словно Эвра еще не довольно,
Страшный по силе прилив и песчаные бури несет он,
Море под натиском ветра обычный предел преступает,
Все смешалось, и волны небесных светил достигают.
Бешено вихрь безоглядный несется и мчит за собою
Град и метель, громоносные тучи, сверкание молний.
Пламя по ветру летит, и ревет оглушительно море.
С равною силою дуют и Нот, и Борей тут, и Африк;
Землю трезубцем свирепо владыка Нептун потрясает,
Трубными звуками рога Тритон оглашает все море.

* Текст в оригинале испорчен.

12. Предчувствуя близкую гибель, люди хватаются за обломки корабля, но в наступившей во время бури кромешной тьме все тонут. Только Аполлоний с помощью одной-единственной доски добрался до берега Пентаполя. Стоя там совершенно обнаженный и глядя на спокойную гладь моря, он воскликнул: — О Нептун, владыка моря, вероломно обманывающий невинных, не для того ли ты спас меня от гибели, чтобы жестокому Антиоху легче было преследовать сирого и нищего? Куда мне идти? Куда направиться? Кто окажет помощь незнакомому пришельцу? — И, говоря так сам с собою, он внезапно увидел глубокого старика, одетого в ветхий шерстяной плащ. Аполлоний пал перед ним ниц и, обливаясь слезами, сказал: — Сжалься надо мной, кто бы ты ни был, старец! Приди на помощь потерпевшему кораблекрушение и впавшему в нищету потомку знатного рода. Знай при этом, кому ты помогаешь: я Аполлоний Тирский, царь своей отчизны. Выслушай печальную повесть о моих злоключениях, припадая к твоим ногам, я скромно молю о помощи. Окажи мне милость, чтобы я мог остаться в живых! — Рыбак, увидев благородную осанку юноши, проникся к нему жалостью, поднял его с земли, за руку привел в свой дом и, чем мог, накормил. А чтобы довершить доброе дело, он снял с себя плащ, разорвал его на две равные части и одну дал Аполлонию со словами: — Возьми то, что я могу тебе дать, и ступай в город; там ты, может быть, найдешь людей, которые над тобой сжалятся. А если не найдешь, возвращайся сюда, будешь вместе со мной ловить рыбу. Какова бы ни была бедность, мы с тобой проживем. У меня к тебе только одна просьба: если когда-нибудь ты по воле божьей вернешься к себе на родину, позаботься тогда обо мне, несчастном. — На это Аполлоний ответил: — Если забуду твою доброту, пусть я вновь переживу кораблекрушение и не встречу при этом такого благодетеля, как ты!

13. С этими словами юноша отправляется по указанной ему дороге и достигает городских ворот. Пока Аполлоний размышляет про себя, где искать помощи, он замечает бегущего по улице мальчика, умащенного и подпоясанного льняным платком. Мальчик нес разные предметы, употребляемые отроками во время игр в гимнасии, и громким голосом призывал всех: — Слушайте, граждане и чужеземцы, свободные и рабы: гимнасий открыт! — Услышав это, Аполлоний сбросил плащ, вошел в баню и умастился снадобьем Паллады;[1] увидев людей, занятых упражнениями, он стал искать себе достойного соперника, но не нашел. Тут в гимнасий с большой толпой слуг вошел царь этого государства, Архистрат. В то время как царь и его свита предавались играм, Аполлоний по воле богов вмешался в толпу царских спутников, подал царю мяч, затем ловко и быстро его отбил, а отбив... * не дал ему упасть. Архистрат, который не имел себе рав-

* Текст испорчен.

ных в игре, заметил ловкость юноши и, не зная, кто он, обратился к своим слугам: — Отойдите, слуги мои, этот юноша, кажется, может сравняться со мной.

Когда все отошли, Аполлоний опытной рукой так же ловко и быстро отбросил мяч; царю, его слугам и всем юношам, которые были в гимнасии, его игра показалась настоящим чудом. Видя, что граждане им восхищаются, Аполлоний приблизился к царю. Он так искусно и нежно умастил Архистрата, что сделал его из старца вновь юношей. Когда царь отправился в баню, Аполлоний искусно его вымыл, протянул ему руку, чтобы помочь выйти, а затем удалился.

14. Архистрат же, увидев, что юноша ушел, сказал, обращаясь к своим друзьям: — Друзья мои, клянусь нашим общим благоденствием, меня никогда и никто не мыл лучше, чем сегодня какой-то неизвестный юноша, — и прибавил, взглянув на одного из своих слуг: — Пойди узнай, кто он, этот юноша, что так хорошо услужил мне. — Тот последовал за Аполлонием и, когда увидел, что он накидывает на себя грязный плащ, вернулся и сказал своему повелителю: — Всемилостивый царь, юноша этот потерпел кораблекрушение. — И на вопрос Архистрата: — Откуда ты знаешь? — ответил: — Он молчит, но весь вид его об этом свидетельствует. — Архистрат велел: — Иди скорее и скажи ему: царь приглашает тебя к обеду.

Выслушав это приглашение, Аполлоний принял его и вслед за слугою отправился в царский дворец. Слуга, войдя первым, доложил Архистрату: — Потерпевший кораблекрушение юноша пришел, но из-за своей жалкой одежды стесняется войти. — Царь тотчас же велел одеть его в хорошее платье и ввести в триклиний, а как только Аполлоний появился, приветствовал его такими словами: — Возляг, юноша, и насладись трапезой. Бог снова пошлет тебе много всякого добра, и ты забудешь то, что потерял при кораблекрушении! — Аполлоний занял указанное ему место напротив царя. Подали закуску, а затем начался царский обед. Все занялись едой, один только Аполлоний со слезами на глазах глядел на все: на золото и серебро, на стол и царских слуг и предавался скорби. Тогда один из старцев, возлежавший подле царя, заметил, что юноша с любопытством все рассматривает, взглянул на Архистрата и сказал: — Смотри, царь, тот, кого ты осыпаешь своими милостями, завидует твоей судьбе и твоему богатству! — А Архистрат ответил: — Друг мой, подозрения твои несправедливы: юноша этот не завидует ни моей судьбе, ни моему богатству, но размышляет, я думаю, о том, как много он сам потерял. — Приветливо взглянув на Аполлония, царь сказал ему: — Юноша, угощайся вместе с нами! Радуйся, веселись и надейся на бога!

15. Пока Архистрат такими словами ободрял Аполлония, в триклиний вошла царская дочь, взрослая уже и красивая девушка в сверкающих золотом уборах. Она поцеловала отца, стала по-

очереди целовать возлежавших с ним друзей, а поздоровавшись со всеми, подошла к Аполлонию и вновь вернулась к отцу с вопросом: — Милостивый царь и отец, скажи мне, кто этот юноша со скорбным лицом, что занимает почетное место против тебя и неведомо о чем грустит? — Царь ответил ей: — Этот юноша потерпел кораблекрушение; в гимнасии он превосходно мне услужил, и я за это пригласил его к обеду. Кто он и откуда родом, я не знаю, но если хочешь, можешь его расспросить, ибо тебе, моя мудрая дочь, надлежит знать все. Может быть, его история внушит тебе сострадание. — Следуя совету отца, девушка робко и стыдливо стала задавать Аполлонию вопросы; приблизившись к нему, она начала свою речь так: — Пусть молчание твое полно печали, но красота выдает твое благородное происхождение. Если тебе не тягостно, назови мне свое имя и расскажи о своих горестях. Юноша ответил: — Если хочешь знать мое имя, меня зовут Аполлонием, если спрашиваешь о моем богатстве, оно погибло в море. — Девушка попросила: — Расскажи мне все, не таясь, чтобы я поняла.

16. Тогда Аполлоний поведал обо всех своих злоключениях и, кончив рассказ, стал лить слезы. Видя, что он плачет, царь взглянул на дочь и сказал: — Милая дочь, ты провинилась: расспрашивая об имени и несчастиях юноши, ты разбередила его старые раны. Теперь, милая и мудрая дочь, тебе по справедливости надлежит проявить царскую щедрость к тому, у кого ты выпытала его историю. — Девушка обратила взгляд на Аполлония и сказала: — Ты теперь наш гость, юноша, оставь печаль; поскольку отец мой милостиво соизволяет это, я тебя щедро одарю. — Аполлоний со вздохом поблагодарил. Царь же, видя доброту своей дочери, возрадовался и сказал: — Милое дитя, да будет тебе благо во всем! Вели принести себе лиру, осуши слезы юноши и настрой его дух для радостного пира. — Девушка велит принести себе лиру, берет ее в руки и соединяет с пением струн необыкновенную прелесть своего голоса, а напев со словами. Все пировавшие стали выражать восхищение, говоря: — Ничто не может быть лучше и сладостнее слышанного нами! — Молчал один Аполлоний. Царь тогда сказал ему: — Стыдись, Аполлоний! Все прославляют пение и игру моей дочери, почему ты один порицаешь ее своим молчанием? — На это Аполлоний сказал: — Владыка царь, если ты дозволишь, я скажу, что думаю: дочь твоя взялась за это искусство, однако не научилась ему. Вели дать мне лиру, и ты поймешь то, чего не знал раньше. — Царь ответил: — Ты, Аполлоний, искусен, как я вижу, во всем. — Юноша между тем принял надлежащее положение, возложил на голову венок и с лирой в руках вошел в триклиний. Осанка его была такова, что всем пировавшим показалось, что перед ними не Аполлоний, а сам бог Аполлон. В наступившей тишине

взялся он тотчас за плектр и на пение дух свой настроил.

Мелодичные звуки голоса слились с пением струн. Все сотрапезники вместе с царем стали возносить Аполлонию громкие хвалы: — Ничто не может быть лучше, ничто не может быть сладостнее! — После этого юноша отложил лиру и перевоплотился в комического актера, причем изображал различные действия безмолвно, только жестами и мимикой; затем преобразился в трагика и не менее прежнего понравился и в этой роли; друзья царя согласно утверждали, что ничего подобного им не приводилось ни слышать, ни видеть.

17. Между тем царская дочь, увидев, что Аполлоний искушен во всех искусствах и науках, была ранена в сердце; она влюбилась в юношу и, едва кончился пир, сказала отцу: — Ты позволил мне раньше, царь и добрый отец, дать Аполлонию, что я пожелаю из твоих богатств. — Архистрат ответил: — Я позволил и позволяю тебе это, дочь моя, ибо таково и мое желание. — Получив разрешение отца распорядиться по своему усмотрению, она сказала, глядя на Аполлония: — Учитель, с соизволения отца моего прими в дар двести талантов золота, сорок фунтов серебра, двадцать рабов и одежду. — С этими словами она взглянула на слуг, которых дарила Аполлонию, и сказала: — Принесите все, что я обещала, и в присутствии всех сложите в триклинии. — И все похвалили ее щедрость.

Когда кончился пир, все встали и, простившись с царем и царевной, разошлись. Аполлоний также сказал: — Желаю благополучия тебе, царь, сострадающий страждущим, и тебе, царевна, покровительница искусств, прощайте. — Произнеся это приветствие, он оглянулся на подаренных ему рабов и сказал: — Несите, слуги, все, что даровала мне царевна: золото, серебро и одежды; отправимся искать пристанища. — Девушка же, боясь истосковаться без любимого, взглянула на отца и сказала: — Отец мой и царь, разве тебе угодно, чтобы Аполлоний, одаренный нами, покинул сегодня наш дом и дурные люди отняли у него все, что ты ему дал? — Верно ты говоришь, госпожа, — ответил Архистрат, — вели приготовить ему покой, где бы он хорошо отдохнул. — Обретя, таким образом, ночлег, Аполлоний хорошо отдохнул и благодарил бога, который сделал царя его благодетелем.

18. Между тем «царица, уже уязвленная страстью» [2] к Аполлонию, «в сердце хранит его образ и речи» [3], вспоминает его пение, и «верится ей, что из рода богов он» [4]. Сон не смежает ей веки, «страсть не дает отрадного членам покоя» [5]. Так и не сомкнув глаз, она ранним утром пришла в спальню к отцу. А царь при виде дочери удивился: — Милая дочь, что случилось? Почему ты, против обыкновения, бодрствуешь в столь ранний час? — Девушка отвечает: — Мне не дает покоя вчерашняя музыка. Прошу тебя, отец, отдай меня в ученье нашему гостю, Аполлонию, чтобы я овладела его искусством. — Царь выслушал ее с радостью, велел позвать юношу к себе и сказал ему так: — Аполлоний, дочь моя желает научиться у тебя твоему благословенному искусству.

Я прошу исполнить ее желание и, царством своим клянусь, возмещу тебе на суше все, что в гневе похитило у тебя море. — Аполлоний, выслушав речь царя, стал учить девушку точно так, как учили в свое время его самого. Прошел небольшой срок, и царевна, не в силах долее терпеть любовные муки, совсем ослабела, слегла и в бессилии не покидала своего ложа. Взволнованный внезапно напавшим на нее недугом, Архистрат созвал врачей. Те пощупали пульс, осмотрели девушку и не нашли никаких причин болезни.

19. Спустя несколько дней царь рука об руку с Аполлонием отправился на форум погулять. Там его в один голос и совершенно одинаковыми словами приветствовали трое знатнейших и образованнейших юношей, которые долгое время домогались получить в жены царскую дочь. Увидя их, Архистрат с улыбкой спросил: — Почему вы приветствуете меня в один голос и одними и теми же словами? — Один из юношей ответил: — Когда мы порознь просили в жены твою дочь, ты всякий раз томил нас отсрочками; поэтому сегодня мы пришли все вместе — выбери же, кого из нас ты желаешь себе в зятья! — Царь ответил: — Не вовремя вы обращаетесь ко мне с этой просьбой; дочь моя всецело предалась искусству и, кроме того, нездорова. Но, чтобы вы не думали, будто я и теперь продолжаю вас мучить, напишите на табличке ваши имена и размеры приданого; я отправлю эти таблички моей дочери, и она выберет, кого пожелает себе в мужья. — Все трое написали свои имена и размеры приданого. Царь взял таблички, приложил к ним свою печать и передал Аполлонию со словами: — Не обижайся, учитель, отнеси эти таблички и отдай своей ученице, ты там будешь желанным гостем.

20. Аполлоний взял таблички, направился ко дворцу, вошел в спальню царевны и передал их ей. Девушка узнала отцовскую печать и обратилась к своему возлюбленному: — Что случилось, учитель, как это ты один вошел в мою спальню? — Аполлоний ответил ей: — Госпожа, ты еще не женщина и притом нездорова. Возьми лучше послание своего отца и прочитай имена тех, кто просит твоей руки. — Раскрыв таблички, девушка прочла их, но не нашла там имени того, кого желала и любила. Она обратила к нему взор и спросила: — Учитель, разве тебя не печалит, что я выхожу замуж? — Напротив того, — возразил Аполлоний, — я поздравляю тебя и радуюсь, что, искушенная во многих искусствах и наставленная мною, ты, с соизволения божия, выйдешь замуж за того, к кому стремится твоя душа. — На это девушка сказала: — Учитель, если бы ты любил, ты пожалел бы о том, что ты ученый. — С этими словами она начертала что-то на табличках, приложила свою печать и вернула юноше. Аполлоний снес их царю на форум, а царь распечатал и открыл. Царевна писала: «Добрейший царь и благосклонный отец! Поскольку ты оказываешь мне свою милость и снисхождение, я скажу тебе: я хочу

в мужья того, кого кораблекрушение лишило всего имущества. Не удивляйся, отец, что девушка, которой подобает скромность, написала это столь беззастенчиво: ведь я доверила свою тайну воску [6], а воск лишен стыда».

21. Прочитав послание дочери и не зная, кого из трех юношей, написавших на табличках свои имена и обозначивших размеры приданого, дочь называет потерпевшим кораблекрушение, царь спросил их: — Кто из вас пережил кораблекрушение? — И один, по имени Ардалион, ответил: — Я. — Второй воскликнул: — Молчи, пусть изнурит тебя недуг, от которого нет исцеления! Я знаю, что ты мой ровесник, учился вместе со мною и никогда не покидал города! Как же ты мог пережить кораблекрушение? — Царю так и не удалось узнать, кто из них потерпел кораблекрушение, и он сказал Аполлонию: — Возьми, учитель, эти таблички и прочти их. Может быть, тебе станет ясно то, чего я не понял — ведь ты был у моей дочери, когда она писала. — Аполлоний взял послание и стал читать, а поняв, что царевна любит его, покраснел. Царь взял его за руку и, отведя немного в сторону, спросил: — Ну что, учитель, нашел ты того, кто потерпел кораблекрушение? — Добрый царь, — ответил Аполлоний, — если позволишь сказать, я нашел его. — При этих словах царь взглянул ему в лицо, залитое краской, понял слова дочери и воскликнул с радостью: — Желание дочери — это и мое желание, ибо ничто в таком деле не совершается без воли бога! — И, обратившись к тем трем юношам, сказал: — Я вам верно говорил, что вы не вовремя пришли ко мне с вашей просьбой. Ступайте, когда придет срок, я пришлю за вами. — С этим Архистрат и отпустил их.

22. Об руку уже не с гостем, а с зятем царь проследовал во дворец. Оставив Аполлония дожидаться, Архистрат один вошел к дочери. — Милая дочь, — спросил он, — кого же ты выбрала себе в мужья? — Девушка пала отцу в ноги и сказала: — Дорогой отец, если ты соизволишь выслушать желание своей дочери: я люблю и хочу стать женой потерпевшего кораблекрушение учителя моего, Аполлония; если ты меня ему не отдашь, ты вскоре лишишься дочери! — Не в силах видеть слезы девушки, царь поднял ее и стал ласково уговаривать: — Милое дитя, ничего не бойся, ведь ты избрала того же, кого и я; при первом взгляде на него я задумал соединить вас браком. Я тебе воистину сочувствую, ибо отцом меня тоже сделала любовь. — С этими словами он вышел из комнаты и призвал Аполлония: — Учитель, я допытался, кто мил моей дочери, и она, проливая слезы, все мне поведала и такими словами меня заклинала: «Отец, ты поклялся учителю моему, Аполлонию, что вернешь ему все, что у него похитило бурное море, если он будет выполнять мои желания или помогать моему образованию. Поскольку он покорен твоим велениям и распоряжениям и обучает меня в согласии с моим желанием, но не ищет ни золота, ни серебра, ни одежд, ни рабов, ни

другого какого имущества, кроме царства, которое считает погибшим, выполни свое обещание и мою волю: отдай меня ему в жены!» Однако я не хочу, учитель, чтобы брак с моей дочерью был тебе в тягость! — Аполлоний на это ответил: — Что суждено богом, да сбудется, и, если такова твоя воля, да исполнится она!

23. Царь сказал: — Я без промедления назначу срок бракосочетания. — На следующий день он велел созвать своих друзей и пригласить из соседних городов правителей и всех известных и знатных людей, а когда они собрались, спросил: — Знаете ли вы, друзья, для чего я созвал вас? — Все дружно ответили: — Нет, не знаем. — Тогда Архистрат сказал: — Знайте, что дочь моя желает вступить в брак с Аполлонием Тирским. Я хочу, чтобы всюду было веселье по случаю того, что моя мудрая дочь сочетается с достойнейшим человеком. — Тут же без промедления царь назначает день свадьбы. Что же дальше? День этот настал, собрались веселые и довольные гости. Счастлив царь вместе с дочерью, счастлив и Аполлоний Тирский, удостоенный такой супруги. Брак, по царскому обычаю, справляется с должной пышностью, веселится все государство, ликуют граждане, чужеземцы и гости; повсюду слышны звуки лир и кифар, звучат торжественные песнопения и гимны. Когда же свадебное веселье кончилось, между супругами вспыхнула невиданная страсть, удивительная нежность, несравненное восхищение друг другом и неслыханная радость, соприродные верной и постоянной любви.

24. Шли дни и месяцы, царевна уже полгода полнела. Однажды пришел к ней Аполлоний, и, гуляя вместе по берегу, супруги увидели красивый корабль; оба равно им восхищались, но Аполлоний, кроме того, узнал, что это корабль из его отчизны. Обратившись к кормчему, он спросил: — Скажи мне, будь любезен, откуда ты приплыл? — И тот ответил: — Из Тира. — Аполлоний сказал: — Ты назвал мою родину. — Кормчий спросил: — Ты, значит, тириец? — Аполлоний подтвердил это. — Тогда кормчий попросил его: — Благоволи тогда сказать, знал ли ты правителя этой страны по имени Аполлоний? — Так же хорошо, как самого себя, — ответил юноша. Кормчий не понял истинного смысла его слов и прибавил: — Прошу тебя, если ты когда-нибудь увидишь Аполлония, скажи, чтобы он ликовал и радовался, ибо жестокий царь Антиох, деливший ложе с родной дочерью, сражен небесным огнем; богатство же его и царство сохраняются для царя Аполлония. — Юноша, услышав это, весь преобразился от радости и обратился к супруге с такой речью: — Госпожа, ты теперь удостоверилась в том, в чем поверила некогда потерпевшему кораблекрушение. Я прошу тебя, дорогая супруга, чтобы ты позволила мне отправиться и принять завещанное царство. — Царевна же, как только услышала, что он хочет отправиться в путь, сказала, заливаясь слезами: — Любимый супруг, если бы ты задержался в дальних краях, тебе пришлось бы торопиться к моим родам; неужели же теперь, когда мы вместе, ты намере-

ваешься меня покинуть? Отправимся оба: где бы ты ни был, на суше ли, на море ли, жизнь или смерть да будет нам общим уделом! — С этими словами девушка идет к своему отцу и говорит ему: — Радуйся, милый отец, и ликуй, ибо жестокий царь Антиох, деливший ложе с родной дочерью, поражен богом; богатства же его и царская диадема сохраняются для моего супруга. Прошу тебя, отец, хоть и скорбя душой, позволь мне отправиться с мужем. Чтобы тебе легче было это разрешить, знай: ты отпустишь меня одну, а вернется нас двое.

25. Выслушав ее слова, царь обрадовался и возликовал, велел тотчас же подвести к берегу корабли и наполнить их всем необходимым. Сопровождать царевну Архистрат велел ее няньке, Ликориде, опытной повитухе, которая могла помочь ей при родах. После надлежащих напутствий Архистрат проводил молодых до берега, расцеловал дочь и зятя и пожелал им счастливого плавания. Царь вернулся во дворец, Аполлоний же на кораблях с большим количеством челяди и разного добра при попутном ветре двинулся в путь. Они уже много дней и ночей, подгоняемые ветром, находились в море, и по воле Люцины у них, по прошествии девяти месяцев, родилась дочь. Однако, когда корабли благополучно плыли к дому, у матери внезапно свернулась кровь, прекратилось дыхание, и она скончалась. Среди челяди поднялись страшные вопли и рыдания; прибежал Аполлоний. При виде бездыханной супруги, он ногтями изорвал на себе одежду и вырвал свою первую юношескую бородку, потом, заливаясь слезами, упал на труп и, продолжая горько рыдать, жаловался: — Милая супруга, единственная дочь царя, что с тобой случилось? Как я отвечу за тебя перед отцом, что скажу тому, кто призрел меня, бедняка, потерпевшего кораблекрушение? — Пока он подобным образом изливал свое горе и рыдал все сильнее, пришел кормчий и сказал: — Господин, ты, конечно, поступаешь благочестиво, но труп на корабле везти нельзя. Прикажи бросить его в море, чтобы мы избегли неистовства волн. — Аполлоний, разгневанный его словами, сказал: — Что ты говоришь, негоднейший! Ты хочешь, чтобы я бросил в море тело той... *, кто призрел меня, бедняка, потерпевшего кораблекрушение? — В числе рабов Аполлония были искусные мастера, он призвал их и велел нарезать доски, скрепить их друг с другом, просмолить все трещины и отверстия, сделать большой гроб и залить свинцом щели между досками. Когда гроб был готов, он убирает его царскими украшениями, укладывает в него царевну, а в головах у нее кладет двадцать сестерциев золота. После этого он целует супругу прощальным поцелуем, проливает над ней слезы и велит хорошенько пестовать и кормить малютку, чтобы он имел утешение в своих горестях, а царю вместо дочери мог показать хотя бы внучку.

26. Затем Аполлоний, обливаясь горючими слезами, велит

---

* Текст испорчен.

опустить гроб в море. На третий день волны выбрасывают гроб. Он оказывается у берегов Эфеса близ поместья одного врача; врач в этот день гулял со своими учениками по берегу, увидел выброшенный прибоем гроб и сказал своим слугам: — Поднимите возможно осторожнее этот гроб и отнесите в дом. — Когда это было сделано, он сам поднял крышку и, увидев лежащую в гробу мнимоумершую девушку в царских уборах и очень красивую, воскликнул: — Можно себе представить, сколько слез пролили родители этой девушки! — Когда он заметил, что в головах ее положены деньги, а в ногах исписанные таблички, он добавил: — Посмотрим, чего желает или что поручает этот скорбный дар. — Он распечатал таблички и прочел следующие слова: «Того, кто найдет этот гроб с двадцатью сестерциями золота, прошу десять взять себе, а десять потратить на погребение; эта покойница оставила по себе слезы и горчайшую скорбь. Если же нашедший поступит иначе, чем требует наше горе, пусть умрет последним из своих родных, не оставив после себя никого, кто предал бы его прах земле». Прочитав это, врач сказал слугам: — Пусть для умершей будет сделано все, чего требует горе! Клянусь моей жизнью, я устрою погребение более щедро, чем меня просят! — С этими словами он велит немедленно сложить костер. Пока его со всем тщанием и усердием устраивали, пришел еще один ученик врача, юноша по виду, но старец по уму. Увидев тело прекрасной девушки, которое собирались предать сожжению, он спросил, глядя на своего учителя: — Что это за новая, не известная мне покойница? — Учитель ответил: — Ты пришел кстати, ибо очень мне нужен. Принеси сосуд с благовониями и окажи умершей последнюю почесть — умасти ее тело. — Юноша принес благовония, подошел к ложу девушки, совлек с нее одежду, окропил благовонным маслом и, растирая ее осторожной рукой, почувствовал, что грудь ее скована оцепенением. Юноша был поражен, ибо понял, что смерть девушки — мнимая. Он старается нащупать пульс, следит, раздуваются ли ее ноздри, прикасается устами к ее устам, видит, что слабое дыхание жизни борется с кажущейся смертью, и говорит: — Зажгите вокруг нее четыре факела. — После того как все было исполнено, он начинает осторожно двигать ее сложенные в оцепенении руки и растиранием заставляет уже застывшую кровь снова течь по жилам.

27. Увидев это, юноша бежит к своему учителю и говорит: — Учитель, девушка, которую ты считаешь мертвой, жива. Чтобы ты скорее мне поверил, я восстановлю ее застывшее дыхание. — Взяв с собой людей, он отнес девушку в свою спальню, положил на ложе, раздвинул полог; согрев масло, он окунул туда шерсть и приложил к груди девушки; застывшая от холода кровь благодаря теплу снова стала жидкой, и возобновилось совсем не слышное прежде дыхание. После кровопускания она открыла глаза, впервые за долгое время глубоко вздохнула и сказала очень тихо заплетающимся языком: — Прошу тебя, врач, обойтись со мной

должным образом: я — супруга царя и царская дочь. — Юноша, увидев, что́ сделало искусство и как ошибался его учитель, побежал на радостях звать его. — Приди, учитель, посмотри, чего добился твой ученик! — Учитель вошел в спальню и, увидев живой ту, кого считал умершей, сказал юноше: — Я признаю твое искусство, хвалю умение, дивлюсь твоему усердию. Но выслушай меня: я не хочу, чтобы ты лишился благ, приносимых нашим искусством. Получи свою награду: у этой девушки есть деньги. — С этими словами он дал ученику десять сестерциев золота, больную же велел лечить питательной пищей и тепло укутывать. Спустя несколько дней, узнав, что девушка эта царского рода, он в присутствии своих друзей удочерил ее, и так как она слезно молила, чтобы никто не прикасался к ней, внял ее мольбам и позволил удалиться к жрицам Дианы, которые нерушимо блюли целомудрие.

28. Между тем Аполлоний, в великой скорби продолжавший плавание, по воле божьей достиг Тарса; там он сошел с корабля и отправился к дому Странгвиллиона и Дионисиады. Произнеся обычные приветствия, он рассказал им о своих злоключениях и добавил: — Сколь горьки были слезы по умершей супруге, столь сладостным утешением будет мне оставшееся в живых дитя. Теперь, дорогие друзья, после смерти жены я не хочу ни принять царства, ни вернуться к тестю, чью дочь сгубил во время плавания; мне лучше всего заняться торговлей. Поэтому я вверяю малютку вашим заботам: растите ее вместе со своей дочерью. Полюбите ее вашим добрым и простым сердцем и назовите в честь вашей родины Тарсией. Кроме того, я оставлю на ваше попечение кормилицу моей жены Лукориду и хочу, чтобы она растила и холила девочку. — Сказав так, Аполлоний передал им малютку, а вместе с нею дал серебра, золота, дорогие одеяния и принес клятву не брить бороды и не стричь волос и ногтей до того дня, пока не выдаст дочь замуж. Странгвиллион и Дионисиада, пораженные такой страшной клятвой, поручились своей совестью, что воспитают девочку. И вот Аполлоний, оставив у них дочь, снова взошел на корабль и, выйдя в открытое море, достиг дальних и неизведанных частей Египта.

29. Малютку же, названную Тарсией, когда ей исполнилось пять лет, стали обучать искусствам, подобающим свободной девушке; вместе с нею занималась дочь Странгвиллиона и Дионисиады... * ума, развивали слух, учили изящно говорить и достойно держать себя. Однажды Тарсия, достигшая уже четырнадцати лет, вернулась из школы и застала свою кормилицу пораженной внезапной болезнью; присев возле нее, девушка стала расспрашивать о причинах нездоровья. Кормилица же, приподнявшись с ложа, сказала ей: — Выслушай, госпожа моя, Тарсия, последние слова умирающей старухи; выслушай и сохрани их

* Текст испорчен.

в своем сердце. Скажи мне: кто твой отец и мать и где твое отечество? — Девушка ответила: — Отечество мое — Тарс, отец Странгвиллион, мать Дионисиада. — Кормилица вздохнула и сказала: — Выслушай, госпожа, от меня, каково твое происхождение, чтобы после моей смерти ты знала, как тебе следует поступать. Отечество твое Тир, отца твоего зовут Аполлонием, а мать твоя — дочь царя Архистрата. Как только мать во время благополучного пути домой разрешилась тобою, удушье положило предел ее жизни. Твой отец велел сделать для нее гроб, положил туда царские украшения и двадцать сестерциев золота и опустил ее в море, чтобы там, где ее похоронят, она сама свидетельствовала о себе. Корабли наши, борясь с ветром, привели твоего горюющего отца и тебя, еще в колыбельке, в этот город. Здесь отец поручил тебя заботам своих друзей, Странгвиллиона и Дионисиады, оставил тебе царское платье и дал обет не стричь волос и ногтей, пока ты не выйдешь замуж. Если после моей смерти воспитатели, которых ты называешь родителями, причинят тебе когда-нибудь обиду, поднимись на форум: там ты увидишь статую своего отца Аполлония; прикоснись к ней и воскликни: «Я — дочь того, кто здесь изображен!» Граждане Тарса, помня благодеяния, оказанные им Аполлонием, непременно тебе помогут.

30. Тарсия ответила: — Милая кормилица, клянусь богом, если бы со мной что-нибудь случилось до того, как ты мне это сказала, я бы совершенно ничего не знала о своем происхождении! — Во время этой беседы кормилица на руках у своей воспитанницы испустила дух. Тарсия предала ее тело земле и оплакивала ее целый год. Когда горе ее улеглось, она обрела прежний свой вид, вернулась в школу, к своим обычным занятиям, но никогда не прикасалась к еде, не побывав прежде на могиле и не снеся туда благовоний и цветов. Там она призывала души своих родителей.

31. Так все и шло. Однажды в праздник Дионисиада, гуляя со своей дочерью, которую звали Филомусией, и с Тарсией, оказалась в толпе народа. Увидев красоту и богатые уборы Тарсии, граждане, не исключая и самых уважаемых, приняли ее за чудо и все в один голос твердили: — Счастлив тот, кому Тарсия приходится дочерью! А вот девушка, что идет рядом с нею, ужасно безобразна, сущий урод! — Дионисиада, слыша, как восхваляют Тарсию и поносят ее собственное дитя, обезумела от злости. Сидя как-то одна, она размышляет так: «С тех пор как отец девушки, Аполлоний, покинул Тарс, прошло четырнадцать лет; он за это время не приехал за своей дочерью, ни разу не прислал нам даже письма. Вероятно, он либо умер, либо утонул. Кормилица ее тоже умерла. Никто мне не помеха. Нужно убить ее мечом или ядом; ее уборами я тогда украшу свою дочь». Пока она сама с собою об этом раздумывает, ей докладывают, что пришел их управитель Теофил. Дионисиада зовет его к себе и говорит ему так: — Если ты хочешь получить свободу и награду, убей Тарсию. —

Управитель спрашивает: — А что дурного сделала невинная девочка? — Преступная женщина в ответ: — Ты что же, мне не повинуешься? Делай, что я велю! А не станешь, тебе придется испытать на себе гнев господина и госпожи! — Управитель спросил: — А как можно выполнить твою волю? — И злодейка рассказала ему: — У Тарсии есть привычка — когда она возвращается из школы, то не прикасается к еде, пока не побывает на могиле своей кормилицы. Тебе следует с кинжалом в руке спрятаться там; когда она придет, убей ее и брось труп в море. Как только ты вернешься и скажешь, что исполнил это, ты получишь свободу и деньги. — Управитель взял кинжал, спрятал его на боку и, подняв очи к небу, произнес: — Боже, разве я не достоин получить свободу иначе, как пролив кровь невинной девушки? — С этими словами, вздыхая и проливая слезы, он отправился к могиле кормилицы Тарсии и там притаился. Девушка же, воротясь из школы, по обыкновению наполнила сосуд вином; придя на могилу, она возложила на нее венок и стала призывать души своих родителей; тут управитель напал на нее, схватил сзади за волосы и поверг на землю. Когда он уже готов был пронзить ее кинжалом, Тарсия сказала: — Теофил, что я, невинная девушка, сделала дурного, почему должна умереть от твоей руки? — Управитель на это ответил: — Ты не сделала ничего дурного, но отец твой, Аполлоний, поступил дурно, оставив тебя с большими деньгами и царскими уборами на попечение Странгвиллиона и Дионисиады. — Выслушав это, девушка со слезами стала молить Теофила: — Надежда и утешение мое, Теофил, позволь мне помолиться господу! — И Теофил сказал: — Молись! Богу известно, что не по своей воле я совершаю это злодеяние.

32. Пока Тарсия молилась, неожиданно появились пираты и, увидев управителя, готового заколоть девушку кинжалом, подняли громкий крик: — Стой, варвар, стой, не смей убивать! Это теперь наша добыча, а не твоя жертва! — Управитель, как только услышал голоса, отпустил Тарсию, обратился в бегство и спрятался за надгробный памятник. Пираты между тем направились к берегу, захватили девушку с собой и, покончив со сборами, вышли в море. Переждав некоторое время, управитель оставил свое укрытие и, поняв, что девушка избегла смерти, вознес благодарность богу, уберегшему его от преступления. Вернувшись к Дионисиаде, он сказал: — Твое приказание, госпожа, исполнено. Выполни же теперь свое обещание. — Злодейка в ответ: — Ты совершил убийство и просишь после этого свободы?! Возвращайся в деревню и делай свое дело, не то придется тебе испытать гнев господина и госпожи! — Выслушав ее слова, управитель обратил взор к небу: — Ты знаешь, господи, что я не запятнал себя преступлением. Будь же нам судьей! — С этими словами он отправился к себе в деревню. Между тем Дионисиада, раздумывая о том, как бы скрыть злодеяние, обратилась к своему мужу: — Милый Странгвиллион, — сказала она, — спаси свою супругу,

спаси нашу дочь! Поношения, которыми осыпали Филомусию, довели меня до страшной ярости и исступления; и вот, говоря самой себе — уже больше четырнадцати лет, как Аполлоний оставил нам на попечение свою дочь Тарсию и ни разу не прислал даже письма, он, конечно, уже погиб в бурном море, кормилица девочки умерла, никто мне не помеха — я вдруг задумала убить Тарсию и украсить нашу дочь ее уборами. Знай, что этот замысел выполнен. Теперь оденься в траурную одежду, я сделаю то же самое, и мы с притворным плачем, чтобы удовлетворить любопытство граждан, скажем, что Тарсия внезапно умерла от болезни желудка. Поблизости, в предместье, мы устроим надгробие и скажем, что здесь ее схоронили. — Когда Странгвиллион все это выслушал, им овладели такой ужас и отчаяние, что он воскликнул: — Да, подай мне траурное одеяние, чтобы я оплакал самого себя за то, что мне досталась в супруги такая преступница. Увы мне! Горе! Что мне теперь делать? Как поступить с отцом девушки, который, попав к нам, избавил наше государство от угрозы голодной смерти и покинул его по моему наущению; из-за нас он потерпел кораблекрушение, смотрел в глаза смерти, потерял свое имущество и впал в нищету; когда бог вернул ему благосостояние, он, как человек благочестивый, не отплатил злом за добро и не имел такого намерения; напротив, он предал все зло забвению и помнил только добро, дарил нас доверием и щедро вознаградил; он и нас считал тоже благочестивыми и отдал нам на воспитание свое дитя; он чувствовал к нам такую искреннюю любовь, что по имени нашего государства назвал свою дочь. Увы мне! Я был слеп! Теперь мне остается вместе с невинной девушкой оплакивать и себя самого, связанного со злейшей и ядовитой гадиной, преступной женой! — Обратив глаза к небу, он взмолился: — Боже, ты знаешь, что я не запятнал себя кровью Тарсии, взыщи за нее с Дионисиады и покарай ее! — А потом обратился к жене: — Как же ты, противная богу, собираешься скрыть свое нечестивое злодеяние? — Дионисиада вместе с дочерью надела траурные одежды и, с притворными рыданиями созвав граждан, сказала: — Дорогие сограждане, я призвала вас потому, что мы лишились ясной надежды, плодов своего труда и награды нашей жизни; Тарсия, которую все вы хорошо знаете, доставила нам горчайшие терзания и слезы; мы ее достойно схоронили. — Граждане устремляются к тому месту, где по велению Дионисиады была устроена могила, и в память заслуг и благодеяний Аполлония, отца Тарсии, устанавливают бронзовое надгробие с такой надписью:

«Граждане Тарса деве Тарсии в память благодеяний Аполлония Тирского».

33. Между тем похитители Тарсии прибыли в Митилену. Девушку в числе прочих рабов выставляют на рынке для продажи.

Услыхав об этом, один сводник, человек очень незадачливый, не захотел покупать ни раба, ни рабыни — никого, кроме Тарсии, и стал за нее торговаться. Но и Афинагор, правитель Митилены, видя, что продается девушка знатная, разумная, очень красивая, предложил за нее десять сестерциев золотом. Сводник пожелал заплатить двадцать; тогда Афинагор предложил тридцать, сводник сорок; Афинагор пятьдесят, сводник шестьдесят, Афинагор семьдесят, сводник — восемьдесят; Афинагор предложил девяносто, сводник тут же дал сто и сказал: — Если кто даст больше, я добавлю к этому еще десять сестерциев. — На это Афинагор отвечал: — Если я стану состязаться с ним, мне, чтобы купить ее одну, придется продать многих. Я предпочитаю, чтобы девушка досталась своднику, а когда он выставит ее напоказ, я приду первым и задешево получу цветок ее девственности; для меня это будет все равно, как если бы я сам купил ее. — Что же дальше? Девушка досталась своднику, который отвел ее к себе. В доме у него стояло золотое изображение приапа, изукрашенное драгоценными камнями; указав на него Тарсии, сводник сказал: — Поклонись величайшему моему божеству. — Разве ты уроженец Лампсака? [7] — спросила девушка. На это сводник сказал: — Неужели ты не понимаешь, злосчастная, что попала в дом алчного сводника? — Услышав это, Тарсия задрожала всем телом и, пав к его ногам, взмолилась: — Пожалей меня, господин мой, пощади мою девственность. Молю тебя, не выставляй меня напоказ в столь позорном доме. — Но сводник сказал ей: — Поднимись, злосчастная; ты, видно, не знаешь, что сводники и палачи глухи к рыданиям и просьбам. — С этими словами он позвал к себе слугу, который присматривал за девушками, и отдал ему распоряжение: — Убери получше комнату и напиши такое объявление: «Кто пожелает лишить Тарсию невинности, должен заплатить полфунта золота; после этого она будет доступна любому за один денарий». — Слуга сделал все, как приказал его господин, сводник.

34. На третий день поутру толпа людей с музыкантами потянулась к непотребному дому. Правитель Митилены явился первым и, покрыв голову, вошел в дом. Когда он сел, Тарсия приблизилась, пала ему в ноги и сказала: — Пощади меня! Заклинаю тебя твоей молодостью, не лишай меня невинности в столь позорных обстоятельствах! Сдержи постыдное вожделение, выслушай рассказ о моих бедствиях или хотя бы прими во внимание мое происхождение. — Когда она поведала ему свою историю, правитель смутился, изумился, вспомнил о благочестии и сказал девушке: — Поднимись! Всем ведомы превратности судьбы: ведь все мы люди. У меня у самого есть дочь, девушка; мне следует опасаться такой же участи для нее. — Сказав так, он вынул сорок золотых, подал их Тарсии и сказал: — Вот, госпожа, здесь больше того, во что оценили твою девственность. Веди себя со всеми приходящими так же, как со мной, пока не получишь сво-

боды! — Девушка со слезами на глазах произнесла: — Благодарю тебя и благословляю твое благочестие. — Когда Афинагор вышел, один из спутников спросил его: — Как тебе понравилась новенькая? — Как нельзя больше, прямо до слез! — ответил он, и с этими словами последовал за спрашивающим и остался ждать исхода дела. Пока тот был внутри, Афинагор стоял у дверей, Тарсия, как принято, закрыла дверь; тогда вошедший юноша обратился к ней с вопросом: — Если ты целомудренна, покажи мне, что дал тебе юноша, который только что входил к тебе? — Девушка ответила: — Он дал мне сорок золотых. — Пусть стыдится! Ему, человеку очень богатому, ничего не стоило бы дать тебе целый фунт! Знай, что я добрее, возьми от меня фунт золота. — Афинагор, стоя за дверью, произнес: — Чем больше золота ты дашь, тем больше прольешь слез! — Тарсия между тем пала к ногам второго гостя и сказала... * и поведала и ему о своих злоключениях. Этим она смутила его и отвратила от вожделения. Он, как и Афинагор, сказал ей: — Поднимись, госпожа! Мы тоже люди, подвластные превратностям судьбы. — Девушка проводила и его словами: — Благодарю тебя и благословляю твое благочестие.

35. Выйдя из двери, он увидел улыбающегося Афинагора и сказал: — Ты ловкий человек! У тебя, видно, не было никого, с кем ты мог бы разделить свои слезы. — Обмениваясь взаимными клятвами не выдавать своей тайны, они стали дожидаться возвращения других посетителей. Что же было дальше? Сколько они ни наблюдали, все, кто входил в комнату, держа в руках золото, возвращались в слезах. Когда же ушли последние гости, Тарсия принесла своднику деньги: — Вот тебе плата за мою девственность, — сказала она. И сводник ответил: — Насколько лучше, когда ты весела и не горюешь! Сделай же так, чтобы ты каждый день приносила мне побольше денег! — На другой день Тарсия опять сказала: — Вот плата за мою девственность; я собрала ее просьбами и слезами, а невинность свою продолжаю хранить. — Услышав это, сводник страшно разгневался, призвал своего надсмотрщика за девушками и сказал ему: — Неужели ты так нерадив, что даже не знаешь о том, что Тарсия еще девственна? Если она девушкой приносит такой доход, то сколько же она принесет, будучи женщиной? Уведи ее к себе и сам лиши невинности! — Надсмотрщик тотчас же увел Тарсию в свою спальню и спросил: — Скажи мне, ты и вправду до сих пор целомудренна? — Девушка ответила: — Пока это угодно богу, я невинна. — Каким же образом ты собрала тогда за два дня столько денег? — Слезами, — сказала она, — и тем, что я всем до одного рассказывала свою историю. Все они жалели меня и щадили мою девственность. — С этими словами она пала к его ногам и воскликнула: — Пожалей меня, господин, помоги попавшей в неволю царской

* Текст испорчен.

дочери! — Когда она поведала надсмотрщику обо всех своих злоключениях, он, проникнувшись состраданием к ней, сказал: — Сводник чрезмерно алчен. Не знаю, удастся ли тебе и дальше оставаться целомудренной.

36. Тарсия ответила: — Мне придет на помощь мое искусство: я хорошо образованна и умею играть разные напевы на лире. Вели завтра в каком-нибудь многолюдном месте поставить скамьи; мое красноречие созовет зрителей, а затем я возьмусь за плектр и своей игрой буду каждый день собирать деньги. — Надсмотрщик поступил, как она сказала; а граждане так полюбили Тарсию, так восхищались ею, что мужчины и женщины каждый день приносили ей по многу денег. Правитель же Афинагор сам теперь оберегал, как единственную дочь, девушку, замечательную своим целомудрием и благородством; он дал надсмотрщику много золота и поручил Тарсию его попечению.

37. Пока в Митилене происходили такие события, Аполлоний после четырнадцатилетнего отсутствия возвратился в Тарс и направился к дому Странгвиллиона и Дионисиады. Странгвиллион завидел его издали и поспешил к жене со словами: — Ты была уверена, что Аполлоний погиб при кораблекрушении, а он между тем здесь — вернулся за своей дочерью. Что мы теперь скажем отцу о дочери, которой мы были приемными родителями? — Преступная жена, выслушав его речь, задрожала всем телом и взмолилась: — Пощади меня, супруг! Признаюсь тебе: из любви к своей дочери я погубила чужую. Теперь надевай траурное одеяние, давай лить притворные слезы и скажем Аполлонию, что Тарсия умерла от внезапной болезни желудка. Видя нас в трауре, он этому поверит. — Пока они так разговаривали, Аполлоний вошел в дом Странгвиллиона, отбросил волосы, скрывавшие его лицо, и разгладил косматую бороду. Увидев супругов в траурной одежде, он обратился к ним так: — Верные мои друзья! Если вы сохранили в памяти мое имя, почему при моем появлении вы проливаете горькие слезы? Или, может быть, это не ваши, а мои собственные слезы застилают мне глаза? — Злодейка ответила с рыданием: — О, пусть бы кто-нибудь другой, а не я и не супруг мой донес до твоего слуха печальное известие! Знай, что твоя дочь Тарсия скончалась из-за внезапной болезни желудка. — Аполлоний, едва это услышал, задрожал всем телом, страшно побледнел и надолго погрузился в скорбное оцепенение. Придя в себя, он спросил Дионисиаду: — Дочь моя умерла недавно: что же, деньги, украшения и одежды тоже погибли?

38. Тогда преступница, по уговору с мужем, принесла все и отдала ему со словами: — Верь нам, если бы была на то воля судьбы, мы вернули бы тебе и дочь, как возвращаем имущество. Знай, что мы не лжем; всему этому свидетели наши сограждане; помня твои благодеяния, они воздвигли твоей дочери бронзовый памятник, который ты можешь увидеть и поклониться ему. — Аполлоний поверил, что Тарсия действительно умерла, и при-

казал рабам: — Возьмите все это и снесите на корабль, я же отправлюсь на могилу моей дочери. — Прибыв туда, он прочел надпись:

«Граждане Тарса воздвигли этот бронзовый памятник Тарсии, дочери царя Аполлония, в благодарность за благодеяния ее отца».

Прочитав надпись, Аполлоний словно окаменел от горя. Пораженный тем, что не может плакать, он стал клясть свои глаза: — О жестокие, как вы можете читать надпись на могиле моей дочери и оставаться сухими?! О я, злосчастный! Мне кажется, что дочь моя жива! — С этими словами он вернулся на корабль и стал уговаривать своих рабов: — Бросьте меня в трюм; я хочу в море испустить дух, которому на земле не суждено было насладиться жизнью.

39. И вот Аполлоний укрылся в трюме, якорь был поднят, и корабль вышел в открытое море, направляясь в Тир. Попутный ветер благоприятствовал плаванию; но внезапно погода меняется, корабль швыряет из стороны в сторону. Все, кто был на корабле, единодушно обратили к богу свои молитвы и с его помощью достигли Митилены. В городе в это время праздновали Нептуналии. Аполлоний, когда узнал об этом, горько вздохнул и воскликнул: — Все, кроме меня, радуются празднику. Не подобает и мне предстать в трауре и не проявить щедрости; рабы мои и так уже достаточно наказаны тем, что судьба дала им в хозяева такого несчастливца, как я! — Сказав это, он призвал своего казначея и отдал распоряжение: — Раздай рабам десять золотых, пусть они пойдут купят, чего им захочется, и радуются празднику. Только меня я запрещаю звать; если кто-нибудь из вас ослушается, я велю переломать ему ноги. — И вот люди Аполлония наслаждались пиршеством более пышным, чем на прочих кораблях; в это время Афинагор, правитель Митилены, который любил Тарсию, гулял по берегу, наблюдая за празднеством на кораблях. Он уже обратил внимание на некоторые, как вдруг его взор привлек корабль Аполлония, превосходивший все остальные красотой и оснасткой. Афинагор приблизился и остановился в восхищении. Моряки и рабы Аполлония приветствовали его словами: — Мы приглашаем тебя к себе, если ты сочтешь нас достойными, славный правитель. — В ответ на это Афинагор в сопровождении пяти рабов поднялся на корабль. Когда он увидел, что все уже приступили к пирушке, он тоже возлег с ними, дал им в дар десять золотых, которые положил на стол со словами: — Вот вам, чтобы не вышло, что вы пригласили меня даром. — Благодарим тебя за щедрость, — ответили все в один голос. Афинагор же, видя, что все пируют на равной ноге и за столом явно нет старшего, спросил: — Все вы так свободно веселитесь, а кто же хозяин этого корабля? — Кормчий сказал: — Хозяин этого корабля в большом горе и лежит в трюме в полной тьме; он оплакивает

свою супругу и дочь. — Выслушав этот ответ, Афинагор опечалился и сказал кормчему: — Я дам тебе два золотых, если ты спустишься к нему и передашь мои слова: «Афинагор, правитель этого государства, просит тебя покинуть свое мрачное убежище и выйти к нему на свет». — Юноша ответил: — Если бы я мог за два золотых купить себе две пары ног! Зачем ты из всех нас именно меня избрал для такого поручения? Выбери кого-нибудь другого, кто согласился бы пойти, ибо господин приказал переломать ноги тому, кто его позовет. — Афинагор сказал: — Это приказание — закон для вас, но не для меня, кого ваш господин не знает. Я сам спущусь к нему. Скажите только, как его зовут. — И рабы ответили: — Аполлоний.

40. Услышав это имя, Афинагор сказал себе: — По словам Тарсии, ее отца тоже звали Аполлонием. — Афинагору указали дорогу, и он спустился к Аполлонию; увидев, что тот лежит во тьме с косматой бородой, всклокоченными и немытыми волосами, Афинагор тихо сказал: — Здравствуй, Аполлоний. — Думая, что кто-то из людей ослушался его приказа, Аполлоний поднял исполненное гневом лицо, но, увидев перед собой незнакомого человека, притом благородного и одетого красиво и богато, в молчании скрыл свой гнев. Тогда Афинагор, правитель Митилены, обратился к нему: — Я знаю, ты удивлен, что я называю тебя по имени. Знай, что я правитель этого государства. — Не получив от Аполлония никакого ответа, он продолжал: — Я спустился к берегу посмотреть на суда и среди всех кораблей заметил твой, красивый и хорошо оснащенный; когда я проходил, твои люди пригласили меня на корабль. Я пришел и с удовольствием принял участие в их пиршестве, во время которого спросил о владельце корабля. Моряки рассказали, что ты в глубокой скорби. Теперь я и сам это вижу. Но исполни просьбу, с которой я пришел к тебе, выйди теперь из мрака на свет и хоть немного побудь с нами на пиру. Я надеюсь, что бог после столь великого горя дарует тебе еще большее счастье. — Но Аполлоний, истомленный скорбью, поднял голову и сказал: — Кто бы ты ни был, незнакомец, возляг и пируй с моими и с твоими людьми. Я же настолько измучен своими несчастиями, что мне не хочется не только пировать, но и жить. — Смущенный Афинагор ушел из трюма, вернулся на палубу, возлег за столом и сказал: — Я не смог уговорить вашего господина выйти на свет. Что же еще можно сделать, чтобы отвратить его от намерения умереть? Мне пришла хорошая мысль; беги-ка, мальчик, к своднику и скажи, чтобы прислал ко мне Тарсию. — Когда раб пришел и передал это поручение, сводник не посмел ослушаться; хоть и нехотя, против воли, он отпустил Тарсию. Когда Афинагор увидел, что девушка приблизилась к кораблю, он обратился к ней с такой речью: — Иди, госпожа, сюда; здесь есть нужда в твоем искусстве; утешь владельца этого корабля и этих людей; убеди сидящего во тьме выслушать утешения; уговори оплакивающего супругу и дочь выйти на свет. Это

поистине дело благочестия, за которое господь дарит людей своими милостями [8]. Ступай же к этому человеку и убеди его выйти. Может быть, богу угодно, чтобы он благодаря нам остался в живых. Если ты сумеешь это сделать, я через тридцать дней выкуплю тебя у сводника, чтобы ты могла всецело предаться соблюдению данного тобой обета целомудрия, и дам тебе, кроме того, десять сестерциев золота. — Выслушав эти слова, девушка тотчас спустилась в трюм к Аполлонию и тихим голосом приветствовала его: — Здравствуй, кто бы ты ни был, и радуйся! Ибо утешить тебя пришла не порочная женщина, а целомудренная девушка, которая среди тяжких испытаний хранит свою невинность и чистоту.

41. Проговорив это, она приятным голосом стала петь:

Вечно по грязи хожу, но ее словно вовсе не вижу,
Розе подобна в шипах, что в неведенье колет шипами.
Силой пираты меня увезли, угрожая оружьем,
Продали своднику, я же и здесь чистоту сохраняю.
Только не ведать бы мне по отцу и по матери скорби!
Лишь одного я хочу: чтобы знал мой отец, где я ныне.
Царского рода дитя, порожденье я предков знатнейших,
Ныне в презренье живу, веселюсь по чужому приказу.
Ты ж свои слезы сдержи, горькой скорби предел полагая,
Взор свой и дух обрати к небесам и сверкающим звездам!
Внемлет молитве господь, всего сущего мудрый создатель,
Скорби великой твоей не позволит он тщетной остаться!

При этих словах Аполлоний поднял голову, взглянул на Тарсию, застонал и воскликнул: — Горе мне, несчастному! Зачем я нарушаю благочестие и так долго предаюсь скорби! — Потом он приподнялся, сел и сказал, обращаясь к девушке: — Я благодарен тебе за твой разум и благородство. А за желание меня утешить я тебя вознагражу... * когда-нибудь, если ко мне вернется радость, и я вновь верну себе царство, а тебя, раз ты говоришь, что ты из царского дома, верну, может быть, твоим родителям. Теперь же возьми вот эти двести золотых и радуйся, как радовалась бы, если бы вывела меня из тьмы. Иди с миром и, прошу, не призывай меня больше, ибо ты лишь вновь воскрешаешь мою неутихшую боль. — Взяв деньги, Тарсия покинула его убежище. Афинагор остановил ее: — Куда ты идешь, Тарсия? Ты, значит, ничего не добилась? Неужели никак невозможно выразить сострадание и помочь человеку, который так убивается? — Девушка ответила ему: — Я сделала все, что могла. Но он дал мне двести золотых и просил уйти, уверяя, что, видя меня, еще горше страдает и терзается. — Я дам тебе четыреста золотых, только пойди к нему еще раз, — сказал Афинагор, — верни ему золото, которое он подарил тебе, и уговори его выйти на свет. Скажи: «Я хочу не денег, а твоего спасения». — Тарсия вновь спустилась в трюм

* Текст испорчен.

и сказала Аполлонию: — Если ты решил не покидать этого убежища, то вместо огромных денег, которыми ты меня одарил, позволь мне остаться с тобой и поговорить здесь, во мраке. Если ты разгадаешь мои загадки, я спокойно удалюсь, а иначе верну твое золото и уйду прочь. — Аполлоний, не желая, чтобы она возвратила деньги, и в то же время стремясь еще послушать речи разумной девушки, сказал: — Хотя мне в моем горе ничего не нужно, кроме слез и стенаний, спроси меня, что ты хотела (только не уговаривай меня радоваться), а затем уходи. Дай мне, молю, предаться моей скорби.

42. И Тарсия сказала:

Храмина есть на земле, что исполнена звуков прекрасных;
Храмина вечно звучит, но безмолвствует вечно хозяин.
Оба в движенье бессменном, хозяин и храмина эта.

Если, как ты уверяешь, ты царь своей родины, разреши мою загадку (ибо царю подобает быть мудрее всех). — Поразмыслив, Аполлоний сказал: — Знай, что я не солгал: храмина на земле, исполненная звуков, — это море, безмолвный хозяин этой храмины — рыба, которая движется с морем вместе. — Тарсия восхищается этим объяснением, понимает, что перед нею настоящий царь, и задает ему еще более трудную загадку:

Нежная брега подруга, соседствуя с морем извечно,
Сладостно Музам пою, а опустят искусной рукою
В черную краску меня, стану речи я вестницей верной.

Аполлоний сказал: — Нежная подруга бога *, которая воссылает к небесам свои песни, — это всегдашняя соседка берегов, тростинка, ибо ее место вблизи вод. Если ее опустить в черную краску, она становится вестницей речи (из нее рождается то, что ею передается) [9].

Девушка задает Аполлонию новую загадку:

Леса прекрасного дочь, высока я, стройна и подвижна,
Спутников многих несу на себе, и легко я, и быстро
Много путей пробегаю, следов за собой не оставив.

Вновь подумав, Аполлоний сказал девушке: — О, если б я мог забыть свое горе, я научил бы тебя тому, чего ты не знаешь! Но отвечу на твой вопрос (я удивляюсь, как ты в столь молодом возрасте обладаешь такой мудростью!): длинное дерево — это ладья, дочь прекрасного леса; легко и быстро несется она, наполненная людьми, пробегает много путей, никогда не оставляя за собой следа.

---

* Текст испорчен: в загадке и в ответе разные чтения.

43. Тарсия, вдохновленная мудростью его ответов, продолжает:

Сильный огонь, но безвредный гуляет по этим покоям,
Все объято огнем, но ничто от него не сгорает:
Голы покои совсем, и гость обнаженный в них входит.

— Если б я в силах был забыть свое горе, — сказал Аполлоний, — я бы невредимым вступил в это пламя; ведь я вошел бы в баню, где по трубам всюду поднимается огонь. Покои голы, ибо нет в них ничего, кроме скамей; гость снимает одежду и входит туда обнаженным.

И снова сказала ему девушка:

Выкован я из железа; двойным острием необорным
С ветром могучим в борьбу я отважно вступаю и с морем,
В сердце его погружаюсь и в дно я вгрызаюсь пучины.

Аполлоний ответил:

— То, что удерживает тебя на этой ладье, — якорь с двойным железным острием; он вступает в борьбу с ветром и морскими волнами, погружается в пучину вод и накрепко вгрызается в дно.

И снова Тарсия задает загадку:

Я от природы легка, только влаги избыток безмерный
Тело мое отягчает; предельно наполнено влагой,
Чрево разбухло мое, но не хочет та влага излиться.

Аполлоний сказал: — Раз ты легка, значит ты губка, ты разбухаешь до предела, когда твои поры пропитаны водой, которая сама собою не выливается.

Девушка затем загадала ему вот что:

Мне украшеньем не служит убор из волос шелковистых,
Только внутри они есть, хотя ты и не можешь их видеть.
В воздух шлют руки меня, возвращаюсь я в руки обратно.

— Эта вещь, — сказал Аполлоний, — после того как я потерпел кораблекрушение, указала мне в Пентаполитане путь к сердцу царя. Это — мяч; его не украшают волосы, но он и не лишен их, ибо внутри набит волосами. Когда его руками посылают ввысь, он возвращается в руки.

И снова сказала девушка:

Образа четкого я своего лишено и чужого,
Блеск сохраняю в себе и лучистое света сиянье,
Взору являю я то, что во мне отразилося ране.

— Своего образа не хранит зеркало, — сказал Аполлоний, — так как оно меняется в зависимости от того, что видит. Не хранит оно и чужого образа, ибо отражает всякий раз то, что находится против него.

Опять Тарсия загадывает загадку:

Брата четыре равны; соревнуясь как будто друг с другом,
Ровно и чинно бегут, и от века их труд неразделен.
Близко один от другого, коснуться ж друг друга не могут.

Аполлоний сказал девушке: — Четыре одинаковых по виду брата — это колеса, которые бегут чинно, словно соревнуясь друг с другом; они всегда равны друг другу, но ни одно не может коснуться другого.

Девушка, выслушав ответ, сказала:

Мы поднимаемся ввысь, в небеса устремляемся дружно;
Строй наш искусно измыслен, и всякий, кто хочет подняться,
С нашей помощью только сумеет достигнуть вершины.

В ответ на эту загадку Аполлоний сказал ей так: — Молю тебя богом, не призывай меня больше к веселью, дабы не казалось, что я глумлюсь над своими умершими. Это — ступени лестницы; они стремятся ввысь и, совершенно равные по положению, соединены общим строем; всякий, кто хочет подняться, достигает высот с их помощью.

44. К этим словам он добавил: — Вот тебе еще сто золотых, оставь меня, чтобы я мог оплакивать моих умерших. Однако девушка, сокрушаясь, что человек такого ума просит себе смерти, положила золото ему за пазуху и, коснувшись его траурного одеяния, попыталась повлечь за собою к свету. А он оттолкнул ее так, что она рухнула на пол. А как только она упала, у нее пошла из носу кровь, и девушка, сидя на полу, стала плакать и горько сетовать: — О всемогущие небеса, зачем вы допускаете, чтобы я, невинная, с самой колыбели была обречена на такие муки! Родилась я на море, в сильную бурю, когда мы уже благополучно возвращались, мать моя умерла от того, что у нее свернулась кровь, и тело ее не было даже предано земле. Убранная отцом моим в царские уборы, она была положена в гроб с двадцатью сестерциями золота и отдана во власть Нептуна. Я была еще в колыбели, когда мой отец вверил меня попечениям нечестивого Странгвиллиона и его жены Дионисиады, оставив мне царские украшения и одежды, из-за которых я чуть не погибла, ибо ничтожному рабу по имени Теофил было приказано меня убить; когда он уже был готов заколоть меня, я упросила его позволить мне помолиться богу. И пока я молилась, появились пираты, силой увели меня и привезли в эту провинцию. Здесь я была продана нечестивейшему своднику.

45. Девушка, вся в слезах, еще говорила все это, когда Аполлоний бросился ей в объятья и, плача от радости, воскликнул: — Ты дочь моя Тарсия, моя единственная надежда, свет моих очей. Это тебя вместе с твоей матерью я оплакиваю уже долгих четырнадцать лет. Теперь я умру с радостью, ибо для меня воскресла надежда. — И еще он сказал: — Да сгинет это государство! — Когда эти слова услыхал правитель Митилены Афинагор, он во

всех общественных местах, на форуме и в курии, велел кликнуть клич: — Собирайтесь все горожане и все знатные мужи, дабы государство наше не погибло!

46. И вот все сбежались на сходку, и в народе было такое волнение, что никто — ни один муж и ни одна женщина — не остались дома. Когда все собрались, Афинагор сказал: — Граждане Митилены! Вы знаете, что к нам приехал Аполлоний, царь Тирский. Теперь на нас идет большой флот с множеством воинов, чтобы стереть наше государство с лица земли [10] из-за одного нечестивого сводника, который купил дочь Аполлония, Тарсию, и выставил ее напоказ в своем доме. Дабы спаслось государство и не погибли все мы, пусть Аполлоний придет и покарает одного нечестивца. — Народ выслушал это предложение благосклонно; сводника тотчас схватили и со связанными за спиной руками привели на форум. Здесь устроили возвышение; с Аполлония сняли траурное одеяние, облекли его в царские одежды, возложили диадему на остриженную теперь голову, и он вместе с Тарсией поднялся на возвышение. Держа дочь в своих объятьях, он на глазах народа... * сделал рукой знак, чтобы толпа замолчала. Когда наступила полная тишина, Афинагор сказал: — Граждане Митилены, которых благочестие неожиданно собрало воедино; вы видите, что нашелся отец той самой Тарсии, которую алчный сводник вплоть до сегодняшнего дня подвергал унижениям, чтобы обирать нас, но благодаря вашему благородству она сохранила девственность. Чтобы отец ее чувствовал к вам большую благодарность за ваше благородное поведение, определите наказание своднику. — И все единодушно стали кричать: — Пусть будет сожжен заживо, а все его имущество отдано девушке. — Сводник был немедленно казнен, а надсмотрщик со всеми девушками и все богатства были отданы Тарсии. Девушка обратилась к управителю: — Я дарую тебе жизнь... ** двести талантов золота и свободу. — Девушкам же, которые собрались и предстали перед ней, она сказала так: — Я дарю каждой из вас те деньги, которые она заработала своей красотой и отдала этому нечестивцу, а за то, что вы делили со мной рабскую долю, вместе со мной получайте теперь свободу!

47. После этих слов дочери поднялся сам Аполлоний Тирский: — Достойнейшие и благочестивейшие граждане, — сказал он, — приношу вам величайшую благодарность за честность, которая порождает добродетель, мир и благополучие в государстве и доставляет ему славу. Благодаря вам раскрылось, что смерть моей дочери — обман и скорбь по ней напрасна, благодаря вам девственность не сдалась ни в каких испытаниях, благодаря вам единственная дочь вновь возвращена в отцовские объятия. За столь великие заслуги я дарую вашему государству сто золотых талантов на восстановление городских стен. — При этих словах

* Текст испорчен.

** Текст испорчен.

он велел сразу же передать гражданам золото. А они, приняв этот дар, отлили статую...* Аполлоний стоял, обнимая правой рукой дочь, и попирал ногами голову сводника. Надпись же гласила:

«Аполлонию, восстановившему наши стены, и Тарсии, среди тягчайших испытаний целомудренно сохранившей девственность, в знак глубокой любви на вечные времена поставил этот памятник народ Митилены».

Что же было дальше? Немного времени спустя Аполлоний на радость всему городу, с великими почестями отдал дочь в жены правителю Афинагору.

48. После этого он вместе с зятем, дочерью и всеми своими людьми отплыл из Митилены, намереваясь держать путь к себе на родину через Тарс. Однажды во сне ему явилось некое ангелоподобное существо. — Аполлоний, — произнесло это существо, — вели своему кормчему плыть к Эфесу; когда достигнешь этого города, войди вместе с дочерью и зятем в храм Дианы и поведай там по порядку все злоключения, какие ты перенес начиная с юности. Когда же попадешь после этого в Тарс, отомсти за свою невинную дочь. — Проснувшись, Аполлоний будит дочь и зятя и рассказывает им свой сон. Они советуют: — Поступи, владыка, как тебе приказано! — Тогда Аполлоний велит кормчему держать путь в Эфес, куда они и прибывают совершенно благополучно. Сойдя с корабля, Аполлоний вместе с детьми отправляется в тот самый храм Дианы, где первой среди жриц богини была его супруга; она выделялась красивой наружностью и величайшим целомудрием, так что была богине милее всех остальных. Вступив в храм, Аполлоний просит допустить его в святилище, дабы он мог перед статуей Дианы рассказать обо всех своих несчастьях. Его супруге, старшей среди жриц, сообщают, что пришел неизвестный царь с зятем и дочерью, принес богатые дары и желает рассказать о себе перед лицом богини. Услышав, что пришел царь, жрица облеклась в царские одежды, убрала голову драгоценными камнями и в пурпурном одеянии, сопровождаемая толпой прислужниц, вошла в храм. При ее появлении Аполлоний вместе с дочерью и зятем пали к ее ногам: такое сиянье излучала ее красота, что они приняли ее за богиню Диану. Между тем святилище открыли, Аполлоний принес богине свои дары и со слезами стал говорить перед ее статуей: — Я царского рода и смолоду достиг совершенства во всех науках, какими занимаются люди благородного происхождения и цари; я сумел разгадать загадку жестокого царя Антиоха, за что должен был получить в жены его дочь. Однако Антиох, находясь в позорном союзе с тою, кому он приходился отцом, — нечестивец сделался ее супругом, — задумал меня убить. Я бежал от него, потерпел кораблекрушение и скитался, пока царь Кирены Архи-

* Текст испорчен.

страт не принял меня к себе в дом и не удостоил отдать мне в жены свою дочь. Когда я собрался в путь, чтобы воцариться у себя на родине, супруга пожелала отправиться вместе со мной и в пути родила вот эту малютку; ее, великая богиня Диана, ты устами ангела, явившегося мне во сне, велела привести пред твои очи. Супруга моя, произведя на свет дочь, сразу же испустила дух. Я воздал ей приличествующие царскому достоинству почести и вместе с ее телом положил в гроб двадцать сестерциев золота: если бы тело нашли, это должно было послужить доказательством, что ее следует достойным образом похоронить. Дочь свою я вверил заботам негоднейших людей — Странгвиллиона и Дионисиады, а сам четырнадцать лет провел в Египте, усердно оплакивая супругу; затем я вернулся, чтобы получить свое дитя обратно, но мне сказали, что дочь моя умерла. И вот, когда меня охватила еще более глубокая скорбь по жене и дочери и я жаждал только смерти, ты, богиня, вновь даровала мне жизнь.

49. Аполлоний еще не кончил своего рассказа, как жена его громко воскликнула: — Я — твоя супруга, дочь царя Архистрата! — С этими словами она бросилась к нему в объятья, продолжая говорить: — Ты — мой супруг Аполлоний Тирский, ты учитель, который опытной рукой меня наставлял, тебе отец отдал меня в жены, ты — тот, в ком я полюбила не только возлюбленного, но и наставника мудрости. А где же моя дочь? — Тут Аполлоний указал ей на Тарсию. — Вот это — твоя дочь! — По всему Эфесу разносится весть о том, что Аполлоний, царь Тира, в служительнице Дианы узнал свою супругу, которая была в их городе жрицей. И весь город охватила великая радость: улицы убирают цветами, всюду звучит музыка и пируют граждане — весь город полон ликования. Первая жрица назначает вместо себя ту, кто была второй за нею и особенно ей мила. Провожаемая радостью, слезами и горестными сетованиями всех эфесцев на то, что покидает их, она прощается и вместе с супругом, дочерью и зятем вступает на корабль.

50. Вместо себя Аполлоний делает здесь * царем своего зятя Афинагора, а затем в сопровождении семьи и войска отправляется в Тарс. Тут он сразу же велит схватить Странгвиллиона и Дионисиаду и привести их на форум, где находилось судилище. Когда оба были приведены, Аполлоний обратился к народу: — Благословенные граждане Тарса! Разве Аполлоний Тирский выказал себя по отношению к кому-нибудь из вас неблагодарным? — И все единодушно воскликнули: — Мы тебя назвали и всегда будем называть нашим царем и отцом отечества: мы жаждали и жаждем отдать жизнь за тебя, чья щедрость избавила нас от угрозы голодной смерти. Об этом свидетельствует и поставленная нами тебе статуя, где ты изображен на колеснице. — Тогда Аполлоний сказал: — Я отдал на попечение Странг-

* Неясно, где происходит этот эпизод: по-видимому, в тексте пропуск.

виллиона и его жены Дионисиады свою дочь, а теперь они не желают ее мне вернуть. — Странгвиллион воскликнул: — Клянусь процветанием твоего царства, потому лишь, что она исполнила определенный ей судьбой срок. — Тогда сказал Аполлоний: — Посмотрите, граждане Тарса, какова их злонамеренность: они не довольствуются совершенным человекоубийством, они еще вероломно клянутся благополучием моего царства! Сейчас я все вам объясню и представлю, какие вы потребуете, доказательства. — Выведя вперед дочь, он громко сказал, обращаясь к народу: — Вот перед вами моя дочь Тарсия! — Злодейка и преступница Дионисиада, увидев девушку, задрожала всем телом. Толпа застыла в изумлении. Тарсия же велела привести к себе управителя Теофила и, когда его привели, сказала ему: — Теофил, если ты хочешь избежать заслуженных тобою пыток, сохранить жизнь и получить от меня прощение, скажи во всеуслышание, кто велел меня убить. — Теофил сказал: — Моя госпожа Дионисиада. — Когда он подтвердил это и признался во всем, а также сказал и об истинной причине преступления, все граждане пришли в страшное волнение; они схватили Странгвиллиона с Дионисиадой и, выведя за пределы города, побили камнями, а потом бросили в поле на съедение диким зверям и птицам, чтобы и тела их не были преданы земле. Они хотели убить и Теофила, но по просьбе Тарсии пощадили его. Девушка сказала так: — Благочестивейшие граждане, если бы он в свое время не позволил мне помолиться богу, меня не спасло бы и ваше расположение. — С этим она дала ему свободу и наградила его.

51. Итак, Аполлоний на радость всему народу дал тарсийцам богатые дары и обновил много общественных построек: бани, стены и башни; за этими делами он провел в Тарсе со своей семьей пятнадцать дней. Затем они простились с гражданами и отправились морем в Пентаполь Киренский, которого достигли благополучно. Здесь Аполлоний пришел к своему тестю царю Архистрату; старый царь увидел своих детей и внучку с мужем, обнял их всех, расцеловал зятя и дочь и с ними вместе провел счастливо целый год. Потом, когда пришел его срок, он умер у них на руках, оставив половину своего царства Аполлонию, а половину — дочери.

Однажды, освободившись от дел, Аполлоний гулял у моря и увидел того самого рыбака, который некогда принял его после кораблекрушения к себе в дом и отдал ему половину плаща. Царь приказал слугам привести старика во дворец. Рыбак, когда его повели во дворец, решил, что ему грозит смерть. Но когда он вошел в покой, где Аполлоний Тирский восседал на троне вместе с супругой, царь велел ему приблизиться и сказал царице: — Владычица царица и верная супруга! Перед тобою — мой друг: это он дал мне средства и указал путь, которым я пришел к тебе! — И, обращаясь к рыбаку, прибавил: — Добрейший старик, я Аполлоний Тирский, которому ты некогда отдал половину

своего плаща. — И дал ему двести сестерциев золота, слуг, служанок, одежды, вволю серебра и взял его в свою свиту. Гелленик же, который открыл Аполлонию злой умысел Антиоха и не хотел взять награды, разыскал царя сам, пал перед ним ниц и сказал: — Владыка царь, вспомни раба своего Гелленика! — Аполлоний взял его за руку, поднял, поцеловался с ним, а потом взял и его в свою свиту и подарил ему большое богатство. После всего этого он родил от супруги сына, которому отдал царство его деда, Архистрата. Сам он вместе с супругой прожил семьдесят четыре года и был царем Антиохии и Тира. И прожили они жизнь мирную и счастливую, а когда прошел срок, какой мы выше назвали, оба глубокими стариками почили в мире.

Конец повести об Аполлонии Тирском.

«ЛУКИЙ, ИЛИ ОСЕЛ»

1. Случилось мне когда-то отправиться в Фессалию; у меня было там дело по поручению отца к одному местному человеку; я поехал в тележке с вещами в сопровождении одного слуги. Ехал я проезжей дорогой; и попались мне путники, направлявшиеся туда же, в фессалийский город Гипату (сами они были оттуда); и вот, разделяя между собой хлеб-соль, мы таким образом одолели трудный путь и были уже близко от города, когда я спросил фессалийцев, не знают ли они жителя Гипаты по имени Гиппарх, — я вез ему письмо из дому с тем, чтобы остановиться у него. Они сказали, что знают и этого Гиппарха, и в каком месте города он живет, и что денег у него довольно, но что он содержит одну служанку и свою жену, — и только, потому что он страшно скуп. И когда мы приблизились к городу, они показали какой-то сад и в нем приличный домик; здесь и жил Гиппарх.

2. Спутники мои, распрощавшись со мной, уехали, а я, подойдя к двери, стучу; не скоро и с трудом, но все же услыхала меня женщина и наконец вышла. Я спросил, дома ли Гиппарх. — Дома, — говорит, — но кто ты и что тебе нужно? — Я приехал к нему с письмом от Декриана, патрейского [1] софиста. — Подожди меня здесь, — сказала она и ушла обратно в дом, заперев дверь,

и наконец, снова выйдя, велит нам войти; и я, пройдя в дом, приветствую Гиппарха и вручаю ему письмо. Он собирался ужинать и лежал на узком небольшом ложе, жена его сидела рядом, а на столе перед ними ничего не стояло. Прочтя письмо, Гиппарх сказал: — Ну, мой любимый и замечательнейший из греков Декриан прекрасно делает, смело посылая ко мне своих друзей. Мой домик, ты видишь, Лукий, как он мал, но он радушен к обитающему в нем; ты же сделаешь его великим домом, если удостоишь поселиться в нем. — И он зовет девушку: — Палестра, приготовь комнату приятелю моему для ночлега и сложи в нее вещи, какие он привез, а потом проведи его в баню; ведь он проделал немалый путь.

3. Когда он это сказал, служаночка Палестра ведет меня и показывает прекрасную комнатку и говорит: — Ты будешь спать на этом ложе, а слуге твоему я поставлю лежанку тут же и положу подушку. — Когда она это сказала, мы отправились мыться, дав ей денег на ячмень для лошади, а она внесла наши вещи и поставила их в комнате. Мы же, вымывшись, возвратились обратно и прямо прошли в столовую, и Гиппарх, взяв меня за руку, велел мне лечь с ним рядом за столом. Ужин был не очень плох, а вино вкусное и старое. Когда мы отужинали, мы остались пить и беседовать, как это обычно при угощении гостя после ужина, и, таким образом, отдав этот вечер вину, мы улеглись спать. На следующий день Гиппарх спросил меня, какой путь мне теперь предстоит и проведу ли я все дни у него. — Я поеду в Лариссу, — ответил я, — но, вероятно, пробуду здесь от трех до пяти дней.

4. Но это была отговорка; мне сильно хотелось, задержавшись здесь, разыскать какую-нибудь женщину, умеющую колдовать, и увидеть что-нибудь сверхъестественное, вроде летающего человека или человека, обращенного в камень [2]. И, повинуясь этому желанию, я бродил по городу, не зная, как начать поиски, но все же бродил. И вот, вижу, навстречу идет женщина, еще молодая, богатая, насколько можно судить по внешности: цветное платье, толпа слуг и много золота. Когда же я оказываюсь ближе, женщина обращается ко мне с приветом, и я отвечаю ей тем же. — Я Аброя, — говорит она, — ты должен меня знать, если слышал вообще о подруге своей матери. И вас, рожденных ею, я люблю так же, как тех, которых сама родила. Так что же ты, сынок, не у меня остановился? — Много тебе благодарен, — сказал я, — но мне совестно покидать дом друга, которого мне не в чем упрекнуть, в намерении же, дорогая, я стою у тебя. — Где же ты остановился? — спросила она. — У Гиппарха. — У этого скупца? — Не говори этого, матушка, — говорю я, — он был щедр и очень радушен ко мне, так что скорее его можно упрекнуть в чрезмерной роскоши. — Улыбнувшись, она взяла меня за руку и, отведя в сторону, сказала: — Остерегайся всячески, пожалуйста, жены Гиппарха: она страшная колдунья и развра-

ница и останавливает свой выбор на каждом юноше; а если кто ей не поддается, тому она мстит, пользуясь своим искусством, и многих она превратила в животных, а иных и совсем погубила. Ты же, сынок, и молод и красив, так что тотчас же понравишься ей, к тому же ты чужестранец, — если с тобой что-либо случится, это не привлечет внимания.

5. Но я, узнав, что то, что я так давно искал, находится у меня дома, уже не обращал внимания на Аброю и, как только она отпустила меня, пошел домой, говоря себе по дороге: «Ну, вот ты все твердил, что жаждешь какого-то сверхъестественного зрелища, пробудись же и найди хитрый способ добиться того, чего желаешь: приготовься к схватке со служанкой, недаром ее зовут Палестрой [3] — ведь от жены хозяина и друга надо держаться подальше — вертись вокруг нее, борись и, схватясь с нею грудь с грудью, ты легко все узнаешь, будь уверен: ведь рабы знают про господ как хорошее, так и дурное».

Говоря это себе, я вошел в дом. Ни Гиппарха, ни его жены я не застал дома, а Палестра хлопотала у очага, приготовляя нам ужин.

6. И я тут же, ухватясь за это обстоятельство, сказал ей: — Как ловко ты, прекрасная Палестра, свой задок заодно с горшком вертишь и покачиваешь. И у меня от сладостного желания бедра приплясывают в лад. Счастлив будет тот, кто сюда окунется. — А она на это — ведь она была очень задорная и полная прелести девочка: — Беги-ка лучше, юноша, если только ты умен и хочешь быть жив: слишком много тут у меня огня и полно угара. Ведь чуть только ты этого коснешься — обожжешься и останешься здесь при мне с этой раной, и никто тебя не исцелит, даже бог-целитель, а только одна я, которая тебя обожгла; и, что всего удивительнее, я заставлю тебя желать этого все больше и, хоть от моего лечения боль будет возобновляться, ты все будешь держаться за него, и хоть бей тебя камнями — не отгонишь от сладкой боли. Что ты смеешься? Ты видишь перед собой прямую повариху-людоедку, ведь я не только эти простые блюда приготовляю; я умею кое-что побольше и получше — человека зарезать, и ободрать, и выпотрошить; а самое приятное для меня хватать за самое нутро и за сердце. — Это ты правильно говоришь, — сказал я. — Ведь ты меня даже издали, не то что вблизи, не обожгла, нет, клянусь Зевсом, а всего ввергла в огонь. Через глаза мои ты кинула мне в грудь свое невидимое пламя и сжигаешь меня, хоть я ни в чем не виноват. Поэтому, ради богов, исцели меня тем мучительным и сладостным лечением, о котором сама говорила. И так как я уже зарезан, возьми меня и обдирай, как сама хочешь.

Она громко и весело расхохоталась на это и отныне была моей, и мы условились, что она придет ко мне, когда уложит господ спать, и проведет со мною ночь.

7. И когда спустя некоторое время пришел Гиппарх, мы, умывшись, поужинали и много пили за беседой; потом, притворившись, что хочу спать, я встал и действительно ушел в комнату, где я проживал. Все в ней было приготовлено отлично: слуге было постлано за дверью, а у моей постели стоял стол с чашей; и вино тут имелось, и вода была наготове, холодная и горячая, — все это было приготовлено Палестрой. На ложе было разбросано много роз, и целых, и рассыпанных лепестками, и заплетенных в венки. И я, найдя все готовым к пирушке, стал ждать подругу.

8. Уложив свою госпожу, она поспешно пришла ко мне, и пошло у нас веселье; вино чередовалось с поцелуями, так как мы пили за здоровье друг друга. Когда же мы хорошо подготовились вином к предстоящей ночи, Палестра мне говорит: — Вот что тебе всячески нужно помнить, юноша: раз ты попал на Палестру, тебе придется теперь показать, был ли ты ловким, будучи эфебом [4], и много ли тогда выучил приемов борьбы? — Ну, ты увидишь, что я не уклонюсь от такого испытания; так что разденься и поборемся! — Но ты должен показывать свое уменье так, как я этого хочу, — сказала Палестра, — я, в качестве учителя и наставника, буду придумывать и называть упражнения, какие захочу, а ты будь готов повиноваться и исполнять всякое приказание. — Ну, приказывай, — отвечал я, — и смотри, как ловки, горячи и сильны будут мои приемы.

. . . . . .

11. Мы проводили ночи, состязаясь в таких наслаждениях и играх любовной борьбы и увенчивая друг друга венком победы, и в этом было столько сладострастия, что я совсем позабыл о пути в Лариссу. Но как-то мне пришло на ум узнать то, ради чего я состязался, и я говорю Палестре: — Покажи мне, дорогая, свою госпожу за ее колдовскими действиями. Я давно уже жажду такого сверхъестественного зрелища. А еще лучше, если умеешь, сама поколдуй и явись мне в разных образах. Ведь, я думаю, и ты не лишена опыта в этом искусстве. Это я знаю не от кого-либо другого, а испытал на собственном сердце, так как прежде, по словам женщин, я был тверд как сталь, и никогда не бросал ни на одну женщину влюбленных взглядов, а ты все-таки овладела мной благодаря этому искусству и держишь меня пленником, чаруя в любовной борьбе. — Но Палестра говорит: — Перестань шутить! Какое заклинание может приворожить любовь, когда сама она владычица этого искусства! А я, мой дорогой, ничего подобного не умею, клянусь твоей головой и этим счастливым ложем. Ведь я даже грамоте не училась, а госпожа моя ревнива в своем искусстве; но, если мне встретится случай, я постараюсь дать тебе увидеть ее превращения. — И на этом мы тогда заснули.

12. Немного дней спустя Палестра мне объявляет, что госпожа ее собирается, обратясь в птицу, лететь к любовнику. Я и

говорю: — Теперь представляется случай, Палестра, выказать твою любовь: ты можешь теперь удовлетворить давнишнее мое желание, о котором я говорил тебе. — Будь спокоен, — отвечала она. И когда наступил вечер, она ведет меня к дверям комнаты, где спали хозяева, и велит мне подойти к небольшой щели в двери и смотреть, что происходит внутри. И вот, я вижу раздевающуюся женщину. Потом, обнаженная, она подошла к светильнику и, взяв две крупицы ладана, бросила их в огонь светильника и, стоя рядом, долго наговаривала над ним; потом, открыв крепкий ларец, в котором находилось очень много склянок, выбирает и вынимает из него одну из них; что в ней было налито, я не знаю, но по виду мне показалось, что это было масло. Набрав его, она вся им натирается, начиная с пальцев ног, и вдруг у нее вырастают перья, нос стал роговым, загнутым, и вообще у нее появились все свойства и признаки птиц; и она сделалась не чем иным, как ночной вороной. Когда же она увидела, что покрылась перьями, она страшно каркнула по-вороньи и, поднявшись, улетела в окно.

13. Думая, что я вижу все это во сне, я тер себе пальцами веки, не веря своим глазам, что они глядят и что это было наяву. Когда же с трудом и нескоро я убедился, что не сплю, я стал просить Палестру оперить и меня и, натерев этим же снадобьем, дать и мне возможность полететь; потому что я хотел на опыте узнать, стану ли я, превратившись из человека в птицу, и душой пернатым. Приоткрыв дверь, Палестра приносит склянку, а я, уже раздевшись, поспешно весь натираюсь мазью, но становлюсь я, несчастный, не птицей, нет: сзади у меня вырос хвост, и пальцы все исчезли не знаю куда, и ногтей у меня стало всего четыре, и они уже не что иное, как копыта, и руки и ноги у меня сделались ногами животного, уши удлинились, и лицо вытянулось. Когда я огляделся кругом, я увидел, что превратился в осла, и не было у меня человеческого голоса, чтобы укорять Палестру. Только, вытянув нижнюю губу, я самым своим видом, глядя, как осел, исподлобья, упрекал ее как мог за то, что стал ослом, а не птицей.

14. А Палестра била себя по лицу обеими руками. — Ах я, несчастная, — говорила она, — такую беду я наделала! Ведь я, поспешив, ошиблась склянками и взяла не ту, которая выращивает крылья, а другую. Но не беспокойся, мой дорогой. Это ведь легко поправить. Если только ты поешь роз, с тебя тотчас спадет личина животного, и ты снова вернешься ко мне моим любовником. Но, милый, на одну эту ночь побудь ослом, а поутру я прибегу и принесу тебе роз, ты поешь их и исцелишься. — Говоря это, она гладила меня по ушам и по всей шкуре.

15. А я, хоть во всем остальном стал ослом, душой и умом остался человеком, — тем же Лукием, за исключением голоса.

Итак, в душе сильно укоряя Палестру за ее ошибку и кусая себе губу, я пошел туда, где, как я знал, стояли моя лошадь и

другой, настоящий осел Гиппарха. Но они, почуяв, что я вхожу к ним, и опасаясь, что я проникаю к ним с целью получить свою долю сена, прижали уши и приготовились копытами защищать свои животы. А я, сообразив это, отодвинулся подальше от яслей и, остановившись, засмеялся, но смех мой был ослиным ревом. «О, как некстати оказалось мое любопытство! — говорил я себе. — А что, если заберется волк или иной какой зверь? Тогда мне грозит гибель, хоть я и не сделал ничего дурного». Размышляя так, я и не подозревал, несчастный, о предстоявшей мне беде.

16. Действительно, когда уже наступила глубокая ночь, и полная тишина, и сладкий сон, вдруг затрещала стена снаружи, как будто ее проламывали. И в самом деле ее проламывали, и дыра стала уже достаточной, чтобы вместить человека, и тотчас через нее появляется один, и другой тем же путем, и вот их уже много внутри, и у всех мечи. Потом, связав в комнатах Гиппарха, Палестру и моего раба, они без боязни опустошили дом и вынесли из него деньги, платье и другие вещи. Когда же в доме ничего не осталось, они взяли меня, другого осла и лошадь, взнуздали нас и навьючили на нас все, что забрали, и так, тяжело нагруженных, погнали нас в гору ударами палок, по непроезжей дороге, спеша скрыться. Что другие животные испытывали, не сумею сказать, но я, будучи не подкован, не привыкши к ходьбе по острым камням и неся столько вещей, просто погибал; и часто спотыкался, но падать было нельзя, так как тотчас кто-нибудь ударял меня сзади палкой по бедрам. Когда же я несколько раз хотел воскликнуть: «О цезарь», — то испускал только рев. «О» я еще кричал сильно и очень звонко, но «цезарь» за ним не следовало. Между тем за это меня били, так как я выдавал разбойников своим ревом. Итак, поняв, что кричал напрасно, я решил далее идти молча и выгадать хоть в том, что меня не били.

17. Между тем уже настал день, и мы всходили на гору за горой, но рты у нас были завязаны, чтобы мы, срывая траву по пути, не задерживались и не оставили бы разбойников без обеда, так что я и на это время остался ослом. Когда наступил полдень, мы остановились в каком-то дворе у знакомых разбойникам людей, как было видно по происходившему: ибо они приветствовали друг друга поцелуями, и те велели им остановиться у них и подали им обед, а нам, животным, засыпали ячменя. И те-то обедали, я же голодал жалким образом; и так как я тогда ни разу еще не обедал сырым ячменем, я стал высматривать чего бы и мне поесть. И вот вижу огород тут же за двором, и в нем много прекрасных овощей, а за ними виднелись розы. Незаметно для всех, занятых в доме обедом, я иду к огороду, как для того, чтобы насытиться сырыми овощами, так и ради роз, так как я полагал, что, поев этих цветов, я снова стану человеком. И тут, войдя в огород, я наелся редьки, латука, сельдерея — всего, что только ест в сыром виде человек. Но розы эти были не настоя-

щие розы, а те, что цветут на диком лавре, — люди называют его рододафной, — плохой обед для всякого осла или лошади, ибо говорят, что съевший его тотчас умирает.

18. Тут огородник, заметив это и схватив палку, вошел в огород и, увидя врага и погубленные овощи, вознегодовал, словно некий судья — ненавистник зла, захвативший вора, и уж так избил меня, не щадя ни боков моих, ни бедер, и даже сломал мне уши и разбил лицо. Но я, не стерпев больше, лягнул его обеими ногами, так что свалил его навзничь в овощи, и побежал вверх, на гору. Когда он увидел, что я скачу прочь, он закричал, чтобы спустили на меня собак; а собак было много, и очень крупных, которые могли бы сразиться с медведями. Я сообразил, что если они схватят меня, то уж растерзают, и, немного отбежав, решил, что тут случай как раз по пословице: «Лучше прибежать назад, чем неудачно убежать». Итак, я пошел обратно и возвратился прямо во двор. Тогда они собак-то, бросившихся за мной, удержали и привязали их, а меня стали бить и оставили не прежде, чем я от боли извергнул все съеденные овощи.

19. А когда пора было отправляться в путь, на меня наложили больше всего награбленных вещей, и притом самых тяжелых, и так мы отправились. Так как я уже отчаивался, терпя побои, и изнемогая от ноши, и изранивши в пути копыта, я задумал тут же упасть и не вставать ни за что, хотя бы они меня убили побоями, возлагая большие надежды на этот замысел, так как думал, что они в конце концов покорятся необходимости и разделят мою ношу между лошадью и мулом, а меня оставят лежать на съедение волкам. Но какое-то завистливое божество, проникнув в мои замыслы, обратило их против меня; ибо другой осел, может быть задумавший то же самое, что и я, падает на дороге. Они сначала велят несчастному встать, ударяя его палками, когда же он никак не слушается даже ударов, то одни берут его за уши, другие за хвост и стараются заставить его очнуться; когда же ничего не добились и осел оставался лежать на дороге как камень, то они, рассудя между собой, что напрасно стараются и тратят время, нужное для бегства, возясь с мертвым ослом, распределяют между мной и конем все вещи, которые он нес, а несчастному нашему товарищу по плену и по тяжелой ноше подрезают мечом сухожилья ног и сталкивают, еще содрогающегося, в пропасть. И он падает вниз, отплясывая пляску смерти.

20. Видя на примере моего спутника, каков был бы конец моих замыслов, я решил мужественно переносить то, что есть, и бодро шагать дальше, в надежде когда-нибудь наткнуться все же на розы и благодаря им восстановить собственный облик; к тому же я слышал, как разбойники говорили, что уж немного пути осталось и что мы останемся там, где расположимся на ночлег; поэтому всю поклажу мы несли бегом и до наступления вечера достигли дома. Там сидела старая женщина и пылал большой огонь. Разбойники сложили в доме все, что мы привезли.

Потом они спросили старуху: — Почему ты сидишь без дела и не готовишь обед? — Да все для вас припасено, — сказала старуха, — много хлебов, бочки старого вина, и жареная дичь у меня для вас приготовлена. — Похвалив старуху, они разделись, натерлись у огня маслом и, черпая горячую воду из котла, обмылись в этой самодельной бане.

21. Немного времени спустя пришло много молодых людей, которые принесли множество вещей — золота, серебра, и одежд, и всяческих украшений, женских и мужских. Они присоединились к разбойникам и, когда сложили вещи в доме, также вымылись. После этого наконец был обильный обед и долгая беседа разбойников за попойкой. А мне и лошади старуха насыпала ячменя. Лошадь поспешно съела ячмень, боясь, как и естественно, найти во мне сотрапезника. Я же, как только видел, что старуха выходит из дому, ел хлеб. На следующий день все остальные ушли из дому на работу, оставя со старухой одного из юношей. А я оплакивал себя, досадуя на эту тщательную охрану; ибо старухой я мог пренебречь и сумел бы убежать из-под ее надзора, но юноша был велик ростом, и смотрел свирепо, и всегда носил меч, и всегда запирал двери.

22. Три дня спустя почти в середине ночи возвращаются разбойники, не неся с собой ни золота, ни серебра, ни других вещей, а только девушку в расцвете лет, очень красивую, которая плакала и рвала на себе платье и волосы, и, посадив ее в доме на подстилку из листьев, они велят ей не бояться, а старухе велят всегда оставаться дома и держать девушку под надзором. Но девушка не хотела ничего ни есть, ни пить, а все плакала и рвала на себе волосы, так что и я, стоя поблизости у яслей, плакал вместе с этой прекрасной девушкой. Между тем разбойники ужинали в сенях дома. Близился уже день, когда один из дозорных, которым выпало на долю сторожить дорогу, приходит и сообщает, что некий чужестранец собирается проехать этой дорогой и везет с собой большие деньги. Разбойники, как это услышали, поднялись и, вооружившись и взнуздав меня и лошадь, пустились в путь. А я, несчастный, зная, что меня гонят на бой и в сраженье, подвигался лениво, поэтому они били меня палками, так как спешили. Когда же мы дошли до дороги, где должен был проехать чужестранец, разбойники, напав на повозки, убили и его самого и его слуг и, отобрав, все что было самого ценного, наложили на меня и на коня, остальные же вещи спрятали тут же в лесу. Потом они погнали нас, нагруженных, обратно и меня понукали и били палками, а я ударился копытом об острый камень, который нанес мне мучительную рану, так что остальную дорогу я шел хромая. Тут разбойники стали говорить между собой: — К чему нам кормить этого осла, который постоянно спотыкается? Сбросим его с обрыва, этого вестника несчастья. — Да, — сказал другой, — сбросим его, чтобы он был очистительной жертвой для нашего отряда. — И они уже порешили насчет

меня, но я, слыша это, зашагал так, словно рана принадлежала теперь уже кому-то другому: страх смерти сделал меня нечувствительным к боли.

23. Когда мы дошли туда, где была стоянка, разбойники сняли награбленное с наших плеч и сложили в доме, а сами, развалясь за столом, стали ужинать. А когда наступила ночь, они отправились снова, чтобы привезти прочие вещи, оставленные в лесу. — А этого жалкого осла, — сказал один из них, — к чему нам брать с собой, раз он бесполезен из-за своего копыта? Из вещей одни понесем мы, другие лошадь. — И они ушли, уведя лошадь. Ночь же была очень светлая благодаря луне. И тут я сказал себе: «Чего же ты еще дожидаешься здесь, несчастный? Тобой поужинают коршуны и птенцы коршунов! Разве ты не слышал, что насчет тебя порешили? Ты хочешь быть сброшенным с обрыва? Теперь самая ночь и светит луна; они ушли прочь; спасайся бегством от кровожадных хозяев».

Размышляя так, я вижу, что меня не привязали, а повод, на котором меня тащили в пути, висит свободно у меня на боку. Это меня больше всего и подстрекнуло к бегству, и я вышел и пустился прочь бегом. Старуха, увидев, что я готов убежать, хватает меня за хвост и держит. Но я сказал себе, что быть задержанным старухой означает свержение с обрыва или иную смерть в этом роде, и потащил ее за собой, а она громко кричала, вызывая пленную девушку из дома; но та, выйдя и видя старуху, висящей на хвосте осла, подобно Дирцее [5], решилась на благородную смелость, достойную безрассудного юноши, — она вспрыгнула на меня и, усевшись мне на спину, стала погонять; я же, и сам горя желанием убежать и заботясь об избавлении девушки, пустился крупной рысью. Старуха осталась позади. Девушка молила бога помочь ей спастись бегством; мне же она сказала: — Если ты отвезешь меня к отцу, о мой красавец, я сделаю тебя свободным от всякой работы, и на обед тебе будет каждый день мера ячменя. — А я, чтобы убежать от моих убийц и надеясь на полную заботу и попечение обо мне спасенной мною девушки, мчался, не обращая внимания на рану.

24. Когда мы достигли места, где дорога разветвлялась натрое, нам попадаются навстречу наши враги, возвращающиеся назад, и уже издали благодаря луне тотчас же узнают своих несчастных пленников и, подбежав к нам, хватают меня, говоря: — О благородная девица, куда, бедняжка, ты шествуешь в такой поздний час? Разве ты не боишься ночных страшилищ? Иди-ка сюда, к нам, мы тебя твоим родным отдадим, — говорили они со злобным смехом; и, повернув меня, потащили обратно. Тут я вспомнил о своей ноге и ране и стал хромать. — Теперь ты стал хромым, — говорили они, — когда тебя поймали при побеге? А когда ты решил бежать, ты был здоров и мчался быстрее коня, как будто у тебя были крылья. — За этими словами следовали побои, и вот у меня уже волдырь на бедре от таких наставлений.

Вернувшись обратно домой, мы нашли старуху повесившейся на веревке, спущенной со скалы: испугавшись, естественно, гнева хозяев из-за побега девушки, она задушила себя, затянув себе петлю на шее. Разбойники, удивленные такой добросовестностью старухи, отвязали ее от скалы и дали ей упасть вниз, как была, с петлей на шее, а девушку ввели в дом и связали; потом стали ужинать, а затем много пили.

25. И за столом они рассуждали между собой относительно девушки.

— Что нам делать с беглянкой? — спросил один из них. — Что же иное, — сказал другой, — как не сбросить ее вслед за старухой, раз она намеревалась лишить нас больших денег, которые мы за нее выручили бы, и выдать все наше заведение? Ведь будьте уверены, друзья, что, если бы она убежала домой, ни один из нас не остался бы в живых; мы все были бы схвачены, так как враги напали бы на нас хорошо подготовленными. Итак, отплатим злодейке. Но, чтобы она не умерла слишком легко, упавши на камни, приищем ей смерть самую мучительную и продолжительную, которая сохранила бы ее для длительной пытки и только напоследок погубила бы. — Тут они стали приискивать ей смерть, и кто-то сказал: — Я знаю, что вы похвалите мое изобретение. Нужно погубить осла, так как он ленив, а теперь вдобавок еще и притворяется хромым, и к тому же он оказался пособником и слугой девушки при ее бегстве. Итак, мы его рано утром зарежем, вспорем ему живот и, выбросив вон все кишки, эту добрую девушку уложим в осла, оставя голову снаружи, чтобы она не задохлась сразу, а все тело запрячем внутрь; и, уложив ее таким образом, мы хорошенько зашьем ее в осле и выбросим обоих коршунам как новоизобретенный обед. Обратите внимание, друзья, на ужас пытки: во-первых, разделять существование с мертвым ослом, потом — печься в животном летней порой под сильнейшим солнцем, долго умирая от изнурительного голода, и даже не иметь возможности себя задушить; я уж не говорю о том, сколько она вытерпит от запаха гниющего осла и от кишащих в нем червей. Наконец коршуны доберутся и до внутренности осла и как его, так и ее растерзают, может быть еще живую.

26. Это чудовищное изобретение все встретили громкими восклицаниями, как нечто превосходное. А я оплакивал себя, обреченный на заклание: даже мертвым не буду я лежать мирно, нет, в меня поместят несчастную девушку, я стану гробницей ни в чем не повинной девушки!

Уже рассветало, как вдруг появляется множество солдат, посланных против этих злодеев, и быстро всех связывают и уводят к начальнику этой местности. Оказалось, что с ними прибыл и жених девушки; он-то и был тем, кто указал убежище разбойников. Итак, отобрав девушку, он усадил ее на меня и таким образом повез домой. Их односельчане, как завидели нас еще издали, догадались об успешном исходе дела, ибо я объявил им

радостную весть своим ревом, и, выбежав навстречу, они приветствовали нас и повели домой.

27. Девушка проявляла ко мне много внимания, отдавая должное товарищу по плену и бегству и по грозившей мне общей с нею ужасной смерти. Мне дали от хозяйки на обед меру ячменя и столько сена, сколько хватило бы и верблюду. И тут я в особенности проклинал Палестру за то, что она превратила меня колдовством в осла, а не в собаку, потому что я видел, как собаки, пробравшись на кухню, пожирали множество всякой всячины, которая бывает на богатых свадьбах.

Немного дней спустя после свадьбы, так как госпожа сказала отцу, что хотела бы получить милость для меня и отплатить мне справедливой отплатой, отец велел меня отпустить на волю пастись под открытым небом вместе с табунами кобыл. — Пусть он живет как свободный, в свое удовольствие, — сказал он, — и сходится с кобылицами. — И эта отплата показалась бы тогда самой справедливой, если бы дело попало к судье-ослу. Итак, призвав одного из табунщиков, он передает меня ему, а я радовался, что больше не буду носить тяжестей. Когда же мы пришли на пастбище, то пастух присоединил меня к кобылицам и повел нас всем табуном пастись.

28. И нужно же было, чтобы здесь со мной случилось то же, что и с Кандавлом![6] Надсмотрщик за лошадьми оставил меня дома своей жене Мегаполе, а она запрягла меня в мельницу, чтобы молоть ей пшеницу и цельный ячмень. Это-то еще было бы небольшое зло для благородного осла — молоть зерно для своих надзирателей; но почтеннейшая Мегапола, которая от всех других, живших в этой местности — а их было очень много — требовала платы за помол, закабалила мою несчастную шею; даже ячмень, назначенный мне на обед, она поджаривала и засыпала мне для помола, а сделанные из него лепешки все съедала сама, мне же на обед шли отруби. А если когда-нибудь надсмотрщик и подпускал меня к кобылам, то я погибал из-за жеребцов, которые меня лягали и кусали, так как они всегда подозревали во мне любовника их жен — кобыл, и преследовали меня, лягаясь обеими ногами, так что я был не в силах переносить эту конскую ревность. И вот за недолгое время я стал худ и безобразен и не имел радости ни дома при мельнице, ни пасясь под открытым небом, где со мной враждовали товарищи по табуну.

29. К тому же меня часто посылали на гору возить на спине дрова. И это было главное из моих зол: во-первых, приходилось всходить на высокую гору по ужасно крутой дороге, да еще неподкованному по камням. К тому же со мной посылали погонщика, негодного мальчишку. Он всякий раз мучил меня по-новому: сначала он сильно бил меня, даже если я бежал бегом, и притом не простой палкой, а с твердыми и острыми сучьями, и все время ударял по одному и тому же месту, так что на бедре от ударов открывалась рана, а он продолжал по ней бить. Потом

он стал накладывать на меня ношу, какую и слону трудно было бы снести; да и спускаться сверху было мучительно, а он и тут бил меня. Если же он видел, что ноша у меня спадает и переваливается на одну сторону, когда нужно было бы снять часть дров и переложить на более легкую сторону, чтобы уравнять груз, он никогда этого не делал, а поднимал с горы большие камни и накладывал на более легкую половину поклажи; и я спускался, несчастный, неся вместе с дровами еще и ненужные камни. И еще — на пути была невысохшая речка; так он, жалея обувь, садился на меня позади дров и переезжал через речку.

30. Если же я иной раз так выбивался из сил, изнемогая под грузом, что падал, тут уж беда была нестерпимой; ведь погонщик тогда должен был бы, сойдя с меня, оказать помощь, помочь подняться с земли и снять ношу, если бы это понадобилось, а он и не сходил с меня и не оказывал помощи, но избивал всего меня палкой, начиная с головы и ушей, пока удары не заставляли меня подняться. А еще он развлекался другой злой выдумкой, нестерпимой для меня. Набрав охапку самых острых колючек и стянув их веревкой, он подвешивал их мне сзади к хвосту, и они, естественно, раскачиваясь на ходу, бились об меня и уколами своими исцарапывали мне весь зад; а защититься мне было невозможно, так как они были подвешены ко мне и все время ранили меня, при каждом моем шаге. И вот, если я, остерегаясь колючек, подвигался вперед тихо, я погибал от побоев, а если избегал палки, то мучения настигали меня сзади. И вообще целью моего погонщика было замучить меня до смерти.

31. Когда же я как-то, терпя от него много зла, однажды не выдержал больше и лягнул его, уж он этот удар навсегда удержал в памяти. И вот однажды погонщику велят перевезти паклю с одного места на другое. Приведя меня туда и собрав много пакли, он навьючил ее на меня и крепкой веревкой прочно увязал ношу, замышляя мне большую беду. Когда оставалось только отправиться в путь, он утащил из очага еще тлевшую головешку и, едва мы оказались подальше от двора, засунул ее в паклю. Пакля тотчас же загорается, — что же иное могло случиться? — и вот уже я несу на себе огромный костер. Тут я, понимая, что сейчас изжарюсь, и заметив по пути большую лужу, бросаюсь в самое глубокое место; потом, катая там паклю и вертясь и переворачиваясь в грязи, я потушил этот пожар, мою мучительную ношу, и таким образом с большей безопасностью шел остаток пути, потому что мальчику было невозможно снова зажечь паклю, которая пропиталась мокрой грязью. Но и тут все же наглый мальчишка по возвращении налгал на меня, говоря, будто я по собственному желанию сунулся в огонь, проходя мимо. Все же тогда я выбрался из-под пакли, хотя уже не надеялся на спасение.

32. Но проклятый мальчишка изобрел для меня еще другую большую беду: поведя меня на гору и наложив на меня тяжелую

ношу дров, он продает их земледельцу, жившему поблизости, а приведя меня домой без всякой ноши, он лжет на меня перед своим господином, обвиняя в безбожном деле: — Я не знаю, господин, — говорил он, — для чего мы кормим этого осла, который страшно ленив и медлителен. А теперь он еще обнаруживает и иное качество: как только завидит красивую женщину или девушку в возрасте, или мальчика, он, брыкаясь, бегом бросается на них и ведет себя как влюбленный мужчина с любимой женщиной, кусает их, как будто целуя, и старается насильно сойтись с ними; он тебе этим доставит хлопоты и тяжбы, так как всех оскорбляет и валит с ног. Вот и теперь, неся дрова и завидев женщину, идущую в поле, он сбросил и раскидал по земле все дрова, а женщину повалил на дорогу и хотел вступить с нею в брак, пока мы, сбежавшись с разных сторон, не защитили ее от угрозы быть растерзанной этим прекрасным влюбленным.

33. Услышав это, надсмотрщик сказал: — Ну, если он не хочет ни вертеть жернов, ни носить ношу, и человеческой любовью влюбляется в женщин и мальчиков, беснуясь при виде их, то зарежьте его и внутренности отдайте собакам, а мясо сохраните для работников. И если спросят, как он умер, свалите дело на волка.

Тут этот проклятый мальчишка, мой погонщик, обрадовался и хотел тотчас же меня зарезать. Но при этом оказался кто-то из соседних земледельцев, и он избавил меня от смерти, посоветовав еще более страшную для меня вещь. — Ни в коем случае не режьте осла, — сказал он, — который способен и молоть и носить ношу; да и дело это небольшое: если он бесится и бросается на людей от страсти, возьмите его и оскопите; лишенный этого любовного влечения, он тотчас же станет спокойным и жирным и будет носить большие ноши, не уставая. Если же ты сам несведущ в этом лечении, то я приду сюда через три-четыре дня и после оскопления сдам его тебе послушнее ягненка. — Все домашние одобрили этот совет, говоря, что он сказал правильно, а я уже проливал слезы о том, что обречен вскоре погибнуть, как мужчина, хоть и в образе осла, и говорил себе, что больше жить не хочу, если стану евнухом; я думал совсем отказаться впредь от пищи или броситься с горы, так как упавши с нее, я хоть и умер бы прежалкой смертью, но мертвый я по крайней мере остался бы целым и не изуродованным.

34. Но когда наступила глубокая ночь, прибыл кто-то гонцом из усадьбы в селение и к нам во двор и сказал, что та молодая новобрачная, которая была в плену у разбойников, и ее муж — оба, гуляя вечером по берегу, были застигнуты нахлынувшим вдруг морем и исчезли в волнах; такой несчастной смертью закончилась их жизнь. Раз уж дом опустел, лишившись молодых господ, то слуги решили не оставаться больше в рабстве и, разграбивши все в доме, разбежались.

Табунщик, захватив и меня, все, что мог забрать, навьючил на меня и на кобыл. Мне было тяжело нести ношу настоящего осла, но все-таки я радовался помехе угрожавшему мне оскоплению. Целую ночь мы шли трудной дорогой и, проведя в пути еще три дня, пришли в Берою, большой и многолюдный город Македонии.

35. Здесь наши новые хозяева решили обосноваться и распорядиться нами. И тут же устроили распродажу нас, животных: глашатай, стоя посреди площади, зычным голосом объявлял цены. Подходившие, желая нас осмотреть, открывали нам рты и смотрели каждому в зубы для определения возраста; и всех других раскупили — этого один, того — другой, а меня, оставшегося самым последним, глашатай велел увести обратно домой. — Видите, — сказал он, — этот один не нашел себе господина. — Но Немезида, многократно переворачивающая и изменяющая судьбу, привела и мне господина, какого я бы себе не пожелал; ибо это был старый развратник, один из тех, которые возят по селам и деревням Сирийскую богиню и заставляют богиню просить милостыню. Меня продают ему за очень высокую цену в тридцать драхм! И я, уже заранее стеная, последовал за ведшим меня господином.

36. Когда мы пришли туда, где жил Филеб, — так звали купившего меня, — он тотчас же громко закричал перед дверью: — Эй, девочки, я купил вам раба, красивого и сильного, родом из Каппадокии! — «Девочки» же — это была толпа развратных подручных Филеба, и все они в ответ на его крик захлопали в ладоши, потому что они подумали, будто и вправду куплен был человек. Когда же увидели, что этот раб — осел, тут они стали насмехаться над Филебом: — Это не раба, а жениха ты себе ведешь. Откуда ты его взял? Да будет счастлив этот прекрасный брак и да родишь ты нам поскорее таких же ослят.

37. И они смеялись. На следующий день они собрались «на работу», как они говорили, и, снарядив богиню, поместили ее на меня. Потом мы вышли из города и стали обходить окрестности. Когда мы вступали в какую-нибудь деревню, я останавливался, как будто по наитию божества, флейтист возбуждал божественное исступление, они же, сорвавши с головы повязки и запрокинув назад головы, рассекали себе мечами руки, и каждый, сжимая зубами язык, ранил и его, так что мгновенно все было полно свежей крови. Видя это, я в первое время стоял, дрожа от мысли, как бы не понадобилась богине и ослиная кровь. Изранив себя таким образом, они собирали оболы и драхмы со стоящих кругом зрителей; иной давал в придачу смокв, сыру, кувшин вина или медимн пшеницы, а также ячменя для осла. А они этим кормились и служили богине, которую возили на мне.

38. И вот однажды, когда мы попали в какую-то деревню, они завлекли рослого юношу из поселян в привели его туда, где мы остановились, а потом воспользовались от него всем, что привычно и любо было таким безбожным развратникам. А я, сокру-

шаясь о своей новой перемене судьбы, хотел было воскликнуть: — Я все еще, до сих пор терплю несчастья, о жестокий Зевс! — но из моей глотки вышел не мой голос, а ослиный крик, и я громко заревел. Между тем случилось так, что в это время какие-то поселяне потеряли осла и, ища пропавшего, слышат мой громкий вопль и входят к нам, никому ничего не говоря, как будто я и был их ослом, и застигают развратников за совершением непотребных таинств; и тут много смеху поднимается среди вошедших. Выбежав вон, они рассказали всей деревне о распутстве жрецов. Последние в большом смущении от того, что все это обнаружилось, уехали оттуда; как только настала ночь и мы оказались в глухом месте пути, они излили на меня гнев и злобу за то, что я разоблачил их таинства. Было еще терпимое дело слушать их брань, но то, что за этим последовало, было совсем нестерпимо; ибо, сняв с меня богиню и положив ее на землю, они сорвали с меня все покрывала и, уже обнаженного, привязали к большому дереву, потом стали меня бить своим бичом, унизанным костяшками, и чуть не убили, приказывая на будущее время быть безмолвным богоносцем. И даже зарезать меня после бичевания замышляли за то, что я вверг их в великую обиду и заставил уйти из деревни, не заработав ничего. Но вид богини, лежащей на земле и не имеющей возможности продолжать путь без меня, сильно их устыдил, так что они меня не убили.

39. Итак, после бичевания я отправился дальше с богиней на спине, и к вечеру мы уже остановились в усадьбе богатого человека; он был дома и с большой радостью принял богиню к себе и совершил ей жертвоприношение. Мне стало известно, что здесь я подвергся большой опасности; ибо один из друзей прислал владельцу усадьбы в подарок бедро дикого осла; повар взял его, чтобы приготовить, но по недосмотру оно пропало, так как несколько собак потихоньку пробралось в кухню, и повар, опасаясь сильных побоев и пытки из-за этой пропажи, решил повеситься. Но жена его — роковое мое несчастье — сказала: — Не умирай, дорогой, и не предавайся такому отчаянию: если ты меня послушаешься, все у тебя будет хорошо. Уведи осла этих развратников в глухое место и там зарежь его и, отрубив ту же часть тела, бедро, принеси сюда, приготовь его и подай хозяину, а труп осла сбрось где-нибудь в пропасть. Все подумают, что он ушел куда-нибудь и исчез. Ты видишь, что он в теле и, во всяком случае, лучше этого дикого осла? — Повар одобрил совет жены. — Это превосходно, жена, — сказал он, — и я только таким поступком могу избежать плетей. Так и будет сделано. — Вот как этот мой безбожный повар, стоя рядом со мною, сговаривался с женой.

40. Видя уже заранее, что мне предстоит, и решив, что важнее всего для меня спастись из-под ножа, я обрываю ремень, на котором меня водили, и, подпрыгнув, пускаюсь бегом в дом, где ужинали развратники с владельцем имения. Вбежав туда, я все опрокидываю одним прыжком — и светильники и столы, — я ведь

думал, что изобрел для своего спасения нечто хитроумное и что хозяин усадьбы велит меня, как взбесившегося осла, тотчас же куда-нибудь запереть и строго сторожить; но эта хитрость подвергла меня крайней опасности. Сочтя меня бешеным, они уже схватились за мечи и копья и большие палки и намеревались меня убить. Но я, увидя такую опасность, прибежал в комнату, где мои господа должны были лечь спать. Видя это, они заперли тщательно дверь снаружи.

41. Когда уже рассвело, подняв опять богиню на спину, я удалился оттуда вместе с моими бродягами, и мы прибыли в другую деревню, большую и многолюдную, в которой они разыграли нечто совсем новое: они потребовали, чтобы богиня не пребывала в человеческом жилище, а поселилась бы в храме местной богини, которую жители чтили больше всего. Поселяне приняли чужую богиню даже с большой радостью и поместили ее вместе со своей, а нам указали жилье у бедных людей.

Проведя здесь несколько дней, господа мои захотели уехать в соседний город и потребовали у поселян обратно свою богиню; и, войдя сами в святилище, они вынесли ее и, поместив на меня, поехали дальше. Но оказалось, что нечестивцы, проникнув в это святилище, украли при этом пожертвование — золотую чашу, и унесли ее, спрятав под одеждой богини. Обнаружив пропажу, поселяне тотчас же пустились в погоню и, когда приблизились, спрыгнули с лошадей и схватили похитителей на пути, называя их нечестивцами и святотатцами и требуя обратно украденное пожертвование; и, обыскав все, они нашли его за пазухой у богини. Тогда, связав этих негодяев, они привели их обратно и бросили в тюрьму, а богиню, которую я вез, сняли с меня и отдали в другой храм, золотую же чашу возвратили местной богине.

42. На следующий день решили продать как вещи их, так и меня, и отдали меня знакомому человеку из соседней деревни, ремеслом которого было печь хлебы; он забрал меня и, купив десять мер пшеницы, наложил их на меня и погнал к себе домой по тяжелой дороге, и когда мы приехали, он вводит меня в мельницу, и я вижу в ней большое число таких же животных, собратьев по рабству, и много жерновов, которые они приводили в движение, и все тут было полно муки. На этот раз, так как я был новым рабом и нес очень тяжелую ношу и прошел трудный путь, позволили мне отдохнуть, но на следующий день, закрыв мне глаза тряпкой, меня припрягли к водилу и стали погонять. Я, конечно, знал, как нужно молоть, но притворился, что не умею; однако напрасны были мои надежды, ибо много людей с палками обступают меня, — а я и не подозреваю ничего, так как ничего не вижу, — и бьют меня со всех сторон, так что я сразу завертелся, как волчок, под их ударами, и на опыте узнал, что раб должен делать свое дело, не дожидаясь палки господина.

43. И вот я сильно исхудал и ослабел телом, так что господин решил меня продать и уступил меня человеку, который был ого-

родником: он держал огород, который надо было возделывать. Это и было нашей работой. Поутру господин, навьючив на меня овощи, возил их на рынок и, распродав их покупателям, вел меня обратно в огород. Потом он копал землю, садил и поливал водой растения, а я в это время стоял без дела. Но такая жизнь была мне страшно тяжела, во-первых, потому, что уже была зима, а он и себе не мог купить чего-нибудь, чтобы покрыться, не то что мне; вдобавок я ходил неподкованный по мокрой грязи и по твердому и острому льду, а на еду у нас обоих только и было, что горький и жесткий латук.

44. И вот однажды, когда мы отправились в город, нам встречается видный мужчина в одежде воина, и он заговаривает с нами на италийском языке и спрашивает огородника, куда он ведет осла, то есть меня; огородник, по-видимому, не понимая этого языка, ничего не ответил; тот рассердился, увидя в этом неуважение, и ударяет огородника плетью, а этот, схватившись с ним и оторвавши его от земли, валит на дорогу и бьет лежащего и руками, и ногами, и камнем, поднятым с дороги; тот сначала отбивался и грозил, как встанет, убить его мечом, но огородник, узнав от него самого, какая опасность ему грозит, вытаскивает его меч и бросает прочь, а потом снова бьет лежащего. Тот, видя неизбежную гибель, притворяется умершим под ударами; огородник же, испугавшись этого, оставляет его лежать на месте, как он был, и, забрав с собой меч, на мне помчался в город.

45. Когда мы приехали, хозяин передал обработку огорода какому-то своему товарищу, а сам, опасаясь последствий случившегося на дороге, скрывается вместе со мной у одного из городских знакомых. На следующий день они решили, как быть, и сделали так: моего господина спрятали в сундук, а меня, подняв на руках, отнесли вверх по лестнице на чердак и там наверху заперли.

Между тем воин, с трудом поднявшись с земли, как передавали, так как у него голову ломило от побоев, пришел в город и, встретив товарищей, рассказал о дерзости огородника; те идут вместе с ним, узнают, где мы спрятаны, и приходят с городскими властями. Последние посылают одного из подчиненных в дом и велят всем, находящимся в нем, выйти вон. Но когда все вышли, огородника среди них не обнаруживается. Тут воины говорят, что огородник и я, его осел, находимся внутри; а им возражают, что в доме никого не осталось — ни человека, ни осла. Так как в переулке поднялся из-за этого сильный шум и крик, то я, возбужденный этим и, как всегда, любопытный, выглядываю сверху вниз через окошко, желая узнать, что за люди там кричат. Воины, увидя меня, тотчас поднимают крик; обитатели дома пойманы во лжи, и власти, войдя в дом и все обыскав, находят моего хозяина лежащим в сундуке и, забравши его, отправляют в тюрьму, чтобы он дал ответ за свои дерзости; меня же, стащив вниз, отдали воинам. Все без конца смеялись над обличителем с чердака и

предателем своего господина; и с того времени от меня первого пошла среди людей поговорка: «Из-за выглянувшего осла».

46. Не знаю, что на следующий день претерпел огородник, мой господин, но меня воин решил продать и отдал меня за двадцать пять аттических драхм; купивший был слугой очень богатого человека из Фессалоники, самого большого города Македонии. Его занятие состояло в том, что он приготовлял пищу своему господину, и у него был брат, тоже раб, умевший печь хлеб и замешивать пряники на меду. Эти оба брата всегда жили под одной кровлей и спали в одной комнате, и посуда для работы была у них общая; поэтому и меня они поставили там же, где сами спали. После господского ужина оба приносили много остатков — один — мяса и рыбы, другой — хлеба и печений. Заперев меня в комнате со всем этим добром и поставив меня на стражу, сладчайшую из всех, они уходили мыться; а я, сказав надолго «прощай» засыпанному мне жалкому ячменю, весь предавался наслаждению искусной и обильной кухней господ и не скоро вдоволь наедался человеческой пищи. Возвращаясь домой, они сначала совсем не замечали моего обжорства, так как припасов бывало налицо множество, да и я воровал еще со страхом и осторожностью. Когда же я вполне убедился, что они ничего не подозревают, я стал пожирать лучшие куски и помногу всего. А они, наконец заметив ущерб, сначала оба подозрительно стали поглядывать друг на друга и называть один другого вором и грабителем общего добра и человеком без совести, а потом сделались оба внимательны и завели счет остаткам.

47. А я проводил жизнь в удовольствии и роскоши, и тело мое от привычной пищи снова стало красивым и шкура залоснилась свежей шерстью. Наконец почтеннейшие мои хозяева, видя, что я делаюсь толстым и гладким, а ячмень не тратится, но остается в том же количестве, приходят к подозрению о моих дерзких проделках и, уйдя однажды будто бы в баню, запирают за собой двери, а сами, припав глазом к щели в дверях, наблюдают, что происходит внутри. Я, ничего не зная о такой хитрости, приступаю к обеду. Они сначала смеются, видя этот невероятный для осла обед, потом зовут других рабов посмотреть, и тут было столько смеху, что даже господин услышал их — такой шум стоял на дворе — и спросил кого-то, над чем они так смеются. Услышав, в чем дело, он встает из-за стола и, заглянув в комнату, видит, как я глотаю кусок дикого кабана, и с громким хохотом и криком вбегает в комнату. Я был сильно раздосадован тем, что пойман перед господином в воровстве и обжорстве. Но он много смеялся из-за меня и прежде всего велел привести меня в дом к своему столу, потом сказал, чтобы передо мной поставили стол, а на нем чтобы было много блюд, которые никакой другой осел не мог бы есть: мяса, устриц, подливок, рыбы и притом одно — в рассоле и масле, другое — приправленное горчицей. А я, видя, что удача теперь приветливо мне улыбается, и понимая,

что меня спасет только эта забава, стал обедать, стоя перед столом, хотя уже был сыт. Все ужинавшие тряслись от смеха. — Он даже будет пить вино, этот осел, — сказал кто-то, — если дадут ему разбавленное водой. — И господин велел это сделать, и я выпил поданное.

48. Видя во мне, естественно, животное необыкновенное, господин велит одному из управителей уплатить купившему меня, сколько тот заплатил и еще столько же, а меня отдал одному из своих отпущенников, молодому человеку, и поручил научить меня таким вещам, которыми я мог бы его особенно восхитить. Тому, конечно, все это было легко сделать, так как я сразу же исполнял все, чему меня учили. Сначала он заставил меня возлежать на ложе за столом, как люди, опираясь на локоть, потом и бороться с ним, и даже плясать, стоя прямо на двух ногах, и кивать, и качать отрицательно головой в ответ на вопросы, и все такое, что я сумел бы делать и без учения. И вот пошла молва об этом — что, мол, у господина осел, который пьет вино и умеет бороться, осел, который танцует, а самое замечательное, что я на вопросы весьма кстати киваю или качаю головой, а если захочу пить, то прошу об этом виночерпия, подавая знак глазами. И люди изумлялись этому, как чуду, так как не знали, что в осле находится человек; а я их неведение обращал к своему удовольствию. Я даже научился, везя господина на спине, идти шагом и бежать рысью самой удобной и неощутительной. Сбруя у меня была великолепная, и попону на меня надевали пурпурную, и я был взнуздан удилами, украшенными серебром и золотом, и увешан бубенцами, издававшими мелодичнейшие звуки.

49. Менекл, наш господин, прибыл, как я сказал, из Фессалоники по следующей причине: он обещал своему родному городу устроить напоказ поединки между обученными этому бойцами; и люди для боя уже были наготове, и подошло время отъезда. Мы выехали поутру, и я вез хозяина на спине, если где участок пути был каменистый и трудный для подъема в повозке. Когда мы прибыли в Фессалонику, не было человека, который не поспешил бы на зрелище и не явился посмотреть на меня, потому что задолго еще предшествовала нам слава о многообразии и человеческом характере моих танцев и приемов борьбы. А мой господин показывал меня на пирушках знатнейшим своим согражданам и выставлял им за ужином напоказ невероятные проделки осла.

50. Мой наставник, с своей стороны, нашел во мне способ получить очень много драхм, так как держал меня в доме взаперти и желавшим видеть меня и мои необычайные поступки открывал дверь только за плату. Они приносили каждый что-нибудь съестное, что им казалось самым вредным для ослиного желудка, а я съедал это. Таким образом, в несколько дней, обедая с господином и горожанами, я сделался очень толстым и гладким. И вот однажды какая-то женщина, чрезвычайно богатая и недурная на вид, войдя посмотреть меня за обедом, пламенно в меня

влюбляется, то ли видя красоту осла, то ли из-за необыкновенного моего поведения, и, дойдя до страстного влечения ко мне, заговаривает с моим наставником и обещает ему богатое вознаграждение, если он позволит ей провести со мной ночь. А тот, ничуть не заботясь, добьется ли она чего-нибудь от меня или нет, эти деньги берет.

51. Когда наступил вечер и господин наш отпустил нас после ужина, мы возвращаемся туда, где мы спали, и находим женщину, давно уже пришедшую к моей лежанке. Для нее были принесены мягкие подушки и постланы покрывала, так что подстилка у нас была прекрасная. Потом слуги женщины улеглись где-то тут же поблизости, за дверьми, а она зажгла в комнате большой светильник, сверкавший пламенем, затем, раздевшись, стала близ светильника совсем нагая и, выливая благовония из кувшинчика, натирается ими сама и умащает меня, обильно наполнив мне ноздри; потом она стала целовать меня и говорить со мной, как с любимым человеком, и схватила меня за повод и потянула к ложу. Я не нуждался нисколько в настояниях: опьяненный большим количеством старого вина и возбужденный запахом благовоний, видя перед собой во всех отношениях красивую женщину, я ложусь, но нахожусь в сильном недоумении, как мне взяться за нее; ведь с тех пор, как я превратился в осла, мне не приходилось вступать в связь, свойственную ослам, и общаться с ослицей; и еще одно меня приводило в немалое опасение, как бы не повредить женщине и не понести наказания за человекоубийство.

Но я не знал, что опасался без нужды; ибо женщина, видя, что я не обнимаю ее, — хотя она завлекала меня, много и страстно целуя, лежа рядом, как с мужчиной, — обняла меня и, приподнявшись, прильнула ко мне целиком. Я все еще робея и опасаясь, тихонько отстранялся от нее, но она крепко сжимала меня в объятиях, не давая мне отдалиться, и тянулась за мной. Поняв наконец определенно, что еще нужно от меня для наслаждения и удовлетворения женщины, я уже без страха исполнил остальное, думая про себя, что я ничем не хуже любовника Пасифаи. Женщина же была так склонна к любви и ненасытна в наслаждении, что всю ночь расточала мне свои ласки.

52. Встав с рассветом, она ушла, сговорившись с моим наставником, что внесет такую же плату за новую ночь. А тот, потому что богател через меня и чтобы показать господину мое новое достижение, опять запер меня с женщиной, и она страшно мной злоупотребляла. Между тем наставник объявляет господину эту новость, говоря, будто сам научил меня, и без моего ведома приводит его, по наступлении вечера, туда, где мы лежали, и сквозь щель в двери показывает меня разделяющим ложе с молодой женщиной. Господин был восхищен этим зрелищем и захотел показать меня всенародно за таким занятием; но он велит никому из посторонних об этом не говорить. — Чтобы, — сказал он, — только в самый день представления неожиданно для всех привести

осла в театр вместе с какой-нибудь осужденной женщиной, и пусть он на глазах у всех овладеет ею. — И затем привели ко мне женщину, которая была осуждена на растерзание зверями, и приказали ей подойти ко мне и коснуться меня.

53. Наконец, когда настал день, в который господин мой хотел проявить щедрость к народу, решили, как меня привести в театр. И я вошел таким образом: было приготовлено большое ложе, отделанное индийской черепахой с золотыми скреплениями; меня уложили на нем и рядом со мной поместили женщину. Потом в таком положении нас поставили на какое-то приспособление и внесли в театр, на самую середину, а зрители громко закричали и захлопали в ладоши, приветствуя меня. Перед нами поставили стол, уставленный всем, что подается у людей на роскошных пирах. И вокруг нас стояли красивые рабы-виночерпии и наливали нам вино из золотого сосуда. Мой наставник, стоя позади, велел мне обедать, но мне стыдно было лежать на театре, да и страшно, как бы не выпрыгнул откуда-нибудь медведь или лев.

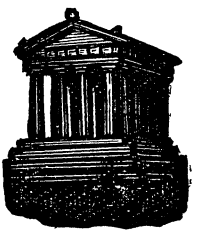
54. Между тем проходят мимо люди с цветами, и среди прочих цветов я вижу цветки свежих роз, и я, ничуть не медля, вскакиваю и спрыгиваю с ложа. Все думали, что я встал, чтобы танцевать, но я перебегаю от одного к другому и обрываю цветы и поедаю розы. Все еще удивляются мне, а уж с меня спадает образ скотины и пропадает; и вот исчез прежний осел, а вместо него стоит голый сам Лукий. Пораженные таким невероятным и совершенно неожиданным зрелищем, все подняли страшный шум, мнения разделились: одни считали, что меня нужно тут же умертвить огнем, как колдуна, знающего ужасные чары, и многоликое чудовище, другие же говорили, что нужно обождать моих объяснений и сначала все расследовать, а потом уже судить об этом. А я подбежал к правителю области — он присутствовал, оказалось, на этом представлении — и рассказал ему по порядку, как фессалийская рабыня фессалийской женщины превратила меня в осла, смазав колдовской мазью, и умолял его взять меня и держать под стражей, пока он не убедится, что я не лгу.

55. — Скажи нам, — говорит архонт, — имена — твое и родителей и родственников твоих, если, как ты говоришь, у тебя есть близкие родичи, а также название твоего города. — Отец мой — Декриан, софист, а мне имя Лукий, — сказал я, — брату же моему — Гай. Остальные два имени у нас обоих общие [7]. Я сочинитель повестей и других произведений, а он элегический поэт и хороший прорицатель; родина же наша — Патры в Ахее. — Когда судья услышал это, он сказал: — Ты сын дорогих мне людей, связанных со мной дружбой, которые меня принимали в своем доме и почтили меня дарами, и я уверен, что ты ни в чем не лжешь, раз ты их сын. — И, соскочив с своей колесницы, он обнимает меня и целует много раз, и ведет меня к себе в дом. Между тем прибыл и мой брат и привез мне денег и много всяких вещей, и тут правитель объявляет меня свободным во всеуслышание, при

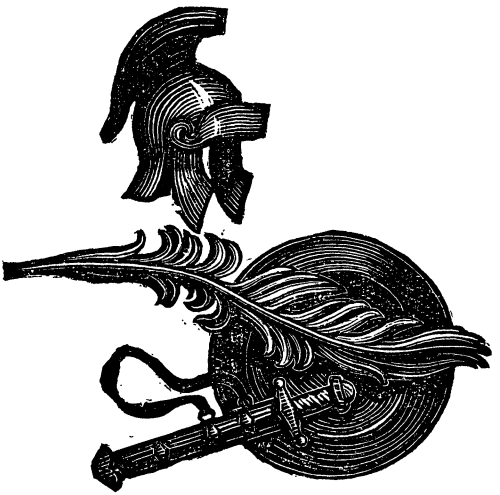
всех. И, пойдя к морю, мы нашли подходящий корабль и погрузили свои вещи.

56. Но я решил, что самое лучшее пойти к женщине, которая была влюблена в меня, когда я был ослом, и говорил себе, что теперь, став человеком, я ей покажусь еще красивее. Она приняла меня с радостью, очарованная, думаю, необычайностью приключения, и просила поужинать и провести ночь с ней; и я согласился, считая достойным порицания после того, как был любим в виде осла, отвергать ее и пренебречь любовницей теперь, когда я стал человеком.

И вот я ужинаю с ней и обильно умащаю себя благовониями и венчаю себя милыми розами, восстановившими меня в человеческом образе. Когда же настала глубокая ночь и нужно было ложиться в постель, я поднимаюсь из-за стола и раздеваюсь, как будто совершаю нечто значительное, и стою нагой, надеясь, конечно, что еще более понравлюсь по сравнению с ослом. Но, как только она увидела, что у меня все — человеческое, она с презрением плюнула на меня и сказала: — Прочь от меня и из дома моего! И уходи спать подальше! — А на мой вопрос: — В чем же я так провинился перед тобой? — сказала: — Клянусь Зевсом, я любила не тебя, а осла в тебе, и с ним, а не с тобой проводила ночи; я думала, что и теперь ты сумел спасти и сохранить хотя бы тот главный признак осла; а ты пришел ко мне, превратясь из этого прекрасного и полезного существа в обезьяну! — И тотчас она зовет рабов и велит им вынести меня прочь из дома — на своих спинах; и вот, выброшенный вон, обнаженный, с венком на голове и надушенный, я обнял голую землю и провел ночь с нею. С рассветом я голый прибежал на корабль и рассказал брату мое смехотворное приключение. Потом, так как с суши подул попутный ветер, мы отплыли, и через несколько дней я прибыл в родной город. Здесь я принес жертву богам-спасителям и посвятил в храм приношение в память того, что спасся не «из-под собачьего хвоста», как говорится, а из шкуры осла, попав в нее из-за чрезмерного любопытства, и что вернулся наконец домой спустя долгое время и с таким трудом.



«ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО»



I, 15—26, 30—41

15. Филипп, возвратившись в свое царство, послал в Дельфы вопросить оракула, кто же будет царствовать после него и подчинит всех своей власти. Оракул отвечал: — Тот, кто вскачь проедет всю Пеллу на коне Буцефале. — Конь назывался Буцефалом, потому что у него на бедре было выжжено клеймо в виде головы быка [1]. Филипп, выслушав изречение оракула, ожидал появления нового Геракла.

16. Единственным наставником Александра был Аристотель, милетский мудрец [2]. Много детей обучалось у Аристотеля, в том числе и сыновья царей. Аристотель спросил одного из них: — Когда ты наследуешь отцовское царство, что ты дашь мне, твоему учителю? Тот отвечал: — Ты будешь жить со мной, как владыка мира, и я прославлю тебя среди всех людей. — Аристотель осведомился у другого: — А если ты, дитя мое, примешь отцовское царство, кем ты меня сделаешь? — Тот ответил: — Я буду прибегать к твоим советам, принимая различные решения. — Аристотель спрашивал одного за другим, и все давали ему разные обещания. Обратился он и к Александру: — А ты, дитя мое, если

примешь от твоего отца царство, как применишь меня, твоего учителя? — Тот отвечал: — Ты расспрашиваешь о будущем, а можешь ли ты поручиться за завтрашний день? Я дам обещание тогда, — если захочу, — когда и время и мой возраст сделают его выполнимым. — И сказал Аристотель: — Привет тебе, владыка мира, ибо ты величайший царь.

Александра все любили за его ум и способности к военному делу, отношение же к нему Филиппа было двойственным: он и радовался, видя его таким воинственным, и печалился, замечая несходство их характеров.

17. Когда Александру исполнилось четырнадцать лет, он однажды случайно проходил мимо того места, где содержался Буцефал, и услышал ужаснейшее ржание. Обратившись к друзьям, он сказал: — Друзья, что это — конское ржание или рев льва? — Птолемей, сопровождавший его, — тот самый, который впоследствии был прозван «Сотер», — сказал: — Это Буцефал, которого твой отец велел запереть, потому что он людоед.

Конь, заслышав голос Александра, заржал вторично, но теперь уже не страшно и не жалобно, а нежно, быть может — по внушению бога. Увидев Александра, Буцефал стал припадать на передние ноги и весь задрожал, словно обращался с мольбой к своему господину. Александр, заметив, как изменилось его обличье, увидев останки многих умерщвленных им людей, почувствовал к нему сострадание, оттолкнул сторожей и открыл загородку, уверенный в себе... * И, схватившись за гриву коня, повиновавшегося ему... ** Кто-то сейчас же побежал к Филиппу сообщить о случившемся. Тот, вспомнив об оракуле, вышел навстречу сыну и обнял его, сказав: — Александр, владыка мира, привет тебе от меня.

18. Итак, Филипп, обрадованный надеждой на великое будущее сына, пребывал в веселии; Александр же, достигнув пятнадцати лет, однажды, улучив, когда отец был не занят, поцеловал его и говорит: — Отец, прошу тебя, дозволь мне отправиться морем в Пису. — А тот сказал:... *** — Нет, отец, чтобы самому участвовать в состязаниях. — Но какую же выучку ты прошел, откуда такое желание? Я знаю, что ты, как царский сын, не упражнялся ни в чем, кроме военного дела. Ты не занимался ни борьбой, ни панкратием [3] и вообще не бывал в гимнасии. — Александр отвечал: — Я хочу состязаться в беге на колесницах, отец. — Тот сказал: — Дитя мое, надо подобрать коней из моих конюшен, и в скором времени ты сможешь взять их с собой. А пока не спеши, тщательно подготовься сам — ведь это состязание, в котором можно стяжать величайшую славу. — Александр сказал: — Ты только мне дай позволение. У меня у самого есть кони, выращенные мною с малолетства. — Филипп поцеловал его, подивился его

---

* Текст в оригинале испорчен.
** Текст испорчен.
*** Текст испорчен.

рвению и говорит: — Дитя мое, если хочешь, отправляйся. — Александр пошел в гавань, велел спустить на воду новый корабль и погрузить на него коней с колесницами. Взошел он и сам на корабль вместе со своим другом Гефестионом и после благополучного плавания прибыл в Пису. Высадившись и приняв подношения, он приказал слугам позаботиться о конях, а сам с Гефестионом пошел прогуляться. Им повстречался некто по имени Николай, по возрасту уже мужчина, царь акарнанский, — однако непрочный царь, потому что он кичился Богатством и Удачей, этими двумя непостоянными богами, и полагался на свою телесную мощь. Он подошел, приветствовал Александра, желая узнать, зачем он здесь, и сказал: — Здравствуй, мальчик! — Тот сказал: — Здравствуй и ты, кто бы ты ни был. — Он говорит: — Как это ты ко мне обращаешься? Я Николай, таково мое имя, и я царь акарнанский. — Александр же сказал: — Не кичись так, царь Николай, словно ты можешь поручиться, что и завтра будешь в живых. Судьба не стоит на одном месте: весы наклонятся — и хвастунам конец. — А тот говорит: — Ты прав. А зачем ты прибыл сюда? Я слышал, что ты сын Филиппа Македонского. — Александр сказал: — Я приехал на состязания, но не в верховой езде — до этого я еще не дорос — не в управлении парой коней и ни в каком ином ристании такого рода. — Николай сказал: — Так чего ж ты хочешь? — Я желаю состязаться в беге на колесницах. — Закипел гневом Николай: возраст Александра вызывал в нем презрение, — он не разобрал, чем беременела эта душа, поэтому он плюнул ему в лицо промолвив: — Пусть тебе не будет удачи! — Александр, приученный владеть собой, отер наглый плевок и с улыбкой произнес смертоносное заклятье: — Николай, клянусь непорочным семенем моего отца и священной утробой матери, что я и здесь на колеснице одержу победу над тобой, да и на родине акарнян копьем тебя одолею. — С такими словами разошлись они, взаимно уязвленные.

19. Спустя немного дней наступил срок состязания, и вышло девять возничих, из них четверо — сыновья царей: Николай, Ксанфий Беотийский, Кимон Коринфский и сам Александр. Остальные — сыновья полководцев и сатрапов. Была поставлена урна и брошен жребий. Николаю достался первый номер. Ксанфию — второй, Кимону — третий, Клитомаху Ахейскому — четвертый, Аристиппу Олинфийскому — пятый, Пиеру Фокейцу — шестой, Лакону Линдийскому — седьмой, Александру Македонскому — восьмой, Никомаху Локрийцу — девятый. Выстроились у отправной черты ездоки на колесницах. Трубы проиграли обычный напев, был дан сигнал — все ринулись вперед в стремительном порыве... * первый поворот, второй, третий и четвертый... ** ...отставшие, так как кони, ослабев, тяжело дышали. Александр мчался четвертым, за ним Николай, стремившийся не столько победить, сколько по-

* Текст испорчен.
** Текст испорчен.

губить Александра; ведь отец Николая был на войне убит Филиппом. Зная это, сообразительный Александр, когда остальные возничие свалились, дал Николаю сперва обогнать себя. Николай, возомнив, что он уже победил Александра, промчался мимо него в надежде получить венок победителя. Через два — три стадия правый конь Николая спотыкается и опрокидывает колесницу вместе с возничим. Пустив коней во весь опор, Александр тут же раздавил Николая. Увенчанный дикорастущей маслиной, подымается он к олимпийскому Зевсу. Храмовый прислужник говорит ему: — Александр, как ты победил Николая, так победишь и многих врагов.

20. С таким предзнаменованием Александр возвращается обратно в Пеллу и обнаруживает, что Филипп отверг Олимпиаду и женится на сестре Аттала Клеопатре [4]. Как раз во время заключения брака вдруг входит Александр с победным олимпийским венком на голове, занимает место на ложе за столом и говорит: — Отец, прими победный венок, первый, заслуженный мною в поте лица. А когда и я буду выдавать замуж мою мать, я позову тебя на ее свадьбу. — Эти слова были мучительны для Филиппа.

21. Был некий шутник по имени Лисий. Он сказал: — Филипп, не смущайся и не мучайся. Смело положись на молодость твоей нынешней новобрачной: от нее у тебя будут дети, законнорожденные, не прелюбодейные, а похожие на тебя по нраву.

Александр, услышав это, вспыхнул гневом, швырнул кубок, бывший у него в руках, в Лисия и уложил его на месте; а Филипп бросился с мечом на свое же детище — на Александра, желая его убить, но оступился и упал возле ложа. Тогда Александр сказал: — Филипп стремился захватить Азию и перевернуть Европу, а сам не в силах ни шага сделать. — С этими словами он вырвал у него из рук меч и стал им рубить всех возлежавших.

И уходит от Филиппа и приходит к своей матери как мститель за нарушение брака.

22. Через несколько дней входит он к отцу и говорит: — Филипп, — называю тебя по имени, чтобы не огорчить тебя, называя отцом, — я пришел к тебе не как сын, а как друг, как посредник, чтобы разобрать, за что ты обидел свою жену Олимпиаду, которая тебе никакой обиды не нанесла. Скажи мне: Александр поступил хорошо, убив Лисия, ты поступил дурно, выступив против твоего же сына Александра, жениться же на другой... * Ты думал, что это хорошо? Опомнись, приди в себя. Я знаю, отчего ты так опустился. Я не о теле говорю — ты терзаешься душой, сознавая свои заблуждения. И призываю тебя... ** — Выслушав это увещание и осуждение, Филипп еще больнее ощутил свою немощь и поэтому счел более разумным промолчать, не отвечать на слова Александра; взвесив все, он остался в нерешительности.

---

* Текст испорчен.
** Текст испорчен.

Александр же, выйдя от Филиппа и зайдя к матери, сказал ей: — Не возмущайся, матушка, поведением Филиппа. Если он сам не замечает своего заблуждения, я буду его обвинителем вместо тебя. Так что ты первая зайди к нему — ведь надлежит жене подчиняться мужу. — Такими словами он ободрил мать, привел ее к Филиппу и говорит: — Отец, — теперь я называю тебя отцом, потому что ты поверил своему сыну, — вот перед тобой моя мать, после долгих моих уговоров она согласна предать забвению твои проступки. Обнимитесь же при мне, — в этом нет ничего зазорного — ведь я родился от вас обоих. — Такими словами Александр помирил своих родителей, так что все македоняне восхищались им.

23. Был некий город, называемый Мофона, отложившийся от царства Филиппа. Туда Филипп послал Александра воевать. Александр же своей речью убедил мофонян покориться и не прибегать к оружию. Они охотно заплатили дань — три таланта — и выставили две тысячи воинов. И вот Александр возвращается, заходит к отцу, застает у него людей в варварском одеянии, стоящих перед ним, и спрашивает: — Кто это такие? — Они отвечали: — Сатрапы Дария. — Он спросил: — Зачем же они здесь? — Они отвечали: — Для взимания обычной дани с твоего отца. — За что же, — говорит он, — они взимают дань? — Они отвечали: — За вашу землю в пользу Дария. — Александр же сказал: — Если боги дали ее людям для пропитания, зачем он собирает приношения с божьего дара? Это несправедливо. — И, подозвав варваров, сказал: — Отправляйтесь в путь и скажите Дарию: «Когда Филипп был один, он платил тебе дань. Когда же родился у него сын Александр, он перестал давать ее, и даже то, что ты раньше получил, я отберу и потребую у тебя обратно, когда приду». Сказав это, он отослал сборщиков дани, не удостоив даже дать письмо к пославшему их царю.

Филипп радовался, видя, каков Александр. Когда в другом городе возникли беспорядки, он послал его туда воевать. Тот своей речью убедил граждан покориться и отказаться от насилия. Получив с них подать, он вернулся обратно.

24. Был некто по имени Павсаний, человек значительный и богатый, фессалоникиец, обладавший и великим могуществом. Он влюбился в Олимпиаду и подослал к ней таких людей, которые сумели бы склонить ее бросить Филиппа и выйти замуж за него. Олимпиада не соглашалась. И вот Павсаний замыслил коварный план и стал разузнавать, когда Александр собирается быть вне дома. Такое время настало: Александр был на войне с какими-то городами, а вдобавок происходили театральные состязания; узнав, что Александр отлучился, а Филипп участвует в священных посольствах, Павсаний является, вооруженный мечом, бросает копье в Филиппа и метко попадает ему в бок, но не убивает его на месте. Поднимается немалое смятение в городе. Павсаний спешит в царский дворец, — несмотря на то, что Филипп еще был жив, — с целью похитить Олимпиаду. Он вошел туда, когда Филипп, при

последнем издыхании и сильно страдая от боли, которую причиняла рана, рыдал и стенал, однако мучался он и оттого, что не успел он умереть, как его жену насильно выдают замуж за другого. Кроме того, он страстно желал видеть Александра, давно уже бывшего в отлучке, помня и его сообразительность, и свойственную ему храбрость. Филипп говорил окружающим: — Если бы Александр был здесь, враг и пытаться бы не стал предпринимать что-либо против его отца и матери. А если бы и попытался из-за дурных своих прирожденных свойств, то погиб бы. Сейчас я с великой болью и отчаянием беседую с вами в последний раз в жизни. К вам я обращаюсь: когда вернется сын мой Александр, скажите ему: «Отец твой Филипп требует, чтобы ты отомстил своей крепкой рукой за его смерть и за похищение Олимпиады, твоей матери».

В тот же самый день вернулся, покорив оба города, Александр и, видя великое смятение, стал допытываться, что тому причиной. Он узнает о случившемся и о том, что Павсаний находится в царском дворце. Он входит туда вместе с соратниками и видит, что Павсаний обнимает Олимпиаду. Схватив двуострый дротик, Александр хотел метнуть его в Павсания, но побоялся, что убьет и Олимпиаду. Узнав, что отец еще жив, Александр подводит к нему Павсания и говорит: — Я пришел, отец, чтобы воздать твоим врагам. Живи, царь, бессмертно твое имя. Взгляни: твой враг Павсаний, связанный, стоит перед тобой и трепещет. — Филипп взглянул на него, но не мог уже говорить из-за потери крови и слабости. Он обнял, поцеловал Александра и кивком попросил дать ему меч. Когда Александр подал меч, Филипп собственными руками наносит Павсанию смертельный удар и на месте убивает его. Отослав своего врага в Аид прежде себя, Филипп, собрав последние силы, особенно благодаря присутствию Александра и так быстро свершившемуся возмездию, говорит: — Дитя мое Александр, тебе суждено быть владыкой мира. Помни об отце твоем Филиппе и не отказывайся называть меня своим отцом. Моя же судьба уже исполнилась. — С этими словами он испустил дух. Оплакивая его, Александр сказал: — Отец, царь царей Филипп! При твоей жизни никто из пренебрегавших тобою не оставался безнаказанным. Неловко промахнулась твоя рука, и ты не попал в Павсания. Как погиб раненый владыка мира? Киклоп [5] Павсаний до срока отослал тебя к богам, за что Справедливость тотчас же воздала ему по заслугам. — Окончив этот плач, он богато убрал его могилу, устроил склеп, а над могилой воздвиг храм. И Олимпиаду, тяжко горевавшую о происшедшем, и македонян, находившихся в смятении, ободряло присутствие Александра.

25. Несколько дней спустя, когда они поуспокоились, Александр однажды вспрыгнул на подножие статуи своего отца и воскликнул громким голосом: — Дети пеллейцев, амфиктионов [6], фессалийцев, лакедемонян и остальных эллинских племен, идите все сюда, доверьтесь мне, Александру. Пойдемте походом на варва-

ров! — Сказав это, он дал распоряжение по городам. Молодые люди, желавшие принять участие в походе, по собственному почину стали стекаться в Македонию, словно созванные боговдохновенным голосом. Александр отомкнул отцовский оружейный склад и стал раздавать юношам вооружение. Он привлек к себе и соратников Филиппа, хотя они были уже стары. Те сказали ему: — Мы уже в летах, ведь мы совершали походы вместе с твоим отцом, и наше тело уже немощно. Поэтому просим тебя уволить нас от военной службы. — Александр отвечал: — Тем охотнее я поведу вас с собой в поход, хоть вы и старики: ведь старость по своей природе много сильнее молодости; юношеский возраст часто подпадает под власть тела и необдуманно склоняется в дурную сторону... старик же сперва поразмыслит... что... помедлить с натиском и разумным соображением... * отклонить опасность. Так вот, вы будете нашими соратниками, не стоя в строю лицом к лицу с неприятелем, а внушая молодежи, чтобы она благородно сражалась. В этом взаимная помощь... ** вы будете воздействовать на их умы, зная, что и ваше спасение — в победе нашего государства. Если их одолеют, то враги доберутся и до людей беспомощного возраста, а если они победят, то победой будут обязаны вашим разумным советам. — Такими словами Александр убедил даже глубоких стариков следовать за ним.

26. Он снова собрал прежнее войско Филиппа, и по подсчету оказалось: македонских и союзных пехотинцев семьдесят две тысячи, македонских всадников — две тысячи, фракийцев, пафлагонцев и скифов, которыми он пользовался в качестве передовых отрядов, — восемьсот.

Всего вышло семьдесят семь тысяч и четыре тысячи шестьсот. Вооружив их тем оружием, которое осталось ему от отцовских воинов, он взял из македонской казны семьдесят талантов в золотой монете, имевшей хождение повсюду. Построив триеры и баржи, он переправился из Македонии через реку Термодонт в заречную Фракию, по своему положению всегда покорную мощи его отца Филиппа. Там он присоединил отборных солдат и, получив пятьдесят талантов серебра, двинулся на Ликаонию [7]. Совершив жертвоприношение вместе с бывшими там стратегами, он переправился в Сицилию, привел в повиновение непокорных и переплыл в Италийскую землю. Римские полководцы посылают ему через Марка Эмилия, полководца, венок Капитолийского Зевса, перевитый жемчужными нитями, говоря: «Мы будем, Александр, ежегодно увенчивать тебя золотым венком весом в сто фунтов». Он, приняв выражение их покорности, обещался возвеличить их. От них он получает тысячу воинов и четыреста талантов. Они говорили, что дали бы ему и больше, если бы не затеяли войну с карфагенянами...

30. Отправившись оттуда и пересекши Срединное море [8], он

---

* Текст испорчен.
** Текст испорчен.

прибыл в Африку. Полководцы афров, выйдя ему навстречу, умоляли его избавить их город от римлян. Он, зная их бездеятельность, отвечал: — Или станьте сильнее их, или платите дань тем, кто сильнее вас. — Оттуда в сопровождении немногих воинов он через всю Ливию приходит к святилищу Аммона... * погрузив их на суда, велит им плыть к острову Фаритиде и там ожидать его. Сам же он поклонился Аммону, принес ему жертву, помня слова матери, что он рожден от Аммона, и, помолившись, сказал: — Отец, если истинно утверждение моей матери, что я родился от тебя, то дай мне предвещание. — Сказав это, он прождал день. Заснувши, он увидел во сне Аммона в объятиях Олимпиады. И вот он встает ото сна и, познав мощь этого бога, устраивает ему святилище... ** из собственной надписи: «Отцу, богу Аммону, посвятил Александр». Он попросил бога дать предвещание, где же основать приснопамятный город, носящий имя Александра. И видит во сне бога, говорящего ему:

Царь, услыши мое, козерогого Феба [9], вещанье:
Если желаешь ты юным пребыть на вечные веки,
Там, где остров Протея [10], воздвигни ты град многославный;
И владыка Плутон, покровитель незыблемый, будет
Сам с пятихолмных вершин беспредельной вселенною править.

Получив такое предвещание, Александр стал разведывать, что это за остров Протея и какой же там местный бог... *** Принеся жертву своему отцу Аммону, он отправился в путь, и в какой-то ливийской деревне войско расположилось на отдых.

31. Во время прогулки Александр заметил крупного оленя, пасущегося около своего логова. Он крикнул и велел лучнику пустить в зверя стрелу. Тот недостаточно проворно натянул тетиву, стрела отклонилась... **** он огорчился, не попав в зверя. Александр сказал: — Эх ты, недотянул... — И было названо то место Паратонием — из-за того восклицания Александра [11].

Отправившись оттуда в путь, он приходит в Тафосирис и узнает от местных жителей, что тамошнее святилище — могила Осириса. Принеся жертву этому богу, он немедленно выступил в путь. Очутившись на равнине, он видит огромную, простирающуюся беспредельно область с шестнадцатью поселками. Поселки были следующие: Стейрамфейс, Фаненти и Эвдем, Акам, Эвпир, Ракотис, Гегиоса, Ипон, Крамбейты, Крапаты и Лиидий, Пасес, Тересис на Нефеле, Мения, Пелас... ***** Знаменит был Ракотис. Он-то как раз и был главным городом. Некогда эти шестнадцать поселков лежали на двенадцати реках, впадающих в море... ******

---

* Текст испорчен.
** Текст испорчен.
*** Текст испорчен.
**** Текст испорчен.
***** Текст испорчен.
****** Ввиду плохой сохранности текста сделана небольшая купюра.

Длину города Александр определил от так называемой Пандисии до Гераклова устья, а ширину от Мендесия до малого Гермуполиса... * Однако Навкратиец Клеомен и родосец Динократ не советовали ему основывать такой большой город, потому что не хватит людей для его заселения. И даже если он будет заполнен, то торговцы не смогут обеспечить его продовольствием. Да и жители в самом городе будут склонны к раздорам, раз он так беспредельно велик. Ведь жители малых городов легко прислушиваются к добрым советам и занимаются полезными делами, между тем как множество разных племен, живущих в огромном городе, бывают даже и незнакомы друг с другом. Александр, уступая строителям, предоставил им начертать план города в угодных им размерах. Они определили длину города от Драконта, лежащего в нижней части Тафосирийской косы, до Агатодэмона, находящегося в низовьях Канопа, а ширину от Мендесия до Эврилоха и Мелантия. Александр приказал местным жителям поселиться в тридцати милях от города, подарив им землю и назвав их александрийцами. На главных подъездных путях оказались в ту пору Эврилох и Мелантий, поэтому их названия сохранились.

Александр отнесся с уважением и к другим строителям города, среди которых был навкратиец Клеомен, олинфиец Кратер и ливиец Герон, имевший брата по имени Гипоном. Гипоном посоветовал Александру, прежде чем закладывать основание города, провести каналы, изливающиеся в море. Александр послушал его и отдал такой приказ. Подобных каналов не было еще ни в одном городе. Каналы прозваны «гипономами» потому, что имя ливийца, предложившего их провести, был Гипоном.

Поистине нет города больше Александрии; все ведь города занесены на карты. Самый большой город Сирии, Антиохия — 8 стадиев и 72 фута. Карфаген в Африке — 16 стадиев 7 футов. Вавилон в варварских странах — 12 стадиев и 208 футов. Рим — 14 стадиев и 20 футов. Александрия же — 16 стадиев 395 футов.

32. Когда Александр прибыл в эту местность, он нашел реки, рвы и разбросанные тут и там деревни. Он увидел с суши какой-то остров в море и спросил, как называется остров. Местные жители отвечали: — Фарос. Там обитал Протей, а могильный памятник Протея находится у нас, и мы чтим его обрядами на одной очень высокой горе.

Его перенесли в так называемый теперь «героон» [12] и выставили гробницу для обозрения. Принеся жертву герою Протею и заметив, что его памятник обветшал за давностью лет, Александр распорядился немедленно восстановить памятник и нанести общие очертания города. Его пределы очертили, сыпля муку. И слетающиеся птицы всё... ** склевали и улетели. Недоумевая, что значит это знамение, Александр вызвал толкователей знамений и расска-

---

* Ввиду плохой сохранности текста сделана небольшая купюра.
** Текст испорчен.

зал им о случившемся. Они же отвечали: — Этот город после своего основания будет питать всю вселенную и повсюду будут рассеяны люди, в нем родившиеся. Ибо птицы облетели всю вселенную.

Строить Александрию начали со Срединной площади, и место это получило прозвание «Начало», так как оттуда началось строительство города. Тем, кто там находился, всякий раз являлся змей, наводил на них страх, и они бросали работу. Об этом было передано Александру. Он приказал на следующий день поймать змея, где бы его ни обнаружили. Рабочие, получив такое распоряжение, одолели и убили страшное животное, чуть только оно появилось подле того места, что теперь называется Стоя; а Александр приказал огородить там же священный участок и предать змея погребению. А поблизости он велел развесить венки в память явления благого божества.

Он приказал всю выбрасываемую при закладке фундаментов землю свалить не куда попало, а в одно место, и до настоящего времени там видна большая гора, которую называют Коприя. Заложив большую часть городских кварталов и составив план, он начертал на нем пять букв: А, Б, Г, Д, Е. «А» означало Александр, «Б» — басилевс (царь), «Г» — генос (род), «Д» — Диос (Зевса), «Е» — ектисе (основал) город на вечные времена... *

33. Александр обнаружил... ** на пяти самых высоких холмах... *** что является солнцем, колоннами Гелиоса и святилищем героя. Искал он и святилище Сараписа согласно оракулу, данному ему Аммоном, самым могущественным из всех богов:

> Царь, услыши мое, козерогого Феба, вещанье:
> Если желаешь ты юным пребыть на вечные веки,
> Там, где остров Протея, воздвигни ты град многославный;
> И владыка Плутон, покровитель незыблемый, будет
> Сам с пятихолмных вершин беспредельной вселенною править.

Так вот он стал искать всевидящего бога. Воздвигнув огромный жертвенник против святилища — он теперь называется «алтарь Александра» — он совершил богатейшее жертвоприношение и, помолившись, сказал: — Кто бы ты ни был, бог, покровитель этой земли, взирающий на беспредельную вселенную, прими эту жертву и стань мне помощником против моих врагов. — Сказав это, он возложил жертвы на алтарь. Внезапно слетел с вышины большой орел, схватил внутренности жертвенного животного и, пронесясь по воздуху, уронил их на какой-то другой алтарь. Следившие за его полетом сообщили царю Александру, где это место. Он немедленно прибыл туда, увидел внутренности, лежащие на алтаре, и храм, сооруженный на старинный лад, а внутри него сидячую статую — ее не могла распознать смертная природа. Рядом с неведомой статуей стояло огромное изваяние девы. Александр стал расспрашивать у тамошних жителей, что это за бог. Те отвечали,

* Ввиду плохой сохранности текста сделана небольшая купюра.
** Текст испорчен.
*** Текст испорчен.

что не знают, но что у них есть предание от предков, что это святилище Зевса и Геры. В нем Александр увидал и те обелиски, что доныне находятся в Сарапее [13] вне устроенной теперь ограды. Они были испещрены священными письменами. Александр осведомился, чьи это обелиски. Ему сказали: — Царя, владыки мира Сесонхосиса. — Была среди прочих и такая надпись священными письменами: «Царь Египта Сесонхосис, владыка мира, посвятил это озирающему мир богу Сарапису». И вот Александр сказал, взглянув на бога: — Величайший Сарапис, если ты бог вселенной, яви мне это. — И во сне предстал ему величайший бог и сказал: — Александр, ты забыл твои слова при жертвоприношении? Разве не ты сказал: «Кто бы ни был ты, покровитель этой земли, взирающий на беспредельную вселенную, прими эту жертву и стань мне помощником против моих врагов». И внезапно налетел орел, похитил внутренности и бросил их на алтарь. Разве ты не понял из этого, что я пекущийся обо всем сущем бог? — Александр, все еще во сне, воззвал к богу и сказал: — Останется ли этот город, сооружаемый в честь моего имени, Александрией или мое имя будет заменено именем какого-нибудь другого царя, открой мне. — И вот он видит, что бог, держа его за руку, переносит его на величайшую гору и вопрошает: — Александр, можешь ли ты передвинуть эту гору на другое место? — Тому представилось, будто он отвечал: — Не могу, владыка. — И бог сказал: — Так и на место твоего имени не может быть перенесено имя другого царя. И всякими благами возвеличится Александрия, возвеличивая и города, бывшие до нее. — И сказал Александр: — Владыка, еще одно открой мне, когда и как предстоит мне отойти?

Бог же сказал:

Прекрасно, беспечально драгоценное
Неведение смертных всех, какой же им
Назначен срок для жизни окончания.
Ведь кто родился смертным, тот не думает, —
Пусть даже вкус беды и не знаком ему, —
Что жизнь бессмертна будет в пестроте своей.
И точно так же было б лучше для тебя,
Чтоб не хотел ты вовсе знать грядущее.
Но раз меня ты сам уж начал спрашивать,
То, так и быть, узнаешь вкратце вот о чем:
Ты под моим покровом с малолетства рос,
И быть тебе всех варварских племен царем..
...Ты будешь владеть желанным городом... *
Наступят сроки, и с теченьем времени
Твой город процветет благоукрашенный,
Богов богатый храмами, святынями,
Прославлен красотою, многолюдностью.
И всякий поселенец в нем останется,
Забыв родные пашни ради города.
Его я стану мощным покровителем
...сев впереди... невидимых... **

* Текст испорчен, стихотворный размер нарушен.
** Текст испорчен.

Там землю утвердив и небосвода строй,
Зажег огонь маячный над пучиною.
И путь закрыл я злому ветру южному,
Чтоб демонов дурных напасти вредные
Тревожить город никогда не смели бы.
Землетрясенья, голод, язвы, мор, война
Случись здесь, — их уж миновать никак нельзя, —
Пройдут чрез город легким сновидением.
При жизни, словно божеству, тебе всегда
И всюду поклоняться будут люди все,
А после смерти будешь сопричтен к богам.
Дары приимешь от царей. И обитать
Здесь будешь ты, умерший, но всегда живой:
Твой город будет усыпальницей тебе.
Теперь открою, Александр, кто я такой:
Сложи ты двести и один и сто, еще
Один, четыре раза двадцать с десятью
И букву первую опять в конец поставь,
Тогда постигнуть сможешь ты какой, я бог[14].

Дав предвещание, бог удалился к себе. Александр же, пробудившись от сна и вернувшись мысленно опять к предвещанию, узнал великого бога вселенной, Сараписа. Соорудив большой алтарь, он велел привести жертвенных животных, достойных этого бога, заколоть их и возложить на алтарь; прибавив туда же ладана и гору разных благовоний, он велел всем пировать.

Приказывает он и архитектору Пармениону изготовить статую для учреждаемого святилища — соответственно гомеровским стихам, — так ведь где-то сказал прославленный Гомер:

Рек, и во знаменье черными Зевс помавает бровями:
Быстро власы благовонные вверх поднялись у Кронида
Окрест бессмертной главы, и потрясся Олимп многохолмный[15]

Парменион и устроил так называемый Сарапей Пармениона. Так обстояло дело с устройством города.

34. Александр же с войском двинулся в Египет, а грузовые корабли отправил в Триполис[16] и велел ожидать его. Войско страдало от тяжелого перехода. По всем городам прорицатели встречали Александра, вынося изображения своих богов и провозглашая его новым Сесонхосисом, владыкой мира. Когда он прибыл в Мемфис, его посадили на трон в тронном святилище Гефеста и одели в пышное одеяние как царя Египта.

Александр видит статую из черного камня и надпись на подножии ее: «Бежавший царь вновь придет в Египет, не состарившись, а помолодев, и подчинит нам наших врагов персов». Александр спросил, чья это статуя. Ему отвечали: — Это наш последний царь Нектанеб. Когда персы выступили, чтобы завоевать Египет, он при помощи волшебства увидел, что египетские боги вышли навстречу неприятельским лагерным начальникам, и, поняв, что боги его предали, спасся бегством[17]. Когда же мы стали искать его и вопрошать наших богов, куда бежал наш царь, бог так вещал нам из святилища Синопейского храма: «Бежавший

царь снова придет в Египет, не постарев, а помолодев, и наших врагов — персов — он подчинит нам.

Услышав это, Александр вскакивает на подножие статуи, обнимает ее и говорит: — Это мой отец. Я — его сын. Оракул бога вам не солгал. Впрочем, я удивляюсь, как это вы покорились варварам, между тем как у вас есть стены нерукотворные, которых не может разрушить неприятель: ведь кругом реки, они охраняют ваш город, и извилистые, труднопроходимые дороги, по которым не могут продвигаться огромные войска. Вот я пришел к вам с небольшим отрядом, да и то мы страдали от бездорожья. Но надо приписать промыслу богов и их справедливости то, что вы, обладатели плодородной земли и живительной реки, подпали под власть тех, у кого нет ни того, ни другого. Если бы вы, обладая дарами, какие есть у вас, еще бы и царили, то варвары, лишенные этих даров, вымерли бы. Поэтому они имеют военную мощь, а вы, обладающие земледельческим искусством, находитесь в услужении у тех, кто его не знает, так что неимущие получают от имущих.

Сказав так, Александр потребовал дани, которую они приготовили для Дария: — Не для того, — сказал он, — чтобы сделать вклад в собственную казну, а для того, чтобы я мог покрыть издержки по строительству вашего же города — Александрии, расположенной в Египте, но являющейся столицей вселенной. — После таких его слов они охотно дали деньги и с почетом проводили его через Пелусий [18].

35. Набрав войско и снявшись с лагеря, он выступил в поход на Сирию. Ближайшие города подчинились ему. Включив там в свое войско тысячу конных, он подступил к Тиру. Жители Тира противились ему и не позволили занять город, основываясь на некоем древнем предвещании, гласившем: «Если вас покорит царь, ваш город будет разрушен до основания». Поэтому они и были против вступления Александра в город. Жители Тира обнесли весь город стеной и в завязавшемся ожесточенном сражении погубили много македонян, так что войско Александра поредело. Александр отступил, собрал свои силы и стал изыскивать способ разрушить Тир. Во сне он видит некоего говорящего ему: «Не подавай о себе вести в Тир» *. Увидев это, он встает ото сна и посылает послов с письмом следующего содержания:

«Царь македонян Александр, сын Аммона, дитя царя Филиппа и сам величайший царь над Европой, Азией и Ливией, говорит жителям Тира, ныне уже не существующим. Я власть... ** народы, я хотел миролюбиво и благосклонно совершить свое вступление в ваш город. Если же вы, жители Тира, окажетесь первыми на

---

* Текст, по-видимому, испорчен.
** Текст испорчен.

моем пути, — я обращаюсь не к правителям, а * ...будете противиться вступлению моего войска, то на вашем примере и другие узнают, как велика сила македонян по сравнению с вашим неразумием. Неколебимым пребудет данное вам предвещание: что я пройду через ваш город, и он падет. Ободритесь же, если вы благоразумны; а если нет — горе вам!»

Прочитав послание, первосоветники тирские велели бичевать послов, говоря: — Каков этот ваш Александр? — Те не сказали ни слова, и их распяли.

Александр, узнав об этом, искал способа захватить жителей Тира. Он считал, что их неразумие... ** во сне он увидел, что один из прислужников Диониса, Сатир, подает ему сыр, а он, взяв его, стал топтать ногами. Пробудившись, Александр рассказал о своем сне одному толкователю. Тот сказал: — Царь Александр, Тир станет тебе подвластным, ибо ты растоптал ногами сыр [19]. — Так судил о сне толкователь. Спустя несколько дней Александр пошел войной на жителей Тира, причем три близлежащих поселка помогали ему. Они взломали ворота, убили стражей и разорили Тир, разрушив его до основания. И до нынешнего дня говорится: «беды Тира» — из-за взятия города Александром, а те три поселка, смело помогавшие ему, Александр возвел в разряд городов и назвал Триполис.

36. Он поставил начальником в Тире сатрапа Финикии и, выступив в поход, прошел через всю Сирию. Его встретили послы Дария, которые везли послание от него, плеть, мяч и ящик. Развернув послание, Александр прочел его, а оно было вот какого содержания:

«Царь царей и родич богов, сопрестольник бога Митры, восходящий вместе с солнцем, и сам бог, я, Дарий, — тебе, Александру, моему слуге, предписываю и приказываю держаться покрепче за своих родителей, а моих рабов, и почивать на груди твоей матери Олимпиады. Твой возраст еще нуждается в воспитании и в соске. Поэтому я и посылаю тебе плеть, мяч и золото, чтобы ты выбрал, что сам захочешь. Плеть, потому что тебя надо воспитывать, мяч, чтобы ты играл с твоими сверстниками и не соблазнял бы молодежь тем, что ей не по возрасту, словно отъявленный разбойник, повергающий в смятение города. Ведь даже если бы мужи со всей вселенной сошлись воедино, то и тогда невозможно было бы сокрушить многолюдство персов. Войска у меня так много, что его не исчислить, как песок, а золота и серебра столько, что им можно покрыть всю поверхность земли. Поэтому я и посылаю тебе ящик, полный золота: если у тебя нечем расплатиться, ты мог бы дать его своим товарищам по разбою, чтобы каждый из них счастливо убрался на родину. Если же ты не послушаешься моих при-

---

* Текст испорчен.

** Текст испорчен.

казов, то я пошлю людей, уже осужденных на смерть, чтобы они схватили тебя. Вряд ли ты настолько удачлив, чтобы тебя не схватили мои воины, а уж если будешь схвачен, тебя накажут не как сына Филиппа, а распнут как отступника и отъявленного разбойника» [20].

37. Когда Александр прочел это, то на его войско напал страх. Александр, заметив их испуг, сказал: — Мужи македонские, что вы так смущены этим письмом, словно письмена и в самом деле имеют силу? Дарий так пишет из хвастовства, сам он вовсе не похож на написанное. Бывают псы, которые уже не могут взять крепостью тела, так они громко лают, точно лай свидетельствует о силе. Вот и Дарий — на деле он ничего не может, а в письмах кажется важной особой, точь-в-точь как псы лающие. Но допустим, что написанное соответствует действительности: этим самым становится яснее, с кем нам предстоит храбро воевать, чтобы неожиданно не потерпеть поражения, а заслужить венки за мужественную борьбу.

Сказав это, Александр приказал связать за спиной руки тем, кто доставил письма, и увести их на распятие. Те перепугались и говорят: — Что плохого мы тебе сделали, Александр, почему ты велишь предать нас позорной казни? — Александр отвечал: — Вините вашего царя, а не меня. Ведь Дарий отправил эти послания, словно не к царю обращаясь, а к отъявленному разбойнику. Вот я вас и казню, раз вы пришли к самоуправцу, а не к царю. — Они же сказали: — Дарий писал, ни о чем не ведая, мы же видим строгий военный порядок и понимаем, с каким великим и разумным царем имеем дело. Поэтому окажи себя сыном царя Филиппа и даруй нам жизнь. — Александр отвечал: — Не потому, что вы испугались наказания и стали умолять меня, я помилую вас. Я вовсе не имею намерения наказать вас, но хочу показать различие между царем-эллином и варваром-тираном. Не думайте, что я причиню вам зло. Царь не умерщвляет вестников.

Сказав так, Александр приказал устроить пир и сам пировал, заняв со своими людьми место на ложе за столом; но когда некоторые из послов, доставивших письма, завели было речь о том, как заманить Дария в засаду, не объявляя ему войны, Александр сказал: — Ни слова об этом! Если бы вам не предстояло отправиться отсюда к Дарию, я постарался бы кое-что выведать, но так как вы отправитесь, я не хочу знать ничего: вдруг кто-нибудь из вас передаст Дарию сказанное здесь, и таким образом я стану совиновником наказания, которое вы понесете там как раз за то, что я избавил вас от наказания. — Эти слова Александра были высоко оценены и сатрапами, и посланцами, доставившими письма.

38. На другой день Александр пишет послание Дарию и читает его своим сатрапам втайне от посланцев; оно гласило:

«Царь Александр, рожденный отцом Филиппом и матерью Олимпиадой, царю царей, сопрестольнику солнца, величайшего

бога, потомку богов и восходящему вместе с солнцем, великому царю персов Дарию — привет. Позорно столь великому царю Дарию, превозносящемуся столь великой мощью, да еще и сопрестольнику богов, впасть в презренное рабство у какого-то человека Александра. Прозвания богов, примененные к людям, не свидетельствуют о силе великой или о разумении, а, напротив, вызывают негодование тем, что имена бессмертных даются тленным телам. Поэтому я уже познал тебя: ничего ты не можешь, хотя и украшаешь себя прозваниями богов и облекаешь себя их небесным могуществом здесь на земле. Сам смертный, — я иду на тебя смертного. А куда склонятся весы победы, зависит от вышнего промысла. К чему ты пишешь нам о своих запасах золота и серебра? Для того ли, чтобы, узнав об этом, мы еще храбрее стали воевать с тобой, рассчитывая, что твое станет нашим? Если я нанесу тебе поражение, я прославлюсь и сделаюсь великим царем у варваров и эллинов — ведь я уничтожу великого царя персов Дария. А ты, если меня разобьешь, то ничего значительного не сделаешь — ведь ты разобьешь разбойника, как ты мне написал, я же — царя Дария. Ты послал мне плеть, мяч и ящик золота. Ты, конечно, послал мне это в насмешку, но я принял твои дары как доброе знамение. Плеть я получил, чтобы копьем и мечом сечь варваров и своими руками ввергнуть их в рабство. Мячом ты возвестил мне, что я буду обладать вселенной. Ибо вселенная как раз подобна мячу, она — шарообразна. Великое знамение послал ты мне и в виде ящика золота: себе самому ты предрек подчинение — разбитый мною, ты будешь платить мне дань».

39. Прочитав это войскам и запечатав, он вручил письмо посланцам и подарил им золото, посланное ему Дарием; они ушли, восхваляя благоразумие и великодушие Александра. А он, набрав еще воинов и покорив всю Сирию, двинулся в Азию. Получив письмо, Дарий, взволнованный его содержанием, пишет такое послание подвластным ему сатрапам:

«Царь Дарий сатрапам по ту сторону Тавра [21] — привет. Сообщают мне о восстании Александра, сына Филиппа; в своем безумии он переправился в Азию, намереваясь разорить мою страну. Так вот, схватите его и доставьте ко мне, не причиняя никакого вреда. Я, совлекши с него порфиру и выпоров его, отошлю его на родину, в Македонию, к матери Олимпиаде, дав ему погремушки и игральные кости, которыми забавляются дети македонян, а сопровождать его пошлю дядьку перса с плеткой, чтобы он наставлял мальчишку уму-разуму и не позволял бы ему питать замыслы взрослого человека, раньше чем он станет мужчиной. Триеры же, которые он привел, вместе с экипажем ввергните в пучину морскую. Воинов, на свою беду пошедших за ним, отошлите на поселение к Красному морю. Коней и обоз оставьте себе и раздайте вашим друзьям».

Сатрапы из тех краев, в свою очередь, написали и отослали Дарию письмо. Вот снятый с него список:

«Гидасп и Спинфер богу Дарию — привет. Мы удивляемся, как от тебя утаилось нашествие столь многочисленного племени. Послали мы к тебе и пятерых бродяг из того же племени, которых мы нашли у нас и заковали в цепи с крючьями. Тебе сперва надлежит их допросить. Ты прекрасно поступил бы, если бы поскорее прибыл с возможно большим войском».

Получив и прочитав письмо, Дарий написал им следующее:

«Царь царей, бог великий, Дарий Гидаспу и Спинферу и иным подвластным мне сатрапам — привет. Никогда не возлагайте каких-либо надежд на меня, если вы... * этим вы проявите вашу храбрость. Какого рода зверь напал на вас и привел вас в смятение? Вы, могущие угасить молнии, не смогли вынести громов безродного человека? Что вы можете сказать? Что кто-нибудь из вас погиб в строю? Что ранен кто-нибудь при перестрелке? Нет, только то, что был захвачен случайно подвернувшийся пленник. К чему мне присудить вас, опозоривших мое царство и не положивших предел бесчинствам этого разбойника?»

40. Узнав, что Александр находится поблизости, Дарий тоже стал лагерем на реке Пинаре и, написав письмо, послал его Александру, вот что в нем говорилось:

«Царь царей, бог великий Дарий, господин над ста двадцатью народами, говорит Александру следующее: из всех живущих на земле ты только один не знаешь имени Дария, которого почтили даже боги и сделали своим сопрестольником. Ты осмелился пересечь море и счел недостаточным скромно царствовать в Македонии вне подвластных мне областей, но, найдя страну без господина, ты провозгласил себя царем, набрал подобных себе отчаянных людей и пошел походом на эллинские города, неопытные в войне и сохранявшие независимость, которые я считаю никому ненужными; потому я и не требовал с них дани. Неужели ты думаешь, что и мы окажемся такими же, как те, кого ты застиг врасплох? Не хвастайся тем, что ты владеешь захваченными тобой областями. Ты поступил необдуманно, и тебе должно отказаться от своего безумия, покорно вернуться ко мне, твоему господину, и не собирать шайку разбойников и матереубийц. Если до сих пор я как бог должен был относиться к людям снисходительно, то теперь, раз уж ты довел меня до того, что требуешь даже послания от Дария, то вот я посылаю его тебе, чтобы ты пришел и поклонился богу Дарию. Если же ты все еще станешь упорствовать в своем безумии, казню тебя несказанно лютою смертью. А приспешники твои подвергнутся еще худшему, чем ты, если они тебя

* Текст испорчен.

не образумят. Заклинаю Зевса, величайшего отца, не вменять тебе в вину все, что ты совершил».

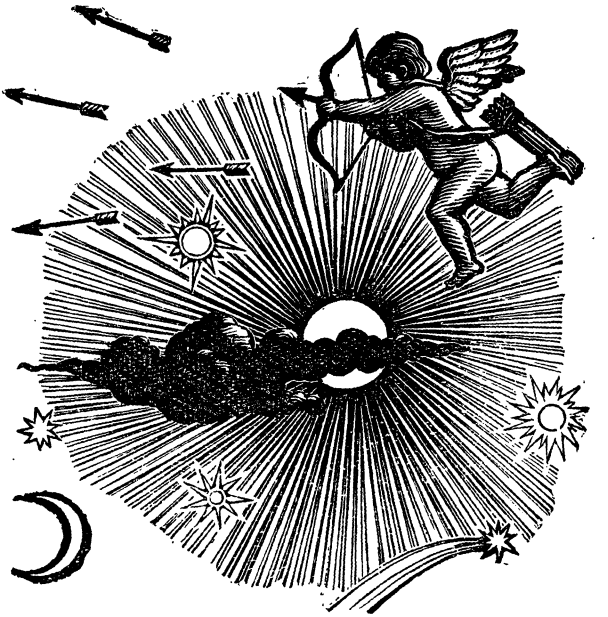
41. Когда это письмо было прочитано, Александр не испугался громких слов, а разгневался и двинулся в поход через Аравию. Дарий и его двор, видя, что Александр ведет войско на них, и думая одержать победу при помощи колесниц, снабженных серпами, поспешили занять фланговые позиции. И с противоположной стороны они поставили колесницы и весь воинский строй... * он руководил фалангой, через нее нельзя было проехать на конях, нельзя было и повернуть обратно. Множество колесниц погибло, когда со всех сторон осыпали стрелами возниц, другие же колесницы рассеялись по полю. Александр явился, когда их уже оставалось мало, уравнял свое правое крыло с левым крылом персов — ведь Александру довелось быть в этом строю — и, сев на коня, велел трубачам играть военный сигнал. Одновременно с сигналом трубачей подняли крик оба сошедшихся войска, и завязалась превеликая битва. Сражались изо всех сил, долгое время упорно сопротивляясь на флангах; поражая друг друга копьями, переходили с места на место; оспаривая друг у друга победу, отходили то те, то другие. Александр и его воины оттеснили Дария и его окружающих и одолели персов силою; в смятении они схватывались друг с другом в гуще сражения, и многие пострадали от своих же соратников, многие и от противника. Ничего нельзя было разглядеть, кроме коней, повергнутых на землю после гибели их седоков, и в поднявшейся пыли уже нельзя было распознать ни персидского стрелка, ни македонского пехотинца или всадника. Воздух стал мутным, земли не было видно под кровавою грязью, и даже само солнце, скорбя о происходящем и не желая глядеть на столько мерзостей, затуманилось. Но вот произошел перелом в сражении, и персы обратились в бегство, а вместе с ними и Аминта, сын Антиоха, который перебежал к Дарию, — раньше он был македонянином, — он помогал ему в делах управления страной.

Уже было под вечер. Дарий побоялся ехать на колеснице, потому что его могли легко узнать издали. Ночью он добрался до ущелья, оставил там колесницу и бежал верхом на коне. Александр из честолюбия стремился захватить Дария и преследовал его всюду, какой бы путь ему ни указывали. Колесницу Дария, его вооружение, мать, жену и детей Александр захватил, преследуя его на протяжении шестидесяти стадий. А самого Дария спасла ночь; имея к тому же на смену еще одного свежего коня, он бежал.

---

* Текст в оригинале испорчен.

АЛКИФРОН



ПИСЬМА

Книга первая

ПИСЬМА РЫБАКОВ

1

Эвдий Филоскафу.

Сегодня море перед нами расстилалось совершенно спокойное и гладкое. Целых три дня перед тем бушевала страшная снежная буря и с гор дули на море северные ветры; оно все потемнело, и пошли по нему волны горами; вода побелела от пены, так как повсюду на море волны сталкивались друг с другом; одни из них разбивались о скалы, другие рушились, вздувшись как огромные

пещеры. У нас поневоле было полное безделье. Занявши хибарки на берегу моря и собравши немного щепок, оставленных строителями кораблей, недавно рубившими здесь дубы, мы развели огонь и так спасались от мороза и холода.

Но четвертый день оказался для нас неожиданно прямо-таки «днем Алькионы» [1] — об этом можно было судить по замечательной чистоте и спокойствию воздуха; он принес нам неисчислимое количество всяких благ. Когда показалось солнце и первый его луч засверкал на гладкой поверхности моря, мы со всей поспешностью и усердием спустили на воду барку, которую за несколько дней перед тем вытащили на берег, и, расставивши сети, принялись за работу. Сети мы забросили недалеко от берега. Ах, какой восхитительный улов! Сколько рыбы мы вытащили! Переполненная сеть чуть было не утащила под воду все наши поплавки. Сейчас же на берегу оказались скупщики рыбы. Заплативши нам за пойманную рыбу наличными деньгами, они подняли на плечи коромысла и, подвесивши с обеих сторон корзины с рыбой, поспешили из Фалера [2] в город.

Всем этим мы были очень довольны. А кроме того, мы отнесли женам и детям немало более мелкой рыбы, так что можно было быть сытыми не один день, но даже, если бы началась буря, хватило бы на много дней.

8

Эвколимб Главке.

Тот, кто колеблется в своих мыслях, ждет решения от людей, к нему расположенных. Так и я: много говорил я, жалуясь ветру, но ничего не говорил я тебе, моя милая жена, — не решался. Теперь я обращаюсь к тебе и прошу, выбрав что тебе кажется лучшим, мне посоветовать.

Выслушай же, в чем дело и о чем тебе нужно высказать свое мнение. Наши дела, как ты знаешь, совершенно безвыходны, и наша жизнь — сплошная нужда; море ведь никак нас не кормит. А вот этот корабль, который ты видишь, на котором столько весел и гребцов, это корикский корабль, а толпа на нем — морские пираты [3]. Они хотят взять меня сотоварищем их смелого предприятия, обещая огромные доходы из добычи.

Меня взяла зависть на то золото, о котором они говорят, и при виде их одеяний у меня потекли слюнки; но я не решаюсь стать убийцей и осквернить кровью руки; ведь море сохранило их чистыми от преступлений с моего детства и до сих пор. С другой же стороны, оставаться на всю жизнь в союзе с бедностью тяжело и невыносимо. Взвесь же, что мне выбрать: к чему ты склонишься, жена, тому я и последую. Совет друзей обычно кладет конец колебанию мыслей.

Навсибий Примнею.

Не знал я до сих пор, как изнежена и как привыкла к роскоши молодежь из семей наших афинских богачей; недавно же, когда Памфил вместе со своими сверстниками нанял мою лодку, чтобы при совершенно спокойном море поплавать с нами и принять участие вместе с нами в ловле рыбы, я узнал, какие роскошные вещи им доставляются и с земли и с моря.

Не вынося жестких досок барки и возлегши на каких-то особенных иноземных коврах и покрывалах, — по его словам, он не может лежать, как остальные, на голой палубе, считая, по-видимому, ее доски жестче камня, — он затем стал просить у нас устроить ему тень, растянувши над ним полотно паруса, так как он ни в коем случае не может выносить солнечных лучей. Не только нам, занятым работой на море, но и всем без исключения, у которых нет избытка богатства, только одна забота — погреться как-нибудь на солнышке. Ведь слова «холод» и «море» значат одно и то же.

Когда мы поплыли, Памфил был не один и не с одними только товарищами, но за ним следовало большое количество бабенок цветущего возраста, все музыкантши. Одну из них называли Круматион, и она была флейтисткой, другая, Эрато, играла на псалтре, третья Эвепида — она била в кимвалы; таким образом, лодка оказалась у меня полной музыки, и все море наполнилось песнями и всяческими увеселениями. Но меня все это не веселило. И многие из тех, что ведут одинаковую со мной жизнь, — а особенно суровый Главкид, — вследствие своей зависти к ним были для меня тяжелее любого тельхина [4]. Когда же мне отсчитали большую плату, эти деньги развеселили и меня, и я теперь люблю его морские веселые поездки и очень хочу, чтобы явился ко мне другой такой же расточительный и богатый юноша.

Книга вторая

ПИСЬМА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

2

Иофон Эрастиону.

Пропади ты пропадом, чтоб тебе скверной смертью погибнуть, сквернейший, негоднейший петух, который своим криком разбудил меня, видевшего сладкий сон. Видел я во сне, дражайший мой сосед, что я важный и богатейший человек, что за мной идет целая толпа рабов; мне казалось, что они — мои экономы и управляющие. И казалось, что обе мои руки унизаны кольцами с дра-

гоценными камнями, стоящими много талантов; и пальцы у меня были мягкие и ничуть не похожи на мотыгу. Казалось, что рядом со мной идут и льстецы, вроде Гриллиона или Пантэкиона. А в это время афиняне, весь народ, собравшись в театр, громко кричали, требуя моего выбора в стратеги. И когда шло уже голосование, этот негодный петух закричал, и сновидение мое пропало. Но, даже проснувшись, я чувствовал большую радость, и лишь когда я сообразил, что наступают месяцы листопада, я понял, что обманчивы мои сны.

3

Амний Филомоху.

Выпавший град жестоко побил наши хлеба, и нет уже никакого спасения от голода. Купить привозного зерна я не могу из-за недостатка в деньгах. Как я слыхал, у тебя есть остаток от урожая прошлого года. Так вот, ссуди мне медимнов двадцать, чтобы я мог прожить сам с женой и детьми. Если будет хороший урожай, я тебе уплачу «такою же мерой, а, может, и больше» [5] — только бы настало изобилие. Не оставь без внимания хороших соседей, гибнущих, попав в беду.

9

Пратин Эпигону.

Когда был полдень и солнце как будто остановилось, я, выбравши себе одну «ветролюбивую» сосну — там, где она росла, дул ветерок, — спасался под ней от жары. Я наслаждался прохладой, и вот пришло мне на ум немножко позаняться музыкой. Взявши свирель, я прошелся по ней языком, пропуская между губами чуть заметное дыхание. У меня получилась сладкая пастушеская песня.

При этом, сам не знаю как, очарованные сладостью звуков, стали отовсюду собираться вокруг меня козы, и, бросивши пастись у земляничного дерева и в цветущих зарослях, все отдались музыке. И я, находясь среди них, изображал из себя эдона, сына Каллиопы [6]. Это я тебе рассказал, чтобы ты, мой друг, знал, что мое козье стадо такое музыкальное.

16

Питакнион Евстахию.

За твое гостеприимство и расположение к друзьям всего хорошего тебе самому, и жене твоей, и деткам, Евстахий! Что касается до меня, то, выследив вора, на которого давно имел зуб за то, что он украл у меня рукоятку плуга и два серпа, я сторожу его дома, поджидая на помощь себе своих односельчан. Так как

я стал слабее, я не считал возможным для себе схватить его собственными руками: взгляд у него дикий, брови сдвинуты, плечи, видимо, здоровенные, и ноги крепкие. Я же истощен трудом, доконала меня двузубая мотыга, на руках у меня мозоли и кожа тоньше старой змеиной шкуры. Жена и ребятишки придут к тебе и примут участие в твоем пиру; мой помощник чувствует себя сейчас еще слабым после болезни, а я и собака будем сторожить дома этого проклятого вора.

17

Напей Кренциду.

Помнишь, как, нагрузивши осла фигами и пластами сушеных фруктов, я отправился в город? Когда я там привязал его у одного знакомого, приятель повел меня, взявши с собою, в театр; мы сели там на хорошее место, и я утешался разнообразными зрелищами. Всего-то я не упомню, плох я, чтобы все это понять и рассказать. Но вот, увидав одну штуку, я рот раскрыл и чуть было речи не лишился: какой-то человек, выйдя на середину и поставив стол недалеко от треножника, положил на него три блюдечка, а затем он ими покрыл три небольших белых круглых камешка, какие мы находим по берегам ручьев. Их он то покрывал блюдечками по одному, то — не знаю как — показывал их все под одним, то они совсем пропадали из-под блюдечек и появлялись у него изо рта. А затем, проглотив их, он вывел на сцену стоявших рядом с ним зрителей и стал вытаскивать у них один камешек из носу, другой из уха, третий из головы, а затем, вытащив эти камешки, он опять заставил их исчезнуть из глаз. Этот человек — самый что ни на есть ловкий жулик, больше чем Эврибат из Эхалиеи, о котором мы слышали. Не дай бог, чтобы такая бестия появилась в деревне: никто его там не поймает, а он заберет все в доме и — только его и видели.

18

Эвнапа Главке.

Мой муж, уйдя из дому, вот уж третий день болтается в городе, а наш батрак Парменон — сущее наказание, бездельник — то и дело засыпает. А по соседству завелся страшный волк; кровожадный зверь, — так и смотрит, чтобы кого-нибудь зарезать; похитив в горах мою лучшую козу Хиону, он ушел невредимым; он пожирает теперь мою прекрасную козу, которая давала такое чудесное молоко, а я проливаю слезы. Муж ничего еще об этом не знает. Если же он узнает об этом, висеть этому наемнику на ближайшей сосне, сам же мой муж не успокоится, пока не придумает средства отомстить волку.

27

Ампелион Эвергу.

Жестокая зима в этом году, никто даже носу высунуть не может. Снег все засыпал, и белеют не только вершины холмов, но и долины; дела никакого, сидеть же и бездельничать стыдно. И вот, выглянув из своего домишка, не успел я открыть двери, вижу — в снежном буране несется целая туча птиц, черных и серых дроздов. Взяв тотчас же из горшка клею, я намазал ветки дикой груши, и сразу вся стая птиц села на них, и все повисли на сучьях — премилое зрелище! — у кого прилипли крылья, у кого голова или лапки. Из них, выбрав на твою долю самых жирных и мясистых, я посылаю тебе двадцать пять штук. У хороших соседей все хорошее должно быть общим; только плохие соседи друг другу завидуют и скупятся.

Книга третья

ПИСЬМА ПАРАСИТОВ

2

Трехедипн Мандилоколапту[7].

Вчера поздно вечером Горгий, из рода Этеобутадов, случайно встретившись со мной, любезно поздоровался и попрекнул, что я не часто захожу к нему. И затем, немного пошутивши, он сказал: — Вот что, дорогой мой, поскорей вымойся и приходи ко мне и приведи с собой гетеру Аедонион. Она близко знакома со мной и живет, как ты хорошо знаешь, немного в стороне от Леокория[8]. Ужин у нас приготовлен очень хороший: рыба кусками и кружки, полные, можно сказать, мендесийским[9] нектаром. — Сказав это, он ушел, я же побежал к Аедонион и, когда сказал ей, кто ее приглашает, едва не попал в большую беду.

Испытав, по-видимому, насколько неблагороден Горгий и насколько он мелочен и прижимист при расплате, она по свежей памяти затаила гнев против него. И вот она, схватив с очага полный горшок, чуть было не окатила меня с головы до ног кипятком, если бы я не успел вовремя показать пятки, едва избегнув опасности. Так-то нам, подгоняемым ошибочными нашими надеждами, приходится обманываться и чаще подвергаться оскорблениям, чем получать удовольствия.

3

Артепитим Книсозому.

Мне нужна веревка, и ты скоро увидишь мою шею в петле. Я не могу больше выносить побоев и других издевательств пья-

ных гуляк, — чтоб они все подохли! — но не могу совладать и со своим проклятым, прожорливым брюхом. Оно все время требует, и притом требует не только насыщения, но и лакомств а лицо мое не выносит пощечин, которые сыплются одна за другой, и боюсь, как бы я, вечно награждаемый ударами, не потерял глаза. Увы! увы! Беда! Чего только не заставляет нас переносить это брюхо, все пожирающее, вечно прожорливое. Я решил покончить с жизнью после роскошного обеда, сочтя лучше этой многострадальной жизни смерть после хорошего угощения.

10

Стемфилохерон Трапезохаронту.

Как ловко, как удачно все это вышло! Ты, конечно, спросишь меня, как, распрекрасный мой Трапезохаронт! Я тебе, конечно, расскажу, не дожидаясь твоего вопроса.

Как ты знаешь, город справлял «Торжество пострижения» [10]. Я, приглашенный на ужин, чтобы всех веселить, танцевал кордак. Пирующие, соревнуясь друг с другом, пили, пока — так как это состязание затянулось до бесконечности — всех пирующих не охватило сладкое забвенье и не обнял глубокий сон, так что они ткнулись носами все, вплоть до слуг.

Тогда я стал смотреть, не могу ли я прибрать к рукам что-либо из серебряной посуды. Но так как она была убрана с глаз еще тогда, когда гости были трезвыми, и поставлена в безопасное место, я, взявши под мышку полотенце, удрал так стремительно, что во время бегства потерял одну из сандалий.

Смотри, какое оно дорогое, из египетского полотна, окрашенное настоящим гермионским [11] пурпуром, а ткань — прямо-таки до невозможности тонкая и ценная! Если мне удастся его спокойно продать, я тебя угощу, отправившись вместе с тобой к трактирщику Питакниону. Много пьяных безобразий терпели мы часто вместе с тобой, и нужно, чтобы ты, мой соучастник в несчастиях, получил свою долю и в этот счастливый день.

30

Гимнохерон Фагодету.

Ты видел, что сделал со мною этот проклятый цирюльник, тот, у дороги? Я говорю о том несносном болтуне, который продает брентесийские [12] зеркала, у которого есть прирученные вороны и который так ритмически постукивает своими ножами, словно бьет в кимвалы.

Когда я пришел к нему, желая побрить бороду, он любезно принял меня и, посадив на высокое сиденье, обвязав новой тон-

кой салфеткой, очень нежно стал водить по щекам своей бритвой, очищая их от густой зарослн волос.

Но тут-то он и оказал себя зловредным и коварным: незаметно он обрил меня лишь отчасти, а не по всему подбородку, так что кое-где у меня осталась густая щетина, а кое-где подбородок был гладким.

Я же, не зная его коварства, отправился, по обыкновению незваным, в дом к Пасиону. Увидавши меня, пировавшие гуляки умерли со смеху; я не знал, чего они смеются, и тогда кто-то, поднявшись и подойдя ко мне, схватил меня за остатки бороды и потянул за них. А я, в раздражении схвативши нож, стал рвать их с корнем. Я готов и сейчас, схватив огромную дубину, разбить череп этому негодяю. Таких шуток не устраивают над нами даже те, кто нас кормит, а он, который нас и не думает кормить, решился сделать такую штуку.

38

Конопосфрант Исхнолиму.

Тщетны были мои надежды на юношу Поликрита. Я думал, что если у него умрет отец, то широкой рекой польется его состояние, что он будет кутить и тратить деньги на удовольствия вместе с нами и с гетерами, которые будут в это время считаться самыми красивыми, и в такой веселой жизни исчерпает большую часть имущества.

Но когда его родитель оказался «завядшим цветком лилии», или попросту трупом, он сам теперь ест один раз в день и при этом — поздно вечером, когда солнце уже поворачивает свой бег к закату; и не ест ничего дорогого, а только хлеб, купленный на площади, и приправу из рыбы, а если справляет праздничный день, то прибавляет сюда оливки, вызревшие на дереве или еще зеленые.

Ошибся я, питая столь прекрасную надежду, и не знаю, что мне и делать. Если тот, кто кормит тебя, сам нуждается в том, кто бы его кормил, как действовать тому, кто нуждается в пропитании; быть же вместе голодному с голодным — двойное несчастие.

Книга четвертая

ПИСЬМА ГЕТЕР

8

Сималион Петале.

Если то, что я постоянно хожу перед твоими дверями и плачусь перед твоими служанками, которых ты посылаешь к более счастливым, чем я, доставляет тебе какое-то удовольствие или

возвышает тебя в глазах твоих поклонников, то, пожалуй, есть какой-то смысл в том, что ты издеваешься надо мною. Хотя я сам знаю, что дело мое безнадежно, все же помни, что я отношусь к тебе так, как немногие из теперешних твоих поклонников стали бы к тебе относиться, если бы ты лишила их своего расположения.

Я думал, что крепкое вино будет мне утешением. Поэтому третьего дня вечером у Эвфориона я напился почти до бесчувствия, надеясь хоть этим спастись от ночных своих мыслей. А вышло наоборот. Меня охватила вновь такая страсть к тебе, что я плакал и стенал, и у людей более мягких я вызвал жалость, а другим послужил мишенью для насмешек. Маленьким для меня утешением, облегчающим мои страдания, остается еще тот венок, который ты после злосчастной ссоры тогда на пиру, сорвав с своих волос, бросила в меня, как бы рассердившись на все, что я посылал тебе. Если тебе это доставляет удовольствие, наслаждайся моею печалью, и, если тебе это приятно, расскажи обо всем тем, кто теперь счастливей меня. Но скоро они будут мучаться так же, как и я, если дела у них пойдут тем же порядком.

Но молись Афродите, чтобы она не отомстила тебе за твою надменность. Другой стал бы тебе писать, бранясь и угрожая, я же — прося и умоляя; ведь люблю я тебя, Петала, безумно. Боюсь, если мне будет все хуже и хуже, я поступлю подобно тем, кто был еще несчастнее меня из-за любовных неприятностей.

9

Петала Сималиону.

Хотелось бы мне, чтоб слезами можно было содержать дом гетеры: пышно бы я жила, получая их от тебя в изобилии; но теперь мне нужно золото, платья, украшения, слуги. От этого зависит все мое существование. У меня нет в Миринунте наследственного имения, нет серебряных россыпей в рудниках; у меня только эта грошовая плата, эти несчастные и жалкие, выплаканные подарки глупых любовников. Целый год, что я живу с тобой, я чувствую себя прескверно; волосы у меня свалялись, — ведь за все это время они не видали благовонных мазей. Мне стыдно перед подругами надевать свои старые заплатанные тарентинские платья. Пусть со мной случится что-либо хорошее, коль я не сказала сущую правду! А как ты думаешь, чем же я буду жить, если вечно буду сидеть с тобою? Но ты плачешь?! Скоро перестанешь! А вот я, если у меня не найдется кто-нибудь, кто станет мне давать подарки, вконец обнищаю. Удивляюсь я на твои слезы — сколь мало они для меня убедительны! О владычица Афродита! Что ты за человек! Говоришь, что любишь, и хочешь, чтобы любимая была с тобой, так как ты будто бы жить без нее

не можешь? В чем же дело? Разве у вас в доме нет кубков? Не являйся ко мне, если не принесешь золотых вещей матери или векселей отца. Счастливая Филотида! Хариты взглянули на нее более благосклонным взором, чем на меня! Какого замечательного поклонника имеет она в Менеклиде, который каждый день чем-нибудь дарит ее. Это лучше, чем плакать. Я же, несчастная, имею какого-то слезоточивого плакальщика, а не любовника. Он мне посылает только веночки да розы, как будто безвременно умершей, и говорит, что плачет обо мне всю ночь напролет. Если ты что-нибудь принесешь с собой, приходи безо всяких слез, а не то пеняй на себя, а не на меня.

10

Миррина Никиппе.

Не обращает на меня внимания Дифил, но весь льнет к этой грязной Феталле. До Адоний[13] он участвовал в наших веселых пирушках и приходил к нам ночевать. Но уже и тогда он ломался и хотел, чтоб за ним ухаживали, и больше изображал из себя влюбленного, чем был на самом деле. По большей части он приходил ко мне только навеселе — его приводил сюда за руку Гелик, который, влюбленный в Герпиллиду, любит проводить у нас время. А теперь он ясно показывает, что совсем не хочет встречаться со мною: вот уже четыре дня подряд он пьянствует в саду Лисида с Тетталой и с этим Стронгеллионом — чтоб ему сдохнуть! — который присватал ему эту любовницу, чтоб причинить мне неприятность.

Я и письма писала, и служанок не раз посылала, и многое другое делала, все понапрасну, и от всего этого нет никакой мне пользы. Мне даже кажется, что это дало ему повод еще больше задрать нос и издеваться надо мною. Остается, таким образом, одно: запереть у него перед носом двери, и если он, поссорившись с ней и желая причинить ей неприятность, придет как-нибудь ночевать ко мне, прогнать его от себя. Самомнение обычно пропадает от пренебрежительного обращения. Но если и таким способом я не добьюсь ничего, тогда я пущу в ход лекарство посильней, как для тяжко больных. Ужасно не только то, что я не получу обещанного от него условленного содержания, но и то, что я стану для Тетталы предметом насмешек и издевательств.

Ты говоришь, есть у тебя любовное средство, испытанное не раз в дни твоей юности; придется прибегнуть к помощи чего-либо в этом роде, что смогло бы рассеять его самомнение, а кстати и дурман от попоек. Через посланных я поведу с ним переговоры, горько буду плакаться и просить его не забывать, что есть Немезида, богиня-мстительница, если он так презрительно отнесется к моей любви; буду ему говорить что-либо подобное и навру с три короба. Он, конечно, придет, естественно почувствовав жалость ко мне, сгорающей от любви

к нему. Он скажет, что хорошо помнит прошлое и находит прекрасной прежнюю нашу близость; он надуется как индюк, бесстыжий повеса. Поможет мне и Гелик, будет за ним увиваться и Герпиллида.

Правда, любовные напитки подчас опрокидывают все расчеты и бывают опасны. Но это меня не беспокоит: он должен или жить для меня, или умереть для Теталлы.

11

Менеклид Эвтиклею.

Ушла от нас прекрасная Бакхида, о дорогой Эвтиклей, ушла навсегда, оставив мне горькие слезы и память о любви, которая была тогда настолько же сладкой, насколько горько воспоминание о ней. Никогда не забуду я Бакхиды, нет, такой день не наступит никогда. Какое нежное расположение проявляла она ко мне: с полным правом можно было бы сказать, что ее поведение оправдывает жизнь гетер вообще. И если бы все ее товарки, собравшись со всех сторон, поставили ей статую в храме Афродиты или Харит, мне кажется, они поступили бы совершенно правильно. Примером своей жизни она доказала, что самой несправедливой клеветой являются обычные толки о том, будто гетеры дурные, неверные, что смотрят они лишь на выгоду, что они отдаются только тому, кто крупно заплатит, что они — причина всякого зла для тех, кто сходится с ними. Но против такого всеобщего злословия Бакхида смело и благородно защитила себя и своих сотоварок как своим личным характером, так и образом жизни.

Ты знаешь того мидийца, который явился сюда из Сирии? Какая была у него толпа слуг, какою пышностью был он окружен! Он обещал ей и евнухов, и служанок, и всякие варварские уборы. И тем не менее, когда он пришел к ней, она его не приняла, а предпочла спать под моим худым и простым плащом, она довольствовалась моими скудными подарками, а его вельможные дары, его кучи золота она отвергла. Да что! Как она вышвырнула того египетского купца, который предлагал ей столько денег! Я не знаю, что на свете могло быть лучше ее! Какой прекрасный характер дало ей божество, но хорошей доли не дало. И вот она уходит, покинувши нас, и навсегда уже будет Бакхида лежать одна. Как несправедливо, милые Мойры! Ей нужно было бы лежать вместе со мной и теперь, как раньше. А я должен еще жить, прикасаться к пище, разговаривать с друзьями; она же никогда уже больше не взглянет на меня с улыбкой своими ясными глазами, не проведет со мной ночи в дивных наслаждениях, ласковая и веселая. Как недавно еще она очаровательно беседовала, как умела глядеть; в ее речах, словно живые, являлись сами сирены; сладостный, чистый нектар истекал из ее поцелуев. Казалось, на

краю ее губ сидела сама Пейтб, богиня нежного убеждения. Пояс красоты надет был на ней [14], всем своим очарованием она поистине была Афродитой. Прощайте теперь, песенки, которые пела она, когда мы пили за ее здоровье; прощай и лира, на которой она играла своими чудесными точеными пальцами. Лежит она, о которой заботились все Хариты, мертвым прахом под камнем немым! А Мегара, эта кобыла, эта сука, живет, ограбивши так нещадно Феагена, что он, из всего своего блестящего состояния схвативши какой-то несчастный плащ и щит, ушел, чтоб наемником поступить на военную службу; Бакхида же, которая так нежно любила своего возлюбленного, умерла!

Когда я излил перед тобой, дорогой Эвтиклей, свое горе, мне стало легче. Сладко мне, кажется, и говорить о ней, и писать: ведь ничего мне больше не осталось, как только память о ней. Будь же здоров!

12

Леэна Филодему.

Увидала я во время мистерий твою невесту, одетую в прекрасное тонкое покрывало. Жалею я тебя, несчастный, клянусь Афродитой; как тебе будет спать с этакой черепахой! Что за цвет кожи у этой женщины, киноварь — да и только! Какие локоны распустила твоя невеста; по цвету они ничуть не похожи на ее собственные!

И как она наштукатурилась белилами; а нас, гетер, еще бранят, что мы подкрашиваемся! На ней была большая цепь — чудовище с таким лицом, конечно, достойно проводить жизнь на цепи, только не золотой.

Что за ноги! Какие плоские, нескладные! Ай-ай, каково-то ее обнимать голой! И дух от нее, мне показалось, идет тяжелый. Уж лучше с жабою спать, клянусь владычицей Немезидой, чем с ней!

13

Мелисса пригласила нас недавно в имение своего возлюбленного, говоря, что мы должны принести жертву нимфам. Это имение отстоит от города на двадцать стадиев. Само оно подобно цветущему саду или роще: у загородного дома лежит небольшое засеянное поле, все же остальное засажено кипарисами и миртами; поистине, дорогая, имение для любви, не для земледелия.

Уже наш путь туда был полон веселья: то мы сами поддевали друг друга или своих поклонников, то встречные над нами подтрунивали. Никий, этот повеса, возвращаясь, не знаю откуда, говорит нам: — Куда это вы все вместе собрались? Чье имение идете вы пропивать? Счастливое то место, куда вы идете; сколько будет на нем фиг! — Петала сама напустилась на него, непри-

лично издеваясь над ним, и заставила его отвязаться от нас; отплевываясь и назвавши нас грязными бабами, он убрался прочь. Мы же, срывая пурпурный терновник и зеленые веточки и собирая анемоны, неожиданно пришли на место: веселые шутки сделали дорогу незаметной, и мы ее прошли так скоро, как мы и не думали.

Тотчас же мы приступили к совершению обряда. Немного в стороне от дома была скала, густо заросшая по вершине лаврами и платанами; по обеим ее сторонам были густые заросли миртов и, словно обнимая ее, кругом обвивал ее плющ, можно сказать приросший к поверхности камня; с самой же скалы бежала светлая ключевая вода. Под выступами скал было поставлено несколько статуй нимф, и, как будто подглядывая за наядами, над ними наклонялся Пан.

Мы соорудили перед ними временный жертвенник, положили на него наколотых дров и жертвенных печений; затем мы принесли первую жертву белой курицей, сделали возлияние молоком с медом и воскурили на огне фимиам; мы много молились нимфам, а еще больше или, во всяком случае, не меньше — Афродите, умоляя ее даровать нам удачу на любовной охоте. В конце концов нас потянуло к хорошему угощению. — Пойдем, — сказала Мелисса, — и возляжем за стол в доме. — Нет, нет, во имя нимф и этого Пана, — сказала я, — видишь, как похотливо смотрит он; он с удовольствием увидит нас тут подвыпившими. Вон смотри, какое хорошее местечко под миртами, покрытое росою и кругом усыпанное нежными цветами. Я предпочла бы лежать на такой траве, чем на ковриках и мягких подстилках. Клянусь Зевсом, гораздо лучше, чем в городе, эти пиры здесь, на открытом воздухе, среди очарования деревенской природы.

— Правда, правда, — закричали другие, — хорошая мысль! — И тотчас, наломав ветвей тиса и мирта и покрывши их своими платьями, мы быстро все это устроили. Земля была мягкая от клевера и трилистника; а посредине цвело несколько гиацинтов и какие-то очень пестрые цветы.

Среди весенней листвы сладко и непрерывно заливались соловьи, и медленно падали звонкие капли воды со скалы, как будто капли ее пота, производя нежный шум, так подходящий к весеннему пиру. Вино было не местное, а италийское, какого, по твоим словам, ты купила в Элевсине шесть урн, очень сладкое и было его много. Нам подали яйца, мягкие, как задница, куски нежного мяса козленка и домашних кур; затем были разные молочные печенья — одни на меду, другие поджаренные на сковородках — их, кажется, называют питисами и сколаками, — и, конечно, было все то, что поля щедро дали нам в весеннюю пору. А затем стали часто ходить вкруговую кубки, и, кроме трех заздравных чаш в честь любви, не было никакой меры для питья. Вполне правильно: там, где на пирах нет принуждения в питье, обычно помаленьку выпьется больше. Так и мы стали выпивать

маленькие чаши одну за другой. Была тут Круматион, служанка Мегары, игравшая на флейте, а Симмиха пела любовные песни под эту мелодию. И радовались нимфы, живущие в здешнем источнике. Когда же встала Плангона и стала танцевать, покачивая бедрами, то чуть сам Пан не соскочил со скалы и не прыгнул на нее сзади. Музыка тотчас привела нас в волнение, кровь у нас закипела, и ум наш был уже затуманен вином. Ты понимаешь, о чем я говорю...

. . . . . .

И вот когда мы немного, как бы мимоходом, насладились любовью, мы вновь возобновили нашу попойку. Но нимфы, казалось, не так уж приветливо смотрели на нас, как раньше, зато много милостивее Пан. И опять к столу были поданы разные птички, пойманные в силки, и куропатки, самые сладкие гроздья из виноградного сбора и спинки зайцев. Затем были поданы доставленные из города устрицы, тритоньи рога и местные раковины; были и грибки с земляничного дерева и полезные для желудка корни сладкого салата в уксусе и меде. А что особенно охотно мы ели, так это латук и сельдерей. А какие, представь себе, кусты латука! Ведь огород был под рукой, и каждая из нас приказывала служанкам: — Сорви мне этот. — Нет, а мне вон тот. — Нет, нет, не этот, а вон тот. — Одни были с широкими листьями и большие, другие густые, с плотными завитками, но короткие, и листья их были светло-желтые; говорят, что Афродита особенно любит такие.

Когда мы этими свежими весенними овощами вновь привели в надлежащий порядок желудки, мы продолжали пить весьма усиленно и дошли до того, что не захотели уже ни скрываться друг от друга, ни предаваться любовным наслаждениям украдкой. Вот до какого вакхического состояния довело нас питье заздравных кубков. Ненавижу я петуха соседей — своим пением он разогнал у нас сладкое опьянение.

Так как ты не могла быть на этой прекрасной попойке, то нужно было, чтобы по крайней мере ты насладилась рассказом об этом пире — он был роскошен и достоин этого общества влюбленных. Мне хотелось подробно написать тебе обо всем, и сделала я это охотно. Если ты в самом деле чувствуешь себя плохо, смотри, выздоравливай поскорей. Если же ты сидишь дома, поджидая, что придет к тебе твой возлюбленный, то поступаешь неразумно. Будь здорова!

18

Менандр Гликере.

Клянусь богинями Элевсина, клянусь таинствами их, которыми часто перед их лицом с глазу на глаз с тобой, Гликера, клялся я, не потому, что очень я загордился, и не потому, что я хотел

бы покинуть тебя, пишу я тебе сейчас эти слова. Без тебя что может быть для меня сладкого в жизни? Чем мог бы я гордиться больше, чем твоею любовью? Даже в глубокой старости благодаря твоей обходительности и твоему характеру я буду чувствовать себя цветущим юношей. Хочу, чтобы вместе жили мы друг с другом, вместе состарились, и, клянусь богами, вместе и умерли, сознавая, Гликера, что умираем вместе, дабы ни один из нас, нисходя в царство мертвых, не уносил с собой чувства зависти, что оставшийся в живых еще может испытать какие-либо удовольствия. Да не будет мне суждено никакой радости, если тебя уже не будет! Что хорошего останется тогда для меня?!

Так как ты из-за празднества своей богини осталась в Афинах, то вот причины, которые заставили меня, по нездоровью оставшись в Пирее (ты знаешь мою обычную слабость, которую мои недоброжелатели обычно называют баловством и изнеженностью), написать тебе в город следующее.

Получил я от египетского царя Птолемея письмо, где он усиленно просит и зовет меня к себе, по-царски обещая мне, как говорится, целые горы всех благ земных; зовет он меня и Филемона;[15] говорит, что и ему отправлено такое же письмо, да и сам Филемон прислал мне его, конечно не столь сердечное и менее блестящее — не такое, как было написано Менандру.

Но что касается его письма, пусть он сам смотрит и думает; и я не стану ожидать чужих советов, но ты, Гликера, всегда была и теперь будешь, клянусь Афиной, всем для меня: твое мнение для меня решает все, ты — мой ареопаг и гелиэя[16].

Я прилагаю тебе здесь письма царя, чтоб не забивать тебе головы и чтобы не пришлось тебе два раза читать одно и то же и в моем, и в его письмах. Но я хочу, чтобы ты знала, что я решил ему написать.

Плыть туда и уехать в Египет, в такое огромное и далекое отсюда царство, чуть не на краю света, клянусь всеми двенадцатью богами, к этому у меня душа не лежит. Даже если бы Египет лежал вот на этом соседнем острове Эгине, то и тогда мне не пришло бы на ум, покинув мое царство любви в твоем сердце, жить без Гликеры, среди толпы египтян, в многолюдном одиночестве.

Гораздо приятнее и менее опасно для меня быть верным слугой твоих палат, чем толкаться во дворцах всех этих сатрапов и царей, где опасно всякое свободное слово, унизительна лесть, неверно счастье.

На Терикловы чаши, на кархесии[17] и золотые кубки, на все богатства в их дворцах, что у них считается за великое благо, я не сменяю ни ежегодного «Праздника кувшинов»[18], ни зрелищ на Ленеях[19], ни вчерашней дружеской беседы, ни гимнастических упражнений в Ликее[20], ни святынь Академии[21], нет, клянусь Дионисом и его вакхическим плющом[22], быть увенчанным кото-

рым я желаю больше, чем диадемой Птолемея, особенно когда в театре сидит и смотрит на меня Гликера.

Где в Египте увижу я народное собрание и голосование? Где толпу народа-правителя, так свободно выражающую свою волю? Где фесмофетов [23], плющом увенчанных в священных шествиях? Где увижу народное собрание, оцепленное канатом? Где выборы, где Хитры [24], Керамик, рынок, судилище, прекрасный акрополь, великих богинь, мистерии, соседний Саламин, узкий морской пролив и его песчаный берег, где Марафон — одним словом всю Грецию в Афинах, всю Ионию, все Кикладские острова?

И, отказавшись от всего этого и вдобавок еще от Гликеры, я отправлюсь в Египет набирать себе золото, серебро, богатство? А с кем буду я им пользоваться? С Гликерой, которая отделена от меня столькими морями? А без нее разве все это богатство не будет для меня бедностью? И если я услышу, что свою великую любовь она перенесла на другого, разве все эти сокровища не станут для меня простой золой? И, умирая, всю мою скорбь унесу с собою, богатства же попадут в руки тех, кто властен чинить беззакония. И, подумаешь, — великое счастье жить вместе с Птолемеем, с сатрапами, со всеми этими ничтожествами, чья дружба непостоянна, а вражда опасна!

Наоборот, если Гликера за что-нибудь рассердится на меня, я сразу, схватив ее в объятия, целую; если она все еще сердится, я еще сильнее ее к себе прижимаю; если она продолжает дуться, я — в слезы. И тут уж она не может выдержать моей печали, и ей уже не нужно ни воинов, ни охранителей, ни стражи: я для нее — все.

Конечно, очень важно и удивительно интересно увидеть прекрасный Нил. А разве не столь же важно увидать и Евфрат? или Истр? И разве не великие реки — Термодонт, Тигр, Галис? Если я захочу видеть все реки, то моя жизнь так и утонет в них и не придется мне видеть мою Гликеру.

А этот Нил, хоть он и хорош, но полон страшных зверей и даже подойти к нему нельзя, так как в его пучинах гнездится столько коварных чудовищ.

Да будет мне суждено, о царь Птолемей, лечь в могилу и быть погребенным в родной земле, да будет суждено обвивать главу аттическим плющом и каждый год воспевать Диониса у его алтарей, совершать во время мистерий торжественные обряды, ежегодно ставить на сцене какое-либо новое произведение и, смеясь и радуясь, состязаться, тревожиться, побеждать.

Пусть же Филемон будет счастлив и, отправившись в Египет, пожинает все блага, обещанные мне. Ведь у Филемона нет Гликеры, да и недостоин он, конечно, такого счастья. Ты же, милая Гликера, прошу тебя, после твоего праздника Алои [25] — садись скорей на мула и лети ко мне. Более длинного празднества никогда я не знал, и более несвоевременного. Не гневайся на меня, Деметра!

19

Гликера Менандру.

То письмо царя, которое ты мне прислал, я сейчас же прочла. Клянусь Каллигенеей [26], в храме которой я сейчас нахожусь, я пришла в сильнейший восторг, мой милый Менандр, и, от удовольствия ставши сама не своя, не могла этого скрыть от присутствующих. Тут была моя мать, и сестра моя Эвфронион, и из подруг та, которую ты хорошо знаешь: она не раз обедала у тебя и ты хвалил ее настоящий аттический говор, как бы боясь похвалить ее самое; за это я, засмеявшись, поцеловала тебя особенно горячо. Не помнишь этого, Менандр? Видя у меня на лице и в глазах необыкновенную радость, они все спросили: — Гликера, милая! Что такого хорошего случилось с тобой? И душой, и телом, и во всем теперь ты, как нам кажется, стала другой; лицо твое сияет, и ты вся светишься счастьем и радостью. — А я им в ответ: — Моего Менандра египетский царь Птолемей приглашает к себе, предлагая чуть ли не полцарства, — и это я сказала возможно более сильным и громким голосом, чтобы все присутствующие здесь женщины это услыхали. При этом я вертела в руках во все стороны письмо с царской печатью.

— Ты радуешься, — сказали они, — что он тебя покидает? — Но это не так, Менандр! Нет, никоим образом я не поверила бы (даже если бы — по пословице — бык заговорил со мною), будто Менандр пожелает когда-нибудь или сможет, покинув в Афинах свою Гликеру, царствовать один в Египте со всеми своими богатствами. Но из тех писем, которые я прочла, можно понять, что и это знал царь, слыша, надо думать, о моих отношениях к тебе, и он с обычным египетским остроумием хочет мягко и изящно посмеяться над тобою. Радуюсь и тому, что даже в Египте к нему дошла молва о нашей любви; и на основании того, что услыхал, он совершенно убежден, что добивается невозможного, желая чтобы Афины переселились к нему. Что такое Афины без Менандра? Что такое Менандр без Гликеры? Ведь я готовлю ему маски, одеваю его и стою в «параскении» [27], судорожно сжимая руки и дрожа, пока театр не загремит от рукоплесканий; тогда, клянусь Артемидой, я вздыхаю свободно и, обняв тебя, держу священную голову моего поэта в своих объятиях.

А то, что я сказала тогда подругам, как я рада, так это потому, Менандр, что, значит, любит тебя не одна только Гликера, но и цари заморские, что молва о твоих достоинствах уже перешла и за море. И Египет, и Нил, и мыс Протея, и утесы Фароса — все теперь насторожились, желая увидать Менандра и услыхать его скупцов и его влюбленных, суеверных и недоверчивых, отцов и сыновей, старух и слуг, всех тех, кого выводишь ты на сцене; слова их они, конечно, могут услышать, но самого Менандра не увидят, если только не явятся в Афины к Гликере

и не увидят моего счастья, так как знаменитый Менандр, повсюду превознесенный славою, и дни и ночи проводит со мной.

Но вот что: если бы тебя охватило страстное желание получить все те блага, которые тебя там ожидают, или если б тебе захотелось видеть хотя бы самый Египет, его огромные богатства, тамошние пирамиды и звучащие статуи, прославленный лабиринт и все, что у них или по своей древности, или по своему искусству так высоко ценится, я прошу тебя, Менандр, не ссылайся на меня в своем отказе; и пусть за это не возненавидят меня афиняне, которые уже считают те меры зерна, которые ради тебя пошлет им царь [28]. Но отправляйся туда в добрый час, и пусть сопутствуют тебе все боги и благоприятные ветры, пусть Зевс хранит тебя в пути. Но я тебя не покину; не думай, что я это только говорю: я не могу сделать это, если бы даже хотела; я покину мать и сестер и поплыву с тобой, став твоей спутницей в море. Я очень привычна к морским путешествиям, я их уже испытала, и если от сильной гребли и волнения моря ты захвораешь, я буду за тобой ухаживать, облегчать твою слабость после приступов морской болезни и безо всяких нитей, как новая Ариадна, поведу тебя в Египет — не Диониса, но слугу Диониса и его пророка. И не буду я покинута на Наксосе в этих морских пустынях, плача о твоей неверности и взывая к тебе о помощи [29]. Какое мне дело до всех этих Тесеев и до всех этих давних любовных измен! У нас с тобой все места будут свидетелями неизменной нашей любви, — и наш город, и Пирей, и Египет. Всякий уголок земли увидит нашу полную любовь; и даже если бы мы жили на голой скале, я знаю это хорошо, наша нежная любовь сделает и ее храмом Афродиты.

Я убеждена, что ты вообще не стремишься ни к чрезмерным богатствам, ни к роскоши и все свое счастье полагаешь во мне и в своих драмах, но, ты и сам знаешь, все твои близкие, твои родичи, друзья хотят от тебя многого, хотят всячески богатеть и наживаться.

Что ты никогда и ни в чем не будешь винить меня — я хорошо знаю; ты давно уже предался мне в страсти и любви, да и теперь ты подтвердил это еще своим решением, которому я особенно доверяю потому, что боюсь, Менандр, недолговечности любви страстной. Насколько могущественной кажется страстная любовь, настолько же легко она улетучивается. Когда же вместе с ней действует разум — от этого она становится крепче, и будет она не лишена сладости, но не будет полна страха.

Эту мысль ты и сам хорошо понимаешь — ведь часто ты наставлял меня в этом, сам учил меня. Но если ты лично не будешь меня упрекать и винить, я все же боюсь «аттических ос» [30], как бы они не начали, когда я покажусь из дому, повсюду жужжать мне в уши, будто я лишаю государство афинян столь крупных доходов. Так что прошу тебя, Менандр, подожди, и пока что ничего не пиши царю в ответ. Еще подумай, помедли, пока мы не

поговорим с друзьями, Феофрастом и Эпикуром. Может быть, и им и тебе дело представится иначе. Давай лучше принесем жертвы богам и посмотрим, что говорят внутренности жертв, лучше ли нам отправиться в Египет или остаться здесь. И спросим предсказания у оракула, послав кого-либо в Дельфы: ведь издревле Аполлон — наш бог хранитель. В обоих случаях (отправимся ли мы или останемся) мы сошлемся в свою защиту на волю богов.

Лучше же всего вот что я сделаю: есть у меня тут женщина, недавно прибывшая сюда из Фригии, очень опытная во всех этих делах; она удивительно умеет гадать при помощи чревовещания и ночью толкует волю богов по раскинутым прутикам, произнося заговоры. И не нужно, как она говорит, верить ей на слово, но можно убедиться воочию. Я пошлю за ней. Как говорят, эта женщина должна предварительно совершить некое очищение, приготовить для жертвоприношения особых животных, сильно пахнущего ладана, большой кусок стираксовой смолы, печенья в виде луны и листья дикого агнца-непорочника. Думаю, что и ты тем временем успеешь прибыть из Пирея. Или уведоми меня точно, до каких пор ты не сможешь увидать свою Гликеру, чтобы я примчалась к тебе, а пока я подготовлю все дело с этой фригиянкой. Если же ты хочешь испытать, каково будет нам жить без тебя — мне, Пирею, твоему дому, Мунихию, — и все это понемногу изгоняешь из своего сердца, то, клянусь богами, я не в силах это перенести, да и ты не сможешь, настолько тесно ты уже связан со мною. И пусть все цари посылают за тобою — я для тебя выше всех царей, а ты для меня — мой возлюбленный, который чтит богов и помнит свои священные клятвы.

Так что больше всего старайся, любовь моя, поскорее вернуться в город, чтобы, если передумаешь относительно отправления к царю, иметь совсем готовыми свои драмы, и из них те, которые особенно могут понравиться Птолемею и его Дионису — ведь он не демократичен, как ты и сам знаешь, — или «Фаиду», или «Ненавистного», или «Хвастуна», или «Поручителей», или «Избитую», или «Сикионца», или что-либо другое. Но что это? Я настолько дерзка и отважна, что я, неученая, решаюсь так своевольно судить о произведениях Менандра! Но мудра моя любовь к тебе, вот отчего я и могу во всем этом разбираться. Ведь ты сам меня научил, что «женщина одаренная легко научится всему от любящих ее»; но если любовь быстро ведет к успехам, то, клянусь Артемидой, стыдно мне быть недостойной тебя и не учиться успешно и быстро. Особенно прошу тебя, Менандр, подготовить ту драму, в которой ты вывел меня, чтобы в случае если даже мне не придется быть с тобою, я с твоей помощью все же поплыла к Птолемею, и царь тем яснее понял, как важно для тебя привезти с собою хотя бы только описанную тобою любовь, раз уж настоящую ты оставил в Афинах.

Но знай, что и эту любовь ты здесь не оставишь: я научусь, пока ты не приедешь сюда к нам из Пирея, управлять рулем, направлять нос корабля, чтобы, плывя с тобой, я своими руками могла безопасно провезти тебя по морю, если мы решим, что лучше поступить так. Пусть же — к вам взываю, все боги! — все случится так, как окажется полезным для всех, и пусть моя фригиянка предскажет нам благую судьбу лучше, чем твоя «Одержимая» [31] девушка. Будь здоров!

ЛОНГ

ДАФНИС И ХЛОЯ

I, 1—10

[*Детство Дафниса и Хлои*]

1. Город на Лесбосе есть — Митилена, большой и красивый. Прорезан каналами он, — в них тихо вливается море, — и мостами украшен он из белого гладкого камня. Можно подумать, что видишь не город, а остров.

От города этого стадиях так в двухстах находилось поместье одного богача; чудесное было именье: зверь в горах, хлеба на полях, лоза на холмах, стада на лугах, и море, на берег набегая, плескалось на мягком песке.

2. Вот в этом-то поместье был козопас по имени Ламон; пася свое стадо, нашел он ребенка, одна из коз его кормила. Была там рядом чаща лесная, густо понизу терном заросшая, и повсюду вился плющ, и нежная росла трава, а на ней лежал ребенок.

Сюда постоянно коза ходила, часто из глаз исчезая, и, своего покидая козленка, долгое время с ребенком она оставалась. Подметил Ламон, что она убегает, и пожалел он козленка брошенного; в самый полдень пошел он за ней по следам и видит: коза осторожно переступает, боясь своими копытами ребенку вред причинить, а он, будто перед ним материнская грудь, тянет молоко, обильным потоком струящееся. Дивится, конечно, пастух, ближе подходит и мальчика находит, крупного, красивого и в убранстве, для подкидыша чересчур богатом: покрывало пурпурное, застежка золотая, ножичек с рукояткой из кости слоновой.

3. И сперва задумал было Ламон взять с собой одни только эти приметные знаки [1] ребенка, его ж самого здесь покинуть; но затем устыдился, что козы он даже безжалостней, и, дождавшись ночи, приносит жене своей Миртале и приметные знаки и ребенка, да и козу приводит. Она изумляется: неужели козы стали рождать детей? И рассказывает он ей все по порядку, как нашел его брошенным, как увидел козой его вскормленным и как стало стыдно ему покинуть ребенка на верную смерть. Затем они вещи, что были оставлены при ребенке, прячут, ребенка своим признают, кормленье его козе поручают. А чтобы имя у мальчика было таким, какое у пастухов в обычае, они его Дафнисом назвать решили.

4. Уже с тех пор прошло два года, и вот с пастухом по имени Дриас, пасшим стада на соседних лугах, то же самое случилось, на такую же находку он напал, такое же диво увидел. Была там пещера нимф в скале огромной, внутри пустой, снаружи закругленной, самих же нимф изображенья из камня высечены были: ноги босые, руки нагие, кудри вились по плечам, пояс на бедрах, в глазах улыбка, — как будто они в хороводе пляшут. Вход в пещеру как раз посредине громадной скалы лежал; бил тут и ключ, ручей текучий образуя; перед пещерой свежий луг простирался, и на нем, влагою питаясь, густая, нежная трава росла. Лежали тут и подойники, и флейты кривые, и свирели, и тростник — обетные дары от пастухов времен минувших.

5. И в эту пещеру нимф одна овца, недавно принесшая ягненка, стала так часто ходить, что не раз думали, будто пропала она совсем. Желая ее наказать и снова слушаться заставить, свил Дриас из прутьев зеленых веревку, скрутил петлю и пошел к скале, чтоб овцу там поймать. Подойдя, увидал он вовсе не то, что ожидал: овца, как нежная мать, подставляет соски с молоком, текущим обильно, а ребенок без плача жадно хватает то за один, то за другой сосок ротиком своим — чистым и свежим, так как овца языком ему очищает лицо, когда он насытится. Девочкой было это дитя, и также лежали с ней рядом приметные знаки: головная повязка с шитьем золотым, золоченые туфельки, браслеты чистого золота.

6. Сочтя, что богами ему послана эта находка, и овцой нау-

ченный жалости к ребенку и любовному с ним обращению, он на руки младенца поднимает, в свою суму приметные знаки кладет и молится нимфам, чтоб дали ему счастливо вскормить малютку, себя вручившую их покровительству. И когда пришло время гнать стадо домой, возвращается он в свой двор и жене своей о том, что видел, рассказывает, то, что нашел, показывает, а ей приказывает девочку своей дочкой считать, тайну ее ото всех скрывать, как родное дитя воспитывать. И тотчас Напа (так звали Дриаса жену) матерью стала ребенку, стала его ласкать и любить, как бы боясь в нежности овце уступить. А чтоб все поверили, что это ее дочка, она тоже обычное имя пастушеское ей дает, Хлоей ее назвав.

7. Оба эти ребенка выросли быстро, и красотой заблистали они много ярче, чем дети простых поселян. Уже было Дафнису пятнадцать лет от рожденья, а Хлое столько же, только без двух, когда и Дриас и Ламон в одну ночь такой сон видят: привиделось им, что нимфы той самой пещеры, в которой источник был и где Дриас нашел ребенка, Дафниса с Хлоей передают мальчику, бойкому и прелестному: за плечами крылья, маленький лук и короткие стрелки в руках[2]. И, коснувшись обоих одною стрелой, велел отныне пасти ему — козье стадо, а ей — стадо овец.

8. Увидав этот сон, Дриас и Ламон огорчились — неужели придется пасти этим детям коз и овец? Ведь по их детским пеленкам, казалось, предсказана им была лучшая доля; потому-то их и пищей кормили более нежной, и грамоте обучали, и всему, что в деревне считалось прекрасным. Но все же, подумали, надо богам покориться, раз дело идет о судьбе детей, спасенных богов провиденьем. Друг другу об этом сне рассказав и жертву в пещере у нимф принеся крылатому мальчику (имя его назвать они не умели), они со стадами питомцев своих посылают, всему их обучив; как нужно пасти до полудня, как снова стадо выгонять, когда спадет жар; когда к водопою водить, когда обратно в загон отводить, когда посох в ход пускать, а когда лишь прикрикнуть. А Дафнис и Хлоя обрадовались, словно важное дело им поручили, и своих коз и овец полюбили больше, чем у простых пастухов в обычае было: ведь она овец пасла, виновниц спасенья своего, он же помнил, что его, брошенного, коза вскормила.

9. То было начало весны, и все цветы расцвели — в лесах, в лугах, на горах. Уже воздух был полон жужжанием пчел, птицы звонко пели, прыгали, резвясь, рожденные недавно козлята и ягнята. Барашки скакали по холмам, пчелы жужжали в лугах, и птицы пеньем своим оглашали густые заросли. И так как все вокруг охвачено было радостью и весельем, Дафнис и Хлоя, юные, нежные, стали и сами подражать тому, что слышали, тому, что видели: слыша пение птиц, сами пели, глядя, как прыгают овцы, и сами легко скакали; пчелам подражали, цветы собирали и на грудь за одежду себе их кидали или, веночки сплетая, их нимфам в дар посвящали.

10. И делали все они вместе, стада свои пася друг от друга неподалеку. И часто Дафнис пригонял овец, отбившихся от стада, часто и Хлоя сгоняла с крутых утесов слишком смелых коз. Бывало и так, что один из них сторожил оба стада, когда другой чересчур увлечется игрою. А игры были у них пастушьи, детские. Хлоя на болоте сбирала стебли златоцвета, плела из них клетки для цикад и часто, этим занявшись, овец своих забывала. А Дафнис, нарезав тонких тростинок, узлы их колен проколов, одну с другою склеив мягким воском, до ночи учился играть на свирели. И вместе порою они пили молоко и вино, а еду, что с собой приносили из дома, делили друг с другом. И можно б скорее увидеть, что овцы и козы врозь пасутся, чем встретить порознь Дафниса с Хлоей.

III, 3—11

[*Зима*]

3. Наступила зима, и была она для Дафниса с Хлоей горше самой войны [3]. Внезапно выпал глубокий снег, завалил все дороги, а всех поселян запер в домах. Бурно потоки низвергались; льдом покрывшись, замерзала вода; деревья поникли, словно надломленные; под снегом скрылась земля и видна была только возле ключей и ручьев. Уже никто не гнал своих стад на пастбища, никто не показывал носа за дверь, но, разведя огонь, лишь только запоют петухи, одни лен прясть начинали, козью шерсть другие сучили, иные птичьи силки мастерили. В это время только одна забота была: в ясли мякины на корм быкам подложить, в стойла козам и овцам — веток с листвой, свиньям в закуты — разных сортов желудей.

4. Все поневоле дома сидели; землепашцы и пастухи — те были рады, что хоть на короткое время свободными стали они от трудов: по утрам хорошо они ели, долго и крепко спали, так что зима, на их взгляд, была куда слаще и лета, и осени, даже и самой весны. А вот Хлоя и Дафнис, вспоминая минувшие радости, — как они целовались, как обнимались, вместе как пили и ели, — теперь проводили печально бессонные ночи и ждали весенней поры, как ждут воскресенья из мертвых. Огорчались они, даже сумку увидя, когда под руку им попадалась: из нее ведь, бывало, вместе пищу они вынимали; или подойник, — ведь из него вместе пили; или свирель, без вниманья лежащую, дар любви. Нимфам молились они и Пану — их от этих мучений избавить просили и вновь показать и им и стадам их горячее солнце. Но, молясь, в то же время они средство придумать старались, как бы вновь увидаться друг с другом. Но Хлоя вовсе выхода не видела, да и придумать ничего не могла: та, что считалась ей матерью, всегда была с нею, она учила ее чесать шерсть, крутить веретена и то и дело о свадьбе ей поминала. Дафнис же был свободен и на выдумки более ло-

вок, чем девушка; потому он придумал хитрость такую, чтоб Хлою увидеть.

5. Перед двором Дриаса, у самого забора давно уже росли большие два мирта и плющ: мирты стояли близко один от другого, а между ними вился плющ; раскинув, как виноградная лоза, свои побеги на оба мирта, листвой своей, густо сплетенной, подобье пещеры он создал, и крупные ягоды, будто виноградные грозди, висели на нем. Потому-то здесь собиралось много зимующих птиц, ведь пищи им зимой не хватало; много тут было черных и серых дроздов, были дикие голуби, были скворцы и разные прочие птицы, что ягоды плюща любят клевать. Будто бы ради охоты на этих птиц и пошел сюда Дафнис, а чтоб всякий ему поверил, набрал в сумку медовых лепешек и с собой захватил птичий клей и силки. Расстоянье было не более стадиев десяти, зато снег, еще не растаявший, много труда и препятствий ему доставлял; но нет для любви пути непроходимого — пусть пролегает он чрез огонь, или воду, иль скифские даже снега.

6. Бегом добежал до двора Дриаса, с ног стряхнувши весь снег, он расставил силки и клеем намазал длинные ветки. Так он сидел, с волненьем и птиц поджидая и Хлою. Что до птиц, то многое множество их прилетело, и ловить их было легко, так что пришлось ему немало потрудиться, их собирая, убивая и перья ощипывая. А вот со двора не вышел никто, ни мужчина, ни женщина, ни даже домашняя птица, но все, у огня оставаясь, дома сидели, так что Дафнис в затрудненьи был, не зная, что делать, — словно какие-то зловещие птицы сюда его привели [4]. Решил он какой-нибудь повод найти и в двери толкнуться, и стал он раздумывать, что бы такое сказать, чтоб слова его правдоподобными показались. «Зашел я за угольком». А не было разве соседей других всего в одном стадии от тебя? «Пришел хлеба взаймы попросить». Но сумка полна едой. «Вина у меня нет». Но только что кончился сбор винограда. «За мной гнался волк». А где же волчьи следы? «Пришел, чтобы на птиц поохотиться». Что ж после охоты домой не идешь? «Хочу я Хлою увидеть». Но отцу и матери девушки кто же в этом признается? И как ни кинь, все клин. «И все-то предлоги мои — слишком они подозрительны. Лучше помолчать. Хлою увижу весной, если уж, кажется, не суждено мне зимою увидеть ее».

Так, поразмыслив, собрал он тихонько добычу и хотел уходить. Но сжалился, видно, над ним Эрот, и вот что случилось.

7. Дриас с домочадцами сидел за столом; мясо уже поделили, хлеб на стол положили, чашу вином, разбавив водою, наполнили. И вот одна из собак сторожевых, улучивши минутку, схватила мяса кусок и бросилась к дверям бежать. Рассердился Дриас (это была как раз его доля); схвативши палку, он сам, словно пес, погнался за нею. И за нею гоняясь, он у плюща оказался и видит, что Дафнис, на плечи себе добычу взвалив, подумывает, как бы поскорее исчезнуть. Тотчас же и о мясе и о собаке Дриас по-

забыл и, громко воскликнув: — Здравствуй, сынок! — обнял его, расцеловал и, за руку взявши, внутрь дома повел. Увидавши друг друга, Дафнис и Хлоя чуть не упали на землю. Сделав усилие, чтоб на ногах удержаться, они поздоровались, поцеловались и в этом будто опору нашли, чтоб не упасть.

8. Получив сверх ожиданья и поцелуй и свидание с Хлоей, Дафнис подсел поближе к огню; снявши с плеч, положил на стол голубей и дроздов и рассказывать стал, как, соскучившись дома сидеть, он пошел на охоту и как наловил силками одних, клеем других, жадно летевших на ягоды мирта и плюща. Все его похвалили за то, что он не сидит сложа руки, и заставили поесть из того, что собака схватить не успела; а вино разлить Хлое велели. Радостно всем она поднесла, Дафнису ж после всех: она в шутку делала вид, что сердита на него за то, что хотел он, пришедши сюда, уйти, ее не видавши. Но все же, прежде чем ему поднести, сама отпила, а затем уж ему подала. Он же, хотя его жажда томила, стал пить медленно и, медля так, наслажденье свое усиливал.

9. Быстро стол опустел, на нем не осталось ни мяса, ни хлеба. Тогда все, кто сидел за столом, стали расспрашивать, как поживает Миртала с Ламоном; они называли счастливыми их за то, что судьба им послала такого кормильца на старость. И рад он был похвалам; ведь их слушала Хлоя. Когда же его не пустили домой, говоря, что назавтра Дионису жертву хотят принести, то от радости он их самих вместо Диониса чуть было поклонением не почтил. Тотчас он вынул из сумки много медовых лепешек и пойманных птиц. На славу их к ужину приготовили, снова поставили кратер с вином и снова огонь разожгли. Быстро ночь наступила, и снова пошло пированье; а потом всякие предания рассказывать стали, песни петь и, наконец, пошли на покой — с матерью Хлоя, Дриас с Дафнисом. И не было Хлое никакой иной отрады, кроме мысли, что наутро она Дафниса снова увидит; а Дафнис ничтожною радостью радовал сердце: счастлив он был уже тем, что лежал рядом с Хлои отцом. Он его и обнимал и часто целовал, в дремоте представляя, что это он делает с Хлоей.

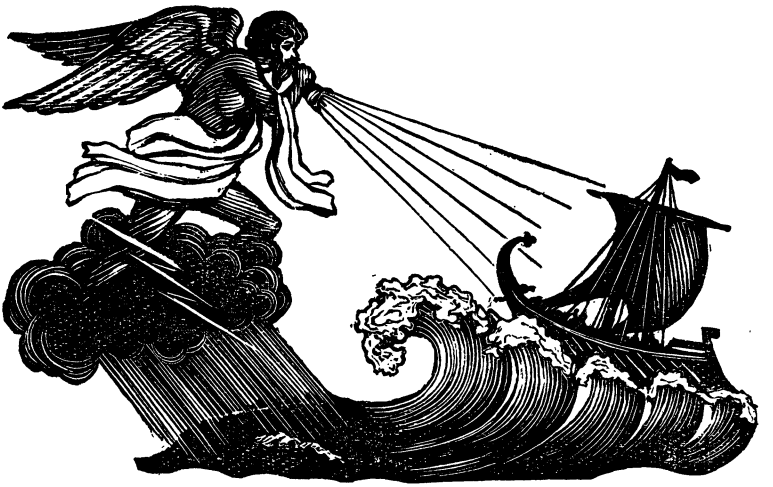
10. День наступил; на дворе был ужасный мороз, и северный ветер все леденил. Встали все от сна, годовалого барана принесли в жертву Дионису и, разведя сильный огонь, стали готовить пищу. Пока Напа хлебы пекла, а Дриас жарил барана, Дафнис и Хлоя, свободный момент улучив, выбежали из двора туда, где рос плющ. Вновь поставив силки и намазав клеем ветки, снова они наловили немало птиц. Были для них наслаждением непрерывные поцелуи, и сладка была им беседа. — Для тебя ведь, Хлоя, пришел я сюда. — Знаю я, Дафнис. — Из-за тебя ведь гублю я этих несчастных дроздов. — Что же я сделать должна для тебя? — Помнить обо мне! — Помню, нимфами клянусь, которыми клялась в нашей пещере; туда мы вернемся сейчас же, едва только снег растает. — Но снега так много, Хлоя! Боюсь я, как бы

раньше, чем снег, я сам не истаял. — Мужайся, Дафнис; солнце сильно уже пригревает. — О если бы было оно горячо, как огонь, что сожигает мне сердце. — Ты все шутишь и хочешь меня обмануть. — Нет, никогда, козами теми клянусь, клясться которыми сама ты меня заставляла.

11. Так, словно Эхо, откликалась на речи Дафниса Хлоя. Тут Напа за ними послала, и они прибежали, неся с собою добычу гораздо обильней вчерашней. И Дионису совершив возлиянье из чаши, они приступили к трапезе, головы плющом увенчав; а когда пришла пора, восхвалив Иакха и восклицая: «Эвоэ!» — они отпустили Дафниса домой, сумку его наполнив мясом и хлебом. Дали ему и голубей и дроздов отнести Ламону с Мирталой, говоря, что сами они наловят себе других, пока еще зима продолжается и пока ягод на плюще хватает; и Дафнис ушел, расцеловав всех, а Хлою последней, с тем, чтоб остался на губах у него чистый ее поцелуй.

И не раз еще ходил он к ним этой дорогой, придумывая иные предлоги. Так что и зима не совсем оказалась для них лишенной любви.

АФИНЕЙ



ПИР СОФИСТОВ

I, 1

[*Введение*]

1. Афиней — создатель этой книги; рассказ в ней он ведет, обращаясь к Тимократу; ее название «Пир софистов».

Предметом рассказа служат пиры римлянина Ларенсия, человека очень богатого, который приглашает к себе самых сведущих во всех науках людей. Автор не оставил без упоминания ни одной интересной беседы из тех, что там велись. Он включил в книгу рассуждение о рыбах, о том, как их подавать на стол, и об их названиях; он рассказал о всевозможных сортах овощей и о разных родах животных, о людях, писавших исторические сочинения, и о поэтах и философах, о музыкальных инструментах и о бесчисленном множестве видов шуток, о разнообразных кубках и о богатствах царей, о размерах кораблей и еще о стольких других

вещах, что их и вспомнить нелегко и не хватило бы дня перечислять все в отдельности. Порядок беседы — лишь отражение обилия трапезы, а построение книги повторяет порядок беседы.

Вот какой приятный словесный пир предлагает вам Афиней, который с таким удивительным искусством строит свой рассказ. Распаляясь от собственного красноречия и становясь все искусней и искусней, как ораторы в Афинах, он прыжками перескакивает от одной части книги к другой.

I, 15—16

[Об умеренности героев Гомера]

15. Гомер видел, что скромность есть добродетель, более всех прочих подобающая юношам, и что она, подобно предводителю хора, гармонично сочетает между собою все хорошие качества. Он хотел привить ее людям с ранних лет на всю жизнь, чтобы они тратили свой досуг и рвение на добрые дела и были щедры и готовы оказать друг другу услугу. Поэтому он всем своим героям приписал умеренность и довольство малым. Поэт считал, что самыми сильными являются потребность в пище и питье и получаемое от них удовольствие, а люди, соблюдающие умеренность в еде, скромны и воздержны также и во всем прочем. И потому жизнь простую и неприхотливую ведут у него все: цари и простолюдины, юноши и старцы... Даже самим царям не подают у Гомера ни кушаний, запеченных в фиговом листе, ни кандила [1], ни печенья на меду; они едят только такую пищу, от которой становятся здоровее душой и телом. Сам Агамемнон подносит Аяксу после единоборства хребет быка как почетный дар [2]. И Нестора, уже старца, и Феникса угощают жареным мясом [3]. Так поэт отвращает и нас от неумеренных желаний. Менелай, справляя свадьбу детей, подает Телемаху

бычатины жареной кус, из почетной
Собственной части его отделивши своею рукою [4].

А Нестору, который у моря приносит в жертву Посейдону быков, помогают только самые любимые родные сыновья [5], хотя и был он царем и много имел подданных. В самом деле, жертва, принесенная с помощью самых близких и самых преданных людей, благочестивее и угоднее богам. Даже женихи, уж на что были наглы и неумеренны в наслаждениях, все же не ели, как показывает Гомер, ни рыбы, ни птицы, ни пирогов на меду. Поэт изо всех сил избегает говорить об ухищрениях поварского искусства, о кушаньях, которые по словам Менандра, распаляют похоть, о блюде, именуемом у многих писателей «горшок для развратников» (его приготовление особенно хлопотно, как утверждает Хрисипп).

16. По рассказу поэта, Приам упрекает сыновей за то, что они истребляют скот, вопреки обычаю:

Эти презренные хищники коз и агнцев народных [6].

А Филохор сообщает в своей «Истории», что и в Афинах запрещалось есть еще ни разу не стриженного барана, если в том году приплод овец был недостаточен.

Гомер называет Геллеспонт «богатым рыбой» [7], изображает феакийцев отличными мореходами, знает, что на Итаке много гаваней, а у близлежащих островов во множестве водится рыба и дикая птица. Одним из залогов благоденствия он считает обилие рыбы в море. И, однако, никто у него ни рыбы, ни птицы не ест.

Никому не подают и фруктов, хотя было их немало, и поэт с удовольствием о них упоминает и называет «вечно бессмертными»:

Груша за грушей, за яблоком яблоко... [8]

и так далее. И никого мы не увидим у Гомера ни увенчанным, ни умащенным миррой, ни курящим благовония. Наоборот, его герои чужды всему этому, он выбирает их прежде всего за их невзыскательность и довольство малым. Даже богам он приписывает простую пищу: нектар и амвросию. И люди у него, воздавая богам почести, жертвуют только то, что обычно едят сами, и не прибегают ни к ладану, ни к к мирре, ни к венкам, чуждаясь подобной роскоши. Поэт показывает, что и простой пищи герои едят немного: он удерживает их от пресыщения, как лучшие врачи:

...когда же
Был удовольствован голод их лакомой пищей... [9]

Одни, утолив голод, тотчас обращаются к гимнастическим упражнениям. Диски и копья доставляют им удовольствие, и, забавляясь, они постигают то, что потом применят в серьезном деле. Другие же слушают кифаредов, которые напевно и мерно повествуют о подвигах героев.

II, 5

[Пьяная выходка молодых сицилийцев]

Тимей из Тавромения говорит, что в Акраганте [1] один дом назывался триерой, и вот по какой причине.

Компания молодых людей как-то раз пьянствовала в этом доме. Разгоряченные вином, они до того одурели, что вообразили себя плывущими на триере и застигнутыми в море жестокой бурей. И до того они обезумели, что стали выбрасывать из дому всю утварь и покрывала: им казалось, что они швыряют все в море, по

приказу кормчего разгружая в непогоду корабль. Даже когда собралось много народу и стали растаскивать выброшенные вещи, и тогда еще молодые люди не переставали безумствовать.

На следующий день к дому явились стратеги и вызвали юношей в суд. Те, все еще страдая морской болезнью, на вопросы стратегов ответили, что буря уж очень им досаждала и что поэтому они вынуждены были избавиться от лишнего груза. Когда же стратеги подивились их смятению, один из молодых людей, который, казалось, был старше других, сказал: — А я, господа тритоны, со страху забился под нижние скамьи корабля и лежал в самом низу.

Судьи, приняв во внимание невменяемое состояние юношей и строго-настрого запретив им пить так много вина, отпустили их. Все они поблагодарили судей, и один из них сказал: — Если мы спасемся от этого страшного шторма и достигнем гавани, то на родине рядом с изображениями морских божеств поставим статуи вам — нашим спасителям, столь счастливо нам явившимся. — Вот почему дом и был прозван триерой.

III, 45—46

[О жемчуге]

45. Вот что пишет Феофраст в своем сочинении «О камнях» относительно моллюсков, которые водятся в Индии (будет кстати вспомнить о них, поскольку мы коснемся употребления жемчуга): «К самым удивительным камням принадлежит так называемый жемчуг; он блестящ по природе, и из него делают драгоценные ожерелья. Образуется он в некоторых раковинах, подобных пиннам, только поменьше. Величиной он с довольно большой рыбий глаз».

А вот что пишет Андросфен [1] в своем «Плавании вокруг берегов Индии»: «И витые раковины, и мелкие двустворчатые, и прочие разнообразны по виду и непохожи на те, что встречаются у нас. Водятся там и багрянки и множество других моллюсков. Но есть среди них один особого рода, местные жители называют его «бербери». Из него получают камень жемчуг, который высоко ценится по всей Азии и продается в Персии и в более удаленных от моря областях на вес золота. Раковина этого моллюска с виду напоминает «гребешок», но ее гладкие, плотные створки лишены бороздок; кроме того, у нее не два ушка, как у «гребешка», а только одно. Камень образуется в мякоти моллюска, как финны в свином мясе. Одни жемчужины — золотистые, так что даже нелегко отличить их, когда они лежат рядом с золотом, другие похожи на серебро, третьи — совсем белые, как рыбий глаз».

Харет из Митилены [2] говорит в седьмой книге «Истории Александра»: «В Индийском море, а также в Армении, Персии, Су-

зиане и Вавилонии охотятся за каким-то моллюском, с крупной продолговатой раковиной, внутри которой много душистого белого мяса. Из этой мякоти извлекают белые косточки, называемые жемчужинами. Они идут для изготовления ожерелий и браслетов для рук и ног; у персов, мидян и прочих азиатов такие украшения ценятся дороже золотых».

46. Исидор из Харакса [3] в своем «Описании Парфии» говорит, что в Персидском море есть остров, возле которого находят очень много жемчуга. Поэтому вокруг острова сделали мостки из тростника, и люди ныряют с них на глубину двадцати оргий за двустворчатыми раковинами. Говорят, что в пору гроз, когда непрерывно гремит гром и идут проливные дожди, чаще всего начинается у пинны беременность, больше всего рождается жемчужин, и к тому же самых крупных. Зимою пинны обычно забиваются в норы на большой глубине; летом по ночам они раскрываются и плавают свободно, а днем закрываются. Моллюски, которые прирастают к скалам и утесам, пускают корни и, оставаясь на одном месте, рождают жемчуг... Та пинна, что лежит глубоко в воде, производит самый блестящий, крупный и чистый жемчуг, а та, что находится близ поверхности и испытывает воздействие солнечных лучей, рождает жемчужины поменьше и цветом похуже.

Ловцы жемчуга подвергаются опасности, когда просовывают руку прямо в открытую раковину, так как она тотчас же захлопывается и часто отрезает им пальцы. Некоторые даже сразу умирают. А те охотники, которым удается подсунуть руку сбоку, легко отделяют раковину от скалы.

III, 51—52

[Спор Ульпиана [1] с Кинульком]

51. Тут подали царицу всех блюд — свиную матку, мать сыновей Гиппократа, которых, я знаю, не раз высмеивали в комедиях за их свинство.

Взглянув на нее, Ульпиан сказал:

— Ну, друзья, у кого встречаем мы слово «матка»? Мы уже вдоволь поели, пора нам и побеседовать. А киникам, которые нажрались до отвала, я посоветую молчать. Пусть, если хотят, грызут челюсти и головы и всякие кости: ведь никто не запретит им лакомиться, словно собакам, всеми этими отбросами. Право, они и на самом деле собаки, и прозвищем своим гордятся [2].

Закон велит бросать объедки псам, —

сказал Эврипид в «Критянках». Киники тоже хотят есть и пить все без разбора, и им нет дела до того, что сказал божественный Платон в «Протагоре»: «Разговаривать о поэзии — все равно что

бывать на пирах дурных и пошлых людей. Из-за своей необразованности они не могут за столом общаться друг с другом посредством собственного голоса и собственных речей; поэтому они высоко ценят флейтисток и нанимают за большие деньги чужой голос — голос флейт — и при его помощи общаются между собою. А где собираются добрые и образованные сотрапезники, там не видно ни флейтисток, ни танцовщиц, ни арфисток: сами гости способны поддерживать беседу без всего этого вздора и пустяков, по очереди говоря и слушая друг друга; они сохраняют благопристойность, даже если выпьют очень много вина» [3]. Вот и с вами так же, Кинульк: когда вы напьетесь, или, вернее выпьете все до капли, то, наподобие флейтисток и танцовщиц, мешаете остальным получать удовольствие от беседы. И живете вы, говоря словами того же Платона, сказанными им в «Филебе» [4], не по-человечески, а словно какой-нибудь моллюск или другое морское животное, у которого все тело в твердой раковине.

52. А Кинульк отвечал в сердцах:

— Ты, обжора и чревоугодник! Ничего-то ты не умеешь: ни говорить обстоятельно, ни вспомнить что-нибудь из истории, ни выбрать наиболее изящные выражения, — и все свое время тратишь на то, что исследуешь вопрос: «Встречается это слово где-нибудь или не встречается? Сказано уже каким-нибудь автором или не сказано?» Ты прямо ногтем царапаешь каждую речь своих собеседников и цепляешься за каждую шероховатость; поэтому ты и имеешь дело постоянно

с чертополохом и грубою сорной травою

и никогда не собираешь самых красивых цветов.

Не ты ли утверждал, будто «эпиномида» [5] — это то, что римляне называют «strena» [6] и, по отеческому обычаю, дарят друзьям? Если в этом объяснении ты стремишься быть верным Платону, то мы хотим знать... * Если же ты нашел это слово, употребленное в таком смысле, у другого автора, то открой нам, кто это. Я, например, знаю, что «эпиномидой» называется еще и часть триеры, как установил в своем трактате «О триерах» Аполлоний... И не ты ли сказал о новом плаще, который тебе еще ни разу не пригодился: — Дай мне, слуга мой Левк, этот непригодный плащ?

А однажды, направляясь в баню, разве не ответил ты на вопрос: — Куда ты? — В баню, потеряться в весе. — И в тот же день воры, промышляющие чужой одеждой, украли у тебя прекрасное платье, так что вся баня хохотала, когда ты искал «непригодный плащ».

В другой раз, милые друзья (вам-то он скажет правду), он ударился о камень и разбил голень. Когда же, вылечившись, он вновь вышел и его спросили: — Что у тебя на ноге, Ульпиан? — он

---

* Г. Кайбель восстанавливает пропущенный текст: «что общего имеет такой смысл с Платоновым сочинением?»

ответил: — Фонарь! — А я (я был тогда с ним) не мог удержаться от смеха, и потом, когда один мой приятель-врач смазывал мне под глазами густой мазью, на вопрос: — Что с тобой? — я ответил: — Споткнулся!

IV, 1—5

[Свадебный пир Карана]

1. Македонец Гипполох, друг мой Тимократ, жил во времена Линкея и Дуриса, самосцев, учеников Феофраста из Эресии. Как можно узнать из его писем, они с Линкеем договорились писать друг другу всякий раз, как один из них побывает на каком-нибудь роскошном пиру. Некоторые из их посланий с описаниями пиров сохранились: Линкей описывает пир, который аттическая флейтистка Ламия дала в Афинах царю Деметрию, прозванному Полиоркетом (Ламия была любовницей Деметрия), а Гипполох — свадьбу македонца Карана. Мы напали и на другие письма Линкея к тому же Гипполоху, в которых он рассказывает о пирах царя Антигона, справлявшего Афродисии в Афинах, и царя Птолемея. Эти письма я дам тебе. Письмо же Гипполоха встречается редко, поэтому я ради приятного времяпрепровождения перескажу тебе его содержание сейчас.

2. Как я уже говорил, Каран задавал свадебный пир в Македонии. Приглашено было двадцать человек. Едва они возлегли, каждому тотчас было дано в дар по серебряному фиалу. Еще прежде чем гости вошли, хозяин увенчал каждого золотым украшением стоимостью в пять золотых. Когда же они осушили свои фиалы, всем подали одинаковые караваи хлеба, лежавшие на медных блюдах коринфской работы, а также птицу — уток, диких голубей, гусей и множество другой снеди, нагроможденной в изобилии. Каждый, взяв кушанье, передал его вместе с блюдом стоявшему сзади рабу.

Но разнообразные яства появлялись одно за другим. Принесли серебряное блюдо, на котором лежал большой хлеб, гуси, зайцы, козлята, искусно выпеченные хлебцы, голуби и голубки, куропатки и всякие прочие пернатые, какие только водятся на свете. «Отдали мы и это рабам, — продолжает Гипполох, — и когда досыта наелись, вымыли руки. Тогда принесли множество венков из разных цветов и к каждому из них — золотой убор, равный по весу тому украшению, которым нас увенчали в начале пира». После этого Гипполох сообщает, что Протей, — внук знаменитого Протея, сына Ланики, которая была кормилицей царя Александра, — выпил очень много (ведь пьяницей был и дед его Протей, спутник Александра), ибо пил за здоровье всех подряд. Затем он пишет следующее: (3.) «Мы были уже в том приятном состоянии, когда здравый рассудок покидает нас. В это время пришли флейтистки, певицы и какие-то родосские арфистки; по-моему, они

были нагие, но другие гости говорили, что на них были хитоны. Сыграв, они удалились. На смену им вышли другие женщины, которые несли каждая по два лекифа с миррой; один из них был золотой, другой серебряный, оба вмещали по котилу и были скреплены между собой тонкой золотой пластинкой. Их роздали гостям. Потом принесли уже не угощение, а целое богатство: позолоченный серебряный поднос (золото покрывало его толстым слоем), такой большой, что на нем поместилась огромная жареная свинья; она лежала навзничь и показывала брюхо, набитое вкусными вещами: в нем были вместе запечены дрозды, утки, бесчисленное множество жаворонков, яичные желтки, устрицы, морские гребешки. Все это роздали гостям в горячем виде. Потом, выпив, мы взяли золотые ложки и положили себе мяса козленка, совсем еще горячего и лежавшего на таком же блюде. Каран, увидев, что подарки уже некуда класть, приказал подать нам корзинки для провизии и для хлеба, сплетенные из пластин слоновой кости. Мы были в восторге и принялись рукоплескать жениху: ведь так у нас сохранялось все, что нам подарили. Потом снова принесли венки и двойные лекифы с миррой, золотые и серебряные, по весу равные первым. Когда установилась тишина, к нам ворвались люди, которым впору было бы участвовать разве что в горшечных празднествах в Афинах, а с ними итифаллы [1], комедиантки и какие-то нагие фокусницы, кувыркающиеся на мечах и выдувающие огонь изо рта.

4. Избавившись от них, мы снова обратились к подогретым крепким винам — фасийскому, мендесийскому, лесбосскому; золотой кубок, поданный каждому из нас, был очень велик. После питья принесли оправленное серебром хрустальное блюдо, поперечником примерно в два локтя, полное жареной рыбы разных сортов. Кроме того, всем дали по серебряной хлебнице с каппадокийскими булками, часть которых мы съели, а часть отдали стоявшим позади рабам. Вымыв руки, мы надели новые венки и снова получили золотые уборы, которые были вдвое больше прежних, и новые двойные лекифы с миррой.

Когда водворилась тишина, Протей, соскочив с ложа, попросил чашу емкостью в целый хой, наполнил ее фасийским вином, добавил в него чуть-чуть воды и выпил все, сказав при этом:

— Кто больше пьет, и веселится больше тот!

И Каран сказал ему:

— Раз ты выпил первый такую чашу, то тебе будет она в дар. И другие получат такую же, если сумеют ее осушить. — При этих словах мы «все девять воспрянули» [2] и схватили кубки, стараясь опередить один другого. А один из нас, несчастный, который не мог много пить, сел и заплакал, что останется без чаши; и Каран милостиво подарил ему пустой фиал.

После этого вышел хор из ста человек и стройно спел брачный гимн, а после хора — танцовщицы, одетые одни — нереидами, другие — нимфами.

5. Между тем попойка продолжалась. Стало смеркаться. Тогда открыли комнату, которая до того была отгорожена занавесками из тонкого белого полотна. Когда они раздвинулись, приводимые в движение скрытыми механизмами, стали видны наяды, и эроты, и паны, и гермесы, и множество других статуй, державших в руках серебряные светильники. Пока мы удивлялись этой хитрой выдумке, всем подали настоящих эриманфских [3] вепрей, которые лежали, пронзенные серебряными вертелами, на четырехугольных подносах в золотых оправах.

И самое удивительное то, что мы, ослабевшие, с тяжелою от хмеля головой, лишь только замечали вновь принесенное кушание, сразу же трезвели и, как сказал поэт, «с ложа вставали» [4]. А слуги между тем плотно набивали наши счастливые корзинки, пока не протрубили установленный сигнал к окончанию пира (такой обычай, как ты знаешь, существует у македонцев на многолюдных пиршествах).

Каран, своим примером подав нам знак пить из меньших кубков, приказал рабам обнести вином гостей. Мы легко осушили чаши, как бы принимая противоядие против выпитого раньше неразбавленного вина.

Тут явился шут Мандроген, как говорят, потомок знаменитого Стратона Аттического, и очень посмешил нас, проплясав с женщиной, которой было далеко за восемьдесят.

Напоследок внесли столы для ужина и подали в плетенках из слоновой кости сладости и пироги всех сортов — и критские, и твои самосские, друг мой Линкей, и аттические; каждый сорт печенья лежал в особой корзинке. После этого мы встали и удалились, трезвые, клянусь богами, от страха перед полученным богатством.

Теперь ты в одиночестве живешь в Афинах и блаженствуешь, слушая поучения Феофраста, питаясь винегретом с тмином, дикой капустой и вкусными кренделями, любуясь Ленеями и горшечными празднествами. Мы же, получив богатство в виде угощения на пиру у Карана, ищем теперь для покупки, кто — дома, кто — земли, кто — рабов».

IV, 15

[Спартанские пиры]

Затем следует сказать и о спартанских пирах. Геродот в девятой книге своей «Истории», описывая утварь Мардония [1], упоминает о спартанских пирах; вот что он говорит: «Ксеркс, убегая из Греции, оставил Мардонию всю свою утварь. Когда Павсаний [2] увидел ее, а также разукрашенную золотом и серебром палатку

с разноцветными занавесями, он приказал пекарям и поварам приготовить точно такой же обед, какой они готовили для Мардония. Пока они исполняли приказ, Павсаний разглядывал золотые и серебряные ложа, устланные дорогими покрывалами, серебряные столы и великолепную пиршественную посуду. Пораженный всем виденным, Павсаний, желая пошутить, велел своим собственным слугам приготовить спартанскую трапезу. Когда все было готово, Павсаний, смеясь, пригласил греческих полководцев. Они пришли, и он, показав им убранство обоих пиров, сказал: — Эллины, я созвал вас, чтобы показать неразумие мидийского вождя: он, живущий в такой роскоши, пришел к нам, живущим так скудно!»

Говорят также, что некий житель Сибариса [3], находясь в Спарте и сидя со спартанцами за их общей трапезой, сказал: — Понятно, что спартанцы — самый храбрый из всех народов: ведь любой здравомыслящий человек согласится скорее тысячу раз умереть, чем получать столь скудную пищу.

IV, 64—65

[*О вмешательстве суда в частную жизнь граждан*]

64. Гегесандр [1] рассказывает, что до великого беспутства дошел Деметрий, потомок Деметрия Фалерского. Он держал любовницу, Аристагору из Коринфа, и утопал в роскоши. Когда же члены ареопага вызвали его и приказали жить поскромнее, он ответил: — Да я и теперь живу благородно, как подобает свободному человеку. И подружка у меня самая красивая, и не обижаю я никого, а что я пью хиосское вино и позволяю себе много других удовольствий, — так на все хватает моих собственных доходов; а взяток я не беру и не развратничаю тайком, как иные из вас. — И он назвал поименно некоторых из тех, кто так поступал. Услышав об этом, царь Антигон назначил его одним из фесмофетов [2]. Исполняя во время Панафиней должность начальника конницы, Деметрий воздвиг для Аристагоры возле герм [3] помост выше самих герм. А во время элевсинских мистерий он поставил для нее кресло возле самого храма Деметры, говоря, что заставит плакать всякого, кто этому воспротивится.

65. О том, что в старину члены ареопага вызывали в суд и наказывали тех, кто жил беспутно и не по средствам, рассказывают в своих историях Фанодем, Филохор и многие другие. Так вызвали философов Менедема и Асклепиада, когда те были молоды и бедны, и спросили их, как это они ухитряются, проводя целые дни в обществе философов и при этом не имея никакого имущества, сохранять крепость тела. Обвиняемые просили пригласить в суд одного мельника; тот явился и показал, что они каждую ночь приходят к нему на мельницу и там мелют, получая

за это две драхмы на обоих. Судьи удивились и присудили им почетную награду в двести драхм.

Также и жители Абдеры публично судили Демокрита за то, что он промотал отцовское наследство. Но после того, как он прочел им свой «Великий диакосм» и «О царстве Аида» и сказал, что все истратил, создавая эти труды, его оправдали.

V, 40—44

[*Корабль Гиерона*]

Я думаю, нельзя умолчать о корабле, построенном Гиероном Сиракузским [1], тем более что постройкой его руководил геометр Архимед. Некий Мосхион издал об этом судне сочинение, которое я недавно внимательно прочитал. Вот что пишет этот Мосхион: «Диоклид из Абдеры удивляется «гелеполе», осадной машине, которую Деметрий подвел к стенам города Родоса; Тимей дивился костру, разложенному сицилийским тираном Дионисием, Иероним — колеснице, изготовленной для перевозки тела Александра, Поликлит — светильнику, сделанному для персидского царя. Сиракузский царь Гиерон, который во всем был другом римлянам, очень заботился о строительстве храмов и гимнасиев; большое рвение он проявлял и в сооружении кораблей, создавая множество судов для перевозки зерна. О постройке одного из них я напомню.

Заготовляя материал, царь велел привезти с Этны столько лесу, что его хватило бы на шестьдесят четырехрядных кораблей. Когда это было исполнено, он доставил — частично из Италии, частично из Сицилии — дерево для изготовления клиньев, шпангоутов, поперечных брусьев и на другие нужды; для канатов коноплю привезли из Иберии, пеньку и смолу — с реки Родана; словом, все необходимое было свезено отовсюду. Гиерон собрал также корабельных плотников и других ремесленников, а во главе их поставил Архия, кораблестроителя из Коринфа, которому приказал немедленно приступить к работам. Сам царь также целые дни проводил на верфи. За шесть месяцев корабль был наполовину закончен. Каждая готовая часть немедленно обшивалась свинцовой чешуей; ее выделывали триста мастеров, не считая подручных. Наконец царь приказал спустить наполовину готовое судно на воду, чтобы там завершить остальные работы. О том, как это сделать, было много споров; но изобретатель Архимед один с немногими помощниками сдвинул огромный корабль с места при помощи построенного им винта (Архимед сам изобрел этот винт). Остальные работы на корабле заняли также шесть месяцев. Все судно было сбито медными гвоздями, большая часть которых весила по десять мин каждый (некоторые гвозди были в полтора раза тяжелее: они скрепляли поперечные брусья, и гнезда для них сверлили буравами). Дерево обшили свинцовой чешуей, подложив

под нее пропитанное смолой полотно. Когда внешняя отделка корабля была закончена, стали оборудовать его изнутри.

Это было судно с двенадцатью скамьями для гребцов и с тремя проходами один над другим. Самый нижний проход, к которому нужно было спускаться по множеству лестниц, вел к трюму, второй был сделан для тех, кто хотел пройти в жилую часть корабля, и, наконец, последний предназначался для вооруженных караулов. По обе стороны среднего прохода находились каюты для едущих на корабле, числом тридцать, по два ложа в каждой. Помещение для навклеров [2] имело залу на пятнадцать лож и три отдельных покоя по четыре ложа в каждом; к ним примыкала находившаяся на корме кухня. Пол этих кают был составлен из плиток разного камня, и на нем были искусно изображены все события «Илиады». Так же искусно было сделано и остальное: потолки, двери, убранство.

Возле верхнего прохода находился гимнасий и помещения для прогулок; их размеры и устройство соответствовали величине корабля. В них были превосходные сады, полные разнообразных растений, получавших влагу из проложенных под ними свинцовых желобов. Были там и беседки из белого плюща и виноградных лоз, корни которых уходили в наполненные землей пифосы [3] и там находили пищу; эти тенистые беседки, орошавшиеся точно так же, как и сады, служили местом для прогулок.

Рядом был устроен покой, посвященный Афродите; его пол сложили из агата и других самых красивых камней, какие только встречались на острове, потолок и стены были из кипарисового дерева, а двери — из слоновой кости и туи. Покой был великолепно украшен картинами, статуями и разнообразными чашами. За ним шла зала для занятий; там стояло пять лож, стены и двери были сделаны из самшита. В зале помещалась библиотека; на потолке находились солнечные часы, точно такие же как в Ахрадине [4]. Была на корабле и баня с тремя медными котлами и ванной из пестрого тавроменийского камня, вмещавшей пять метретов воды. Построено было и множество помещений для солдат и надсмотрщиков трюмов. Поодаль от жилых кают находились конюшни, по десять у каждого борта, рядом с ними был сложен корм для лошадей и пожитки конников и рабов.

Закрытая цистерна для воды находилась на носу корабля и вмещала две тысячи метретов; она была сделана из досок и просмоленного полотна. Рядом с нею был устроен рыбный садок, также закрытый, сделанный из досок и полос свинца; его наполняли морской водой и держали в нем много рыбы...

Снаружи весь корабль опоясывали атланты, имевшие по шесть локтей в высоту; они были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и поддерживали всю тяжесть карниза. И все судно было покрыто прекрасной росписью.

Было на нем восемь башен, по величине соответствовавших огромным размерам корабля. Две стояли на корме, столько же

на носу, остальные — посредине. На каждой было по две выступающих балки с подъемниками, над которыми были устроены проемы, чтобы бросать камни в плывущих внизу врагов. На каждую башню поднималось четверо тяжело вооруженных юношей и два стрелка из лука. Внутри башни все было заполнено камнями и стрелами. Вдоль всех бортов шла стена с зубцами, а за ней — настил, поддерживаемый трехногими козлами. На настиле стояла катапульта, бросавшая камни весом в три таланта и копья в двенадцать локтей длиной. Машину эту построил Архимед; и камни и копья она метала на целый стадий. За стеной были подвешаны на медных цепях занавесы из плотно сплетенных ремней. К каждой из трех мачт корабля было приделано по две балки с подъемниками для камней; благодаря этому с мачт можно было бросать абордажные крючья и свинцовые плиты в нападающего противника. Корабль был обнесен частоколом из железных брусьев для защиты против тех, кто захотел бы ворваться на судно. Железные крючья, приводимые в движение механизмами, могли захватить вражеский корабль, силой повернуть его и поставить под удар метательных орудий. У каждого борта располагалось по шестьдесят вооруженных юношей; столько же окружало мачты и башни с подъемниками. И на мачтах, на их медных верхушках, сидели люди; на первой — трое, на каждой следующей — на одного меньше. Рабы поднимали камни и дротики в плетеных корзинах при помощи ворота.

На корабле были четыре деревянных якоря и восемь железных. Бревна для второй и третьей мачты были найдены легко; но дерево для первой мачты с трудом отыскал в горах Бруттия какой-то свинопас. К морю его доставил изобретатель Филей из Тавромения. Воду, которая скапливалась в трюме, хотя ее набиралось очень много, отливал один человек при помощи изобретенного Архимедом винта. Назвали корабль «Сиракусий», но когда Гиерон отослал его в Египет, он был переименован в «Александрида». На буксире за ним шли: первым — керкур грузоподъемностью в три тысячи талантов, который и сам был веселым кораблем, а за ним — рыболовные суда, поднимавшие по полторы тысячи талантов каждый, и множество лодок... Кроме тех, кого я уже упомянул, еще шестьсот человек стояло на носу в ожидании распоряжений. Чтобы судить за совершенные на корабле преступления, был создан суд, состоящий из навклера, кормчего и его помощника, командовавшего гребцами; судили они по сиракузским законам.

На корабль погрузили шестьдесят тысяч медимнов хлеба, десять тысяч глиняных сосудов с сицилийскими солениями, две тысячи талантов шерсти и две тысячи талантов прочих грузов, не считая продовольствия для плывших на нем людей. Однако Гиерон услышал, что такой корабль либо вообще не сможет войти ни в одну гавань, либо не будет там в безопасности; тогда он

решил послать его в дар царю Птолемею в Александрию, потому что в Египте тогда не хватало хлеба. Так он и сделал: корабль был отведен в Александрию и там вытащен на берег.

VI, 56

[*Демокл, льстец Дионисия*]

Тимей в двадцать второй книге «Истории» рассказывает о Демокле, льстеце Дионисия Младшего. В Сицилии был обычай приносить у домашних алтарей жертвы нимфам и при этом бодрствовать всю ночь возле статуй богинь, пить вино и плясать вокруг них. А Демокл, оставив нимф и сказав, что не следует так стараться ради лишенных души изображений богов, пришел к Дионисию и плясал вокруг него. Однажды, отправленный куда-то послом, он вместе с другими плыл на триере; по возвращении остальные спутники обвинили Демокла в том, что, находясь вдали от родины, он затевал раздоры и вредил всему делу Дионисия. Когда тот сильно рассердился, Демокл ответил ему, будто распря с товарищами по посольству возникла у него из-за того, что они, выучив пеаны Фриниха и Стесихора, а некоторые — Пиндара, пели их после обеда, в то время как он с желающими исполнял пеаны, сочиненные самим Дионисием. Он заявил, что представит неоспоримое доказательство: ведь его обвинители не помнят ни одного песнопения Дионисия, а он готов тут же пропеть их все. Дионисий перестал гневаться, и Демокл сказал: — Сделай милость, Дионисий, прикажи кому-нибудь, кто знает твой пеан Асклепию, научить и меня. Я слышал, ты только что его окончил.

В другой раз Дионисий, созвав друзей на пир, вошел к ним и сказал: — Друзья, к нам прибыли письма от полководцев, посланных в Неаполь. — Демокл перебил его: — Клянусь богами, эти полководцы хорошо сделали, Дионисий! — Тот посмотрел на него и сказал: — А ты откуда знаешь, по душе мне то, что они пишут, или нет? — Клянусь богами, Дионисий, ты правильно меня упрекнул! — отвечал на это Демокл.

VI, 79

[*О смешливых тиринфянах*]

Феофраст говорит в трактате «О комедии», что тиринфяне очень смешливы и потому непригодны ни к каким серьезным делам. Желая избавиться от этого порока, они прибегли за помощью к дельфийскому оракулу. Бог возвестил им, что если они принесут жертву Посейдону, бросив быка в море, и при этом удержатся от смеха, то их болезнь прекратится. Тиринфяне, боясь

не исполнить повеления оракула, запретили детям присутствовать при жертвоприношении. Однако один мальчик, узнав о предстоящей церемонии, замешался в толпу. Когда все стали кричать и гнать его, он возразил: — Да в чем дело? Неужели вы боитесь, что я опрокину вам чашу для жертвенной крови (т. е. море)? — Все засмеялись и поняли: это бог их наставляет, показав на деле, что невозможно излечиться от такой застарелой привычки.

VI, 88—90

[Дриман, предводитель беглых рабов]

88. Я знаю, что первыми из эллинов стали пользоваться купленными за деньги рабами хиосцы; об этом пишет Феопомп в шестнадцатой книге «Истории». «Хиосцы первыми из эллинов после фессалийцев и спартанцев стали использовать рабов; но приобретали они их иным способом, нежели те. Известно, что спартанцы и фессалийцы обратили в рабство эллинов, заселявших раньше области, которыми они теперь владеют: так спартанцы сделали рабами ахейцев, а фессалийцы — перребов и магнетов. Первые назвали порабощенных им людей илотами, вторые — пенестами. Хиосцы же держат рабов-варваров, за которых заплачена определенная цена». Так рассказывает Феопомп.

Я думаю, что именно по этой причине божество разгневалось на хиосцев, ибо спустя недолгое время они были ввергнуты в войну с рабами [1]. Нимфодор Сиракузский [2] в «Плавании вокруг Азии» рассказывает: «Рабы хиосцев бегут от хозяев, направляются в горы и, собравшись там большими отрядами, опустошают их усадьбы. Остров этот гористый и покрыт лесами. Сами хиосцы рассказывают, что немного лет назад некий раб убежал и обосновался в горах; человек храбрый и удачливый в войне, он, словно настоящий царь, стал во главе войска беглых рабов.

Хиосцы неоднократно ходили на него походом, но ничего не могли достигнуть. Тогда Дримак (так звали беглого раба), видя, что они гибнут понапрасну, говорит им так: — Вы, господа наши хиосцы, никогда не увидите конца тем бедствиям, которые вы терпите от ваших рабов. Да и может ли быть иначе, если все происходит в соответствии с предсказанием, данным богом? Но если вы меня послушаетесь и оставите нас в покое, то я сделаю для вас немало добра.

89. Хиосцы заключили с ним договор и некоторое время выполняли условия перемирия; Дримак завел свои меры и веса и даже собственную печать. Показав все это хиосцам, он заявил: — Если я что-нибудь у вас возьму, то приму по этой мере и по этому весу; а взяв столько, сколько мне нужно, я буду запечатывать кладовые этой печатью. Если у вас убегут рабы, я выясню причину и, если решу, что они убежали от нестерпимой жестокости

господина, то оставлю их у себя; если же они не смогут оправдать свой побег, я отошлю их к хозяевам.

Остальные рабы, увидев, что хиосцы с удовольствием приняли эти условия, стали убегать гораздо реже, боясь суда Дримака. А беглецы, бывшие с ним, гораздо больше боялись его, чем своих собственных господ, делали все, что он приказывал, и подчинялись ему, как стратегу. Он сам наказывал недисциплинированных и никому не позволял без своего разрешения грабить поля или совершать другие беззакония. В праздники он приезжал на поля и принимал вино, битый скот и все остальное, что давали ему господа. Если же он узнавал, что кто-нибудь злоумышляет против него или готовит ему засаду, тех он наказывал.

90. Город обещал большую денежную награду тому, кто его поймает или принесет его голову. Когда Дримак стал уже стар, он позвал своего любимца в уединенное место и сказал ему так: — Я любил тебя больше всех, ты для меня все: и слуга и сын. Я пожил достаточно, а ты молод, твоя жизнь в самом расцвете. Так значит, тебе нужно стать порядочным человеком. Хиосское государство дает много денег и обещает свободу тому, кто меня убьет, — так отруби мне голову, отнеси ее в Хиос, получи от города деньги и живи счастливо! — Хотя юноша и отказывался, Дримак уговорил его сделать это. Тот, отсекши ему голову, взял с хиосцев объявленную награду и, похоронив тело беглого раба, уехал на родину.

А хиосцы, которых снова стали обижать и грабить рабы, вспомнили умеренность и мягкость покойного, воздвигли ему за городом святилище, назвав его «Святилищем милостивого героя». И теперь еще беглые рабы приносят туда лучшую долю всей захваченной добычи. Говорят, Дримак является во сне многим хиосцам и открывает им злые умыслы их рабов; и все, кому он является, приходят в то место, где стоит его святилище, и приносят ему жертвы».

X, 71, 73, 75, 76

[О загадках]

71. Алексид[1] в комедии «Сон» загадывает такую загадку:
Первая собеседница:

Не смертен и, однако, не бессмертен он;
Его природа смешана: не божеской
Живет он жизнью и не человеческой,
Рождаясь каждый день и исчезая вновь.
Незрим для глаз, но в то же время всем знаком.

Вторая:

Всегда ты задаешь загадки, женщина!

Первая:

Я просто и понятно говорю сейчас.

Вторая:

Кто ж мальчик тот с такой природой странною?

Первая:

То сон, что прекращает смертных тяготы.

73. В пьесе «Сапфо» Антифан [2] выводит самое поэтессу; она загадывает загадку, и вот как собеседник решает ее. Сапфо говорит:

Среднего рода оно, но в лоне детей сокрывает,
Немы они, но всегда издают отчетливо звуки,
Перелетев через весь материк, через волны морские,
К тем, кому хочешь послать их. Те люди смогут услышать
Голос живущих вдали, хоть звук не коснется их слуха.

А тот, кто должен отгадать отвечает:

То государство, верно, рода среднего.
Оно в себе детей растит — ораторов,
А те шумят и тащат к нам из-за моря,
Из Азии добычу и из Фракии.
Пока они и кормятся и ссорятся,
Вкруг них вблизи сидит народ бессмысленный,
И ничего не слышит и не видит он.

Сапфо:

Но как немыми могут быть ораторы?

Собеседник:

Когда попались трижды в беззаконии!
А я-то полагал, дитя, что правильно
Решил твою загадку. Но ответь же мне!

После этого автор заставляет Сапфо так решить загадку:

Отец! Письмо — то слово рода среднего,
А буквы — дети, что оно несет в себе.
Они хоть немы — говорят с далекими,
С кем захотят. А близко кто окажется —
Хоть видит, как читают, но не слышит слов.

75. Гермипп [3] в книге «Об учениках Исократа» говорит, что Теодект Фессалийский [4] очень легко решал заданные ему загадки и сам ловко задавал их другим. Известна его загадка о тени. В ней говорится, что есть одна вещь, которая достигает наибольшей величины при рождении и перед смертью, а в расцвете сил становится меньше всего. Вот как звучит загадка:

Ни на земле, нас кормящей, ни в море, ни среди смертных
Ты не увидишь, чтоб тело росло так странно, как это:
Только родившись, оно бывает огромным и длинным,
В самой цветущей поре — мало; когда ж постареет,
Снова огромной длины достигает оно перед смертью.

Он же в трагедии «Эдип» в такой загадке описывает день и ночь:

Сестры есть близнецы, одна из которых рождает
Вечно другую, а та порождает первую снова.

А вот какой случай рассказывает в «Истории Греции» Каллисфен: «Когда аркадцы осаждали Кромн, маленький городок неподалеку от Мегалополя, спартанец Гипподам, оказавшийся среди осажденных, при помощи иносказания открыл пришедшему от спартанцев вестнику, каково положение дел в Кромне. Он велел передать своей матери, чтобы та в ближайшие десять дней освободила женщину, связанную в храме Аполлона; если этот срок пройдет, освободить ее уже не удастся. Такими словами он ясно дал понять все, что хотел. Дело в том, что в храме Аполлона, над самым креслом бога, изображен на картине голод в виде женщины. Всем в Спарте стало ясно, что еще только десять дней осажденные могут переносить голод. Уразумев смысл известия, спартанцы тотчас пришли на помощь жителям Кромна».

76. Есть много загадок такого рода, как следующая:

Видел я, как человек огнем прикреплял к человеку
Медь, чтобы стала она близкой по крови ему.

Это означает «ставить банки».

А вот загадка Панарка, о которой говорит Клеарх в книге «О загадках»: «Мужчина, да не мужчина, бросил камнем, да не камнем, в птицу, да не птицу, которая сидела на дереве, да не на дереве». В этой загадке первое — евнух, второе — пемза, третье — летучая мышь, а четвертое — лоза. Платон упоминает об этой загадке в пятой книге «Законов», когда говорит: «Философы, занимающиеся маловажными предметами, похожи на людей, не знающих, какое выбрать угощение, или напоминают детскую загадку про евнуха и летучую мышь: в ней спрашивается, чем он в нее бросил и откуда согнал».

XIII, 35

[Любовь Зариадра и Одатиды]

Не следует удивляться и тому, что рассказывают, будто кто-то полюбил понаслышке: ведь Харет из Митилены говорит в девятой книге «Истории Александра», что люди влюблялись, раз увидев во сне того, кого прежде никогда не видали. Вот что он пишет: «У Гистаспа был младший брат Зариадр. Оба брата были очень хороши собою, и тамошние жители говорили даже, что они — дети Афродиты и Адониса. Гистасп владел Мидией и странами, расположенными южнее, а Зариадр — землями, простиравшимися

от Каспийских ворот к северу до Танаиса. По ту сторону Танаиса жили мараты; у царя их Омарта была дочь по имени Одатида, о которой в исторических сочинениях пишут, будто она влюбилась в Зариадра, увидев его во сне. То же случилось и с ним, и им овладело то же чувство к ней. Так и стремились они друг к другу, увлеченные сновидением. Одатида была прекраснейшей из женщин Азии, да и Зариадр был красив. Зариадр отправил к Омарту послов и настойчиво добивался брака с девушкой, но Омарт не соглашался: у него не было мужского потомства, и он хотел выдать дочь за кого-нибудь из своих земляков.

Спустя немного времени Омарт, созвав могущественных вельмож своего царства, друзей и родственников, устроил брачный пир, не открыв заранее, кому собирается отдать дочь. Когда пир был в разгаре, Омарт призвал ее в пиршественный покой и сказал громко, чтобы слышали все сотрапезники: — Сегодня, дочь моя Одатида, мы справляем твою свадьбу. Оглянись и осмотри всех, возьми золотую чашу, наполни ее и дай тому, за кого хочешь выйти замуж: ему ты и станешь женою. — Она же, оглядев всех, ушла с плачем, так как страстно желала увидеть Зариадра, и тотчас послала к нему с известием, что скоро ее выдадут замуж.

Тогда Зариадр пришел с войском на Танаис и ночью, тайком от всего лагеря, с одним только возницей переправился через реку. Поспешая на колеснице, он проехал большое расстояние — около восьмисот стадиев — и вблизи места, где происходила свадьба, покинул своего спутника с колесницей, а сам, надев скифское платье, пошел дальше. Войдя в дом и увидев Одатиду, в слезах стоявшую возле столика с кубками и смешивающую вино в чаше, он встал подле нее и сказал: — Одатида, вот я пришел к тебе, как ты велела: я Зариадр. — Увидев красивого чужестранца, похожего на того, кого она видела во сне, Одатида с радостью подала ему чашу. А он тайно отвел Одатиду к колеснице, и они бежали вместе. Рабы и служанки, знавшие об их любви, сохраняли молчание, и когда отец приказал позвать дочь, ответили, что не знают, куда она отправилась. Варвары, населяющие Азию, до сих пор помнят об этой любви и завидуют ей. И в храмах, и в царских дворцах есть картины, на которых изображены сцены из этого сказания, и многие знатные люди дают своим дочерям имя Одатида».

XIII, 47

[*Остроумие гетеры Гнафены*]

Много ответов Гнафены записал Линкей. Одна старуха содержала парасита, и тот был очень здоров и крепок. Гнафена сказала ему: — Тельце у тебя прямо цветет, юноша! — А как бы,

по-твоему, я выглядел, если бы не спал с женщиной? — Ты умер бы с голоду! — отвечала она.

Однажды пришел Павсаний, по прозвищу Колодец, и случайно налетел на ведро. — Колодец упал в ведро! — сказала Гнафена.

В другой раз кто-то подал в чаше очень мало вина, но при этом сказал, что оно шестнадцатилетнее. Гнафена возразила: — Оно что-то слишком мало для своего возраста!

Когда во время пирушки двое юношей подрались из-за нее, Гнафена сказала тому, кто оказался слабее: — Ничего, малыш! Ведь вы состязались не за почетную награду, а за денежную!

Другому юноше, который дал ее дочери мину и потом часто ходил к ней, но ничего больше не приносил, она сказала: — Ты думаешь, малыш, что раз ты заплатил мину, то можешь постоянно ходить сюда, словно к Гипподаму, который обучает детей гимнастике?

XIII, 55

[Аристипп, Диоген и гетера Лаида]

Аристипп[1] ежегодно проводил дни празднеств Посейдона с Лаидой на Эгине. Когда слуга порицал его, говоря, что «ты, мол, даешь ей столько денег, а она даром спит с Диогеном-киником», он отвечал: — Я много дарю Лаиде для того, чтобы самому пользоваться ею, а не для того, чтобы не пользовались другие.

Диоген сказал ему: — Ты, Аристипп, спишь с публичной женщиной. Что ж, или становись киником, как я, или брось ее! — Тогда Аристипп спросил: — Скажи, Диоген, ведь тебе не кажется нелепым жить в доме, где раньше жили другие? — Нет, конечно, — отвечал тот. — Ну, а плыть на корабле, на котором уже многие плавали? — Тоже нет. — Стало быть, нет ничего зазорного и в том, чтобы спать с женщиной, которая у многих побывала в руках!

XIII, 85

[О привязанности животных к людям]

Больше всего любит человека самое разумное животное — дельфин; ему знакомо и чувство благодарности. Филарх говорит в двенадцатой книге: «Каран из Милета, увидев, что рыбаки поймали в сети дельфина и собираются уже его заколоть, дал им денег и убедил отпустить свою добычу в море. После этого Каран потерпел крушение у мыса Микон; все его спутники погибли, а он один был спасен дельфином. В старости он скончался у себя

на родине; похоронной процессии случилось проходить вдоль моря. И вот появилось очень много дельфинов: они держались недалеко от хоронивших Карана людей, как бы вместе с ними провожая его в могилу».

Тот же самый Филарх в двадцатой книге рассказывает, какую нежную любовь к ребенку проявила слониха. Вот что он пишет: «Вместе с этим слоном была вскормлена слониха по кличке Никея. Жена одного индуса, умирая, подложила ей своего ребенка тридцати дней от роду. Когда женщина умерла, животное проявило к младенцу необычайную нежность. Слониха сердилась, когда ребенка от нее забирали, и тосковала, если не видела его подле себя. Кормилица, покормив ребенка молоком, всякий раз вешала люльку между ног животного, иначе слониха не принимала пищи. И целый день, если корм был рядом, а младенец спал, она тростинкой отгоняла от него мух. А когда он плакал, она хоботом качала колыбель и усыпляла его. То же самое часто делал и слон-самец».

XIV, 11

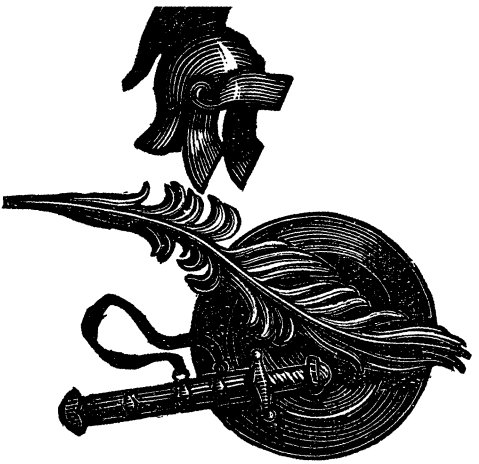
[О песнях и певцах]

Клеарх в первой книге трактата «О любви» пишет, что песни, которые именуются «номиями» (пастушескими), получили свое название в память об Эрифаниде. Вот что он рассказывает: «Поэтесса Эрифанида полюбила охотника Меналка и сама стала охотиться, гоняясь за своим возлюбленным. В постоянных блужданиях она проходила через горы и дубовые рощи, как Ио в старинных сказаниях. Не только люди (даже чуждые любви), но и дикие звери плакали вместе с ней над ее страданиями, понимая, как безнадежна ее любовь. Она сложила песню и, сложив ее, снова стала бродить по пустынным местам, громко распевая номий, в котором есть слова: «Велики дубы, о Меналк...»

Аристоксен в четвертой книге трактата «О музыке» говорит: «В старину женщины пели песню, именуемую «калика», написал ее Стесихор; в ней говорилось о девушке по имени Калика. Полюбив юношу Эватла, она целомудренно молилась Афродите, чтобы та помогла ей выйти за него замуж. Но юноша презрел ее, и она повесилась. Это несчастье случилось в Левкаде. Скромным и целомудренным изобразил поэт нрав девушки: она не хотела просто сойтись с юношей, но молилась о том, чтобы стать, если возможно, его законной женой, или, если это невозможно, чтобы боги разлучили ее с жизнью». И в «Кратких воспоминаниях» Аристоксен говорит: «Ификл презрел влюбленную в него Гарпалику. Она умерла, а в ее память было установлено состязание в песнях между девушками. Песни эти получили название «гарпалик».

Нимфид в первой книге сочинения «О Гераклее» говорит, рассказывая о мариандинах:[1] «Быть может, кто-нибудь обратил внимание на их песни. По существующему у них обычаю, они, когда поют, призывают какого-то человека, жившего в старину; называют его Бормом. Говорят, он был сыном знатного и богатого гражданина и выделялся среди всех своей цветущей молодостью и красотой. Однажды, надзирая за работами в своем хозяйстве, он захотел дать жнецам напиться, но, отправившись за водою, исчез. Жители той страны искали его, распевая похоронные песни, которые еще и теперь там в ходу у всех. Такой же герой, по имени Манер, есть и у египтян».

КАССИЙ ДИОН КОККЕЙАН



РИМСКАЯ ИСТОРИЯ

XXXVII, 11—14

[Смерть Митридата]

11. Неудачи не смирили Митридата;[1] считаясь скорее со своими желаниями, нежели с возможностями, он задумал (дело в том, что Помпей находился в то время в Сирии) пройти через скифские владения до берегов Истра, а оттуда вторгнуться в Италию. Строить грандиозные планы было свойственно Митридату; к тому же в его жизни было немало и тяжких неудач и крупных успехов, — и вот он полагал, что может отважиться на любое действие, что любые надежды его могут исполниться. Он предпочел бы, если уж ему суждена неудача, со славой умереть, погубив свое царство, нежели, лишившись его, влачить жизнь в унижении и безвестности. На этом он стоял твердо, и, чем более дряхлела

его плоть, тем более несдержанным становился полет его фантазии. Он как бы возмещал широтой замыслов свою телесную слабость. Но уже союзники Митридата покидали его, видя, что римляне становятся все могущественнее, а силы Митридата тают; к тому же страшное землетрясение разрушило многие его города; войска волновались, а иные из его сыновей были похищены и отвезены к Помпею.

12. Тогда Митридат некоторых своих подданных наказал, уличив их в измене, на других же в гневе обрушил кары по одному лишь подозрению; он никому не доверял, даже собственным детям, и иных из них предал казни. Видя это, Фарнак, его сын, составил заговор против Митридата: он боялся отца и вместе с тем надеялся — ведь он уже достиг совершеннолетия — получить от римлян царскую власть. Его намерения были раскрыты, ибо многие — кто тайно, кто явно — следили за всем, что он делает. Если бы царская гвардия сохранила малейшее расположение к старому царю, Фарнака ждала смерть. Но Митридат, этот искуснейший в государственных делах властитель, не знал, что ни оружие, ни толпы подданных не стоят и ломаного гроша, если нет у подданных любви к царю. Напротив, чем их больше, тем труднее приходится правителю, который не может доверять своим людям. И вот Фарнак двинулся против отца, и заодно с ним были и те, кого он еще до этого вовлек в заговор, и те, кого Митридат послал, чтобы схватить сына — ибо Фарнак легко с ними столковался. Узнав об этом, старик (он был тогда в Пантикапее [2]) отправил против заговорщиков своих воинов; он и сам собирался вскоре последовать за ними. И этих Фарнак очень скоро привлек на свою сторону — тем более что и они не любили Митридата; затем он без боя взял город и умертвил отца, искавшего спасения во дворце.

13. Митридат пытался покончить с собой. Он прежде всего отравил своих жен и детей — тех, кто ещё был при нем, — а остаток яда выпил сам, но ни яд, ни меч не помогли, и ему не удалось самому уйти из жизни, ибо царь укрепил свой организм, принимая из предосторожности ежедневно большие дозы противоядия. И удар меча оказался недостаточно сильным — рука Митридата была ослаблена и возрастом и горестями, которые выпали ему на долю. Да и отравление все же сказалось. И вот когда ему не удалось покончить с собой и можно было думать, что его смертный час еще не настал, ворвались люди, им самим посланные против сына, и своими мечами и копьями ускорили его кончину. И при жизни судьба Митридата была необычайной и замечательной, и смерть его оказалась удивительной: он стремился умереть, не желая этого, а когда пытался умертвить себя, то не смог; он убивал себя и ядом, и мечом, а погиб от рук врагов.

14. Набальзамированное тело Митридата Фарнак послал Помпею как свидетельство своего подвига. Он подчинил и себя и свои владения римлянам. Помпей не выдал труп Митридата на посрам-

ление, но приказал похоронить его в отеческих курганах: он считал, что вражда угасает вместе с жизнью, и не гневался понапрасну на мертвого. Боспорское царство он пожаловал Фарнаку за его кровавое злодеяние, причислив его самого к друзьям и союзникам римского народа.

LVII, 1

[*Тиберий*]

Таково было правление Августа. Что же касается Тиберия, то он происходил из патрицианского рода и получил хорошее воспитание, но характер у него был на редкость странным. Тиберий никогда не открывал своих желаний, наоборот, то, что он выдавал за желаемое, на самом деле ему не нравилось; его слова противоречили подлинным намерениям, и он отталкивал все, что любил, и требовал то, что ненавидел. Он бранил то, что ни в коей мере не вызывало его гнева, и казался снисходительным к поступкам, которые его сердили. Сурово карая людей, он был преисполнен жалости, а прощая кого-нибудь, выказывал гнев. Злейшего врага он принимал подчас как самого близкого человека, а к другу относился словно к чужому. Короче говоря, он считал, что правителю не следует обнаруживать свои мысли: по его словам, это не раз служило причиной серьезных ошибок, тогда как противоположный образ действий был залогом блестящих успехов. Но если бы странности Тиберия ограничивались только этим, люди, которым приходилось встречаться с ним, легко нашли бы верный путь: достаточно было бы придавать его словам противоположный смысл. Когда он говорил, что ему не угодно то или другое, это означало бы, что как раз этого Тиберий и хочет, а если он чего-то домогался, надо было бы понимать, что это ни в какой мере не желательно. Но в том-то все и дело, что Тиберий сердился, если его собеседник не скрывал, что разгадал его: император предал смертной казни многих людей, которым можно было поставить в вину только их проницательность. Рискованно было не понять его намерений (многие попадали в немилость, похвалив то, что он говорил, а не то, что Тиберий имел в виду), но еще рискованнее было понять их: Тиберий опасался, что люди, раскрывшие секрет его поведения, не склонны его одобрить. Поэтому можно сказать, что лишь тем удавалось спастись, — но таких людей было очень немного, — кто, поняв его характер, умел не выдать этого: тем самым они, не веря его словам, не позволяли обмануть себя, однако и не вызывали его ненависти, ибо и виду не подавали, что разгадали его намерения. Тиберий ставил окружающих в безвыходное положение: они не знали что делать — противиться его требованиям или одобрять их. Так как в действительности он желал одного, а притворялся, будто хочет другого,

поневоле в числе его приближенных оказывались и люди, противившиеся его предложениям и противившиеся его намерениям, — поэтому к одним он испытывал враждебные чувства из-за своих действительных убеждений, а к другим — из-за своих притворных речей.

LXII, 11 (2)—14

[Нерон и Агриппина]

11. Некто Марк Сальвий Отон настолько близко сошелся с Нероном, будучи похож на него характером и став соучастником его преступлений, что даже не понес наказания, заявив однажды: — Право, ты еще увидишь меня императором. — Нерон только ответил ему: — Я не увижу тебя даже консулом. — За этого человека он выдал патрицианку Сабину, разведя ее с мужем, и оба — Отон и Нерон — жили с ней. Агриппина боялась, как бы Нерон не женился на Сабине (ибо император в нее безумно влюбился), и решилась на позорное дело: словно мало ей было толков о том, как она соблазнила своего дядю Клавдия [1] волшебством, распутными взглядами и развратными ласками, Агриппина пустила в ход те же средства, чтобы закабалить Нерона. Впрочем, было ли это в действительности, или же люди это выдумали, зная характер обоих, я не могу сказать с уверенностью, но уж в чем все согласны, так это в том, что у Нерона была наложница, похожая на Агриппину, и что он очень любил ее за это сходство: он и ей самой отпускал на этот счет шуточки, и другим показывал ее, говоря, что, мол, спит с собственной матерью.

12. Сабина, узнав о намерениях Агриппины, убедила Нерона расправиться с матерью: предлогом должно было послужить то, что Агриппина замешана в заговоре. Многие заслуживающие доверия свидетели говорят, что к этому подстрекал его и Сенека: [2] то ли он хотел, чтобы умолкли слухи, осуждавшие его самого, то ли стремился толкнуть Нерона на гнусное убийство, способное окончательно погубить его перед богами и людьми. Но открыто казнить Агриппину они боялись, а тайком отравить были не в состоянии, ибо она принимала надежные меры предосторожности. Как-то раз в театре они увидели корабль, который сам собой распадался на части, освобождая посаженных в трюм зверей, а затем мог быть собран вновь и казался по-прежнему крепким. Подобный корабль они распорядились выстроить незамедлительно. Тем временем Агриппину окружили заботой и вниманием: Нерон всячески льстил матери, чтобы не дать ей заподозрить неладное и обезопасить себя от ее козней. В Риме он не решался ничего предпринять, опасаясь, что здесь его преступление выйдет наружу, и потому отправился подальше, в Кампанию [3]. Он отплыл вместе с матерью на специально выстроенном корабле, роскошное убранство которого должно было внушить Агриппине желание всегда пользоваться этим судном.

13. Прибыв в Баули [4], они много дней подряд пышно пировали. Нерон обходился с матерью как нельзя более ласково: когда Агриппины не было, он делал вид, что сильно по ней тоскует, когда же она сидела рядом с ним, прижимал ее к себе, спрашивал, чего ей хочется, да и без всяких просьб осыпал ее подарками. И вот, когда все шло таким образом, он однажды в конце ночного пира обнял Агриппину, привлек ее к себе на грудь и, целуя ей глаза и руки, воскликнул: — Будь здорова, мать, ведь ты дала мне и жизнь и царство! — И он поручил ее заботам вольноотпущенника Аникета, который должен был отвезти ее домой на том самом корабле. Но море не пожелало, чтобы на нем разыгралась эта трагедия, не хотело оно стать мнимым виновником позорного убийства. Когда корабль распался на составные части и Агриппина оказалась в воде, она не погибла: несмотря на кромешную тьму и сильное опьянение, несмотря на то, что матросы били ее веслами, а ее спутницу Акерронию Поллу забили насмерть, — все-таки она спаслась. Не догадываясь, что она стала жертвой заговора, Агриппина не объявила о том во всеуслышание, но, возвратившись домой, тотчас же известила обо всем сына: свои злоключения она приписывала судьбе и хотела, чтобы Нерон порадовался ее спасению. Выслушав это сообщение, Нерон не мог сдержать гнева и приказал казнить гонца, словно тот покушался на его жизнь. А к матери он тут же послал Аникета с матросами: он не решался доверить ее убийство преторианцам. Увидев этих людей, Агриппина сразу поняла, зачем они пришли. Вскочив с ложа, она разодрала на себе одежды и, обнажив живот, закричала: — Бей сюда, Аникет, бей это чрево, бей — за то, что оно родило Нерона!

14. Так была убита Агриппина, дочь Германика [5], внучка Агриппы [6], правнучка Августа — убита собственным сыном, которому она дала власть и ради которого она многих обрекла на смерть, даже родного дядю. Когда Нерону донесли, что она умерла, он не поверил; столь страшным было злодеяние, что императором овладела недоверчивость и он пожелал собственными глазами убедиться во всем. Он осмотрел мать с ног до головы, обследовал ее раны и наконец произнес слова, которые были еще бесстыднее, чем само убийство. Вот что он сказал: — Не знал я, что у меня была такая красивая мать. — Преторианцам Нерон роздал деньги — явно стремясь возбудить в них желание, чтобы таких преступлений было побольше, сенату же отправил послание, где перечислял все проступки Агриппины и заявлял, что она злоумышляла против него, была уличена и потому покончила с собой. Так он написал сенату, и однако ж по ночам его преследовали кошмары, и он внезапно вскакивал с ложа, да и среди дня его охватывал страх, если он слышал боевой сигнал, который трубы играли в том месте, где покоились кости Агриппины.

LXVI, 21—23

[*Извержение Везувия* [1]]

21. Недалеко от Неаполя, на берегу моря, поднимается гора Везувий, в недрах которой заключены бесчисленные огненные потоки. Вершина Везувия некогда была ровной. Огонь вырывался из самой ее середины; только в этом месте раскалялась земля, а склоны горы оставались нетронутыми пламенем. И вот, поскольку склоны Везувия никогда не подвергались действию огня, а в середине вершины земля постоянно пылала, превращаясь в пепел, получилось, что края этой вершины и поныне сохраняют прежнюю высоту, а та часть ее, которую вечно пожирал огонь, с течением времени осела и стала вогнутой. Поэтому — если только позволительно большое сравнивать с малым — вся гора уподобилась амфитеатру. Вкруг вершины Везувия росли многочисленные деревья и виноградные лозы, а в кратере бушевал огонь, и оттуда вырывались днем клубы дыма, а по ночам пламя, словно там сожигали без счета разнообразнейшие курения. Так шло от века; временами огонь слабел, временами усиливался. Часто, когда волнение в кратере становилось бурным, Везувий извергал пепел, а иной раз его могучее дыхание выбрасывало камни. Гора шумит и ревет, потому что ее дыханию нет свободного выхода, а прорывается оно по узким, незаметным каналам.

22. Вот каков Везувий, и вот что происходит там чуть не каждый год. Однако все, что совершалось в прежние времена и казалось по своей необычайности значительным, — все это можно назвать ничтожным, если сравнить с последними событиями — хотя бы мы слили воедино все прежние необыкновенные явления. Вот как это было. Появилось множество громадных мужей: они значительно превосходили людей своим ростом и напоминали гигантов древних преданий. Их видели днем и ночью то на Везувии, то в его окрестностях, даже в городах; они бродили по земле и скользили по воздуху. Наступила страшная засуха, а вслед за тем началось сильное землетрясение: вся долина вокруг Везувия дрожала, а вершина горы ходила ходуном. Подземные раскаты были подобны грому, а над землей словно несся звериный рев; шумело море, и небо грохотало вместе с ним. Внезапно раздался страшный треск, словно горы распались: из жерла Везувия понеслись громадные камни, долетавшие до самых краев кратера, затем высоко поднялось пламя и повалил густой дым; воздух стал настолько темным, что солнце померкло, как во время затмения. (23.) День обратился в ночь, и свет стал мраком. И одним уже казалось, что это восстали гиганты (в дыму были различимы многочисленные фигуры, да к тому же слышался рев трубы), а другие были убеждены, что мир гибнет, превращаясь в огонь и хаос. Охваченные паникой люди готовы были счесть безопасным любое место — только не то, где находились в тот миг

они сами: и вот одни кидались из домов на улицу, другие — с улицы в дом, одни оставляли море ради суши, другие, расставшись с твердой землей, искали спасения на море. Тем временем в воздух поднялись тучи пепла; пепел покрыл землю и море, воздух был им полн; пепел принес неисчислимые беды людям, земельным угодьям, скоту, он погубил всех птиц и рыб. К тому же пепел засыпал целиком два города: Геркуланум и Помпеи (в тот час все граждане Помпей сидели в театре). Поднялась такая масса пыли, что она достигла даже Африки, Сирии и Египта; в Риме же тучи пыли, носившейся в воздухе, застилали солнце. В течение нескольких дней все там были охвачены страхом, потому что люди не знали и не могли понять, что произошло, и решили, что весь мир перевернулся, что солнце скрылось внутрь земли, а земля поднялась на небеса.

LXXVIII, 1—3

[*Убийство Геты*]

1. После этого всю власть захватил Антонин;[1] считалось, правда, что он управляет вместе с братом, но в действительности с самого начала он распоряжался единолично. Он заключил мир с врагами, очистил их территорию, оставил крепости;[2] что же касается приближенных отца, то некоторых он отрешил от должности — например, Папиниана, который был префектом претория, — а других казнил; среди казненных были его воспитатель Эвод, Кастор, жена Кастора Плавтилла и ее брат Плавтий. В самом Риме он осудил на смерть человека, который сам по себе ничего не значил, но благодаря своей профессии приобрел широкую известность, — возничего Эвпрепия, принадлежавшего к той цирковой партии, которая не пользовалась благосклонностью императора. Так погиб Эвпрепий, человек преклонного возраста, увенчанный во многих ристаниях: семьсот восемьдесят два раза одержал он победу — больше любого другого возничего. Убить брата Антонин задумал еще при жизни Севера, но в ту пору его замыслу не дал осуществиться отец, позднее же, во время похода, — войско: дело в том, что солдаты очень любили младшего из братьев, главным образом за то, что обликом он напоминал отца. Но, возвратившись в Рим, Антонин погубил и его. Братья делали вид, будто любят друг друга, и расточали взаимные похвалы, однако ни в чем у них не было согласия, и не трудно было понять, что дело идет к зловещему концу — об этом даже знамение было еще до их возвращения в Рим. Сенат постановил принести жертвы и молиться о согласии между императорами различным богам, в том числе и самой богине Согласия. Прислужники приготовили жертвенное животное для богини Согласия, пришел консул, чтобы совершить заклание — однако же ни ему не удалось найти

прислужников, ни им его. Они провели почти всю ночь в розысках друг друга, и жертвоприношение так и не смогло состояться. На другой день два волка взошли на Капитолий; их оттуда погнали, и один был настигнут где-то на форуме, а затем и другой был убит — за померием [3]. И эти события тоже предвещали грядущую судьбу Антонина и его брата.

2. Антонин решил убить брата во время празднования сатурналий [4], но ничего не вышло. Его козни были слишком явными, чтобы их можно было держать в тайне; между братьями то и дело возникали ссоры, они злоумышляли друг против друга и принимали всевозможные меры защиты. Так как Гета дома и на улицах, днем и ночью, находился под охраной многочисленных воинов и атлетов, Антонин уговорил мать пригласить их вдвоем в свои покои — для примирения: Гета поверил и пришел к матери вместе с ним. Когда они были уже у нее в доме, ворвался отряд центурионов, заранее приготовленный Антонином; Гета, едва увидел их, бросился к матери, повис у нее на шее, прижался к груди, плача и крича: — Мама, мама, ты родила меня, помоги, убивают! — Тут он и погиб. И мать, так ужасно обманутая, собственными глазами видела бесстыдную расправу с сыном, зарезанным в ее объятиях, и приняла Гету мертвым на лоно, родившее его. С ног до головы в крови сына, она даже не замечала, что сама ранена в руку. Ей нельзя было ни выказать свое горе, ни оплакать сына, безвременно погибшего столь печальным образом (ему было тогда двадцать два года и девять месяцев); ее заставили ликовать и смеяться, словно ее осчастливили: за всеми ее словами и жестами, за цветом ее одежд строжайше следили. Ей единственной — августе, вдове императора, матери императоров — нельзя было даже наедине с собой пролить слезу в таком горе!

3. Тем временем Антонин — хотя уже наступил вечер — отправился в лагерь к солдатам и всю дорогу голосил, что против него составлен заговор и что его жизнь в опасности, а как только оказался внутри вала, закричал: — Радуйтесь, мужи-соратники, теперь-то я уж смогу вас облагодетельствовать. — Таким образом, прежде чем они услышали о случившемся, он уже заткнул им рот щедрыми посулами, чтобы они не могли ни подумать, ни сказать что-нибудь хорошее о покойнике.

ФИЛОСТРАТЫ

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ АПОЛЛОНИЯ ТИАНСКОГО

I, 4—33

4. Родиной Аполлония [1] была Тиана, греческий город среди каппадокийского племени. Отец его носил то же самое имя, род его был старинный, восходящий к первым поселенцам, а богатством своим превосходящий тамошних жителей, хотя племя это вообще зажиточно.

Когда его мать была беременна им, ей явилось в видении египетское божество — Протей, который у Гомера [2] изображается постоянно меняющим свое обличье. Она ничуть не испугалась и спросила его, кого она родит. Он отвечал: — Меня. — На ее вопрос: — А кто же ты? — он сказал: — Я Протей, египетский бог. — К чему мне объяснять читавшим поэтов, какова мудрость Протея, как многообразен он, меняя все время свой вид, сколь он неуловим, а также и то, что он считается знающим все, даже и будущее? Надо все время об этом помнить — ведь в дальнейшем

ходе этого повествования обнаружится, что Аполлоний предвидел будущее еще лучше, чем Протей, преодолевая трудности и тягости как раз тогда, когда они всего более угрожали ему.

5. Рассказывают, что он родился на лугу, там, где теперь воздвигнут ему храм. Нельзя умолчать о том, каким образом он родился. Когда его матери пришел срок родить, она во сне получила указание пойти на луг и нарвать там цветов. Так она и сделала: пошла туда, служанки занялись цветами, рассеявшись по лугу, а она заснула на траве. И вот лебеди, собравшиеся стаей, завели хоровод вокруг спящей, хлопали крыльями, как это они обычно делают, и дружно пели, и легкий ветерок веял над лугом. Это пение заставило ее вздрогнуть — она проснулась и разрешилась от бремени: ведь все, что поражает, способно вызвать преждевременные роды. А местные жители утверждают, что как раз во время родов молния, которая, казалось, готова была пасть на землю, поднялась вверх и там исчезла. Этим, я думаю, боги дали явное знамение о превосходстве этого человека надо всем земным, о его близости к богам и вообще обо всем, чем он стал.

6. Недалеко от Тианы есть источник Зевса, как говорится Блюстителя клятв, называется же он Асбамэон, там бьет холодный ключ, но он клокочет как кипящий котел. Кто соблюдает клятвы, тому его вода на пользу и приятна, а клятвопреступников тотчас же постигает правосудие: она кидается в глаза, руки, ноги, причиняя водянку и чахотку; более того — клятвопреступникам бывает невозможно отойти от ключа, что-то удерживает их там, они рыдают возле источника, признаваясь, в чем нарушили клятвы. Местные жители утверждают, что Аполлоний — сын именно этого Зевса, однако сам Аполлоний называл себя сыном Аполлония.

7. В том возрасте, когда обучаются грамоте, он обнаружил отличную память и большое прилежание; он чисто говорил по-аттически, его произношение не пострадало от окружающего иноплеменного говора. Все взоры были обращены на него, настолько замечателен был его юный расцвет.

Когда ему исполнилось четырнадцать лет, отец отправил его в Тарс, к Эвтидему из Финикии. Эвтидем был хорошим ритором и занялся его воспитанием. Хотя Аполлоний и уважал своего учителя, но он находил нравы этого города неразумными и не способствующими занятиям философией: нигде так не привержены к роскоши, как там, все там насмешливы и наглы, своей одежде из тонкого полотна они уделяют больше внимания, чем афиняне — мудрости. Посреди города протекает река Кидн, на его берегах они и сидят, словно водяные птицы. Потому-то у Аполлония в письме к ним сказано: «Бросьте опьяняться водой».

И вот Аполлоний, с согласия отца, переселился со своим учителем в Эги, неподалеку, где и тишина, подходящая для буду-

щего философа, и больше усердия в занятиях, и святилище Асклепия, и где сам Асклепий является людям. Там вместе с Аполлонием занимались философией последователи и Платона, и Хрисиппа, и перипатетики; он познакомился также с учением Эпикура, ведь и им он не пренебрегал, но учение Пифагора он воспринял с каким-то несказанным проникновением; между тем его учитель пифагореизма был человеком не очень усердным и эту философскую систему на деле не применял. Он отличался чревоугодием и сластолюбием и больше подходил под эпикурейский образец. Это был некий Эвксен из Гераклеи Понтийской. Принципы пифагореизма он затвердил так, как птицы заучивают то, что слышат от людей. Ведь «Привет!», «Всего хорошего!», «Зевс да будет милостив!» и тому подобное птицы произносят, не ведая, что говорят, и без всякого сочувствия к людям, просто потому, что к этому приучен их язык. Аполлоний же, подобно орлиным птенцам, которые, пока у них крылья еще не окрепли, летают только подле своих родителей, учась у них, а когда оказываются в состоянии подняться ввысь, то далеко оставляют за собой родителей, особенно если подметят их жадность и склонность летать поближе к земле в чаянии жирного кусочка, — так и Аполлоний ребенком прилежал к Эвксену, который руководил им на пути учения, но, достигнув шестнадцатилетнего возраста, устремился к пифагорейскому образу жизни, окрыленный какой-то высшей силой. Однако он не перестал любить Эвксена и выпросил для него у своего отца пригородную дачу, где были рощицы и родники. — Ты живи на свой лад, — сказал Аполлоний, — а я буду жить по Пифагору.

8. Эвксен понял, что Аполлоний задумывает нечто великое, и спросил, с чего тот начнет. — С того же, с чего начинают врачи, — отвечал Аполлоний, — ведь они, очищая желудок, или предупреждают болезни, или вылечивают их.

И Аполлоний отказался от убоины, как от нечистой и огрубляющей мышление пищи, он стал питаться овощами и сухими фруктами, утверждая, что чисто только то, что дает сама земля. О вине он говорил, что это хотя и чистый напиток, раз лоза заботливо выращивается людьми, однако вино — противник нашего мыслительного равновесия, оно делает мутным имеющийся в нашей душе эфир.

После такого очищения желудка он стал ходить босым, считая, что это украшает человека, и одеваться в льняную одежду, отказавшись от шерстяных тканей. Он отпустил волосы и стал жить в храме. Все, кто имел отношение к этому святилищу, восхищались Аполлонием, да и Асклепий однажды изрек, что ему радостно иметь в Аполлонии свидетеля его попечения о болящих.

Стекались в Эги, слыша молву о нем, и сами киликийцы, и окрестные жители. Киликийское присловье «Куда бежишь? Не на юношу ли взглянуть?» было применено к нему и удостоилось стать поговоркой.

9. Повествователь о жизни такого человека, с которым считались даже боги, должен рассказать обо всем, что происходило в святилище. Один юноша, ассириец, прибыл к Асклепию и, хотя был болен, но жил в роскоши и в вечном пьянстве — жил, вернее же — умирал. У него была водянка, а он, в радостном хмелю, не заботился об избавлении от жидкостей. Потому и Асклепий не заботился о нем и не приходил к нему даже в сновидении [3]. Когда юноша стал роптать, бог, представши ему, сказал: — Если посоветуешься с Аполлонием, получишь облегчение. — И вот юноша, подойдя к Аполлонию, спросил: — Что принесло бы мне пользу из всей твоей премудрости? Асклепий повелевает мне обратиться к тебе. — У меня есть то, — отвечал Аполлоний, — что было бы очень для тебя ценно при нынешних твоих обстоятельствах. Ведь ты нуждаешься в здоровье? — Да, клянусь Зевсом, — сказал юноша, — в здоровье, которое Асклепий сулит, да не дает. — Не богохульствуй, — возразил Аполлоний, — он дает тем, кто этого хочет, ты же делаешь все, что способствует твоей болезни: ты ведешь изнеженную жизнь, острыми яствами раздражаешь свои раздувшиеся от воды и подпорченные внутренности, поверх воды наливаешь грязную жижу.

Этот вещий ответ Аполлония, по-моему, яснее всей премудрости Гераклита [4]. Ведь Гераклит, когда его постигла та же болезнь, утверждал, что здесь нужно что-нибудь такое, что из дождливой погоды сделало бы засуху, — замечание и непонятное и неясное. Аполлоний же возвратил юноше здоровье, ясно растолковав мудрые предписания.

10. Однажды Аполлоний увидел на алтаре потоки крови и возложенные жертвы: египетских быков и больших свиней, частью ободранных, частью разрубленных, два золотых сосуда с самыми удивительными и редкостными индийскими камнями на них. Подойдя к жрецу, Аполлоний спросил: — Что это? Чье такое великолепное приношение богу? — Ты еще более удивишься тому, — отвечал жрец, — что этот человек никогда до сих пор не обращался сюда как проситель; он не жил здесь подолгу, как другие; он не дожидался исцеления от бога или исполнения своей просьбы. Он, по-видимому, прибыл только вчера, а между тем жертвует так щедро. Он говорит, что пожертвует еще больше, если Асклепий услышит его. Он из богачей: достатка у него больше, чем у всех киликийцев вместе взятых. Он молит бога вернуть ему вытекший глаз. — Аполлоний пристально поглядел на землю — в дальнейшем, к старости, это вошло у него в привычку — и спросил: — А как его имя? — Услышав ответ, Аполлоний сказал: — Мне кажется, жрец, что этого человека не надо допускать в святилище: это нечистый пришелец, и болезнь послана ему в наказание за какое-то дурное дело, да уж одно то, что прежде чем получить что-нибудь от бога, он приносит такие ценные жертвы, показывает: тут жертвоприношение не простое, а умилостивительное за ужасные, тяжкие проступки.

Вот какого мнения был Аполлоний. Асклепий же, представ ночью жрецу, сказал:

— Пусть уйдет такой-то со всем своим добром, он не заслуживает иметь и оставшийся глаз.

Жрец навел справки об этом человеке: оказалось, что у его жены была дочь от первого брака, он влюбился в эту девушку, соблазнил ее и сожительствовал с ней, даже не скрывая этого, мать застала их обоих в постели и выколола ей булавкой оба глаза, а ему — один.

11. Чтобы в жертвоприношениях и посвящениях соблюдалась надлежащая мера, у него были следующие доводы. Как-то раз, вскоре после изгнания киликийца, он спросил жреца при большом стечении народа: — Не правда ли, боги справедливы? — В высшей степени справедливы, — отвечал тот. — Что же, они и мудры? не правда ли? — Кто же мудрее, чем божество! — Знают они про дела человеческие или они в этом неискушены? — Вот этим-то, — ответил жрец, — боги всего более и превосходят людей: люди, по своей немощи, не знают даже своего, тогда как богам свойственно знать и свое и людское. — Все твои ответы, жрец, — сказал Аполлоний, — превосходны и в высшей степени верны. А так как боги знают все, то, по-моему, всякий приходящий в храм божий с чистой совестью должен молиться так: «Боги, дайте мне то, чего я заслуживаю», — а заслуживают, о жрец, люди благочестивые — всяких благ, дурные же люди — противоположного. И боги поступают правильно, когда человека здравомыслящего и не затронутого пороком отпускают увенчанным не золотыми венками, а всякими благами. Когда же они видят человека запятнанного и испорченного, они предоставляют свершиться правосудию, еще более разгневавшись за то, что, будучи нечистым, он осмелился посещать их святилища. — Взглянув на Асклепия, Аполлоний продолжал: — Твое философское учение, Асклепий, неизреченно и сродно тебе самому, раз ты не дозволяешь приходить сюда дурным людям, хотя бы они принесли тебе все, что только есть в Индии и Сардах. Ведь не из почтения к божеству жертвуют они это и приносят, но чтобы откупиться от правосудия, на что вы, боги, не согласитесь, так как вы в высшей степени справедливы.

Много подобных взглядов выражал Аполлоний в этом святилище еще юношей.

12. Еще вот что относится к его пребыванию в Эгах. Киликийцами правил человек необузданный и падкий на любовные утехи. Чуть только до него дошел слух о красоте Аполлония, он распрощался со своими делами, — а он тогда как раз разбирал тяжбы в Тарсе, — и кинулся в Эги под предлогом, будто он болен и нуждается в помощи Асклепия. Подойдя к Аполлонию, совершавшему одинокую прогулку, он сказал: — Заступись за меня перед богом. — Аполлоний возразил: — На что тебе заступник, если ты честен? Людей порядочных боги принимают к себе и без

поручительства. — Потому что, клянусь Зевсом, Аполлоний, бог принял тебя как своего гостя, а меня еще нет. — Но и за меня, — отвечал Аполлоний, — ручательством была моя добродетель, благодаря которой я, насколько это возможно в молодости, и стал служителем и спутником Асклепия. Если и ты ревнуешь о добродетели, смело иди к богу и моли его о чем хочешь. — Клянусь Зевсом, я так и сделаю, только сперва обращусь с мольбой к тебе. — Какая же у тебя мольба ко мне? — спросил Аполлоний. — Та, с какою обращаются к красавцам: мы умоляем об участии в их красоте, чтобы они не отказывали в своих прелестях. — Он говорил это жеманясь, с влажными глазами, и каких только тут не было ужимок, свойственных этим позорным распутникам. Аполлоний пристально взглянул на него и сказал: — Безумствуешь ты, пакость. — А когда тот, услышав это, не только вспыхнул, но стал грозиться снести ему голову, Аполлоний воскликнул с улыбкой: — О, третий день! — И в самом деле, на третий день после этого палачи на дороге убили этого наглеца за его совместные с Архелаем, царем Каппадокии, замыслы против римлян [5].

Это и многое подобное записано у эгийца Максима, выдающееся красноречие которого доставило ему место среди царских писцов.

13. Услыхав о смерти отца, Аполлоний поспешил в Тиану, похоронил его собственноручно рядом с могилой матери — она умерла незадолго перед тем, — а наследством, которое было великолепным, поделился со своим братом, человеком невоздержным и пьяницей. Тому было двадцать три года, так что он уже достиг возраста, когда нет нужды в опекуне. Аполлонию же исполнилось двадцать, и, по законам, он подлежал опеке. И вот он снова стал жить в Эгах, обратив храм в Ликей и Академию [6], потому что все святилище оглашалось звуками различных философских бесед. В Тиану Аполлоний вернулся уже совершеннолетним, когда был вправе распоряжаться своими делами. Кто-то сказал ему, что ему надлежало бы образумить своего брата, чтобы тот изменил образ жизни. — Это слишком дерзко, — отвечал Аполлоний, — я моложе его, как же мне образумить старшего? Но насколько это в моих силах, я постараюсь исцелить его от страстей.

И вот Аполлоний отдал брату половину своей доли наследства, утверждая, что тому нужно больше, а ему самому — очень мало, и непрестанно и мудро увещевал его послушаться благоразумных советов. — Наш отец, — говорил Аполлоний, — который нас воспитывал и наставлял, покинул нас; ты — все, что осталось мне, а я — все, что осталось у тебя, так что, если я в чем неправ, дай совет, как мне исправиться, а если ты сам в чем неправ, не противься тому, кто тебя поучает.

Подобно тому, как ласкают, поглаживая, строптивых и неподатливых коней, так и Аполлоний переубедил своего брата, перестроил его на другой лад, несмотря на многочисленные недо-

статки: прежде его брат предавался игре в кости, пьянству, веселился с гетерами, хвастался и щеголял своими волосами, которые он красил, и держался высокомерно. Приведя в порядок свои отношения с братом, Аполлон занялся остальными родственниками: нуждающихся он ублаготворил из своего имущества, оставив себе лишь немногое. При этом он утверждал, что клазоменец Анаксагор, отведя свои земли под пастбища, оказал такой своей философией благодеяние скорее скоту, чем людям, а фиванец Кратет, бросивший свое имущество в море, не принес пользы ни людям, ни скоту [7].

Пифагор прославился своим утверждением, что не надо ходить ни к какой иной женщине, кроме как к своей жене; а Аполлоний говорил, что это сказано Пифагором для других людей, но что сам он никогда не женится и не вступит в любовную связь. В этом Аполлоний превзошел Софокла, сказавшего про самого себя, что ему удалось избавиться от неистового и дикого владыки, только достигнув старости. Аполлоний же, побуждаемый добродетелью и скромностью, даже в молодости не поддавался этому, но, хотя был юн и крепок, одолел это неистовство и стал господином над ним. И все же некоторые клевещут на него, утверждая, будто бы он из-за любовных похождений целый год пробыл среди скифского племени, — это он-то, который вообще никогда не бывал в Скифии и никогда не предавался любовным страстям. Ведь даже Евфрат никогда не приписывал Аполлонию любовных дел, хотя и составлял клеветнические писания против него, что мы покажем в дальнейшем, когда наше изложение коснется Евфрата. Он разошелся с Аполлонием, когда Аполлоний стал порицать его за то, что он все делает ради денег, и пытался мудростью отвратить Евфрата от стяжательства и барышничества. Но об этом я скажу позднее, в свое время.

14. Эвксен как-то раз спросил Аполлония, почему, будучи таким возвышенным мыслителем и владея таким блестящим и выразительным слогом, он не напишет книги. — Потому что я еще не молчал [8], — отвечал Аполлоний.

И начиная с этих пор он счел долгом соблюдать молчание и не издавал ни звука, но его глаза и ум подмечали чрезвычайно много, и чрезвычайно многое запечатлевалось в его памяти. Что касается памяти, то, достигни он ста лет, он превзошел бы в этом самого Симонида [9], и часто певал он песнь в честь Мнемосины, где говорилось, что все истребляется временем, но само время не старится и не умирает благодаря памяти.

Хотя он и соблюдал молчание, общение с ним не было лишено приятности: на то, что он слышал, он отвечал выразительным взглядом, движением руки, кивком головы. Он не выглядел неулыбчивым или угрюмым, но сохранил общительность и обходительность. Он говорит, что этот период его жизни был для него самым трудным: он целых пять лет упражнялся в том, чтобы не говорить ничего, когда у него много было что сказать, и пропу-

скать мимо ушей многое, что могло бы вывести его из себя, а когда его доводили до того, что ему хотелось нападать, говорить самому себе: «Сердцем смирись и стерпи, промолчавши» [10], — откладывая на будущее опровержение раздражавших его высказываний.

15. Годы своего молчания он проводил частью в Памфилии, частью в Киликии, и хотя он странствовал по областям, населенным столь изнеженными племенами, он нигде не проронил ни звука и ничто не могло вызвать у него ропота. Когда ему случалось быть в каком-нибудь городе, полном раздоров (а во многих городах наблюдались раздоры из-за зрелищ низкого пошиба), то он, выступив вперед и показавшись народу, рукой или лицом выражал порицание и этим прекращал всякий беспорядок: люди замолкали, словно во время мистерий. Правда, не так уж трудно устранить разногласия, возникшие из-за плясунов или коней, потому что люди, ссорящиеся из-за этого, чуть только увидят человека в полном смысле этого слова, сейчас же краснеют и приходят в себя, так что их легко образумить. Но в городе, истерзанном голодом, нелегко прекратить ожесточение и дать наставления обуздывающим и убедительным словом. Однако и при таких обстоятельствах Аполлоний оказался способным принести помощь своим молчанием. Он прибыл в Аспенд Памфилийский — этот город, третий в Памфилии по величине, лежит на реке Эвримедонте; там в продаже был горох и другие припасы, которыми питаются только в крайней нужде, потому что богачи, владельцы зерна, припрятали его, рассчитывая продать с бóльшими барышами в другой области. Возбужденная толпа, состоявшая из людей всех возрастов, кинулась к правителю с намерением сжечь его заживо. Он укрылся подле статуй императора, внушавших тогда больше страха и более неприкосновенных, чем Зевс в Олимпии — ведь это были статуи Тиберия: рассказывают, что в правление этого императора некто был обвинен в святотатстве за то, что побил своего раба, который имел при себе серебряную драхму с изображением Тиберия.

Так вот Аполлоний, подойдя к правителю, спросил его жестом, в чем тут дело. Тот отвечал, что он ни в чем не виноват, терпит обиду вместе с народом, и если его не выслушают, то ему придется вместе с народом погибнуть. Аполлоний обернулся к окружающим и дал знак, что надо его выслушать. Толпа не только замолкла, пораженная видом Аполлония, но и возложила свои пылающие факелы на бывшие там алтари. Правитель, собравшись с духом, сказал: — Такой-то и такой-то (он назвал многих) являются виновниками нынешнего голода; они забрали себе хлеб и припрятали его в разных местах.

Аспендийцы начали сговариваться между собой, как бы обыскать поместья этих людей, но Аполлоний кивком головы дал понять, что этого делать не следует, а лучше вызвать виновных и заставить их добровольно указать, где хлеб. Когда те явились, то

еще немного — и Аполлоний разразился бы речью против них, настолько подействовали на него слезы многих людей: здесь толпились и дети и женщины, а старцы рыдали так, словно сейчас умрут от голода. Аполлоний, соблюдая обет молчания, написал на доске свой приговор и дал правителю прочесть. Этот приговор гласил: «Аполлоний аспендийским хлебным барышникам. Земля — мать всех, ибо она праведна. Вы же, неправедные, сделали ее матерью только вас самих, и если вы не образумитесь, я не позволю вам стоять на ней».

Убоявшись этого, они заполнили рынок хлебом, и город ожил.

16. Он посетил и великую Антиохию (по истечении срока молчания) и взошел во храм дафнейского Аполлона, с которым ассирийцы связывают аркадский миф. Рассказывают, что как раз там свершилось превращение Дафны, дочери Ладона: и река Ладон протекает там, и растение лавр там почитается, а в него-то превратилась девушка [11]. Кипарисы необыкновенной вышины со всех сторон обступают храм, местность изобилует полноводными и тихими источниками, в которых, по рассказам, омывался Аполлон. Там земля произвела некий отросток кипариса, как уверяют — вместо Кипариса, ассирийского юноши, и красота растения заставляет верить в это превращение [12]. Быть может, покажется, что я слишком уж наивно веду свое повествование, передавая такие мифологические сказания. Но это совсем не ради мифологии. К чему же клонится моя речь? Аполлоний, увидев, что храм прелестен, но что в нем ничего не изучают и что эти люди — полуварвары и чужды Музам, сказал: — Аполлон, преврати этих бессловесных в деревья, чтобы они хоть в виде кипарисов давали отзвук! — Он осмотрел источники, заметил, как спокойно и без всякого журчания они текут, и сказал: — Здешняя безгласность даже источникам не позволяет звучать. — Посмотрев на Ладон, он сказал: — Не только твоя дочь испытала превращение, но и ты из эллина и аркадянина стал, видимо, варваром.

Когда Аполлония вовлекали в беседу, он избегал шумных мест, где толпилось много людей, утверждая, что ему нужны не просто люди, а мужи. Он отправлялся в самые досточтимые святилища и обитал в храмах, которые никогда не запирались. На восходе солнца он совершал некоторые обряды, выполнение которых сам себе предписал и смысл которых он открывал только тем, кто прошел искус четырехлетнего молчания. В последующее время дня, если город был греческим и порядок священнодействия был ему известен, он созывал жрецов, философски рассуждал о богах и поправлял жрецов, если они отступали от обычно принятого. Если же священнодействия были варварскими и своеобразными, он старался разузнать, кто их установил и по какому поводу, а узнавши, какого рода это богопочитание, давал советы, если ему приходило на мысль нечто более мудрое, чем то, что соблюдалось; а потом он уходил к своим последователям и предлагал им задавать любые вопросы. Он утверждал, что философы

его школы должны на рассвете общаться с богами, в течение дня беседовать о богах, а под вечер — о человеческих делах. Ответив на вопросы, заданные ему товарищами, удовлетворенный общением с ними, он вставал и остаток дня уделял беседам со всеми; обыкновенно это бывало не ранее полудня, но в те часы, когда день еще не склонялся к закату. Побеседовав, сколько он находил достаточным, он умащался, растирался и кидался в холодную воду, называя горячие бани старостью человеческой. Когда такие банй были закрыты в Антиохии из-за творившихся там безобразий, Аполлоний выразился так: — Хоть вы и плохи, но царь прибавил вам жизни на годы и годы. — А когда эфесцы хотели побить камнями своего правителя, который не отоплял бань, Аполлоний сказал: — Вы вините вашего правителя за то, что плохо паритесь, а я виню вас за то, что вы вообще паритесь.

17. Слог его речей не был напыщенно-восторженным и не пламенел поэтическими речениями, но, с другой стороны, не включал в себя редких слов и не был слишком уж подогнан под аттическую речь. Чрезмерный аттикизм он находил неприятным. Он не вдавался в тонкости, не затягивал речей; никто не слыхал от него иронических выражений, не видел, чтобы он прохаживался насчет своих слушателей, напротив, беседуя, он словно вещал с треножника: [13] «я знаю», «мне кажется», «куда вы клоните?», «надлежит знать». Его изречения были кратки и несокрушимы; слова употреблялись в собственном смысле и соответствовали предмету речи; сказанное им звучало как окончательный приговор судьи, облеченного властью. Один из любителей поддеть как-то раз осведомился, почему это Аполлоний никогда ничего не спрашивает у других. — Потому, — отвечал Аполлоний, — что в юности я, правда, спрашивал, а теперь мне надо не спрашивать, а поучать тому, что я нашел. — Когда ему задали вопрос: — Как, Аполлоний, должен беседовать мудрец? — Как законодатель, — отвечал Аполлоний. — Ведь долг законодателя — давать людям наставления, в правильности которых он сам убедился.

Так действовал Аполлоний в Антиохии и привлек к себе людей, даже самых необразованных.

18. После этого, поразмыслив, он замыслил предпринять путешествие побольше, утверждая, что молодому человеку следует посетить индийский народ и его мудрецов, так называемых брахманов, гирканиев [14], да и вообще побывать за пределами своей страны. Он полагал, что маги, живущие в Вавилоне и Сузах, будут для него подлинной находкой, и пустился в путь, чтобы узнать их учение. Эту мысль он открыл своим последователям, которых было семеро. Они пытались давать ему разные советы, лишь бы отговорить его от поездки. — Я, — возразил он, — уже обратился за советом к самим богам и высказал вам свое решение. Я хотел только испытать вас, достаточно ли вы сильны, чтобы решиться на то же, что и я; но так как вы столь малодушны, то будьте здоровы и философствуйте, мне же надо идти, куда ведет меня

мудрость и божество. — Сказав это, он удалился из Антиохии с двумя прислужниками, которые достались ему по наследству от отца; один из них умел писать скоро, а другой — красиво.

19. Приходит он в древний Нин [15], где была воздвигнута статуя на варварский лад. Это — Ио, дочь Инаха, небольшие рога прорезываются у нее на висках, словно собираются вырасти. Когда он пребывал там, он лучше, чем все жрецы и прорицатели, понимал, что значит эта статуя. Здесь подошел к нему ниневиец Дамид, который, как я вначале уже говорил, странствовал вместе с ним, стал его сотоварищем во всяческой мудрости и спас от забвения многое, касающееся этого мужа. Дамид возгорелся желанием отправиться в путь вместе с ним и сказал: — Пойдем, Аполлоний — ты во след богу, а я во след тебе. Ты увидишь, что и я могу тебе очень пригодиться. Если я чего другого и не знаю, то уж путь в Вавилон и все города, сколько их там ни есть, знаю отлично, потому что недавно там побывал; знаю и деревни, где много добра, и все языки варваров — а ведь у армян один язык, у мидян и персов — другой, у кадусиев [16] — третий, но я понимаю все. — А я, друг мой, — промолвил Аполлоний, — знаю их все, хотя ни одному не обучался. — Ниневиец удивился. — Не удивляйся, — сказал Апполоний, — если мне ведомы все речения человеческие: ведь мне ведомо и то, о чем люди умалчивают.

Ассириец, услышав это, преклонился перед Аполлонием и стал взирать на него как на божество; он общался с ним, преуспевая в мудрости и запоминая все, чему научился. Слог у этого ассирийца был посредственным, он не владел видами речи [17], так как воспитался среди варваров, но записать беседу, разговор, запечатлеть, что слышал или видел, и составить памятку — к этому он был весьма способен и занимался этим лучше, чем кто бы то ни было. В этом смысл книги Дамида под заглавием «Крохи». Дамид старался не упустить ничего, касающегося Аполлония: если тот мимоходом что-нибудь ронял, он записывал и это. Заслуживает упоминания его ответ хулителю таких занятий. Признавая, что он поступает правильно, записывая мысли и мнения такого мужа, как Аполлоний, легкомысленный клеветник поносил Дамида за то, что он собирает всякие мелочи, как собаки, которые подбирают крохи, падающие со стола во время пира. — Если это пиры богов, — возразил ему Дамид, — и за столом боги, то, конечно же, у них есть и слуги, дело которых следить, чтобы не пропало ничего из оброненной амвросии.

Таков был товарищ Апполония, преданный ему, с ним-то он и странствовал большую часть своей жизни.

20. Когда они достигли Междуречья, сборщик податей на заставе подвел их к таблице и спросил, что они привезли. — Я везу с собой скромность, справедливость, добродетель, воздержность, храбрость, выдержку, — сказал Аполлоний, нанизывая много имен женского рода. А сборщик, рассчитывая на наживу, сказал: —

Составь список этих рабынь. — Это невозможно, — отвечал Аполлоний, — они не рабыни, те, кого я везу, каждая из них — госпожа.

Междуречье образуется Тигром и Евфратом, текущими из Армении, с крайних отрогов Тавра, и опоясывающими область, где имеются и города, но больше деревень, и где живут народы Армении и Аравии, замкнутые между этими реками и в большинстве своем кочующие. Они настолько считают себя островитянами, что, отправляясь к рекам, говорят, что спускаются к морю, и уверены, будто эти реки образуют круг и служат границей их страны, потому что, опоясав вышеуказанную область, они вливаются в море через одно общее устье. Но есть и люди, которые полагают, что большая часть Евфрата теряется в болотах, так что эта река исчезает под землей. Некоторые же придерживаются более смелого взгляда, утверждая, что он течет под землей до Египта, а там выходит на поверхность и сливается с Нилом.

Для точности рассказа и чтобы не пропустить ничего из записей Дамида, мне хотелось бы изложить и деяния Аполлония, совершенные им среди этих варваров, но наше повествование спешит к более великим и поразительным событиям; нельзя, однако, обойти молчанием два обстоятельства: мужество, с которым Аполлоний совершал свой путь среди варварских и разбойничьих племен, еще не подвластных римлянам, и ту мудрость, благодаря которой он, на аравийский лад, достиг понимания языка животных. Этому он научился, странствуя посреди аравитян, которые всего лучше знали и применяли этот язык. Аравитяне вообще постоянно прислушиваются, словно к оракулам, к предвещаниям птиц, а животных они понимают потому, что питаются, по словам некоторых, сердцем дракопов, а по словам других — их печенью.

21. Оставив за собою Ктесифонт, Аполлоний вступил в пределы Вавилона; там была поставленная царем стража, которой нельзя было миновать, не назвав себя, свой город и для чего кто прибыл. Ведал этой стражей сатрап, некое «око царево». Ведь мидиец, недавно пришедший к власти, жил в вечном страхе: боясь и того, что есть, и того, чего нет, он был охвачен ужасом. И вот Аполлония и его спутников ведут к сатрапу — тот, поставив на повозке палатку, как раз отправлялся куда-то. Увидев человека, покрытого грязью, сатрап вскрикнул, как пугливая женщина, закрыл лицо, и, едва решившись взглянуть на Аполлония, спросил его, словно некоего демона: — Откуда ты приходишь к нам посланцем? — От самого себя, — отвечал Аполлоний, — чтобы вы стали людьми даже и против своей воли. — Сатрап снова спросил, кто же это такой вступает в цареву землю. — Вся земля — моя, — сказал Аполлоний, — и мне предоставлено странствовать по ней. — На окрик сатрапа: — Пытать буду, если не скажешь! — Аполлоний отвечал: — Но только сам, своими руками — пыткой будет для тебя хотя бы прикоснуться к такому человеку, как я. — Евнух

изумился, видя, что Аполлоний не нуждается в толмаче и без малейшего затруднения понимает его язык. — Ради богов, кто ты такой? — спросил он, уже учтиво и переменив тон. Отвечая ему, Аполлоний сказал: — Так как ты задал этот вопрос вежливо и по-человечески, то слушай, кто я. Я Аполлоний Тианский, а путь мой лежит к индийскому царю, я хочу познать то, что там есть. Мне хотелось бы встретиться и с твоим царем. Общавшиеся с ним утверждают, что он не из плохих людей, если это действительно Вардан, который некогда лишился власти, а теперь снова обладает ею. — Это тот самый Вардан, божественный Аполлоний, — сказал сатрап, — а о тебе мы уже давно слышали. Ради столь мудрого мужа он сойдет с золотого трона и отправит вас к индусам, каждому дав по верблюду. Пока же я считаю тебя моим гостем и даю тебе из этих денег, — тут он показал на сокровищницу, полную золота, — сколько ты хочешь — бери, да не один раз, а хоть десять.

Когда же Аполлоний отказался от его денег, он сказал: — Ну, так возьми вина вавилонского амфору — его пьет царь за здоровье нас, десяти сатрапов, — возьми свиней и косулей жареные туши, муки и хлеба, вообще чего только пожелаешь. Ведь вам предстоит долгий путь, а деревни впереди не особенно зажиточные. — Тут, спохватившись, евнух сказал: — О боги, что это я? Ведь я слышал, что этот муж не питается мясом животных и не пьет вина, а я, невежа, угощаю его так грубо. — Но у тебя есть возможность, — сказал Аполлоний, — угостить меня более легкой пищей, если ты мне дашь хлеба и сухих плодов. — Я дам, — отвечал сатрап, — квашеного хлеба и фиников, желто-прозрачных, как янтарь, и крупных; дам и овощей, взлелеянных Тигром. — Дикорастущие овощи, — заметил Аполлоний, — лучше, чем искусственно выращенные. — Лучше-то они лучше, — возразил сатрап, — но местность у нас под Вавилоном изобилует полынью, так что они родятся неприятно горькими. — Кончилось тем, что Аполлоний принял предложение сатрапа, но на прощанье сказал: — А ты, милейший, старайся не только кончать, но и начинать прекрасно.

Так он выговаривал ему за слова «пытать буду» и за варварские грубости, которые ему довелось услышать вначале.

22. Пройдя двадцать стадиев, они натолкнулись на львицу, убитую на охоте. Такого крупного зверя они еще никогда не видали. Деревенские жители сбегались с криком, да клянусь Зевсом, кричали и сами охотники, словно это было какое-то диво. Да и вправду это было диво: когда убитую львицу взрезали, в ней оказалось восемь львят. А рожают львицы так: они вынашивают детенышей шесть месяцев, но рожают только три раза: в первый раз — троих, во второй — двоих, в третий же раз — одного, но крупного и, думаю, самого свирепого по своей природе львенка. Нельзя верить рассказам, будто львята выходят на свет, разрывая когтями утробу матери. Ведь сама природа сделала так, что детенышам нужна мать, иначе они погибнут.

Аполлоний долгое время рассматривал зверя и наконец сказал: — Дамид, время нашего пребывания у царя будет год и восемь месяцев: раньше и он нас не отпустит, да и нам не стоит уходить. Каждого львенка надо считать за месяц, а львицу — за год, потому что целое надо сопоставлять с целым. — А воробьи у Гомера [18], — спросил Дамид, — они-то что значили? Тех, которых дракон пожрал в Авлиде, было восемь, а затем, уже девятой по счету, он схватил их мать. Калхант истолковал это так: война с Троей будет идти девять лет. Смотри, как бы и наше пребывание у царя, по Гомеру и Калханту, не затянулось на девять лет. — Разумеется, Дамид, — отвечал Аполлоний, — Гомер считал каждого птенца за год, потому что они уже родились, были живыми. А как же я мог бы считать за годы те существа, которые еще не появились на свет, не родились и, возможно, никогда бы не родились? То, что противоречит природе, едва ли может возникнуть и, даже если возникнет, скоро погибает. Так следуй же моему слову, и пойдем помолимся богам, явившим нам такое знамение.

23. Когда Аполлоний вступил в Киссийскую землю [19] и был уже недалеко от Вавилона, его посетило во сне видение, в котором ниспославший его бог изобразил вот что: рыбы, выброшенные из моря, трепетали на суше, человеческим голосом испуская вопли и жалуясь, что их лишили обычного местопребывания; словно люди, плачущие на чужбине, они умоляли дельфина, который плыл около берега, помочь им в их жалком положении. Аполлоний нисколько не был испуган этим сновидением; он стал размышлять, что это означает и в чем тут дело, но, желая озадачить Дамида, — он знал, что тот из пугливых, — Аполлоний рассказал ему свое видение и притворился, будто он устрашен плохим предзнаменованием. Дамид вскрикнул, словно сам видел этот сон, и стал отговаривать Аполлония от дальнейшего путешествия. —Как бы и нам, — говорил он, — подобно рыбам, выброшенным из своей стихии, не пришлось погибнуть и жалостно не сетовать на чужбине. Чего доброго, мы окажемся в безвыходном положении и станем умолять какого-нибудь владыку или царя, а он не обратит на нас внимания так же, как дельфин — на рыб.

Аполлоний рассмеялся: — Ты еще не научился философствовать, если боишься таких вещей. Я объясню тебе, куда клонится это сновидение. В Киссийской стране живут эретрийцы, которые были переселены сюда с Эвбеи Дарием, назад тому пятьсот лет. Рассказывают, что при своем пленении они пережили такие же муки, как эти рыбы: их захватили в сеть всех до единого. Так вот боги, по-видимому, велят мне отправиться к ним и позаботиться о них по мере сил. И возможно, что души эллинов, которым выпал жребий умереть здесь, призывают меня помочь их землякам. Итак, двинемся вперед, изменив наш путь; надо только узнать, подле какого колодца они обитают.

Рассказывают, что этот колодец содержит смесь смолы с оливковым маслом и водой, но если вылить зачерпнутое ведро, то эти три жидкости сами отделяются друг от друга.

Что Аполлоний действительно заходил в Киссию, подтверждает и он сам в письме к клазоменскому софисту. Аполлоний был настолько добр и усерден, что, повидав эретрийцев, вспомнил об этом софисте и описал ему, что он видел и что сделал для них. На протяжении всего письма Аполлоний просит его пожалеть эретрийцев и, если ему придется готовить о них речь, не забыть оплакать их судьбу.

24. С этим согласуется то, что пишет об эретрийцах Дамид. Они обитают в мидийской земле, не так далеко от Вавилона, на расстоянии одного дня пути верхом; у них нет городов: вся Киссия — сельская страна, за исключением кое-каких кочевых племен, редко сходящих с коня. Эретрийцы живут как раз в середине, между остальными обитателями этого края, их окружает река, наполняющая глубокий ров, — говорят, что они сами провели его кругом поселка, чтобы защитить себя от киссийских варваров.

Почва этой страны пропитана смолой и вредна для насаждений; продолжительность жизни ее обитателей невелика, потому что питьевая вода, содержащая смолу, дает осадок на внутренностях. Жителям доставляет пропитание только холм в окрестностях поселка — он возвышается над зараженной местностью; там они сеют и считают его своей пашней. По рассказам местных жителей, в плен было взято семьсот восемьдесят эретрийцев. Не все носили оружие, среди них были и женщины и старики, да, думается, и дети. Бóльшая же часть населения Эретрии убежала в Каферей или на Эвбейскую возвышенность. Приведено было мужчин до четырехсот, а женщин, быть может, всего десять, остальные погибли при переходе из Ионии и Лидии.

На холме они устроили каменоломню; некоторые из них были искусными каменотесами, и они воздвигли эллинские храмы, устроили рыночную площадь, достаточного размера, соорудили алтари: Дарию — два, Ксерксу — один, Даридею — несколько. Вплоть до Даридея, восемьдесят восемь лет спустя после взятия в плен, они писали на эллинский образец: на древних погребениях начертано у них «такой-то, сын такого-то», и хотя буквы там греческие, однако эретрийцы говорят, что уже не могут их разобрать. И корабли высечены на надгробиях, соответственно тому, чем кто промышлял на Эвбее — морской ли торговлей, ловлей ли багрянок, красильным ли делом или был мореходом. И говорят, что можно было прочесть строки элегического размера на надгробии моряков и корабельщиков:

Мы, что когда-то неслись по пучинам Эгейского моря,
Ныне покоимся здесь, на экбатанской земле [20].
Родине славной привет — Эретрии, привет и Афинам,
Близким к Эвбее краям, милому морю привет.

Дамид рассказывает, что Аполлоний восстановил обветшавшие гробницы и закрыл их, совершил возлияния и жертвоприношения, какие принято (кроме таких, когда надо резать и сжигать животных). Прослезившись под влиянием охватившего его порыва, он воскликнул среди гробниц: — Эретрийцы, занесенные сюда жребием судьбы, вы, хоть и вдалеке от своей родины, все же погребены, зато те, кто бросил вас сюда, погибли на десятый год после вас без погребения у вашего острова: под Эвбеей покарали их боги. — А в конце своего письма к софисту Аполлоний говорит: «Скопелиан, я позаботился о твоих эретрийцах, хотя и был тогда еще молод, и помог, сколько было сил, и умершим и тем, кто был в живых».

Как же он позаботился о живущих? Варвары, обитавшие по соседству с холмом, где у эретрийцев были посевы, делали летом набеги и разоряли их поля, так что эретрийцам приходилось голодать: плоды их труда доставались другим. Аполлоний, прибыв к царю, добился того, что холм отдали в безраздельное пользование эретрийцам.

25. О том, что делал сей муж в Вавилоне и что надо знать о самом Вавилоне, я могу сообщить следующее. Вавилон на протяжении четырехсот восьмидесяти стадиев обведен стеной, образующей круг. Высота стены — три полуплетра, ширина — менее плетра. Река Евфрат делит город на две одинаковые по виду части; тайный подземный ход соединяет неприметным образом дворцы на том и на другом берегу. Рассказывают, что мидянка [21], некогда там правившая, укротила реку, соорудив подземный мост, какого ни на одной реке не бывало. Она нагромоздила по берегам реки камень, медь, смолу и все то, что люди применяют для подводных построек, а затем обратила стремнину в ряд искусственных озер. Чуть только дно реки просохло, она прорыла его на две сажени вглубь, сделав как бы естественную расщелину, выходящую к прибрежным дворцам, и покрыла ее крышей вровень с руслом реки. Основания и стены расщелины были прочными, а так как смола нуждается в воде, чтобы затвердеть как камень, то Евфрат был пущен, когда просмоленная крыша была еще мягкой, таким образом получился подземный ход.

Дворцы крыты медью. Женские и мужские покои украшены серебряными и золотыми тканями, а кое-где и золотыми картинами. Содержание рисунков на этих покрывалах взято из эллинских сказаний. Часто встречаются Андромеда, Амимона и Орфей. Они почитают Орфея, вероятно, за то, что он носит тиару и шаровары [22], а не за его мусическое искусство и чарующие песни. Кое-где выткан и Датис, извлекающий Наксос из моря, и Артаферн[23], осаждающий Эретрию, и те сражения Ксеркса, в которых он, по его утверждению, победил: тут есть и Афины, и Фермопилы; кроме того, есть картины еще более мидийские; так, изображены реки, удаляемые с лица земли, мост через море и проры-

тие Афона [24]. Говорят, что во дворце есть мужской покой, кровля которого устроена в виде купола, наподобие неба, и покрыта сапфирами, — этот камень ярко-синего цвета, небесного оттенка, — а наверху водружены статуи богов, которых чтут вавилоняне; сверкая золотом, эти статуи словно парят в небе. Царь творит суд в этом покое, и четыре золотых птицы-вертишейки свисают с потолка, напоминая ему об Адрастии [25], чтобы он не превозносился над людьми, — говорят, их приладили там маги, которые имеют доступ во дворец; птиц этих называют «языками богов».

26. О магах достаточно сообщает сам Аполлоний: как он вступил в общение с ними, кое-чему от них научился, кое-чему сам научил их на прощанье. Дамид же не знал, о чем беседовал Аполлоний с магами, тот запретил ему сопровождать его. Дамид говорит только, что Аполлоний ходил к магам обыкновенно в полдень и около полуночи и что, когда Дамид как-то раз спросил его: — Ну, что маги? — Аполлоний отвечал: — Они мудры, однако не во всем.

27. Но об этом потом. Когда Аполлоний пришел в Вавилон, сатрап, ведавший великими вратами, узнав, что Аполлоний прибыл ознакомиться с их страной, достал золотое изображение царя, которое всякий должен поцеловать, без чего не разрешается войти в город. Правда, к этому не принуждают посланцев римского правителя, зато кто приходит от варваров или просто по любознательности, будет с позором задержан, если не окажет почестей изображению. Такие нелепости вменяются в обязанность сатрапам у варваров.

Когда Аполлоний увидал изображение, он спросил: — Кто это? — Узнав, что это царь, он сказал: — Если бы того, кому вы поклоняетесь, я похвалил как человека добродетельного, это было бы величайшей удачей для него. — С этими словами Аполлоний прошел в ворота. Сатрап был изумлен и следовал за Аполлонием; схватив его за руку, он через переводчика спросил, как его зовут, откуда он родом, чем занимается и ради чего прибыл. Занеся это все на дощечку, а также описав его одеяние и наружность, он приказал Аполлонию подождать, (28) а сам побежал к тем, кого называют «царевыми ушами», описал им Аполлония и сообщил, что тот не желает поклониться царю да и вообще ничуть не похож на простого смертного. Те приказали привести его, но почтительно и нисколько не обижая, а когда он пришел, то главный из них спросил Аполлония, с чего это он вздумал оказать такое пренебрежение царю. — Я еще не оказал ему пренебрежения,— отвечал Аполлоний.— Но ты мог бы оказать его все-таки? — опять спросил главный. — Клянусь Зевсом, да,— сказал Аполлоний, — если бы, познакомившись с ним, обнаружил, что он человек не порядочный. — Ты привез ему какие-нибудь дары? — Аполлоний отвечал, что привез, а именно: мужество, справедливость и тому подобное. — Разве их у него нет? — спросил начальник. — Клянусь Зевсом, — отвечал Аполлоний, — если они

у него есть, я научу его пользоваться ими. — Да ведь он и так пользуется ими, — сказал главный, — видишь, какое царство он приобрел (а оно уже было потеряно для него) и восстановил свой дом. Это было нелегким делом, требующим настойчивого труда.— А сколько лет миновало с тех пор, как он стал опять у власти? — Третий пошел назад тому уже два месяца, — отвечал главный. Аполлоний, по своему обыкновению собравшись с мыслями, сказал: — Послушай, телохранитель или как тебя следует называть: Дарий, отец Кира и Артаксеркса, владел этим царством шестьдесят, мне помнится, лет [26], и, говорят, что в предчувствии конца своей жизни он совершил жертвоприношение Справедливости и воскликнул: «О владычица, кто бы ты ни была», — словно все еще не знал ее и не считал, что обладает ею, хотя он издавна стремился к справедливости. Своих двух сыновей он так неразумно воспитал, что они подняли оружие друг против друга: один был ранен, другой убит своим братом. А ты приписываешь всяческие доблести такому царю, который и сам не уверен, что он прочно сидит на царском троне; ты внушаешь ему высокомерие, а между тем не мне, а тебе же пойдет на пользу, если он станет лучше.

Варвар поглядел на своего соседа и промолвил: — Подлинный подарок богов, что такой человек оказался здесь! Общение хорошего с хорошим сделает нашего царя много лучше, рассудительнее и мягче. Это видно по человеку. — И вот они побежали с доброй вестью, что у царских дверей стоит мудрец, эллин, хороший советчик.

29. Царю сообщили об этом как раз тогда, когда он был занят жертвоприношением в присутствии магов — ведь обряды совершаются под их наблюдением. Подозвав одного из них, царь сказал: — Сбылся сон, который я рассказал тебе, когда ты посетил меня в опочивальне. — А сон царь видел вот какой: снилось ему, что он — Артаксеркс, сын Ксеркса, и принял его облик. Царь очень испугался, что и во всех его делах произойдет перемена — так он истолковал перемену своей наружности. Теперь же, когда он услыхал, что в Вавилон прибыл эллин-мудрец, ему пришел на ум афинянин Фемистокл, который бежал когда-то от эллинов к Артаксерксу и много ему дал да и себя заставил уважать. Протянув правую руку, царь сказал: — Позови его, быть может он и положит самое лучшее начало своему пребыванию у нас, приняв участие в жертвоприношении и в молитве.

30. Аполлоний вошел в сопровождении многих (приближенные думали этим угодить царю, узнав, что тот обрадовался прибытию Аполлония). Проходя по дворцу, Аполлоний не смотрел ни на какие диковинки, но шел мимо них, словно продолжая свое путешествие; подозвавши Дамида, он сказал: — Ты недавно спрашивал, как звали ту памфилийскую женщину, которая, как говорят, была близка к Сапфо и сложила на эолийский и памфилийский лад гимны, что поются в честь Артемиды Пергейской. — Да,

я спрашивал, — подтвердил Дамид, — но ты не назвал мне ее имени. — Не назвал, друг мой, но зато разъяснил тебе способы сложения этих гимнов, их наименования и то, каким образом эолийский лад переходит в самый высокий ключ, свойственный памфилийскому. Затем мы были чем-то отвлечены, и ты больше не спрашивал меня о ее имени. Так вот, эту мудрую женщину звали Дамофилой, рассказывают, что она, как и Сапфо, общалась с девушками и слагала любовные стихи и гимны. Один гимн в честь Артемиды в самом деле приписывается ей и поется на сапфический лад.

Насколько Аполлоний был далек от восхищения царской пышностью, явствует из того, что он не удостоил и взглянуть на все это, а беседовал о посторонних предметах, а все прочее считал не заслуживающим даже взгляда.

31. Царь, издали завидев приближающегося — двор храма был довольно длинным, — стал говорить тем, кто находился подле него, что он узнаёт этого мужа, а когда Аполлоний приблизился, царь громко воскликнул: — Вот он, тот Аполлоний, которого мой брат Мегабат видел, по его словам, в Антиохии — там все выдающиеся люди дивились ему и преклонялись перед ним. Мой брат тогда же обрисовал его мне таким, каков он сейчас перед нами. — Аполлоний подошел и приветствовал царя, тот обратился к нему на греческом языке и пригласил вместе совершить жертвоприношение: царь намеревался принести в жертву Гелиосу белого писейского коня[27] чистых кровей, украсив его бляхами, словно для торжественного шествия. — Ты, царь, — отвечал Аполлоний, — совершай жертвоприношение по своему обряду, а мне позволь совершать по моему. — И взявши ладану, он произнес: — Гелиос, пошли меня в такие края, какие угодны и мне и тебе, пусть я узнаю людей хороших, а о дурных пусть ни я ничего не буду знать, ни они обо мне. — Сказав это, он бросил ладан в огонь и стал наблюдать, как восходит дым и становится мутным пламя, на сколько языков оно разделилось и где. Коснувшись огня в том месте, где он ясно горел в доброе предзнаменование, Аполлоний промолвил: — Продолжай, царь, жертвоприношение по твоему отеческому обычаю. А мой отеческий обычай — вот какой. — И он удалился от места жертвоприношения, чтобы не приобщиться к крови.

32. После жертвоприношения он подошел снова и сказал: — О царь, вполне ли ты владеешь языком Эллады или же, быть может, только его начатками, чтобы уметь поддержать разговор и не показаться неучтивым, если к тебе прибыл эллин? — Вполне владею, — отвечал царь, — равно как и местным языком. Но скажи, чего ты хочешь — ради этого ты, вероятно, и спрашиваешь. — Да, ради этого, — сказал Аполлоний, — выслушай же. Цель, к которой я стремлюсь в моем странствии, — индийцы, но я не хотел пройти мимо вас. О тебе я уже слышал — ты вплоть до кончиков пальцев таков, каким я тебя ожидал увидеть. Мне

нужно узреть мудрость, которая у вас является природной, так как ею занимаются ваши маги, если только они действительно мудры в божественных вопросах. А для меня мудростью является учение Пифагора Самосского — это он научил меня так почитать богов и общаться с ними, все равно, зримы ли они или незримы, научил беседовать с богами и одеваться полотном — этой земной шерстью: она не сострижена с овцы; она чиста и рождена от чистого, она — дар воды и земли. Да и эти распущенные волосы я ношу по завету Пифагора, и воздержание от животной пищи пришло ко мне от него. Сотрапезником на попойках и участником в праздности и распущенности я не могу быть ни для тебя, ни для кого другого, зато в трудных, безысходных раздумьях сумел бы я найти решение, так как знаю не только то, что надлежит делать сейчас, но предвижу и будущее.

Вот какова была эта беседа, которую, как говорит Дамид, вел Апполоний, да и сам Аполлоний изложил ее в своем послании. И многое другое из высказанного в собеседованиях с царем он запечатлел в посланиях.

33. Царь сказал, что радуется его приходу и гордится им больше, чем если бы ему удалось добавить к своим владениям еще и области персов и индийцев, что он считает Аполлония своим гостем и просит его пребывать под царской кровлей.

— Если бы я тебя, царь, — возразил Аполлоний, — допустим, ты пришел бы в мою родную Тиану, — пригласил поселиться вместе со мной, ты поселился бы? — Клянусь Зевсом, нет, — отвечал царь, — разве что предстояло бы поселиться в таком большом доме, что в нем просторно разместились бы и копьеносцы, и мои телохранители, да и сам я. — Точно так же рассуждаю и я, — сказал Аполлоний. — Если мое жилище будет роскошнее, чем мне подобает, мне будет не по себе. Все излишнее огорчает мудрецов больше, чем вас — недостача. Поэтому посели меня у кого-нибудь, кто не богаче меня, а с тобой я буду общаться, сколько ты пожелаешь.

ЖИЗНЕОПИСАНИЯ СОФИСТОВ

I, 2

[*Леонт Византийский*]

Леонт Византийский в юности слушал Платона, а в зрелом возрасте был прозван софистом, так как он владел многообразием речи и отличался убедительностью возражений.

Выйдя навстречу Филиппу, когда тот шел походом на византийцев [1], Леонт спросил: — Скажи мне, Филипп, что тебя заставило начать войну? — Тот отвечал: — Твоя родина — самый прекрасный из всех городов, я просто влюбился в него, вот почему я здесь, у дверей моего возлюбленного. — Не приходят с мечом, — возразил Леонт, — к дверям возлюбленного те, кто достоин ответной любви. Влюбленным нужны орудия Муз, а не войны. — И Византий был освобожден многочисленными речами Демосфена в Афинах и несколькими словами Леонта к самому Филиппу.

Когда этот Леонт был отправлен послом к афинянам [2], в этом городе уже долгое время были раздоры и он управлялся вопреки добрым обычаям. Выступая в народном собрании, Леонт вызвал своим видом всеобщий хохот: он был тучен, с огромным животом. Смех этот нисколько его не смутил. — Чему вы смеетесь, афиняне? — сказал он. — Что я такой толстый? Есть у меня жена, много меня толще. Однако когда мы с ней в ладах, нам и на постели не тесно, а когда не в ладах — нам тесен весь дом. — И афинский народ прекратил раздоры благодаря Леонту, сумевшему так умно использовать обстоятельства.

I, 5

[*Филострат Египетский*]

Знаю, что Филострата Египетского, который занимался философией вместе с царицей Клеопатрой, тоже прозвали софистом: ему приходилось пользоваться и торжественным и смешанным видом речи, хотя он общался с такой женщиной, для которой занятия словесностью были лишь баловством, что дало повод для следующего шутливого двустишия:

Как Филострат поусердствуй: царицу он Клеопатру
Мудро так обучал, что уподобился ей.

I, 7

[*Дион из Прусы*]

Диона из Прусы я не знаю как и назвать, столько у него разных выдающихся свойств. Ведь он был, как говорится, «рогом Амалфеи» [1], он сочетал в себе все лучшее из лучшего, что только было когда-либо сказано. Заимствуя благозвучность у Демосфена и Платона, он отзывался на нее с изысканной простотой и притом своим особым звучанием, словно лира. Превосходна в речах Диона и их благородная сдержанность: хотя он очень часто обличал беззаконные деяния городов, однако, его не считали ни злоречивым, ни придирчивым: он укрощал их, словно коней, скорее уздой, чем бичом. А когда он решался хвалить города с хорошими законами, то, казалось, он не столько их превозносит, сколько предостерегает от погибели, в случае если они станут иными. Да и в остальных областях философии его способ изложения мыслей не был ни пошлым, ни издевательским, и хотя он проявлял настойчивость и упорство, но приправлял их лаской.

Что у него были способности к историческим трудам, доказывает его сочинение о гетах [2] (ведь он побывал и у гетов во время своих скитаний). Его «Эвбейскую речь», а также «Похвалу попугаю» и все другие его сочинения о незначительных предметах мы не станем считать мелочами — они относятся к софистике, а софистам свойственно серьезно заниматься и такими вещами.

Принадлежа к тому же поколению, что и философы Аполлоний Тианский и Евфрат Тирский [3], он был близок к ним обоим, хотя между теми двумя и бывали расхождения, выходящие за пределы философского учения о нравственности.

Удаление этого человека в область гетских племен я не считаю возможным назвать ни изгнанием, так как не было распоряжения о его изгнании, ни путешествием — он просто исчез и стал заниматься чем придется в разных странах из страха перед ти-

раническим образом правления в Риме [4], преследовавшим всяческую философию. Он огородничал, копал, черпал воду для бань и садов, но, выполняя такие и подобные им работы ради пропитания, он, однако, не бросал и серьезных занятий, находя поддержку в двух книгах: это были «Федон» Платона и речь Демосфена «Против посольства».

Часто бывал он в лагерях, одетый, как обычно, в лохмотья. Однажды он заметил среди солдат волнения по поводу убийства Домициана. Видя, что мятеж уже готов разразиться, Дион не выдержал, вскочил, сбросив с себя одежду, на высокий жертвенник и так начал свою речь: — «Сбросил лохмотья с себя наконец Одиссей многоумный» [5]. — Этими словами он дал понять, кто он такой, то есть, что он не нищий и не тот, за кого его принимали, а Дион, мудрец. Он чрезвычайно вдохновенно обличал тирана и внушал солдатам, что для них будет лучше выполнять решения, принятые в Риме. Речь его была настолько убедительна, что зачаровала даже тех, кто плохо знал по-гречески.

Император Траян привез его в Рим на золотой колеснице, которая служит царям при триумфальных шествиях по окончании войн. Часто, обращаясь к Диону, он признавался: — О том, что ты говоришь, не мне судить, но я люблю тебя, как самого себя.

Образы, употребляемые Дионом в его речах, в высшей степени софистичны, но хотя он и чрезвычайно широко ими пользуется, они все же ясны и соответствуют избранному им предмету.

II, 9

[*Аристид*]

Аристид — был ли он сыном Эвдемона или сам носил имя Эвдемона — был родом из Адриан (Адрианы — небольшой город в Мисии), а образование получил в Афинах, когда там блистал Герод [1], а затем и в Азии, в Пергаме, в школе красноречия Аристокла [2]. Он с малолетства был болезненным, однако это не лишило его трудолюбия. Вид своей болезни и как у него сводило жилы, он сам описывает в «Священных речах». Эти речи как бы дневники Аристида, а дневники — хорошее руководство, помогающее разобраться во всяком деле. У него не было природных данных для импровизации, поэтому он тщательно работал над своими речами; внимательно изучая древние образцы, он овладел богатствами речи, избежав пустословия.

Аристид мало путешествовал; он не выступал в угоду толпе и не сдерживал своего гнева против слушателей, если они не одобряли его. Среди тех народов, которые он посетил, значатся италийцы, эллины и жители той части Египта, которая прилегает к Дельте; они-то и поставили его медную статую на площади

в Смирне. Аристида называют основателем Смирны, и это не пустая похвала, а в высшей степени справедливое и правдивое утверждение. Дело в том, что этот город, разрушенный землетрясением и исчезнувший в провалах [3], Аристид так сумел оплакать перед Марком [4], что под конец его декламации император застонал, а при словах «зефиры овевают пустыню» у него капнули слезы на книгу, и, под впечатлением речи Аристида, он распорядился о восстановлении города.

Аристид еще до того встретился с Марком в Ионии, как об этом мне рассказывал эфесец Дамиан [5]. Император уже третий день пребывал в Смирне. Не зная еще Аристида, он спросил Квинктилиев [6], не показывался ли тот в толпе приветствующих. Те сказали, что сами не видели Аристида, иначе они не преминули бы его представить. На следующий день они пришли с Аристидом, словно его телохранители. Император сказал: — Почему мы так поздно видим тебя? — Размышление, царь, занимало меня, — отвечал Аристид, — а ум, размышляющий над чем-нибудь, не надо отвлекать от предмета его изысканий. — Император пришел в восторг от нравственных качеств этого человека — от его поразительной прямоты и преданности умственным занятиям. — Когда же я услышу тебя? — спросил он. — Аристид отвечал: — Сегодня предложи мне тему, и завтра ты меня услышишь. Ведь мы не из тех, кто изрыгает, а из тех, кто тщательно излагает. Пусть будет разрешено, о царь, присутствовать на декламации моим знакомым. — Разрешаю, — сказал Марк, — ведь это дело всенародное. — На слова Аристида: — Пусть им будет предоставлено, о царь, и кричать и рукоплескать сколько угодно, — император отвечал с улыбкой: — Это зависит от тебя.

Я не излагаю содержания декламации, потому что свидетельства об этом расходятся, но все согласны в том, что Аристид говорил с большим подъемом в присутствии Марка — так судьба заранее подготовляла возможность, чтобы Смирна была восстановлена благодаря этому человеку. Я не хочу сказать, что в ином случае император не восстановил бы погибший город, но все же царственные и божественные натуры под влиянием разумных советов озаряются еще большим блеском и с увлечением стремятся делать добро.

От Дамиана слышал я еще, что, хотя этот софист не одобрял импровизаторов в декламации, однако сам так восхищался способностью импровизировать, что старался развить ее в себе, затворившись у себя в комнате. Он вырабатывал фразу за фразой и мысль за мыслью путем повторения. Мы же считаем это скорее жвачкой, чем пищей: ведь импровизация — забава плавно текущей речью.

Некоторые ставят Аристиду в упрек дешевое начало его речи о наемниках, требовавших земельных участков. Он начал свое выступление так: «Эти люди вечно доставляют нам хлопоты».

Порицают некоторые и резкое выражение этого человека, когда он выступал против укрепления Лакедемона стенами. Сказано было следующее: — Не прятаться же нам за стеной, переняв повадки у перепелок.

Порицают и неудачное применение одной поговорки: упрекая Александра в том, что он во всех делах подражал своему отцу, Аристид назвал его отцовским сынком. Те же самые лица ставят ему в вину и шутки: одноглазых аримаспов [7] он назвал родственниками Филиппа, впрочем за «трагическую обезьяну» и «сельского Эномая» порицали и Демосфена, когда он оправдывался перед эллинами [8].

Однако не на основании этого надо судить об Аристиде, а по следующим декламациям: «Исократ, не советующий афинянам браться за морские дела и укоряющий Калликсена за запрещение похорон десяти»; «Совещание по сицилийским делам»; «Эсхил, отклоняющий продовольственную помощь Керсоблепта»; «Отказ от заключения мирного договора после убийства детей». Именно последняя его речь всего больше учит, как без всякого риска пользоваться свойственными трагедии оборотами. Я знаю много и других декламаций, показывающих образованность этого человека, его силу и нравственные свойства; судить о нем и следует главным образом по этим речам, а не по кое-каким промахам, сделанным из-за честолюбия. Аристид — самый искусный из софистов, разносторонний и глубокий по своим темам, поэтому он и воздерживался от импровизаций. Ведь стремление излагать материал очень продуманно поглощает все силы ума и отвращает от отходячих выражений.

Одни пишут, что Аристид умер дома, другие, что — в Ионии, достигши (по словам некоторых) шестидесяти лет; иные сообщают, что в ту пору ему было уже около семидесяти.

II, 31

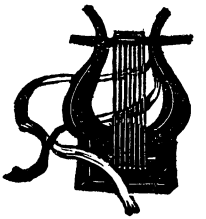
[Элиан]

Элиан был римлянином, однако владел аттическим языком как истый афинянин. Этот человек заслуживает, по-моему, похвалы прежде всего за то, что он выработал себе чистую речь, живя в городе, где в употреблении был другой язык, и еще за то, что не верил своим почитателям, когда они провозглашали его софистом, не льстил своему самолюбию и не кичился этим пышным названием; тщательно изучив самого себя и обнаружив свою непригодность для ораторского искусства, он обратился к писательству и в этой области вызвал восхищение. Основное в его творчестве — простота, имеющая нечто от прелести Никострата [1], а порою уклоняющаяся в сторону мощи Диона.

Как-то раз повстречался с ним Филострат Лемносский. Элиан держал в руках книгу и читал ее, гневно повышая голос. Филострат спросил его, над чем это он так усердствует. — Я сочинил, — сказал тот, — обвинительную речь против Гиннида. Этим именем я называю недавно убитого тирана, опозорившего римлян всяческими бесчинствами [2]. — Филострат заметил: — Я был бы в восхищении, если бы ты обвинил его еще при жизни. — Действительно, обличать тирана при его жизни — дело подлинного мужества, а оскорблять поверженного может всякий.

Этот человек говорил, что он никуда не выезжал за пределы Италии, никогда не всходил на корабль и совсем незнаком с морем, и за это его еще больше ценили в Риме, как почитателя местных нравов.

Он был слушателем Павсания [3], но восхищался Геродом, считая его самым разнообразным среди риторов. Прожил он больше шестидесяти лет и умер бездетным (никогда не вступая в брак, он отказался от деторождения). Счастье ли это или несчастье — здесь не место исследовать.



ПИСЬМА

3

Лакедемоняне одевались в окрашенные пурпуром хитоны или для того, чтобы поражать врагов страхом перед этим цветом, или же чтобы не так заметна была кровь по ее сходству с такой краской. А вам, красавцам, следует вооружаться одними лишь розами и получать это вооружение от тех, кто в вас влюблен. Гиацинт к лицу белокурому юноше, нарцисс — темнокудрому, а роза — всем, потому что она сама была некогда юношей [1], хотя теперь она цветок, лекарство, благовоние. Розы прельстили Анхиза, обезоружили Арея, привлекли Адониса; [2] они — кудри весны, они — блеск земли, они — светочи любви.

10

Гнезда дают приют птицам, скалы — рыбам, глаза — прекрасным юношам. Птицы и рыбы странствуют, покидая свои убежища, и, бывает, переселяются на новые места (к этому их побуждает смена времен года), а красота, единожды влившись потоком в глаза, не покидает своего пристанища. Так и мои — приняли тебя, и повсюду я ношу тебя с собой в тенетах моих глаз. Иду ли я на берег моря — оно являет из пен тебя, как, по мифу, явило Афродиту, иду ли на луг — ты блистаешь среди цветов. Разве

хоть один из них может соперничать с тобой? Да, они любезны взору и прекрасны, но только один краткотечный день. Взгляну ли на небо — мне кажется, что солнце закатилось и понизу совершает свой путь, а его место заступил ты. Наступает ли ночь— я вижу только две звезды: Веспер и тебя.

18

Ты натер себе ногу сандалией — верно, что это довольно неприятно. Ужасно как кусает нежное тело новая обувь! Вот почему и Асклепий, легко врачующий раны, полученные на войне, на охоте и от разных случайностей, здесь отказывается помогать, раз виной сам человек, с его неразумием, а не злоба божеств. Почему ты не ходишь босиком? Чем тебе не мила земля? Щегольские и простые сандалии, сапожки, подметки — все это обуза, неизбежная для больных или стариков. Недаром Филоктета изображают на картинах обутым: он и хромой и больной. Философа из Синопы [3], фиванца Кратета, Аянта и Ахилла рисуют босыми, Ясона же — босым только на одну ногу. По преданию, у него при переходе через реку Акавр завяз сапожок; Ясон, таким образом, хоть одну ногу освободил от обуви и ненамеренно, совсем случайно научился тому что надо, — он отправился дальше, прекрасно ограбленный. Пусть и у тебя ничего не будет между землей и твоей ногой! Не бойся: пыль нежно, как трава, примет твои шаги. О, мерная поступь милых ног, о, новые цветы, о, произрастания земли, о, напечатленные поцелуи!

24

Когда Агамемнон обуздывал свой гнев, он был прекрасен и подобен не одному богу, а многим зараз, —

> Зевсу, метателю грома, главой и очами подобный,
> Станом — Арею великому, персями — Энносигею [4], —

когда же унижал себя порывами ярости и обрушивался на соратников, напоминал оленя или пса и взором переставал походить на Зевса: Гневаются дикие кабаны, псы, змеи, волки и другие неразумные твари. Прекрасный отрок ранит уже тем, что не смеется, хотя и не глядит сумрачно. Даже солнцу не идет прятать лицо за облаком. Откуда эта черная, как ночь, мрачность, откуда грозовые тучи? Улыбнись, перестань сердиться, пусть твои глаза вновь подарят мне ясный день.

26

Ты запрещаешь мне смотреть на тебя и самому попадаться на глаза. Нет такого законодателя, который бы установил такие законы! Если же то и другое не возбраняется, не лишай себя удовольствия показываться, а меня — наслаждения тебя видеть. Ведь источник не скажет: «Не смей из меня пить», плод — «Не смей меня трогать», луг — «Не смей топтать меня». Следуй и ты законам и прекрати муки жаждущего.

31

Если твой поклонник добьется своего, он все равно не может быть уверен, что его усилия не пропали даром. А если он получит отказ, это его огорчит. Общественные приличия против нашего счастья, зато любовь — награда за огорчения. Так лучше уж испытывать опасения, достигнув цели своих желаний, чем терзаться, будучи отвергнутым.

32

Глаза твои прозрачнее стеклянных кубков — сквозь них видно душу, багрянец щек цветом милее вина, льняные одежды отражают твой лик, губы смочены кровью роз, из источников глаз твоих словно струится влага, и поэтому ты мне кажешься нимфой. Скольких спешащих ты заставляешь остановиться, скольких торопливо проходящих мимо удерживаешь, скольких зовешь, не произнося ни слова. Я первый, лишь только завижу тебя, мучимый жаждой, против воли замедляю шаги и беру кубок, но не притрагиваюсь к вину, потому что привык пить тебя.

59

Вчера едва я закрыл глаза — я чуть сомкнул их, и то мне показалось, что прошло много времени, — тотчас же я стал упрекать их в бессердечии: «Как могли вы забыть о ней? Почему вы не на страже? Где она и что с ней? Хоть это вы мне откройте!» Мне почудилось, будто я слышу какие-то звуки, я вышел из дому в надежде тебя увидеть, я стал искать тебя, словно тебя кто похитил. Что же мне делать, если ты отправишься в деревню, как в прошлом году, и на много дней покинешь городское общество? Думаю, гибель моя совершенно неизбежна, раз у меня не будет отрады ни для слуха, ни для зрения. И я уверен, что, видя, как

ты уходишь из города, сами местные боги последуют за тобой: что им здесь одним делать? Но если даже они и останутся здесь, то я, влекомый Эротом, ни за что не останусь. Понадобится ли копать — возьмусь за лопату, надо ли будет подрезать виноградные лозы — стану ухаживать за ними, потребуется ли провести воду на огород — вырою канаву. Разве есть река, настолько слепая к твоей красоте, чтобы не оросить твою землю? Только от одной из сельских работ я отказываюсь — от доения. Лишь к твоим сосцам сладостно мне прикасаться.

КАРТИНЫ

I, 15

АРИАДНА

Что Тесей поступил с Ариадной не по справедливости — впрочем, некоторые винят во всем не его, а Диониса, — покинув ее во время сна на острове Дии [1], об этом ты, вероятно, слыхал еще от твоей няньки: на это они мастерицы и плачут когда угодно над такими рассказами.

Мне не приходится говорить, что Тесей — это вон тот, что на корабле, а Дионис — вот этот, здесь на суше. И мне нечего обращать твое внимание, — будто ты сам не знаешь! — вот на эту женщину на скале, лежащую в нежном сне. Лишнее хвалить этого художника за то, за что можно похвалить любого другого: ведь всякому легко изобразить Ариадну прекрасной, а Тесея — красавцем, у Диониса же есть тысячи признаков для живописцев и ваятелей, — стоит уловить хоть самый незначительный, вот этот бог и готов. Венок из плюща — уже отличительный признак Диониса, каким бы слабым ни было произведение; рога, прорезывающиеся на висках, выдают Диониса, и пантера, появляющаяся около него, — опять-таки примета этого бога.

Но здесь Дионис изображен только влюбленным: цветистый убор, тирсы и звериные шкуры — все это отброшено как вещи ненужные, сейчас вакханкам не до кимвалов, сатирам не до флейт, да и Пан прекратил скачку, чтобы не нарушить сна девушки. Нарядившись в пурпур, увенчав голову розами, идет Дионис к Ариадне, «пьяный от любви», как говорит теосец [2] о влюбленных сверх меры.

Тесей тоже любит, но любит он дымок родных Афин, ему уже не до Ариадны, да и раньше, видно, он ее не знал. По-моему, он и о лабиринте забыл, и не мог бы сказать, ради чего отправился на Крит, — настолько пристально вглядывается он вперед, по ходу корабля.

Посмотри и на Ариадну, в особенности на то, как она спит: тело ее обнажено до пупка; голова и нежная шея откинуты назад; видна вся правая подмышка, а другая рука лежит на плаще, чтобы не озорничал ветер. Что за дыхание, Дионис, и как оно сладостно! Пахнет ли оно яблоками или виноградом, ты скажешь после поцелуя.

I, 20

САТИРЫ

Келены эта местность, раз тут есть и родники и пещера, но Марсий отлучился: либо он пасет стадо, либо состязание уже окончено.

Не хвали воду: она, правда, изображена жаждоутоляющей и тихой, но еще более утоляющим жажду найдешь ты Олимпа: спит он после игры на флейте, нежный, на нежных цветах, и пот его смешивается с луговой росой. Зефир будит его, овевая ему кудри, а он глубоко дышит, обратив лицо навстречу ветру.

Тростники, уже в виде флейт, лежат рядом с Олимпом, а с ними и железные орудия для просверливания отверстий на флейтах.

Влюбленные в него сатиры, разгоряченные и хохочущие, целой толпой любуются на юношу: один жаждет коснуться груди, другой — обнять его шею, третий желает сорвать поцелуй. Они усыпают его цветами и поклоняются ему, словно кумиру.

Самый смышленый из них оторвал язычок от одной еще теплой флейты и поедает его, думая, что таким образом целует Олимпа: он уверяет, будто отведал его дыхания.

I, 28

ОХОТА НА КАБАНА

Не скачите мимо нас, охотники, и не подгоняйте своих коней, пока мы не разберем, чего вы хотите и на кого охотитесь. Вы говорите, что гонитесь за кабаном. Да, я вижу, что натворил этот зверь, он подрыл оливковые деревья, переломал виноградные лозы, не оставил ни смокв, ни яблонь, ни черенков — все он повырывал из земли, переворотил, истоптал, испортил, чесавшись. Я вижу, как щетинится его грива, как горят огнем его глаза, как лязгает он зубами, оборачиваясь к вам, благородные охотники:

ведь эти звери способны различать шум и на большом расстоянии.

Однако я думаю, что вы — ловцы красоты вот этого юноши — сами уловлены им и готовы на любой риск. Зачем вы держитесь так близко к нему? Зачем прикасаетесь? Почему обращены в его сторону? Почему наезжаете на него?

Что со мной? Живопись так подействовала на меня, что они мне показались не нарисованными, а живыми, движущимися и влюбленными. Я шучу с ними, как будто они слышат, и мне чудятся их ответы. Да и ты ничего не промолвил, чтобы исправить мой промах. Подобно мне ты побежден и не в силах противиться обольстительному сновидению.

Так вот, рассмотрим, что здесь нарисовано, — ведь перед нами картина. Вокруг того мальчика — красивые юноши, занятые благородным делом, и, надо полагать, знатного происхождения: по лицу одного из них видно, что он не чужд палестры, вот в этом юноше есть нечто очаровательное, в том — что-то столичное; а про этого ты сказал бы, что он прямо картинка из книжки.

Их несут кони, друг на друга непохожие: белый, буланый, вороной и гнедой. Уздечки все серебряные, разукрашенные золотом. Рассказывают, что варвары, живущие на прибрежье океана, льют краски на раскаленную медь; при соединении с нею краски затвердевают, и живопись сохраняется надолго.

Одеты все юноши по-разному: один гарцует прекрасно подпоясанный и легко вооруженный, он, я думаю, мастер метать копье. У другого грудь защищена: он грозится вступить в рукопашный бой со зверем; бедра и голени тоже защищены. Мальчик же верхом на белом коне, у которого, как видишь, голова черная, но на лбу словно выточен белый круг, совсем как полная луна; бляхи на нем золотые, а уздечка мидийского червеца: в соседстве с этим цветом золото поблескивает молнией, как огневидные камни. Одеяние мальчика — плащ, который ветер раздувает пузырем. А цвет плаща — тот финикийский пурпур, что восхваляют финикийцы; его надо считать самым приятным из оттенков пурпура: он кажется мрачным, но в нем есть нечто от солнечной прелести, и он отливает радужными цветами. Стыдясь быть обнаженным перед присутствующими, мальчик одел пурпурную одежду с рукавами; хитон доходит ему до середины бедра, а рукава — до локтя. Он улыбается, и взор его сверкает, волосы, развеваемые ветром, едва не падают на глаза. Возможно, кто-нибудь похвалит и его щеки, и соразмерность носа, и каждую в отдельности черточку его лица, но я восхищаюсь и его горделивостью: сильный, как вообще охотники, он гарцует на коне, понимая, что все в него влюблены.

Мулы с погонщиками везут за ними капканы, тенета, рогатины, дротики и копья с зазубринами, участвуют в походе и псари, и разведчики, и своры собак, не только чутких и отличающихся быстротой бега, но и породистых: против такого зверя

нужна большая сила. Потому-то и нарисовал художник и локридских псов, и лаконских, и индийских, и критских — одни яростно лают, другие выжидают, а вот эти уже пустились по следу.

На дальнейшем своем пути ловцы воспоют Охотницу [3]. Там некий храм ее и кумир, сглаженный временем, и головы кабанов и медведей. Живут там на воле и звери: молодые олени, волки и зайцы, все они ручные и не боятся людей. После молитвы начнется охота. Зверю невтерпеж скрываться, он выскакивает из чащи, бросается на всадников, и его первый натиск вызывает среди них смятение, но ему не выстоять под дождем копий и дротиков. Правда, он еще не получил смертельной раны, так как уклонялся от ударов, да и сами удары наносились робкой рукой. Ослабев от легкой раны в бедро, кабан бежит по лесу, и его укрывает глубокая трясина и болотная заводь. С криком преследуют его охотники вплоть до болота, мальчик же бросается вместе со зверем в воду, а за ним и вот эти четыре пса. Зверь кидается на коня, чтобы поразить его; а мальчик, свесившись с коня и перегнувшись направо, широко размахивается и бьет как раз туда, где шея соединяется с лопаткой. Вслед за тем псы вытаскивают кабана на сушу. Влюбленные кричат с берега, словно соревнуясь, кто кого перекричит. Один из них, напугав коня и не сдержав его, свалился на землю. Другой уже плетет мальчику венок на лугу возле топи. Мальчик все еще в воде, все еще в той позе, в какой он метнул копье, они же, ошеломленные, смотрят на него, словно на картину.

I, 31

УГОЩЕНИЕ

Сбор плодов смоковницы — прекрасное занятие, и его нельзя обойти молчанием. Черные смоквы, налитые соком, свалены кучей на виноградных листьях, они нарисованы с трещинами на кожуре, из одних сочится мед, другие перезрели и потрескались.

Поверх них брошена ветка, и, клянусь Зевсом, не напрасно — она тоже не лишена плодов: в тени ее листьев и зеленые, еще незрелые смоквы, и сморщенные, завядшие, и, видимо, уже подгнившие, так как их сок зацвел. А смоквы на конце ветки недаром поклевал воробей — они там всего слаще.

Вся почва покрыта орехами: и без скорлупы, и целыми, и надтреснутыми.

Смотри: груши на грушах и яблоки на яблоках, десятками и целыми кучами — все чудесно пахнет и золотится. Про их румянец не скажешь, что он наведен сверху — он просвечивает изнутри.

А вот дары вишневого дерева, эти плоды грудой навалены в корзинке, а корзинка сплетена не из чуждых прутьев, а из веток этого же дерева.

Если ты взглянешь на эти лозы, на свисающие с них кисти винограда и на каждую виноградину в отдельности, ты, я уверен, воспоешь Диониса и скажешь о виноградной лозе: «О владычица, гроздеподательница!» И ты сказал бы, что гроздья на картине съедобны и полны вина.

Вот еще что вкуснее вкусного: на листьях смоковницы — соты, уже напитанные золотисто-свежим медом — ему впору вылиться оттуда, стоит лишь надавить; на другом листе — только что застывший, еще трепещущий творог; а вот и сосуды с молоком, не просто белым, но прямо блестящим — этот блеск, по-видимому, от сливок, собравшихся на поверхности.

II, 18

КИКЛОП

Эти жнецы на ниве и эти виноградари — они, дитя мое, здесь не пахали и ничего не сажали — земля сама дает им все. Ведь это — киклопы, а у них, не знаю почему, по воле поэтов, родится само собой все, что приносит земля. Она же сделала их пастухами, вскармливая овец и коз, чье молоко считают они и питьем и лакомством. Им неведомы ни собрания, ни советы, ни дома — живут они в расщелинах гор.

Оставь остальных в стороне, а вот здесь обитает Полифем, сын Посейдона, самый свирепый из них: он насупил бровь над своим единственным глазом, широкий нос находит на губу, людей он пожирает, как самые дикие львы. Правда, сейчас он воздерживается от такой пищи, чтобы не показаться противным обжорой. Он влюбился в Галатею, резвящуюся вот в этом море, завидев ее с горы. Свирель у него под мышкой, он весь замер. Песнь его чисто пастушеская: Галатея-де и бела, и надменна, и слаще винограда, и ей он растит ланей и медвежат.

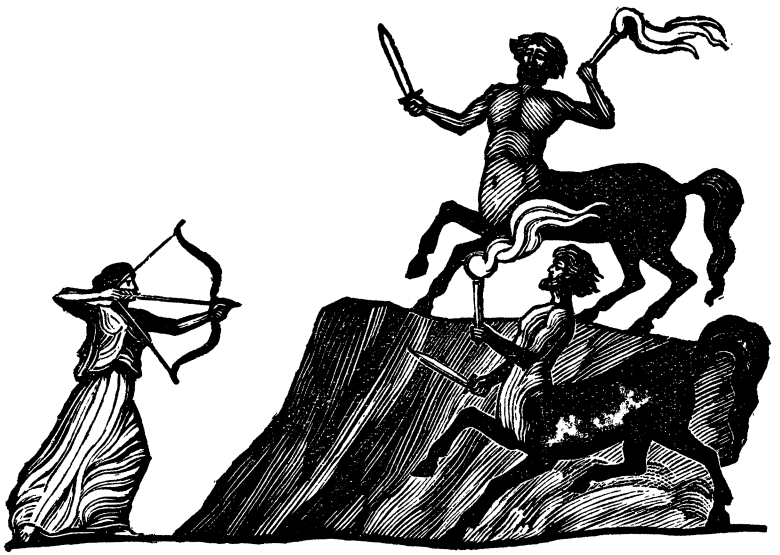
Так он поет под дубом, не ведая, где его овцы, сколько их и где их пастбище. Нарисован он к тому же в виде страшного обитателя гор, он потрясает гривой, стоящею дыбом (а каждый волосок — величиною с сосну), и скалит острые зубы в прожорливой пасти, весь он оброс волосами — и грудь, и живот, и все тело до кончиков ногтей. По его мнению, он выглядит кротким, потому что влюблен, а все же он смотрит диким и затаившимся, точно зверь, вынужденный покориться.

Галатея же резвится в тихом море, запрягая под одно ярмо четверку дельфинов, дышащих в лад; правят ими девы Тритона, прислужницы Галатеи, затягивая удила, чуть только дельфины перестают повиноваться вожжам.

Над головой она держит на ветру легкое пурпурное покрывало — ей оно дает тень, а колеснице служит парусом; от него падает ей на лоб и на голову какой-то отсвет, но он не ярче ее цветущих щек. Волосы ее зефир не развевает; они влажные и не поддаются ветру. Правая рука приподнята и согнута в белом локте, пальцы покоятся на нежном плече, руки волнообразно колышутся, грудь приподымается, и бедро не лишено юной красы. А ступня со всей присущей ей прелестью нарисована, дитя мое, над самой водой, касаясь волны; она словно правит колесницей.

Чудо что за глаза — они устремлены на беспредельную, уходящую вдаль громаду моря.

КЛАВДИЙ ЭЛИАН



ПЕСТРЫЕ РАССКАЗЫ

I, 16

Когда корабль возвратился из Делоса и смертный приговор над Сократом должен был быть приведен в исполнение [1], в темницу к нему пришел его друг Аполлодор, принес красивый шерстяной хитон и столь же дорогой гиматий и стал просить, чтобы Сократ выпил яд, одевшись в этот хитон и гиматий. Он говорил, что в такой одежде Сократа не стыдно будет положить в могилу и его тело будет убрано подобающим образом. Таковы были слова Аполлодора. Сократ же остался невозмутим и, обратившись к Критону, Симию и Федону [2], сказал: — Высокого мнения обо мне этот Аполлодор, если может думать, будто после того, как я опорожню

чашу с ядом, он еще увидит Сократа. Ведь если он полагает, что тот, кто скоро будет распростерт у ваших ног на полу — это я, он, очевидно, совсем не знал меня.

I, 21

Я не могу не рассказать о находчивом и истинно греческом поступке Исмения из Фив. Однажды послом от своего родного города он прибыл ко двору персидского царя[3] и пожелал самолично переговорить с ним о своем деле. Хилиарх, который докладывал царю нужды посольств и вводил посетителей, сказал ему: — Чужеземец из Фив (хилиарх Титрауст говорил, конечно, через переводчика по-персидски), здесь такой закон: представший пред лицом царя не удостаивается разговора с ним, пока не сделает земного поклона. Если тебе угодно самому говорить с владыкой персов, не премини поступить, как того требует закон; если же тебе это не угодно, ты вполне можешь договориться через меня и избежать земного поклона. — Исмений ответил: — Веди меня к царю. — Войдя и представ перед троном, посол снял с пальца перстень, незаметно бросил себе под ноги, затем быстро нагнулся, словно для земного поклона, и поднял его. Таким образом, Исмений сделал вид, что соблюдает персидский обычай и вместе с тем не совершил ничего постыдного для эллина. Исмений добился того, ради чего прибыл, и персидский царь ни в чем не отказал ему.

II, 3

Александр, рассматривая в Эфесе свой портрет, нарисованный Апеллесом, не воздал подобающей хвалы мастерству художника. Когда же приведенный конь, точно живого, ржанием приветствовал изображенного на картине, Апеллес воскликнул: — Владыка, конь оказался лучшим знатоком искусства, чем ты.

III, 14

Известно, что жители города Византия — страшные пьяницы; поэтому они живут в харчевнях, а свои дома сдают внаем приезжающим в город чужеземцам. И не только одни дома, но и жен в придачу, так что грешны двумя пороками: пьянством и сводничеством. Так как византийцы всегда по горло налиты вином и всегда навеселе, они любят слушать игру на флейте и заняты только этим, зато совершенно не переносят звука трубы; понятно, что с таким же отвращением они относятся к оружию и войне. Поэтому-то во время опасной осады, когда враги уже бро-

сились к стенам, а защитники покинули свои места, чтобы, по обыкновению, пойти развлекаться, их стратег Леонид отдал приказ открыть харчевни на городских укреплениях. Эта хитрая выдумка Леонида понемногу приучила византийцев не оставлять строй, так как отпал для этого повод. Эту историю о жителях Византия рассказывает Дамон. С ним, по-видимому, согласен и Менандр, когда говорит:

> ...всех купцов склонял всегда
> Византий к пьянству; до зари мы сами там
> Кутили [4].

III, 29

Диоген из Синопы любил говорить, что обычные в трагедиях несчастья обрушиваются на него, потому что он

> Страны родной лишен, скиталец, нищ и сир,
> Без крова и в лохмотьях, днем живет одним.

Однако всеми этими бедствиями Диоген был горд не меньше, чем Александр своей властью над миром, когда после покорения Индии возвратился в Вавилон.

IV, 25

Некий Тросилл из дема Эксонэ заболел удивительной и странной душевной болезнью. Он переселился из города в Пирей, отмечал там прибытие кораблей, снова посылал их в плаванье и радовался благополучному возвращению в гавань, считая, что все они принадлежат ему. Тросилл болел долгое время, пока возвратившийся из Сицилии брат не поручил его заботам врача и тот не вылечил его. Впоследствии он часто вспоминал о своем тогдашнем времяпрепровождении и говорил, что ничто не приносило ему столько счастья, как благополучное возвращение в гавань чужих кораблей.

VII, 20

Однажды из Хиоса в Лакедемон прибыл какой-то старик; он был чванлив, но стыдился своей старости и поэтому старался краской скрыть седину. Когда он выступил перед спартанцами, излагая дело, ради которого явился, со своего места поднялся Архидам и сказал: — Что этот человек может сказать путного, когда у него обман не только в сердце, но и на голове? — Царь свел на нет речь хиосца, изобличив его нрав на основании того, что бросалось в глаза.

IX, 19

Как-то раз Диоген, закусывая в харчевне, подозвал к себе шедшего мимо Демосфена. Тот не пожелал зайти. Тогда Диоген сказал: — Тебе стыдно сидеть в харчевне, Демосфен, а между тем твой господин, — прибавил он, имея в виду простой народ, — ходит сюда ежедневно. — Этим Диоген намекал на то, что витии и ораторы — рабы толпы.

XII, 1

Аспазия из Фокеи, дочь Гермотима, была сиротой: ее мать умерла родами. Девочка жила в бедности, но воспитывалась в стыдливости и строгости. Ей постоянно снился один и тот же предвещавший ей счастье сон о том, что ей суждено иметь хорошего мужа. А между тем еще в детстве под подбородком у нее делается безобразный нарост. Это огорчает и девочку и ее отца. Отец показывает Аспазию врачу; тот обещает вылечить ее, если получит три статера. Гермотим отвечает, что у него таких денег нет. На это врач говорит, что не имеет в запасе нужного лекарства. Аспазия, конечно, очень опечалилась, вышла из дома и заплакала, а когда взглянула в зеркальце и увидала себя, еще пуще залилась слезами. С горя девушка отказалась есть, но, на свое счастье, она забылась сном. Аспазии привиделось, что к ней подлетает голубка, превращается в женщину и говорит: — Успокойся, не думай ни о каких врачах с их лекарствами. Достань роз из засохшего венка Афродиты, разотри и приложи к подбородку. — Аспазия услышала слова женщины и выполнила ее совет. Нарост сразу пропал, и она снова стала самой красивой среди своих сверстниц — ведь красоту Аспазия получила от наипрекраснейшей богини. Вдобавок, как ни одна из окружавших ее девушек, Аспазия была исполнена очарования. Волосы у нее были белокурые и немного завивались, глаза огромные, нос с небольшой горбинкой, маленькие уши, кожа нежная, на лице она цветом напоминала розовые лепестки. Потому-то фокеяне называли Аспазию, когда она была еще девочкой, Мильто́[5]. Губы были алы, зубы белее снега, ноги стройные, как у красавиц Гомера, которых он обычно называет прекраснолодыжными. Голос был нежный и сладкий: когда Аспазия говорила, казалось, что слушаешь Сирену. Она не знала обычных женских хлопот и страсти к уборам и украшениям: ведь обычно ее порождает богатство, а Аспазия была бедна, воспитывалась бедняком отцом и потому никакими ухищрениями не старалась приукрасить свою красоту. Случилось, что она попала ко двору Кира, сына Дария и Парисатиды, брата Артаксеркса. Шла туда Аспазия неохотно, и не по своей воле посылал ее отец: ей приходилось покоряться, как покоряются насилию при взятии города или воле тиранов и сатрапов. Вместе с другими

девушками Аспазию привел к Киру один из его сатрапов. Скоро Кир стал предпочитать девушку персидским красавицам из-за ее душевной простоты, стыдливости, а также потому, что она была хороша и без дорогих уборов. Он все больше и больше любил ее и за ее ум. Часто Кир даже в важных делах спрашивал у нее совета, а послушавшись, никогда не раскаивался. Когда девушку в первый раз привели к Киру, он только что кончил трапезу и, по персидскому обычаю, собирался приняться за вино. После еды персы обычно берутся за винные чаши с таким ожесточением, словно сражаются с врагом. И вот в это-то время к нему ввели четырех эллинских девушек, среди которых была и фокеянка Аспазия. Все они были богато украшены. Ведь троим сопровождавшие их служанки тщательно заплели волосы и накрасили лица разными притираниями и снадобьями. Особые люди научили их угождать Киру и быть приятными ему: не отворачиваться, если он подойдет, не выказывать недовольства, если тронет, не сопротивляться, если захочет поцеловать, словом всей премудрости гетер и приемам продажных женщин. Каждая девушка стремилась превзойти другую красотой, одна Аспазия не пожелала ни надеть дорогого хитона, ни накинуть узорчатого покрывала, ни омыться. Она взывала ко всем богам, называя их заступниками свободы и опорой греков, выкрикивала имя отца, призывала на свою и его голову смерть, думая, что непривычный наряд и богатые украшения — неоспоримое свидетельство рабства. Только побои заставили Аспазию покориться; она страдала, что ее заставляют сменить девичью скромность на жизнь гетеры. Все остальные девушки, введенные вместе с нею к Киру, не спускали с него глаз и улыбались, стараясь казаться веселыми. Аспазия же потупилась, лицо ее пылало, глаза были полны слез — все говорило о том, что она стыдится. Когда Кир приказал девушкам сесть поближе к нему, все охотно повиновались; только фокеянка Аспазия не обращала внимания на его слова, пока давешний сатрап не усадил ее насильно. Когда Кир трогал девушек или разглядывал их глаза, щеки и пальцы, все молча терпели, не позволяла этого одна Аспазия. Едва он слегка дотрагивался до нее, она кричала и грозилась, что он раскается в своем поступке. Киру все это было очень по душе. Даже то, что Аспазия вскочила и пыталась убежать, когда он коснулся ее груди, поразило Кира столь отличным от персидских нравов благородством. Обратившись к тому, кто купил девушек, он сказал: — Только эта из всех, кого ты привез, одна благородна и неиспорчена, а остальные похожи на продажных женщин своим видом, а еще более поведением. — С этих пор Кир полюбил Аспазию сильнее всех женщин, которых когда-либо знал. В дальнейшем его привязанность возросла еще больше, а Аспазия тоже полюбила царя. Их взаимная любовь настолько окрепла, что они в равной мере стали ценить друг друга, и союз их своим согласием и верностью ничем не отличался от эллинского брака. Молва об Аспазии достигла Ионии и облетела

всю Элладу. Даже Пелопоннес наполнился рассказами об их с Киром любви, и сам великий царь прослышал о ней. Все на свете понимали, что теперь, после его Аспазии, Киру не нужен никто другой. Это воскресило в ее памяти давнишние сны, слова голубки и вещание богини. Аспазия поняла, что с детских лет о ней заботилась Афродита, и стала приносить ей благодарственные жертвы: прежде всего она воздвигла богине большую золотую статую, а рядом поместила голубку, украшенную драгоценными камнями, всякий день приносила Афродите жертвы и возносила к ней молитвы. Она послала много прекрасных даров своему отцу Гермотиму и сделала его богачом, а сама, как говорят эллинки и персиянки, жила скромно. Однажды Скопас Младший из Фессалии послал Киру ожерелье (Скопас получил его в дар из Сицилии). Оно было сделано с великим искусством и мастерством. Все, кому Кир показывал ожерелье, восхищались им. Очень обрадованный, он сейчас же пошел в покои Аспазии. Застав ее спящей (был полдень), он осторожно лег рядом под покрывало и лежал неподвижно. Аспазия продолжала спать. Когда же она проснулась и увидела Кира, обняла его и, как всегда, обрадовалась. А он вынул из ларчика ожерелье и протянул ей со словами, что оно достойно украшать дочь или мать царя. Аспазия согласилась с этим. Тогда Кир говорит: — Вот я дарю его тебе, надень ожерелье и покажись мне! — Она не пожелала взять подарок, но мудро и скромно ответила: — Как же я посмею надеть ожерелье, достойное украшать твою мать Парисатиду? Отошли его царице, Кир, я же понравлюсь тебе и без ожерелья.— Аспазия поступила великодушно и подлинно по-царски, как не свойственно в таких случаях женщинам, ибо они суетны. Довольный ее ответом, Кир поцеловал Аспазию и обо всем написал в письме к матери, которое отправил ей вместе с ожерельем. Парисатида обрадовалась письму не меньше, чем подарку, и послала Аспазии в ответ богатые царские дары. Особенно понравилось царице то, что Аспазия, хотя она и пользовалась у ее сына великим почетом, все же пожелала, чтобы сыновняя любовь оказалась сильнее любви к ней. Аспазия похвалила дары Парисатиды, но сказала, что они ей не нужны (вместе с дарами она получила также много денег) и отослала все Киру со словами: — Тебе, кто должен кормить многих, богатства нужнее. Мне же, любимый, довольно одного тебя: ты мое драгоценное украшение. — Этот поступок, конечно, восхитил Кира. И правда, Аспазия заслуживала восхищения и своей красотой, а еще более душевным благородством. Когда Кир пал в битве с братом и его лагерь был захвачен, Аспазия вместе со всем, что там находилось, стала добычей победителей; попала она в руки врагов не случайно — ее с великим тщанием разыскивал повсюду сам царь Артаксеркс, ибо был наслышен о ее славе и добродетели. Он вознегодовал, увидев Аспазию в оковах, виновников этого бросил в темницу, а ей велел дать драгоценные одежды. Аспазия же тосковала, призы-

вала на помощь богов, лила слезы, и только по прошествии долгого времени ее удалось заставить надеть на себя присланные царем уборы — так горько она оплакивала Кира. В этих уборах Аспазия выглядела самой красивой. И вот царь Артаксеркс нежданно-негаданно начинает гореть и таять от любви, отличает Аспазию больше всех женщин и осыпает невиданными почестями, добиваясь ее расположения. Все это он делает в надежде, что так заставит ее забыть Кира и полюбить себя не меньше, чем брата. Надежды царя сбылись лишь со временем и не вдруг: ведь великая любовь к Киру, жившая в душе Аспазии, сохраняла для нее неистребимое очарование. Несколько времени спустя умирает царский евнух Тиридат, первый красавец в Азии. Он сошел в могилу отроком, едва выйдя из детских лет. Говорят, что царь нежно любил его. Поэтому-то он очень горевал и тяжко печалился; во всем царстве из почтения к царю стоял похоронный плач. Однако никто не осмеливался со словами утешения приблизиться к Артаксерксу, ибо все знали, что рана его неисцелима. Через три дня после случившегося Аспазия в траурной одежде вошла к царю (он готовился идти на омовение) и остановилась перед ним, потупившись, с глазами, полными слез. При виде ее Артаксеркс удивился и спросил, зачем она пришла. Аспазия ответила: — Чтобы утешить твою скорбь, царь, если допустишь меня, а если ты недоволен, я уйду. — Царь был обрадован ее заботой и велел Аспазии пройти в спальню и подождать его там. Она повиновалась. Вернувшись, Артаксеркс накинул на черную столу Аспазии столу умершего евнуха. Ей шла эта одежда Тиридата, и ее красота показалась влюбленному царю еще более ослепительной. Покоренный этим, он пожелал, чтобы Аспазия, пока не уймется немного его печаль, приходила к нему в таком наряде. Она, чтобы угодить царю, согласилась. Рассказывают, что одна Аспазия (этого не могла сделать ни одна из живущих в Азии женщин и даже никто из сыновей и родственников царя) утешила его и излечила от скорби: он не отвергал ее забот и охотно слушался увещаний.

XII, 12

Деметрий, повелитель многих народов, ходил в дом гетеры Ламии вооруженный и с диадемой на голове. Ему было неудобно принимать ее в своем доме, сам же он посещал ее открыто. Флейтиста Феодора я ставлю выше Деметрия, так как он оставлял без внимания приглашения Ламии, когда она посылала за ним.

XII, 51

Врач Менекрат был исполнен столь великой гордыни, что стал называть себя Зевсом. Однажды он начал письмо македонскому царю Филиппу такими словами: «Менекрат-Зевс желает Филиппу

здравствовать». Филипп ответил: «Филипп желает Менекрату быть здоровым. Советую тебе отправиться в Антикиру [6]». Царь намекал этим на то, что Менекрат не в своем уме. Как-то раз Филипп устроил пышное пиршество и пригласил на него Менекрата; он велел приготовить ему отдельное ложе, поставить рядом с ним курильницу и угощать гостя благовониями. Остальные же пировали как полагается, ибо столы ломились от яств. Менекрат вначале крепился и радовался оказанной чести, но когда проголодался и обнаружилось, что он человек, и притом недалекий, поднялся со своего ложа и ушел домой со словами, что его оскорбили. Так Филиппу остроумно удалось выставить напоказ глупость Менекрата.

XIII, 1

Рассказ этот о дочери Ясиона, Аталанте, — аркадский. Когда она родилась, отец велел бросить младенца: он говорил, что ему нужен мальчик, а не девочка. Тот, кому это было поручено, не убил ребенка, а положил у ручья на горе Парфенион. Там среди камней была пещера, окруженная тенистыми деревьями. Итак, девочка была обречена на смерть. Однако случаю было угодно другое. Вскоре после того, как младенца бросили в лесу, туда пришла медведица, детенышей которой поймали охотники. Сосцы ее набухли от молока и почти волочились по земле. По промыслу богов ей полюбился брошенный ребенок, и она накормила его. Медведица и сама почувствовала облегчение от тяготившего ее молока и напитала младенца. Так же было и в другие разы, когда молоко скапливалось и обременяло ее; она ведь лишилась своих детенышей и стала кормилицей человеческого дитяти. А те самые люди, которые прежде охотились за медвежатами, выслеживали теперь медведицу. Они напрасно обшарили весь лес (медведица, по своему обыкновению, ушла на поиски добычи), но нашли в ее логове Аталанту, которая еще не звалась так: это имя девочке дали охотники. Она стала воспитываться у этих охотников в горах. С годами Аталанта выросла; она была девственной, избегала общества мужчин, любила одиночество и поселилась на самой высокой горе, в ущелье, где бил ключ, росли высокие дубы и тенистые ели. Не правда ли, так же приятно послушать об убежище Аталанты, как о пещере гомеровской Калипсо? Так вот, в ущелье была глубокая пещера, защищенная отвесным обрывом. Ее обвивал плющ; плющ сплетался с молодыми деревьями и полз по ним вверх. Кругом в мягкой густой траве рос шафран, гиацинты и другие цветы распускались не только на радость взору: их запах нежно напитывал воздух вблизи пещеры, так что здесь можно было насытиться всем, и досыта благовонием цветов и трав. Высилось также множество лавровых деревьев, ласкающих взор вечнозеленой листвой. Гнущиеся под тяжестью гроздьев виноградные лозы, посаженные неподалеку, говорили о трудолю-

бии Аталанты. Вода, текучая, чистая и прохладная, как можно было убедиться, если окунуть в нее руку или попробовать на вкус, струилась в щедром изобилии. Притекая постоянно, она питала деревья и служила залогом их долголетия. Итак, место было исполнено прелести и хранило черты чистого и целомудренного обиталища девы. Ложем Аталанте служили шкуры убитых на охоте животных, пищей — их мясо, питьем — вода. Одета она была совсем просто, как Артемида, и говорила, что подражает богине и в этом и в желании вечно оставаться девой. Она была быстроногой и без труда могла настигнуть и зверя и враждебного человека, а если сама желала от кого-нибудь бежать, никому не удавалось нагнать ее. В Аталанту влюблялись не только те, кто знал ее, но даже понаслышке. Сейчас, если мне будет дозволено, я опишу ее наружность. Против этого, конечно, никто не возразит, поскольку отступления такого рода приносят пользу словесному искусству. Еще девочкой Аталанта была выше взрослой женщины, а красотой превосходила всех пелопоннесских девушек. Оттого, что она была вскормлена медвежьим молоком и от постоянных трудов в горах, Аталанта выглядела мужественно и сурово. В ней не было ничего девичьего — она ведь не росла в женских покоях и не знала ни матери, ни кормилицы. Стан ее, конечно, был строен, потому что занятием ее была охота и телесные упражнения. Волосы были белокуры без женских ухищрений, красок и снадобий; цвет их был делом природы. Лицо от солнца загорело, точно все было залито темным румянцем. Какой прекрасный цветок сравнится с лицом воспитанной в стыдливости девы? Два качества изумляли в ней — редкая красота и при этом способность устрашать. Обычно малодушный человек, увидев Аталанту, не только не влюблялся, но поначалу даже не смел глядеть на нее — столь ослепительна была красота девы. С ней было страшно встретиться еще и потому, что такая возможность случалась не часто; ее было нелегко увидеть: мелькнув, как падающая звезда или молния, она появлялась внезапно и нсожиданно, когда гналась за зверем или защищалась от чьего-нибудь нападения, и, едва показавшись, скрывалась в лесных дебрях, зарослях кустарника или где-нибудь в горной чаще. Как-то раз в полночь жившие неподалеку от Аталанты кентавры Гилей и Рек, отчаянные повесы и гуляки, отправились к ее пещере. Они шествовали вдвоем, без флейтисток (не было и многих других особенностей городского комоса [7]), только с пылающими факелами в руках. Полыхание этих факелов могло испугать даже толпу народа, не то что живущую в одиночестве деву. Дикие женихи сделали себе венки из молодых сосновых веток и по горам шагали к Аталанте, непрестанно бряцая оружием и поджигая на пути деревья, чтобы с неслыханной дерзостью вручить свои брачные дары. Замысел кентавров не укрылся от Аталанты. Увидев из своей пещеры огонь и узнав Гилея и Река, она не растерялась и не устрашилась их вида, а натянула лук, выстрелила и метко

попала в одного. Он упал замертво. Тогда стал приближаться другой, уже не как давешний буйный жених, а как настоящий враг, желая отомстить за товарища и насытить свой гнев, но вторая стрела Аталанты поразила и этого кентавра и наказала по заслугам. Вот какова история дочери Ясиона Аталанты.

XIII, 31

Ксенократ из Халкедона, Платонов ученик, был человеком добросердечным и испытывал не только любовь к людям, но и сострадание к неразумным тварям. Как-то, когда Ксенократ отдыхал под открытым небом, на колени к нему сел воробей, которого преследовал ястреб, Ксенократ с радостью дал ему приют и укрывал до тех пор, пока ястреб не улетел прочь. Когда опасность миновала, он раздвинул складки одежды и выпустил воробья, сказав, что не предал ищущего защиты.

XIII, 33

Египтяне рассказывают, что на свете жила красавица гетера по имени Родопида. Однажды, когда она купалась в реке, случай, по воле которого нередко происходят самые необычайные и неожиданные вещи, послал Родопиде счастье, достойное не столько ее сердца, сколько красоты. Пока она была в воде, служанки сторожили ее одежду. Тут с высоты спустился орел и, похитив сандалию Родопиды, улетел. Сандалию он принес в Мемфис и бросил на колени царя Псаммитиха, когда тот творил суд. Царь пришел в восхищение от красоты и искусства, с каким была сделана сандалия, а также от поступка орла и велел по всему Египту разыскивать владелицу сандалии, а найдя, взял ее в жены.

XIV, 12

Чтобы не скучать во время пути, персидский царь возил с собой липовую дощечку и обстругивал ее ножичком. Так он коротал время. У него ведь не было ни книги, чтобы читать о чем-нибудь значительном и возвышающем душу, ни способности обдумывать вещи благородные и достойные размышления.

XIV, 22

Некий тиран Триз, желая предотвратить заговоры и злоумышления против себя, запретил подданным где бы то ни было, на улице и в домах, разговаривать друг с другом. Это оказалось со-

вершенно невыносимым, и они решили хитростью обойти приказ тирана: кивали друг другу головой, делали движения руками, глядели либо мрачно, либо спокойно и весело, в беде и печали насупливали брови, лицом рассказывая ближнему о своем душевном страдании. Скоро и это стало страшить тирана: он опасался, что при красноречивости телодвижений даже самое молчание подданных чревато для него опасностями. Тогда он запретил им и такие беседы. После этого один согражданин Триза, не в силах больше терпеть и бездействовать и желая покончить с единовластием, пришел на рыночную площадь и залился горькими слезами. Со всех сторон его сейчас же окружил народ и тоже стал лить слезы. Тут до тирана дошла весть, что все стоят недвижимо, но плачут навзрыд. Триз поспешил и этому положить конец и поработить не только язык подданных, не только движения, но лишить даже глаза прирожденной им свободы; со всех ног в сопровождении телохранителей он бросился на площадь, чтобы пресечь плач. Едва народ завидел его, как отнял оружие у его телохранителей и убил тирана.

О ПРИРОДЕ ЖИВОТНЫХ

I, 13

Есть рыбы, способные к добропорядочной жизни. Когда, например, самец этнейской рыбы вступает в брачный союз со своей подругой, он перестает обращать внимание на всех других самок и при этом не нуждается ни в залогах верности, ни в приданом, не боится преследования за дурное обращение, не трепещет перед установлениями Солона [1]. О, благородные и достойные уважения законы, которыми бесстыдно пренебрегают порочные люди!

I, 52

Ласточка возвещает наступление лучшей поры года. Она расположена к человеку, охотно селится с ним под одной крышей, прилетает, когда ей вздумается, и улетает, когда захочет. Люди же привечают ее, памятуя гомеровские законы гостеприимства, которые велят приветствовать приходящего и не удерживать готовящегося в путь [2].

III, 46

Индусу, укротителю слонов, достался как-то белый слоненок. Он выкормил его, постепенно совсем приручил, так что ездил у него на спине и привязался к животному. Слон тоже любил хозяина и платил великой благодарностью за то, что тот его выпестовал. Индийский царь, прослышав о слоне, стал просить его

себе, а укротитель, ревнуя, как всякий любящий, и печалясь при мысли, что слоном будет владеть другой, не захотел его отдавать и вместе со своим любимцем скрылся в пустыне. Царь разгневался и послал людей, чтобы они отняли слона, а укротителя привели на расправу. Найдя индуса, царские слуги решили пустить в ход силу. Не тут-то было: сидя на слоне, он стал бросать в них камни, а слон тоже не давал своего хозяина в обиду. С этого дело началось. Когда же раненый индус упал на землю, слон, прикрывая его собственным телом, как воин щитом, убил многих нападающих, а остальных обратил в бегство; затем хоботом поднял хозяина на спину и отнес домой. Слон не отходил от него, как не отходит от друга любящий друг, и всячески выказывал свою привязанность. О исполненные пороков люди, у вас вечно трапезы, вечно звон посуды и хождение в гости; а в опасностях вы предаете ближнего и только кричите о дружбе!

VI, 48

Кобылицы — нежные матери и очень привязаны к своим жеребятам. Это хорошо знал Дарий Младший и потому всегда брал на войну недавно ожеребившихся кобылиц, детенышей которых приказывал оставлять дома: отнятые от матери сосунки, подобно младенцам, могут питаться чужим молоком. И вот когда битва при Иссе обернулась не в пользу персов [3], Дарий потерпел поражение и должен был поспешно бежать; чтобы спасти свою жизнь, он вскочил верхом на кобылицу. Она, тоскуя по жеребенку, помчалась что есть силы и благополучно, как известно, вынесла царя из самого опасного места.

VI, 49

Один афинянин (эту историю рассказывает Аристотель) освободил от работы принадлежавшего ему старого мула. Тот не пожелал расстаться с привычным трудом. Поэтому, когда строился Парфенон, он, без всякой поклажи, целый день вместе с вьючными мулами по собственной воле шагал взад и вперед по дороге, точно тоже был под ярмом. Таким образом, он словно подбадривал остальных, наподобие старика строителя, по дряхлости лет уже свободного от работы, но благодаря своей опытности и искусству способного молодых подвигнуть на труд. Когда народ прослышал об этом, глашатаю было велено объявить, что если мул набредет на хлебное поле или запасы зерна, его запрещается гнать, пока он не насытится, а гражданам надлежит внести в пританей деньги, чтобы ему, подобно состарившемуся атлету, было обеспечено угощение.

VI, 59

Если животные обладают разумом, способностью рассуждать диалектически и делать выбор, предпочитая одно другому, их наставником, конечно, является всесильная природа. Один человек, не чуждый диалектики и страстный охотник, рассказывал мне следующее. Была у него охотничья собака; однажды она шла по следу зайца (зверек скрылся из виду) и, гоня его, очутилась перед рвом. Она раздумывала, взять ли вправо или лучше устремиться в противоположную сторону. Затем, взвесив все как следует, собака перепрыгивает ров и бежит напрямик. Сообщивший мне этот случай человек следующим образом пытался объяснить поведение собаки: остановившись перед рвом, она задумалась и спросила себя — направо, налево или прямо побежал заяц; нет, не направо не налево, значит — прямо. Мне думается, что собака рассуждала правильно: ведь по эту сторону рва не было следов, следовательно, заяц его перескочил. Естественно, что и она поступила точно так же: ведь эта собака была дельной охотницей и имела хорошее чутье.

VI, 63

Детеныш змеи рос вместе с одним аркадским мальчиком в доме его родителей. Мальчик мужал, а змея превратилась в огромное животное. Оба они любили друг друга, но домашние побаивались змеи: ведь змеи очень скоро достигают крупных размеров и становятся страшными на вид. Однажды, когда змея, по обыкновению, спала рядом с мальчиком на его постели, домашние унесли постель далеко от того места, где жили. Мальчик вернулся с ними домой, а змея осталась в лесу. Впервые вкусив прелесть вольной жизни, она стала жить, как все ей подобные, и полюбила приволье больше, чем город и жизнь в комнатах. Шло время. Мальчик превратился в юношу, выросла и змея. И вот этот юноша аркадянин, который в детстве дружил со змеей, шел как-то по лесу и попал в руки разбойников. Они ударили его мечом, а он, конечно, закричал от боли и стал призывать на помощь. Змея — животное с зоркими глазами и острым слухом — слышит хорошо знакомый голос, издает пронзительное яростное шипение, вселив страх и ужас в разбойников, и злодеи разбегаются кто куда. Тех же, кто не успел спастись бегством, она страшным образом умерщвляет. Затем змея промывает рану юноши, проводит его под своей защитой через опасные лесные дебри и возвращается туда, куда родственники юноши некогда занесли ее. Змея не затаила зла за то, что ее выгнали из дому и, по примеру дурных людей, не бросила в опасности прежнего друга.

VII, 29

Об исключительной преданности собак хозяину свидетельствует следующий рассказ. Некий колофонский купец отправился в город Теос. У него были при себе деньги, и шел он в сопровождении раба и собаки. Деньги нес раб. Когда они уже были в пути, естественная нужда заставила раба повернуть назад; пес пошел вслед за ним. Юноша положил кошелек на землю; кончив свое дело, он забыл про деньги и пошел дальше, а собака легла на кошелек и больше не поднялась с места. Хозяин и раб, добравшись до Теоса, принуждены были вернуться домой ни с чем, потому что у них не оказалось денег. Они пошли назад по той же дороге, где раб оставил кошелек, и увидели, что пес лежит на нем и едва жив от голода. Заметив своих, он приподнялся и распростился одновременно и со своей службой и с жизнью. Нет, твой Аргус, о божественный Гомер, не плод поэтического вымысла и преувеличения, если с купцом произошло то, о чем я сейчас рассказал!

VII, 48

Следующая история — тоже свидетельство того, что животные понятливы, даже если совсем дики и не обучены никакой премудрости кичащимися своим искусством дрессировщиками. От одного римского сенатора сбежал раб по имени Андрокл, совершив, точно не могу сказать какой, проступок. Андрокл попал в Ливию; он держался в стороне от городов (их местоположение он, говорят, определял по звездам) и стремился укрыться в пустыне. Придя туда и изнемогая от палящего зноя, он с наслаждением забрался в пещеру и лег отдохнуть. А пещера эта, оказывается, была логовом льва. И вот скоро с охоты возвращается лев, страдая от острой колючки, вонзившейся ему в лапу. Он замечает Андрокла, но глядит на юношу кротким взглядом, ластится к нему, протягивает больную лапу, и, как умеет, просит, чтобы тот вытащил занозу. Андрокл, хотя и не дорожил жизнью, сначала оробел. Однако, видя кротость льва и сострадая его беде, вытаскивает занозу и облегчает муки животного. Благодарный за исцеление, лев не остается в долгу: отныне признает юношу своим гостем и делится с ним добычей. Только он, по обычаю диких животных, ест мясо сырым, Андрокл же свою долю варит. Так они совместно и трапезовали, и никто не нарушал своих привычек. Юноша прожил в пещере льва три года. Когда он до неузнаваемости оброс волосами и начал страдать от зуда кожи, то распрощался со львом и вручил свою судьбу случаю. Во время странствий Андрокл был схвачен, и, когда выяснилось, кому он принадлежит, его в оковах отправили в Рим к хозяину. Тот за совершенные

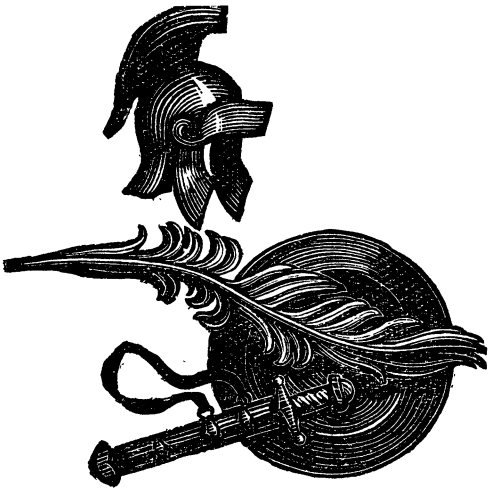
Андроклом проступки чинит над ним расправу и решает бросить на съедение диким зверям. Между тем был пойман тот самый ливийский лев и выпущен на арену вместе с обреченным на смерть юношей, который прежде жил с ним под одним кровом и делил трапезы. Андрокл не узнал льва, а тот сейчас же стал к нему ласкаться и, свернувшись, улегся у ног. И тут Андрокл наконец узнал его и, обняв, приветствовал, как друга после долгой разлуки. Люди, видя все это, подумали, что юноша — чудодей, и напустили на него пантеру, но как только она кинулась на Андрокла, лев, защищая своего благодетеля и сотрапезника, растерзал пантеру. Это, конечно, вызвало всеобщее удивление, а устроитель зрелища призвал к себе Андрокла и расспросил, в чем дело. Тут по театру проходит смутный слух об истории юноши, а когда она становится известной, народ требует освобождения обоих — и льва и Андрокла.

VIII, 22

Животные умеют добром платить за добро. В Таренте жила женщина, решительно всем, а особенно своей образцовой верностью супругу, заслуживавшая уважения. Звали ее Гераклеида. При жизни мужа она с величайшей заботливостью пеклась о нем, а когда он умер, городской дом, в котором скончался муж, стал ей так ненавистен, что с горя она перебралась туда, где он был похоронен. В печали она не отходила от могилы супруга и продолжала хранить верность умершему. Как-то в летнее время, когда молодые аистята учились летать, один птенец, самый маленький, с еще неокрепшими крыльями, упал и сломал себе лапку. Увидев это, Гераклеида пожалела аистенка. Она подобрала его, осторожно завязала ему лапку, стала лечить примочками и мазями, кормила и поила больного, а со временем, когда аистенок поправился и снова мог летать, отпустила его на свободу. Птица улетела, сознавая (поистине удивителен природный ум животных!), что осталась перед ней в долгу. Прошел год. Как-то в начале лета, когда Гераклеида грелась на солнце, аист, которого она вылечила, увидел свою спасительницу; он стремительно спустился с высоты, приблизился к ней, бросил из клюва на колени Гераклеиде камешек и сел на крышу. Сперва она, конечно, удивилась, перепугалась и не могла понять, что произошло. Камешек она положила где-то в комнатах, а проснувшись ночью, увидела блеск и сияние; весь дом был залит светом, точно внесли факел, — так сверкал камешек; он был очень дорогой. Поймав аиста и нащупав на его лапке шрам, Гераклеида поняла, что это тот самый аистенок, которого она из жалости подобрала и выходила.

Животным даровано великое благо — боги не презирают их и не пренебрегают ими: ведь если животные и лишены речи, то разумом и мудростью они все же обладают. Я расскажу о том, сколь животные любезны богам, и хотя это будет небольшая капля из целого моря таких историй, довольно и ее. Некий всадник по имени Леней имел красивого, быстроногого и отважного сердцем коня. Конь этот вдобавок был искусен в беге на ристалище и вынослив на войне — надо ли было преследовать врага или по необходимости скакать назад. Короче, конь был отличный, а Леней слыл отменным всадником. И вот такой чудный конь из-за нанесенного ему удара слепнет на правый глаз. Леней, разумеется, понимает, что все его надежды теперь рушатся, так как щит всадника прикрывает как раз левый, зрячий глаз коня. Он поэтому отправляется в храм Сараписа, ведет с собой своего необычного больного и молит бога (так молят за брата или сына), чтобы он сжалился над просителем, никогда не причинившим никому обиды. Люди, говорил он, всегда сами повинны в постигающих их бедах, потому что либо совершили нечестивые дела, либо осквернили себя богохульными речами, а разве конь может ограбить храм, совершить убийство или произносить кощунственные речи? Потом Леней клянется, что и сам никогда никому не причинил обиды и поэтому просит вылечить глаз своего соратника и друга. А Сарапис не презрел и не отверг бессловесную тварь, но исцелил ее; столь он милосерден. И по этому своему милосердию он жалеет больного коня и просящего за него Ленея и дарует спасительное средство: не прикладывать примочек, а в полдень в ограде храма хорошенько прогреть глаз. Это было сделано, и конь прозрел. Тогда Леней принес благодарственные жертвы богу за исцеление, а конь прыгал, ржал, — он как будто стал даже выше ростом и красивее, — радостно подбегал к алтарю и, припав к его ступеням, казалось, на свой лад тоже воздавал благодарность богу-спасителю.

ГЕРОДИАН



ИСТОРИЯ ИМПЕРИИ ПОСЛЕ МАРКА

I, 16—II, 7

[*Правление Пертинакса*]

16. Но все же когда-нибудь должен был настать конец безумствам и тираническому правлению Комода. Этому суждено было случиться в день Нового года. Римляне чтят этот праздник и связывают его с древнейшим италийским божеством [1]. Миф рассказывает, что Крон, лишенный Зевсом власти, сошел на землю, стал гостем этого бога и тайно скрывался у него, так как трепетал перед могуществом сына. Тамошняя земля поэтому заимствовала свое наименование с греческого и зовется Лациум; [2] поэтому также до сих пор празднуются сначала Кронии в честь бога-беглеца, а затем наступление нового года — в честь местного италийского бога: его изображают двуликим, ибо он — начало

нового и конец старого года; в день этого праздника римляне особенно приветливо встречаются, пожимают друг другу руки и обмениваются подарками, монетами и всевозможными благами земли и моря. Должностные лица, именами которых обозначается год [3], впервые на весь этот срок облекаются в пурпурные одежды, народ веселится. Во время этого торжества Комод задумал, вопреки обычаю, совершить свой праздничный выход не из дворца, а из гладиаторских казарм, и предстать перед римлянами не в благородном императорском пурпуре, но вооруженным, в сопровождении гладиаторов. Император рассказал о своем намерении любимой наложнице Марции; она жила во дворце, как законная супруга, и пользовалась всеми подобающими супруге императора почестями, за исключением того, что перед ней не носили огонь [4]. Марция, узнав об этом странном и недостойном желании Комода, пробовала отговорить его и, упав к его ногам, слезно умоляла не оскорблять достоинства римской державы и не рисковать жизнью, доверяясь гладиаторам и прочему сброду. Однако мольбы ее ни к чему не привели, и Марция с плачем удалилась. Комод же послал за префектом претория Летом и кубикулярием [5] Эклектом и приказал позаботиться об устройстве ему ночлега в гладиаторских казармах, откуда он собирался проследовать на торжественное жертвоприношение и в полном вооружении предстать перед римлянами. Они тоже упрашивали Комода и старались отговорить его от недостойного императора поступка.

17. Но Комод с досадой отослал их и удалился в свои покои отдохнуть: в полдень он обычно ложился спать. Здесь он достает таблички из липового дерева (от долгого употребления они свободно закрывались на обе стороны) и вписывает имена тех, кого он той ночью решил предать смерти. Первой значилась Марция, затем Лет и Эклект, за которыми следовал длинный перечень знатнейших сенаторов. Комод хотел устранить всех этих еще оставшихся в живых стариков, друзей отца, страшась в их лице свидетелей своих позорных деяний. Имущество казненных он предполагал раздать, разделив между воинами и гладиаторами, чтобы первые заботились о его безопасности, а вторые о забавах. Исписанные таблички Комод бросает на кровать в уверенности, что в спальню никто не войдет. А в эту пору во дворце жил маленький мальчик, каких принято держать в богатых римских домах; они ходят без одежды и украшены только золотом и драгоценными камнями. Комод очень любил его и нередко оставлял с собой спать; мальчика даже звали Филокомодом из-за привязанности к нему императора [6]. И вот, избалованный ребенок, когда Комод, по своему обыкновению, отправился в бани или на пиршество, как всегда входит в спальный покой, забавы ради берет с кровати таблички и бежит с ними прочь. По воле богов, однако, он сталкивается с Марцией. Она с поцелуями прижимает мальчика к себе (Марция тоже любила его) и отнимает таблички из страха, как бы Филокомод, играя, по детской неразумности не

испортил нужную вещь. Узнав же почерк Комода, Марция, естественно, спешит взглянуть на таблички. Роковой смысл написанного и то, что ее именем открывался список обреченных казни, а далее следовали имена Лета, Эклекта и еще многих других, исторг из ее груди стон. — Хорошо, Комод, — сказала она, — вот благодарность за мою любовь и привязанность, за то, что я столько лет терпела от тебя грубости и обиды. Пьяница, теперь ты заплатишь за все! — С этими словами Марция посылает за Эклектом: как кубикулярий он имел к ней доступ, и говорили даже об их связи. Марция протянула ему таблички и сказала: — Смотри, какой ночной праздник ждет нас. — Эклект читает и, потрясенный, тут же запечатывает вновь (египтянин родом, он привык дерзать, действовать и отдаваться порывам гнева) и с верным человеком отсылает Лету. Тот, тоже в волнении, спешит к Марции якобы для того, чтобы обсудить распоряжения Комода о его ночлеге в гладиаторских казармах. Под этим предлогом они собираются во дворце и решают опередить Комода быстротой действий, чтобы не стать его жертвами, поскольку обстоятельства не допускают медлительности и раздумий. Поэтому было постановлено отравить императора; Марция обещала сделать это безотлагательно — ведь она обычно смешивала для Комода первую чашу вина, чтобы напиток, поданный руками возлюбленной, казался ему приятнее на вкус. Когда император возвратился после омовения, Марция всыпала в чашу яд и, подлив душистого вина, протянула ему. Он спокойно выпил, не подозревая ничего, так как чувствовал жажду после долгого купания и борьбы с дикими зверями. Комод тотчас ослабел, и его стало клонить ко сну; решив, что это вызвано усталостью, он лег, а Эклект и Марция под видом заботы о покое императора распорядились, чтобы все разошлись. После неумеренных возлияний Комода нередко одолевала такая сонливость. Так как он часто посещал бани и много раз на дню трапезовал, у него не было определенного времени для отдыха — ведь Комод постоянно, подчас даже неохотно, предавался сменяющим друг друга и разнообразным удовольствиям. Немного полежав, император, когда яд проник в желудок и внутренности, почувствовал дурноту, и у него началась сильная рвота: исторгала яд либо пища, съеденная во время питья, либо заблаговременно, как это делают цари перед всякой едой, принятое противоядие. Так как рвота не прекращалась, заговорщики стали опасаться, что Комод, извергнув яд, придет в себя, и тогда всем им не миновать гибели. Поэтому, суля великие награды, они уговаривают некоего юношу по имени Нарцисс (он был человеком решительным и сильным) удавить Комода. Тот входит к императору, ослабевшему от яда и выпитого вина, и душит его веревкой. Таков был конец Комода; он правил после смерти отца тринадцать лет, был самым родовитым из своих царственных предшественников, отличался среди современников самой красивой наружностью и удивительной соразмерностью сложения; если же

говорить о его воинских качествах, он не уступал никому меткостью и силой руки; однако, как я уже упоминал, позорные пороки пятнали эти его природные достоинства.

II, 1. Чтобы убийство не было обнаружено дворцовой стражей, заговорщики, покончив с Комодом (об этом рассказано выше), завязали труп в какое-то покрывало, а двое преданных им рабов вынесли его из спального покоя, сделав вид, что выносят какую-то утварь. Носильщики шли через самую гущу стражников; правда, одни спали после выпитого вина, еще бодрствующих клонило ко сну, и они, опираясь на копья, клевали носом, а третьим было безразлично, что́ именно выносят из спальни. Так под покровом ночи тело императора было тайно доставлено за ворота дворца, погружено на повозку и перевезено в аристион [7]. Лет, Эклект и Марция стали совещаться о дальнейших действиях, и было постановлено объявить, что император скоропостижно скончался от удара. Объяснение это, по их мнению, должно было показаться правдоподобным, так как неслыханное чревоугодие Комода давно было общеизвестно. Затем заговорщики решили найти пожилого и рассудительного преемника власти, чтобы и самим избегнуть опасности, и всем дать отдых от жестокой и безудержной тирании. Взвесив все, они сочли, что наиболее подходящий — Пертинакс. Он был родом из Италии, не раз отличался на военном и государственном поприще, воздвиг множество трофеев в честь своих побед над германцами и живущими на востоке варварами и, среди близких императору Марку лиц, единственный был пощажен Комодом, который не предал казни этого наиболее заслуженного из сподвижников и военачальников Марка — то ли потому, что у него не поднялась рука на почтенного старца, то ли по причине его бедности. Ведь заслугой Пертинакса было и то, что, занимая самые высокие должности, он обладал ничтожным, сравнительно с другими, имуществом. Глубокой ночью, когда все спало, к этому Пертинаксу, в сопровождении еще нескольких заговорщиков, отправляются Лет и Эклект. Так как ворота его дома оказались запертыми, они будят привратника. Тот, открыв и увидев перед собой вооруженных людей и префекта претория (привратник узнал Лета), в ужасе сообщает об их приходе хозяину. Пертинакс приказывает ввести пришедшего, добавив, что пробил наконец роковой час, которого он давно ожидает. Говорят, что он проявил удивительное хладнокровие и даже не поднялся с постели, а оставался в прежнем положении, хотя полагал, что ему угрожает смерть, и, не изменившись в лице, обратился со следующими словами к вошедшему в сопровождении Эклекта Лету: — Уже много ночей я ждал такого конца и удивлялся, почему Комод медлит: ведь я единственный из друзей его отца, который оставался в живых. Чего вы колеблетесь? Исполните приказ и избавьте меня от тягостного ожидания и постоянного страха! — Лет отвечает: — Пертинакс, не говори слов, недостойных тебя и прожитой тобой жизни. Мы пришли не ради

твоей погибели, а чтобы спасти себя и римскую державу. Тиран за все заплатил сполна и ныне мертв; ему самому пришлось претерпеть то, что он готовил нам. Мы здесь, чтобы вверить тебе императорскую власть, ибо ты в сенате самый почтенный вследствие жизненной мудрости, великих заслуг и старческих седин, а кроме того, тебя любит и почитает народ. Поэтому мы уверены, что он обрадуется нашему выбору, а мы благодаря этому выбору обретем спасение. — Пертинакс ответил: — Не глумитесь над стариком и не думайте, что я так малодушен. Меня вовсе не нужно обманывать, чтобы убить. — Если не веришь, — возразил Эклект, — прочитай вот эти таблички (ты, надеюсь, узнáешь почерк Комода — ведь тебе он хорошо знаком), и ты поймешь, что мы избегли страшной опасности и не обманываем тебя, а говорим чистую правду. — Тогда Пертинакс пробегает глазами написанное и, поверив Лету и Эклекту, которые и раньше были его друзьями, и узнав о содеянном, дает согласие.

2. Было решено прежде всего отправиться в лагерь преторианцев, чтобы заручиться их поддержкой. Как префект претория Лет надеялся склонить воинов на сторону Пертинакса, и вот, в сопровождении остальных присутствовавших в доме, они поспешили туда. Тем временем миновала большая часть ночи. Так как был канун праздника, все нужно было завершить еще до рассвета, поэтому заговорщики рассылают верных людей с сообщением о смерти Комода и о том, что Пертинакс направился в лагерь преторианцев, чтобы утвердить за собой императорскую власть. Когда эти вести распространились в городе, весь народ был охвачен радостным неистовством и ликовал, словно на вакхическом празднестве; каждый спешил сообщить долгожданную новость близким, особенно если они занимали высокие должности или были богаты, так как все знали, что против них Комод особенно злоумышлял. Люди бежали к алтарям и в храмы, чтобы возблагодарить богов; повсюду слышались различные возгласы: одни кричали «тиран убит», другие — «не стало гладиатора», третьи хулили Комода еще сильнее. Если прежде людей удерживал от этого страх, то теперь, при полной безнаказанности и свободе, легко произносились самые страшные слова. Множество народу бросилось к лагерю преторианцев, так как все боялись, что те воспротивятся власти Пертинакса. Можно было ожидать, что правление нового императора будет умеренным, и он не станет покровительствовать воинам, которые, служа тирании, привыкли к грабежам и насилиям. И вот, чтобы принудить преторианцев признать нового императора, народ толпами стекался к их лагерю. Туда тем временем прибыли Лет и Эклект, сопровождавшие Пертинакса. Префект претория созвал воинов и обратился к ним с такой речью: — Комод, наш император, скончался от удара. Виновен в этой смерти не кто иной, как он сам. Всякими благими советами он неизменно пренебрегал и, избрав свой, известный вам образ жизни, погиб, задохнувшись от груза вина и яств.

Комода постиг конец, определенный ему судьбой. Ведь причина смерти у разных людей разная, но при всех различиях она приводит к одному. На место умершего императора мы вместе с римским народом избрали для вас мужа почтенных лет, рассудительного и испытанной доблести. Старейшие из вас были свидетелями его воинских подвигов, остальные в течение долгих лет чтили и уважали его как префекта города Рима. Судьба в его лице дарует вам не только императора, но доброго отца, поэтому служить Пертинаксу будет радостно и вам, преторианцам, и воинам у берегов пограничных рек и рубежей римской державы, хранящим в памяти его деяния. Теперь вы перестанете откупаться от варваров деньгами: испытав достаточно поражений во времена, когда Пертинакс был военачальником, они, в страхе, покорятся сами. — Не успел Лет кончить, как народ, не сдержавшись, хотя воины еще медлили и колебались, провозглашает Пертинакса императором, называет отцом и всяческим образом прославляет. Тогда к нему присоединяются преторианцы, но с меньшим рвением и единственно по необходимости — ведь со всех сторон их окружали сбежавшиеся в лагерь люди, они были малочисленны и, по случаю праздника, безоружны. На рассвете, после обычной присяги и жертвоприношения, народ и когорты преторианцев в лавровых венках проводили Пертинакса в императорский дворец.

3. Лишь только новый император вступил во дворец, куда его, как было рассказано, ночью сопровождали воины и народ, его стали тревожить тяжелые заботы. Хотя Пертинакс был тверд духом и мужествен, он страшился происшедших событий, но не из опасения за себя (он не раз смело смотрел в глаза даже большей опасности), а так как думал о внезапности происшедшей в государстве перемены и предполагал, что многие знатные сенаторы не потерпят, чтобы преемником высокородного Комода стал человек из ничем не примечательной и не родовитой семьи. Пертинакса одобряли за высокие нравственные достоинства и чтили за военные заслуги, однако происхождением он значительно уступал патрициям. Поэтому с наступлением дня он отправился в сенат, не разрешив нести перед собой священный огонь и другие знаки императорского достоинства, пока сенаторы не выскажут своего мнения. Когда же при его появлении все единодушно приветствовали Пертинакса, именуя его императором и августом, он стал отказываться от власти, ссылаясь на свои преклонные годы, и заявил, что многие патриции являются более достойными преемниками императора, чем он. С этими словами Пертинакс взял за руку Глабриона и подвел его к трону. Глабрион был знатнейшим патрицием (он возводил свой род к Энею, сыну Афродиты и Анхиза) и дважды избирался консулом. В ответ Глабрион сказал: — Я, кого ты считаешь самым достойным, уступаю тебе права и вместе со всеми остальными вверяю всю полноту власти. — Тут сенат стал настаивать и уговаривать Пертинакса; тогда в сомнениях и нерешительности он взошел на трон

и обратился к присутствующим с речью: — Великая, оказанная мне вашим расположением, и поистине исключительная честь не допускает подозрений в неискренности, напротив, я вижу во всем этом доказательство и поруку вашей благосклонности. Другому на моем месте это могло бы внушить уверенность в себе, готовность принять вверяемую ему власть и даже надежду, что, при столь великом расположении подданных, бремя государственных забот окажется не таким тяжким и управление государством не таким неодолимо трудным. Меня же неизмеримость оказанных почестей, в которой я отдаю себе отчет, приводит в замешательство и наполняет мою душу страхом и опасениями, ибо трудно полной мерой воздать за обретение великого блага. Ведь даже для тех, кто получил немного, воздаяние за это бóльшим представляется необходимым. В случае же если сделавший доброе дело первым наложил тем самым на другого непомерно большие обязательства, несоразмерная с услугой расплата покажется не следствием беспомощности, а свидетельством неблагодарности и бесчувственности. Я знаю, что мне предстоит безнадежное соперничество, если я захочу быть достойным оказанной мне чести, ибо первенство определяется не местом, которое занимает человек, а его поступками, если он не хочет это первенство посрамить. Известно, что чем ненавистнее дурное прошлое, тем больше надежд сулит будущее. Страшное событие всегда долго помнится (то, что опечалило нас, не легко стирается из памяти), радостное же, едва мы им насладились, тотчас улетучивается из человеческого сознания; поэтому свобода радует не столь сильно, как угнетает рабство. Действительно, человек не благодарит судьбу, если его имущество в безопасности, считая, что пользуется тем, что ему принадлежит, но, потеряв его по чьей-нибудь злой воле, вовек не простит этого обидчику. И в том случае, когда в общественной жизни происходит перемена к лучшему, никто не считает, что она распространилась и на него, потому что каждый в отдельности не заботится об общем благе и видит в нем мало проку для себя, если что-нибудь в касающихся его делах складывается вразрез с его желаниями. Люди, привыкшие к роскоши из-за беспорядочно сыплющихся щедрот тирана, считают переход к более умеренному и непритязательному образу жизни, вызванный ограниченностью денежных средств, не следствием разумной бережливости и рассудительности правителя, а жалкой мелочностью и крохоборством. При этом они не задумываются над тем, что источником расточаемых без разбора богатых дарений являются грабежи и насилия. Напротив того, дарения по обдуманному выбору, согласно заслугам человека, если отказаться от непозволительной роскоши и не пополнять казну неправым путем, должны приучать к разумному сбережению справедливо добытого. Вам надлежит поддерживать меня в этом и считать управление государством нашей общей заботой; поскольку же вам предстоит служить не тирании, а аристократии, исполнитесь сами упований

па лучшее и обещайте их свершение тем, кем вы управляете. — Речь Пертинакса встретила одобрение, и, приветствуемый благими пожеланиями, стяжав всяческие знаки почета и уважения, он в сопровождении сената проследовал в храм Юпитера и остальные храмы, чтобы принести жертвы в ознаменование своего вступления на престол, а затем возвратился во дворец.

4. Когда стало известно содержание речи Пертинакса в сенате и его послание к народу, все ликовали, надеясь, что обрели скорее почтенного и мудрого наставника и отца, чем императора, ибо, стремясь установить порядок, он запретил воинам применять насилие против граждан, иметь при себе секиры и наносить удары прохожим, одним словом, пытался установить повсюду спокойствие и благопристойность; во время выходов и в судах Пертинакс проявил кротость и мягкость нрава. Стремлением подражать императору Марку он радовал пожилых своих подданных, напоминая им о его правлении; остальных же новый император без труда расположил к себе, когда жестокости и произвол тирании сменила размеренная, не омраченная заботами жизнь. Слух о его мягкости достиг всех подвластных и союзных Риму народов, всех воинских лагерей и подвигнул их всех прославлять Пертинакса, как бога. Варвары, которые раньше пытались сбросить с себя ярмо и восставали, добровольно подчинялись ему в страхе перед памятной им по прежним походом доблестью Пертинакса и в уверенности, что император незаслуженно не нанесет никому обиды, но, воздавая всем по заслугам, чужд как недостойного лицеприятия, так и проявлений жестокого насилия. Отовсюду стекались посольства, ибо весь мир разделял радость римлян по поводу правления Пертинакса. Все ценили мягкость и умеренность императорской власти как в общественных, так и в частных делах. Одна только преторианская гвардия была недовольна всем, что одобряли в новом императоре остальные. Ведь теперь преторианцам не разрешалось грабить и бесчинствовать; они были введены в границы умеренности и порядка и видели поэтому в мягкости и кротости правления оскорбление своего достоинства и попрание своих неограниченных прав, с которым не могли примириться. Постепенно преторианцы начали проявлять строптивость и перестали выполнять приказания Пертинакса. Не прошло еще двух месяцев со дня его прихода к власти — а за это время император сделал много мудрого и полезного и сумел внушить своим подданным добрые надежды, — как враждебная судьба безжалостно все это опрокинула и не позволила свершиться его замечательным начинаниям, необходимым для общего блага. Ведь, став императором, Пертинакс сразу же предоставил гражданам право забрать в свои руки столько невозделанной земли и в самой Италии, и за ее пределами, сколько каждый пожелает и сможет, даже если она императорская собственность, и всем, кто действительно обрабатывает эту землю, позволил считать ее своей. Кроме того, он на десять лет пол-

ностью освободил этих людей от налогов и навечно утвердил их в правах. Пертинакс также запретил называть императорскую собственность принадлежащей лично ему, ссылаясь на то, что это не частное владение императора, а общее достояние всего римского государства. Восстановив старый свободный порядок, он отменил пошлины, которые в период тирании для обогащения императорской казны взимались на берегах рек, в гаванях и на дорогах. Пертинакс, как это следует из его образа мыслей, предполагал еще дальше пойти по этому пути, когда изгнал из Рима доносчиков, отдав приказ преследовать их всюду, чтобы освободить граждан от угроз разнузданного коварства и опасности ложных обвинений. Сенат и граждане обрели надежду на спокойную и счастливую жизнь. Император был таким поборником непритязательности и гражданского равенства, что не разрешил своему сыну, уже юноше, переселиться из отцовского дома во дворец, но заставил посещать обычную школу и гимнасий и делать это наравне с другими, не проявляя надменности и чуждаясь роскоши.

5. В это счастливое и благополучное время роптали только преторианцы, вспоминая о недавних грабежах и насилиях...* Они решили избавиться от неугодного и ненавистного им императора и вручить власть тому, кто бы вновь предоставил им безнаказанность и ничем не ограниченную свободу. И вот неожиданно, когда все было спокойно и никто не подозревал ничего дурного, они в припадке ярости и бессмысленного озлобления покинули лагерь и среди бела дня с копьями наперевес и обнаженными мечами устремились ко дворцу. Слуги, испуганные неожиданным и дерзким нападением, а также и тем, что, малочисленные и невооруженные, они должны были противостоять многочисленному и вооруженному войску, растерялись, покинули свои места и бросились бежать — кто через ведущую со двора на улицу дверь, кто через другие выходы. Однако несколько преданных императору прислужников предупредили его о грозящей опасности и побуждали покинуть дворец, чтобы искать защиты у народа. Он же не послушался их полезного в этих грозных обстоятельствах совета и не пожелал бежать или скрыться где-нибудь, считая подобный поступок малодушным, неблагородным, несовместимым ни с императорским достоинством, ни со всей прожитой жизнью и совершенными им делами. Напротив того, Пертинакс решил пойти навстречу опасности и обратиться к преторианцам, надеясь успокоить их и заставить одуматься. И действительно, покинув свои покои, он появился перед воинами, чтобы узнать о причине возмущения и образумить их. При этом Пертинакс сохранил спокойствие и достоинство, приличное императору, не выказав ни малодушия, ни растерянности, ни искательности. — Меня, достойно дожившего до глубокой старости, — сказал он, — не страшит смерть от вашей руки: ведь конец сужден каждому человеку.

* Текст в оригинале испорчен.

Но если вы, стражи и защитники императора в опасностях, превратитесь в его убийц и запятнаете руки кровью своего согражданина, более того, своего императора, смотрите, как бы это нечестивое дело не обернулось для вас злой бедой в будущем. Я не нанес вам никакой обиды. Может быть, вы гневаетесь из-за смерти Комода, но ведь он человек, и кончина его поэтому естественна. Если вы думаете, что он пал жертвой злоумышления, я к нему непричастен. Вы ведь знаете, что я вне подозрений и в ту пору был осведомлен обо всем не более вашего, поэтому, если мысль о преступлении не оставляет вас, ищите других виновников. Хотя Комода больше нет в живых, вы получите все, что вам подобает, без насилий над моей волей и грабежей. — Такими речами Пертинаксу едва не удалось образумить воинов; многие устыдились его седин и уже стали расходиться. Но в это время другие напали на него и убили, прежде чем он кончил говорить. Когда столь страшное дело было совершено, преторианцы, боясь расплаты, решили предупредить действия народа, зная, с каким негодованием он отнесется к этому преступлению; они поэтому поспешно возвратились в лагерь и засели там, заперев все ворота и входы и расставив на башнях стражу, чтобы защититься от возможного нападения. Таков был конец Пертинакса, об образе мыслей и жизни которого мы выше рассказали.

6. Когда об убийстве императора стало известно народу, печаль и ужас объяли всех. Люди метались по улицам как безумные, не зная, куда бежать, разыскивали убийц, но не могли найти и покарать их. Особенно опечален был сенат, видевший в случившемся общественное бедствие, так как лишился в лице Пертинакса доброго отца и надежного защитника. Возникали также опасения, что возродится тирания, так как преторианцы, по-видимому, стремились к этому. На следующий и на третий день после убийства народ в страхе попрятался по домам, а люди видные удалились в свои самые отдаленные поместья, чтобы не пострадать от руки того, кто придет к власти. Преторианцы же, убедившись в том, что народ успокоился и никто не отваживается мстить за пролитую ими кровь, продолжали оставаться за закрытыми воротами лагеря, но заставили подняться на стену воинов, обладавших зычным голосом, и объявить, что императорская власть продается и преторианцы обещают отдать ее и силой оружия водворить в императорском дворце того, кто предложит больше денег. Когда это стало известно в Риме, наиболее почтенные и влиятельные сенаторы, а также люди высокородные и богатые, в малом числе еще оставшиеся в живых после преследований Комода, не пожелали приблизиться к преторианскому лагерю, чтобы постыдным образом за деньги купить трон. Но вот некий Юлиан, бывший однажды консулом и слывший человеком богатым, поздним вечером, за трапезой, во время опьянения и разгула (он был известен своим беспутным образом жизни) услышал о решении преторианцев; его жена, дочь и толпа параситов уговаривают его не-

медля встать из-за стола, отправиться к лагерю преторианцев и узнать, что там происходит. Всю дорогу они настаивают, чтобы он овладел троном; денег у него не счесть, и любого соперника он может победить щедростью подарков. Приблизившись к лагерю, Юлиан стал кричать, что даст, сколько они потребуют — у него кучи денег и сокровищницы доверху набиты золотом и серебром. В это же самое время, чтобы купить себе императорскую власть, сюда, к преторианским укреплениям, пришел и Сульпициан, отец жены Пертинакса, тоже бывший прежде консулом и префектом города Рима. Но воины не открыли ему ворота из опасения, что, как свойственник Пертинакса, он идет на хитрость, чтобы отомстить за его убийство. Юлиану, напротив того, спустив со стены лестницу, помогли подняться на укрепление: открыть ворота преторианцы не хотели, пока не узнают, велика ли сумма, которую он собирается уплатить. Оказавшись в лагере, Юлиан посулил восстановить память Комода, его статуи, уничтоженные сенатом, и все те преимущества, которыми преторианцы пользовались при нем, а каждому в отдельности обещал дать столько денег, сколько им и не снилось, причем произвести расплату немедленно, послав за своей казной. Поверив этим словам и обрадовавшись посулам, преторианцы провозглашают Юлиана императором и настаивают, чтобы к его личному и родовому имени было присоединено еще имя Комод. Затем они поднимают воинские значки[8], снова прикрепляют к ним изображение Комода и готовятся сопровождать Юлиана во дворец. Когда новый император, еще находясь в лагере, совершил полагающиеся в таких случаях жертвоприношения, воины двинулись, окружив его в количестве, значительно превышающем обычную свиту императора. Ведь он, человек с дурной славой, купил трон за деньги, действуя насильственно и вразрез с волей народа, и потому, естественно, страшился противодействия с его стороны. В полном вооружении, построившись фалангой, чтобы, если придется, тотчас вступить в бой, преторианцы заключили в центр своего императора, подняли над его головой щиты и копья, на тот случай, если кто-нибудь бросит в него камень из окна, и проводили до дворца. Народ не решился на враждебные действия, но воздержался также и от обычных приветственных возгласов; стоя поодаль, люди возмущались и поносили Юлиана за то, что он купил императорский трон. Тогда впервые пошатнулись нравы преторианцев: они стали ненасытно и постыдно корыстолюбивы и потеряли всякое уважение к начальствующим. То обстоятельство, что никто не отомстил им за совершение злодейского убийства и никто не препятствовал постыдной и открытой торговле императорским престолом, стало причиной дальнейшего неповиновения и распущенности; корыстолюбие и презрение к власти дошли до того, что преторианцы перестали останавливаться даже перед кровопролитием.

7. Юлиан между тем предавался наслаждениям и пьянству; не проявляя интереса к государственным делам, он роскошествовал

и погрязал в пороках. Вскоре выяснилось, что он обманул преторианцев и не в состоянии выполнить своих обещаний: ведь Юлиан в действительности не обладал богатствами, какими хвастал, не располагал он также государственными средствами, так как казна была опустошена непомерной расточительностью Комода. Воины, обманувшись в своих надеждах, начали роптать, а народ, почувствовав их настроение, стал относиться к императору презрительно — осыпал бранью при выходах и издевался над его постыдными и сомнительными наслаждениями.

III, II—12

[Заговор Плавтиана]

11. Плавтиан, принимая в соображение, что Север уже стар и хвор, а Антонин жесток и необуздан, и памятуя его угрозы, предпочел не дожидаться своей участи и опередить Антонина. Многое побуждало его жаждать императорской власти: богатство, никогда прежде в таком изобилии не скапливавшееся у частного человека, расположение войска, почтение подчиненных, пышность, с которой он появлялся на улицах. Плавтиан носил одежду с пурпурной полосой, пользовался уважением, подобающим людям, дважды избираемым консулами, всегда имел у пояса меч — короче, один был отмечен всеми знаками почета. Видя Плавтиана, все трепетали; никто не осмеливался приближаться к нему, а встречные поворачивали назад, ибо шедшие впереди слуги объявляли, чтобы люди не смели останавливаться и смотреть на него, но каждый бы отворачивался и опускал глаза. Север был недоволен, когда ему сообщили об этом, и разгневался на Плавтиана настолько, что ограничил его власть и призывал укротить неумеренную гордыню. Это было для Плавтиана невыносимо, и он решил захватить императорскую власть. Придуманный им план был таков. Среди его воинов был хилиарх [9] по имени Сатурнин, который выказывал Плавтиану исключительное почтение. Даже при том, что все вокруг старались один перед другим угодить Плавтиану, Сатурнин превзошел всех и потому стал пользоваться его особым доверием. Считая хилиарха преданным себе, способным держать в тайне и привести в исполнение его преступные замыслы, Плавтиан однажды вечером, когда все удалились, призвал Сатурнина и сказал: — Теперь для тебя настало время достойно доказать свою преданность и готовность мне служить, а для меня — воздать тебе по заслугам и как подобает отблагодарить. Перед тобою выбор — либо стать тем, кем являюсь теперь я, то есть получить мою власть и занять мое нынешнее место, либо тотчас умереть, если ты откажешься повиноваться. Пусть тебя не отпугивает величие моего замысла и не смущает слово «императоры». Тебе одному дозволяется входить в их спальню, когда на-

ступает твоя очередь нести ночной караул. То, что надлежит сделать, ты можешь осуществить беспрепятственно и тайно, иначе я, поверь, не потребовал бы от тебя этого, а ты не должен был бы повиноваться. Ступай же, войди во дворец под предлогом, что принес от меня срочное и тайное известие, и убей их. Мужайся: не трудно справиться со стариком и мальчишкой, и помни, что, разделив со мной опасность, ты разделишь впоследствии и величайшие почести. — Услышав это, Сатурнин был потрясен, но не потерял присутствия духа; как от человека умного (он ведь был сирийцем, а жители Востока отличаются исключительной сообразительностью) от него не укрылось, что Плавтиан очень возбужден; зная, кроме того, как он могущественен, Сатурнин решил не возражать, чтобы не поплатиться за это жизнью, прикинулся, что сочувствует намерениям Плавтиана, пал перед ним ниц, как перед императором, и попросил письменного распоряжения убить Севера и Антонина: ведь правители, согласно обычаю, в случае убийства без приговора отдают письменный приказ его исполнителям, чтобы те, по совершении, имели на что ссылаться. Ослепленный своими планами, Плавтиан дает такой приказ и отсылает Сатурнина, повелев, как только он покончит с обоими и пока весть не разнесется по городу, послать за ним, чтобы его прежде увидели во дворце, чем услышали о том, что он стал императором.

12. Сатурнин с таким напутствием удалился и, как обычно, беспрепятственно прошел через дворцовые покои; так как он понимал, что невозможно убить обоих императоров, вдобавок живущих на разных половинах дворца, то остановился перед спальным покоем Севера, созвал телохранителей и потребовал, чтобы они ввели его к императору для сообщения вестей, касающихся его жизни и безопасности. Телохранители доложили об этом Северу и по приказу императора ввели хилиарха в спальню. — Я прихожу к тебе, повелитель, — сказал, войдя, Сатурнин, — как думает тот, кто послал меня, твоим палачом и убийцей; в действительности же — по своей воле и желанию, спасителем и другом. Плавтиан жаждет мести и потому приказал мне убить тебя и твоего сына; сделал он это не только словесно, но и письменно: вот его приказ. Я обещал повиноваться, чтобы, в случае моего отказа, он не остановил свой выбор на ком-нибудь другом, и пришел открыть тебе его коварный замысел. — Эти слова и слезы Сатурнина не сразу убедили Севера: он был сердечно расположен к Плавтиану, заподозрил, что все это лживые наветы и клевета, и полагал, что сын из вражды к Плавтиану и ненависти к его дочери [10] строит против него козни и коварно ищет его гибели. Поэтому он призывает Антонина и корит его за ложное обвинение против верного человека и к тому же свойственника. Антонин клянется, что слышит все это в первый раз; поскольку же хилиарх настаивает на своем обвинении и показывает приказ Плавтиана, Антонин

ободряет его и побуждает к дальнейшим разоблачениям. Сатурнин сознает грозящую ему беду: он опасается расположения императора к Плавтиану и понимает, что если злоумышление останется нераскрытым и он не обличит виновника, его ждет страшная смерть. — Какое же еще требуется доказательство, повелитель, — сказал он, — и какие более неоспоримые улики? Дозвольте мне покинуть этот покой, чтобы послать к Плавтиану надежного человека с известием, что дело сделано. Уверенный в своем торжестве, он немедленно приедет сюда, и тогда вы сможете убедиться в правдивости моих слов. Прикажите, чтобы во дворце все сохраняли спокойствие: для успеха предприятия до времени ничего не должно быть известно. — Сказав это, Сатурнин тотчас же поручает одному из наиболее преданных ему людей позвать как можно скорее Плавтиана: оба императора-де убиты и ему необходимо спешно прибыть, прежде чем эта весть распространится в городе. Ведь когда дворец будет уже захвачен, власть окажется в его руках и люди волей-неволей признают того, кто уже стал императором, а не только намеревается им стать. Поверив словам посланца и исполнившись надежд, Плавтиан, однако, на всякий случай надевает под одежду панцирь, невзирая на поздний час, садится в повозку и в сопровождении нескольких слуг, уверенных, что он по важному делу вызван императором, спешит во дворец. Он беспрепятственно входит (стража ничего о происходящем не знает), ему навстречу идет Сатурнин и, чтобы вернее завлечь в ловушку, приветствует как императора, берет за руку и ведет в тот покой, где, по его словам, лежат тела императоров. Тем временем Север успевает спрятать в спальне наиболее сильных своих телохранителей, чтобы схватить Плавтиана, как только он войдет. Тот, полный надежд, переступает порог спальни и видит перед собою обоих императоров; его хватают. Пораженный случившимся, он молит о спасении, оправдываясь тем, что все — ложь, наветы и подстроено врагами. Тут Север начинает укорять его почестями, которые даровал ему, и оказанными благодеяниями, а тот — напоминать о своей прежней верности и преданности. Император был уже склонен поверить словам Плавтиана, как вдруг в разошедшихся складках его одежды блеснул панцирь. Это не укрылось и от Антонина; вспыльчивый, горячий и вдобавок полный ненависти к Плавтиану, он воскликнул: — Что ты можешь возразить против этих двух улик? Ты ночью, без приказа, являешься во дворец и на тебе панцирь! Разве кто-нибудь отправляется на обед или пирушку вооруженным? — С этими словами он велит Сатурнину и прочим обнажить мечи и заколоть Плавтиана как изобличенного изменника. Они, не задумываясь, повинуются молодому императору, убивают Плавтиана и выбрасывают его тело на улицу, всем напоказ, чтобы враги могли над ним надругаться. Такова была смерть Плавтиана; он жил в ненасытной жажде благ и под конец испытал вероломство своего слуги.

[*Убийство императора Антонина*]

12. У императора Антонина было два префекта претория, один, по имени Адвент, уже весьма почтенных лет, человек необразованный, не сведущий в вопросах государственных, но зато отличный воин, другой — Макрин, осведомленный в юриспруденции и прекрасный знаток законов. Император на людях в своих шутках над Макрином постоянно доходил до прямых оскорблений, смеялся над тем, что тот никудышный воин и трус. А когда узнал, что образ жизни Макрина далек от лагерной непритязательности, что он гнушается грубой пищей и питьем, которыми по привычке воина довольствовался император, и при всех обстоятельствах придает значение своей наружности, будь он в простом плаще или в более изысканной одежде, Антонин стал упрекать его в изнеженности и женоподобии и даже грозился убить. Макрина очень задевали эти нападки императора. Однажды — жизни Антонина уже сужден был конец — случилось вот что. Будучи человеком беспокойным, император желал знать не только все людские дела, но пытался проникнуть в дела богов и демонов, а так как везде и всегда видел измену, то вопрошал все оракулы и отовсюду созывал к себе магов, звездочетов и гадателей по внутренностям животных, не оставляя в покое никого из людей этого рода. Однако, подозревая, что все они из лести лгут, он поручил некоему Матерниану (ему Антонин тогда вверил управление Римом), которого считал самым преданным другом и его единственного посвящал во все тайны, созвать для заклинания мертвых самых знаменитых магов, чтобы вопросить о часе своей кончины, а также узнать, не замышляет ли кто-нибудь захватить власть. Матерниан исполнил приказ императора и, то ли действительно передавая слова оракула, то ли из коварства, написал, что к власти стремится Макрин и потому должен быть устранен. Это свое письмо Матерниан запечатывает и вместе с другими, как всегда, передает людям, доставляющим почту и, конечно, ничего не знающим о ее содержании. Они с обычной быстротой прибывают к Антонину как раз в то время, когда он в одежде возничего уже собирается подняться на колесницу, и протягивают пачку писем, в которой было и письмо Матерниана. Антонин, всецело поглощенный мыслью о предстоящем удовольствии, велит Макрину заняться в стороне чтением писем и доложить ему, если будет что-нибудь, требующее его вмешательства, а остальное решить самому. Император часто давал Макрину такого рода поручения. Вот и теперь, сделав это распоряжение, он направился к колеснице. Макрин остается один, распечатывает письма и, натолкнувшись на то, которое заключало его смертный приговор, отчетливо видит грозящую опасность; зная беспощадную жестокость Антонина и понимая, что письмо послужит императору

удобным предлогом для расправы с ним, Макрин его уничтожает, а об остальных, согласно приказу, докладывает.

13. В страхе, как бы Матерниан не написал второго письма, Макрин предпочел действовать, не дожидаясь беды. Он отважился на следующее. Среди телохранителей императора был некий гекатонарх [11] по имени Мартиалий, всегда сопровождавший его. Брат этого Мартиалия несколько дней тому назад был казнен по непроверенному доносу, а самого Мартиалия император оскорбил, назвав его бабой, трусом и прихвостнем Макрина. Тому же было известно, что Мартиалий горько оплакивает смерть брата и задет оскорблениями, а потому он призвал его к себе (Макрин отважился на это, так как гекатонарх не раз доказывал свою преданность и, в свою очередь, видел с его стороны много добра) и стал уговаривать при первом удобном случае убить Антонина. Мартиалий с готовностью соглашается, соблазнившись посулами Макрина, а также из ненависти к императору и желания отомстить за брата. Вскоре после этого разговора Антонин, находившийся тогда в месопотамском городе Харан, решил отправиться в храм Луны: местные жители особо чтут ее. Так как храм лежит далеко от города, его посещение превращается в настоящее путешествие. И вот в сопровождении немногих всадников, чтобы не утомлять все войско, Антонин пускается в путь, собираясь сейчас же после жертвоприношения богине вернуться назад. В середине пути потребность желудка заставила императора отослать всех и в сопровождении одного только слуги немного отойти, чтобы облегчиться. Из почтения к императору и естественного чувства неловкости все отвернулись и отъехали как можно дальше. Как только Мартиалий, выжидавший подходящего случая для осуществления своего замысла, заметил, что император один, без свиты, он тотчас, под видом того, что Антонин кивком головы зачем-то подозвал его к себе, быстро приблизился к императору, когда тот стягивал с себя одежду, и поразил со спины скрытым в ладони кинжалом. Удар пришелся под ключицу и оказался смертельным. Так неожиданным образом был убит Антонин, когда он меньше всего этого опасался. Едва император рухнул на землю, Мартиалий вскочил на коня и пытался бежать, но всадники — германцы, любимцы и телохранители императора, находившиеся несколько ближе, чем остальные, первые заметили происшедшее, бросились в погоню и убили Мартиалия дротиками; затем, когда гибель Антонина стала известна остальным, все сбежались, и Макрин первый, стоя над убитым императором, притворно стенал и плакал.

ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ

ЖИЗНЕОПИСАНИЯ И МНЕНИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ФИЛОСОФОВ

IV, 7

[*Бион*]

Бион[1] был родом борисфенит: кто были его родители и чем он занимался, пока не обратился к философии, об этом он сам рассказал Антигону[2]. Когда тот спросил его:

Кто ты? Откуда? Каких ты родителей? Где обитаешь?[3] —

Бион, почувствовав, что его уже оклеветали, сказал царю: — Отец мой — вольноотпущенник, из тех кто локтем нос утирает (это означало, что он был торговцем соленой рыбой), родом борисфенит. И было у него не лицо, а роспись по лицу — знак хозяйской жестокости. Мать моя под стать такому человеку: взял он

ее в жены из публичного дома. Отец мой однажды проворовался и был продан в рабство вместе с нами. Меня, молодого и пригожего, купил один ритор, потом он умер и оставил мне все свое имущество. Прежде всего я сжег все его сочинения, а потом наскреб денег, приехал в Афины и занялся философией.

Вот и порода и кровь, каковыми тебе я хвалюся[4].

Вот и все, что касается меня. Поэтому пусть перестанут болтать об этом Персей и Филонид;[5] а ты суди обо мне по моим собственным словам.

В самом деле, Бион был мастером на все руки, а также искусным софистом и оказал немалую помощь тем, кто хотел ниспровергнуть философские учения. При этом он любил пышность и не был чужд заносчивости. Он оставил много сочинений о достопамятных вещах, а также полезные и дельные изречения...

На вопрос, кому тревожнее живется, он ответил: — Тому, кто больше всего жаждет благоденствия. — На вопрос, стоит ли жениться (и о нем есть такой рассказ), он сказал: — Уродливая жена будет тебе наказанием, красивая — общим достоянием. — Старость он назвал пристанищем для всех бедствий, потому что все несчастья скопляются к этому возрасту. Славу он называл матерью доблестей, красоту и добро считал чуждыми друг другу, в богатстве видел движущую силу всякого дела. Человеку, промотавшему свое имение, он сказал: — Амфиарая[6] поглотила земля, а ты поглотил землю. — Он говорил: — Великое несчастье — неумение переносить несчастье. — Он презирал людей за то, что они сжигают мертвых, словно те ничего не чувствуют, и взывают к ним, словно те всё чувствуют...

Он говорил, что дорога в Аид легка, потому что на нее вступают с закрытыми глазами. Алкивиада он порицал за то, что когда он был мальчиком, ради него мужья бросали жен, когда был юношей — жены бросали мужей. В бытность свою на Родосе он учил философии афинян, приезжавших туда учиться риторике; на вопрос, почему он это делает, он сказал: — Как я могу продавать ячмень, если привез пшеницу?

Он говорил, что если бы Данаиды носили воду не в продырявленных, а в целых сосудах, это было бы им более тяжким наказанием. Когда один болтун просил его помочь ему на суде, он сказал: — Я исполню твою просьбу, если ты защитников пришлешь, а сам не придешь. — Однажды он плыл по морю вместе с дурными людьми и попал вместе с ними в плен к пиратам. Спутники стали плакаться: — Мы погибли, если нас узнают. — А я погиб, если меня не узнают, — сказал Бион. В самомнении он видел помеху успеху. Про богатого скупца он сказал: — Не он владеет богатством, а оно им. — Он говорил, что скупцы так заботятся о богатстве, словно оно их собственное, но так мало им пользуются, словно оно чужое. В молодости, говорил он, надо отличаться

храбростью, а в старости — блистать умом. Разум, по его словам, настолько превосходит остальные добродетели, насколько зрение — остальные чувства. Он говорил, что не следует бранить старость: ведь мы и сами были бы рады дожить до старости. Увидев завистника мрачным, он сказал ему: — Не знаю, то ли с тобой случилось что-нибудь плохое, то ли с другим — хорошее. — Безродность он считал плохой подругой свободоречию:

Она и смельчака порабощает [7].

Друзей надо выбирать осмотрительно, чтобы не подумали, что мы общаемся с дурными людьми или отвергаем хороших.

Сначала он примыкал к Академии, хотя в это же время был слушателем Кратета. Затем он обратился к киническому образу жизни, надел плащ и взял посох: в самом деле, как было иначе достигнуть бесстрастия? Затем, послушав софистические речи Феодора Безбожника на всевозможные темы, он принял его учение. После этого он учился у перипатетика Феофраста. Был он любителем эффектов и умел поднять на смех что угодно, не жалея грубых слов. За то, что речь его была смешана из выражений разного стиля, Эратосфен, по преданию, сказал, что Бион первый нарядил философию в цветистое одеяние. Был он также мастером пародии; таковы его строки:

О нежнейший Архит, лирородный, блаженный во чванстве,
Ты, в мастерстве прекословий из всех искуснейший смертных!

Над музыкой и геометрией он постоянно подшучивал. Он любил роскошную жизнь, и поэтому часто переезжал из города в город, пускаясь иной раз даже на хитрости. Так, приехав на Родос, он уговорил матросов переодеться его учениками и следовать за ним; в их сопровождении он вошел в гимнасий и привлек к себе всеобщее внимание. У него был обычай усыновлять молодых людей, чтобы наслаждаться их любовью и пользоваться их помощью. Но больше всего он любил самого себя и постоянно твердил: — У друзей все общее! — Поэтому, хотя у него было много слушателей, никто не считает себя его учеником. Впрочем, некоторые переняли его бесстыдство: так, говорят, что один из его спутников, Бетион, сказал однажды Менедему: [8] — А я вот, Менедем, провожу с Бионом целые ночи и не вижу в этом ничего плохого.

В своих беседах с близкими ему людьми он высказывал много безбожных мыслей, заимствованных у Феодора. Однако потом, когда он заболел, — так рассказывают жители Халкиды [9], где он умер, — он дал надеть на себя амулеты и покаялся во всем, чем грешил перед богами. Ухаживать за ним было некому, и он сильно страдал, пока Антигон не прислал к нему двух рабов; и Фаворин [10] в «Разнообразных рассказах» сообщает, что его носили

в носилках следом за царем. Так он и умер, и я написал о нем такие сатирические стихи:

Поэт Бион, борисфенит, в земле рожденный скифской,
Как мы слыхали, говорил: «Богов не существует!»
Когда б на этом он стоял, то мы сказать могли бы:
«Что думает, то говорит: хоть худо, да правдиво».
Но нынче, тяжко заболев, он смерти испугался;
Он, говоривший: «Нет богов!», на храмы не глядевший,
Он, издевавшийся всегда над приносящим жертвы,
Не только начал возжигать и тук и благовонья
На очагах и алтарях, богам щекоча поздри,
Не только «Грешен!» говорил, «Простите всё, что было!» —
Нет, взяв у бабки талисман, чтобы носить на шее,
Он, полон веры, обвязал кусками кожи руку
И двери дома осенил шиповником и лавром,
Готовый все перенести, чтоб с жизнью не расстаться,
Дурак, хотел он подкупить богов — как будто боги
Живут на свете лишь тогда, когда ему угодно,
И лишь когда, почти прогнив, свою он понял глупость
И, руки простерев с одра, вскричал: «Привет Плутону!»

VI, 1

[Антисфен]

Антисфен [1], сын Антисфена, был афинянин, но, по слухам, нечистокровный. Впрочем, когда его этим попрекнули, он сказал: — Даже матерь богов — фригиянка. — Его собственная мать, как кажется, была фракиянкой. Поэтому-то, когда он отличился в сражении при Танагре, Сократ заметил, что от чистокровных афинян никогда бы не родился столь доблестный муж. А сам Антисфен, высмеивая тех афинян, которые гордились чистотой крови, заявлял, что они ничуть не родовитее улиток или кузнечиков.

Сперва он учился у ритора Горгия: из-за этого так заметен риторический слог в его диалогах, особенно же в «Истине» и в «Увещаниях». Гермипп говорит, что однажды на истмийских празднествах он даже хотел произнести речь и в порицание и в похвалу афинянам, фивянам и лакедемонянам, но отказался от такой мысли, увидев, как много народу пришло из этих городов.

Потом он примкнул с Сократу и так много, по его мнению, выиграл из этого, что даже своих собственных учеников стал убеждать вместе с ним учиться у Сократа. Жил он в Пирее и каждый день ходил за сорок стадиев, чтобы послушать Сократа. Переняв его твердость и выносливость и подражая его бесстрастию, он этим положил начало кинизму. Он утверждал, что труд есть благо, и приводил в пример: из эллинов великого Геракла, а из варваров — Кира [2]. Он первый дал определение понятию: «Понятие есть

то, что раскрывает, чем являлся или является тот или иной предмет».

Часто он говорил: — Я предпочел бы безумие наслаждению, — а также: — Сходиться нужно с теми женщинами, которые сами за это будут благодарны. — ...На вопрос, какую женщину лучше брать в жены, он сказал: — Красивая будет общим достоянием, уродливая — для тебя наказанием. — Узнав однажды, что Платон дурно отзывается о нем, он сказал: — Это удел царей: делать хорошее и слышать дурное.

Когда он принимал посвящение в орфические таинства и жрец говорил, что посвященные станут в Аиде причастными ко многим благам [3], он спросил жреца: — Почему же ты не умираешь? — Однажды его попрекали тем, что он происходит не от свободнорожденных родителей: — Но мои родители не были и атлетами, — возразил Антисфен, — а я, тем не менее, атлет [4]. — На вопрос, почему у него так мало учеников, он ответил: — Потому что я гоню их серебряной палкой. — На вопрос, почему он так суров с учениками, он ответил: — Врачи тоже суровы с больными. — Увидев прелюбодея, спасавшегося от погони, он сказал ему: — Несчастный! От какой опасности мог бы ты избавиться за какой-нибудь обол! [5] — Как сообщает Гекатон [6] в «Притчах», он говаривал, что лучше попасться стервятникам, чем льстецам: те пожирают мертвых, эти — живых.

На вопрос, какая человеческая судьба самая лучшая, он сказал: — Умереть счастливым. — Однажды ученик пожаловался ему, что потерял свои записи. — Надо было хранить их в душе, — сказал Антисфен. Он говорил, что как ржавчина съедает железо, так завистников пожирает их собственный характер. Те, кто хочет обрести бессмертие, говорил он, должны жить благочестиво и справедливо. По его словам, государства погибают тогда, когда не могут более отличать хороших людей от дурных. Когда его однажды хвалили дурные люди, он сказал: — Боюсь, не сделал ли я чего дурного.

Братская близость единомыслящих, заявлял он, крепче всяких стен. Он говорил, что в дорогу надо запасаться тем, чего не потеряешь даже при кораблекрушении. Его попрекали, что он водится с дурными людьми; он сказал: — И врачи водятся с больными, но сами не заболевают. — Нелепо, говорил он, отвеивая мякину от хлеба и исключая слабых воинов из войска, не освобождать государство от дурных людей. На вопрос, что дала ему философия, он ответил: — Умение беседовать с самим собой. — Однажды на пирушке кто-то сказал ему: — Спой! — А ты сыграй мне на флейте, — сказал Антисфен. Когда Диоген просил у него хитон, он посоветовал ему вместо этого сложить свой плащ вдвое.

На вопрос, какая наука самая необходимая, он сказал: — Наука не учиться, чему не нужно. — Он говорил, что тем, кто

слышит о себя дурное, сдержанность нужнее, нежели тем, в кого бросают камнями. Над Платоном он издевался за его гордость. Увидев однажды в процессии норовистого коня, он сказал Платону: — По-моему, и из тебя вышел бы знатный конь! — Дело в том, что Платон постоянно нахваливал коней. Однажды, когда Платон был болен, Антисфен, зайдя к нему, заметил лохань с его рвотой и сказал: — Желчь я в ней вижу, а гордыни не вижу.

Он советовал афинянам принять постановление считать ослов конями; когда это сочли нелепостью, он заметил: — А ведь вы простым голосованием делаете из невежественных людей стратегов. — Кто-то сказал ему: — Тебя многие хвалят. — Что же, — спросил он, — я сделал дурного? — Когда он старался выставить напоказ дыру в своем плаще, Сократ, заметив это, сказал: — Сквозь этот плащ я вижу твое тщеславие. — Фаний[7] в книге «О сократиках» сообщает, что на чей-то вопрос, как стать прекрасным и добрым, он сказал: — Узнать от сведущих людей, что надо избавляться от тех пороков, которые в тебе есть. — Кто-то восхвалял роскошную жизнь. — Пусть такую жизнь ведут дети врагов! — воскликнул — Антисфен.

К юноше, который с гордым видом позировал ваятелю, он обратился так: — Скажи, если бы бронза умела говорить, чем бы, по-твоему, стала она хвастаться? — Красотою, — сказал тот. — И тебе не стыдно гордиться тем же, чем и бездушная статуя? — Юноша, приехавший с Понта, обещал наградить Антисфена, как только прибудет его корабль с соленой рыбой. — Антисфен, взяв его с собой и прихватив пустой мешок, отправился к торговке хлебом, набил мешок зерном и пошел прочь; а когда та стала требовать денег, сказал: — Вот этот юноша заплатит, когда прибудет его корабль с соленой рыбой. — Он же, говорят, был причиной изгнания Анита и смерти Мелета: повстречав однажды юношей с Понта, привлеченных в Афины славою Сократа, он отвел их к Аниту, заявив, что тот превзошел Сократа и мудростью и нравственностью; это вызвало такое возмущение среди присутствовавших, что они изгнали Анита. Если он встречал женщину в пышном наряде, то отправлялся к ней домой и требовал, чтобы ее муж показал ему свои доспехи и коня: если они у него есть, он может и впредь позволить ей наряжаться, всегда имея против нее это оружие, если нет, он должен снять с нее дорогой наряд.

Вот какие взгляды были ему по душе. Человека можно научить добродетели. Благородство и добродетель — одно и то же. Достаточно быть добродетельным, чтобы быть счастливым; для этого ничего не нужно, кроме Сократовой силы духа. Добродетель проявляется в поступках и не нуждается ни в обилии слов, ни в обилии знаний. Мудрец ни в чем и ни в ком не нуждается: ибо все, что принадлежит другим, принадлежит и ему. Безвестность есть благо, равно как и труд. В общественной жизни мудрец

руководствуется не общепринятыми законами, а законами добродетели. Он женится, чтобы иметь детей, притом от самых красивых женщин; он не будет избегать и любовных связей — ибо только мудрец знает, кого стоит любить.

Диокл [8] приписывает ему также и следующие мнения. Для мудреца нет ничего, что было бы чуждо ему или недоступно. Хороший человек достоин любви. Все, кто стремится к добродетели, друзья между собой. Своими соратниками надо делать людей мужественных и справедливых. Добродетель — оружие, которого никто не может отнять. Лучше сражаться среди немногих хороших людей против множества дурных, чем среди множества дурных против немногих хороших. Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои ошибки. Справедливого человека цени больше, чем родственника. Добродетель и для мужчины и для женщины одна. Добро прекрасно, зло безобразно. Все дурное считай себе чуждым. Разум — незыблемая твердыня: ее не сокрушить силой и не одолеть изменой. Стены ее должны быть сложены из неопровержимых суждений.

Свои беседы он вел в гимнасии Киносарге, неподалеку от городских ворот; по мнению некоторых, отсюда и получила название киническая школа. Сам же он называл себя «Непородистый пес». Он первый, как сообщает Диокл, начал складывать плащ вдвое, пользоваться этой одной одеждой и носить посох и суму; Неанф тоже говорит, что он первым стал складывать гиматий вдвое; а Сосикрат, напротив, в III книге «Преемственностей» приписывает это Диодору Аспендскому, который, по его словам, также стал отпускать бороду и носить посох и суму.

Из всех учеников Сократа только один Антисфен заслужил похвалу Феопомпа, который говорит, что он был искусный оратор и сладостью своей речи мог приворожить кого угодно. Это видно и по его сочинениям, и по «Пиру» Ксенофонта. По-видимому, именно он положил начало самым строгим стоическим обычаям, о которых Афиней, сочинитель эпиграмм, говорит так:

О знатоки стоических книг! О вы, что храните
В ваших священных столбцах лучший завет мудрецов:
Для человеческих душ добродетель — единое благо;
Ею сильны города, ею живет человек.
Пусть же иные из нас стремятся к плотским усладам —
Муза, Памяти дочь, будет наставницей их.

Он был образцом бесстрастия для Диогена, умеренности для Кратета, непоколебимости для Зенона: это он заложил основание для их строений. Ксенофонт сообщает, что был он чарующим в беседе и сдержанным во всем остальном. Известны десять томов его сочинений... Тимон, издеваясь над их многочисленностью, называет его «болтуном на все руки».

Умер он от чахотки, как раз тогда, когда к нему пришел Диоген и спросил: — Не нужен ли тебе друг? — Однажды Диоген

принес с собою кинжал, и когда Антисфен воскликнул: — Ах, кто избавит меня от страданий? — он показал ему кинжал и произнес: — Вот кто. — Я сказал: от страдания, а не от жизни, — возразил Антисфен. — По-видимому, в самом деле он довольно малодушно переносил свою болезнь, слишком любя жизнь. Вот наша эпиграмма о нем:

В жизни своей, Антисфен, ты псом был, недоброго нрава,
Речью ты сердце кусать лучше, чем пастью, умел.
Умер в чахотке ты злой. Ну что же? Мы скажем, пожалуй:
И по дороге в Аид нужен для нас проводник.

ГЕЛИОДОР

ЭФИОПИКА

I, 9—17

[*Рассказ Кнемона*]

9. Отцом мне был Аристипп, родом афинянин, он заседал в ареопаге и был человеком среднего достатка. Когда случилось, что умерла моя мать, отец решился на второй брак, считая единственного сына (то есть меня) слишком зыбкой опорой, и ввел в свой дом женщину тонкого обращения, но прескверную, по имени Демэнета. Не успела она войти к нам, как сейчас же полностью подчинила отца себе: она заставляла его делать все, что ей было угодно, обольщая старика своей красотой и во всем преувеличенно ухаживая за ним. Как никакая другая женщина она умела возбудить неистовое влечение к себе и прекрасно владела искусством обольщения. Когда отлучался отец, она стонала,

а когда возвращался — бежала к нему навстречу, упрекала, если он запаздывал, словно она погибла бы, задержись он еще немножко, обнимала его при каждом слове, проливала слезы, целуя.

Оплетенный всеми этими уловками, мой отец ею одной дышал и лишь на нее глядел.

Она сперва притворялась, будто относится ко мне как к сыну, и это восхищало Аристиппа. Часто она подходила ко мне, целовала и постоянно интересовалась мною. Я не противился, не подозревая, в чем тут дело, но все-таки удивлялся такому материнскому ко мне расположению. Когда же стала она приближаться с большей решительностью, когда жарче, чем подобало, стали ее поцелуи, а взоры покинула скромность, тогда все это вызвало во мне подозрения, я начал избегать ее и отталкивал, когда она подходила. А остальное — но к чему мне надоедать вам подробностями? Рассказывать ли о тех соблазнах, которые она изобретала, об обещаниях, которые она давала, называя меня то деточкой, то сладчайшим, а то — своим наследником, а немного погодя — своей душой. Она все время смешивала целомудренные названия с обольстительными и наблюдала, что меня больше привлекает. Таким образом, при посторонних прикидывалась она родной матерью, а при укромных встречах явно показывала, что влюблена.

10. Наконец произошло вот что. Во время празднования Великих Панафиней, когда афиняне посылают по суше корабль Афине[1] (я был тогда эфебом), я, пропев обычный пеан в честь богини и приняв участие в шествии, как был одет — в том же плаще и с теми же венками — отправляюсь к себе домой. Демэнета, едва увидела меня, впала в исступление и уже без всяких уловок, гонимая голой страстью, подбежала и обняла меня. — О юный Ипполит, о Тезей мой! — восклицала она. Вы представляете, в каком я тогда был состоянии, раз я и сейчас краснею, рассказывая об этом.

С наступлением вечера отец мой отправился обедать в пританней, где, по случаю торжественного праздника и всенародного пиршества, ему предстояло провести всю ночь. Демэнета явилась ко мне ночью и пыталась добиться запретного. Я всячески противился, не поддаваясь ни на ее ласки, ни на обещания и угрозы. Она тяжело и глубоко застонала и удалилась, но после этой ночи принялась, проклятая, строить против меня злые козни.

Прежде всего она не встала утром со своего ложа, а когда пришел отец и спросил, что это значит, она притворилась нездоровой и сперва ничего не отвечала. Но отец стал настаивать и несколько раз спросил, что с ней такое. — Этот достойный юноша, — промолвила она, — наше общее чадо, к которому я была нежнее, чем ты (боги тому свидетели), по некоторым признакам заметил мою беременность. Я это до сих пор от тебя скрывала, потому что сама не была уверена. Он выждал твоего отсутствия и, когда я, по обыкновению, увещевала его, призывая

быть скромным и поменьше думать о гетерах и попойках (ведь не укрылось от меня, что как раз так он проводит время, а тебе я это не открывала, чтобы не думали, будто я и в самом деле настоящая мачеха), — так вот, когда я говорила ему об этом, оставшись с ним наедине, чтобы не заставлять его краснеть... но мне стыдно рассказывать обо всех его дерзостях на твой и на мой счет... пяткой ударил он меня в живот... вот почему ты видишь меня в таком состоянии.

11. Отец, услыхав это, ничего не сказал, ни о чем не спросил, не пытался защищать меня, в полной уверенности, что не станет лгать на меня женщина, которая так ко мне относится. Сейчас же, немедленно, встретившись в одной из частей дома со мной, еще ни о чем не подозревавшим, он стал бить меня кулаками и, призвав слуг, велел истязать бичами, а я не знал даже того, что бывает известно каждому наказуемому, — за что же меня бьют?

Когда отец утолил свою ярость, я спросил: — Отец, если до сих пор я не мог спросить, так хоть теперь я в праве узнать причину этих побоев. — Что за притворство! — воскликнул тот, рассвирепев еще больше. — Он хочет узнать про свои нечестивые дела от меня! — И, отвернувшись, отец поспешил к Демэнете. А та — ведь она еще не насытилась — стала плести против меня другой коварный замысел.

Была у нее служанка Фисба, умевшая играть на кифаре и недурная собой. Ее-то Демэнета и напустила на меня, приказав ей притвориться влюбленной; и Фисба так и сделала: она, столько раз отталкивавшая меня, когда я пытался ее прельстить, теперь всячески старалась привлечь меня взглядами, кивками, знаками. А я, глупец, поверил, будто сразу сделался красавцем. Кончилось тем, что я принял ее в своей спальне ночью. Фисба пришла и во второй раз, и опять, а потом приходила постоянно.

Однажды я настойчиво предостерегал Фисбу, как бы не проведала обо всем госпожа. — Кнемон, — возразила Фисба, — мне сдается, ты уж слишком прост. Вот ты считаешь, что плохо будет, если меня, служанку, купленную за деньги рабыню, изобличат в связи с тобою. Ну, а какой же кары, по-твоему, достойна женщина, которая, называя себя благородной, имея законного сожителя, зная, что смерть положена за беззаконие, все же распутничает? — Перестань, — возразил я. — Мне не верится. — А Фисба на это: — Если хочешь, я устрою так, что ты их застигнешь. — Если есть на это твоя воля! — сказал я. — Уж конечно моя воля, — отвечала Фисба. — Это ради тебя, так тяжко оскорбленного ею. Да не меньше и ради себя самой: я ведь тоже каждый день до крайности страдаю, когда она вымещает на мне свою ревность. Покажи, что ты уже мужчина, захвати ее на месте преступления.

12. Я обещал постоять за себя, и только тогда она удалилась. На третью ночь после этого, когда я спал, она подняла меня и сообщила, что распутник — в спальне у госпожи. Фисба

объяснила, что отец по неотложному делу отправился в свое поместье, а любовник, как у него было условлено с Демэнетой, только что проник в дом. Надо быть готовым и к отмщению — ворваться к ним с оружием в руках, чтобы не ускользнул обидчик. Так я и сделал, взял кинжал и вслед за Фисбой, зажегшей факел, направился к спальне.

Я остановился перед дверью, луч от светильника проникал изнутри. Со всей яростью взломал я запертые двери, распахнул их и, ворвавшись в покой, закричал: — Где же этот злодей, блестящий любовник самой целомудренной женщины? — и с этими словами я ринулся, чтобы пронзить их обоих.

Но с постели — о, боги! — соскакивает мой отец, падает к моим ногам и молит: — Дитя мое, остановись на мгновенье, сжалься над породившим тебя, пощади мои седины, тебя взрастившие. Я оскорбил тебя, но не надо карать меня смертью. Не давай гневу всецело завладеть тобой, не оскверняй своих рук отцеубийством. — Этими и многими другими словами жалостно умолял меня отец, а я, как пораженный громом, остолбеневший, оглушенный, стоял и озирался, ища Фисбу, исчезнувшую, не знаю каким образом, оглядывал постель и спальню, не зная, что сказать, недоумевая, как поступить. Оружие выпало у меня из рук; Демэнета подбежала и быстро подхватила его, а отец, оказавшись в безопасности, схватил меня и стал кричать, чтобы меня связали, причем Демэнета все время подстрекала его. — Не предсказывала ли я, — кричала она, — что надо опасаться этого юнца, что он что-то затеял и только ждет удобного случая?! Я видела взгляд его и поняла его мысли. — Ты предсказывала, а я не верил, — отвечал отец, велев пока что держать меня связанным и не давая мне рассказать откровенно всю правду, когда я хотел это сделать.

13. На заре отец взял меня с собою и в том виде, как я был, то есть в оковах, повел к народу. — С такими ли надеждами, афиняне, воспитывал я его, — сказал он и осыпал себе голову прахом. — Нет, едва он появился на свет, я решил, что он будет опорой моей старости. Я дал ему воспитание, подобающее человеку свободному, научил его первым началам грамоты, ввел к членам фратрии и рода, записал в число эфебов, объявил его по закону вашим согражданином — на нем одном зиждется вся моя жизнь. Но он предал забвению все, сперва оскорбил меня и нанес удары вот этой женщине, моей законной супруге, наконец явился ночью с мечом в руках и только потому не стал отцеубийцей, что ему воспрепятствовала судьба, заставившая его выронить меч из рук от неожиданности и испуга. Я прибегаю к вашей защите и доношу на него. По закону я имею право своими руками убить его, но не хочу, считая, что лучше судом, а не мечом покарать родного сына.

Говоря это, отец прослезился. Заголосила и Демэнета и, разумеется, делала вид, будто скорбит обо мне, называла меня не-

счастным, которому придется умереть, хоть и по справедливому приговору, но преждевременно, раз мстительные демоны обратили меня против родителей. Она не столько плакала, сколько свидетельствовала против меня своим плачем и подкрепляла обвинение своим воплем. Я потребовал, чтобы и мне было предоставлено слово. Писец подошел и задал мне краткий вопрос: — Напал ли ты на отца с мечом в руках? — Напал, — отвечал я на это, — но выслушайте, как было дело...

Тут все подняли крик, не сочли нужным позволить мне даже и защищать себя и стали предлагать побить меня камнями или предать в руки палача и столкнуть в пропасть. Я же, пока длился весь этот шум и пока они голосовали, выбирая мне наказание, взывал: — О, мачеха! Из-за мачехи я погибаю, мачеха губит меня без суда! — Многие обратили внимание на мои слова, и в них зашевелилось сомнение, так ли обстоит дело, как им рассказал отец. Но и тут меня не выслушали, так как волнением охвачен был весь народ.

14. Голоса разделились, и присуждавших меня к смерти оказалось около тысячи семисот человек, из которых одна часть постановляла побить меня камнями, а другая — сбросить в пропасть. Остальные же, числом всего около тысячи, возымевшие некоторое подозрение против моей мачехи, карали меня вечным изгнанием. Возобладало, однако, мнение этих последних. Дело в том, что они были, правда, малочисленнее тех других вместе взятых, но те голосовали порознь, и по сравнению с каждой их частью эта тысяча человек оказалась в большинстве. Таким образом, я был изгнан из отеческого дома и из родимой страны, но не ушла от возмездия и ненавистная богам Демэнета.

О ней вы услышите в другой раз, теперь же надо подумать и о сне. Уже миновала большая часть ночи, а вам очень нужен отдых. — Но ты совсем замучишь нас, — возразил Феаген, — если злодейка Демэнета останется ненаказанной в твоем рассказе. — Ну, так слушайте, — сказал Кнемон, — раз вам это так любо.

Тотчас же после суда я отправился в Пирей и, застав выходивший в море корабль, отплыл в Эгину, зная, что там живут племянники моей матери. Прибыв туда и найдя тех, кого я искал, я сначала недурно проводил там время. На двадцатый день, совершая обычную прогулку, я спустился в гавань. Там как раз причаливало судно. Я остановился и стал смотреть, откуда оно и кого везет. Еще не были как следует положены сходни, а уже какой-то человек выскочил на берег и, подбежав, обнял меня. Это был Харий, один из тех, кто был в числе эфебов вместе со мной.

— Радостные вести приношу я тебе, Кнемон, — говорит он, — твоя ненавистница понесла справедливую кару: Демэнета умерла! — Желаю тебе счастья, Харий, — отвечал я. — Но отчего ты так поспешно излагаешь радостную весть, словно возвещаешь что-нибудь дурное? Скажи, как именно она погибла, а то я очень боюсь, что ее постигла обычная и общая для всех людей смерть и

что она избежала заслуженной участи. — Не совсем, по слову Гесиода [2], покинуло нас правосудие, — сказал Харий. — Если оно иной раз кому-либо и попустит и на некоторое время откладывает возмездие, все же на таких беззаконников глядит оно суровым оком: так не ушла от возмездия и злодейка Демэнета. Все, что произошло, все что говорилось, мне доподлинно известно: Фисба как ты знаешь, близка со мной, и она все мне рассказала. Когда обрушилось на тебя несправедливое изгнание, твой отец, раскаиваясь во всем происшедшем, поселился в дальнем поместье и проживал там — сердце тоскою круша, как говорит поэт [3]. А Демэнету сейчас же начали преследовать эриннии [4], и еще безумнее она любила тебя, отсутствующего, и не прекращала плача, якобы по тебе, на самом же деле — по себе самой.

— Кнемон! — кричала она ночью и днем, называя тебя сладчайшим мальчиком, душенькой, так что знакомые женщины, приходившие к ней, очень удивлялись и хвалили ее за то, что она, хотя и мачеха, но страдает совсем по-материнскому; они пытались утешить и ободрить ее. А она твердила, что горе ее неутешно и что никто не ведает, какое жало впилось в ее сердце.

15. Оставаясь наедине с Фисбой, она постоянно упрекала ее за то, что та услужила ей не так, как следовало. — Ты усердна лишь в жестокостях, — говорила Демэнета. — В любви ты мне не помогла, а вот лишить меня возлюбленного ты сумела быстрей, чем слово вымолвишь, и даже передумать мне не дала. — Стало вполне ясно, что она может причинить какое-нибудь зло Фисбе. Та, видя тяжелый гнев и великую скорбь Демэнеты, готовой на всякое коварство и обезумевшей от ярости и любви, решила предупредить ее хитростью, направленною против госпожи, лишь бы спастись самой.

— Что это, госпожа моя, — сказала Фисба, придя к Демэнете, — за что напрасно винишь свою прислужницу? Ведь я всегда — и прежде и теперь — исполняла твою волю, служила тебе. Если и произошло что-либо не по твоему желанию, так это надо приписать судьбе, а я, если прикажешь, охотно придумаю какое-нибудь средство, чтобы избавить тебя от беды. — Но кто же может найти такое средство, милейшая, — возразила Демэнета, — раз так далек теперь от нас тот, кто способен меня спасти, и раз погубило меня нечаянное человеколюбие судей? Если бы Кнемон был побит камнями, если б он был убит, конечно, мои страдания умерли бы вместе с ним. То, на что раз навсегда потеряна надежда, исчезает из души, и раз нечего больше ждать, страдальцам остается терпеливо сносить муки. А теперь чудится мне, что я его вижу, сдается мне, что он здесь и я его слышу, стыдно мне встретиться с ним — он упрекает меня за мою коварную уловку. Иной раз мне кажется, что он придет и я буду наслаждаться его присутствием или что я сама пойду к нему, где бы он ни оказался. Вот что меня сжигает, вот что в безумие повергает! По заслугам, о боги, я страдаю. Зачем я не ласкала, а подстерегала

его? Зачем не умоляла, а преследовала? Он отказал на первый раз? Но так оно и должно было быть! Он уважал чужое ложе, ложе отца своего. Быть может, он дал бы переубедить себя и стал бы уступчивей под влиянием времени и убеждений. Но я, звероподобная, дикая, словно не любила я, а повелевала, сочла за преступление то, что он не повиновался моему приказу и пренебрег Демэнетой — он, настолько превосходящий ее красотой! Но скажи, сладостная Фисба, о каком легком избавлении ты упоминала? — Госпожа, — отвечала та, — по мнению большинства, Кнемон, повинуясь решению суда, удалился из города и из Аттики, но от меня, готовой на все ради тебя, не укрылось, что он скрывается где-то здесь, недалеко от города. Ты, конечно, слыхала про флейтистку Арсиною? С нею он был в связи. После случившегося несчастья девушка приняла его, обещала отправиться вместе с ним и теперь прячет у себя до тех пор, пока сама не будет готова к отъезду. — Счастливая Арсиноя! — воскликнула Демэнета. — Завидую прежней ее близости с Кнемоном и предстоящему теперь совместному с ним отъезду! Но какое это имеет отношение к нам? — Большое, госпожа, — возразила Фисба. — Я притворюсь влюбленной в Кнемона и попрошу Арсиною, мою старинную знакомую по нашему ремеслу, позволить мне, вместо нее, войти к нему ночью. Если это удастся, то потом уже твое дело сойти за Арсиною и проникнуть к нему, будто это она. А я позабочусь устроить так, чтобы уложить его слегка навеселе. Если ты добьешься чего хочешь, то очень вероятно, что любовь твоя прекратится. У многих женщин страсть потухает после первого опыта, так как все дело кончается любовным пресыщением. Ну, а если любовь останется, — да не будет этого, — то начнется, как говорится, второе плавание, а тогда и совет иной. Пока же позаботимся о сегодняшнем дне.

16. Демэнета одобрила ее мысль и молила ускорить осуществление задуманного. Фисба выпросила себе у госпожи один день для исполнения всего этого и, придя к Арсиное, сказала: — Знаешь ты Теледема? — Когда та ответила утвердительно, она продолжала: — Дай нам пристанище на эту ночь; я обещала поспать с ним вместе; он придет первым, а я потом, когда уложу свою госпожу. — Затем она поспешила к Аристиппу в его поместье и сказала: — Господин, я прихожу к тебе обвинительницей себя самой, делай со мной что хочешь. Сына своего ты потерял отчасти из-за меня. Не желая того, я все же стала одной из виновниц. Заметив, что госпожа живет не так, как должно, что она позорит твою постель, я побоялась, как бы мне не навлечь на себя беды, если дело будет раскрыто кем-либо посторонним. Болея за тебя и видя, что ты, окруживший свою супругу таким уходом, в отплату терпишь такой позор, я не посмела сама известить тебя и сообщила обо всем молодому хозяину, придя к нему ночью, чтобы никто не знал об этом. Я сказала ему, что любовник спит с моей госпожой. А он — ведь ты знаешь, он уже

раньше пострадал от нее — подумал, будто я говорю, что любовник сейчас находится в доме. Исполнившись неудержимого гнева он схватил кинжал, несмотря на мои многократные попытки удержать его, несмотря на уверения, что сейчас ничего такого не происходит. Он обратил мало внимания на эти слова или решил что я хочу все переиначить, и в бешенстве ринулся в спальню остальное ты знаешь сам. Теперь ты можешь, если захочешь, загладить свою вину перед сыном, хотя он и пребывает в изгнании и отомстить обидевшей вас обоих. Сегодня я покажу тебе Демэнету, возлежащую с любовником, и к тому же — в чужом доме за городом.

— Если все это так и ты мне покажешь, — сказал Аристипп, — то тебе наградой будет свобода, а я, может быть, тогда только и оживу, когда отомщу ненавистной. Уже давно я терзаюсь и питаю подозрения, однако, за недостатком доказательств не решался действовать. Но что же надо делать? — Ты знаешь сад, — отвечала Фисба, — где памятник эпикурейцев? Приходи туда под вечер и дожидайся меня. — (17.) Промолвив это, она тотчас же убежала и, придя к Демэнете, сказала: — Принарядись, тебе надо прийти туда как можно более привлекательной; все, что было тебе обещано, готово. — Демэнета обняла ее и сделала, как та сказала. С наступлением вечера Фисба провела ее к условленному месту. Когда они подошли близко, Фисба велела своей госпоже немного подождать, а сама пошла вперед и стала просить Арсиною перейти в другое помещение и не мешать ей: — Ведь отрок краснеет, — говорила она, — он только еще посвящается в таинства Афродиты. — Та послушалась, а Фисба возвращается, берет с собой Демэнету, вводит ее в дом, укладывает, уносит светильник, — конечно, чтобы ты ее не узнал, хотя ты в это время находился на Эгине, — и советует ей удовлетворять свою страсть молча. — Я же, — говорит Фисба, — пойду за юношей и приведу его к тебе. Он пьет вино здесь по соседству.

Фисба вышла из дому, застала Аристиппа на заранее указанном месте и стала торопить его напасть врасплох и связать любовника. Аристипп последовал за ней. Он внезапно врывается в дом, с трудом находит постель при слабом свете луны и кричит: — Ты в моих руках, женщина, ненавистная богам. — А Фисба сейчас же, пока он это кричал, как можно сильнее хлопнула дверьми и завопила: — Какая неудача! Ускользнул от нас распутник! Смотри, господин, как бы тебе еще раз не промахнуться! — Будь спокойна, — ответил тот, — эту негодницу, которую я особенно хотел захватить, я держу крепко. — И, забрав Демэнету, повел ее в город.

А та, конечно, сразу поняла, что ее ожидает: крушение всех надежд, бесчестье, законное наказание. Она мучилась тем, что уличена, негодовала на то, что обманута. Когда же очутилась она около пропасти, что в Академии, — ты знаешь, разумеется, это место, где полемархи [5] приносят героям установленные еще

предками жертвы, — тут она внезапно вырвалась из рук старика и бросилась вниз головой. Так она, гнусная, гнусно валялась там, Аристипп же сказал: — Вот ты сама себя покарала еще раньше, чем дело дошло до законов.

На следующий день Аристипп сообщил обо всем народу и, с трудом добившись прощения, начал обходить своих друзей и знатных людей, стараясь каким-нибудь способом выхлопотать тебе разрешение вернуться. Успел ли он в этом, я сказать не могу, потому что мне пришлось, как ты видишь, по собственной надобности отплыть сюда. Но следует ожидать, что народ выразит согласие на твое возвращение и отец твой прибудет, чтобы разыскать тебя. Так он обещал.

ЛИБАНИЙ

РЕЧЬ I

МОЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ О МОЕЙ СУДЬБЕ

1. Мне следует попытаться переубедить тех, кто составил себе неверное мнение о моей судьбе: одни считают меня счастливейшим из всех людей ввиду той широкой известности, которой пользуются мои речи, другие — несчастнейшим из всех живых существ, из-за моих непрестанных болезней и бедствий; между тем и то и другое далеко от истины: поэтому я расскажу о прежних и о нынешних обстоятельствах моей жизни, и тогда все увидят, что боги смешали для меня жребии судьбы и что я не самый счастливый, но и не самый несчастный человек — и да не поразит меня стрела Немесиды!

. . . . . .

4. Моя мать, опасаясь, что опекуны могут оказаться людьми нечестными и что ей придется вступать с ними в препирательства,

а также желая быть для нас всем, решила взять все дела в свои руки и вела их хорошо, хотя и с трудом, а за наше обучение платила педагогам; однако она не умела сердиться на свое ленивое дитя, полагая, что любящая мать ничем и никогда не должна его огорчать; поэтому большая часть года уходила у нас на безделье, а не на ученье.

5. Проведя так четыре года, я вступил в пятнадцатый год жизни, и тут охватила меня такая страсть к красноречию, что игры в полях были забыты, голуби проданы, — а ведь воспитание их невероятно увлекает мальчика, — конские бега и театральные представления заброшены; а чем я особенно поразил и молодежь и стариков — я не пошел смотреть на поединки [1], в которых сражались мужи, достойные быть учениками тех трехсот, что пали в Фермопилах. Общественную повинность выполнял на этот раз мой дядя по матери и звал меня посмотреть на это зрелище, но я весь был погружен в книги. Говорят, что обучавший меня софист уже давно предсказал мое будущее, — и его предсказание исполнилось.

. . . . . .

86. Софисты, которым не удавалось одолеть меня, говорили, что на родине [2] я не мог бы иметь такого успеха, ибо трудно добиться похвалы от своих сограждан: ведь даже если кто-нибудь явится к ним в блеске славы, они стараются отнять ее у него и всяческими уловками умалить его значение. Но богиня Тихэ, желая показать, что они болтают зря, внушает мне мысль просить об отпуске на четыре месяца; государь отпускает меня [3], но велит вернуться до начала зимнего времени; и вот я вижу дороги и ворота, самые милые моему сердцу, вижу храмы и портики, вижу ветхие стены моего родного дома, вижу седины матери, вижу одного ее брата, пока еще являющегося только отцом, и старшего брата, уже носящего название «дедушки», вижу толпу моих школьных товарищей — одни из них стали важными начальниками, другие — защитниками обвиняемых, — вижу друзей отца, уже немногочисленных, и наш город, которому толпы ученых придают силу и мощь. Я был и в восторге и в страхе: в восторге — потому, что я гражданин столь великого и прекрасного города, в страхе — потому, что покорить такой великий город очень трудно.

87. Но Тихэ и здесь помогала мне — и тогда, когда мне приходилось отвечать на вопросы, с которыми ко мне часто обращались (как бывало, например, в цирюльнях), и когда мне пришлось выступить на состязании. Я показал себя перед слушателями таким, каким я в ту пору был. Во-первых, не понадобилось созывать людей, льстиво приглашая каждого в отдельности; как только стало известно, что я буду говорить, этого уже было довольно: не дождавшись восхода солнца, люди наполнили здание

совета, — в тот день оно впервые оказалось недостаточно вместительным, — и когда я спросил, пришел ли уже кто-нибудь, мальчик-слуга ответил, что кое-кто там и ночевал.

88. В то время как дядя вводил меня в здание, трепеща, я следовал за ним улыбаясь, — такое мужество вдохнула в меня Тихэ; глядя на толпу, как Ахилл на оружие, я был весел и уже этим самым, еще не начав речи, поразил всех; но как изобразить мне достойным образом слезы, вызванные прологом, который немало слушателей успело выучить наизусть еще до своего ухода, как описать взрыв безумного восторга, последовавший за второй частью речи? Не нашлось никого — ни старика, ни человека неповоротливого, ни больного, — кто бы не вскакивал с места и не выражал своего восхищения любым способом; даже те, кому трудно было стоять из-за болезни ног, все же стояли, и, когда я просил их сесть, говорили, что моя речь этого не дозволяет; прерывая ее, они умоляли государя вернуть меня моим согражданам.

89. Они повторяли это, пока не устали, а потом, вернувшись к оценке моей речи, стали восхвалять и мое и свое счастье: я-де счастлив, обладая искусством речи, они — тем, что могут похвалиться таким блестящим согражданином. Вот как они опровергли на деле ходячую поговорку, доказав, что дети одной отчизны вовсе не должны по необходимости завидовать друг другу. Наверное, для Агамемнона день, когда он взял Трою, не был более лучезарным, чем для меня день, когда я добился того, о чем рассказал сейчас. А слушатели сопровождали меня до самой бани, и каждый хотел хотя бы прикоснуться ко мне.

. . . . . .

148. К тому, что мной уже сказано, следует добавить рассказ об одном случае, как будто неважном, но в то же время важном. Пожалуй, кому-нибудь из вас покажется, что я говорю о пустяках, но в ту пору я был огорчен до глубины души и переживал случившееся, как большое несчастье. Было у меня сочинение Фукидида, рукопись мелкая, но вместе с тем очаровательная; она была настолько легка, что я всегда носил ее сам, — хотя меня сопровождал слуга, — и это было для меня радостью. Прочитав о войне пелопоннесцев и афинян по этой рукописи, я почувствовал то, что, вероятно, чувствовали и многие другие, а именно — что я не мог бы с тем же удовольствием перечитывать это сочинение по другому свитку.

149. Всем и каждому расхваливая постоянно это мое приобретение и восхищаясь им больше, чем Поликрат своим перстнем [4], я сам привлек к нему внимание воров; нескольких из них я скоро изловил, но последний напряг все силы, лишь бы не попасться, так что поиски я прекратил, но горевать не перестал. Изучение Фукидида стало приносить мне значительно меньше пользы, чем

могло бы; и это произошло только потому, что по другой рукописи я читал его уже без удовольствия.

150. Но и эту, столь печальную для меня утрату Тихэ, правда, немало времени помедлив, все же сумела мне возместить. Я писал с грустью об этой рукописи моим знакомым, указывая ее размер, ее внутреннюю и наружную отделку и думал: где-то она теперь и в чьих руках? И вот один юноша, мой согражданин, купил ее и пришел к учителю, чтоб ее читать, а учитель, узнав ее по известным ему приметам, вскрикнул: — Та самая! — и пришел спросить меня, не ошибся ли он; а я схватил ее и обнял так, как можно обнять сына, долго пропадавшего без вести и неожиданно явившегося; я вернулся к себе в полном восторге и воздал благодарность богине; воздаю ее и теперь. Пусть тот, кому угодно, посмеется надо мной, что я говорю много громких слов о такой мелочи; но насмешки неуча не страшны.

. . . . . .

197. То, о чем было сказано, доставило мне радость;[5] но в то время, как я предавался ей, вдруг налетел жестокий вихрь, изгнал все услады и принес мне такое потрясение, какого никогда ранее я не переживал. У меня был брат, моложе старшего, в эту пору уже умершего, а я был средним; до моего отъезда с родины он жил со мной, а когда я устроился на жительство у вифинцев[6], он приехал ко мне верхом; очень уж хотелось ему поглядеть, как я обучаю молодежь.

198. Затем он вернулся домой, а я, по воле правителя[7], был вынужден остаться там же, откуда потом я и уехал домой. И вот мой брат является опять туда же, постоянными уговорами и просьбами убеждает меня вернуться, увозит меня домой.

С этих пор мы постоянно проводили время вместе. Он часто страдал болями в суставах, и тогда наши совместные трапезы были для меня тяжки.

199. Однажды в начале зимы, во время нашего общего обеда, он был поражен ударом от прилива к голове: он — что вполне естественно — громко вскрикнул, и слуги унесли его на руках к нему в дом. Ранним утром меня известили, что один глаз он потерял — вода хлынула из головы в этот глаз; а через несколько дней мне пришлось услыхать, что вода залила и правый глаз.

200. И все, что до той поры казалось мне ужасным, показалось неважным и легким в сравнении с тем, что произошло теперь; я не мог ничего делать без слез, и даже когда я произносил речь, — это было неизбежно, — в моем голосе звучали слезы, и никто им не удивлялся, ибо не было никого, кто не знал бы причины их. Плакал я и в купальне, — по распоряжению врача я должен был делать омовения, — плакал и за обедом; ведь я был лишен того, кто ранее делил со мной трапезу, кто

возлежал рядом со мной на ложе; а он, объятый мраком, пребывал и днем в ночной тьме.

201. Много врачей прилагало руки к его лечению, были применены сотни целебных средств и еще больше целительных амулетов; потом было решено прекратить эти попытки и обратиться к алтарям, молитвам и помощи богов. Я сам тоже ходил в храмы и плакал, но потихоньку; я не в силах был смотреть на изваяния, не мог обращаться к ним со словами мольбы, но, охватив руками колени, уронив на них голову, я орошал слезами плащ и уходил обратно. И видеть и не видеть брата было для меня равно нестерпимо; не видя его, я о нем тосковал, видя его лицо — страдал от этого зрелища.

202. Однажды под вечер, когда возле меня сидел старик врач, — мои книги лежали у меня под рукой, — я спросил его о том, что я уже знал, действительно ли мой брат ослеп окончательно; потом я лишился чувств и из моего сознания исчезло все, что я знал до тех пор, — где я лежу, о чем я говорил, что надо делать и чего не надо.

203. Когда старик привел меня в чувство, он уговорил меня прибавить несколько слов к речи, которую я как раз в то время составлял; и вот я беру мою запись в руки и убеждаюсь в том, что я даже темы этой речи не знаю, а из уже написанного не могу установить, какую цель она преследовала.

Тогда я бросил ее, сказав врачу, что я, видно, уже ни к чему не пригоден, спокойно лег, и мне вовсе не было стыдно от того, что я впал в такое безумие по поводу случившегося.

204. Хотя я испытал бесчисленное множество бедствий, но я не знаю, какое из них я мог бы счесть равным или более тяжким, нежели то, что произошло тогда; я даже винил богов, не пославших мне смерть вместо такого несчастья; ни одно из всех благ, которые выпали на мою долю, не могло бы уравновесить этого горя; какое блестящее выступление? Какие хвалы? Какие рукоплескания? Какие царские милости? Богатства, правда, я не стяжал, но даже если бы они превзошли все богатства Гигеса [8], то и тогда они были бы меньше моей скорби.

205. Вопреки всему я даже в эти столь скорбные дни казался достойным удивления, а следовательно, и счастливым, вот за какой мой поступок: зима в том году была неблагоприятна для урожая, а последующее время года оказалось тоже ничуть не лучше; хлеб либо вовсе не уродился, либо уродился в ничтожном количестве, да и тот был никуда не годный; в народе началось возмущение против городского совета, конечно, без справедливого на то основания (ведь совет — не владыка дождей); правители требовали подвоза зерна отовсюду, но цены на печеный хлеб все росли.

206. Филагрий, человек весьма родовитый, занимавший должность наместника, не имел возможности улучшить положение дел; если оно не ухудшалось, он уже и этим был доволен.

К пекарям он обращался с увещаниями быть более честными, но не считал необходимым применять более крутые меры, опасаясь того, что большинство их убежит из города. А в этом случае город обречен на гибель, как корабль, покинутый моряками.

207. Тогда те люди, которых раздражает, если должностные лица пользуются доброй славой, стали обвинять Филагрия, тем самым обнаруживая свое нечестие, ибо его считали богоравным; его благоразумное поведение в этом деле они объясняли не благоразумием, а тем, что он, будучи подкуплен, воздерживается от проявлений гнева, которые были бы полезны. Я смеялся над этими обвинениями и уговаривал его поступать так же. Сперва он следовал моему совету, но потом, увидев, что эти ложные слухи все более распространяются, был оскорблен и прибег к бичеванию, притом на открытом месте, чтобы возможно большее число людей могло его видеть.

208. Он сам, сидя на колеснице парой, велел бить пекарей плетьми, допрашивал их и требовал, чтобы они назвали того человека, которому они вынуждены давать такие взятки, что в дальнейшем при продаже хлеба им приходится поступать нечестно.

Так как они ничего не могли сказать, он приступил уже к бичеванию седьмого из них; я, не зная ничего и идя своим обычным путем, приблизился к этому месту, услыхал звук ударов, столь привлекательный для толпы, которая глазела на кровь, текущую по спинам бичуемых, увидел ужасное зрелище, нестерпимое для моих глаз, и не стал медлить: тотчас же своими руками я растолкал чернь; еще молча, но уже осуждая, подошел к колеснице, и вот там-то я уже не стал молчать, и речь моя полилась; особенно выделял я только две мысли — что ничего беззаконного бичуемые не совершили и что если Филагрий сейчас же не обуздает свой гнев, то завтрашний день будет для него таким, какого он вряд ли пожелает.

209. То, что я говорил, было справедливо и шло на пользу и правителю и городу, но, по мнению всех присутствовавших, грозило смертью говорившему, так как противоречило желанию черни; и уже у многих в руках были камни, стоило только кому-нибудь крикнуть... Как при первых же моих словах в меня не полетели камни, можно только удивляться.

210. Удивительно и то, что все внезапно утихли и не промолвили ни слова, пока я говорил: но это — не дело рук человеческих, а одного из богов и Тихэ, волею которых и бешенство моря утихает. С тех пор стали говорить, что я облагодетельствовал и тех, кто был спасен от бичевания, и правителя, и жителей, и весь город в целом, ибо люди перестали голодать, город не был сожжен, а правитель избежал веревки.

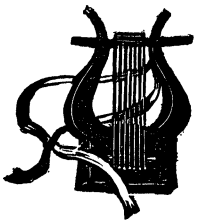
. . . . . .

235. Однажды боги даровали мне спасение; это было уже много лет тому назад, но так как я раньше об этом не рассказал,

то расскажу теперь. Один ремесленник сошел с ума и одних пугал издали, на других нападал. Особенно же он гневался на меня, и чуть меня увидит — хватает камни и кидает, порываясь меня убить.

236. Причины я и тогда не знал, да и теперь найти не могу. Когда присутствующие видели, что он швыряется камнями, они испускали крики, вызванные испугом перед его поведением, но руки в ход не пускали; за то рука богов усердно охраняла меня, ни один камень в меня не попадал: одни не долетали, другие перелетали.

237. Дело было летом, в полдень; я сидел, как обычно, возле одной колонны, изучая Демосфена; вокруг не было никого, ни свободного, ни раба. Безумный подошел ко мне, держа камень в правой руке; подойдя к главным дверям здания, — они не были заперты, и через них можно было заглянуть внутрь, — он увидел, что там никого нет, и ушел обратно, все еще держа камень; я видел все это, но не шевельнулся, а он даже не бросил на меня взгляда — кто-то из богов удержал его от этого. Иначе второго удара не понадобилось бы, чтобы покончить со мной — таких размеров был камень.



РЕЧЬ XI

ХВАЛЕБНАЯ РЕЧЬ В ЧЕСТЬ АНТИОХИИ

1. Любой человек мог бы с полным правом бросить суровый укор и мне, посвятившему речам всю мою жизнь, и вам, постоянно слушающим меня: ведь вы не раз с величайшим удовольствием высоко оценивали мое искусство произносить речи на различные темы и, бывало, даже сами предлагали мне темы, но никогда не ставили передо мной задачи изукрасить наш город хвалебной речью; а я, многих восхвалявший, многим подававший советы (ведь большинство речей, ныне имеющихся налицо, написано мной) и даже нередко выступавший в состязаниях на темы фиктивные, тут словно онемел и никогда не сказал ни слова в похвалу земли, породившей меня.

2. Вас, впрочем, нельзя укорять за то, что вы не искали себе восхвалителя; хвалу, правда, слушать приятно, но напрашиваться на нее, пожалуй, неловко; меня же это обвинение затрагивает непосредственно, ибо именно мне следовало как можно скорее уплатить этот важнейший долг, а я медлил и, беспрерывно произнося в этом же городе речи по различным вопросам, откладывал на дальнейшее речь о нем самом; я как бы на глазах у родной матери заботился о других, а ею самой пренебрегал.

. . . . . .

10. Большинство тех, кто пришел меня послушать, видит город в его нынешнем состоянии, а о прежней его славе не знает ничего; первым они восхищаются, а о второй думают, что ее, может быть, никогда и не было; поэтому они ожидают, что я сейчас же начну говорить о том, как велик наш город теперь и на-

сколько он превосходит в этом отношении другие города; я поступил бы так, если бы и сам думал, что он стал победителем только в настоящее время, а прежде находился в числе побежденных.

11. Но мне следует, сперва упомянув с уважением о временах минувших, говорить потом о нашем времени так, чтобы стало ясным, насколько наше прошлое и наше настоящее находятся в согласии между собой; то, чем город отличался в ту пору, отличает его и теперь, а его нынешней славе не уступает прежняя.

12. Прежде всего надо сказать, какие поселенцы первыми заняли эту страну, и побеседовать о ее природе, о свойствах ее воздуха, о ее положении относительно моря, об ее орошении, ее плодородии и вообще об ее богатствах. Поскольку сама земля существовала раньше, чем ее обитатели, то и восхвалить ее следует раньше, чем людей, заселивших ее.

13. Первой и величайшей хвалой нашему городу является качество самой почвы; ведь и для корабля главное — крепкий остов, к которому прикреплены все остальные его части. Об этом и следует поговорить прежде всего.

14. Я не стану подражать большинству ораторов, которые, как только начнут восхвалять какое-либо место — хотя бы и вовсе незначительное, — изо всех сил доказывают, что именно оно является средоточием вселенной; приписав какому-либо городу это свойство, тут же, конечно, они говорят, что он — красивейший из всех; и все это оказывается признаком одного-единственного города. Но ведь не могут же многие города быть средоточием вселенной; значит, большинство таких ораторов болтает вздор.

15. Далее, если бы положение в средоточии вселенной обеспечивало стране превосходство над другими и во всех остальных отношениях, то тогда, пожалуй, имело бы некоторый смысл спорить об этом вопросе; но ведь Египет и Дельфийская скала [1] не равны между собой по плодородию; поэтому зачем доказывать, что данное место — средоточие мира, а не сказать о нем просто, что оно прекрасно?

16. Именно это и надо прежде всего сказать о моей родине: она — прекраснейшее место страны прекраснейшей из всех стран, лежащих под небом. Ведь все согласятся, что наилучшее место на земле — то, на которое восходящий бог бросает свои первые лучи.

17. За обладание этой частью земли сражаются цари, и тот, кому она достается, тем самым становится выше всех других; само название этой страны, касаясь слуха людей, ласкает его какой-то особой прелестью и наполняет сердца такой усладой, какой порою радуют спящих сады, которые они видят во сне.

18. А на всем Востоке, который сам стоит на первом месте, первое место принадлежит нам. Во всех других странах почва

одно дает, а другого не дает; кое-где — Зевс свидетель! — она даже дает как будто все, что угодно, но редкие колебания погоды приносят всяческие бедствия; а где этого нет, там недостаток воды уничтожает прочие преимущества.

19. У нас же почва, орошение, погода как будто соревнуются друг с другом. Почва лежит глубоким и настолько ровным слоем, что напоминает тихое море; она жирна и мягка, легко поддается плугу, а ее дары превосходят все желания земледельцев; она хороша и для посева хлебов, хороша и для посадки плодовых деревьев, и на ней одинаково прекрасно произрастают и те и другие: в должный срок она выращивает деревья и порождает колосья выше, чем деревья в иных странах, дает изобилие плодов, красота которых превосходит их изобилие.

20. У нас нет недостатка ни в чем, чем приятно обладать: назови имя Диониса — он у нас справляет свои вакхические празднества, назови Афину — наша земля покрыта кудрями ее любимого дерева:[2] обильные потоки вина текут от нас в соседние страны, и еще больше оливкового масла развозят повсюду наши грузовые суда.

21. Деметра возлюбила наш край больше, чем Сицилию: ведь Гефест на щите изобразил хлебное поле золотым[3], а Деметра дала нам землю, цветом подобную золоту, и в то же время нигде не найти плодов, равных плодам этой земли; она — подлинный дар златокудрой богини.

22. Горы у нас расположены по-разному: одни лежат внутри страны, другие — по краям ее, третьи — пересекают равнину; проходы между ними то широки, то узки. Одни горы отличаются высотой, вознося ввысь свои вершины, другие настолько плодородны, что вступают в состязание с равниной, и земледельцы, которые распахивают своими упряжками землю на горах, трудятся не напрасно; все то, что в иных странах находит питание только на равнинах, у нас родится и в горах, а то, что там дарят только горы, у нас рождают и равнины.

23. Наш край не распадается резко на области, где разводят только плодовые сады, и те, где родится только хлеб; у нас можно видеть в одном и том же месте мощные деревья, а под деревьями тучные поля; но чаще плоды и хлеб, вырастая порознь, потом сливаются в общем изобилии: одна часть страны богата пшеницей, другая — виноградом, третья — соединяет в себе и то и другое.

24. Те горы, которые по плодородию не уступают равнинам, не позволяют голоду легко распространяться по всей стране. Резкие перемены погоды по-разному действуют на разные области страны: то, от чего страдают низменности, меньше влияет на возвышенные места, а бедствия, постигающие горные местности, часто не затрагивают равнины, так что по большей части средства к жизни сохраняются невредимыми, и либо вся страна обеспечена ими, либо хотя бы одна из ее частей.

25. А горы с неплодородной почвой оказываются полезны в других отношениях; в одних есть каменоломни, доставляющие камень для кладки стен, другие дают дерево для разных поделок и топливо для пекарен и бань, что дает возможность и существовать и наслаждаться.

26. Пастбища для овец и коз тоже доставляют жителям питание, так что ни одно из богатств страны не остается неиспользованным (как бывает с искалеченными членами тела), но земля то щедро одаряет людей за их труд, то, не требуя от них труда, несет им дары.

27. А сколько рек протекает по нашей стране, — кто может сосчитать? Среди них есть и большие и малые, есть неиссякающие, есть и рождающиеся из зимних снегов, но все они одинаково полезны; одни из них бурно несутся с гор, другие берут начало на равнинах, одни сливаются друг с другом, другие текут к заливу, третьи впадают прямо в море.

28. Мы также хорошо знаем, каково изобилие наших источников, и никто не станет столь дерзко презирать наших нимф, чтобы утверждать, будто и в другой стране их имеется столько же, сколько здесь.

29. И над нашей землей плавно ведут свой хоровод Оры, не нанося никакого ущерба ее прелести; ибо ни зима не проявляет жадности и не отнимает времени у весны, присваивая себе ее радости, ни лето не затягивается до самой зимы, уничтожая промежуточную пору, лежащую между ними; каждое время года остается в своих границах, каждое отрезает себе от года равную с другими часть и отступает при появлении времени, следующего за ним. И что важнее всего — те времена года, которые вредят телу (одно — чрезмерным холодом, другое — чрезмерным зноем), у нас становятся умеренными и хотят уподобиться временам более мягким.

. . . . . .

34. Вот как распределены у нас времена года; а положение наше относительно моря таково, что если бы оно было иным, то я счел бы это большим недостатком: мы не удалены от моря на несколько дней пути, но и не живем на самом берегу его.

35. Я вкратце скажу, в чем состоит невыгода того и другого положения; впрочем, всем ясно, насколько неудобно быть совсем лишенным моря, — и не ошибется тот, кто назовет такой город «кривым на один глаз»; а вот в чем заключаются преимущества положения города не у самого моря, это надо показать.

36. Прежде всего морское побережье подвержено страшным наводнениям, и города, лежащие на плоских берегах, неминуемо должны постоянно находиться в страхе и никогда не чувствуют себя в безопасности — ведь было немало примеров затопления городов.

37. Далее, хотя многих радует возможность глядеть на поверхность моря, на плывущие по нему суда и слушать клики моряков, но эта радость часто превращается в ужас, когда на берег несутся ряды волн и прибой топит корабли на глазах у тех, кто недавно восхищался их видом, когда клики моряков превращаются в вопли о помощи и весь город полон речами о кораблекрушениях.

38. А хуже всего для приморских городов то, что они кишат моряками, не знающими приличий, что в них шумит грубая чернь, орут уличные скоморохи — одним словом, есть все, что сильно портит нравы; эти города постоянно должны принимать в себя чужаков, приплывающих издалека, а их собственные жители отправляются в плавание; и дурные нравы этой части населения распространяются на всех живущих в городе.

39. А положение нашего города дает нам возможность пользоваться всеми благами, которые может принести море, но оставаться чистыми от зол, связанных с близостью к нему; как и те, кто живет в глубине страны, мы избавлены от пороков, но вместе с прибрежными жителями наслаждаемся преимуществами приморского положения.

. . . . . .

196. Но пора уже поговорить о внутреннем устройстве города и о его величине: я думаю, нет среди ныне существующих городов ни одного, который при таких огромных размерах был бы столь красиво распланирован. Начинаясь на востоке, тянется по прямой линии на запад двойной ряд высоких портиков; их разделяет улица, лежащая под открытым небом, мощенная камнем; ширина ее равна ширине портика.

197. Улица, которая тянется между портиками, настолько длинна, что если бы при прокладке ее нужно было выравнивать почву, то потребовалось бы много рук, а пройти ее пешком из конца в конец было бы трудно и пришлось бы пользоваться лошадьми; но ее не пересекают ни овраги, ни кручи, и ничто другое не препятствует движению по ней, а подъемы и спуски переходят друг в друга так ровно и плавно, как краски на картине, ложащиеся по желанию художника.

. . . . . .

212. Когда ты идешь по этой улице, то перед тобой стоят частные дома, повсюду между ними вклиниваются государственные здания, то храмы, то купальни, расположенные так, что из любой части города к ним легко пройти; и у всех этих домов входные двери выходят в портики.

213. Зачем я все это рассказываю? И почему я считаю нужным так много говорить о портиках? Мне кажется, что самой приятной стороной жизни в городе — а пожалуй, и самой полезной — является возможность встречаться и общаться с людьми;

клянусь Зевсом, названия города в полном смысле слова заслуживает только тот, где возможностей для этого имеется много.

214. Ибо ведь недурно и самому поговорить, еще лучше послушать, а всего приятнее — подать кому-нибудь совет, принять подобающее участие в судьбах приятелей, с одними повеселиться, с другими погоревать, да и от них получить то же самое в равной мере; одним словом, в общении друг с другом возникает множество поводов к сближению.

215. Так вот, если к услугам жителей нет таких обширных портиков, то зимой они разобщены; они только по виду живут в одном и том же городе, а на деле далеки друг от друга, словно обитают в разных городах, и подчас расспрашивают о своих соседях так, будто те находятся в отъезде. Из-за дождей, града, снега и бурь они должны сидеть дома взаперти, словно узники; даже рабы, которые привыкли к самым тяжелым работам, едва высунут нос на площадь, как уже бегут обратно. А как только погода разгуляется, все жители, словно спасенные от гибели в дальнем морском плавании, обнимают и целуют друг друга; ведь они за это время не выполнили многих обязанностей, которые налагает на них дружба, и им приходится ссылаться не на свои собственные упущения, а на обстоятельства, помешавшие им сделать это.

216. А у нас Зевс не посылает ни крупного града, ни густого снега, ни проливного дождя, которые могли бы прервать общение жителей между собой; смена времен года протекает своим чередом, но она не влияет на непрерывность общения; дождь бьет по крышам, а мы спокойно ходим себе по портикам и садимся все вместе, где нам покажется удобным.

217. Да и те, которые живут в самых дальних переулках, добираются до портиков, не вымокнув, так как к крыше каждого дома прикреплен деревянный навес, защищающий пешеходов от потоков дождя. Поэтому у жителей иных городов дальние расстояния служат помехой общению, а у нас непрерывное общение ведет к расцвету дружеских чувств; там они ослабевают, у нас укрепляются.

218. Таким образом, наши длинные портики обеспечивают нам возможность получать не только удовольствия, но и самое важное в человеческой жизни. К ним же примыкают и ристалище, и театр, и купальня; первое настолько велико, что в нем хватило бы места для состязания между бегунами, отпрысками Борея[4], а огромное число ступенчатых сидений позволяет толпам горожан посещать зрелища. В театре же то сливаются, то спорят друг с другом звуки флейт, кифар и голоса певцов, а на сцене разыгрываются представления.

219. Кто мог бы перечислить все виды театральных зрелищ, борьбу атлетов, сражения людей с дикими зверями? И все это происходит в самом городе, так что зрителям не приходится ради получения удовольствия переносить трудности долгого пути.

220. А кто не придет в восторг от купален? Одни из них приспособлены для зимы, другие — для лета, одни ограждены от ветров, другие подняты высоко над землей и с ней не соприкасаются.

221. А что касается домов, то из них одни отличаются современной роскошью отделки, другие построены в скромной манере прежних времен, избегающей всего вычурного и неизящного.

. . . . . .

244. Наше особое преимущество перед другими городами состоит в том, что наш город в изобилии снабжен водой. Даже если кто-нибудь посмеет дерзко отрицать другие его достоинства, то чуть упомянешь о наших водах, умолкают все. Красота их не уступает их изобилию, изобилие побеждается красотою, вернее, изобилие их безмерно, а прелесть — восхитительна. Каждая общественная купальня богаче водой, чем река, а из частных некоторые столь же обильны водой, другие — лишь немного беднее.

245. Сколь мы богаты источниками, можно понять, подсчитав огромное число наших домов: ибо сколько домов, столько водоемов, вернее — в каждом доме их имеется несколько, и даже многие мастерские могут этим похвастаться.

247. Поэтому у нас никогда не бывает побоищ около общественных водоемов из-за того, кому черпать воду первым; а такие неприятности случаются во многих городах, богатых золотом; там бывает давка возле общественных водоемов, рыдания по поводу разбитых кувшинов, драки подле колодцев. А у нас, поскольку у каждого есть свой водоем внутри дома, общественные служат лишь для украшения города.

248. Насколько прозрачна у нас вода, ты можешь легко увидеть, если наполнишь бассейн, а потом прекратишь приток воды; он тебе покажется пустым, настолько ясно сквозь воду просвечивает дно; уж я и не знаю, способно ли это зрелище скорее распалить жажду или утолить ее; оно и манит выпить воды и радует взгляд до того, как ее выпьешь.

. . . . . .

270. Какой же город достоин сравнения с нашим городом? Он богаче самых древних; иные города он побеждает величиной, другие — благородством, третьи — плодородием своей земли. Если он уступает одному городу строениями, то превосходит его обилием воды, мягкостью зимы, изящным воспитанием жителей и любовью к мудрости, а город, еще больший по размерам [5], он превосходит своей редкостной красотой, эллинской образованностью и искусством речи.

271. Итак, одни города слишком малы, другие, хотя и велики, но чужды Афродите [6]. А здесь богиня, родившая Эрота, излила свое очарование на огромный город, и если ты, покинув его, приедешь в другой, то вспомнишь о нем, а приехав сюда, забу-

дешь тот город, где жил прежде. Поэтому можно простить тех, кто, поддавшись чарам этого города, забудет и о родителях и о родной стране: ведь они увидели город, равного которому нет, и знают, что нигде не найдут ничего подобного ему.

272. Я уплатил свой долг стране, породившей меня, в меру моих сил, но в меньшей мере, чем мне хотелось бы. А на будущее время я смело могу утверждать, что если кто и превзойдет своим искусством эту речь уроженца нашего города, то никто не сможет произнести речи, которая по своим достоинствам сравнялась бы с самим городом.

ДЕКЛАМАЦИЯ XXVIII

О ПАРАСИТЕ, УПУСТИВШЕМ ОБЕД

Парасит, приглашенный на пир, желая прибыть на место как можно скорее, нанял верховую лошадь в гипподроме и поскакал к дому гостеприимца; перед входом в дом стоял жертвенник, и лошадь, думая, что она должна обогнуть его как мету, обежала вокруг жертвенника и поскакала обратно, унося парасита на себе; он, оставшись без обеда, на следующий день рассказывает о происшедшем.

1. У меня нет сил рассказать вам о том, что я претерпел; я потерял голос — настолько я изнурен голодом, изменила мне и память — я ведь и глаз не сомкнул; да как я мог бы заснуть с пустым брюхом? И все же у меня должны найтись силы бороться с голодом до тех пор, пока я не поведаю вам о моих страданиях — и тогда уже я распрощаюсь с жизнью.

2. Как смогу я жить дальше, я, лишившийся богатейшего угощения? Не лучше ли мне уйти навсегда, чем слушать от других, каким пиршеством они насладились и каких благ пришлось лишиться мне одному? А ведь именно мне следовало первому воспользоваться этими благами и потом рассказывать об этом другим.

3. Всем, кто занимается тем же ремеслом, что и я, кажется, будто смерть следует предпочесть жизни, если им не удается пообедать, а дома, как ни хитри, даже самого необходимого пропитания не раздобудешь; я полагаю, что такие люди, соблюдая благородство, с полным правом презирают смерть; у тех, кому не удается безнаказанно пристроиться к готовой трапезе, следует отнимать и жизнь.

4. А я, злополучный, именно тогда, когда находился уже на верху блаженства (все это искусно устроила для меня богиня Тихэ через моих друзей), был повергнут в бездну несчастья, прямо не знаю каким образом — наверное, надо мной поиздевался какой-то злобный демон; и остался я не евши, словно сидел в осажденном городе, и голод терзал меня с удвоенной силой: ибо я, готовясь к обещанному пиршеству, хорошенько прочистил себя, чтобы лучше воспринять то изобильное угощение, на которое я надеялся; а так как надежды обманули меня, то мне уже нечем утешиться в моей беде. Какое же прибежище от зол остается мне, кроме смерти?

5. Тем труднее мне переносить постигшее меня несчастье, что и винить мне в нем некого, а приходится расплачиваться только за мое собственное неразумие. Не знаю, с чего мне начать сетовать на то, что произошло со мной, тем более что мои же собственные слезы прерывают мои сетования. Начать ли мне с благожелательного приглашения, осчастливившего меня, с предстоявшего мне путешествия или с той торжественной прогулки, которую я, злополучный, проделал, чтобы поскорей поспеть на пир? Или с того злосчастья, которое настигло меня уже на самом пиру, или с моего возвращения в мой темный дом, к погасшему очагу, или с того мучительного голода, который не дает мне даже толково пожаловаться на мою беду?

Но я все же постараюсь рассказать вам шаг за шагом все, что я претерпел: ведь и больным приносит облегчение, если они могут кому-нибудь рассказать о своих страданиях.

6. Так вот, один из моих знакомых позвал меня на пир и велел гостям собраться как можно скорее; он сильно хвастался тем, какое будет угощение. А что меня касается, то я с детства усерднейшим образом затвердил одно очень важное правило для тех, кто нуждается в пропитании, и сейчас же сказал себе: «У тех, кто приходит первым, и голова в порядке, и место им найдется подходящее». Как только я получил приглашение, я тотчас же приступил к делу как можно скорее.

7. Я горько упрекнул природу за то, что она не создала меня крылатым — с какой легкостью я мог бы тогда помчаться на пир; но тут же мне пришла в голову одна уловка, чтобы поскорее пуститься в путь; я, злополучный, надеялся, что поступаю разумно, а на деле вышло — сильно просчитался. Я недооценил верную службу моих ног; ведь знаю я, что нередко удавалось мне уподобиться крылатым птицам, когда пора было бежать на обед. А тут я задумал превзойти быстротой персидских хвастливых всадников и раздобыть верховую лошадь, чтобы таким образом в приличном виде явиться к тому, кто меня пригласил. Я полагал, что и свой путь ускорю, и гостям покажусь лицом более значительным.

8. Приняв такое решение — если только это можно назвать решением, а не безрассудством — я не стал просить ни моих зна-

комых, ни кого-нибудь из граждан одолжить мне коня; я знаю, что они — хозяева неважные, и их лошади вскормлены такой же скудной пищей, как я сам. Поэтому я присмотрел себе в гимнасии на ипподроме коня, искушенного в состязаниях, и вот я, дурак, быстро выбежал из бани, спеша поразить всех моей необычайно быстрой верховой ездой.

9. Я забыл, злополучный, и о том, что не успел поесть, забыл про свой голод, не посчитался со своим самолюбием, и выпросил себе... не коня, а смерть мою; следовало бы, конечно, отправиться в путь, вымывшись, но что уже говорить о мытье! Я проскакал мимо бань, ошалев от восторга, — все прочее казалось мне пустяками, — и гордо помчался вперед.

10. В каком же направлении — клянусь гостеприимною трапезой — свернул я, несчастный, надеясь на угощение и попав в судилище? [1] Впрочем, поначалу все шло к цели, как было задумано, и я летел по дорогам и улицам с такой быстротой, что слышал, как одни сравнивали меня с гиппокентавром [2], другие называли Беллерофонтом, а большинство даже не успевало разглядеть, кто мчится мимо них, и если они обращались ко мне с вопросом, то отвечал я уже кому-то другому. Вот сколь невероятна была скорость моего движения.

11. Однако мне уже давно приходилось слышать, что тех, кому везет, преследует зависть судьбы, а теперь я в этом полностью убедился на собственном опыте; послушайте же, что я претерпел, — я, достойный удивления крылатый всданик, привлекавший к себе взоры всех: оказалось, что перед домом моего гостеприимца стоит жертвенник. Что я говорю? Жертвенник? Это был надгробный памятник, воздвигнутый над моей могилой!

12. Так вот, я очутился уже у цели, уже находился у самых ворот, уже вдыхал запах растопленного сала, уже несколько критских псов почуяли наше приближение, уже я слышал стук поварских ножей, уже протягивал руку к чашам с вином, уже двигал челюстями и острил зубы, и мне оставалось только возлечь за столом, как вдруг конь, — будто в него ударила молния или его кольнули стрекалом, — промчал меня вокруг жертвенника, словно вокруг меты на ристалище, так что я чуть не отшиб себе левый бок; и обогнул он его так круто и с такой точностью, что я едва не грохнулся оземь.

13. О, если бы это случилось! Ведь упади я на землю, меня бы, конечно, подняли и внесли в дом; а для нас самое лучшее лекарство в болезнях и в любых неприятностях — обильная пища.

А я, не предвидя, что со мной произойдет, вздумал не вовремя показать свое искусство в обращении с лошадьми. И вот понесся я обратно по той же дороге; как хохотали всякие насмешники, как удивлены были все, стоявшие у ворот, и говорить не стоит!

14. Неудержимо мчался я по переулкам; все случившееся со мной было, конечно, карой богов; я умолял встречных о помощи, крича: — Остановитесь, о люди! Будьте человеколюбивы, воспрепятствуйте этому гибельному полету ради чад ваших, ради жен! — Но человеческая помощь была бессильна: чем лучше слышал конь мои вопли, тем больше он ускорял свой бег. Как видно, кони, приученные к состязаниям на ристалище, слыша громкие крики зрителей, напрягают все силы, чтобы бежать как можно быстрее; ибо этот конь, похитив меня, несчастного, носился так долго, что меня застала поздняя ночь, и ни на миг не прекращал он свой полет, так что я окончательно пропустил угощенье.

15. О злосчастная медлительная скорость, о бессмысленная неслыханная быстрота, о скованный бег! Летя, я был пригвожден, торопясь, я был недвижим, я опаздывал, спеша, я стоял на месте, мчась вперед! О многослезный жертвенник, я не в силах назвать тебя многочтимым, о проклятое преддверие, о враждебный людям очаг!

16. Поэты в трагическом тоне рассказывают, что листригоны губили тех, кто проникал к ним, — но если они губили их после трапезы, сколь блаженной была эта гибель! Рассказывают сказки и о пещере Кирки; но если она превращала людей в свиней и в разных других животных, то она, конечно, давала им и пищу, для каждого из них подходящую. Но хуже листригонов и хуже жилища Киклопов оказался для меня этот злополучный очаг!

17. Поэтому я ухожу от людей: я выстрадал больше, нежели может перенести человек! Ведь одного огорчает потеря имущества, другого привела к смерти утрата детей, а меня все это не могло бы опечалить: людей моего рода ничто подобное не затрагивает; но лишиться пиршества и угощения, когда где-то поблизости всего было в изобилии, это — из всех бедствий самое ужасное.

18. Пожалуй, кто-нибудь скажет: — Ради Зевса ободрись! Наверное, тебе будет прислано приглашение на другую пирушку у того же самого гостеприимца. — Конечно, надежды прекрасны и вдохновляют к речам, но я знаю, как гневаются хозяева, когда кто-нибудь не отзовется на их приглашение, даже если приглашенные оправдываются невозможностью прийти и ссылаются на разные помехи.

19. В этом-то и вся беда: тем, которые должны вымолить себе прощение за то, в чем они провинились, уж не до гордости; пусть даже они явятся с клятвами и слезами, их все равно сочтут не злосчастными, а злонамеренными; хозяева думают, что приглашенный нарочно поступил с ними невежливо, и не прощают того, кто их не посетил, тем более что они знают его как ловкача по таким делам.

20. И правда, чем можно мне оправдать свое отсутствие? Тем,

что у меня будто бы не было времени? Но приглашавший меня хорошо знает, что у меня всегда есть время, чтобы хорошо поесть. Тем, что я занят домашними делами? И это скажет тот, у кого и дома-то нет? Тем, что меня задержали дома дети или жена? Но он знает, что я и один-то едва перебиваюсь. И чем больше бросается в глаза, что все это — лишь отговорки, тем более заслуживающей презрения покажется ему моя внезапная расточительность: ведь всем известно, что я отлично могу ходить пешком и что, идя на пир, обгоняю любого; и уж во всяком случае сюда я мог идти на своих ногах, а мне вдруг понадобились еще чьи-то ноги; как будто для разных других дел мне и свои ноги достаточно хороши, а тут — как позвали на угощенье — я вдруг захотел уподобиться крылатым птицам. Я думаю, приглашавший теперь и знать меня не захочет.

21. И если даже он великодушно воздержится от упреков и, пожалев о моей беде, известит меня нынче о приглашении на ужин, то откуда же мне раздобыть обед, чтобы победить голод? Как же мне не умереть в ожидании такого благодеяния? Как не расстаться с жизнью до пирушки? И вынесу ли я во второй раз несчастье, ниспосланное мне судьбой, если мне придется обмануться вторично и вторично умереть?

22. Не следовало всему конскому роду вообще встречаться с людьми, а, встретившись, надо было оставаться неприрученным. О, что сделал со мной этот, навсегда памятный мне конь! Каких роскошных яств он лишил меня, каких наслаждений! Искони были кони враждебны людям, издавна в трагедиях на сцене изображались беды, по их вине случавшиеся с людьми [3].

23. Не они ли побудили амазонок изменить свойственную им природу? Женщины, высоко вознесшиеся на конях, были посрамлены и после первого же испытания уничтожены ими [4]. Разве мы не знаем, что это лийские кобылицы Диомеда вместо своей обычной пищи насыщались человеческими телами? А в бедствиях Трои и разрушении Илиона разве не конь виновен?

24. О, если бы я попал в число погибших под Троей! Там были попойки, изобилие яств, веселье, и смерть пришла незамеченной; а мой конь вверг меня в беду неевшим, непившим, не повеселившимся.

О Гомер, божественнейший из всех поэтов! Все, что создано тобой, — сущая правда; и твой стих:

Но умереть голодною смертью всего ненавистней [5] —

заключает в себе вернейшую, правдивейшую мысль. Наверное, ты сложил его вместо Одиссея голодая сам; эти слова вдохновенны и правдивы.

25. Об одной милости, судьи, умоляю я вас (ведь я уже от-

хожу, я чувствую, как я коченею): ежедневно совершать надо мной возлияния; говорят, это приносит умершим немалое утешение; если же вам будет угодно, давайте мне и поесть.

26. Если вы захотите поведать о моем несчастье наглядно, вы еще больше облегчите мне мою страшную участь: изобразите же на моем надгробии попойки и пирушки, а меня — возлежащим на них и уже не страдающим. Но пусть никто не подводит ко мне коня, никто не изображает, как я приближаюсь к нему; он погубит меня и там, он опять помчится, унося меня голодным. Но пусть будет изображено изобилие яств, и покажите меня здесь, на земле, совершенно удовлетворенным.

ГИМЕРИЙ

ЭПИТАЛАМИЙ СЕВЕРУ[1]

Вступление к речи

1. Излишним, может быть, покажется толковать о том, как адлежит составлять свадебные речи. Разве там, где царят Гимей, хороводы и поэтическое своеволие, уместно говорить о заонах мастерства? Но поелику полагается, чтобы умелый оратор аже в такого рода речах не обходился без них, следует посвять этому несколько слов. Так вот, золотое правило свадебных ечей: в слоге сообразовываться с поэтами, в содержании — с данми условиями, в объеме — с имеющимся материалом. Удастся и достичь этого нашему эпиталамию, будет ясно из дальней- его. (2.) Речь состоит из четырех частей: первая — вступление; но в изящной форме дает понятие о замысле, согласно которому

оратор построил свою речь; вторая часть посвящена теме брака; хотя она по своей природе не нова, мы, однако, необычностью доводов и способом изложения мыслей постарались придать ей приятность и сообщить нечто сладостное для людей любомудрых, что не укроется от того, кто искушен в науках. Третья часть — восхваление новобрачных; она перечисляет все, что достойно хвалы, исполнена живости и вполне подходит к случаю. Кончается эпиталамий описанием невесты; здесь он обнаруживает поэтические цветы и обретает парение.

Речь

3. Рассказывают, что Аполлон, после одержанных им великих лирных побед [2], перед дверьми спальни запел свадебную песнь. Если слова поэтов не сказка, сперва она огласила долины гор и пещеры: бог ведь пел ее для своего любимца [3]. Поэтому, отроки, и нам следует, раз мы скликаем наших Муз на брачный хоровод любви, позабыть сурово бряцающие напевы, чтобы с девами вместе в честь Афродиты водить хороводы. (4.) Сколь, однако, трудно сочинить такую нежную песню, чтобы она полюбилась этой богине, можно узнать у поэтов; они, я думаю, более искушенные в делах любовных, рассказали о вражде Геры к отрокам и девам [4], но таинства Афродиты предоставили воспеть на лире лесбиянке Сапфо в ее эпиталамиях. Она переступает порог спальни, ткет полог, стелет ложе, приводит в дом жениха дев, Афродиту на колеснице, Харит и сопутствующий богине веселый сонм эротов. Цветами гиацинтов обвивает она волосы богини, оставляя свободными лишь ниспадающие на виски кудри, так что они слегка волнуются при движении. Крылья и локоны эротов Сапфо убирает золотом и посылает их толпу перед колесницей с высоко поднятыми в руках факелами. (5.) И нам необходимо такое же искусство, ибо новобрачный не чужд Муз; он еще недавно делил с ними веселые досуги, но нежданно убежал из нашего стана, чтобы предаться буйствам Афродиты. Поэтому-то и мне полагается присоединиться к брачному хору. Ведь и пастух в полях берется за свирель, когда видит, что вскормленный им бычок созрел для игр Афродиты; не обходятся без песни и те, кто пасет коней, когда их жеребята начинают в играх с кобылицами подражать взрослым жеребцам. Не безмолвствовал бы и Хирон на свадьбе Ахилла, если б тот не любил Гипподамию [5] тайно. Я слышал также, что Пан, пастушеский бог, громче играл на свирели, когда в пещере на Крите Дионис сочетался браком с Ариадной. (6.) Теперь я хочу напомнить вам другой миф. Посейдон любил Пелопса. Он обучал еще юного отрока скакать верхом и гнать колесницу по морским волнам, едва касаясь воды. Когда же страсть к Гипподамии заставила Пелопса служить Эроту и Афродите, бог собирает хоровод нереид и на самом берегу моря воз-

водит для него брачный покой [6] (покоем, мне думается, служила волна; сине-багряная, высокая, она выгибалась над ложем, чтобы создать подобие стены). Кроме того, он поет Пелопсу свадебную песнь. Мы, однако, подобное прославление оставим прочим богам и Посейдону и будем славить брачное торжество, как это принято, по порядку, начав с рассказа о том, откуда произошел самый брак и свадебный покой.

7. Существовал бог и существовала природа. Он хотел потомства, она — бремени зачатия, но брака еще не было, и с тем, что способно к зачатию, еще не сочеталось то, что призвано оплодотворять. Для того чтобы положить этому начало, сама Вселенная стала брачным чертогом для Вселенной. От этого брака произошли небо, солнце, сонм звезд, луна и оба небесных полюса, вокруг которых осуществляется жизнь этого первого поколения, происшедшего от первого брака божества. (8.) Затем совершился брак Океана и Тефии [7], от которых родились реки, озера, «и родники, и ключи, и глубокие воды колодцев» [8], и матерь всех вод — море. Далее были порождены растения и животные, земля заселилась, в море появились рыбы, воздух стал дорогой для крылатых. Брак этот соединил растения с растениями, реки с источниками, град и дожди с землей, Нил с Египтом и всякую мужскую сущность с женской. Тогда Истр воспылал любовью к Боспорскому морю, а Рейн к Кельтскому; столь близкие друг другу реки, происходящие из одного источника, разъединил Эрот — Истр он сделал женихом Эвксинского Понта, Рейн — Атлантики [9]. (9.) А свидетель божественных деяний и вершитель всего на земле, человек, произошел от этого брака последним. Рассказ же о том, будто человека породила аттическая земля, разверзшись в родильных муках, — только сказка, шутливая выдумка этой изобретательной страны. Брак, который произвел на свет человека, уготовал ему все, что населяет сушу и море; ради него плуг покрыл землю бороздами, корабли рассекли волны, кони были укрощены уздой. Он дал оружие войне, услады миру, старости почет, юности — цвет и сладостную надежду на потомство. Поэтому мы и чтим жертвами брачных богов, славим покровительницу брака, Геру, и воздвигаем алтарь Зевсу — блюстителю брака. Далее самое Афродиту, скрытую волнами моря, брак в ослепительном блеске показал белому дню, разорвав для ее рождения лоно морских вод. (10.) А род героев, стоящих между богами и людьми, откуда он появился, как не от того же брака! Постигнув, что недопустимо соединять высшие существа с низшими, брак породил создания, занимающие среднее положение между небожителями и смертными, дабы передавать долю божественной природы природе низшей, — вот почему Геракл подвиги совершает, Дионис лозы сажает, Асклепий врачует, а судьбами плывущих по морю управляют Диоскуры. Прославлять брак должны Музы, ибо порождены от него, и Аполлон, ибо браком произведен на свет, и Гермес, ибо также произошел от брачного союза. (11.) Если б

мне вздумалось рассказать о любовной страсти рек, огромный поток вод влился бы в мою речь. Ибо все они, мне кажется, влюблены в море и поэтому стремительно бегут к морю, словно друг перед другом спешат приветствовать возлюбленную [10]. А если понадобилось бы взаимное влечение рек считать браком, их союз тоже можно было бы прославлять. Брак приносит в дар речному потоку его соседку Фисбу [11], превратив ее из девы в речную воду, хранит их любовь и после превращения, сливая воедино волны невесты с волнами жениха. Энипей был известен как ненавистник любви. Но дабы и его оделить каким-нибудь любовным мифом, рассказывают, что в его водах сочетался браком бог Посейдон [12]. Энипей бьет в берега и ликует, становится сине-багряным и выгибается брачной сенью, как мне думается, похваляясь перед другими реками тем, что только ему одному доверены любовные страсти Посейдона. Но довольно вспоминать иноземные мифы! Ведь жажда брачного соединения заставляет аттический Илисс безумствовать по аттической родниковой струе. И дабы мы не корили его за то, что, словно какой-нибудь соблазнитель мальчиков, он скоро изменит любимой, Илисс украшает не только ее воды, но и прозвище, к которому присоединяется слово «красота» [13].

12. Прекрасны все перечисленные нами блага брачного союза, прекрасны и те, которые воспевают поэты и которые принято славить у дверей свадебного покоя. Однако сегодня заключенный брачный союз запечатлен особой прелестью. Не по прихоти случая сочетаются друг с другом новобрачные, но, как молодые конипогодки дружно бегут рядом в одной упряжке, так и эти двое пожелали соединиться, будучи одного возраста, одинакового воспитания и сходны во всем прочем. Рассказывают, что однажды Олимпиада, которой впоследствии выпало счастье стать матерью Александра, участвуя на Самофракии в мистериях кабиров [14], увидела там Филиппа (тогда он был еще очень молод), а увидев, влюбилась в юношу, дала согласие на брак и сделала мистерии преддверием брачного торжества. (13.) Фракийский город, названный по имени царя Филиппа [15], — родина невесты; к северу от него — земля скифов, к югу — Эгейское море. Происходит невеста от самых знатных людей Фракии, во Фракии рожденных и возводящих свой род к царям; она с материнской и отцовской стороны в родстве с Гермогенами, Медами и нынешней фракийской знатью. (14.) Из краев, называемых Понтом Зевса [16], происходит жених; основатель его рода — знаменитый Андрокл; [17] от Андрокла, словно от одного корня, произросло множество отпрысков, распространилось по всему кругу земному и осчастливило многие города. То же, я знаю, было с родом Пелопидов: его основатель, переселившись из Ионии в землю эллинов, передал в дар потомкам славу своего имени [18]. Люди считают за великую честь хотя бы по одной линии быть сопричастными славе Андроклова дома; как реки, беря начало из одного источника, а затем разделившись, вновь сливаются воедино, так и род

Андрокла, рассеянный по всей земле, ныне снова воссоединяется. Говорят, что Ахилл родился от матери богини, отцом же его был смертный муж — Пелей; а новобрачный — отпрыск двух во всем равных друг другу родов.

15. Таково происхождение жениха и невесты. Еще более они сходны между собой нравом и цветущим возрастом: они, как молодые розы на одном лугу, в одно время появились на свет, в одно время раскрывают свои лепестки; душевное же их сродство удивительно — оба стыдливы и чисты нравом и отличаются друг от друга только свойственными природе каждого занятиями. Она изощрилась в тканье шерсти, славном деле Афины, он обретает радость в трудах Гермеса; у нее на уме ткацкий челнок, у него — речи; она держит лиру, он не расстается с книгой; ее любит Афродита, его — Аполлон. Новобрачный первый среди юношей, невеста — среди дев; он еще безбород, и его щеки покрыты первым пухом, она созрела для брака. (16.) Сапфо сравнила деву с яблоком; людям, которые хотят до времени сорвать его, яблоко не дает дотронуться до себя даже кончиком пальцев, а тому, кто будет ждать срока, оно подарит прелесть своей зрелости. Жениха подобало бы сравнить с Ахиллом и уподобить его дела подвигам этого героя. Как в поэме Ахилл доблестью превосходит всех остальных эллинов, так и жених, пастырь своего стада, славен великими победами: если нужен совет, он побеждает всех рассудительностью, если мужество — он самый отважный, если благородство — среди сверстников ему нет равного в знании философии. Молва обо всем этом завоевала ему счастливую невесту — ведь эроты могут и за море посылать свои стрелы и на расстоянии зажигать брачные факелы. (17.) Предание, соединяя Деяниру, дочь Ойнея, с Гераклом, рассказывает, что ее любви домогались многие, в том числе поток Ахелой; словно желая указать на то, что соперникам цена разная, оно награждает Геракла невестой, а поток — любовной раной. Мне думается, что и этот союз заключен по божественному умыслу, дабы — новобрачная ведь чужестранка — Аттика стала местом свадебного покоя, восприняла и вскормила первый плод брака и благодаря Северу осчастливила Фракию аттическим отпрыском.

18. Не хочется мне умолчать и об устроительнице брака и создать ей хвалу, ибо мое и ее искусство происходят от одних и тех же предков. Хотя она и женщина, но делает честь нашему роду: образованностью не уступает Аспазии [19] и настолько превосходит мантинеянку мудростью, насколько афиняне выше аркадян. Она привела в наш город жениха из Фракии, имя которого созвучно названию Халкиды [20], желая, думается, внушить веру древний миф о том, как любовь к Орифии заставила Борея покинуть Фракию ради Афин и таким образом соединила его этим городом [21]. Много о ней можно сказать достославного, но, разумеется, самой великой хвалы достойно устроение этого брака. Ведь дева едва не попала в злые сети и была спасена богами.

19. Однако, надолго покинув брачный покой, речь моя словно забыла о невесте, будто она и не знает, сколь печалит жениха то, что я еще не описал ее. Возвратим же речь в брачную сень и заставим обратиться к красоте невесты. «О прекрасная, о милая!» — тебя ведь надлежит хвалить словами лесбиянки [22]. Сотоварищи твоих досугов — розовоногие Хариты и золотая Афродита, для тебя Горы цветами расцвечивают луга. Ты водишь там хороводы, легко взлетая в лад песне. Эроты плетут венки из роз, которые они собирают, когда им вздумается, в садах Афродиты, и украшают ими твое брачное ложе. Пейто [23], Вожделения и Гимер [24] пестуют твою красоту. Гимер пребывает в очах и оттуда посылает свое необоримое пламя, Вожделения румянят щеки багрянцем стыдливости, более румяным, чем лепестки роз, когда в весеннюю пору они, расцветая, раскрываются и алеют, Пейто обитает на устах и сообщает свою прелесть речам. Золотые волосы на лбу девы распадаются пробором. Если б я пожелал описать цветущее лицо ее, пришлось бы заимствовать слова у поэтов. «Ах! Ты белей молока!» [25] — так сказал некогда один пастух, влюбленный в нереиду Галатею, черпая сравнения из привычного себе обихода. (20.) Тот, кто вздумал бы созвать в хоровод Харит, дал бы в подруги богиням и нашу деву. А будь я сам поэтом, умей я говорить, как свойственно им, не подчиняясь законам, я на гомеровский лад воспел бы ее красоту. Невесте не у Аполлонова алтаря [26], а в роще Афродиты отвел бы я место и нарядил ее в золототканые одежды. Я созвал бы из Афин Муз (я не одобряю поэтов, если они отнимают Муз у этого города и считают их беотиянками [27]), из близкого нам Эгейского моря нереид, хоры нимф, звонкоголосых дриад, скачущих сатиров, Пана с его свирелью и всю Дионисову свиту. Самое богиню Афродиту, вышедшую из морских глубин, с волосами, еще обрызганными пеной, я бы подвел к брачному ложу, чтобы она, сладостно улыбаясь, приказывала эротам осыпать своими стрелами новобрачных. А была бы нужда в песне, я бы создал такую: «О невеста, полная благоухающей, как роза, любовью, о любимая услада Пафии, иди в брачный покой, восходи на ложе, нежноулыбчивая, желанная. Пусть тебя, почитательницу брака сребротронной Геры, не против воли провожает туда Веспер». (21.) Но где же хоры дев и отроков? Моя речь уступает вам место. Пусть один возьмет в руки яркий факел, другой запевает, пусть все наполнится песней! Песне пусть вторят горы, долины, пастушьи дудочки и свирели овчаров — так же сладкозвучно, как во времена, когда Зевс на Геликоне даровал жизнь дочерям Мнемосины. Пляшущим я предоставляю водить хороводы и, стоя у свадебного покоя, призываю Тихе, Эрота и богов — покровителей рождений: Эрота — неустанно метать стрелы, Тихе — даровать супругам долголетие, а богов — покровителей рождений — позаботиться о появлении на свет законных детей, чтобы из этой свадебной чаши нам довелось совершить возлияние во благо новорожденного.

III

РЕЧЬ К ВАСИЛИЮ[1], ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЕСНОЙ В ПРАЗДНИК ПАНАФИНЕЙ

1. «О милый светоч с улыбчивым ликом!»[2]

Заимствовав стих у лириков, я стану славить твой приход. Сколь великой усладой для меня было бы всю мою речь заставить звучать стихами, чтобы воспеть тебя так, как Симонид или Пиндар воспели Диониса и Аполлона. Но поелику она непокладиста, исполнена гордыни и свободна от оков метра, воззову к поэзии — да подарит она меня песней теосского певца (я люблю его Музу), чтобы почтить тебя гимном Анакреонта, прибавив к нему свои слова: «О светоч эллинов и всех нас, кто пребывает на священной земле Паллады[3] и в рощах Муз» (2.) (вот уже ты и склонил мою речь звучать стихами!). Ты пришел к нам, как, по словам Гомера[4], попутный ветер приходит к отчаявшимся морякам, как является Веспер тем, кто жаждет водить хороводы Афродиты. Так трепетно, как мы тебя, ждут лишь вестника мира или, пытаясь спастись от бурь и непогоды, тоскуют по сверкающим лучам солнца. (3.) Ныне, отроки, воистину весна! Я чувствую ее сладкое дыхание. Ныне соловьиное пение не звучит мне похоронной заплачкой, и я начинаю верить рассказам о том, что эти птицы заводят свои песни не в память погибшего мальчика[5], а во славу богов. Да и по отношению к аттическим ласточкам я опровергаю этот фракийский миф и уверен, что и они, подобно соловьям, поют не печальную, а веселую песнь. (4.) Ныне обильны и прозрачны воды Илисса, и, быть может, он снова предсказывает таинства Деметры;[6] если некогда лебеди в хоре с Зефиром, как на Каистре и Гебре[7], пели у его берегов, они огласят их ныне еще более звонкой песней; если же лебедей никто здесь не видел, Илисс предрекает, что они прилетят на аттические луга.

5. Заметил ли кто-нибудь из вас, как пышно цветет и украшается земля? Это в твою честь нивы до срока, в пору, когда чудо найти весенний цветок, покрылись спелыми колосьями. Земля увенчивается и убирается не анемонами, фиалками и другими цветами, а дарами Диониса и блистающим венцом Деметры [8], точно ради тебя всем этим награждают эллинов боги. (6.) Лидийцев, справляющих оргии Диониса у берегов золотого Пактола (золотым называют его тамошние предания), этот бог подвигает на исступление и пляски, когда солнце сменяет холода теплом и приводит весеннюю пору. Они видят, что наступила весна не по тому, что поют птицы, хотя в рощах много этих звонкоголосых певцов, не по нежно и сладостно зазеленевшим лугам, но по тому, что Дионис, покинув Нису и пределы эфиопов, в буйном шествии появляется на берегах Тмола и Пактола, и по тому, что видят пляшущих вакханок. Тогда лидийцы вместе с приходом бога встречают приход весны. Им приводят весну Дионис и его неистовые таинства, мне и моему искусству ее приводишь ты. Ты вместо вакханок и сатиров вдохновляешь служителей Муз и Гермеса, заставляешь меня вместо приветственных криков Эвию [9] призывать и славить тебя, великий оплот мусического искусства.

7. Никого пусть не удивляет, что речь моя стремится уподобить этого мужа богу; Гомеру не подобало сравнивать царя ахеян, Агамемнона, с тремя богами [10], мне же это не запрещено, ибо разве по справедливости не укорят меня в недостатке поэтического велеречия и в том, что я слишком боюсь уклониться от истины, хотя и могу рассказать об этом муже больше, чем Гомер об Агамемноне? (8.) О ты, любезный богам и достойный сравнения с ними! Ликом ты, думается, схож с Зевсом, если вспомнить Гомера, и эпический певец сказал бы о тебе:

Зевсу, метателю грома, очами подобный [11],

но мне кажется, лучше сравнить тебя с Зевсом, вспомнив о величии твоей души: ведь что бы ты ни изрек —

Невозвратно то слово, вовек непреложно [12].

Вот за что прославляют этого бога. Никто из людей, даже если б обладал волшебным поясом, против которого, как говорит Гомер [13], бессилен сам Зевс, не может похвалиться, что обманул тебя. (9.) Аполлон — тоже твой покровитель, и потому, думается, ты сходен и с ним. Он предводитель Муз и вдохновитель их хороводов на беотийском Геликоне, где богини даже пастухов делают поэтами [14]. Разве все это не сближает тебя с Аполлоном? Ведь ты сделал Аттику обиталищем Муз, как этот бог — гору Геликон. И меня ты призываешь заниматься мусическим искусством, сам подаешь мне знак, как Аполлон — дочерям Зевса, Музам. (10.) Эллины чтят Посейдона-Конника, на Истме приносят ему жертвы [15], и изображают возницей даже в статуях. Разве кого-нибудь дру-

гого справедливее, чем тебя, сравнить с этим богом, разве неправильно назвать тебя его учеником в искусстве управлять конями?! Разве тебе не больше, чем пилосскому юноше [16] пристало считать своим учителем Посейдона? Ведь тот, не позволяя коням быстро бежать, позорил искусство бога, ты же, мне сдается, способен был бы подчинить узде и бичу самого Буцефала, Пегаса или бессмертных коней Ахилла. (11.) Гомер в стихах [17] превозносит Кастора, сына Зевса, как славного наездника и присваивает ему единственное качество — опытность в этом искусстве, ибо уже одно это может украсить даже отпрыска великого бога. Конь сделал Беллерофонта из Эфиры достойным прославления поэтов, Дария — персидским царем [18], а Александра возвеличил среди македонян. Впрочем, тебе, пожалуй, эти прославления великих царей не покажутся значительными.

12. Поэтому я расскажу об афинском празднестве, на которое ты прибыл. Усладительно и отрадно не только присутствовать на Панафинейских торжествах, когда афиняне посылают за богиней священную триеру, но и говорить о них перед эллинами. Триера начинает свой путь, показываясь из ворот, словно выходя из спокойной гавани. Точно скользящую по морской глади, ее проводят через Дром [19], сбегающий прямо и ровно вниз, между украшающими его с обеих сторон портиками, где идет торговля между афинянами и чужеземцами. (13.) Жрецы и жрицы наполняют корабль; эвпатриды [20] увенчаны золотыми венками, остальные — венками из цветов. Высокий и величавый, словно качающийся на волнах, корабль движется на колесах, которые благодаря множеству искусно прилаженных осей легко катят его к холму Паллады. Отсюда, я думаю, богиня любуется праздничным обрядом. (14.) При пении священного хора афинских граждан отвязывается причальный канат, и все призывают ветер сопутствовать священному кораблю. А ветер, узнав, как мне кажется, кеосскую песнь, которую Симонид обратил к нему после спасения из волн морских, появляется вслед за словами песни, мощно дует в корму и своим дыханием подгоняет корабль. (15.) Рассказывают, что египетская река Нил, когда солнце на своей колеснице достигает середины неба и наступает летняя пора, выходит из берегов и покрывает водой посевы, превращая египетскую землю в море, по которому свободно могут ходить корабли. (16.) Священная же триера Девы не нуждается в этих мощных разливах, потому что она идет посуху: звонкое дыхание аттических флейт звучит ей вслед, как попутный ветер, и направляет ее бег. Но самое большое чудо — это то, что Веспер виден на небе вместе с солнцем; единственный среди звезд, он показывается тогда при свете дня и одновременно с родителем зажигает над священным кораблем свое пламя. (17.) Вот и ты явился, прекраснейший светоч на небосводе (тебя афиняне зовут Веспером), осчастливил эллинов великим торжеством и благими знаменьями возвещаешь, как говорит народ, грядущие счастливые дни; в истину этих слов верю и я.

XXIII

ПЛАЧ ПО СЫНУ РУФИНУ

1. Я поступаю чудовищно, если могу говорить, когда Руфин мертв. Однако, поелику судьба сохранила меня единственно ради того, чтобы я оплакал это несчастье, я все-таки буду говорить. Веление высшего закона побуждает меня почтить отпрыска красноречия надгробным словом. Сколь славна эта задача! Быть может, судьба для того и сохранила отцовское искусство, чтобы оно тебя прославило? О, если б мне суждено было говорить, стоя над твоей могилой! О, если б ораторской трибуной был твой могильный холм! Тогда я был бы трижды блажен! А ты похищен у меня, не сказавши ничего, не попрощавшись, не подарив отца последним объятием. (2.) Думаю, что злой рок положил начало беде уже в тот самый день, как лишил меня общения с тобою, а тебя — моих объятий и лобзаний. Но зачем винить судьбу! Я сам погубил тебя, дитя. Зачем я вырвался из твоих объятий? Ты стал добычей зависти, игралищем злобного рока. О, этот ужасный и жестокий день! Какой глубокий мрак окутал меня и после сколь ослепительного света! Каждодневно я с жадностью ловил трижды желанные вести о тебе и постоянно поджидал человека, который должен был сообщить о твоем приходе. Но какое ужасное уготовал мне рок известие вместо сколь сладостного! (3.) А я целыми ночами думал о купальне для тебя, о доме, о богатстве, обо всем, что люди признают самым желанным, а с наступлением дня принимался хлопотать об этом. Злосчастный, я не знал, что вместо омовения для тебя буду печься о могиле, вместо дома — о высоком холме земли, вместо богатства и роскоши — о печальнейшем для человека: о погребальных дарах.

4. О, если бы ты вовсе не родился на свет, дитя мое, или, родившись, не блистал так достоинствами душевными и телесными!

Ты завоевывал сердца, лишь только учась говорить, и пленял всю подлунную уже младенческим лепетом. Немногими избранными Перикл был любим всегда, но стал говорить перед народом, лишь пройдя школу Анаксагора, тебе же искусство красноречия было дано с пелен. Алкивиад покорил своей красотой весь театр, но был тогда уже юношей в расцвете сил, а ты покорил его в пору, когда еще питался молоком матери. О горе, достойное Эсхилова велеречия! О чем мне плакать, чему расточать похвалы? Я скажу лишь то, что известно всем, кто знал тебя, и на что уповали те, кто о тебе слышал.

5. О услада Харит, ныне игралище эринний! Горе мне, я обрел новое имя, — прежде, когда ты был жив, меня звали триждыблаженным, отныне зовут триждызлосчастным. До каких только городов молва не доносила твое имя! Какие пределы не исполнил ты своей славой и достоинствами юной души! Гераклу пришлось долго скитаться и совершить двенадцать подвигов, дабы всю подлунную сделать свидетельницей своей славы. Ты же, не расставаясь с домашним кругом, благодаря чудесным своим деяниям перешагнул в молве через Геракловы столпы. Всех людей ты подонил своими чарами! (6.) Отцы обычно расточают своим сыновьям незаслуженные хвалы; благодаря тебе это правило нарушено: отец о твоих достоинствах молчал или, во всяком случае, говорил о них мало, ибо ввиду твоих великих достоинств опасался козней судьбы; [1] напротив, все другие рассказывали твоему отцу о достоинствах сына. Ведь ими ты покорял людей всякой судьбы и всякого возраста. (7.) Что за злой рок унес с моего очага твои золотые локоны? Кто угасил яркое пламя моей славы? Какой прах покрыл священные волосы, которые ты с первых дней жизни лелеял для бога Диониса, и глаза, красотой едва не затмевавшие блеск солнца? Какая эринния похитила багрянец твоих щек, нежную и сладостную улыбку губ? Увы, Дионис, как ты стерпел, что из твоего храма увели священного отрока? В честь победы над тобой и надо мной воздвигли эриннии трофей! (8.) О печальные восторги Диониса! О киферонская беда [2], ты побеждена моим злосчастием! Увы, Деметра и Кора, не сберегли вы своего питомца! [3] Он принимает посвящение, но в храмине под землей, не отцом посвящается, а мрачным и злобным демоном, глядит не на пламя факелов, а на светильники эринний и пойн.

Почему я не ушел раньше его? Почему отец не упредил сына? Почему мне не было дано уготовить ему брачное ложе в подземном мире, поелику зависть эринний лишила его свадебного чертога на земле? О, для сколь слезных стенаний я пощажен! Произнося всевозможные речи, я избегал надгробных, не ведая, что пощажен, чтобы произносить ее над собственным сыном. (9.) Я дарю тебя словами, дитя, ибо не могу подарить погребальными дарами. Из слов насыпаю тебе могильный холм — расстояние не дает мне возможности покрыть землею твое тело. О, какие речи я посвящал тебе прежде и какую посвящаю ныне: могила — вместо

ареопага, вместо свободы — смерть [4]. Из-за тебя, думается мне, всплыли в памяти древние имена, соседей этого судилища, богинь, которые не могут ни обвинять, ни карать [5]. (10.) Какой другой сын столь предан отцу, как ты? Кто справедливее к родичам и родителям? Мы, злосчастные, я и твоя мать, оспаривали друг у друга твою привязанность, ты же разрешал спор, обходясь с каждым так, что мы оба считали себя победителями.

О медвяные речи! О голос сладостнее славного нектара богов! (11.) Издавна уже ты заботился о своем уходе из этой жизни, уже давно ты доказал тем, кто мог это понять, что тебе суждена более высокая участь. Кто из старших тебя по возрасту так ревностно почитал богов, какой прорицатель или жрец столь благочестиво пребывал в храмах и у алтарей? Есть ли священная флейта, которая бы пела гимны слаще, чем твой голос? Какая лира, какая кифара более мелодически звучала в пеанах, чем твои уста? (12.) Некогда ты попрал пределы возраста своими достоинствами, ныне смертью. Братской любовью ты затмил Диоскуров. Они, хотя и сражались за Елену, не могли помешать ее похищению, а ты был сестре более надежным стражем, чем каменная стена. Даже из числа людей самых строгих нравов кто был воздержнее тебя? По своей воле, часто не дожидаясь предостережений наставника, ты отвращался от всего вредоносного и, если узнавал, что что-нибудь может быть опасным, не дотрагивался до него и кончиком пальца, даже когда для этого представлялись тысячи удобных случаев. Если же по неведению и прикасался к чему-нибудь такому, достаточно было только сказать слово, чтобы ты сейчас же послушался. (13.) А как не удивляться твоему мужеству! Тяжелые недуги подкашивают и крепких людей, ты же не поддавался ни одному из них (а они были страшными!) единственно благодаря своей душевной стойкости. На это, быть может, и вознегодовал злобный и жестокий демон и после многих своих поражений сокрушил тебя наконец тайными и коварными кознями. Ты, как мне довелось слышать, не покорился ему до последнего вздоха: побежденный телом, духом ты был непобедим. Демон душил тебя и не отступал, ты же, дитя, задыхаясь, продолжал до тех пор говорить о любезной твоему сердцу выпестовавшей тебя богине Афине [6], пока он, лишив тебя всякой помощи, не удавил своей петлей. Он ведь помнил, сколько раз терпел поражение, когда отец был с тобой и помогал тебе.

14. Какой срок, какая чаша египетских целебных снадобий утишит мою тоску по тебе? Как я после твоей смерти буду глядеть на поприще Афины? Какое место, какая земля, какой город не исполнят меня, при одном взгляде на них, плача, слез и воплей? Когда я отправлюсь в совет, мне померещится, будто я вижу, как ты, стоя на возвышении, обращаешься к геруссии; о твоей трагической судьбе напомнит мне тот театр, где тебя часто единодушно прославляли. (15.) Тебе единственному уступали в успехе лучшие из афинян, и только когда их побеждал ты, все они ми-

рились с этим — одни, очарованные твоим искусством, другие, быть может опасаясь твоей грядущей славы; первых ты покорял, вторых приводил в трепет, но обычно всеобщая любовь и восхищение приносили тебе победы. Как я буду глядеть на ареопаг, где ты, не достигши еще трех лет, поразил некогда всех своей серьезностью, точно уже знал мифы об этом судилище [7]. Там ты победил отца, ибо твое молчание показалось удивительнее моих речей, победил также суровость и неприступность судей. Впервые тогда этот вечно насупленный совет просветлел улыбкой: ты подвигнул на любовь души, которые не могли тронуть даже боги, представавшие перед этим судом [8]. (16.) Как у меня достанет сил посмотреть на моих слушателей? Ведь это ты собирал их в моем доме, ибо твой нрав привлекал людей сильнее, чем моя слава. Опостылели мне места, прежде милые, и непереносимо то, что я прежде любил. Твоей могилой стала прекрасная роща, которую я лелеял для твоего брака. (17.) Где ты обнимешь меня, когда я ворочусь назад? Дома? Но ты покинул дом, оставив его мне как воспоминание о страшном несчастье. В святилищах и тенистых рощах? Там я найду тебя, но ты даруешь мне вместо объятий потоки слез! В сколь страшной процессии, милый, ты отправился, как рассказывают, из города в любезное некогда место, ныне же более ужасное, чем Киферон. Не таков был путь, когда его разделял с тобой отец: то ты скакал верхом, то ехал в повозке. О, сколь часто ты высказывал мысли, более примечательные, чем те, что встречаются в воспоминаниях! В какой день, во время какого пути, в каком месте не звучали твои чарующие слова и благоразумные речи?

18. Своей смертью ты затворил для меня городские ворота: как я могу пройти через них? Закрыл мне и дорогу в Элевсин: укоряя богинь, как я войду в их храм? Как мне совершить возлияние Дионису, не сберегшему посвященного ему отрока? Как приносить жертвы Афине, которая в твою защиту не подъяла, дитя мое, на преследовавшего тебя демона свою горгону? [9] Как отцу, оплакивающему сына, обращаться с молитвой к отчему богу? Как войти в собрание эллинов и не сделать вступлением к декламации плач о тебе? Как, глядя на твоих сверстников, утишить скорбь? Как, общаясь с юными учениками, смирить свое горе? Ведь в мое отсутствие ты был их пастырем, управлял ими не речами, а чарами своего нрава. (19.) Ты был опорой моей старости, потому что тебя все любили: меня совестились печалить, имея перед глазами тебя, ибо твою юность берегли больше, чем мои седины. О дерзостные речи! Руфин мертв, а вы все еще полны сил! О злосчастный язык, прежде служитель Муз, ныне — враждебного Музам демона! Пусть эта моя речь станет слезным плачем по тебе! (20.) Сладчайшее дитя, прежде достойное зависти, ныне же горьких слез! О ты, прежде опора моего дома, ныне его черная погибель! Ты сверкнул стремительнее утренней звезды и столь же стремительно угас. О ты, даровавший мне

самый радостный день, когда солнце впервые взглянуло на тебя, и самый печальный, когда до меня дошла ужасная весть!

21. Как я смогу достойно восхвалить тебя? Под какой печальный и трагический напев смогу вдосталь насытиться плачем? Какую ужасную участь судил мне рок вместо сколь блистательных упований! Я оплакиваю того, кто, как я надеялся, должен был стать красноречивее Минуциана, серьезнее Никагора, слаще Плутарха, глубже Мусония, сильнее Секста [10], блистательнее и выше всех своих предков. Часто я сам уступал тебе, еще мальчику, победу и считал твои речи совершеннее моих, всегда предпочитая твой лепет прилежным стараниям зрелого мужа. Все это похитил у меня демон и скрылся, оставив мне вместо тебя стенания и слезы.

22. Прими эти надгробные возлияния, которые я делаю в твою память у реки Мелан; [11] справедливо ли ее воды получили древле это имя, знают те, кому прежде довелось посетить ее берега, мне же она ныне воистину кажется черной и мрачной, более зловещей, чем Коцит и Ахеронт; коварный демон, словно нарочно, позаботился о том, чтобы все было похоже на сцену из трагедии — место, время, весть о несчастье. Ночь была временем, Мелан — местом действия, вестью — смерть Руфина. Посреди всего этого отец стенает и пишет свою речь, деля часы между трудами и плачем. (23.) А ты, сын мой, навсегда ушел туда, куда увел тебя демон. Из-за своего отца, быть может, ты обретаешь бессмертие и, пребывая вместе с богами в горних высях, будешь взирать оттуда на землю, играя с Эротом, предаваясь веселью с Гименеем, с Бранхом пророчествуя, преисполняясь священным вдохновением с Трофонием. Ведь едва ли такой душе суждено сойти в подземные пределы, а не присоединиться к сонму богов. Я почту тебя погребальными играми, а имя твое передам потомству — этим я покажу себя более сильным, чем демон: тело Руфина достанется ему, душа — небесам, а слава — человечеству.

ФЕМИСТИЙ

III

ПОСЛАННИЧЕСКОЕ СЛОВО О КОНСТАНТИНОПОЛЕ, ПРОИЗНЕСЕННОЕ В РИМЕ

Невозможно никакому другому городу, божественнейший самодержец [1], подыскать подобающий тебе венец или иной благодарственный дар твоей доблести: кто бы ни пытался воздать тебе честь, хотя сколько-нибудь равную оказанным тобою благодеяниям, всякий неизбежно будет совершенно не в силах сделать это по достоинству. А тому городу, что назван по имени твоего отца [2], но на самом деле принадлежит скорее тебе, чем твоему отцу, подобная попытка особенно затруднительна. Даже если мы употребим на венки все имеющееся у нас достояние, то и тогда выйдет, что не на наши собственные средства осуществится это доброе дело — мы только вернули нашему благодетелю незначительную часть того, что мы от него получили. Тех, что кругом в долгу, не хвалят за какую-нибудь малость, возвращаемую ими,

но порицают за то, что они остаются должны, так произойдет неизбежно и с нами; и какую бы благодарность мы ни воздали, она неминуемо будет оценена как ничтожная часть нашего долга; в самом деле, как раз наш город не в силах найти приношение, достойное тебя: он сам, этот город, весь в целом и есть твой венок и приношение тебе; так что нисколько не нужно ему содействие извне, чтобы воздать тебе благодарность за свою красоту, и тем самым, что он таков, каков он есть, он возвеличивает своего творца. Все же, несмотря на крайние затруднения, нашему прекрасному городу есть чем гордиться: он нашел-таки подходящий способ не слишком сильно отстать от надлежащей меры. Ведь существует два способа, посредством которых люди могут выразить свою благодарность как можно торжественнее и полнее: первый способ состоит в том, чтобы сделать очевидцами оказания почета возможно большее число людей, другой же в том — чтобы было видно, что они воздают благодарность не из лести, а по добровольному решению; первый способ более широко оповещает о полученных благодеяниях, а второй — ставит хвалу вне подозрений. Наш город предусмотрел, чтобы осуществилось и то и другое на справляемых ныне торжествах:[3] почет воздается тебе на самом видном месте вселенной[4] и притом пользуются услугами человека, безусловно правдивого[5] — и то и другое делается не между прочим, а как нельзя более тщательно.

Воззри, божественнейший самодержец, прежде всего на сам город — к какой поре приурочил он свое приношение: не на олимпийских играх или дельфийских провозглашает он присуждение венка, не на Панафинеи или Дионисии собирает он эллинов, как это делали некогда афиняне, стараясь угодить македонским владыкам, нет, в царствующем граде увенчивает царствующего над людьми царствующая столица — вторая благодаря вам, — и вот этот город становится очевидцем воздаяния такой почести, что лишь она одна своим великолепием превосходит город, ее оказывающий. И само зрелище у нас блистательно — соответственно венку и прославлению. Как Фетида у Гомера[6], когда Зевс удалился в Океан, полагает, что ей не следует в это время предстательствовать за своего сына, а когда Зевс возвратился на небо, вернее — на самую вершину неба, она обращается к нему с мольбой, и он ей внимает, так и наш Прекрасноград не решался докучать своему Зевсу, пока тот укреплял и осматривал местности у Океана, но чуть только он вернулся на свой Олимп и воссел на самой его вершине, так сейчас же наш город начинает умолять и чтить его и стремится вместе с ним участвовать в празднестве, которое справляют сообща и небо, и бог[7] — небо блещет, бог сияет. Благодаря нашему городу всеобщим становится торжество: ибо он присоединяется к ликующим, становится причастен их общей судьбе и носит то же имя; и из трех совершенных участников создается совершеннейший хор: согласно поют обе столицы под водительством корифея и оглашается вся земля и море. Песнопе-

ние преисполняет своим благозвучием все племена восточные, все народы западные, а победы, одновременно с солнцем восходящие и с ним блистательно свершающие свой бег до самого заката, вместе с царем вступают в столицу, полную трофеев. Не кажется ли вам, что такой хор чрезвычайно сходен с хором Дедала, который тот обучил на Кносе для Ариадны, по словам Гомера? Или, раз уж создатель нашего хора превосходит Дедала, то и все остальное должно быть лучше?

Настоящее таково, что обоим вам есть чем гордиться: тебе — перед лицом родного царственного дома, а новому Риму [8] — перед лицом старого Рима; тебе — тем, что ты пленен таким городом, а ему тем, что о нем печется такой правитель. Особенно же ясно вам обоим вот что: ты видишь, как возрос этот твой город; город же сознает, что ему не хватает еще многого, поэтому не стыдно ему считаться и впредь вторым, а не первым; он не негодует и не досадует на то, что ты празднуешь свою победу прежде всего здесь, среди наград и трофеев, которые он тебе прислал и доставил.

Есть и еще много общего у этих двух городов. Не буду говорить о их старинных союзах, о том, что не так давно восстановлению власти в этом городе содействовал своими трудами и наш город, участвуя в морском походе Помпея и вместе с ним разбив Митридата: самые опытные мореходы набирались у нас. Их общие с римлянами трофеи и надписи наш город хранит и до сего времени. Но сколько есть недавних, новых знаков благоволения — и твоего лично, и твоего отца — к нашему городу! О них стоит упомянуть.

Когда произошло упомянутое восстание варваров и римская держава заколебалась, словно в сильную бурю, и когда наследию Константина угрожала опасность достаться мстительному злодею варвару [9], в ту пору только благодетельная судьба нашего города спасла угасавшую искру династии, вернув ее к древнему очагу потомков Энея [10]. Благодаря устроителю нашего города германцам и язигам не довелось роскошествовать за счет трудов древних римлян [11], священное, великое имя Рима не подверглось полному поношению, не исчезло, и власть перешла не к незаконнорожденным преемникам, притязавшим на престол [12], но к подлинным, кровным родичам царей и сохраняется ныне у нас нерушимо и невозбранно. Отправившись из нашего города, от отцовского надгробия, находящегося у нас, сей благородный муж надлежащим образом покарал того, кто в пьяном бесчинстве мучил этот вот народ, терзал совет старейшин, наполнив трупами и скверной чистые струи Тибра [13].

Далее, если современники Камилла считали его вторым зиждителем города, потому что он спас то, что уцелело от набега кельтов [14], так почему же людям нашего времени не считать тебя основателем города предпочтительно перед Ромулом? Ты мог бы вести мирный образ жизни, беспечно предоставив царскому уделу

быть разделенным надвое [15], но ты не презрел свободы нашего города, ты простер свою непобедимую руку, и вот благодаря ей мы теперь имеем возможность приветствовать царя римлян и без всякой лжи пишем и произносим эти величественные древние слова: цезарь, самодержец, многократный консул, отец сената. Иначе все это было бы пустым звуком, совершенно бесполезным, и исторгало бы лишь слезы у помнящих о былом.

Если даже у частных лиц считается признаком дружественной благосклонности иметь общих и друзей и врагов, насколько же более должны быть связаны между собою те города, против которых прежде всего злоумышляет тиран и которым прежде всего помогает царь? Или, быть может, только со стороны сына наличествуют такие знаки и черты благосклонности по отношению к обоим этим городам, а со стороны отца они были слабее и незначительнее? Или только лишь порядок их действий другой, но сами действия ничуть не отличаются друг от друга? Ведь отец сперва освободил этот город от подобной же тирании — почти что одноименной, — а затем уже отправился основывать Прекрасноград, а сын сперва дал тому городу все, в чем он нуждался, даже больше, чем задумал его отец, — а потом этому городу даровал свободу [16]. Оба города оказались включенными в единый круг благодеяний, а сами города обменялись дарами: освобожденный город дал основателя, а основанный — избавителя.

И вот Прекрасноград позаботился о том, чтобы зрелище поднесения венка было таким блистательным, преисполненным благожелательности, достойным его самого. Взгляни же, царь, на глашатая, устами которого делает он это провозглашение, — не покажется ли тебе, что и в этом сказывается особая торжественность благодарственного приношения? Наш город, выбирая, какой глашатай был бы тебе всего приятнее, остановился не на велеречивом, рослом, громогласном, умеющем кричать не переводя дыхания. Но о том, кого выбрал и назначил город, не мое дело говорить: ведь он выбрал и отыскал философа, полагая, что его услуги всего более будут уместны, чтобы надлежащим образом почтить достойного царя-философа. Разреши сказать, божественнейший самодержец, что ныне впервые выступает свободно и вне подозрений свидетель добродетели, которого невозможно уличить в лжесвидетельстве, обвинить в том, что он подкуплен или стремится к власти и поэтому расточает не подобающие похвалы, нет, он заслуживает то имя, которое носит, и готов дать отчет в малейшем своем слове всем последующим векам. Поэтому он должен засвидетельствовать только то, что ему, как и остальным, известно и что вызывает его восхищение; а между тем очень многие, чтобы угодить, до невероятности приукрашают действительность. Что же ему, — как и другим, — достоверно известно и чем же он восхищается? Не величиной твоей державы — ведь и у Нерона она была не меньше. И не золотым твоим троном, и не войском — этому можно было бы дивиться и у Мидаса или Камбиза.

И не тем, что ты вовремя и метко разишь и что у тебя убивают львов и устраивают игрища с пантерами. Так ради чего же он здесь? Чтобы чем восхищаться? И какое решение, принятое философией, может он здесь сообщить? Да то, что ты побеждаешь кротостью, что твой образ жизни скромнее, чем даже у среднего обывателя, что ты чрезвычайно ценишь воспитание, что ты следуешь учениям философии. Вот в чем твоя сила, твое войско, вот твоя стража и твои копьеносцы, под охраной которых ты один только из братьев остался невредим [17] и с чьей помощью наказал бесчинствовавших; в таком вооружении ты сразился с тем, кто был старше тебя [18], и этим же оружием ты одержал бескровную победу [19].

Видел я, царь, судилище, выступая на котором ты взял в плен того, кто бредил о царском пурпуре. Видел я воочию твой трофей, воздвигнутый не тяжеловооруженным воином, не всадником и не стрелком — воины были лишь очевидцами, но не соратниками в этом деле. Те, кто хвалит всё, что окружает тебя, восхищались не тобой, а тем, что тебе принадлежит: они бродят в преддверии храма и не желают видеть статуй, находящихся внутри него. А тот, кого не поражает и не отвлекает ничто внешнее, — такой человек в состоянии разглядеть подлинного царя. Вот почему он, не таясь, подает свой голос: он не нуждается в том, чтобы говорить иносказательно, например хвалить царскую власть вообще, не решаясь хвалить самого царя, нет, он взошел на эту возвышенную кафедру и не отказывается возглашать тебе хвалу среди многолюдного собрания более свободно, чем Ксенофонт восхвалял Агесилая и Александра — Аристотель, а в недавние времена поклонник Зенона — современного ему царя. Ведь не воздаяния хвалы стыдится философ — он стыдится льстить, и избегает он не свидетельства о подлинной добродетели, а угодливости перед пороком. Тебя же, о царь, еще до меня прославил мудрый Платон; чтобы ты не считал, что я что-нибудь прикрашиваю, вот я приведу тебе его собственное изречение, слово в слово: тогда, говорит он, жизнь будет прекрасной и необыкновенно счастливой, когда появится молодой царь, скромный, вдумчивый, мужественный, величественный, одаренный.

Разве он, по-твоему, худший пророк, чем эритрейская Сивилла? Разве это прорицание нуждается в Бакиде или Амфилите? [20] Платон дал нам перечень прекрасных и поразительных обозначений для тех качеств, которыми когда-либо блистал или вообще выделялся какой-либо царь. Из остальных самодержцев мы сможем, пожалуй, найти того или иного, притязающего хотя бы на одно из этих свойств, но поскольку к ним не присоединены остальные качества, то на самом деле он лишен и того, которое себе приписывает. Тебя же, о божественное чело, Платон обрисовал в этих словах, дав в них точное изображение твоего облика, да и то он едва-едва достиг полного сходства с образцом. Впрочем, даже если бы в тебе не было ничего из вышеуказанного, за

одни только твои ревностные занятия философией, которая уже почти что покинула людей (как это говорят поэты про справедливость) и которую ты возродил, вернул людям, сделал и привлекательной и уважаемой, я не замедлил бы дать о тебе такое свидетельство; эти слова ты слышишь от философа, а истинность их подтверждается тобою самим — будь же благодарен за эти похвалы, поскольку они неложны.

Можно было бы сказать многое, о царь, о том, каков этот город, с которым ты состязаешься в благоволении, и о том, насколько он способен соревноваться с тобой в благодарственных дарах, но время мне не позволяет; а ради чего мы выступаем сейчас, на это есть две причины: первая из них — чтобы напомнить о благодеяниях, оказанных нам тобою; вторая же причина не в том, чтобы просить еще добавочных благодеяний — к ним нечего прибавить! — но чтобы закрепить уже полученные. Главное из них то, что, вопреки мнению чуть ли не всех людей, будто вместе с твоим отцом кончилось и благополучие нашего города, ты не позволил этому совершиться — не было заметно перемены. Даже более — если уж говорить всю правду — благодаря тебе все стало гораздо лучше. Ты не только сохранил нерушимо вклад твоего отца, но еще и увеличил и приумножил его: ты не только разрешил владеть тем, что даровано прежде, согласно его установлениям, но еще добавил многое нам от себя; ты соревнуешься в прекрасном споре с основателем нашего города — кто из вас превзойдет другого в благодеяниях? Так царь состязается с царем и с отцом соревнуется сын! В подобный спор вступили некогда и боги друг с другом из-за Аттики — Афина и Посейдон — он приблизил море, она явила масличную ветвь. А в вашем честолюбивом состязании наградой победителю является весь город. Теперь уже трудно определить, кому он по справедливости принадлежит — тому ли, кто произвел первый посев, или тому, кто взрастил и выходил его. Кто бы ни победил, все равно, для побежденного это будет радостью; особенно радостна отцу подобная победа, а всего лучше она для города.

Вот как обстоит дело: твой город больше отличается от отцовского, чем тот от древнего;[21] получилась подлинная, надежная красота вместо ложной и бренной. Сперва он был как бы усладой торопливого влюбленного, желавшего лишь насытить свой взор, — он был одновременно и блестящим и недолговечным. А то, чем ты украсил город, придает ему и красоту и долговечность. Помимо того, что новые постройки превосходят красотой прежние кратковременные сооружения, они и прочностью отличаются от них. Когда наш город только что родился на свет, осиротел без отца[22] и нуждался в пеленках, ты, точно хороший старший брат, принял его как нежную, маленькую сестренку[23], сразу же позаботился о надлежащем уходе, сразу же раздобыл молока и пищи, вообще вырастил его красивым и большим, так что его мог полюбить и бог и царь. Сперва нашему совету старейшин оказы-

вали почтение по принуждению, и казалось, что такое уважение ничем не отличается от наказания, а теперь по доброй воле и без всякого приказания люди стекаются к нам со всех сторон. Раньше, чтобы заманить на поселение, сулили большие земельные участки и денежную помощь, а теперь переселенцы сами привозят свои накопления и охотно идут на расходы.

Причина в том, что ты хорошо усвоил сказанное мудрым Платоном и верно считаешь собственные желания человека более крепкой связью, чем принуждение. Поэтому ты отказался от устрашения и связуешь жителей любовью и общими стремлениями. Поэтому-то в твоих руках и под твоим попечением город возрос и достиг расцвета: он стал настолько желанным, так цветет в нем пояс Афродиты [24], столько хороводов водят в нем эроты, словно там вечный праздник. Там как бы сливаются в общем хоре голоса всех хороших людей, которых признал таковыми хорег, дарующий людям счастье, и там каждый наслаждается вдоволь всем тем, что его привлекает. Такой город достоин твоего честолюбия и даже еще большего. Ясно, что сам бог печется о нем и по справедливости вознаграждает тех, кто постигает его промысл. Чем же я могу это доказать? Ты один из всех братьев заботился об этом городе — и вот тебе одному из всех них досталась на долю царская власть.

XII

ВАЛЕНТУ О ВЕРОИСПОВЕДАНИЯХ[1]

Нет никого, мудрейший император, кто не одобрял бы всецело твоего решения привлекать к себе всякого, в ком есть хоть что-нибудь хорошее. Ты верно рассудил, что прочность правления зиждется на нравственных устоях тех, кто, кроме справедливости и прочих похвальных свойств, ничего больше не считает прекрасным или желательным.

Всякий слывет таким же, как и те, с кем ему приятно общаться, а для снискания человеческой благосклонности нет ничего лучше, как добрая слава. В любви граждан главный залог прочности власти. Ты уже достиг того, о чем жадно мечтают и твердят все народы: хотя ты устранил телохранителей из варваров и иноземцев, которым свирепые, лютые тираны обычно поручают свою охрану, жизнь твоя тем не менее в полной безопасности от всяких козней и заговоров, и все смертные, где бы они ни были, все, кого твоя доблесть и милость богов подчинили твоей власти и державе, объединенные такой связью, как равенство в правах, радуются, что им выпало на долю жить во время твоего правления. Никакими уловками не может прокрасться поближе к тебе льстец, убийца, вообще никто из замешанных в преступлениях или из виновных в какой-либо гнусности. Всем отчаянным и преступным людям ты, божественной мудростью твоей души, закрыл доступ к твоей дружбе, но открыл его тем, кто святостью нравов и созерцанием возвышенного подражает жизни богов, еще не покинув человеческой плоти. Пусть другие ради своего спасения и для устрашения граждан опираются на вооруженные отряды — ты, в твоей непорочности, спокоен, окруженный величайшей любовью

всех народов. Твой царский чертог полон мудрости Нестора, свободы Диомеда.

Именно этим и нужно было отметить новое царствование: ты не счел возможным в начале своего правления что-либо предпринимать и о чем-либо помышлять, прежде чем не будут установлены для человеческого рода, удрученного всеобщими расхождениями во мнениях, спасительные законы о религии. Ты решил, что если заложить основу, тщательно исследовав дело и предусмотрев все последствия, выполнение остальных твоих задач, словно сооружение постройки, будет уже не слишком трудным. Поэтому ты предписал, чтобы в религиозных вопросах каждый руководствовался собственным выбором и чтобы насилием или угрозами никого не заставляли переходить в неодобряемое им вероисповедание.

Ты понимаешь, что не во власти государей принуждать ко всему, что им будет угодно, подчиненные им народы: есть нечто такое, к чему людей нельзя принудить никаким образом, если они того не хотят. Сюда относится как вся вообще область нравственности, так и предания и чувства, касающиеся почитания богов.

Сделать человека хорошим насильно ты не в состоянии: ведь добродетель есть свойство, зависящее от моей воли, и ты не можешь заставить меня испытывать по отношению к чему-нибудь такие чувства, которых я не хочу испытывать. Всем тем, что связано с работой и с применением членов нашего тела, можно повелевать и распоряжаться насильно, но движения мысли и зависящие от этого понятия и душевные свойства свободны и не стеснены. Чтобы я сам сделал со своим телом что-нибудь такое, чего я не одобряю, к этому ты, пожалуй, можешь меня принудить, но чтобы я сделал это охотно — нет такой силы, таких страшных угроз, таких жестоких казней, которые могли бы меня к этому побудить. Раз это верно относительно тела, то уж совсем невозможно насиловать душу: кто заставит ее по доброй воле поверить в то, чего она не одобряет?

Нет никого на земле больше тебя, император, и нет никого сильнее: однако не найдется человека настолько смиренного, настолько слабосильного, чтобы ты мог приказом или пыткой заставить его полюбить тебя, — только по его собственной воле может в нем возникнуть такая любовь. Раз ты никого не в силах заставить против его воли почитать тебя, хотя ты находишься здесь, на виду у целой вселенной, то как же бы ты своими указами и постановлениями мог внедрить в души всех желательное тебе благочестие [2] и почитание бога, который все время ускользает от нашего взора? На памяти наших отцов бывали такие ни с чем не считавшиеся государи, что пытались насильничать над человеческими душами, стараясь навязать всем против их воли ту религию, которой держались сами [3]. Но они достигли только того, что заставили многих из страха перед наказанием скрывать свои чувства и никого не переубедили. Люди страшились не бога — как того

хотели государи, — а императорского пурпура: в ту пору не один был Ферамен, как некогда в Афинах, но все стали Ферименами [4]. А впоследствии обнаружились подлинные чувства подданных: как пламя, подавленное на некоторое время, внезапно прорвавшись, вспыхивает и полыхает, так и после временного притворства люди, лишь для вида почитавшие религию императоров, стали свободно выражать свои взгляды на проявления божества. Ведь никакое притворство не может быть продолжительным, а притворно все то, что вызвано страхом и идет не от сердца.

Итак, мудро тобой постановлено, чтобы каждый примкнул к тому вероисповеданию, которое ему представляется убедительным, и в нем искал бы успокоения для своей души. Этот закон не тобою выдуман первым: он родился на свет, как только появились люди, а поэтому во все века был освящен богом. Ведь бог вложил понятие о себе в умы всех людей, даже диких и варваров, и так внедрил во всех стремление к благочестию, что его нельзя уничтожить ни доводами, ни силой. Но ни способа, ни пути угодного ему богопочитания он не предписал. Поэтому, кто применяет насилие, тот борется с законом, данным и богом и природой, и пытается отнять у людей ту власть, которую им даровал бог. Впрочем, этот труд тщетен: не может быть устойчивым и незыблемым то, что противоречит природе, и лишь незначительное время способны существовать подобного рода законы, — если только можно их назвать законами, — а затем они сами собой отпадают. Так случилось, — читаем мы в книгах, — с законами Камбиза [5] и других, пытавшихся нарушить закон божий: им едва довелось пережить самого законодателя. А закон бога — он вместе с тем и твой — нельзя отменить по приказу людей: он ведет свое начало с незапамятных времен, распространен одинаково среди всех народов и останется и в дальнейшем на веки вечные священным и нерушимым. Ибо это божий закон, что волю нашу нельзя сломить никакой необходимостью и запретить ей, независимой и свободной, идти по тому пути возвышенного и священного почитания вечного верховного разума, который она сама изберет. Этого не вырвать из недр души ни изъятием имущества, ни дыбой, ни кольями, не сразить ни мечом, ни огнем, не уничтожить даже всесокрушающему обветшанию. Правда, само тело может быть подвергнуто тобою казни и убито, но дух — который либо сам бог, либо порожден богом — нельзя обуздать ни оковами, ни побоями, ни лишить жизни; если ты освободишь его от оков тела, он, словно ему оказали великое благодеяние, радостный, бодрый, в полном обладании своей свободой, по божественному закону воспарит в небесные края, где нечего бояться ни свирепости тиранов, ни меча палачей, и будет наслаждаться покоем, хотя бы и не в силах был передать своих чувств человеческой речью.

Я думаю, император, что ты по своей мудрости открыл даже причину этого божественного закона и потому неукоснительно следуешь ему. Ты, разумеется, видел, что обычно приходит в упа-

док все, что не затронуто человеческими страстями и спорами. Искусства, столь необходимые и дающие усладу в жизни, никогда бы не достигли такой высоты и изящества, если бы не было расхождения во вкусах художников и как бы состязания между ними. Да и сама философия, мать всех достохвальных художеств, возникнув почти что из ничего, разве не благодаря разногласиям ученейших людей так развилась, что нечего, кажется, прибавить к ее совершенству? Вообще дело обстоит так: соревнование между людьми и споры усиливают их трудолюбие и разжигают рвение. Напротив, вялость и душевную косность приносит привычка соглашаться со всеми во всем и ни по какому поводу не приходить в столкновение с противоположными взглядами. Это и есть тот спор, чрезвычайно полезный для жизни людей, который описан Гесиодом в очень изящных стихах [6]. Приведенное соображение касается религии точно так же, как и всех искусств, всех наук, всего, чем стоит заниматься и что стоит усовершенствовать. У нас не было бы, пожалуй, и тени религии, если бы у всех смертных всегда были бы одни и те же обычаи при жертвоприношениях и одни и те же священнодействия. Ныне благодаря различию мнений вплоть до наших дней религиозное рвение все усиливается и растет; оно сохранится и впредь на вечные времена. Все состязающиеся в беге изо всех сил стараются добежать до судьи, чтобы от него получить награду; однако не все придерживаются одного и того же пути: тот начинает свой бег отсюда, этот оттуда. Подобным образом ты полагаешь, что и в жизни, словно на состязании, имеется некий великий, подлинный блюститель и правитель, но к нему идут не по одному пути — есть путь тернистый, есть более ровный, есть извилистый, есть прямой, но все они сходятся под конец — точно в общем пристанище. А бодрость и стремление двигаться быстрее возникают именно оттого, что не все пользуются одним и тем же путем, но каждому предоставлено идти тем, каким он захочет. Если ты оставишь один только путь, заградив и исключив остальные, то, конечно, раз уж нет места, ты загонишь всех в тесноту и уменьшишь желание состязаться в беге.

Это не ново — такова была искони человеческая природа, и тот, кто сочинил стих:

Разно у разных людей богам совершалася служба,—

жил еще до Гомера. Сказать правду, самому богу не может быть приятно такое согласие во мнениях, которого добиваются невежественные люди; он сам препятствует этому и, по-видимому, вовсе не хочет слить все мнения воедино. Ведь природа, как говорит Гераклит, отличается сокровенностью — тем более бог, повелитель и творец природы. Так как он отдалил себя от нашего познания и не дозволяет постичь себя нашему уму, то это явно доказывает, что он не требует от всех людей одних и тех же религиозных установлений, но предоставляет каждому

возможность иметь свое собственное — не по чужой указке — мнение о боге. Отсюда проистекает также и то, что в человеческих душах возникает все большее и большее восхищение перед божественным началом и все более и более благочестивое почитание его вечного величия. Бывает даже, что мы пренебрегаем и ни во что не ставим все уже достигнутое обычным пониманием и доступное ему, и, напротив, высоко ценится нами и приводит нас в восхищение то, что по своей возвышенности превышает нашу способность понимания.

Приведу пример, близкий тебе, император. В твоем войске имеются подразделения и различные воинские должности: есть преторианцы, легионеры, всадники, пехотинцы, пращники, стрелки из лука. У тебя есть приближенные, связанные с тобою службой, которым ты поверяешь все свои замыслы. Иные дальше стоят от тебя, иные считают себя счастливыми, если знакомы хоть с кем-нибудь из твоей свиты, иные едва знают тебя в лицо, иным даже и это не выпало на долю — они только понаслышке, благодаря молве, знают твое имя, и такова, бесспорно, бо́льшая часть твоих подданных. Однако, при всем различии должностей и состояний, они все зависят от тебя, ждут твоего мановения, признают тебя своим царем, данным им свыше, и гордятся тобой. Тебе следует полагать, что и владыка и правитель всей этой вселенной тоже наслаждается таким разнообразием. Он желает, чтобы у египтян была одна форма религии, у греков другая, у сирийцев опять-таки иная. Впрочем, и у самих сирийцев она не одна для всех — они придерживаются различных верований и расходятся даже в суевериях.

В больших домах бывают и свободные и рабы; среди тех и других можно обнаружить удивительное разнообразие стремлений, суждений и прирожденных свойств — это вовсе не позорит дом, ничуть не оскорбляет господина, напротив — это на редкость украшает дом, да и сам господин находит в этом немалую отраду. А все это сооружение, ограниченное пределами неба, так называемый мир, есть некий большой чертог, во главе которого стоит самое возвышенное начало, удаленное от всякого соприкосновения с материей, — его-то мы и обозначаем общеизвестным названием — «бог». Он желает, чтобы весь человеческий род, словно его домочадцы, благоговейно почитал его как господина; однако он ни у кого не похищает свободы пользоваться своим разумением, напротив, ему чрезвычайно приятно и радостно видеть, как бесконечное множество людей, рассеянное по всей вселенной, стекается наперебой, чтобы почтить его по-разному, каждый на свой лад. Он полагает, что именно это как раз и служит его славе и украшению.

Какое же безумие добиваться того, чтобы все люди, против своей воли, держались одних и тех же убеждений! Этого сделать нельзя, да если бы и можно было, то не следует. Твое решение более мудро, император: ты никого не лишаешь его убеждений,

но предоставляешь свободу выбора, так чтобы людей не привлекали к ответственности за наименование и форму их религии, по обвинению либо в сеянии смуты в государстве, либо в тайных преступлениях. По моему мнению, этот закон лучше и полезнее для всего государства, чем даже недавно заключенный с варварами договор [7]. Договором мы добились мира с варварами и чужеземцами, а благодаря твоему закону устранены всякие раздоры и внутренние распри, от которых мы так страдали. Ведь в прошлом, как ты прекрасно знаешь, мы были страшнее для самих себя, чем любая конница или пехота внешних врагов: доносы, при помощи которых одно вероисповедание нападало на другое, приносили государству больше вреда, чем набеги всех варваров на наши области. Поэтому, император, дозволь весам стоять ровно, не делай одну чашку весов тяжелее другой, так чтобы все люди, какой бы религии они ни придерживались, одинаково и единодушно просили у бога долголетия и благополучия твоему правлению.

XXX

ЗАНИМАТЬСЯ ЛИ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ?

Гесиод, аскреец, получивший мусический дар вместе с лавром, по преданию, от самих Муз, разделил поэзию на хвалу героям и хвалу Музам и включил туда же и описание земледелия, восхваляя все, что к нему относится, и наставляя нас в этом деле; суждения о земледелии перемешаны у него с суждениями о добродетели, словно это одно и то же — знать земледелие и добродетель, так что, научаясь одному, научаешься одновременно и другому.

Надо и нам, вслед за Гесиодом и Музами, подробнее доказать, что не понапрасну считают Гесиода мудрецом: своей великой славой он обязан сочинениям по земледелию, и недаром ему вручили судьи победный венок, когда он состязался с Гомером в мудрости и мусическом искусстве на погребении Амфидаманта [1]. Гомер воспевал войны, битвы, сражающихся плечом к плечу обоих Аянтов и тому подобное, а Гесиод — земледельческие труды и дни, благоприятствующие этим трудам. Это и понравилось всем судьям.

Призовем же и в этой речи себе в помощь богов — покровителей земледелия и все что ни на есть лучшее от каждой Музы, да и самого Музагета! [2] И не только ради самой этой речи, но и ради всего, что люди получают от богов: ибо боги имеют попечение о годичной смене земледельческих работ, о возлияниях, жертвоприношениях, пиршествах, обо всем, что Оры производят из земли. Если бы мы призвали Диониса, нимф, дочь Деметры, дождящего Зевса и рождающего Посейдона [3], мы приступили бы уже к священным таинствам и прибавили бы к нашим речам мудрость Продика: [4] ведь он связывает с благами земледелия разные человеческие священнодействия, мистерии, праздничные со-

брания, обряды, полагая, что благоволение богов нисходит тогда на людей и что в этом — залог всякого благочестия.

Орфические таинства и обряды тоже не чужды земледелия[5], на это намекает и самый миф, где рассказывается, что Орфей очаровывал и завораживал все; любая натура и звериный образ жизни облагораживаются употреблением благородных плодов, доставляемых земледелием — души облагораживаются, так как исчезает звероподобная их сторона. Орфей очаровывал, верим мы, даже зверей своим пением, он учил применять дары земледелия при жертвоприношениях богам и в священных обрядах. И вот слава о нем распространилась среди людей, и все принялись за земледелие: отправишься ли ты к эфиопам, живущим на всем пространстве от востока до запада по всему югу, или к кельтам, занимающим северную часть земли, или к народам, обитающим между ними, — все они земледельцы, пахари, огородники.

И чем более у кого развито земледелие, тем обеспеченнее жизнь. Если же кто предпочел земледелию неприветливый, дикий, кочевой образ жизни скифов, то его ошибочный выбор и послужит ему наказанием: кочевник ведет жизнь бездомную, звериную. И вот еще в чем видны преимущества земледелия: всего тяжелее приходится тем диким народам, у которых нет земледелия, если только такие действительно существуют. Впрочем, говорят, что и они, даже если сами не прилагают своего труда к земле, все же пользуются привозимыми из других мест плодами земледелия и тем живут.

Один из поэтов[6] оплакивает их участь: им неведомы колосящиеся нивы, они и не слыхивали ни о посеве, ни о жатве. И тут же он сравнивает их со зверями, раз они живут без земледелия и без домов.

А люди, живущие оседло и упорядоченно, избавившись от забот о пропитании, первыми взглянули на небо, почтили богов, узнали правосудие и законы: им уже не было необходимости с трудом раздобывать себе самое необходимое — при обеспеченной жизни они стали искать мудрости. Они объединились в государства, воздвигли храмы, стали жить по справедливости, установили законы, так что и в этом они превосходят всех остальных. Именно земледелие дало им возможность быть людьми, письменно установить узаконения, а записавши, придерживаться их.

О земледелии законодатели заботились более, чем о чем-нибудь другом. И кому желателен мир и кому необходима война — одни посредством закона отклоняют войну, другие таким же путем постановляют воевать, чтобы никто не посмел портить труды земледельца, или же сохраняют мир, чтобы огородник и пахарь не жили в страхе и чтобы их работа продолжалась соответственно временам года. К этому же направлены и торговые законы, чтобы можно было без риска доставлять излишки припасов туда, где их недостает.

Понятие о справедливости люди нашли в законах и, найдя, придерживаются его; главным образом отсюда, естественно, и возникают справедливые отношения между людьми. Да у земледельцев и нет времени для беззакония, не вынуждает их к этому и бедность — они живут состоятельно. Те, у кого есть досуг, чтобы творить несправедливости, это — жители больших городов и вообще все, кто не причастен к земледелию и уважает лишь кривду и ябедничество.

Земледелец прост и благороден, он знает только те блага, которые старательно получает от земли, сообразуясь с временами года; он убежден, что суетность — источник неправды, и держится подальше от нее. По своей натуре он совершенно чужд несправедливости, как враждебны друг другу от природы некоторые стихии, например вода и огонь — их нельзя мешать друг с другом, если их сблизить — они непременно друг друга уничтожат. Вот так же, если зародится несправедливость, там сейчас же возникают войны, раздоры, и гибнет земледелие, а где господствует справедливость и благозаконие, там и земля дает здоровый плод. И Гомер и Гесиод утверждают, что к земледельцам милостиво и небо, благосклонное к их удаче и направляющее на неправедных град, ливни и заразу. А справедливым они дают необходимое для земледелия чередование посылаемых Зевсом свыше тихих дождей; дубы снабжают их всем, что нужно для дома, а вдобавок и медом — ведь пчелы заполняют сотами бесплодные дупла деревьев.

Из всего этого не трудно заключить, что ничто так не полезно людям, как занятие землепашеством, — стоит посвятить свою жизнь этому делу. Почтенна независимость от других — она дает обилие припасов, а при усердии даже богатство; поэты воспевают Плутоса, сына Деметры, потому что ничто другое не способствует так изобилию, как блага, доставляемые земледелием. Всякое человеческое уменье зависит от земледелия, да и не только уменье — от земледелия зависит и образ жизни. И стоящие у власти, и держащие скипетр возлагают свои надежды на земледелие, думая об упрочении царской власти, о различных занятиях, ремеслах и искусствах. И царю не будет никакой пользы, будь он даже Ахеменид, Гераклид[7] или кто угодно еще, если он не позаботится сперва о припасах и о прочем снабжении, а затем уже о войске. То же самое и живописец, и творец изваяний, и купец, и мореход — да к чему всех перечислять? — нет никого, кто не нуждался бы в земледелии. Когда оно налажено, оно ведет за собой благосостояние и любое дело процветает у каждого, а преуспеяние ведет к еще большему благу. Если же не будет хватать плодов земледелия, то не станет и жизни.

ИМПЕРАТОР ЮЛИАН

ПИСЬМА

ПИСЬМО 5

Экдикию, префекту Египта.

Хотя ты и не пишешь нам о прочих делах [1], однако об Афанасии [2], этом противнике богов, должен был сообщить, тем более что тебе уже давно известно наше ясно выраженное мнение о нем.

Клянусь великим Сараписом, если до наступления декабрьских календ этот враждебный богам Афанасий не будет изгнан из города, а еще лучше из всей земли Египетской, я накажу подчиненных тебе служащих, взыскав с них сто литр золота.

Ты ведь знаешь, что я не тороплюсь выносить приговор, но, вынеся, я еще менее склонен его отменять. Мне крайне прискорбно, что в своих сочинениях он не скрывает презрения ко всем богам. Из всех твоих действий я ни о чем не услышал бы с таким удовольствием, как о том, что Афанасий, этот нечестивец, уже изгнан из пределов Египта, он, дерзнувший в мое правление окрестить несколько знатных эллинских женщин. Итак, да будет он изгнан.

ПИСЬМО 6

Атарбию.

Клянусь богами, я не хочу ни убивать галилеян, ни подвергать их пыткам вопреки справедливости, ни причинять какое-либо иное зло. Однако у меня нет сомнений, что надо отдавать предпочтение людям, чтущим богов. Ведь из-за безумия галилеян едва не погибло всё, и лишь по милости богов все мы сохранили жизнь. Поэтому надо отличать тех, кто чтит богов, — как отдельных людей, так и целые города.

ПИСЬМО 9

Автократор Цезарь Юлиан Великий Август — александрийцам.

Если вы и не почитаете Александра, основателя вашего города, и даже Сараписа, истинно великого бога, то могут ли быть безразличными для вас общее благо, человечность и чувство долга? Я добавлю: и уважение к нам, кого все боги, и первым великий Сарапис, поставили законным властителем над всем миром.

Поэтому именно нам и подобало расследовать, кто обошелся с вами несправедливо. Но вас обуяли гнев и бешенство, которые, лишая рассудка, обычно ведут к злодеянию; ибо, сдержав первый порыв и приняв хорошее решение, вы затем всё же совершили беззаконие и не постыдились всем народом дерзнуть на такой же проступок, за который справедливо порицали других.

Отвечайте мне во имя Сараписа, за какие преступления вы разгневались на Георгия?[3] Вы скажете, разумеется, что он восстановил против вас благочестивейшего Констанция, а затем ввел войско в хранимый богами город, причем стратег Египта захватил исполненный святости храм бога, расхитив изображения, приношения и все украшения храма.

И когда вы справедливо вознегодовали и пытались заступиться за бога, вернее — за его сокровища, этот стратег дерзнул несправедливо, незаконно и нечестиво послать против вас гоплитов, очевидно боясь скорее Георгия, нежели Констанция, если только этот стратег относился к вам как справедливый и уважающий законы человек и не был уже давно склонен к тирании.

Из-за всего этого, разгневавшись на Георгия, врага богов, вы, не раздумывая, осквернили священный город, тогда как приговор надо было произнести над Георгием. Ведь тогда не было бы ни убийства, ни беззаконных действий, а только справедливый суд, который охранил бы ваше благополучие, покарал виновного и вразумил всех тех, кто пренебрегает богами и нисколько не заботится о процветании городов и народов, но, напротив, полагает, что лишь жестокостью можно укрепить свою власть над ними.

Итак, сопоставьте то мое письмо, которое я недавно вам по-

слал, с этим и вникните в различие между ними. Какие похвалы я воздавал вам тогда! Теперь же, клянусь богами, хотя мне и следовало вас похвалить, я не могу этого сделать из-за ваших бесчинств. Народ, словно свора псов, дерзает растерзать человека! Он даже не стыдится простирать к богам руки, с которых еще каплет кровь! Правда, Георгий получил по заслугам.

И, может быть, он заслужил еще более суровую кару. Вы скажете, пожалуй, что он должен был пострадать за совершенное против вас, я с этим согласен. Но если вы скажете — от вашей руки, — то с этим я не соглашусь. Ведь у нас существуют законы, которые всем нам следует блюсти и глубоко чтить. Хотя и случается иногда, что кто-нибудь один нарушит закон, но вообще необходимо, чтобы законы существовали для всех, чтобы вы повиновались им и не преступали того, что издревле почитается справедливым.

Ваше счастье, мужи-александрийцы, что вы допустили провинность именно в мое правление — в правление того, кто из уважения к божеству и ради носившего одно со мной имя дяди, который правил Египтом и вашим городом, сохраняет к вам братское расположение.

Ибо присущая власти суровая и справедливая непреклонность не стерпела бы столь дерзновенного проступка народа, но жестокий недуг стала бы врачевать еще более жестокими средствами. Я же, по названным причинам, применяю более мягкое средство — убеждение и дружеское увещание. Им, я уверен, вы подчинитесь тем более охотно, что восходите, как мне известно, к древним эллинам и поныне еще сохраняете в своем характере и образе жизни славные и благородные черты этого доблестного происхождения.

Начертано моим гражданам александрийцам.

ПИСЬМО 18

Юлиан Гекеболу[4].

Пиндару Музы казались «серебряными» — он как бы сравнивает сияющую славу их искусства с блеском самого светлого вещества. Мудрый Гомер называет серебро лучезарным, воду же именует серебристой: ведь точь-в-точь как серебро сверкает она под лучами ясного солнца. А прекрасная Сафо называет серебряной луну и говорит, что именно поэтому луна затмевает все остальные светила.

Почему богам серебро угоднее золота, это, пожалуй, мог бы объяснить любой. И люди берут его в уплату охотнее: ведь оно чаще встречается у них, — не то что золото, которое либо таится в земле, либо избегает людских взоров; серебро же и на вид приятно, и в жизненном обиходе удобно. И это не мое собственное мнение, но мнение древних.

Если мы за посланную тобой золотую монету дадим в ответ серебряную, словно равную по достоинству, не сочти это воздаяние менее ценным и, не в пример Главку при обмене оружия, не подумай, что этот ответный дар стоит меньше[5]. Серебряное оружие даже Диомед не дал бы в обмен на золотое: ведь оно было гораздо полезнее, ибо могло, подобно свинцу, лучше отражать удары.

4. Впрочем, все это шутка, которую я позволяю себе на основании того, что ты мне пишешь, из искреннего к тебе расположения. Ты же, если пожелаешь отплатить нам подарком более драгоценным, чем золото, — пиши и делай это постоянно. Ведь для меня даже маленькое твое письмо, как говорится, желаннее многих благ.

ПИСЬМО 24

Юлиан общине евреев.

Крайне тяжело приходилось вам в прежние времена под ярмом рабства, когда вы должны были подчиняться обнародованным указам и вносить на этом основании в казну невероятное количество золота. Многое я видел своими глазами, но еще больше узнал, читая постановления, которые были направлены против вас; когда же собирались обложить вас новыми поборами, я воспрепятствовал этому, заставил прекратить постыдное надругательство и предал огню постановления, которые сохранялись против вас в моих ларцах, чтобы впредь никто не мог, ссылаясь на них, сеять слухи о вашем нечестии[6].

Конечно, в этих беззакониях по отношению к вам не столько повинен мой брат Констанций, достойный доброй памяти, сколько люди варварского образа мыслей, безбожники в душе, которые были его прихлебателями. Когда они попали в мои руки, я уничтожил их, приказав бросить в ров, чтобы даже памяти о том, как они погибли, не сохранилось.

Более того, желая явить вам свою благосклонность, я убедил брата Юла, патриарха, достойного всяческого уважения, наложить запрет на послание, которое, как говорят, направлено против вас, и воспрепятствовать взысканию с вас таких огромных денег, чтобы в мое правление у вас не было ни малейшего повода к тревогам и чтобы вы, радуясь, с еще большим рвением возносили молитвы за мое правление величайшему из всех — богу-творцу, который удостоил увенчать меня своею чистой десницей.

Ведь обычно те, кого гложет какая-либо тревога, крайне боязливы в душе и не отваживаются простирать руки к небу, совершая моления; те же, кто совсем не ведает тревог, радуются всей душой и с бóльшим усердием молят за свое государство всевышнего бога — того, кто может ниспослать нашему государству благоденствие, о коем мы совершаем моленья.

Вам же следует поступать так, чтобы я вел успешно эту вой-

ну против персов[7], а затем желанное в течение стольких лет для вас обиталище, священный город Иерусалим, восстановив моими трудами, вновь заселил и вместе с вами воздал в нем благодарность всемогущему[8].

ПИСЬМО 33

Юлиан философу Ямвлиху.

Одиссею, чтобы опровергнуть мнение сына о нем, достаточно было сказать:

Нет, я не бог; как дерзнул ты бессмертным меня уподобить?[9]

Я же, пожалуй, скажу, что и жизнь мне не в жизнь, если я не вместе с Ямвлихом. И, признаться, я горячо тебя люблю, подобно тому, как отец любил Телемаха. Пусть даже кто-нибудь скажет, что я не достоин любить тебя, этим он не отвратит меня от любви; ведь я часто слышу, что встречалось немало страстных почитателей прекрасных статуй, которые своим почитанием не только не повредили искусству творцов, но любовью своей и самому творению придали поистине живую прелесть.

Что же касается древних мудрецов, к сонму которых ты в шутку хочешь причислить и меня, то, право, мне так же далеко до них, как, я уверен, тебе до них близко. В самом деле, ты обладаешь достоинствами не только Пиндара или Демокрита, или древнейшего Орфея, но любого из эллинов, прославившегося на поприще философии; ты как бы довел до музыкального совершенства гармонические сочетания разнообразных звуков лиры, слив эти звуки воедино.

И так же, как Аргуса, стража Ио, зорко следившего за возлюбленной Зевса, мифы со всех сторон наделяют множеством недремлющих очей, так и тебя, истинного стража добродетели, красноречие озаряет несметными светочами образованности.

Существует предание, будто Протей Египетский принимал, меняясь, облик самых различных существ, словно боясь, как бы вдруг не выказать себя мудрым перед людьми пытливыми. Я же, если только Протей был действительно мудр и, как говорит Гомер[10], многое познал, хвалю его за прирожденные способности, но то, как он пользовался своими знаниями, не одобряю; ведь скрывать свои знания, чтобы только как-нибудь не принести пользу людям, свойственно обманщику, а не тому, кто любит людей.

Тобой же, о великодушный, может ли кто не восхищаться? Ведь ты нисколько не ниже мудрого Протея, нет — много выше его. Достигнув вершин добродетели, ты не таишь от людей сокровища, которыми обладаешь, но, подобно сияющему солнцу, изливаешь на всех чистые лучи своей мудрости, и не только на присутствующих, наставляя их, но, насколько это возможно, даже на отсутствующих, возвышая их своими творениями.

В этом ты превосходишь и самого Орфея. Тот своим искусством услаждал зверей, а ты, словно рожденный на благо всего

человечества и во всем подражая целительной руке Асклепия, озаряешь земные пределы спасительным дыханием своего красноречия. Поэтому, кажется мне, будь жив Гомер, он с полным правом мог бы сказать о тебе:

Он лишь один из людей царит во всем мире широком.

В самом деле, словно какая-то священная искра древних нравов и подлинной, животворной образованности снова возгорается лишь благодаря тебе. И да будет так, о Спаситель Зевс и Гермес Красноречивый, чтобы дивный Ямвлих, благодетель всех людей, прожил долгие годы! Поистине, если обеты и моления, которые наши предки от чистого сердца возносили за Гомера, Платона, Сократа [11] и за других, достойных войти в такую плеяду, украсили и продлили жизнь этих мудрецов, то ничто не мешает тому, чтобы и в наше время человеку, равному древним мужам и своим красноречием и добродетельной жизнью, была благодаря нашим мольбам ниспослана долгая жизнь на радость людям.

ПИСЬМО 41

[*Адресат неизвестен*]

Мы полагаем, что правильное обучение заключается не в благозвучии и изысканности слов языка, но в разумном применении мыслей и в истинных суждениях о хорошем и дурном, о достойном и позорном. Поэтому всякий, кто думает одно, а учеников наставляет в другом, кажется мне, так же чужд обучению, как и понятию о честном человеке. Даже если несоответствие между образом мыслей и словами касается ничтожно малого дела, то в какой-то мере человек уже поступает дурно, хотя зло еще невелико; но если в делах важных он думает одно, а наставляет в противоположном тому, что думает, не напоминает ли это образ жизни трактирщиков, — я не говорю честных, — но как раз наиболее бессовестных? Ибо, несомненно, такие учителя обучают тому, что сами считают наиболее скверным, обманывая и прельщая учеников похвалами, которыми, я полагаю, хотят прикрыть свои пороки.

Поэтому все, притязающие называться наставниками, должны обладать безупречной нравственностью и не сообщать взглядов неподобающих и противных народными верованиям; [12] прежде всего они должны, — будь то риторы или грамматики, или, в особенности, софисты, — наставлять юношей в творениях древних; ведь они намерены быть наставниками не только в искусстве речи, но и в нравственности, и утверждают, будто именно их дело — рассуждать о делах государственного управления.

Правильно это или нет, об этом я сейчас не говорю, я даже готов похвалить их за стремление к столь прекрасным вещам; но, разумеется, я восхвалял бы их еще больше, если бы они не обманывали самих себя и не изобличали себя во лжи, думая одно,

а ученикам сообщая другое. Ведь Гомер, Гесиод, Демосфен, Геродот, Фукидид, Исократ, Лисий признавали богов источником всякого знания. Разве не считали они себя посвященными — одни Гермесу, а другие Музам? Поэтому мне кажется нелепым, что те, кто истолковывает их книги, бесчестят почитаемых ими богов. Но, считая это нелепым, я не приказываю, чтобы они ради своих учеников меняли убеждения; я лишь предлагаю им на выбор: либо не учить тому, что они считают недостойным уважения, либо, если они все-таки хотят заниматься обучением, пусть прежде всего убедят учеников в том, что ни Гомер, ни Гесиод и никто из тех, кого они, истолковывая, называют нечестивыми и безумными и кому они приписывают ошибки в суждениях о богах, на самом деле вовсе в этом не повинны. А в противном случае, если они кормятся творениями древних и берут плату за их истолкование, они выказывают себя крайне алчными и нечистоплотными, готовыми ради нескольких драхм взяться за что угодно.

До сей поры было много причин не посещать святилищ, и нависающий со всех сторон страх делал простительным сокрытие в тайне поистине правдивых суждений о богах [13]. Но теперь, когда боги даровали нам свободу, мне представляется нелепым, если люди обучают тому, что ими самими признается недостойным уважения. Ибо если они признают мудрыми тех, чьи творения они разъясняют и чьими признанными толкователями себя считают, пусть прежде всего научатся у них почтению к богам. Если же они полагают, будто древние мужи заблуждались, почитая богов, пусть идут в храмы галилеян и толкуют там Матфея и Луку [14], поверив которым вы решаете воздерживаться от жертвоприношений. Я желаю, чтобы и уши, и язык ваш, как сказали бы вы, вновь обратились к тому учению, которого я хотел бы всегда придерживаться, так же, как и все те, кто и в мыслях и в делах является моим другом.

Для наставников и учителей существует один общий закон. А если кто-нибудь из юношей хочет идти учиться, ему не надо препятствовать. Ведь было бы неразумно закрывать перед детьми, еще не знающими, куда идти, наилучший путь и вести их непременно по пути отцов, хотя бы они следовали по нему без всякой охоты и лишь под влиянием страха. Было бы, пожалуй, правильнее лечить заблуждающихся так же, как лечат безумцев, даже против их воли. Однако, по-моему, всякий может заболеть этой болезнью, и я полагаю, что неразумных следует поучать, а не карать.

ПИСЬМО 45

Эвагрию.

Маленькое поместье из четырех полей в Вифинии, подаренное мне моей бабкой, я теперь дарю тебе в знак нашей дружбы. Поместье, правда не столь велико, чтобы его владелец мог счесть

себя очень богатым и благоденствующим, однако, если я перечислю по порядку все его достоинства, ты увидишь, что дар этот не совсем лишен прелести. Ведь ничто не мешает мне шутя поговорить с тобой, человеком большого обаяния и тонкого вкуса.

Поместье отстоит от моря не больше чем на двадцать стадиев, но ни купец, ни моряк, люди болтливые и наглые, не досаждают тамошним обитателям своим появлением. Однако и благ Нерея[15] оно не совсем лишено: там всегда найдешь свежую и еще трепещущую рыбу, а если, выйдя из дома, ты поднимешься на какой-нибудь холм, то увидишь с него море — Пропонтиду, острова и город, носящий имя прославленного царя[16]. Оно не засорено ни водорослями, ни морским латуком, ни всем тем, что выбрасывают на песчаный берег волны, ни другими весьма неприятными предметами, которых вкратце и не перечислить, но изобилует тисом, тимьяном и душистыми травами. Когда, в глубокой тишине, ты погрузишься в книгу, а затем пожелаешь дать отдых утомленным глазам — пред тобой откроется очаровательный вид на море и корабли.

Когда я был еще совсем юным, это место казалось мне в летний зной самым привлекательным: ведь там есть и источники прекрасные, и купанье восхитительное, и сад, и древесные кущи. Да и став уже взрослым человеком, я все еще находился под обаянием этого старого обиталища; я часто бывал там, и каждая встреча с ним отражалась в моих сочинениях. Остался там и скромный памятник моих земледельческих занятий — небольшой виноградник, дающий вино благоуханное и приятное, которое не нуждается в том, чтобы время прибавило ему прелести: ты найдешь в нем и Диониса и Харит[17]. Виноградная гроздь, висит ли она на лозах, или выжимается в давильне, благоухает подобно розам, а молодое вино в сосудах — это, если кто-либо пожелает сослаться на Гомера[18], уже настоящий нектар. Почему же, спросишь ты, этих лоз осталось так мало? Почему они занимают всего несколько плетров? Потому, что я оказался нерадивым земледельцем. Ведь трезв мой кратер и очень нуждается в дарах нимф[19]. Поэтому я припас столько вина, сколько надо для меня и для моих друзей, — а потребности у этих людей скромные.

Теперь же, мой дорогой, я приношу тебе свой малый дар, но, как говорит мудрый поэт Пиндар[20], дружеский дар из дома в дом радостен другу. Это письмо я писал наспех при светильнике. Поэтому, если я в чем-либо и погрешил в нем, не суди меня строго, как судит ритора ритор.

ПИСЬМО 48

Арсакию, жрецу Галатии.

По нашему мнению, эллинская вера еще не упрочилась до желанных пределов, и повинны в этом мы, ее приверженцы, ибо дары самих богов прекрасны и велики и далеко превосходят все

наши желания и все наши надежды. Пусть же будет благосклонна к нашим словам Адрастея: ведь никто даже и не дерзал желать столь глубокой перемены в такой небольшой промежуток времени.

Но неужели мы думаем, что этого достаточно? Почему мы не обращаем внимания на то, что безбожное учение [21] так сильно укрепилось именно благодаря радушию к чужестранцам, заботе о погребении умерших и притворной святости жизни? Поистине я полагаю, что все это следует выказывать и нам. И недостаточно, чтобы лишь ты один отличался этими качествами — нет, этими качествами должны отличаться все наши жрецы, живущие в Галатии. То убеждая, то стыдя, внушай им благочестие или отрешай от жреческой должности, если они вместе с женами, детьми и слугами не обратят свои помыслы к почитанию богов, но будут терпеть нечестие своих слуг, сыновей или жен, которые предпочли безбожие.

Затем убеждай каждого жреца, чтобы он не посещал театра, не пил в харчевне и не занимался каким-либо искусством или ремеслом, пользующимся дурной славой. Тех, кто слушается тебя, цени, а тех, кто противится, изгони. Далее, в каждом городе учреди как можно больше странноприимных домов, чтобы чужестранцы пользовались нашими благодеяниями, и не только приверженцы нашей веры, но также и всякой другой, если он нуждается в деньгах.

О том, где ты сможешь получить в изобилии все необходимое, я уже подумал. Я повелел ежегодно раздавать по всей Галатии тридцать тысяч модиев пшеницы и шестьдесят тысяч секстариев вина; пятую часть всего этого я поручаю израсходовать на бедных, прислуживающих жрецам, остальное же следует разделить между чужестранцами и нищими. Поистине позорно, что наши от нас самих не получают никакой помощи, в то время как ни один иудей не просит подаяния, а нечестивые галилеяне [22] кормят не только своих, но также и наших.

Поэтому убеждай сторонников эллинской веры жертвовать на такое служение, а жителей сел — отдавать богам долю от своих плодов; приучи их к благотворительности и внушай им, что она с давних времен была нашим делом. Ведь и у Гомера Евмей говорит:

> Если бы, друг, кто и хуже тебя посетил нас, мы долг свой,
> Гостя почтить, сохранили бы свято — Зевес к нам приводит
> Нищих и странников; дар и убогий Зевесу угоден [23].

Так не допустим же, чтобы другие, подражая лучшим из нас, похитили нашу славу, а мы сами из-за нашей нерадивости были посрамлены; и более того — чтобы мы перестали благоговейно чтить богов. Если я услышу, что ты заботишься обо всем этом, я преисполнюсь радости.

Наместников в их дворце ты навещай редко, но как можно чаще пиши к ним. Пусть ни один жрец не выходит им навстречу,

когда они прибывают в город, но приветствует их только тогда, когда они направляются в храмы богов, и то — лишь в дверях храма.

Пусть ни один воин не входит в храм раньше наместника, но следовать за ним может кто угодно. Ибо, как только наместник переступает порог храма, он становится частным лицом. Сам ты, как тебе известно, — первое лицо внутри храма, ибо этого требует божественный закон. И те, кто повинуются тебе, поистине богобоязненны; те же, кто противятся, — пустые честолюбцы и преисполнены тщеславия.

Я готов оказывать помощь Пессинунту [24], если жители вновь заслужат благоволение Матери богов; если же они будут пренебрегать ею, то не только заслужат порицание, но — скажу более резко — навлекут на себя нашу немилость:

...Неприлично
Нам под защиту свою принимать человека, который
Так очевидно бессмертным, блаженным богам ненавистен [25].

Итак, убеди их, если они хотят снискать мое расположение, всенародно вознести мольбы Матери богов.

ПИСЬМО 53

Георгию прокуратору.

Пусть и болтливая Эхо будет признана богиней, как ты предлагаешь, а если хочешь, — то и супругой Пана; я возражать не стану. Ибо хотя природа пытается убедить меня, что Эхо — не более как видимость отвечающего и отраженного голоса, который возник от колебания воздуха и возвращается к нашему слуху, все же я, убежденный словами древних и живущих теперь людей, а равно и твоими речами, склонен поверить, что Эхо — божество.

Но какое это имеет значение для меня, если, выказывая тебе свою дружбу, я намного превзошел Эхо? Ведь Эхо, что бы она ни услышала, возвращает обыкновенно только конец слова, будто скупая любовница, целующая в ответ своего возлюбленного лишь кончиками губ. Я же и охотно опережаю тебя и, в свою очередь, вызванный тобою на состязание, словно при игре в мяч, воздаю тебе равной мерой.

Поэтому тебе придется признать себя виновным в том, о чем ты сам пишешь, и сравнить с Эхо себя, дающего всегда меньше, чем получил, а отнюдь не меня; ведь я стремлюсь во всем тебя превзойти. А впрочем, воздаешь ли ты мне равной мерой за то, что получаешь, или нет, — мне все приятно. И что бы я ни получил от тебя — я всем доволен.

ПРОТИВ ХРИСТИАН

СЛОВО I

(39A—39B, 44A—94A, 134—135B)

Полезным, кажется мне, будет со всеми поделиться соображениями, убедившими меня в том, что коварное учение галилеян представляет собой злобный людской вымысел. Хотя в учении этом нет ничего божественного, оно сумело воздействовать на неразумную часть нашей души, по-ребячески любящую сказки, и внушило ей, что эти небылицы и есть истина.

. . . . . .

Правда, и эллины сочинили мифы о богах, — невероятные и полные небылиц. Говорят же они, будто Крон поглотил своих детей и затем снова изверг их обратно. Рассказывают и о нечестивых брачных союзах: Зевс якобы сочетался с матерью, имел от нее детей, и сам женился на собственной дочери [1], которую родила ему его мать. Более того, сойдясь с ней, он затем без стеснения уступил ее другому [2]. Затем рассказывают, как Дионис был растерзан на части [3] и как члены его были снова собраны воедино. Вот что говорят эллинские мифы. Но сравните с ними иудейское учение о том, как бог насаждает рай, как он создает Адама, а потом жену для него. Бог говорит: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» [4], — а эта «помощница» решительно ни в чем не помогла ему, обманула его и стала причиной того, что и он и она были изгнаны из рая и лишились райского блаженства. Все это настоящие басни. Ибо разве не бессмысленно, если бог не ведает, что его творение не только будет бесполезным для того, кому оно предназначено, но,

напротив, принесет одни несчастья? И на каком, спросим мы, языке змий должен был разговаривать с Евой? Неужели на человеческом? Чем же отличается все это от мифов, выдуманных эллинами? Ну не верх ли это бессмыслицы: бог отказывает человеку, им же созданному, в познании добра и зла! Может ли быть что-либо неразумнее человека, не умеющего различать добро и зло? Ясно, что такой человек не будет избегать зла и не будет стремиться к добру. Но важнее всего то, что бог не дал человеку наслаждаться познанием, а между тем нет ничего более драгоценного для человека. Ведь способность различать добро и зло — свойство разума, и это очевидно даже для самых неразумных; так что змия можно назвать скорее благодетелем, а не губителем рода человеческого, бога же по той же самой причине следует назвать завистником. Ибо как только он увидел, что человек приобрел разум, он изгнал его из рая, чтобы тот, как говорит бог, не вкусил от древа жизни. Вот подлинные слова бога: «Адам стал как один из нас, зная добро и зло; как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» [5]. И господь бог лишил его блаженства райской жизни. Если все это вместе взятое не миф, имеющий тайный смысл [6], тогда, я убежден, эти россказни о боге исполнены богохульства. Не знать, что созданная как помощница станет причиной гибели и запретить познание добра и зла, каковое, по моему мнению, есть величайшее достояние человеческого разума, да еще завистливо опасаться, как бы человек не вкусил от древа жизни и из смертного не стал бессмертным, — все это присуще лишь недоброжелателю и завистнику.

. . . . . .

Говоря о несходстве различных языков, Моисей приводит совершенно баснословный рассказ. Если верить ему, сыны человеческие, объединившись, решили построить город и в нем — огромную башню, но бог сказал, что он сойдет с неба и смешает их языки. Чтобы кто-нибудь не подумал, будто я клевещу на Моисея, обратимся к его собственным словам:

«И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; пусть все узнают о нас прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И господь сказал: — Вот — один народ и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали; сойдем же и смешаем там язык их, чтобы ни один не понимал речи другого. — И рассеял их господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город» [7].

Итак, вы требуете, чтобы мы этому верили, а сами не верите тому, что сказано Гомером об Алоадах, будто они вознамерились взгромоздить одну на другую три горы, «чтоб приступом небо взять» [8]. А я полагаю, что оба эти повествования похожи на басни. Почему же вы — клянусь богами — принимая первое, отвергаете сказанное Гомером?

ВРАГ БОРОДЫ

(340D—341D)

1. Поэт Анакреонт создал множество прекрасных и прелести исполненных песен, ибо Мойры даровали ему много радостей в жизни. Алкею же и паросцу Архилоху божество не дало посвятить Музу радости и наслаждению людей, и так как оба они претерпели немало бед, то и в своих творениях стремились, порицая своих притеснителей, облегчить ниспосланные божеством несчастья. Но мне закон запрещает (я полагаю, он запрещает и всем остальным) упрекать в чем бы то ни было тех, — называя их имена, — кто от меня никакой обиды не претерпели, сами же на меня нападали. Среди образованных людей господствует убеждение, что теперь нельзя сочинять поэтические произведения; ведь занятие поэзией считается в наше время столь же постыдным, как некогда — богатство, нажитое нечестным путем. Но все же я не стану пренебрегать помощью Муз. Я заметил, что и живущие за Рейном варвары, грубо выкрикивая слова своих песен, подобные резкому карканью диких птиц, испытывают от этого удовольствие. Мне думается, что плохие певцы вызывают досаду у слушателей, а сами испытывают наслаждение. Да и я, размышляя как-то и говоря, по своему обыкновению, сам с собой, сказал:

Итак, я буду петь для Муз и для себя.

Моя песня создана в вольной манере и содержит множество дерзких ругательств, однако, клянусь богами, они направлены не против других (как возможно это, если запрещает закон?), но только против самого поэта и сочинителя. Ведь ни один закон не запрещает сочинять хвалы или порицания самому себе, но восхвалять себя, даже если бы у меня и была такая мысль, я не

нахожу никаких оснований; зато у меня есть тысячи причин себя порицать.

2. Я хочу начать с моего лица. По моему мнению, природа сотворила его не слишком красивым, приятным и привлекательным. А вдобавок, обладая мрачным и упрямым характером, я отрастил себе эту бороду, и не для какой-либо иной цели, а единственно для того, чтобы наказать природу, которая не дала мне более красивой внешности. И вот в моей бороде снуют вши, словно звери в дремучем лесу, а мне приходится их терпеть. Не смею я также ни есть ни пить в полное свое удовольствие, широко открывая рот, ибо должен остерегаться, как бы, сам того не замечая, не проглотил вместе с хлебом собственные волосы. А вот о том, что я не могу ни вкусить поцелуев, ни дарить их сам, я ни в какой мере не жалею, хотя, кроме всех прочих неудобств, борода не дает прикоснуться губами к нежным и, как я полагаю, сладостным устам; об этом уже обмолвился один из поэтов, вдохновленный Паном и Каллиопой, — тот, что воспел Дафниса [1]. Вы скажете, пожалуй, что из моей бороды нужно свить веревку. Я готов, если только вы сможете выдрать из нее волосы, не поранив своих нежных и мягких рук об эту щетину. Пусть никто из вас не подумает, будто я озлился за насмешку [2], — ведь я первый дал повод к ней. Да, у меня подбородок как у козла, но я мог бы сделать его гладким и безволосым, словно у прелестных мальчиков и у женщин, которых природа наделила привлекательностью, достойной любви. Вы же по невоздержности и в еще большей степени, пожалуй, по распущенности нравов тщитесь даже в глубокой старости угнаться за собственными сыновьями и дочерьми и постоянно стремитесь сохранить гладким ваш подбородок. Право, лишь по вашему лбу, а не по щекам (как у меня) можно догадаться, что вы — мужчины. Однако длинная борода — это еще не все; моя голова всклокочена, и я лишь крайне редко позволяю стричь мои волосы. И ногти я стригу нечасто, а все пальцы у меня в чернилах. Если же вы пожелаете узнать обо мне какие-либо тайные подробности, то я могу вам открыть, что грудь моя густо заросла волосами, словно у льва, царя зверей. Угрюмый нрав и моя необщительность всегда отвращали меня от мысли сводить волосы на груди или где-нибудь еще с тем, чтобы сделать кожу гладкой и нежной. Будь у меня бородавка, как у Кимона, я поведал бы вам о ней, но бородавки у меня нет.

3. Однако я хочу сообщить вам нечто иное, для вас небезызвестное: не довольствуясь безобразным видом своего тела, я стараюсь еще придерживаться как можно более сурового образа жизни. По глупости своей я не позволяю себе посещать публичные зрелища и не терплю никаких театральных представлений в моем доме, — разве что на Новый год, — так как не имею к этому ни малейшего расположения. Если же я все-таки иду в театр, то с единственной целью — выполнить свой долг, и с та-

ким же чувством, с каким бедный крестьянин платит подати своему неумолимому господину. И когда я сижу в театре, по моему виду сразу можно понять, что я осуждаю все эти зрелища. Меня называют великим царем всего мира, но я вовсе не стремлюсь считаться начальником мимов и возничих. Вы удивлялись этому еще в мои юношеские годы; и правда, я уже в ту пору проявлял суровость и мрачность нрава.

То, в чем я далее намерен признаться, гораздо меньше вам известно: я ненавижу скачки так же сильно, как должники ненавидят суд, и поэтому крайне редко являюсь на гипподром, разве только в дни, посвященные богам. А если уж и приду туда, то не провожу на гипподроме целый день, как обыкновенно поступали мой двоюродный брат и дядя [3], но, посмотрев шесть забегов, спешу уйти, и по выражению моего лица можно сразу заключить, что я не только не люблю это увеселение, но, напротив, ненавижу его и гнушаюсь им; вот каков мой образ жизни вне дома. Однако это лишь малая часть того, что вам еще угрожает.

4. Теперь послушайте, как течет моя жизнь дома. Ночи я провожу на твердом ложе, часто без сна, и никогда не наедаюсь досыта; мой характер суров и плохо согласуется с прелестями городской жизни. Не подумайте, однако, что я делаю это из-за вас. Еще с юношеских лет безрассудное и жестокое заблуждение склонило меня на борьбу с собственным желудком. Я не позволяю желудку переполняться едой, и потому со мной редко случалось, чтобы я извергал обратно съеденную пищу. Я вспоминаю, что с тех пор как я стал цезарем, это случилось со мной лишь однажды, но и тому была совсем иная причина. Стоит рассказать вам эту историю, которая, хотя и не слишком привлекательна, однако именно потому мне и нравится.

Однажды зимой я оказался в милой мне Лютеции [4]. Так называют кельты городок парисиев. Он расположен на небольшом островке, омываемом со всех сторон рекою. Перебраться на остров можно с обоих берегов реки по деревянным мостам. Река мелеет лишь изредка, обыкновенно летом она такая же, как и зимой. Вода ее необыкновенно прозрачна и приятна на вкус, и тамошние жители употребляют ее для питья. Зима там очень мягкая, что объясняют теплотой океана, от которого остров этот отстоит не более чем на девятьсот стадиев. И, возможно, океан несет ему какие-то теплые испарения, так как морская вода вообще, как кажется, теплее пресной. Одним словом, какова подлинная причина, мне неизвестно, но зима в этой стране действительно теплая. Поэтому на острове растет хороший виноград. А некоторые жители — искусные садоводы — даже вырастили смоковницы, которые они покрывают на зиму соломой или чем-то еще, охраняющим деревья от холодов.

Но в тот год зима была более суровая, чем обычно, и река несла на себе будто куски мрамора. Вы ведь знаете мрамор, этот фригийский камень? Своей белизной ледяные глыбы, громоздив-

шиеся друг на друга, были очень похожи на него. Они так тесно смыкались одна с другой, что, казалось, через реку переброшен мост, по которому можно перейти на другой берег. И вот в таких-то обстоятельствах я решил быть к себе еще суровее, чем обычно, и не позволял обогревать мою спальню, хотя в тех краях большинство жилищ отапливается очагами, да и в моей комнате были все приспособления для топки. Делал я это тогда по глупости или, вернее сказать, из непреклонности по отношению к самому себе — ведь я желал непременно приучиться переносить климат той страны, считая такую привычку полезной для себя. Хотя зима становилась все холоднее, я все еще не позволял слугам обогревать мое помещение из боязни привести в движение скопившуюся в стенах влагу; наконец, однако, я разрешил внести в комнату огонь и немного горячих углей. Но этот огонь, как ни был он слаб, вытянул из стен столько пара, что я заснул с тяжелой головой. Я чуть было не задохнулся, и меня пришлось вынести наружу. Врачи заставили меня извергнуть пищу, которую я принял незадолго до этого; по счастью, ее было немного. Я почувствовал себя гораздо лучше и провел ночь спокойно, а на следующий день принялся за свои обычные дела.

5. Вот как я жил среди кельтов, словно «Хмурый» [5] Менандра, и сам досаждал себе чрезмерно суровой жизнью.

ПРИМЕЧАНИЯ

ИОСИФ ФЛАВИЙ (37—102)

Иосиф Флавий происходил из знатной иудейской семьи, принимал активное участие в войне Иудеи против Рима, но затем перешел на сторону противника и долгие годы прожил в столице империи. Здесь он много делал для ознакомления римлян с иудейской религией и культурой; этой задаче и посвятил он свои сочинения: «Иудейскую войну», «Иудейские древности» (историю еврейского народа с библейских времен до начала борьбы с Римом), автобиографию и два полемических сочинения «Против Апиона», защищающие иудейство от антисемитских нападок.

Иудейская война

[1] *Ирод* (I в. до н. э.) — царь Иудеи.

[2] Парфянский сатрап.

[3] Город в Палестине.

[4] Имеется в виду римский полководец I в. до н. э. Марк Антоний.

[5] *Малх* — царь набатеев (народа, обитавшего к югу от Мертвого моря), *Лисаний* — царь сиро-арабского племени итуров, живших на границе Иудеи.

[6] Имеется в виду взятие Иотапаты.

[7] Римский консул, глава римских войск во время Иудейской войны, впоследствии император (69—79).

[8] Иосиф говорит о Моисее.

[9] Древние греки не предавали тела самоубийц огню, а зарывали их в землю, отрубив правую руку.

[10] Сын Веспасиана, назначенный им во время Иудейской войны легатом; впоследствии император (79—81).

[11] Долина под Иерусалимом.

[12] Ночь (с 6 вечера до 6 утра) делилась на четыре стражи; стража сменялась каждые три часа.

[13] Крепость в Иерусалиме.

[14] Иудейский месяц лоос соответствует июлю — августу. *Царь вавилонян* — Навуходоносор Великий (606—562 гг. до н. э.), взявший и разрушивший Иерусалим.

[15] Местность вблизи Иерусалима.

[16] Имеются в виду осажденные в крепости Масада — последнем оплоте сражающейся Иудеи.

Иудейские древности

[1] Библейский патриарх, сын Исаака.

[2] Намек на библейский рассказ о том, как Моисей вывел евреев из Египта.

[3] Город в Палестине библейского периода.

[4] Предки арабских кочевых племен.

[5] Область в Палестине.

[6] Город в нижнем Египте.

[7] Библейское название Палестины.

ДИОН ХРИСОСТОМ (ок. 40 — после 112)

Дион Хрисостом — оратор и философ из вифинского города Прусы. По приказу императора Домициана был изгнан из Италии и Вифинии; в течение многих лет скитался, выступал с речами в разных городах и вел жизнь бедняка. Именно бедность обратила Диона к учению киников. При императоре Нерве Дион получил возможность вернуться из изгнания и при Траяне пользовался почетом.

Эвбейская речь

[1] «Илиада», II, 536—46.

[2] Имеется в виду Домициан.

[3] Башни.

[4] Театр был обычным местом для различного рода собраний.

[5] Царь Эвбей Навплий, чтобы отомстить за казненного под Троей сына, зажег над Кафарейскими скалами огни; плывшие домой греки были введены этими огнями в заблуждение и погибли.

[6] Автор обыгрывает многозначность слова талант: горожанин понимает под ним денежную единицу, а охотник — единицу веса.

[7] Общественное здание, где заседали пританы — члены городского совета; там же за государственный счет получали питание сами пританы, заслуженные граждане и почетные гости.

[8] Эврипид, «Электра», 424—5.

[9] «Одиссея», XVII, 455 сл. Перевод В. Жуковского.

[10] «Одиссея», XVII, 549; XIX, 306 сл.

[11] «Одиссея», XXI, 285 сл.

[12] «Одиссея», XVII, 10 сл.

[13] Легендарный народ феаков гостеприимно принял попавшего на их остров Одиссея, щедро одарил и доставил на родину.

[14] Подразумевается троянский царевич Парис, похититель супруги Менелая Елены и виновник Троянской войны.

[15] Имеется в виду Ифигения, принесенная в жертву, чтобы боги послали попутный ветер греческому воинству, которое не могло отплыть в Трою.

[16] Эврипид, «Электра», 404 сл.

[17] Очевидно, речь идет о стоике Клеанфе, который был очень беден и работал ночами, чтобы иметь возможность изучать философию.

[18] Софокл, фрагмент 85.

[19] «Маргит», фрагмент 2. Поэма, вопреки традиции, приписана Дионом Гесиоду, а не Гомеру.

[20] Мысль автора нужно понимать следующим образом: как хоры состязаются друг с другом, так Дион, защищая неимущих, выступает против богачей.

[21] Смирна и Хиос считались родиной Гомера, Аргос — главный город Арголиды, — как и вся область, носящая это же название, были некогда под властью царя Агамемнона.

[22] По-видимому, намек на Платона: в его «Государстве» определяется понятие справедливости, а затем следует описание основанного на справедливости идеального государства.

[23] Намек на миф, согласно которому Зевс превратился в золотой дождь и так проник к своей возлюбленной Данае, запертой в медный терем или каменную темницу.

[24] Подразумеваются мифы об Европе, Амимоне и т. п.

[25] «Илиада», XVI, 180. Перевод Н. Гнедича. Гомер матерью Эвдора называет Полимелу.

[26] Так в Спарте во время Мессенской войны называли сыновей незамужних девушек.

[27] Снова намек на миф о Данае.

Диоген

[1] Венок из сельдерея — награда победителей на Истмийских и Немейских играх, масличный венок — олимпийских победителей, сосновый — истмийских (в более позднюю эпоху).

[2] То есть на Олимпийских, Истмийских или Пифийских состязаниях.

[3] «Илиада», XV, 695, 710—711. Перевод Н. Гнедича.

[4] Речь идет об Ипполите, царице амазонок, волшебный пояс которой Геракл должен был добыть по требованию Эврисфея. Герой пленил (по другим версиям убил) Ипполиту и завладел поясом.

Борисфенитская речь

[1] Город близ устья Днепра.

[2] Дион был изгнан в 82 г.

[3] Фракийское племя на Дунае.

[4] Река Буг.

[5] Днепр.

[6] Метрополией Борисфена был Милет.

[7] О культе Ахилла в Причерноморье см. помещенное в настоящем сборнике «Плавание вокруг Понта Эвксинского» Арриана.

[8] «Илиада», IV, 362 сл. Перевод Н. Гнедича.

[9] «Одиссея», VIII, 223.

[10] «Одиссея», VIII, 224 сл.

ПЛУТАРХ (46 — после 127)

Плутарх родился в маленьком беотийском городке Херонее. Получил в Афинах разностороннее и широкое образование. Занимал ряд высоких административных должностей, был жрецом Аполлона Дельфийского. Автор «Сравнительных жизнеописаний» и большой группы сочинений на самые различные темы, объединенных под названием «Нравственные сочинения».

Жизнеописание Деметрия

[1] Полководец Александра Македонского. После раздела империи Александра потомки Антигона правили Македонией.

[2] *Деметрий* по прозвищу Полиоркет — македонский царь (337—283 гг. до н. э.).

[3] Преемники Александра Македонского; после его смерти вели между собой кровопролитные войны за власть.

[4] *Филипп III* — царь Македонии (221—179 гг. до н. э.), по наветам своего побочного сына Персея убил второго своего сына Деметрия.

[5] *Птолемей* I Сотер — полководец Александра Македонского, после раздела его монархии — основатель царской династии в Египте.

[6] Город на юго-западе Палестины.

[7] Город в Великой Фригии.

[8] *Селевк* I Никатор — полководец Александра Великого, основатель сирийской династии Селевкидов.

[9] Город в Карии (М. Азия).

[10] *Касандр* (355—296 гг. до н. э.) — сын Антипатра, полководца Филиппа Македонского; один из диадохов, властитель Македонии и Греции.

[11] Одна из гаваней, расположенная вблизи Афин.

[12] Месяц афинского календаря, соответствующий маю — июню.

[13] Гавань Афин.

[14] Главный город Мегариды, области средней Греции.

[15] Город в Ахайе.

[16] *Ламийская война* (323—322 гг. до н. э.) — война между объединенным войском греческих городов и Антипатром, правителем Македонии, окончившаяся победой последнего. Битва при Кранноне — заключительное сражение Ламийской войны.

[17] Первый из афинских архонтов, именем которого назывался год.

[18] Речь идет о пеплосе (одеянии) Афины, ткавшемся к празднику Панафиней.

[19] «Нисходящий», один из эпитетов Зевса.

[20] С конца VI в. до н. э. территория Аттики была разделена на 10 фил.

[21] Глава партии радикальной демократии в Афинах (погиб в 422 г. до н. э.).

[22] Один из Спорадских островов.

[23] Район Афин.

[24] Комедиограф IV—III вв. до н. э.

[25] *Лисимах* (361—281 гг. до н. э.) — один из диадохов. Вел многолетнюю войну с Деметрием.

[26] *Дем* — часть филы, единица территориального деления Аттики.

[27] Знаменитый афинский полководец времени греко-персидских войн. Победитель в битве при Марафоне (490 г. до н. э.).

[28] Столица Киренаики (область на северном берегу Африки, населенная в ту эпоху греками).

[29] Полководец Александра Македонского, соратник Антипатра.

[30] Эврипид, «Финикиянки», 395.

[31] Город на Кипре.

[32] Острова Хиос и Фасос славились своим вином. Вопрос Антигона намекает на веселый образ жизни Деметрия.

[33] Осадные машины, изобретенные Деметрием и впервые примененные при осаде Родоса.

[34] Супруга Филиппа, мать Александра Македонского.

[35] Знаменитый живописец IV в. до н. э.

[36] Аргосский праздник в честь Геры.

[37] Царь Сиракуз (IV—III вв. до н. э.).

[38] Имеется в виду посвящение в Элевсинские таинства.

[39] Посвящение было многостепенным и, начинаясь весной, полностью завершалось лишь к осени следующего года. Месяц антестерион соответствует февралю — марту, боэдромион — сентябрю — октябрю.

[40] Жрец Элевсинского культа.

[41] *Мунихион* соответствует апрелю — маю.

[42] Дем в Аттике.

[43] *Эпопт* — человек, достигший высшей степени посвящения в Элевсинские мистерии.

[44] Писатель IV в. до н. э.

[45] Острота основана на совпадении имени гетеры — Ламия — с названием легендарного чудовища в образе женщины.

[46] Египетский царь и законодатель VIII в. до н. э.

[47] Коринфский перешеек.

[48] Город в Киликии.

[49] В битве при Ипсе, в Великой Фригии, Антигон и Деметрий были побеждены коалицией остальных диадохов (301 г. до н. э.).

[50] В античном театре задняя стена сценической площадки и находившееся за ней помещение.

[51] В античном театре пространство, на котором стояли и действовали актеры.

[52] Холм близ афинского Акрополя.

[53] Город в Македонии.

[54] Город в Фессалии.

[55] То есть Аполлона.

[56] Гомер, «Илиада», I, 238.

[57] Столица Македонии.

[58] Птолемей IV, царь Египта (221—204 гг. до н. э.).

[59] Город в Македонии.

[60] Эврипид, «Вакханки», 4—5; стихи несколько изменены.

[61] Софокл, «Эдип в Колоне», 1—2. Перевод С. Шервинского.

[62] Южная часть Каппадокии.

[63] Горная цепь, отделяющая Каппадокию и Киликию от Сирии.

[64] Область между Аманом и рекой Евфрат.

[65] Город в Карии.

[66] Город в Фессалии.

Грилл

[1] Подразумевается супруга Одиссея Пенелопа.

[2] Герой Тесей на пути из Трезены в Аттику совершил множество подвигов, в том числе убил в Кромионе, городке близ Коринфа, страшную свинью, породившую калидонского и эриманфского вепрей.

[3] На горе Фикион, лежащей между фиванской равниной и Копаидским озером, обитало, по преданию, чудовище, с которым позднее был отождествлен Сфинкс, крылатая полуженщина-полульвица, загадывающая загадки проходившим мимо путникам. Тех, кто не мог дать правильного ответа, Сфинкс убивал.

[4] На горе Тевмессе в Беотии, по преданию, жила лисица, требовавшая человеческих жертв.

[5] Имеется в виду чудовищная змея Пифон. Аполлон пришел в долину, охраняемую Пифоном, убил его и на этом месте основал Дельфийский оракул.

[6] Царь Агамемнон получил Эту от жителя Сикиона Эхепола в качестве выкупа за право не принимать участия в Троянском походе.

[7] Жители малоазийских областей считались изнеженными.

[8] «Илиада», IV, 253 и V, 639.

[9] Волшебница Кирка, влюбленная в Одиссея, предлагала ему остаться на ее острове и обещала сделать его бессмертным.

[10] Египетский бог, почитавшийся в образе козла.

[11] Плутарх имеет в виду малоизвестный миф о том, как Агамемнон по всей Беотии преследовал юношу Аргинна, пока тот, желая избегнуть его домогательств, не бросился в реку и не утонул. Горюя о его смерти, Агамемнон упустил благоприятное для плавания время.

[12] Геракл, сопровождавший аргонавтов в Колхиду, разыскивал своего пропавшего любимца Гила, которого нимфы заманили в воду; аргонавты принуждены были сняться с якоря, не дождавшись Геракла.

[13] *Птой* — посвященная Аполлону горная цепь в Беотии.

[14] Дед Одиссея по матери, прославлен в мифах как ловкий вор.

[15] По некоторым версиям мифа, Одиссей считался сыном Сизифа, человека лукавого, корыстолюбивого и враждовавшего с богами.

Некоторые ученые полагают, что диалог полностью не сохранился; другие считают, что молчание Одиссея в ответ на оскорбительную реплику Грилла служит эффектной концовкой.

«ПИСЬМА ХИОНА ИЗ ГЕРАКЛЕИ» (вторая половина I в.)

Неизвестный автор «Писем» был искусным ритором, хорошо знакомым с философией Платона. Можно предполагать, что «Письма» в иносказательной форме содержали критику жестокой политики императора Домициана. В основе этой повести в письмах лежит реальный факт: Хион из Гераклеи, ученик Платона, вместе с несколькими другими заговорщиками убил в 353—352 гг. до н. э. тирана города Гераклеи Клеарха.

[1] Рассказ об историке и полководце Ксенофонте (V в. до н. э.) основан на его сочинении «Анабасис»; однако автор «Писем» во многом отходит от своего источника.

[2] Ранний заход созвездия Козлят наступает осенью, в пору, неблагоприятную для плавания.

[3] О какой именно войне идет речь — не ясно.

[4] Платон неоднократно жил при дворе сиракузских тиранов — Дионисия Старшего и Младшего.

[5] Клеарх стал тираном Гераклеи в 364—363 гг. до н. э.

[6] День и ночь, разделявшиеся по вавилонскому образцу на 12 часов, начинались соответственно в 6 утра и в 6 вечера. Таким образом, шестой час дня — около полудня.

[7] Здание, построенное Периклом для музыкальных состязаний; служило также для философских бесед и диспутов.

ХАРИТОН (I—II вв.)

Харитон — автор «Повести о любви Херея и Каллирои». Данных о жизни и творчестве Харитона не сохранилось, а сообщаемые им в начале романа скупые сведения о себе скорее всего носят фиктивный характер.

[1] На городской площади были сосредоточены присутственные места.

[2] Женщины, ухаживающие за Каллироей, в отличие от нее — не рабыни.

[3] Супруг Каллирои, с которым она по воле случая разлучена.

[4] «Одиссея», XVII, 486 сл. Перевод В. Жуковского.

[5] Царь феаков, доставивший на родину Одиссея.

АНТОНИЙ ДИОГЕН (нач. II в.)

Роман Антония Диогена «Удивительные приключения по ту сторону Фулы» дошел до нас в пересказе константинопольского патриарха Фотия (IX в.).

[1] Фотий ошибочно относит сочинение о всевозможных диковинах философа V в. Дамаския к числу романов.

[2] Анонимное сочинение «Лукий или Осел», приписываемое Лукию из Патр, нередко цитировалось под названием «Метаморфозы».

[3] Герои романа Ямвлиха «Вавилонская повесть».

[4] Герои одноименного романа Ахилла Татия.

[5] Герои романа Гелиодора «Эфиопика».

ФЛЕГОНТ ИЗ ТРАЛЛ (первая половина II в.)

Флегонт — вольноотпущенник императора Адриана, автор исторической хроники — «Олимпиады» и двух сборников: «О невероятном, или Удивительные истории» и «О долголетних людях». Сочинения Флегонта сохранились лишь в отрывках.

[1] *Император* — Адриан (117—138).

ЯМВЛИХ (первая половина II в.)

Ямвлих — автор романа «Вавилонская повесть», известного по пересказу Фотия и по нескольким фрагментам. Биографических сведений об авторе не сохранилось.

[1] Фантастическая этимология, основанная на созвучии слов «mys» — мышь и «mysterion» — таинство.

[2] Имеется в виду император Марк Аврелий.

[3] Персефона, богиня подземного царства.

КСЕНОФОНТ ЭФЕССКИЙ (первая половина II в.)

Ксенофонт Эфесский — автор романа «Повесть о Габрокоме и Антии», дошедшего до нас в сокращенном виде.

[1] Глава разбойников, в руки которых попали супруги Антия и Габроком.

[2] Манто имеет в виду, что любовь раба к дочери хозяина является посягательством на границы, отделяющие свободного от раба.

[3] Антии, разлученной с супругом, грозит нежеланный брак, которого она всеми средствами пытается избежать.

[4] При свете факелов невесту провожали к дому жениха.

[5] Согласно древнему греческому обычаю, невеста не присутствовала на брачном пиру.

АППИАН (95—165)

Аппиан был родом александриец, он переселился в Рим и достиг высоких административных постов. В «Римской истории», сохранившейся лишь частично, он открыто восхваляет могущество Рима.

[1] Октавиан, Антоний и Лепид (43 г. до н. э.).

[2] Брут и Кассий еще управляли провинциями в Азии.

[3] Привилегированное сословие Римской республики, финансовая аристократия.

[4] Лица, попавшие в проскрипционные списки, объявлялись вне закона, и имущество их подвергалось конфискации.

[5] Когорта, сопровождавшая полководца; телохранители.

[6] В период республики императором назывался главнокомандующий войсками.

[7] Верховный жрец.

[8] Имеется в виду Сулла (138—78 гг. до н. э.).

[9] Ораторская трибуна на форуме.

[10] Подразумевается Октавиан Август.

[11] Город в Южной Италии.

[12] Имеется в виду Секст Помпей, сын Гнея Помпея Великого.

[13] Город в Сицилии.

[14] Минтурны — город в Лациуме.

[15] Лицо в ранге консула; как правило, бывший консул.

ФЛАВИЙ АРРИАН (середина II в.)

Арриан (родом из Вифинии) был крупным императорским чиновником. Он учился у философа Эпиктета и оставил разнообразные сочинения: исторические — «Поход Александра», «Война с аланами», географо-этнографические — «Индика» и «Плавание вокруг Понта Эвксинского», трактат об охоте «Наставление охотнику», трактат по тактике и, наконец, философские сочинения, в которых излагал систему Эпиктета. Творчество Арриана осталось свободным от влияния риторики.

Поход Александра

[1] Сатрап Бактрианы, пленивший персидского царя Дария после поражения, которое нанес ему Александр при Гавгамелах.

[2] Мать Александра, Олимпиада, утверждала, будто отцом его является божество.

[3] Персидский царь Кир Старший (VI в. до н. э.) погиб во время похода на скифское племя массагетов.

[4] Намек на поход Дария I против скифов в 513 г. до н. э.

[5] Имеется в виду поражение персов во время греко-персидских войн.

[6] В междоусобной войне Кира Младшего с его братом Артаксерксом (401 г. до н. э.) на стороне первого был десятитысячный отряд греческих наемников, которым командовал Клеарх, а после его гибели Ксенофонт.

[7] Командиры отрядов в 1000 и 500 бойцов.

[8] Телохранители персидских царей; нижние концы их копий были украшены золотыми или серебряными шарами (по-гречески «mela»).

Плавание вокруг Понта Эвксинского

[1] Автор смешивает остров Ахилла, или Белый (ныне о. Фидониси), в устье Дуная с Ахилловым ристалищем (ныне Тендеровская коса) в устье Бугско-Днепровского лимана.

[2] Речь идет о Патрокле.

Наставление охотнику

[1] По мнению греков, светлоглазые собаки не отличались высокими качествами.

[2] Желая показать, что он следует за Ксенофонтом Афинским, автором аналогичного наставления по охоте, Арриан называет себя его именем.

ПАВСАНИЙ (середина II в.)

Павсаний — путешественник и географ, автор «Описания Эллады». Более всего его внимание привлекали следы прошлого. Находки и раскопки нового времени подтвердили точность приведенных в «Описании» данных.

[*Марафон*]

[1] Единица территориального деления Аттики.

[2] Надгробные памятники.

[3] Афинский народ был разделен на филы, фила делилась на фратрии, фратрия на роды.

[4] То есть персов.

[*Битва аргивянок со спартанцами*]

[1] Поэтесса VI в. до н. э.

[2] Спартанский царь Клеомен I предпринял поход против Аргоса и разбил противников (519 г. до н. э.).

[3] «История», VI, 19.

[*Источник Амимоны*]

[1] Эпический поэт VII в. до н. э., автор поэмы о Геракле.

[*Человеческие жертвоприношения Артемиде*]

[1] Города в Ахайе.
[2] Прилагательное ameilichos значит «неприятный», «суровый».
[3] Царь Фессалии, участник троянского похода.
[4] Сын Зевса, мифический родоначальник троянцев.
[5] Город в Фокиде.
[6] Meilichos — «приятный», «ласковый».

[*Празднин «Дедалы»*]

[1] Во время Пелопоннесской войны Платеи были захвачены (427 г. до н. э.) и оставшиеся в живых платейцы переселены в Сикион. После Анталкидова мира (387 г. до н. э.) они вернулись в родной город.

[*Храм и пещера Трофония*]

[1] Речь идет о роще вблизи беотийского города Лебадии.
[2] Hyetios — «дождливый».
[3] Heniochos — «Правящая колесницей».
[4] Брат Трофония. Согласно некоторым версиям мифа, Трофоний вместе с братом ограбили Дельфийский храм, и Трофоний, чтобы скрыть следы преступления, убил брата, за что был поглощен землей в том месте, где потом находилось святилище Трофония.
[5] О каком Деметрии идет речь, не ясно.
[6] Военачальник мессенцев во время 2-й Мессенской войны против Спарты (VII в. до н. э.), отличавшийся удивительной храбростью.

ЛУКИАН (ок. 120 — после 180)

В первый период своего творчества Лукиан (родом из Самосаты в Малой Азии) был типичным представителем второй софистики. Затем постепенно отходит от ее принципов и становится их обличителем. Творчество Лукиана, сатирика и просветителя, весьма многообразно. Кроме традиционных для второй софистики жанров, Лукиан создавал так называемые Менипповы диалоги, антирелигиозные памфлеты, пародии и др. Несмотря на критику многих культурных и социальных явлений своего времени, Лукиан занимал высокое общественное положение.

Разговоры богов

[1] Агава, мать Пенфея.
[2] Ганимед.

[3] Диоскуры.

[4] Геракл и Дионис.

[5] Европа.

Александр

[1] Возможно, автор направленного против христиан сочинения «Правдивое слово» (II в. н. э.).

[2] Город в Малой Азии.

[3] В греческих мифах хитрые, лукавые карлики.

[4] Нарицательные имена негодяев и обманщиков.

[5] То есть на основании того, как он выглядел впоследствии.

[6] Ср. «Одиссея», IV, 230.

[7] Олимпиада, мать Александра Македонского, по сообщениям некоторых авторов, родила его от змея.

[8] Так начинается II книга «Истории» Фукидида.

[9] *Дельфы, Делос, Клар* — места, где находились прорицалища Аполлона; *Бранхиды* — жрецы дидимского оракула Аполлона.

[10] Золотые кирпичи были пожертвованы Дельфийскому храму лидийским царем Крезом.

[11] Гадая при помощи решета, его держали за край и, называя имена подозреваемых в преступлении, следили, когда дрогнет решето.

[12] Персей, собираясь сразиться с горгонами, получил от Гермеса кривой нож.

[13] Легендарный врач в греческом стане под Троей, сын бога Асклепия, родом из Трикки в Фессалии.

[14] Оракул основан на соответствии букв греческого алфавита цифрам: A = 1; Λ = 30; E = 5; Ξ = 60 (20 × 3). Таким образом, читается Alex — начало имени Alexandros, означающего «муж-защитник».

[15] Малоазийская богиня Кибела, отождествлявшаяся с Реей, матерью Зевса.

[16] В далекой древности Асклепий почитался в образе змеи; в историческое время змея считалась его священным животным; и сейчас эмблема медиков — змея, обвившаяся вокруг чаши.

[17] Игра слов: мать Асклепия — нимфа Коронида, а «corone» по-гречески «ворона».

[18] Философ-эпикуреец III в. до н. э.

[19] Гликон — сын Асклепия, внук Аполлона, правнук Зевса.

[20] Философ-эпикуреец.

[21] Римский полководец, кельт родом.

[22] Ахилл, сын Пелея.

[23] Намек на любовь богини луны Селены к юноше Эндимиону.

[24] Жрецы Деметры, участники элевсинских мистерий.

[25] Аристократические афинские роды, игравшие видную роль в Элевсинских таинствах.

[26] По преданию, у философа Пифагора было золотое бедро.

[27] Факелы и морской лук служили для очистительных обрядов.

[28] Лев считался священным животным Кибелы.

[29] Перед персидским походом лидийский царь Крез вопросил дельфийский оракул и получил ответ, что погубит царство, перейдя реку Галис. Крез был побежден, а дельфийский оракул оказался прав, так как не сообщил, чье именно царство падет.

[30] «Илиада», II, 255.

[31] Римский консул 114 г., а затем правитель Вифинии и Африки.

[32] Иронический намек на слово «нога» (по-гречески «pod»).

Инароменипп

[1] Кинический философ III в. до н. э.

[2] Речь идет о Ганимеде. Ср. выше диалог «Зевс и Ганимед» из «Разговоров богов».

[3] Точка зрения философа Анаксагора (VI—V в. до н. э.).

[4] Намек на учение Платона (IV в. до н. э.).

[5] Так утверждал Демокрит (V в. до н. э.).

[6] Диалектик Гераклит (VI в. до н. э.), учивший, что отец всего — борьба.

[7] Имеются в виду пифагорейцы.

[8] Намек на Сократа, который любил клясться псом.

[9] Стоики считали мировой разум единым и всеобщим божеством.

[10] Согласно теории эпикурейцев, боги обитают в небесных пространствах и не оказывают влияния на людские дела.

[11] Персонажи, не играющие никакой роли в ходе развития пьесы.

[12] «Одиссея», IX, 302. Перевод В. Жуковского.

[13] Горы в Аттике.

[14] Различные возвышенности и горы в Греции.

[15] «Илиада», XIII, 4 сл.

[16] Огромная статуя бога солнца на острове Родосе.

[17] Знаменитый александрийский маяк.

[18] Легенда рассказывает, что философ V в. до н. э. Эмпедокл покончил жизнь самоубийством, бросившись в кратер вулкана Этны.

[19] «Одиссея», XVI, 187. Перевод В. Жуковского.

[20] Египетский царь Птолемей II Филадельф (283—246 гг. до н. э.) был женат на своей сестре Арсиное; Агафокл, сын Лисимаха — полководца Александра Македонского, был казнен по обвинению в заговоре против отца (284 г. до н. э.); Антиох I Сотер, сирийский царь (280—261 гг. до н. э.), был влюблен в свою мачеху Стратонику, и отец, разведясь, отдал ее сыну; тиран фессалийского города Феры Александр был убит братьями своей жены, которая сама привела их в спальню мужа (355 г. до н. э.). Об остальных перечисляемых здесь лицах сведения не сохранились.

[21] «Илиада», XVIII, 483 сл.

[22] Названы характерные (или считавшиеся характерными) для различных народов и племен занятия: хлебопашество для египтян, тор-

говля и мореплавание для финикийцев, морской разбой для жителей Киликии и т. д. Упоминая греков, Лукиан высмеивает обрядовые бичевания юношей перед алтарем Артемиды в Спарте и афинскую склонность к сутяжничеству.

[23] За Кинурию, область в Пелопоннесе, в VI в. до н. э. шла жестокая борьба между жителями Аргоса и спартанцами.

[24] Гора в Македонии.

[25] Намек на миф о том, как Зевс после гибели населения Эгины от чумы создал новых жителей острова, превратив муравьев (по-гречески myrmex) в народ мирмидонян.

[26] «Илиада», I, 222. Перевод Н. Гнедича.

[27] *Стоя и Академия* — философские школы стоиков и последователей Платона в Афинах. *Перипатетики* — последователи Аристотеля.

[28] «Одиссея», X, 198. Перевод В. Жуковского.

[29] «Одиссея», I, 166. Перевод В. Жуковского.

[30] Братья-великаны От и Эфиальт решили взгромоздить гору Оссу на Олимп, а на Оссу — Пелион, чтобы достичь неба и овладеть Артемидой и Герой.

[31] Афинский праздник в честь Зевса, диасии, не праздновался со времен смерти Александра Македонского до воцарения римского императора Адриана, то есть около 450 лет. Постройка храма Зевса Олимпийского в Афинах, начатая в VI в. до н. э., была завершена только при императоре Адриане (117—138).

[32] Святилище Зевса в Эпире (на северо-западе Греции).

[33] Имеется в виду Олимпия (близ города Писы в Элиде) — центр культа Зевса.

[34] В храмах Асклепия больных пользовали жрецы, которые были в то же время врачами.

[35] Фракийская богиня, отождествлявшаяся с греческой Артемидой.

[36] Намек на то, что «Законы», написанные Платоном в старости, лишены поэтического вдохновения, а сочинения Хрисиппа, философа III в. до н. э., не отличались литературными достоинствами.

[37] «Илиада», XVI, 250.

[38] В III в. до н. э. школа академиков сблизилась со скептиками, сомневавшимися в возможности познания истины.

[39] Философ-скептик IV—III вв. до н. э.

[40] Полубоги, спутники азиатской богини Кибелы.

[41] Азиатское божество, отождествлявшееся с Дионисом.

[42] Кордак — разнузданный, бурный танец.

[43] Ср. «Илиада», II, 1—2.

[44] «Илиада», XVIII, 104. Перевод Н. Гнедича.

[45] «Илиада», II, 202.

[46] Бог злословия.

[47] «Илиада», I, 528. Перевод Н. Гнедича.

[48] Гермес.

[49] Район Афин.

МАРК АВРЕЛИЙ (121—180)

Марк Аврелий — римский император (161—180), философ-стоик, автор своеобразной автобиографии «К самому себе».

[1] *Зеленые* и *синие* — партии ипподрома, получившие название по цвету одежды наездников.

[2] То есть не был сторонником вооруженных на фракийский или галльский лад гладиаторов.

[3] Перепелиные бои — модное в то время развлечение.

[4] Философ-стоик, наставник М. Аврелия.

[5] Длинное просторное платье.

[6] Город в Лациуме.

[7] Философ-стоик Эпиктет (I в.) не оставил после себя сочинений. Его ученик Арриан изложил систему своего учителя.

[8] Философ-стоик, воспитатель М. Аврелия.

[9] Стоик, внук Плутарха.

[10] Комментатор Гомера, обучавший М. Аврелия греческому языку.

[11] Знаменитый ритор.

[12] Философ-стоик.

[13] *Тразея* и *Гельвидий* придерживались стоической доктрины и пострадали при Нероне за республиканский образ мыслей. Далее речь идет о *Катоне* Утическом и М. *Бруте* — республиканцах, противниках Цезаря. *Дион* — друг Платона, изгнавший из Сиракуз тирана Дионисия Младшего.

[14] Философ-стоик.

[15] Речь идет об усыновившем М. Аврелия императоре Антонине Пие.

[16] Резиденция Антонина Пия, городок на границе Лациума и Этрурии.

[17] *Ланувий, Тускул* — города в Лациуме.

[18] Город в Лациуме.

[19] Одно из германских племен, жившее на территории нынешней Чехии.

[20] Приток Дуная.

[21] *Пневма* — чувственно-жизненное начало.

МАКСИМ ТИРСКИЙ (ок. 125—185)

Максим Тирский — оратор, представитель 2-й софистики. Вел жизнь странствующего софиста, выступая со своими речами во многих городах Римской империи. Речи его носят преимущественно морально-назидательный характер, в них соединены принципы кинической и платоновской школ.

Следует ли почитать нумизмы?

[1] Бог одноименной реки, сын Океана и Фетиды. Сражался с Гераклом за обладание Деянирой.

[2] С Илиссом были связаны обряды в честь героя Илисса, бога этой реки, а также обряды культа Борея и Элевсинских таинств.

[3] Каждое искусство имело своего бога-покровителя.

[4] Так обучали детей правильно писать буквы, обычно используя в качестве писчего материала глиняные черепки.

[5] Эретрия, Афины и города Ионийского побережья тяжело пострадали во время греко-персидских войн (начало V в. до н. э.).

[6] Речь идет о культе героев, в котором прославление их деяний занимало важнейшее место.

[7] Согласно мифу, люди были вылеплены Прометеем из глины или родились из разверзшейся в родовых муках земли.

Предпочитать ли кинический образ жизни?

[1] Баснописец Эзоп (VI в. до н. э.).

[2] В «Трудах и днях» Гесиод дает описание пяти сменяющих друг друга периодов, или веков, из которых каждый последующий хуже предыдущего. Начинается человеческая история с блаженного золотого века, когда миром правил отец Зевса, Крон.

[3] Намек на киников, которые считали себя гражданами всего мира.

[4] «Илиада», IV, 450. Перевод Н. Гнедича.

[5] Речь идет о философе-кинике Диогене (404—323 гг. до н. э.).

[6] Диоген вопрошал дельфийский оракул Аполлона о том, как ему прославиться.

[7] Город Экбатаны в Мидии был летней резиденцией персидских царей; зиму они проводили в городе Ктесифоне (Вавилония).

[8] Медицинские инструменты и прижигания.

[9] Кентавр *Хирон* считался опытным врачом. *Асклепиады* — врачи.

[10] «Илиада», III, 132.

[11] *Анит, Ликон, Мелет* — обвинители Сократа, добившиеся его казни. *Аристофан* высмеял Сократа в комедии «Облака».

[12] Сиракузянин Дион, друг Платона, был изгнан из родного города по приказу тирана Дионисия Младшего. Платон по приглашению обоих Дионисиев, Младшего и Старшего, трижды жил в Сиракузах, и всякий раз на него обрушивался гнев его покровителей, так что он подвергался суровым преследованиям.

[13] Речь идет о писателе Ксенофонте Афинском.

ЭЛИЙ АРИСТИД (129—189)

Элий Аристид — знаменитый софист. Получил образование в крупнейших тогда культурных центрах — Афинах и Пергаме. Выступал со своими речами в ряде городов Римской империи.

Элевсинская речь

[1] Город близ Афин, центр культа Деметры и Персефоны (Коры).

[2] Мифические поэты.

[3] Речь идет о пожаре Элевсинского святилища. Дата и причина этого события не установлены.

[4] Согласно одной из версий мифа, Деметра долгое время разыскивала свою дочь Персефону, похищенную богом подземного царства, и нашла ее, придя в Элевсин; отсюда и название места: «eleusis», по-гречески «приход».

[5] После исчезновения Персефоны Деметра покинула Олимп и в образе старухи скиталась по земле. Она нашла приют у супруги Элевсинского царя Келея, Метаниры, которая сделала ее нянькой своего сына Триптолема. Оставляя Элевсин, богиня научила Триптолема возделывать землю и дала ему запряженную драконами колесницу, на которой он объездил весь свет, обучая людей землепашеству.

[6] По преданию, потомки Геракла стремились отвоевать царство отца и неоднократно пытались вторгнуться в Пелопоннес. Удалось это только третьему поколению: в союзе с дорянами они завладели полуостровом.

[7] Очевидно, имеется в виду миф о дорийском вторжении в Аттику во времена легендарного афинского царя Кодра.

[8] Речь идет о событиях греко-персидской войны после битвы при Фермопилах (480 г. до н. э.).

[9] Элевсинское божество, сын Деметры или Коры.

[10] Пелопонесская война (431—404 гг. до н. э.).

[11] Предводитель спартанцев; в 378 г. занял Феспии и оттуда пытался напасть на Пирей.

[12] Речь идет о нашествии галльских (галатских) или кельтских племен, которые в III в. до н. э. опустошили Грецию.

[13] Элевсинские мистерии обещали посвященным загробное блаженство.

[14] Речь идет о плачах по умирающим и воскресающим богам: аргивских — по Лину, египетских — по Осирису, фригийских — по Аттису.

[15] На сюжет мифа о Навплии была написана не дошедшая до нас трагедия Софокла «Навплий-возжигатель».

[16] В месяце боэдромионе праздновались Великие Элевсинии.

[17] Ион, сын царя Ксуфа, оказал помощь афинянам в их войне с Эвмолпом, мифическим родоначальником элевсинских жрецов эвмолпидов.

К Эгейскому морю

[1] «Илиада», XI, 298; «Илиада», II, 613.

[2] Эпитет тоже гомеровский: «Илиада», I, 482.

[3] Эврипид, «Троянки», II, 3.

[4] Легендарная Ниса, где воспитывался маленький Дионис, находилась, по верованиям древних, на берегу Эгейского моря.

[5] Диоскуры считались заступниками терпящих кораблекрушение.
[6] Намек на всеэллинские празднества.
[7] Водное божество, воплощение Эгейского моря.

АХИЛЛ ТАТИЙ (конец II в.)

Ахилл Татий Александрийский — автор романа «Левкиппа и Клитофонт», пародирующего проблематику и художественные особенности предшествующих ему образцов этого жанра.

[1] Древнейший и крупнейший город Финикии. Мифический основатель беотийских Фив Кадм был родом из Сидона, то есть Сидон являлся прародителем фиванцев.
[2] Богиня Селена изображалась на колеснице, запряженной быками.
[3] Богиня утренней зари Эос влюблялась в красивых юношей и похищала их. Особенно известен был миф о ее любви к Тифону, взятому на небо и ставшему ее супругом. Эос вымолила для него бессмертие, но забыла испросить неувядаемую юность.
[4] Раб Клитофонта.
[5] Рабыня Левкиппы.

«ИСТОРИЯ АПОЛЛОНИЯ, ЦАРЯ ТИРСКОГО» (II в.)

Анонимный роман «История Аполлония, царя Тирского» представляет собою позднейший латинский перевод и переработку (местами в христианском духе) несохранившегося греческого оригинала. Сюжетные противоречия латинского перевода обусловлены, очевидно, тем, что в работе над этим в высшей степени популярным текстом принимали участие несколько различных авторов.

[1] То есть оливковым маслом. Афина, по преданию, дала людям масличное дерево.
[2] Вергилий, «Энеида», IV, 1.
[3] «Энеида», IV, 4 сл.
[4] «Энеида», IV, 5.
[5] «Энеида», IV, 12.
[6] Ответ написан на навощенных табличках.
[7] Культ Приапа был особенно распространен в мисийском городе Лампсаке.
[8] След позднейшей, христианской, обработки. Ср. также гл. 43 и 48.
[9] Тростниковой палочкой древние писали на папирусе.
[10] Об этом в «Повести» нигде больше не упоминается.

«ЛУКИЙ, ИЛИ ОСЕЛ» (II в.)

Повесть «Лукий, или Осел» прежде приписывалась Лукиану. Она является сокращенной переработкой утраченного романа, автором которого Фотий считал некоего Лукия Патрского.

[1] Патры — город в Ахайе.

[2] Фессалия считалась страной ведьм и колдовства.

[3] *Палестра* — место, где учили искусству борьбы.

[4] В Афинах юноши от 18 до 20 лет (эфебы) проходили особую физическую и военную подготовку.

[5] Фиванская царица, растерзанная быком, к рогам которого ее привязали.

[6] Параллель не совсем верна: лидийский царь Кандавл (VIII в. до н. э.) погиб от руки своего любимца, которому, по тщеславию и легкомыслию, показал обнаженной свою супругу.

[7] По римскому обычаю, греки императорской эпохи иногда также имели три имени: личное, родовое и фамильное.

«ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО» (предположит. II в.)

Сочинение представляет собою переработку в духе народной книги аналогичного не дошедшего до нас сочинения эллинистического времени. «История» пользовалась большой популярностью в позднейшее время и послужила прототипом средневековых романов об Александре.

[1] *Bucephalos* по-гречески — «голова быка».

[2] «История» содержит множество отклонений от исторической истины — вроде этого утверждения, будто афинский философ Аристотель — милетский мудрец. Ввиду их обилия они в примечаниях не оговариваются.

[3] Род состязаний, в которых совмещались борьба и кулачный бой.

[4] Аттал, полководец Филиппа, был не братом, а дядей Клеопатры.

[5] Здесь синоним слова «чудовище».

[6] Так назывались племена, живущие в районе какого-нибудь святилища и объединявшиеся для его защиты и устройства празднеств.

[7] Область Малой Азии.

[8] Средиземное море.

[9] Аммон называет себя козерогим Фебом, так как, подобно Аполлону, давал пророчества и изображался с рогами.

[10] Остров Фарос.

[11] От глагола «parateino» — натягивать.

[12] Храм в честь героя.

[13] Храм Сараписа.

[14] Оракул основан на соответствии букв греческого алфавита цифрам: 200 = s; 1 = a; 100 = r; 1 = a; 80 (4 × 20) = p; 10 = i; s — Sarapis.

[15] «Илиада», I, 528 сл. Перевод Н. Гнедича.

[16] Город в Финикии.

[17] Египетский царь Нектанеб II действительно бежал из Египта, побежденный персами в 341 г. до н. э.

[18] Город в Египте.

[19] Сыр по-гречески — tyros.

[20] Распятие — казнь, применявшаяся обычно к рабам и уголовным преступникам.

[21] Горная цепь в Малой Азии.

Алкифрон — афинский софист, автор сборника писем.

[1] По преданию, в течение нескольких дней зимой, когда дочь бога ветров Эола Алкиона, превращенная в зимородка, высиживает птенцов, Эол утишает все ветры.

[2] Гавань близ Афин.

[3] В районе киликийского города Корика издавна находились убежища морских разбойников.

[4] Первые жители острова Родос, слывшие кудесниками и оборотнями.

5 Гесиод, «Труды и дни», 350. Перевод В. Вересаева.

[6] То есть Орфея, сына Музы эпической поэзии Каллиопы, фракийца родом (эдоны — фракийское племя).

[7] Имена параситов у Алкифрона — значащие: Трехедипн — блюдолиз, Артепитим — алчущий хлеба, Книсозом — похлебка с салом, Стемфилохерон — радующийся оливковым выжимкам и т. п.

[8] Храм в Афинах.

[9] Египетское вино.

[10] В этот день афиняне вносили детей в акты гражданского состояния, впервые стригли их и приносили волосы в жертву богам.

[11] Гермиона — город в Арголиде.

[12] Зеркала из Брундисия в Италии (греки называли его Брентесий) славились своим высоким качеством.

[13] Праздник в честь бога Адониса.

[14] Речь идет о волшебном поясе Афродиты, пробуждающем любовь.

[15] Один из крупнейших представителей новой аттической комедии (умер в 262 г. до н. э.).

[16] Суд присяжных в Афинах.

[17] *Терикл* — знаменитый коринфский гончар V в. до н. э. *Кархесий* — кубок, расширяющийся сверху и снизу.

[18] В день этого праздника состязались в том, кто больше выпьет вина нового урожая.

[19] На празднике Леней ставились комедии и трагедии.

[20] В Ликее, за городскими воротами Афин, был расположен гимнасий.

[21] Речь идет об алтарях богов в саду Академа близ Афин.

[22] Плющом увенчивался победитель на театральных состязаниях в честь Диониса.

[23] *Фесмофеты* — афинские архонты (выборные должностные лица), занимавшиеся судебными делами, неподсудными остальным государственным чиновникам.

[24] «Праздник горшков», когда Гермесу и Дионису жертвовали горшки с вареными бобами.

[25] Праздник урожая в честь Деметры, Персефоны и Диониса.

[26] Производящая на свет прекрасные плоды — эпитет Деметры.

[27] Часть театрального здания.

[28] Египет был чрезвычайно богат хлебом, в Аттике же его не хватало.

[29] Намек на то, что герой Тесей бросил свою возлюбленную Ариадну на Наксосе.

[30] То есть злословия сограждан.

[31] Намек на не дошедшую до нас комедию Менандра «Одержимая».

ЛОНГ (II или III в.)

Никакими биографическими сведениями о Лонге мы не располагаем. Роман «Дафнис и Хлоя» позволяет думать, что он был родом с острова Лесбоса, получил хорошее образование и придерживался прогрессивных для своего времени философских и социальных воззрений.

[1] По такого рода приметным знакам можно было впоследствии найти родителей подкинутого ребенка.

[2] Бог любви Эрот.

[3] Имеется в виду война Митилены с Метимной, во время которой Хлоя была захвачена врагами, но затем спасена богом Паном.

[4] Греки гадали по крику и полету диких птиц.

АФИНЕЙ (расцвет деятельности ок. 200 г.)

Афиней из Навкратиса — автор энциклопедического труда в 15 книгах «Пир софистов», дошедшего до нас скорее всего в сокращенном виде. Сочинение представляет собой ценнейший источник разнообразных сведений об античном мире, подчас уникального характера, и любопытный образец поздней греческой литературы. Сведений о жизни Афинея не сохранилось.

[*Об умеренности героев Гомера*]

[1] Сладкий медовый пирог.

[2] «Илиада», VII, 321.

[3] «Илиада», IX, 215 сл.

[4] «Одиссея», IV, 65 сл. Перевод В. Жуковского.

[5] «Одиссея», III, 412 сл.

[6] «Илиада», XXIV, 262. Перевод Н. Гнедича.

[7] «Илиада», IX, 360.

[8] «Одиссея», VII, 120. Перевод В. Жуковского.

[9] «Одиссея», I, 150. Перевод В. Жуковского.

[*Пьяная выходка молодых сицилийцев*]

[1] Город в Сицилии.

[*О жемчуге*]

[1] Историк, участник походов Александра Македонского.

[2] Историограф Александра Македонского.

[3] Историк I в. до н. э. — I в. н. э.

[*Спор Ульпиана с Кинульном*]

[1] Знаменитый римский юрист II в. н. э.

[2] Слово «киник» — последователь кинической философии — возводилось к прилагательному kynikos — собачий.

[3] «Протагор» Р 347с.

[4] «Филеб» Р 21с.

[5] «Эпиномида» — послесловие к трактату Платона. «Законы».

[6] *Strena* — новогодний подарок.

[*Свадебный пир Карана*]

[1] Участники фаллических шествий.

[2] «Илиада», VII, 161.

[3] То есть огромных. Намек на миф о победе Геракла над эриманфским вепрем.

[4] «Илиада», XXIV, 11.

[*Спартанские пиры*]

[1] Персидский военачальник, погибший в сражении при Платеях.

[2] Спартанский военачальник, победитель персов при Платеях (479 г. до н. э.).

[3] Город в Лукании (Италия), славившийся роскошным образом жизни своих жителей.

[*О вмешательстве суда в частную жизнь граждан*]

[1] Автор энциклопедического труда, послужившего одним из главных источников для Афинея; жил, вероятно, во II в. до н. э.

[2] Шесть афинских архонтов, председательствовавших при разборе судебных дел, неподсудных другим государственным чиновникам, и занимавшихся ежегодным пересмотром законов.

[3] Статуи Гермеса.

[*Корабль Гиерона*]

[1] Царь Сиракуз (270—216 гг. до н. э.).

[2] Здесь «кормчие».

[3] Глиняные кувшины.

[4] Район Сиракуз.

[*Дриман*]

[1] Имеется в виду восстание III в. до н. э.
[2] Историк III в. до н. э.

[*О загадках*]

[1] Представитель средней аттической комедии (IV—III в. до н. э.)
[2] Представитель средней аттической комедии (IV—III в. до н. э.).
[3] Автор жизнеописаний философов (III в. до н. э.).
[4] Оратор и трагический поэт (IV в. до н. э.).

[*Аристипп, Диоген и гетера Лаида*]

[1] Философ IV в. до н. э., основатель школы киренаиков, или гедоников (hedone — удовольствие).

[*О песнях и певцах*]

[1] Племя, населявшее северо-запад Вифинии.

КАССИЙ ДИОН КОККЕЙАН (155—230)

Дион Кассий был родом из Вифинии. Занимал высокие должности на императорской службе. Автор «Римской истории», целиком до нас не дошедшей.

[*Смерть Митридата*]

[1] *Митридат* VI Эвпатор, царь Боспора (121—64 г. до н. э.) в течение многих лет вел войны с Римом. Здесь рассказывается о событиях Третьей Митридатовой войны.
[2] Греческая колония в Северном Причерноморье, ныне Керчь.

[*Нерон и Агриппина*]

[1] Римский император (41—54); Агриппина была за ним замужем.
[2] Знаменитый писатель Луций Анней Сенека (ок. 4—65), бывший воспитателем Нерона.
[3] Область в Италии.
[4] Курорт в Кампании.
[5] Талантливый римский полководец, племянник императора Тиберия.
[6] Государственный деятель, приближенный Августа; муж его дочери Юлии.

[*Извержение Везувия*]

[1] Речь идет о знаменитом извержении Везувия в 79 г. н. э.

[*Убийство Геты*]

[1] Антонин — император Каракалла (211—217).

[2] Речь идет о войне в Британии, во время которой умер император Септимий Север (193—211).

[3] Незастроенная полоса вдоль городской стены Рима.

[4] Праздник в честь бога Сатурна.

ФИЛОСТРАТЫ

Так звалась целая семья софистов и писателей. Роман «Жизнеописание Аполлония Тианского», «Жизнеописания софистов» и «Письма», а также ряд других сочинений («Гимнастика» и др.) принадлежат наиболее известному из Филостратов — Флавию Филострату (ок. 170—ок. 244). Он получил образование в Афинах, впоследствии примкнул к литературно-философскому кружку императрицы Юлии Домны, супруги Септимия Севера, в котором пропагандировались мистические идеи, во многом заимствованные с Востока.

Автором «Картин» был Филострат III Лемносский (род. ок. 191 г.).

Жизнеописание Аполлония Тианского

[1] Философ I в. н. э., последователь неопифагореизма и неоплатонизма.

[2] «Одиссея», IV, 415 сл.

[3] В храмах Асклепия, согласно греческим верованиям, бог-целитель либо являлся больным воочию и исцелял их, либо приходил во сне и подавал спасительные советы.

[4] Труды философа Гераклита отличались темнотою изложения.

[5] Архелай был заподозрен в заговоре против Рима в царствование Тиберия.

[6] *Ликей* — школа перипатетиков в Афинах, *Академия* — школа Платона.

[7] Философ *Анаксагор* (VI—V вв. до н. э.) не обрабатывал принадлежащие ему земли, и на них паслись стада. Киник *Кратет* (IV—III вв. до н. э.) отказался от своего имущества, следуя киническому идеалу простоты.

[8] Соблюдение в течение четырех лет молчания — одно из требований Пифагора.

[9] Поэт Симонид Кеосский (VI—V вв. до н. э.) говорил, что памятью никто не сравнится с ним, восьмидесятилетним стариком.

[10] «Одиссея», XX, 18.

[11] Дочь аркадского речного бога Ладона, Дафна, превратилась

в лавр, чтобы избежать домогательств Аполлона. Предместье Антиохии с посвященной Аполлону рощей называлось «Дафна».

[12] Красавец Кипарис, любимец Аполлона, тоскуя по убитому оленю, превратился в дерево кипарис.

[13] Подобно жрице дельфийского Аполлона, пифии.

[14] Жители Гиркании, области Азии, граничившей с Каспийским морем.

[15] Ниневия, город в Ассирии.

[16] Племя, жившее к югу от реки Аракса.

[17] Имеются в виду различные жанры красноречия.

[18] «Илиада», II, 308 сл.

[19] Область в персидской провинции Сузиане.

[20] То есть в Персии.

[21] Имеется в виду ассирийская царица Семирамида.

[22] Фракийский певец Орфей изображался в восточной одежде.

[23] *Датис* и *Артаферн* — персидские полководцы первого периода греко-персидских войн.

[24] Греки считали покорение природы проявлением персидской гордыни и с этой точки зрения рассматривали действия персов — прорытие горы Афон и устройство моста через Геллеспонт.

[25] Богиня возмездия.

[26] Дарий II царствовал с 424 до 404 г. до н. э.

[27] Писейская долина в персидской провинции Рагиане славилась своими конями.

Жизнеописания софистов

[*Леонт Византийский*]

[1] Македонский царь Филипп I в 340 г. до н. э. осадил город Византий.

[2] Несмотря на союз с Византием, царь Филипп стал расширять свои территории за счет Фракии. Опасаясь этой политики, Леонт Византийский отправился послом в Афины, чтобы возобновить с ними союз. В момент нападения на Византий он был душой сопротивления.

[*Дион из Прусы*]

[1] Коза, вскормившая Зевса. Рог ее обладал свойством доставлять все желаемое его обладателю.

[2] Это сочинение приписано Диону ошибочно.

[3] Философ-стоик.

[4] Намек на правление Домициана.

[5] Ср. «Одиссея», XXII, 1.

[*Аристид*]

[1] Герод Аттик (см. предисловие).

[2] Ученик Герода Аттика.

[3] В 178 г. Смирна была разрушена землетрясением.

[4] Речь идет об императоре Марке Аврелии.

[5] Софист, ученик Элия Аристида.

[6] Два брата, вместе управлявшие в 173 г. Грецией.

[7] *Аримаспы* — легендарный народ на крайнем северо-востоке.

[8] Имеется в виду речь Демосфена «О венке».

[*Элиан*]

[1] Софист середины II в.

[2] Имеется в виду император Элагабал (218—222). Речь Элиана не сохранилась.

[3] Ученик Герода Аттика.

Письма

[1] Капли крови юноши Адониса, убитого кабаном, превратились в цветы розы.

[2] *Роза* — цветок Афродиты. Филострат обозначает этим словом самое Афродиту, обольстившую пастуха Анхиза, бога войны Арея и юношу Адониса.

[3] Киник Диоген; как и киник Кратет, он презирал обувь.

[4] «Илиада», II, 478 сл. Перевод Н. Гнедича.

Картины

[1] Наксос.

[2] Анакреонт, поэт VI в. до н. э., родом с Теоса.

[3] Богиня Артемида.

КЛАВДИЙ ЭЛИАН (ок. 170 — ок. 230)

Элиан был римлянин родом, писал на греческом языке. Автор двух больших сборников — «О природе животных» и «Пестрые рассказы», проникнутых моралистическим духом, и «Писем поселян» — риторических упражнений в форме писем.

Пестрые рассказы

[1] Согласно старинному обычаю, на Делос ежегодно снаряжался корабль с первинами урожая. До возвращения этого священного корабля нельзя было предавать казни приговоренных к смерти.

[2] Друзья и ученики Сократа.

[3] Речь идет о посольстве ко двору Артаксеркса после битвы при Левктрах в 371 г. до н. э.

[4] Цитата из недошедшей комедии Менандра «Кифаристка».

[5] Miltos — «красная краска».

[6] Антикира в Фокиде славилась травой эллебором, считавшейся средством против душевных болезней.

[7] Веселое шумное шествие.

О природе животных

[1] Подразумеваются законы Солона, оберегавшие семейные устои.

[2] «Одиссея», VII, 315 сл.; «Одиссея», VI, 206 сл.

[3] В 333 г. до н. э. Дарий III в битве при киликийском городе Иссе был побежден Александром Македонским.

ГЕРОДИАН (первая половина III в.)

Геродиан — историк, родом из Сирии, автор сочинения «История империи после Марка», в котором чувствуется сильное влияние риторики.

[1] Имеется в виду Янус.

[2] Название Лациум римляне издавна связывали с греческим глаголом lanthano — «быть скрытым».

[3] То есть консулы.

[4] Огонь носили перед римским императором и императрицей во время официальных выходов.

[5] Вельможа, ведавший императорской опочивальней, «спальник».

[6] То есть «любимый Комодом».

[7] Значение слова не ясно. Высказывалось предположение, что Комод называл так место, где занимался физическими упражнениями.

[8] Римские воинские подразделения имели особые значки на древках; значком легиона, например, был орел.

[9] То есть военный трибун.

[10] Дочь Плавтиана была супругой Антонина.

[11] То есть центурион.

ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ (III в.)

Диоген Лаэртский — автор своеобразного учебника греческой философии «Жизнеописания и мнения знаменитых философов». Сочинение представляет собой собрание цитат, выдержек и анекдотов, рассчитанных на занимательность.

[Бион]

[1] Философ-киренаик III в. до н. э.

[2] Речь идет о македонском царе Антигоне Гонате.

[3] «Одиссея», X, 325. Перевод В. Жуковского.

[4] «Илиада», VI, 211. Перевод Н. Гнедича.

[5] Ученики философа Зенона.

[6] Мифический аргосский царь, один из участников похода семерых против Фив; во время бегства из-под стен города был поглощен землей.

[7] Эврипид, «Ипполит», 434.

[8] Философ, современник Платона.

[9] Город на о. Эвбея.

[10] Ритор II в. до н. э.

[*Антисфен*]

[1] Основатель кинической школы (V—IV вв. до н. э.).

[2] Речь идет о персидском царе Кире Старшем (VI в. до н. э.).

[3] Орфические таинства обещали посвященным загробное блаженство.

[4] Киники считали себя атлетами, то есть борцами с нравственными пороками.

[5] То есть за малую плату ты бы мог нанять гетеру.

[6] Философ-стоик (I в. до н. э. — I в. н. э.).

[7] Ученик Аристотеля.

[8] Греческий врач и писатель IV в. до н. э.

ГЕЛИОДОР (III или IV в.)

Биографических сведений о Гелиодоре, авторе романа «Эфиопика», не сохранилось. Можно предполагать, что он был выходцем из образованной среды, интересовавшейся вопросами религии и философии.

[1] Во время аттического праздника Великих Панафиней, справлявшегося в честь Афины, на особой повозке-корабле пеплос (покрывало) богини, сотканный для этого торжества, доставлялся в ее храм.

[2] «Труды и дни», 219 сл.

[3] «Илиада», VI, 202.

[4] Богини мести и кары.

[5] *Полемарх* — один из девяти афинских архонтов, главнокомандующий вооруженными силами.

ЛИБАНИЙ (315—393)

Либаний — глава риторики IV в., пользовавшийся огромной известностью. Происходил из видной антиохийской семьи, получил прекрасное образование и долгие годы руководил риторской школой. В период царствования императора Юлиана деятельно поддерживал его реформы. Наследие Либания обширно и разнообразно; в речах различных жанров,

декламациях, письмах и т. д. широко освещаются общественные и культурные интересы эпохи.

Моя жизнь, или О моей судьбе

[1] Подразумеваются гладиаторские игры.

[2] То есть в Антиохии.

[3] Либаний не любил Константинополя и в 353 г. испросил себе у императора Констанция разрешение вернуться на родину.

[4] Самосский тиран VI в. до н. э. Поликрат выше всех сокровищ ценил свой перстень.

[5] В предыдущем параграфе говорится о том, что Либанию было разрешено составить завещание в пользу своего незаконного сына, так как семьи он не имел.

[6] Либаний некоторое время жил в Вифинии.

[7] Имеется в виду император Констанций.

[8] Богатство лидийского царя Гигеса (VIII—VII вв. до н. э.) вошло в пословицу.

Хвалебная речь в честь Антиохии

[1] Дельфы считались греками центром земли.

[2] Речь идет о виноградарстве и разведении оливы.

[3] Имеется в виду гомеровское описание щита Ахилла, сделанного Гефестом («Илиада», XVIII, 541 сл.).

[4] Бегуны уподоблены сыновьям северного ветра Борея, крылатым братьям Зету и Калаиду.

[5] Вероятно, имеются в виду Константинополь и Рим.

[6] То есть не способны очаровывать сердца.

О парасите, упустившем обед

[1] Все нравоописательные сочинения Либания облечены в форму судебных речей.

[2] То же, что кентавр — получеловек, полуконь.

[3] Намек на трагедию Эврипида «Ипполит», где кони, испугавшись, опрокидывают колесницу и герой гибнет.

[4] Согласно одному из мифов, амазонки пошли походом на Ахилла. Разгневанный герой внушил коням амазонок такой ужас, что они сбросили и растоптали своих всадниц.

[5] «Одиссея», XII, 342. Перевод В. Жуковского.

ГИМЕРИЙ (315—386)

Гимерий — знаменитый ритор, в числе учеников которого были «отцы церкви» Василий Великий и Григорий Назианзский. Общественной

и политической деятельностью не занимался, был далек от двора (исключая лишь краткий период, когда император Юлиан сделал его своим секретарем) и жил преимущественно интересами свой школы. Наследие Гимерия дошло до нас не полностью. Оно состоит из эпидиктических речей и декламаций в пышной азианской манере.

Эпиталамий Северу

[1] Один из учеников Гимерия.

[2] Имеются в виду победы Аполлона над Марсием, Лином и Гермесом в поэтических состязаниях.

[3] Вероятно, Адмет или Пелей.

[4] Речь идет о ревности Геры, супруги Зевса, к ее многочисленным соперникам и соперницам.

[5] По-видимому, ошибка переписчика. Ахилл еще юношей соблазнил Деидамию, дочь царя острова Скироса. Мысль Гимерия состоит в том, что для тайного брака Ахилла Хирон не мог петь гименея.

[6] Пелопсу, сыну Тантала, своему любимцу, Посейдон помог получить в жены Гипподамию, дочь царя Писы.

[7] Олицетворение водной стихии, сестра и супруга Океана, считалась матерью всех рек.

[8] «Илиада», XXI, 197.

[9] Мысль о том, что Дунай впадает в Чёрное море, а Рейн в Северное, облечена в форму мифа о любви Истра к Боспорскому морю или Эвксинскому Понту, а Рейна к Атлантике.

[10] По-гречески море — женского рода, река — мужского.

[11] Речь идет о беотийских реках Асопе и Фисбе.

[12] В водах фессалийской реки Энипей Посейдон сочетался браком с Тиро, приняв образ любимого Тиро бога этой реки.

[13] Подразумевается аттический источник Каллироя, сливающийся с Илиссом. Kallos — красота, rhoe — поток, источник.

[14] Божества плодородия.

[15] Филиппополь.

[16] Понт Зевса, или Геленопонт (Понт Елены), — провинция в Малой Азии.

[17] Сын афинского царя Кодра, основатель ряда городов в Малой Азии.

[18] Пелопс, сын малоазийского царя Тантала, женившись на дочери царя Писы Эномая, стал царем Пелопоннеса.

[19] Не ясно, о какой Аспазии идет речь: знаменитые гетеры, носившие это имя и славившиеся своим умом и образованностью, не были мантинеянками.

[20] Сложная игра слов. Chalkis (Халкида) связывается со словом chalkos — медь, а имя Severus с латинским словом aereus — медный.

[21] Бог северного ветра, обитавший во Франции, похитил из Афин Орифию, дочь героя Эрехтея.

[22] То есть Сапфо.

[23] Богиня убеждения.

[24] Бог любовного желания.

[25] Феокрит, «Киклоп», 20. Перевод М. Грабарь-Пассек.

[26] «Одиссея», VI, 162 сл.

[27] Музы, согласно мифу, жили на горе Геликон в Беотии.

Речь к Василию

[1] Наместник Ахайи.

[2] Цитата из Анакреонта.

[3] Аттика.

[4] «Илиада», VII, 4 сл.

[5] Имеется в виду миф о Прокне и ее сестре Филомеле, которые в образе соловья и ласточки оплакивали смерть убитого Прокной сына.

[6] Ранней весной на берегах Илисса праздновались Малые Элевсинии.

[7] *Каистр* — река в Лидии, *Гебр* — река во Фракии.

[8] То есть виноградом и хлебными колосьями.

[9] Дионис.

[10] «Илиада», II, 478—479.

[11] «Илиада», II, 478. Перевод Н. Гнедича.

[12] «Илиада», I, 527. Перевод Н. Гнедича.

[13] «Илиада», XIV, 214 сл.

[14] Намек на поэта Гесиода.

[15] Через каждые три года на Истме в честь Посейдона устраивались Истмийские игры.

[16] Антилох, сын Нестора и друг Ахилла.

[17] «Илиада», III, 237.

[18] Претенденты на персидский престол договорились, что царем станет тот, чей конь на восходе солнца заржет первым. Благодаря хитрости своего конюшего избранником оказался будущий Дарий I.

[19] Улица в квартале Керамик.

[20] Члены древних аристократических семейств Афин.

Плач по сыну Руфину

[1] Древние считали, что боги завидуют счастью человека.

[2] Согласно мифу, на горе Киферон в Беотии царевич Пенфей был убит и растерзан своей матерью, охваченной вакхическим безумием.

[3] Руфин, очевидно, готовился к посвящению в Элевсинские таинства.

[4] Гимерий выступал перед афинским ареопагом, прося для сына так называемого eleutherosis (буквально: освобождение), то есть досрочного зачисления в список совершеннолетних граждан.

[5] Речь идет об эринниях, богинях мести и кары, поселившихся близ афинского ареопага и превратившихся в благостных богинь, эвменид.

[6] Афина названа покровительницей Руфина как богиня мудрости.

[7] Имеется в виду миф о матереубийце Оресте, для суда над которым Афина учредила ареопаг.

[8] Во время суда над Орестом эриннии выступали его обвинителями, Аполлон — защитником.

[9] Щит Афины украшен головой страшного чудовища, горгоны Медузы, с волосами-змеями и превращающим в камень взглядом.

[10] Перечисляется родня Руфина: знаменитый ритор Никагор (сын ритора Минуциана), писатель Плутарх, философы Мусоний и Секст.

[11] Река в Беотии; melas по-гречески — «черный».

ФЕМИСТИЙ (317—388)

Фемистий — ритор и философ, с успехом подвизавшийся при дворе многих императоров. Большинство речей Фемистия представляют собой восхваления-панегирики. Его философские интересы особенно ярко отразились в комментариях к сочинениям Аристотеля.

Посланническое слово о Константинополе

[1] Император Констанций.

[2] Константинополь.

[3] Речь идет о праздновании в 357 г. двадцатилетия царствования Констанция.

[4] То есть в Риме.

[5] Константинопольский сенат отправил Фемистия в Рим для вручения императору венка и произнесения торжественной речи.

[6] «Илиада», I, 425 сл.

[7] Гелиос, бог солнца.

[8] Новым Римом называли Константинополь.

[9] Речь идет о восстании франка Магненция, провозгласившего себя императором (350 г. до н. э.).

[10] То есть в Лациум.

[11] Намек на успешную борьбу Констанция за Рейном и в придунайских областях (с сарматским племенем язигов).

[12] Имеются в виду Магненций и другой претендент Ветранион, поднявший восстание в Иллирике и провозглашенный императором.

[13] Речь идет о жестокостях Магненция в Риме.

[14] Камилл в 390 г. до н. э. был назначен диктатором и отбил у кельтов захваченный ими Рим.

[15] То есть согласиться с разделением империи на две части.

[16] Император Константин в 312 г. одержал победу над претендентом на престол Максенцием и торжественно вступил в Рим; Констанций в 351 г. разбил Магненция, будучи главой восточной части империи и таким образом «даровал свободу» Риму.

[17] Константин имел троих сыновей, двое из которых погибли в борьбе за власть.

[18] Речь идет о сражении с Магненцием в 351 г.

[19] Констанцию удалось в том же году убедить второго претендента на престол, Ветраниона, добровольно отказаться от императорской власти.

[20] Прославленные в древности предсказатели.

[21] То есть от Византия, на месте которого вырос Константинополь.

[22] Константин умер в 337 г., через семь лет после объявления Константинополя столицей.

[23] Город по-гречески — женского рода.

[24] То есть город внушает к себе любовь.

Валенту о вероисповеданиях

[1] Речь дошла в латинском переводе и многими учеными считается подложной. Заглавие ее — во всяком случае, плод недоразумения: император Валент (364—378) отличался крайней религиозной нетерпимостью. Адресат речи — император Иовиан (363—364), отменивший законы Юлиана против христиан, однако терпимо относившийся и к язычеству и стремившийся примирить раздоры в недрах церкви.

[2] Речь идет о христианской религии.

[3] Намек на христианских императоров — Константина Великого (306—337) и Констанция (337—361) — и на реставратора язычества Юлиана.

[4] Ученик Сократа; стремясь к власти, он не пренебрегал никакими средствами и неоднократно примыкал в своекорыстных целях к враждебной ему партии.

[5] Персидский царь (VI в. до н. э.), преследовавший религию покоренного им Египта.

[6] «Труды и дни», 11 сл.

[7] Иовиан заключил мирный договор с персами.

Заниматься ли земледелием?

[1] Согласно преданию, Гомер и Гесиод состязались в поэтическом искусстве во время погребения царя Амфидаманта и победителем был признан Гесиод.

[2] Предводитель Муз, то есть Аполлон.

[3] Посейдон назван рождающим, так как в качестве божества водной стихии он оплодотворял посевы.

[4] Софист V—IV вв. до н. э.

[5] Орфические таинства были связаны с культом бога виноградной лозы Диониса.

[6] Дионисий Периегет, автор стихотворного описания земли (I или II в.).

[7] *Ахемениды* — династия персидских царей, *Гераклиды* — потомки Геракла, от которых вели свой род цари ряда областей Средиземноморья.

ИМПЕРАТОР ЮЛИАН (331 — 363)

Император Юлиан, по прозвищу «Отступник» — глава антихристианского лагеря, осуществлявший свою религиозную борьбу также средствами литературы и публицистики. Автор речей различных жанров, писем, посланий, памфлетов, сатир, главнейшие из которых связаны с его попыткой реставрации язычества.

Письма

[1] Египет составлял личную собственность римских императоров, и отчеты префект Египта посылал им.

[2] Александрийский патриарх и христианский писатель. Он отказался по требованию императора покинуть Александрию.

[3] Вскоре после смерти Констанция, покровителя ариан (христианской секты), александрийцы убили арианского епископа Георгия.

[4] Софист, обучавший Юлиана риторике.

[5] Главк отдал Диомеду золотое оружие взамен медного («Илиада», VI, 235—236).

[6] Юлиан отказался от суровой политики Констанция и Галла по отношению к евреям.

[7] Имеется в виду война, во время которой Юлиан погиб.

[8] Юлиан обещал евреям восстановить иерусалимский храм.

[9] «Одиссея», XVI, 187. Перевод В. Жуковского.

[10] «Одиссея», IV, 384 сл.

[11] Вероятно, речь идет об Исократе, так как он умер почти ста лет, а Сократ до глубокой старости не дожил.

[12] Речь идет о запрещении риторам-христианам пользоваться для целей преподавания языческими авторами. Этот рескрипт развивает мысли изданного Юлианом в 362 г. эдикта, согласно которому император оставлял за собой право контроля над назначением учителей риторики, и фактически сводится к запрещению христианам преподавать.

[13] Имеются в виду времена христианских императоров Константина и Констанция, когда почитание языческих богов преследовалось.

[14] Евангелистов Матфея и Луку.

[15] Вода и ее дары.

[16] Константинополь.

[17] Речь идет о пьянящих свойствах и приятном вкусе вина.

[18] «Одиссея», IX, 359.

[19] То есть в воде.

[20] «Олимпийские оды», 6, 99; 7, 5.

[21] Речь идет о христианском вероучении.

[22] Христиане.

[23] «Одиссея», XIV, 56 сл. Перевод В. Жуковского.

[24] Город в Галатии.

[25] «Одиссея», X, 73 сл. Перевод В. Жуковского.

Против христиан

[1] Имеется в виду Персефона.

[2] Персефона стала супругой бога подземного царства Аида.

[3] Дионис-Загрей был растерзан титанами.

[4] «Бытие», II, 18.

[5] «Бытие», III, 22.

[6] Юлиан в духе неоплатонизма считал, что мифы должно понимать только в аллегорическом смысле.

[7] «Бытие», XI, 4—8.

[8] «Одиссея», XI, 316. Перевод В. Жуковского.

Враг бороды

[1] Феокрит.

[2] Жители Антиохии, насмехаясь над суровостью и подчеркнутой простотой образа жизни Юлиана, сочинили про него насмешливые стихи.

[3] Констанций и Константин.

[4] Ныне Париж.

[5] Название недошедшей комедии Менандра.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Полякова. Греческая проза I—IV веков н. э. 3

ИОСИФ ФЛАВИЙ

Иудейская война. *Перевод А. Сыркина* 29
Иудейские древности. *Перевод А. Сыркина* 44

ДИОН ХРИСОСТОМ

VII. Эвбейская речь, или Охотник. *Перевод М. Грабарь-Пассек* 63
VIII. Диоген, или О доблести. *Перевод М. Грабарь-Пассек* 86
XXXVI. Борисфенитская речь, произнесенная Дионом на его родине. *Перевод М. Грабарь-Пассек* 92

ПЛУТАРХ

Жизнеописание Деметрия. *Перевод И. Феленковской* . . 101
Грилл, или О том, что животные обладают разумом. *Перевод С. Поляковой* 133

«ПИСЬМА ХИОНА ИЗ ГЕРАКЛЕИ»

Перевод И. Феленковской 145

ХАРИТОН

Повесть о любви Херея и Каллирои. *Перевод И. Толстого* 161

АНТОНИЙ ДИОГЕН

Невероятные приключения по ту сторону Фулы. *Перевод Н. Мильштейн* 171

ФЛЕГОНТ ИЗ ТРАЛЛ

Удивительные истории. *Перевод М. Гаспарова* . . . 179

ЯМВЛИХ

Вавилонская повесть. *Перевод А. Егунова* 185

КСЕНОФОНТ ЭФЕССКИЙ

Повесть о Габрокоме и Антии. *Перевод С. Поляковой и И. Феленковской* 195

АППИАН

Гражданские войны. *Перевод А. Козаржевского* . . . 203

ФЛАВИЙ АРРИАН

Поход Александра. *Перевод А. Козаржевского* . . . 219
Плавание вокруг Понта Эвксинского. *Перевод А. Козаржевского* 229
Наставление охотнику. *Перевод А. Козаржевского* . . 231

ПАВСАНИЙ

Описание Эллады. *Перевод С. Кондратьева* 235

ЛУКИАН

Разговоры богов. *Перевод С. Сребного* 247
Морские разговоры. *Перевод С. Лукьянова* 252
Александр, или Лжепророк. *Перевод Д. Сергеевского* . 255
Икароменипп, или Заоблачный полет. *Перевод С. Лукьянова* 275

МАРК АВРЕЛИЙ

К самому себе. *Перевод А. Егунова* 293

МАКСИМ ТИРСКИЙ

Следует ли почитать кумиры? *Перевод С. Поляковой* . 305
Предпочитать ли кинический образ жизни? *Перевод Ю. Шульца* 310

ЭЛИЙ АРИСТИД

XXII. Элевсинская речь. *Перевод М. Гаспарова* . . . 319
XLIV. Эгейскому морю. *Перевод Ю. Шульца* 322

АХИЛЛ ТАТИЙ

Левкиппа и Клитофонт. *Перевод А. Болдырева под редакцией Б. Богаевского* 329

«ИСТОРИЯ АПОЛЛОНИЯ, ЦАРЯ ТИРСКОГО»

Перевод с латинского И. Феленковской 339

«ЛУКИЙ, ИЛИ ОСЕЛ»

Перевод Б. Казанского 373

«ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО»

Перевод А. Егунова 397

АЛКИФРОН

Письма. *Перевод С. Кондратьева* 417

ЛОНГ

Дафнис и Хлоя. *Перевод С. Кондратьева* 439

АФИНЕЙ

Пир софистов. *Перевод С. Ошерова* 449

КАССИЙ ДИОН КОККЕЙАН

Римская история. *Перевод А. Каждана* 473

ФИЛОСТРАТЫ

Жизнеописание Аполлония Тианского. *Перевод А. Егунова* 483
Жизнеописания софистов. *Перевод А. Егунова* 503
Письма. *Перевод А. Егунова* * 509
Картины. *Перевод А. Егунова* 513

КЛАВДИЙ ЭЛИАН

Пестрые рассказы. *Перевод С. Поляковой* 521
О природе животных. *Перевод С. Поляковой* 532

ГЕРОДИАН

История империи после Марка. *Перевод С. Поляковой* . 541

* Письма 10, 24, 26, 32 переведены С. Поляковой.

ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ

Жизнеописания и мнения знаменитых философов. *Перевод М. Гаспарова* 559

ГЕЛИОДОР

Эфиопика. *Перевод А. Болдырева под редакцией А. Егунова* 569

ЛИБАНИЙ

Речь I. Моя жизнь, или О моей судьбе. *Перевод М. Грабарь-Пассек* 581
Речь XI. Хвалебная речь в честь Антиохии. *Перевод М. Грабарь-Пассек* 588
Декламация XXVIII. О парасите, упустившем обед. *Перевод М. Грабарь-Пассек* 596

ГИМЕРИЙ

I. Эпиталамий Северу. *Перевод С. Поляковой* 605
III. Речь к Василию, произнесенная весной в праздник Панафиней. *Перевод С. Поляковой* 611
XXIII. Плач по сыну Руфину. *Перевод С. Поляковой* . 614

ФЕМИСТИЙ

III. Посланническое слово о Константинополе, произнесенное в Риме. *Перевод А. Егунова* 621
XII. Валенту о вероисповеданиях. *Перевод А. Егунова* . 628
XXX. Заниматься ли земледелием? *Перевод А. Егунова* 634

ИМПЕРАТОР ЮЛИАН

Письма. *Перевод Ю. Шульца* 639
Против христиан. *Перевод Ю. Шульца* 649
Враг бороды. *Перевод Ю. Шульца* 651
Примечания 657

ПОЗДНЯЯ

ГРЕЧЕСКАЯ ПРОЗА

Редактор *С. Маркиш*

Художественный редактор *Л. Калитовская*

Технический редактор *Т. Гончарова*

Корректоры *Т. Козменко* и *А. Паранюшкина*

Сдано в набор 11/V 1960 г.
Подписано в печать 19/X 1960 г.
Бумага 60×92¹/₁₆ — 43,5 печ. л.
уч.-изд. л. 38,48+1 вкл.=38,54
Тираж 45 000. Заказ № 1453.
Цена 1 р. 75 к.

Гослитиздат.
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза. Ленинград, Измайловский пр., 29.